

Владимир Кантор На сгибе бытия

Владимир Кантор  
**На сгибе  
бытия**  
Тридцать рассказов





Владимир Кантор

# На сгибе БЫТИЯ

Тридцать рассказов

Я лёг на сгибе бытия,  
На полдороге к бездне, -  
И вся история моя -  
История болезни.

*Владимир Высоцкий*



Москва  
Центр гуманитарных инициатив  
2022

УДК 130.2  
ББК 71  
К 19

Оформление: П.П. Ефремов

К 19 **Кантор В.К.**  
**На сгибе бытия. Тридцать рассказов** / В.К. Кантор. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. — 480 с.

В своей новой книге Владимир Кантор, писатель, доктор философских наук, профессор сводит воедино тексты, написанные им за последние сорок лет, пытаясь показать трагизм, ужас и бред бытия в разные периоды жизни человека. Нам в мирные годы кажется, что спокойствие - основа человеческого существования, мы стараемся забыть о войнах, революциях, пандемиях и просто тяжелых болезнях. Но под космическим миропорядком всегда шевелится хаос. Именно об этом говорит автор.

УДК 130.2  
ББК 71

ISBN 978-5-98712-317-1

© Кантор В.К., автор, 2022  
© Центр гуманитарных инициатив, 2022

# Чтоб мыслить и страдать

Но не хочу, о други, умирать;  
Я жить хочу, чтоб мыслить  
и страдать

*Александр Пушкин*



# Выживание

*О, как мы любим лицемерить  
И забываем без труда  
То, что мы в детстве ближе к смерти,  
Чем в наши зрелые года.*

О. Манделъштам

## I. Рождение

**О**чевидно, сами это мало сознавая, мы почти каждый день (если не сказать час) ходим по краю небытия. И не срываемся туда по случайности. Каждый день может оказаться последним. Либо предпоследним, когда концовка жизни уже глядит в затылок, а ты этот взгляд чувствуешь. Или твои близкие чувствуют и пытаются тебя спасти. Меня спасала всегда мама. У каждого из нас своя история. У меня своя.

На старости лет, примерно за год до смерти, папа принялся писать подражание дантовской «Vita nova». Это смесь воспоминаний в прозе, которые проложены его стихами. Не уверен, что мне удастся опубликовать это сочинение целиком, поэтому беру из него отрывки. И, забегая вперед, приведу стихотворные строки, которыми папа закончил свой текст:

Ты всей жизни моей услада.  
Как беспечен был первый акт.  
Неужель неизбежен закат  
горько-радостной “Таниады”?!

Ну а теперь к рассказу.

Как вспоминаю, болел я в детстве без конца. Это были «мои университеты». И выхаживала меня, разумеется, мама. Но и вкладывала в меня то, что считала должным для русского мужчины. Воспитывала терпение, безумное, отечественное. С моими бесконечными болезнями: то парить ноги в горячей воде с разведенной там горчицей, горячей почти до кипятка. Помню, как искал в та-



зике ногами уголок похолоднее, как тихонько засовывал и тут же выдергивал ногу. Наконец, ноги привыкали, тогда мама укутывала мои ноги сверху теплым, как правило, шерстяным одеялом, и так я сидел минут пятнадцать. Потом вынимал ноги, которые были красные словно вареные раки, мама вытирала их, и я забирался в постель под теплое одеяло. Но это еще было терпимо. Хуже — горчичники, которые мама делала сама (в аптеках они были редко-стью). Они жгли, будто прожигали тело насквозь. Я хныкал, просил снять. А мама говорила: «А ты вспомни, как советские бойцы горели в танках. Им больнее было. А они из горящего танка вели бой. Вот ты так смог бы?» И я тогда бывал устыжен и терпел изо всех своих детских возможностей. С тех пор так и привык терпеть. Все терпел, исходя из тезиса, что другим бывало и хуже. Да и при-словье бабушки, маминой мамы: «Христос терпел и нам велел» — всегда помнил. Любую перемену в судьбе все-таки в результате мог перенести, правда, не всегда борясь, чаще склоняя голову перед неизбежностью. Очень въелась в меня через эту доктрину терпения идея жертвенности. Но и дикая обидчивость тоже. Не может чело-век просто поступаться своим Я. Требуется компенсация. Вот оби-дчивость и была такой компенсацией.

Моя жизнь началась практически с ухода на тот свет. Не успев появиться на этом, я судорожно начал бороться за то, чтобы здесь остаться, чтобы тот свет не втянул меня в свой страшный зев. Боролся я фактом своего существования, вот он я, не надо меня от-сюда забирать, ведь рядом мама. Мама и боролась, одна, один на один со смертью, которая приняла облик общего послеродово-го заражения крови, сепсиса. Как понимаю, весь организм мой был отравлен, был сплошной гнойный нарыв, кровь не справ-лялась. Папа был в армии, помогала маме ее мама, да и папина мама пыталась найти хороших врачей, которые бы поняли, что происходит. То есть все понимали, что ребенок умирает, но в этот месяц вымерли практически все младенцы этого роддома, явив-шиеся на свет в дни, когда правил миром Овен. Я родился 30 мар-та 1945 года, шли последние месяцы войны, очевидно, диверсии, как говорили женщины, потерявшие детей, не было, была класси-ческая российская нечистоплотность, когда зараза схватила всех. Пришел древний бог Мор, древнеславянский бог смерти, холода, голода и болезней, и забирал одного ребенка за другим. Бабушка Настя ходила в церковь во Владыкино, недалеко от Лихобор, при-носила святой воды, и, как рассказывала мама, обрызгивала мою постель, крестила маму и меня. Мама в это верила и не верила, все же она была комсомолкой и студенткой биофака, да и све-

кровь — член партии с 1903 года. И все же ее мама, бабушка Настя, была рядом, она выходила в свое время ее, сестру и брата. Правда второго брата спасти не удалось — обезвоживание организма. Но и время было — без воды и отопления, лекарств не достать. Поэтому все шло в дело, святая вода тоже. Но спасла ребенка другая жидкость, которую только привезли из действующей армии и стали раздавать по больницам. Это был пенициллин, изобретенный британцем Александром Флемингом. Как писали французы, для разгрома фашизма этот британский медик сделал больше целых дивизий. Когда пенициллин попал в этот роддом, где лежали изможденные умирающие дети, врачи растерялись, их испуг передался, наверно, и молодым мамам. Все-таки что-то из зарубежной тьмы, хоть и союзники. Русские женщины, лежавшие с мамой, твердо отказались. Но была там одна докторша, которая приняла идею пенициллина и принялась уговаривать женщин. Согласилась одна мама. Все шикали на нее, что она хочет загубить сына. Но мама, приняв решение, принимала его продуманно, и уже не отступалась.

Воображаю, хоть и с трудом, как она выпрашивая у сестер чернильницу-непроливайку, перо-вставочку и сидя на краешке стула около моей кровати, изо дня в день писала папе длинное письмо:

*«Дорогой мой Карлушенька!*

*Вот ты и папа! Вот у тебя и сын Володька! Все по порядку. 28-го я ушла к маме, там пробыла 29-го день, а вечером почувствовала боли, и меня мама в 10 часов вечера отвезла. Хорошо то, что около дома была легковая, которая довезла нас до трамвая. Иначе было бы трудно идти: погода была прескверная: дождь, слякоть».*

Я помню эту дорогу от двухэтажного домика в Лихоборах до трамвайной остановки, примерно около километра. Дорога разбитая, в выбоинах и ухабах. Думаю, что в тот год она была еще хуже, если учесть слякоть, в которой разъезжаются ноги, а мама несла не только себя, но и живот, в котором пребывал будущий младенец. Маленькая бабушка Настя, как могла ее поддерживала. Но, наверно, очень боялась, как бы дочка не упала. Да еще десять вечера, уже темно, фонарей около лихоборских домов не было, свет из окошек совсем слабый. А легковая, которая их подвезла, стояла недалеко от дома. На ней приехал местный пахан Витек, из соседней комнаты. Он и приказал шоферу подвезти до трамвая соседок. Машина называлась, кажется, ЗИС и была шикар

пахана. Редкозубый шофер не просто согласился, но еще и помог маме и бабушке влезть в салон.

*«Трамваем доехали до Вятского роддома, где меня мама и оставила. Сильные схватки начались часов с 12-и ночи и продолжались до 8 часов утра, когда и родился Вовка. Никогда еще не приходилось мне испытывать таких болей. Это что-то кошмарное! Тогда я тебя не ругала, а только думала в промежутках между схватками, что никогда больше не допущу до ребенка. Звала на помощь акушерку и маму. Казалось мне, что это никогда не кончится, что я никогда не разрожусь. Но все обошлось благополучно, безо всяких других последствий, без разрывов. Когда акушерка принимала, то спросила, кого мне: м. или д. Я ответила, все равно кого, только скорее. Ну а все-таки? — Мальчика. Через несколько минут она мне показывает мальчика. Черноголовый, шляпоносый, с большим ртом. Он мне сразу не понравился. Я махнула рукой, чтоб унесли. Мне было не до него. И на другой день, когда принесли кормить, то он мне опять не понравился. Сейчас он становится лучше. Но он что-то захворал, похудел очень сильно. Был такой толстенький, на 9 фунтов, а теперь одни косточки. Мне страшно за него. Мало ест, поносит. Была врач, но ничего определенного не сказала. Может быть, и ничего, но я очень волнуюсь. Ночью как ванька-встанька то и дело вскакиваю. Устала страшно».*



*Вятская улица (Москва). Роддом. Нынешняя фотография, дом тот же*

Бандитская легковая довезла до трамвая! Ситуация почти непредставимая для обеспеченного европейца.

Но самое главное и страшное, что волнение маму не обмануло. Надвигалась смерть. А про пенициллин еще никто не говорил, доктор, которая потом всех уговаривала, была на стажировке в соседнем роддоме. Пока же надо было, не подозревая, что спасение существует, переливать поцелуями свою силу жизни в ребенка. Искала помощи в профессорском доме родителей мужа. Там было чище и теплее. Ее выпустили. Она поехала в дом свекра и свекрови.

*«Только лягу, почувствую, что могу вытянуться отдохнуть, как малейшее его кряхтенье, писк, кашель — заставляют вскакивать с кровати, хотя и не хочется, ох, как не хочется вставать! Усынки волосики не совсем черные, а скорее каштановые и глазки желтые, но не черные. Нячусь я с ним одна на Красност[уденческий]. Сразу из роддома приехала сюда, потому что должен был прийти врач, на следующий день (таков порядок: к новорожденному приходит врач на следующий день после роддома. Роддом дает телефонограмму в консультацию, и врач обязана прийти). А потом сынка расхворался, и я застряла. Твоей мамы целыми днями нет, а если дома, то занимается, моя в Лихоборах. Топчусь я с ним одна, и нервничаю, и устаю, и пеленки, и сам он, не знаю, что делать с ним в некоторых случаях. Времени он берет уйму. Все время около него, не отходи. Условия здесь лучше и для меня, и для Вовки, но нет помощи. Как только ему будет лучше, то перееду к маме. Беспокоит меня и учеба. Боюсь, не отстать бы! В теории одно, а на практике — то получается совсем иное.*

*Получила поздравительную телеграмму от генетиков. Обижаясь на Риту: я к ней приходила, а она не идет. Ведь и есть с кем оставить мальчика, не то что мне: одна, она с мамой и не идет.*

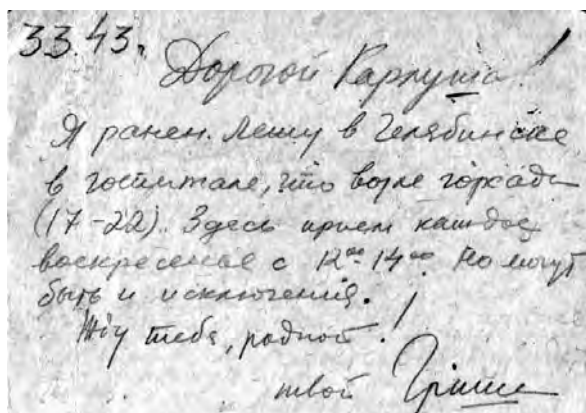
*Я знаю, ты сейчас ликуешь по поводу рождения сына. Я тоже очень рада. Рада, что вышло по твоему желанию. Но все-таки не рада всем заботам, которых ты не видишь. Когда я с тревогой смотрю за маленькую цепляющуюся жизнь, то думаю, что ее нужно сохранить для тебя. Не столько для себя, сколько для тебя.*

*Конечно, я очень хочу быть около тебя, чувствовать твою поддержку и заботу, видеть, как ты заботаешься о сыне, вместе радоваться первому лепету ребенка, вместе радоваться его улыбкам и тревожиться его недомоганиям. Все пополам и все легче. А то и тебе трудно без нас, и мне без тебя тяжело.*

*Об этом надо серьезно подумать. Надолго ли ты в Ч-ске? Прочно ли ты там? Каковы условия? И т.п. Получено письмо от Гриши,*

*которое пересылаю тебе и прошлогоднее письмо Лили. Гриша устал от войны, но все так же успешен в своих подвигах. Об Иринке не пишет ни слова. Он сейчас в Венгрии.*

Дядя Гриша Чухрай был, наверно, самым близким другом отца по школе и по жизни. «Иринка» — его молодая жена, с ней он прожил всю жизнь. Во время войны он был десантником. Смешно сказать, но в 1943 Чухрай попал вдруг в Челябинск. Там они неожиданно встретились. Война как разводила людей, так и сводила. У меня сохранилась открытка от Чухрая папе.



Надо сказать, что отец был очень привязан к другу. Когда он скончался, моя жена Марина сфотографировала его кабинет. На полке с томами философов стояли фотографии молодого Григория Чухрая, еще офицера. К нему папа в госпиталь ходил вместе с мамой, об этом он рассказал в письме бабушке и дедушке:

*«Нельзя сказать, что в квартирном отношении жизнь наша с Танечкой была полностью налажена. До самого отъезда Танюши мы жили стесненно, не свободно, но с милым рай и в шалаше — и мы на судьбу не роптали. Делили два стула на четверых. И некуда было даже приткнуться, чтобы написать письмо. Стесняло и присутствие посторонних.*

*Сегодняшнюю ночь я снова уже спал в общежитии холостячком — отвык. И не жалею об этом. Танюша должна вам рассказать подробно, до мелочей, таков мой наказ, всю историю наших мытарств, смешную и печальную — шедевр трагикомедии. Но мы были счастливы. А в этом суть! Танечке же поручено рассказать о моем положении в школе, с моей работой, об условиях жизни.*

*Танюша познакомилась буквально со всеми местами, кроме разве класса, связанными с моим существованием. Видела и столовую, и баню, и Дом Красной Армии, и была на двух сценах, где я выступал и раньше и в ее присутствии. Словом побывала во всех исторических местах, связанных с именем «непризнанного гения». **Мы были вместе с Танюшей в этом самом госпитале, где лежал Гришенька.** Танюшенька вам расскажет и о самом главном — о моем переходе здесь же в училище на другую работу. С преподавателя авиасвязи — с работы тупой, в буквальном смысле, замораживающей и бесперспективной, на работу нач. клуба авиаполка, которая мне позволит заниматься самообразованием и литературной деятельностью».*

С Чухраем отец дружил всю жизнь. Они верили друг в друга, Чухрай подолгу жил у нас. Уже я помню, как одну из сцен «Сорок первого», где героиня Марютка, «черная кость» бранится с поручиком «из белогвардейцев», который не умеет чистить рыбу. Это буквально записанные слова мамы, которая ругала отца, что он не помогает ей на кухне. Но такова поразительная особенность искусства, что бытовая сцена, попав в другой, в художественный контекст, словно забывает о своем происхождении, становится частью другого образа, просто подпитанного живой жизнью.

Потом профессии их немного развели, но не сильно. Один стал полубезработным кинорежиссером, другой, отец, хотел быть всю жизнь философом, но профессионально стал им лишь в конце жизни, работать приходилось преподавателем истории партии.



\* \* \*

Удивительное создание женщина, жена и мать. Вроде, мать прежде всего, но ощущает себя принадлежащей мужу, мужчине, хочет быть с ним. Пока это главное. И письма ее, как письма Элоизы Абеляру, много тоньше и много страстнее, чем письма философа. Она уже была у него в Челябинске, уже стала его женой:

*«Москва 16.V.44. Родной мой, Карлушенька! От тебя нет писем! Я нигде не могу найти себе места, ни за что не могу взяться. А нужно заниматься, нужно сдавать. Взяла сейчас твои старые письма и перечитывала их.*

*Милый мой, мужчина мой, желанный, страстный, любящий! Какую муку и сколько счастья дает любовь.*

*Как тяжело чувствовать твое отсутствие и как легко, отрадно, ласково становится на сердце, когда подумаю, что ты мой, мой Карлушка, мой муж!*

*Обнимаю, целую, люблю до безумия нежного, любимого Мишку. Целую губы твои, щеки колючие, ласкаю гордого, умного, любимого, заглядываю в черные, тоскующие глаза твои, утопаю в счастье, блаженстве, чувствуя горячие поцелуи твои, нежные ласки, сильные объятия.*

*Пиши мне, жди меня, люби меня.*

*Твоя, вся твоя Таня».*

Суровый военный Челябинск для нее был после месячного отпуска маленьким раем. Это было местом расселения башкир, все же Россия была бесспорно многонациональной, которую объединил русский язык. По научным данным, Челябинская крепость заложена в 1736 году на месте башкирской деревни Челябы. Одной из причин строительства Челябинской крепости были нападения башкир на обозы с продовольствием. 13 сентября полковник Тевкелев «в урочище Челябы от Миясской крепости в тридцати верстах заложил город». Крепость была основана с согласия владельца земли, на которой планировалось строительство, — башкирского тархана Таймаса Шаимова, что в конечном итоге привело к освобождению его башкир от податного обложения. 20 июня 1742 года немецкий путешественник И.Г. Гмелин составил первое описание крепости:

*«Эта крепость также находится на реке Мияс, на южном берегу, она похожа на Миясскую, но побольше и окружена только деревянными стенами из лежащих бревен. Каждая стена имеет примерно 60 саженей. Она заложена вскоре после Миясской крепости,*

*а имя получила от ближайшего к ней, находящегося выше на южной стороне реки леса, по-башкирски Челябине-Карагай».*

Как вспоминал отец, «в жизни военного городка маму многое раздражало — особенно мое солдафонское выслуживание перед начальством, тогда как я хотел ей показать, что могу на строевой площадке командовать взводом не хуже других. В военном городке особенно делать было нечего после службы. Тянуло в Челябинск. Там был драматический театр имени Цвиллинга, где мы посмотрели “Два веронца”, а потом снова город — грязный, пыльный. От театра Цвиллинга (до сих пор не знаю — кем он был) мимо центрального телеграфа пролегало асфальтовое шоссе, а рядом проложены трамвайные линии. Между театром и телеграфом располагался центр города. На нем росла трава. Много. Целый луг и паслись безпастушные рогатые козы. Большой промышленный город нес “на себе” самый громадный тогда в Союзе танковый завод, переделанный из тракторного».

Отец писал в своей «Таниаде»:

«Муж Таниной подруги по МГУ работал на нем фрезеровщиком. Мы дважды навещали эту семью. Расспрашивали о заводе, о рабочих, об их житье-бытье, о его директоре, — малорослом и белобрысом еврее с выпученными серыми глазами, с изрядным шнобелем, всегда одетым во френч песочного цвета. Он имел право напрямую говорить по телефону со Сталиным. Еще бы! Выпускал танки. Танки себя хорошо показали в сражениях, а директор в организации их производства. Был не улыбочив и строг. Не прощал рабочим ни капли ошибки. От точности сборки зависел успех в бою и жизнь танкиста. За ошибки наказывал не сокращением (рабочих не хватало) — рублем, а их и без того было так мало, что в семье Наташи Русак не ели ничего, кроме крупной отварной, рассыпчатой картошки, посыпанной зеленым луком, выращенным под окнами, иногда картошку сдабривали нерафинированным подсолнечным маслом, на закуску — кусок черного хлеба и чай с диабетическими горошинами. Рабочие Зальцмана не любили. Весь день торчал на заводе, вникал во всякую мелочь. Мог бы больше заботиться о рабочих, а директора волновали только танки. После Сталинграда Сталин вручил ему Золотую Звезду Героя Социалистического труда. Были у директора и другие награды, но Зальцман носил только эту. Я несколько раз бывал на заводе по договоренности Зальцмана с генералом Василием Беловым. Директору нужен был лектор,



умеющий поднять настроение у рабочих рассказом о положении на фронтах, о поведении западных союзников. Я, наверное, это умел. Лекции были короткие, читались в минуты пересменок. А я, свободный от лекции до лекции, ходил по цехам, знакомился с рабочими, а заодно и с тем, как они собирали танки, расспрашивал о семьях. Многие уже получили похоронки. Таня все это время сидела у Наташи, вспоминая мирные студенческие дни, преподавателей, друзей и гадали, что будет дальше, каким будет мир, когда победим. и что они сами собираются делать. Наташа была неизменно грустна. Возвращаться в МГУ не хотела, не могла. Молодость была в другой жизни. Мать состарилась, сын – малолетка, муж – кормилец. Хватило бы сил и средств дать высшее образование сыну, да не в Москве, а где-нибудь поближе. В Харькове, например. *Распрощавшись с доброй семьей Наташи, ее мамой, чье лицо было похоже на рассыпчатую картошку, какой она нас угощала, с молодым, но уже лысым, худым, костистым мужем Наташи – который не чета был влюбленному в Наташу студенту – спортсмену МГУ, мы отправлялись в обратный путь, через пустое, без единого строения поле, если не считать столбов электропередачи. Шли пыльным шляхом 11 км до города, да еще 11 км до авиаучилища без всяких внешних примет. Рядом с заводом театр казался игрушечным, а завод – грозным фронтовым укреплением. В городе все ему служило. Без грязи и пыли город был немислим, как и без луга с козами на центральной площади перед единственным театром, как и без обширного пустого пространства (11 км на 11 км), по которому пролегали остатки шоссе. Таня грустнела. А я ничем не мог ее подбодрить. Мои собственные перспективы столь резко отличались от того жизненного пути, какой мне рисовался до войны, что я своей голубушке не мог сказать ничего».*

Самое грустное, что, перечитывая письма тех лет и зная дальнейшее, я невольно усмехаюсь умствованиям отца, он был серьезен и высокопарен, наверно, отчасти эта высокопарность сидит и во мне до сих пор, но уже без серьезности отца, скорее в сочетании с самоиронией, все же опыт поколений не напрасен. Отец писал родителям:

*«Жизнь женщины-матери дороже значительнее жизни мужчины. И я приношу дань безмерной любви двум самым дорогим мне женщинам: той, которая мне дала жизнь – мамочке моей несравненной, и той, которая передает эстафету жизни в следующее поколение, Танюшеньке моей. И я уверен, папуша милый, что ты разделяешь мои взгляды, тем более, что таких, как мамочка, мало*

*есть на земле. Уступить первое место женщине — значит стать самому выше, уступить первое место жене — это значит уступить ей право на первоочередное внимание к ней и заботу о ней. Так рассудила природа. На такой основе я и хочу строить свои отношения с Танюшей. И поэтому, если вы меня любите, больше любите Танюшу. Родные мои! О здоровье вашем я знаю только из писем Танюши. Пишите мне чаще: о здоровье, о работе. Я вам писал уже — не знаю получили вы мои письма? Занимаюсь упорно и диаматом, и литературой, и английским языком. Меня приняли в члены ВКП(б). В одной из рекомендаций отмечено: «имеет серьезные способности литератора-поэта». И это — в партийной рекомендации, и автор большой начальник. Я получаю теперь «Правду», слежу за журналами, стремлюсь гармонически развивать себя, как эллин».*

Сочетание ВКП(б) и эллинства шло, конечно, от по-советски прочитанного Маркса. Но слова высокие оставались в письмах, а здесь между Лихоборами, роддомом на Вятской и Красностуденческим проездом умирал его ребенок.

\* \* \*

Мама смотрела на своего младенца, на меня, и тихо плакала. Сын их — вылитый отец, так она видела, так чувствовала. Но беда все ближе. И с кем поделиться, как не с мужем. Но она могла только повторять стихи, которые отец послал ей из Челябинска в 1942 г., когда окончил свою летную школу, дальше начиналась военная жизнь:

Война эта —  
судьбораздел.  
Нас вихрем она разбросала.  
Мы нынче  
все и везде.  
Я люблю  
по отрогам Урала  
И если моя — Миасс,  
твоя судьба — Лихоборка,  
не сольемся,  
бурля и смеясь,  
не родим  
озерца-ребенка.

Что б ни были мы  
и где б,

Но только бы  
землю России  
реки наших судеб,  
иссохшую, оросили.

Ребенка они родили. А теперь он умирал.  
Она писала ему письмо изо дня в день, но не отсылала.

*«Карлушенька, Володьке очень худо. Я плачу над ним днем и ночью. У него понос и рвота. Эти врачи ничего не понимают. А сынишка стал похож на мумию, не ест, не дышит почти. Господи, почему на нас такое горе! Я не вынесу! Боже мой, лучше бы я переболела не знаю как тяжело, только б он остался жив! Такой славный, хороший был малышка и во что превратился!*

*Мама твоя поехала в город искать доктора. Но разве кто поедет сюда?*

*Бедный малышка! Неужели он не поправится?*

*Врач сейчас была и хочет отправить меня с ним в больницу. У него токсическая диспепсия. Я с самого начала боялась именно этой болезни, т.к. в вятском р/доме инфекция на эту болезнь. Я, по-моему, тебе об этом писала. **Мальчик очень и очень плох. Я каждую минуту жду его конца.** Как тяжело, ты в данную минуту не знаешь, ты радуешься его рождению, а я мучаюсь за его жизнь. Она вот-вот оборвется. Это очень и очень тяжело. Во многом я сама виновата. Неумелая мамаша, плохо его кормила, а наставить было некому. Вот и получилось такое.*

*Карлушенька, как мне тяжело, как тяжело!! Твоя мама еще не приехала. Это была районный врач. Малышка, мой родной! Как же мне жаль тебя! Неужели, Карлушка, ты его не увидишь? Почему здоров Ритин? Почему должен погибнуть мой? Ты получишь это письмо, когда уже будет какой-нибудь результат. В хороший исход я не верю. У меня нехорошее предчувствие. Я так нервничаю, что у меня то появляется, то пропадает молоко.*

*Володьке все хуже. Мы с ним находимся в больнице. У него токсическое заражение. Сепсис. Это произошло от пупочка, т.к. при завязывании туда попала грязь. Карлушенька, ты себе не представляешь, как мне тяжело. Я, пока он был дома, все ночи напролет плакала над ним. Я выплакалась вся, больше, кажется, у меня слез нет. С 10-го стало много хуже, а 11-го ночью он у меня совсем умирал. Я была в таком отчаянии! Возьму его на руки и хожу по комнате, смотрю на него и не узнаю. Он так переменялся! Бледный до синевы, худой, личико заострилось, нос выдается, и глазки закатывает под*

лобик. Бедный мальчик! Он даже совсем не кричал: у него не было сил. От горя у меня пропало молоко. То появится, то пропадет. Я не могла его перепеленывать. Как разверну, так мне чуть плохо не делается. Ручки и ножки стали как палочки. Висит одна кожица. А от тебя получаю такие радостные письма. Мне еще тяжелее от этого. Но сообщить тебе о болезни сына — не могу. У меня не хватает духу убить в тебе радостное чувство. Но для меня это тяжелее: получать восторженные письма и видеть умирающего сынка. Тем более, что ты его не видел совершенно. Когда он родился, то был такой хороший, полненький, беленький, щечки розовые, а губенки красные. Как он тянулся губками к груди, когда хотел есть и как он улыбался хорошо. Я сама невольно на него смеялась.

А теперь он ни на что не похож.

Личико осунулось до неузнаваемости, цвета землисто синего, губки ввалились. У меня бывает такое тяжелое чувство, когда я на него смотрю. И в довершение всего, как я понервничаю, у меня пропадает совершенно молоко. Ну что же делать? Ну почему такое горе постигло нас? Ты бы видел его скорбное личико, видел бы, как он морщится от боли. Это полуживая мумия. Больно смотреть на него, все сжимается внутри от боли. Когда его не видишь, то немного успокаиваешься, а когда смотрю на него, мне невыносимо тяжело. Такая крошка и так мучается. Ему ведь идет только 17-й день, а он уже так болеет! Он бы сейчас должен быть толстеньким, хорошеньким, а он потерял в весе 850 граммов. От него ничего не осталось. Когда его перепеленывают, то я вижу, что ручки и ножки у него совсем-совсем синие, тощие. Что осталось от мальчика!

16.4.45 г. Кажется мне, что сыну стало немного лучше. Но он еще сам не сосет, только глотает. Я ему уже даю в среднем по 50 граммов молока, но с ложечки. Он все время спит. Это тоже плохо, т.к. никогда не просит есть.

Сейчас он немного поправился, потолстел на личико. Цвет лица стал лучше, но синева около глаз и рта осталась. Может быть и поправится. Я целые дни сижу в больнице: с 6-и утра и до 11-и ночи. Встаю в 4-е и ложусь в первом часу. Здесь совсем негде отдохнуть. Но я на все согласна, лишь бы он поправился.

Такая крошка и уже болеет так сильно: заражение крови. Это преступление — так относиться к детям.

Володьку 4 раза колот: вводят пенициллин. Я себе не представляю, как я тебя встречу, если сына не будет в живых. Это страшно и несправедливо — но я буду чувствовать себя виноватой. Так, по-моему, чувствует себя сейчас твоя мама, потому что она не смогла устроить меня в хороший роддом.

Вот тогда и возникла идея пенициллина, от которого (по рассказу мамы) большинство женщин отказались из-за его иностранного происхождения. Впрочем, и те дети, которым кололи антибиотик, умирали один за другим, что окончательно отвратило женщин от этих уколов. Видя, что мама ей доверяет, доктор предложила маме переливание крови и введение плазмы. Иголкой надо было попасть в младенческую вену, которой и видно-то не было.

*«Ни ты, ни твой папа не видели Володьку. Неужели вы так его и не увидите? Я с такой нежностью думала о том, как мы будем с тобой вместе растить сына. А тут вот такое несчастье. Но, м.б., он выздоровеет. Я от отчаяния перехожу к надежде, от надежды к отчаянию. Говорят, что эта болезнь проходит без осложнений. Но тут есть один случай с осложнениями – судороги. Уж если так, то лучше бы сейчас умер, чем быть каким-нибудь... Врач делает сейчас обход и с ней вместе студенты из техникума. Они мучают бедных крошек, учатся на них».*

Своей маме, бабушке Насте, она тоже писала. Но письма к бабушке не сохранились. Сохранились только строчки о ней в письмах к отцу. Беру ту, где тема родов:

*«Были с мамой сегодня в бане, так я ехала в трамвае, а мне какая-то женщина говорит: “Знаете, вам очень идет быть беременной. Вы такая цветущая, розовая, полная”. Лицо у меня, правда, не испортилось, а вообще-то я бочка настоящая, по крайней мере мне так кажется. Хотя девчонки меня уверяют, что я очень аккуратненькая. Володька наш после экзаменов тоже отдыхает. Во время экзаменов он сидел себе смирнехонько, а теперь брыкается так, что я иногда умиляюсь, а иногда сержусь, боюсь, что он мне сквозь мышцы ручонку высунет».*

Уже потом, когда я приезжал жить в Лихоборы и мы ходили с ней в районную библиотеку менять книги, бабушка пересказывала мне мамины письма. О том, как усердно мама училась, как ее любил мой отец, как однажды ее из ревности чуть не утопила одноклассница. Мы шли через шоссе, переходили железную дорогу, по которой ходили электрички, бабушка спотыкалась о рельсы, но преодолевала все препятствия. Мы влезали по откосу на станцию Петровско-Разумовскую, где бабушка переводила дух, и ковляла на своих уже скрюченных от старости ногах до библиотеки, где ее знали и даже привечали. Она до выхода на пенсию была учитель-

ницей младших классов. И осталась в ней любовь к книге, особенно к толстым романам, которые уже своей толщиной заслуживали ее уважение. Библиотекарша давала ей книги, которые, как она говорила, «пользовались читательским спросом». Помню названия: «Падение Порт-Артура», «Белая береза», «Кавалер Золотой Звезды», «Партизанский край», «Молодая гвардия».

Мама очень боялась директрисы роддома, она ей почему-то напоминала классную руководительницу ее класса, Евгению Львовну. Евгения Львовна держала в трепете не только учеников, но и учителей. Суровый директор Павел Васильевич к ней подлизывался. Она преподавала русскую литературу и, когда доходила до темы «Маяковский», то всегда вызывала к доске отца, чтобы он рассказывал о поэте, а не она. «Карл, ты знаешь больше, а главное, эту дурацкую лесенку умеешь читать», – говорила она. У нее хватало разума, чтобы отдать себе отчет, кто лучше знает Маяковского. Маме было приятно, что так ценят влюбленного в нее.

Девчонки ей завидовали: самый красивый и самый необычный мальчик в школе, да еще из Аргентины приехал. К маме одноклассницы ревновали.



*Отец читает стихи Маяковского*

А русская ревность стоит испанской. Но выживание от этой ревности, как и в другие моменты, случайно. В начале июня, за месяц до окончания десятого класса, девчонки из маминого класса в жаркий день поехали на Москва-реку, на станцию Левобережная. Там уже стояли лоточницы с мороженым, продавали в мелких ларьках пиво и фруктовую газированную воду. На песке в кустах разлеглись

молодежные компании. Мама не умела плавать, но Люда, первая красавица из их класса, уговорила ее вместе поплескаться. И повела ее дальше от берега. Со времен Лилит и Елены Троянской многие девушки отличались бесчестностью и сексуальной свободой. Московская Люда была той же породы. Она всех парней сводила с ума, с некоторыми и любовью позанималась. Перед отцом она держалась недотрогой и скромницей. Но он любил истинную скромницу, и Люду не очень замечал. Ее это злило. *Мама ей мешала*. Так ей казалось. Доведя маму до известного ей места, она вдруг неожиданно толкнула ее вперед, зная, что там яма, а мама не умеет плавать. Мама вскрикнула и пошла на дно. Она даже и сопротивляться не смогла, даже не побарахталась. Подлость одноклассницы лишила ее сил. Она уже лежала на дне, остатками разума понимая, что пришла смерть. И вдруг вода раздвинулась, ее подхватил молодой сильный парень и вынес на берег. Он видел, как одна девчонка притопила другую, и вдруг понял, что это всерьез. Вытащив маму, он сделал ей искусственное дыхание. Когда изо рта и носа мамы полилась вода и она стала дышать, парень вскочил и быстро ушел, не дожидаясь благодарности. Так она неожиданно выжила и поняла, что за выживание человека надо бороться.

А начальница роддома, заведующая, говорила очень жестко, даже жестоко. И усики у нее были на верхней губе, как у Евгении Львовны, только не черные, а редкие белесые. Мама лежала истощенная зеленая, а та говорила: «Ну что вы, мамаша, убиваетесь? Всегда так было. Один умрет, другой родится. Знаете, сколько наших солдат погибло сейчас? И сколько продолжает погибать?! А все равно нас будет больше!».

Мама возразила, она знала, что такое война: «Здесь не война, здесь женщины рожают. У них нет оружия». Бабушка Настя, обняла маму и кивала головой. А потом вспоминала и мне рассказывала, как я выживал.

Заведующая растянула губы, будто улыбнулась: «Женщины и на войне рожают. Война, милочка, еще идет, хоть наши уже в Германии, но враги могут быть всюду. Откуда нам знать, что случилось в нашем роддоме! Почему все дети заболели одновременно? Может, это рука врага? Да перестаньте наконец реветь. Вы женщина еще молодая, нового родите». Мама сквозь слезы шептала: «Я Вовку хочу, он уже есть». А заведующая пыталась подбодрить на свой лад: «Вы должны понять, что завтра вы проснетесь, а для вашего малышки завтра уже не наступит». Мама сквозь слезы упорно твердила: «Завтра для него настанет! И до самой его старости будет наступать!» Начальница хмыкнула: «Ну-ну! Верить надо. Но понимать также, что завтра не

всегда приходит. Особенно для больных младенцев!» Тут мама вдруг сорвалась, в ней вспыхнула кровь сурового отца, деда Антона, тяжелого на руку: «Подите прочь, пока я вас чем-нибудь не ударила!» Та пожала плечами, но за дверь выскочила.

Приходила добрая доктор, которая колола меня пенициллином, вводила плазму. «Тихая еврейка, и очень печальная, — как рассказывала потом мама. — Совсем не похожая на твою руководящую бабушку, которая привыкла всем указывать, мол, она старый член партии и все понимает лучше других». Мама плохо относилась теперь к бабушке Мине, матери отца, проще сказать, ненавидела ее. Писать об этом я не буду, но сказать об этом должно. После возвращения отца из армии, бабушка хотела, чтобы он делал поэтическую и научную карьеру, для этого нужно время, дети — это помеха. В те годы аборт был запрещен под угрозой тюрьмы, слишком велика оказалась убыль людей во время войны. Но бабушка Мина уговорила маму на аборт, и сама его сделала на кухне, потребовав, чтобы мама не проговорила об этом отцу. Мама еле выжила после этого непрофессионального вмешательства в ее тело. Но выжила.

Пока же отец был в армии, мама отстаивала всеми силами маленькую жизнь, ею сотворенную. В конечном счете ей сказали, что роддом с моим заболеванием не справится, и перевезли нас с ней в больницу для грудничков. Оттуда мама продолжала писать папе свое бесконечно длинное письмо. Перечитывая его, я поражаюсь тому, как мама все это выдержала, не сошла с ума, глядя как то умирает, то снова оживает ее младенец.

Но вернусь к письму:

*«17.4.45. Мне кажется, что сегодня сыну лучше, хотя вчера вечером ему снова было хуже. Вчера приезжал Вайман. Я его не видела и не знаю, что ему сказала твоя мама. Тебе о болезни сына она говорить не велела. Если б я была дома, то попросила бы его осторожно рассказать обо всем. Ты радуешься и не знаешь, что сын тяжело болен. А нужно быть ко всему готовой. В письме не так скажешь, как может передать живой человек.*

*6.5.45 г. Письмо продолжаю спустя столько времени. После поправки сына, когда осталось нам быть в больнице несколько дней, ему вдруг в одну ночь стало страшно худо. 24-го я пришла утром и не узнала его — он снова синий, худой, с пеной на губах. Стала вытирать — у него полон рот слизи. Позвала сестру — едва вычистили рот, а он опять и не сосет и не глотает. Все снова. Для меня это было страшное испытание. Дети больные в больнице и выздоравливают, и умирают. Видеть последнее оч[ень] тяжело, слышать ры-*



дания матери, когда у тебя такой же плохой сын. Я вся закаменела. Лечащий врач его в этот день была выходная. На следующий день ему сделали переливание крови, через четыре дня еще. Рвота у него была страшная. Он вялый, безразличный, неподвижный. Он совершенно не реагировал на уколы шприцем. Потом начал понемногу плакать. В эту ночь он сразу потерял в весе 270 граммов — в одну ночь! Потом понемногу стал набирать. 2-го мая нас выписали. В больнице я пробыла 20 дней! Итого у меня вырвано больше месяца — это больничные дни. А теперь, будучи дома, я снова боюсь оставить его. Он сейчас очень кашляет. Нужно бы его вымыть, ведь ему уже больше месяца, а он ни разу не купался. Для детей это после еды самое необходимое, но я боюсь его купать. Он еще очень и очень слаб. Из больницы он вышел с весом 3.150. Сейчас не знаю, сколько он весит, т.к. в консультации его побоялась развернуть: холодно. Врач приходила домой, послушала и сказала, что в легких ничего нет. Это меня беспокоило, т.к. к таким детям очень легко все присоединяется. А воспаление легких ему уже не перенести. Я сейчас в Лихоборах. Я так устала, такая стала нервная, за все это время я ни одной ночи не спала спокойно с 30-го марта. Сейчас мама сменяет меня на несколько часов, и я спокойна. Мама так нянчится с ним, так беспокоится, мне это очень приятно и я спокойна, когда оставляю его, хотя еще не оставляла, т.к. в университет еще не ездила.

И мамам-то я наделала хлопот с сыном своим. Твоя мама много приложила энергии, когда я была в больнице. Она сама часто туда ходила; все знали, что здесь лежит Кантор от няни до зава. Она доставала пенициллин, когда его не было в больнице. Моя мама ходила каждый день в р/дом и теперь в больницу регулярно через день».



9 мая мама сходила в детскую больницу, где получила выписку из истории болезни и справку, что ребенок практически здоров. Вечером был салют. День победы. И мама всегда отмечала два моих дня рождения — 30 марта и 9 мая.

А через год из армии вернулся отец. И нас стало трое.

## II. Кропотово

Из папиной тетрадки:

*«Кафедру для специализации Таня по тем временам выбрала рискованную — кафедру формальной генетики (менделизм-морганизм). И другие студенты выбирали эту кафедру не в расчете приличного трудоустройства после окончания МГУ, хорошего заработка, а исключительно движимые познавательным интересом. Выводить новые сорта растений — это ли не захватывающая цель для биолога?»*

*Посоветовал Тане предпочесть кафедру генетики мой отец, ибо, как геолог и минеролог, знал — отчасти и наблюдал — действие генетических законов в преобразовании горных пород, и сложении разных по плодородию почв. Он давно уже склонялся к выводу, что законы генетики универсальны. Его другом в Академии был известный генетик Антон Романович Жебрак, не отрекшийся от генетики. Однако для генетики наступали черные дни. Лысенко готовился к своему одобренному Сталиным докладу на сессии ВАСХНИ в августе 1948 года. А пока подбивались организационные выводы, Таня закончила МГУ и получила звание младшего научного сотрудника. Проф. Навашин взял ее с собой на ЭКСПЕРИМЕНТЫ в дивное место Кропотово (Каширского района) на Оке. Я и сын наш Володя с согласия проф. поехали с нею. У меня в это время были каникулы. Счастливые месяцы. Мы втроем садились в лодку, Таня проводила селекцию с тычинками и пестиками белых, широко раскрывших свои лепестки цветами, плавающими по всей поверхности медленно текущей реки, потом надевала на каждый бутон из прозрачной, дышащей непромокаемой бумаги колпачок и подвязывала их белой тесемкой, как будто капюшончик надевала на голову младенца. Так мы плавали по Оке несколько часов. Можно было бы закончить работу раньше. Но чувство ответственности, свойственные Тане, проявлялись и здесь. Моя задача сводилась лишь к тому, чтобы направлять лодку к очередному цветку. И в неподвижном состоянии удерживать ее, пока работа над очередной белоголовкой не закончится. Вовочка наш болтал ногами и ручками в воде и напевал детские песенки. Никаких поползновений перевернуться за борт у него не было».*

Поползновение случилось чуть позже.

*«Я слушал команды Тани, а сам любовался молодой женой, ее загорелым красивым торсом, спиной и узкой талией, в которых*

не было ни одной лишней жиринки, прекрасным, как широкая греческая ваза вылепленным тазом, крепкими бедрами бегуньи и всей ее спирально изогнутой фигурой. Я уж не говорю о рыбаках, редко проплывающих мимо и зазывающих ее к себе, ею любовались рыбы, стайками подплывающими к ее рукам и цветы, которые она обихаживала. Но на несчастье был выдан скоростной билет. В августе всех представителей биологически «вредной буржуазной науки» — генетики разогнали кого куда. Сокращали с работы крупных, с мировым опытом, ученых по причине «научной несостоятельности». Закрывали институты, кафедры, научные лаборатории. Таня ни разу не пожалела, что выбрала эту гонимую кафедру. Среди ученых разочарование было сокрушительным: профессор Собинин кончил жизнь самоубийством, проф. Голубев умер от разрыва сердца. Генетик академик Жуковский, боясь потерять свою молодую жену, написал обширное покаянное письмо в газету «Правда». Раскаялся. Его простили и чуть ли не наградили. Таня ни на секунду не усомнилась в выборе специальности, убедившись в ее истине и шарлатанстве Лысенко. Именно как генетик-селекционер она внесла после разгрома лысенковщины заметный вклад в отдаленную гибридизацию плодовых. С этих работ Таня могла бы начинать, если бы не Лысенко. Потеряны были годы».



Но и Кропотово, где была биостанция, основанная биофаком МГУ, не сплошная лирика, не обошлось без ситуаций, почти катастрофических. Хотя красота там была почти нереальная, осталось фото сада на территории биостанции. И время проходило в разговорах о науке и в волейбольных играх. Это все рассказы мамы и папы. У них сложилась небольшая компания образованных и не старых людей, молодых коммунистов и фронтовиков, особо при-

лип к молодой семье местный красавец грузин, доктор Гоги. Ему мама нравилась. Он любил ее молча, но два раза в неделю всегда приносил букет цветов. Гоги тоже работал на биостанции терапевтом, но приходилось ему быть всем на свете, даже хирургом. Он говорил маме: «Когда Карл тебе надоест или он тебя бросит, иди к Гоги. Гоги тебя всегда примет». И принимался насвистывать «Су-лико». Папа, по словам мамы, немного ревновал, но старался виду не подавать.



*Яблоневые деревья на территории биостанции*

Мне было три года, иногда, правда, кажется, что вспоминаю, но холодный рассудок говорит, что слишком у меня живое воображение. Но этот случай вроде бы сам запомнил. Было одиннадцатое июля. Завтра – двенадцатого июля – Петров день и мамин день рождения. Но мама хотела еще сегодня на реку – поработать. У берега стоял на воде причал, куда два раза в неделю подходил маленький пароходик, по бокам колыхались на воде лодки, в одной из которых папа возил по Оке маму. Вот и в тот день он сидел, в лодке, ожидая маму, а я лазил по перилам причала. Папа краем глаза наблюдал и за мной. Но на момент отвернулся и успел только увидеть, что я весь уже ушел в воду головой вниз, только две ножонки еще наружи. Реакция отца была мгновенна. Он ухватил меня за ноги и вытащил из воды, принялся встряхивать, и я зады-

шал отплеываясь. Мама, замерев, стояла на берегу. Она видела мое падение, потому и замерла. Когда я отплевался, мама прыгнула в лодку, молча погрозила отцу кулаком и взяла меня на руки. Эти моменты отложились в зрительной памяти: закрываю глаза и вижу. Вижу и то, что папа не записал в свою “Таниаду”, ему это казалось мелочью. Но я-то помню, как папа поплыл за кувшинкой, куда не проходила почему-то лодка, сорвал, принес, протянул маме и попытался нагнуть ее голову, чтобы поцеловать. Лодка едва не перевернулась, мама испугалась, вскрикнула, ведь плавать она так и не научилась. Но папа был в хорошей спортивной форме после армии, лодку он удержал и сам вскочил в нее, правда, еще больше накренив. И мы поплыли к берегу. Однако когда папа выплыл из зарослей, за ним следом метнулось черное змеиное тело. Но папа уже был в лодке. Сам не знаю, привиделась ли мне раскрытая пасть змеи, но помню, что змеей мама обзывала свою свежую кровь после диких абортов.

Помню рассказ мамы, как однажды, ночью во время сна ей приснилось, что к ней ползет огромная черная гадина. Мама аж задохнулась от ужаса. И проснулась вдруг от удара. Любимый муж Карл со всей силы ударил ее рукой по голове. Сам проснулся, схватил ее голову, принялся целовать и шептать, что ему приснилось, как к маминой голове ползет черная гадюка, страшная гадина с разинутой пастью.

Следующий день было мамин день рожденья, который почему-то все называли Петров день, я в свои три года ничего не понимал, но видел, что все соседние дома как-то по-праздничному прибраны, и по домам ходит местный священник отец Андрей. Папа и студент Илья из маминой экспедиции, тоже бывший фронтовик, сидя на крыльце, вдруг решили провести антирелигиозную пропаганду – спойти попа, чтобы простые люди поняли, что религия это сивуха, хуже самогона. Правда, хозяйка дома, баба Люба, с волосатенькой бородавочкой под правым глазом, вдруг сказала отцу: «Карл, ты человек хороший, хоть и не нашей веры, не трогай отца Андрея, у него несчастье в прошлом году случилось. Сын Павел ему сказал, что Бог жестокий, что *всех младенцев разрешил Ироду убить, а своего сына Иисуса спас*. Тут отец Андрей ему и врезал. А он пошел и утопился». Отец покачал головой: «Детей нельзя бить». Кстати сказать, он ни разу меня за все мое детство не ударил. Отец добавил: «Что же он не по-христиански жил – сына бил?». Баба Люба покачала головой: «Видно, что ты другой породы. В России всегда детей били, они крепкими вырастали. А отцу Андрею нелегко, в церкви проповеди читать, о прихожанах заботиться...».

Бывший фронтовик, студент Илья, отпустил студенческую шутку. «Ну да, на груди крестик, а в груди нолик». Отец возразил: «Не надо так, пойдем лучше в народ». Но вначале они выпили за мамино здоровье и пожелали успехов в работе. Пожелали, чтобы следующий год принес расцвет генетике. И чтобы к следующему дню рождения мама написала диссертацию. Немного спотыкаясь о кирпичи, набросанные вокруг крыльца, приготовленные, чтобы крыльцо укрепить, они ушли туда, где отец Андрей обходил прихожан, выпивая с каждым из мужиков, по рюмке, по две, приговаривая, как рассказывал маме Илья: «Еще по одной. Не воз-бро-ня-ется!» Два бывших фронтовика решили, что они легко перепьют попа. Пили с ним вровень и даже подначивали каждый раз добавить. Отец Андрей не возражал. А офицеры радовались, что скоро народ увидит пьяного попа. Но поп даже не морщился, пил и поглядывал с интересом на отца и Илью.

Офицеры вначале хотели перегнать отца Андрея, потом лишь старались не отставать. Как рассказывала потом мама, отец в какой-то момент вспомнил о своем челябинском кошмаре, когда его напоили однополчане. Но сейчас остановиться уже он не



*Церковь Преображения, с. Спас-Детчин,  
Каширский район Московская область*

мог (впрочем, как и тогда), да и деревенские, и батюшка на него глядели. Однополчане устроили ему в тот день (это было начало 1943 г.) большую пьянку в армейской столовой за какой-то его летный успех. На улице было холодно и снежно. Офицеры сидели за длинными столами, пили водку из стаканов, и самогон, закуски было немного: хлеб, сало, яичница на огромной сковородке. Пили стакан за стаканом: «Ну, Карл, за тебя!! Ну будь!» Потом стали распознаться. Отец еще сидел за столом, хотел дать денег официанткам. Отдал немного, денег почти не было, но девушки и этому были рады. Отец уже подняться не мог, но крепкие челябинки вывели его на крыльцо и ткнули рукой в направлении казармы, куда, спотыкаясь меж сугробов, отец и побрел. Пока ему смотрели вслед, но держал форму и шел, хоть и пошатывался. Шел по направлению к казарме, над дверью которой висела тусклая лампочка. Не доходя метров двадцати, он поскользнулся и рухнул в сугроб. Сколько он там пролежал, отец не помнил. Но когда начало светать, он очнулся и на четвереньках добрался до казармы. Вполз в дверь дополз до койки и влез на нее. И отрубился.

Ровно в восемь, его начали трясти за плечи, содрали одеяло и кричали: «Кантор, срочно! Генерал вызывает!» Отец выскочил из-под одеяла, его вывели на крыльцо. Где уже стояла бадейка с ледяной водой, в которой он умыл лицо и шею, чтобы прийти в себя. А дальше ужас советского времени, надел брюки, китель, влажную от валяния в снегу шинель, натянул сапоги, не думая о последовательности действий. И вдруг ощутил странную пустоту в карманах кителя. Сунул руку в один, в другой. Ни военного билета, ни партбилета не было. «Ребята, — спросил он растерянно, — никто партбилета и военного билета у меня не забирал, не прятал? Не надо так шутить!» Но никто не брал, все бросились искать, нигде этих документов не было. Вбежал вестовой: «Кантор, ты идешь? Генерал сердится!» Отец, уже более, чем протрезвевший, махнул рукой и двинулся из казармы. Самый большой доброжелатель вдогонку бросил: «Штрафбат, не меньше!»

Отец шел, думаю, на дрожащих ногах, но, подойдя вначале к двухэтажному каменному домику, где находился штаб, а потом к кабинету генерала, он распрямился и вошел строевым шагом. «Товарищ генерал, по вашему приказанию старший лейтенант Кантор явился». Тот, не вставая из-за стола, сказал: «Ну здравствуй, старший лейтенант! Хорошо, что явился. Значит, проступков за собой никаких не чувствуешь?» Отец посмотрел честно в глаза генералу и выговорил: «Чувствую, товарищ генерал!» Тот, ухмыльнувшись, с любопытством посмотрел на отца: «И что это за

проступок?» Отец встал по стойке смирно: «Очень много выпил вчера, товарищ генерал». Генерал покачал головой: «Для офицера это не такой большой грех». «Спасибо, товарищ генерал!», — ответил отец. Генерал покачал головой: «Ладно, Кантор. Пьянка — это ерунда. Где твой военный билет и партбилет?» Это было начало катастрофы. Отец распрямил плечи по стойке смирно. «Не могу знать, товарищ генерал; кажется, потерял. Или кто-то вытащил из кармана, пока я лежал пьяный». Генерал отодвинул стул, встал, опершись ладонями о стол. «Ты понимаешь, что это значит? Если не расстрел, то штрафбат как минимум!» Отец шелкнул сапогами и сказал: «Служу Советскому Союзу!» А что еще он мог сказать! «Вот и будешь служить, куда Родина пошлет. И не надейся, что на крыльях полетишь. Пешком пойдешь, в пехоту тебя отправлю, чтобы советскую авиацию не позорил!» Отец снова сдвинул сапоги: «Служу Советскому Союзу».

Генерал помолчал. Потом вдруг выдвинул ящик своего стола и бросил на стол военный билет и партийную книжку. Отец обмер, но руку к ним протянуть не решился: «Откуда это у вас, товарищ генерал?» Тот помотал головой: «Дурак ты, Кантор. Хотя летчик хороший. Это я у тебя документы из кителя достал. Ведь мог и чужой достать. Чтобы мы тогда делали! Ладно. Забирай. Свободен. Можешь не благодарить. Иди».

Так благополучно закончилась первая грандиозная пьянка отца. Вообще-то он почти не пил. Какая муха его укусила с отцом Андреем? Скорее всего, большевистская, воспоминание комсомольской юности и читанного когда-то журнала «Безбожник». Когда Илья отпал, отец еще держался и шел из избы в избы, поддерживаемый отцом Андреем. Кончилось все это так. Отец Андрей приволок отца к избе и аккуратно сложил на траву. Постучал в стекло, вызвал маму и степенно направился к другим прихожанам, поставив на крыльцо баночку с какой-то жидкостью, сказав маме: «Ты, Татьяна, утром дай ему стакан браги, это помогает».

Ночь прошла беспокойно. Мама все время бегала и меняла отцу мокрую повязку на лбу. Он вертелся, тяжело дышал, а потом вдруг стал кричать: «Таня, земля круглая!». Планетарное устройство он постиг без помощи Коперника и Галилея, а всего лишь с помощью пары стаканов самогона. Впрочем, я не прав. Все же отец был летчик. Просто самогон опытно подтвердил, что он и без того знал. Земля кружилась и плыла. Это он юной жене сообщал. Утро все же наступило. Отец поднял голову, перевернулся на живот и встал на четвереньки: «Таня, дай мне кружку холодной воды». Мама приказала мне не слезать с постели, налила кружку колодезной воды



и наполнила из колодца ведро. И пошла к папе. Первым делом она вылила ему на голову ведро воды, папа принял это покорно, понимая, что виноват. Выпил воду, стуча зубами о железную кружку. Мама сказала, протягивая ему пол-литровую банку с брагой. «Выпей, станет легче». Отец сморщился, но выпил и отправился спать под яблоню.

Баба Люба сказала: «Не переживай, Таня. Вроде он все же непьющий. Пойди лучше делом займись. Дала похмелиться, а теперь белье хоть постирай! А Вовка вон на крыльце поиграет. Солнышко на дворе. Пусть погреемся». Мама согласилась: «Пусть». Достала корыто, залила туда ведро холодной и ведро согретой воды, пустила терку, бросила рядом белье и взялась за стирку. А я отправился на крыльцо, сходить с крыльца мама мне запретила, чтобы она могла за мной следить. Делать было нечего, и я ловил разомлевших на солнце мух. Я ползал по крыльцу, хлопая ладошкой по разнежившейся мухе, но лучше всего было хватать их, когда они сидели на перилах или ползали по столбикам, на которых перила крепились. Скоро мухи стали меня опасаться и отлетали все выше, пристраивая на столбиках. Я пытался дотянуться, вставая на цыпочки. Потом нашел в сенях ящик, в котором баба Люба хранила овощи. Подтащил его к перилам. Встал на коленки на ящик, ухватился руками за перила и поднялся. Ящик стоял прочно. До некоторых мух я сумел дотянуться, но две нагло не давались. Я уже вел к ним согнутую ладошку, в которую намеревался ухватить их, хотя бы одну. Но ближайшая успела улететь. Я влез на перила и, балансируя, двинулся к мухам. Мама стирала в сенях, папа дремал под яблоней. Говорят (потом узнал), что когда идешь на высоте, нельзя смотреть вниз. Я не знал, посмотрел на кирпичи, голова вдруг закружилась, и я полетел вниз головой. Наверно, вскрикнул, ударившись лбом о камни. Помню только, что лицо сразу стало мокрым от обильно потекшей крови. Потом помню потолок надо мной, лицо мамы склоненное надо мной и слышу ее отчаянный крик: «Карл!!! Карл!! Ты где?!!»

Отец вбежал в комнату. Как они вспоминали, мама держала меня на коленях, а колени ходили ходуном, ко лбу она прижимала белую мокрую тряпочку, которая тут же становилась красной от крови. Баба Люба нарвала много таких чистых тряпок, мочила в ведре и давала их маме. Папа оцепенело стоял рядом. И моргал глазами: «Таня, что делать?» Похмелье его еще не отпустило. Мама молча прикладывала тряпицы к моему лбу, потом вдруг сорвалась: «Ну что стоишь, как столб, — крикнула она отцу. — Беги за Гоги!» И папа побежал, побежал на другой конец деревни, а это было ки-

лометра три. Пока его не было, колени у мамы продолжали дрожать, а зубы стучали. Как уж бежал папа, трудно вообразить, но минут через двадцать они оба ввалились в сени, папа тащил Гоги за руку, но и тот не отставал.

– Давай, Таня, показывай, что с Вовкой. Ты тряпку-то убери. Я все-таки доктор.

В руках он держал большой пузырек перекиси водорода и огромный кусок ваты. Обмакнул вату в перекись и снял аккуратно с моего лба промокшую от крови тряпку, приложил вату с перекисью, которая сразу зашипела, коснувшись раны, я вскрикнул. Гоги промыл рану, приговаривая: «Терпи, сын офицера. Боль надо преодолевать».

У мамы губы шевелились с трудом, когда она спросила: «А Вовка поправится? Сумасшедшим не станет? У него же голова пробита». Гоги профессионально перебинтовывал мою голову, морщился и ухмылялся: «Таня, успокойся, до свадьбы, до нашей с тобой свадьбы заживет». Мама в испуге первый раз подняла на него глаза: «То есть никогда?» Гоги спросил: «Не хочешь да? Карла своего любишь? Да мне он тоже нравится. Ну что ж, так судьба сложилась».

Голова моя зажила, но шрам на лбу с левой стороны был весьма заметен. Уже много позже моя насмешливая вторая жена спросила: «Что за шрам? Рог пилил?»

### III. Завтра

А когда мне исполнилось лет пять (а, может, четыре, точнее не могу вспомнить), почти сразу после моего дня рождения, на который мама позвала соседских девочек и мальчиков, я тяжелейшим образом заболел скарлатиной. Она проявилась довольно быстро: сильнейшая головная боль. Глотать было больно, а по всему телу пошла розовая сыпь. Мама сразу вызвала врача, температура перевалила за 39. Доктор, маленький, полный, молодой, по фамилии Ляпис быстро осмотрел меня, показал маме мой в пупырышках язык, выписал полоскания, все названия не запомнил, фурацилин помню точно и уколы привычного мне пеницилина. Но доктора больше всего интересовали лимфатические узлы у меня сзади на шее. Как потом выяснилось, не зря. Но это другая история. Я лежал в постели, на краю постели сидела мама, доктор рядом на стуле. В дверь заглядывали бабушка Мина и отец, причем бабушка не давала отцу войти в комнату. Доктор Ляпис спросил: «Другие дети есть?». Мама покачала отрицательно головой. «А взрослые все болели?» Мама не

болела, но ответила твердо: «Это не важно». В комнату наполовину вдвинулась бабушка Мина: «Карл не болел. Ему нельзя с Вовочкой контактировать. А ведь больных scarлатиной детей обычно отправляют в больницу». Доктор ухмыльнулся: «Если очень тяжелая форма либо по просьбе родственников». «Так вот, мы просим», – твердо произнесла, будто впечатала слова, бабушка Мина. Мама была в растерянности. Прижалась ко мне, стала целовать лицо.

Доктор сказал: «Я еду в поликлинику, пришло оттуда скорую. Надо договориться с шофером. А вы пока форточку откройте, душно здесь. Ему свежий воздух нужен». И ушел, пройдя сквозь бабушку и отца, как сквозь стенку. Затем бабушка вытолкала отца из комнаты: «Ты scarлатиной не болел, а у взрослых она всегда проходит в тяжелой форме». Но отец оттолкнул бабушку и решительно вошел в комнату, закрыв перед бабушкой дверь. Не мог он оставить любимую жену и сына без поддержки. Хотя какая уж тут поддержка! Я смотрел на занавески, которые, казалось, были столь тяжелы, что словно душили меня. Мама не плакала, но глаза были мокрые, словно она их только что под водой мочила. Открыв форточку, она укутывала меня одеялом, подтыкая со всех сторон, чтобы холодный воздух не проникал ко мне. Щупала все время лоб, температура не спадала. Отец сидел рядом, на краю постели. Я сам чувствовал, что лоб горит. Голова была тяжелая. Горло болело так, что даже слюну проглотить не мог. Мама спросила, смогу ли я дойти до ванной, прополоскать горло. Я кивнул. Она быстро ушла на кухню готовить полоскание. Когда она вернулась со стаканом в руке, я уже вытащил ноги из-под одеяла, чтобы встать. В стакане плескалась желтоватая жидкость – фурацилин. Я попытался встать, но именно попытался. Меня пошатывало. Мама подхватила меня, придержала за плечи и аккуратно шаг за шагом вела меня в ванную к раковине. Там, запрокинув голову, я булькал в горле лекарством. В зеркало над раковиной я углядел непривычный мне ярко-малиновый румянец на обоих щеках. Ноги при этом подгибались. Мама увидела это и повела, почти понесла меня, обняв за плечи. Отец подхватил меня с другой стороны, подняв ноги. Они донесли меня до постели. Я туда свалился как какой-то куль. Глаза закрылись, открыть их не мог. И забылся в беспамятстве.

Так я теперь думаю. Поскольку открыл я их уже в больничной палате. Доктор Ляпис сделал то, что обещал – прислал машину скорой. Чужой белый потолок, чужая простыня, тоненькое одеяло, а на дворе конец февраля. На мне пижама в полоску, как у заключенного, было холодно. За дверью слышал мамин голос, она спорила о чем-то со старшей медсестрой. Потом она распахнула дверь.

Следом за ней шла медсестра и все повторяла: «У нас не должно быть исключений. Почему ваш сын должен лежать прикрытый еще и пледом? А как же остальные дети?» Мама резко повернулась к ней: «А остальным вы выдадите вторые одеяла, они у вас есть. Я узнавала». Так утеплилась наша палата. Мне делали уколы. По утрам на тумбочку ставили коробочку с лекарством. Там обычно лежали три таблетки — на утро, день и вечер. Очевидно, дней через десять-двенадцать я пошел на поправку. И ужасно захотел домой. И каждый раз, когда приходила мама, я спрашивал ее: «Когда ты меня забереешь?» И каждый раз она отвечала: «Завтра». Наступало «завтра», мама приходило, я вопрошающе смотрел на нее: «Ты меня забираешь?» Но она отвечала: «Я ведь обещала забрать тебя завтра, а сегодня ведь “сегодня”. Потерпи до завтра». Так повторялось несколько дней подряд. Я уже смотрел на маму как на обманщицу. Хотелось плакать, когда видел, как она входит ко мне в палату. И в голову тогда маленькому не приходило, как мама ухитрится отпрашиваться с работы, где она обязана сидеть все восемь часов. Мне было обидно, что слово «завтра» заколдованным стало, что оно все никак не наступит.

Уже много позже я прочитал к книге маркиза де Кюстина, что в России есть волшебное слово «завтра», означающее, что обещанное никогда не наступит. И все же Россия всегда держалась на русских женщинах, которые делали «завтра» реальностью. И вот в какой-то день мама вошла в палату с большой сумкой. И я сразу все понял. Это было обещанное мамой ЗАВТРА. Это была моя одежда. Мама меня забирала домой!

## Похороны деда Антона

**Д**ед умер в шестьдесят семь лет. Мне он казался очень старым. Дед Антон приезжал иногда в нашу профессорскую квартиру навестить дочь и внука. Ходил, опираясь на рукоятку трости, если так можно назвать самодельную сучковатую палку с рукояткой. Трость он сделал сам из сломанной ветки лесной осины. Иногда останавливался, доставал из бокового верхнего кармана полувоенного кителя трубочку, в которой он хранил мелкие таблетки нитроглицерина, клал одну под язык. Стоял минуты три, потом шел дальше, поглядывая, не найдется ли что-то выброшенное для его мастерской. В своем сарае, своего рода мастерской — в общем длинном строении, у него был верстак, топор, молоток, пила, рубанок, ящик с отделениями для гвоздей разных размеров. Шел 1965 год. Хотя дед был старым, он продолжал игриво поглядывать на молодых женщин с детьми, гулявшими во дворе. Особенно ему нравились молодые жены наших профессорских сынков. Как-то одна милая блондинка в голубом пальтишке, с которой я всегда здоровался, улыбнулась мне, а дед приосанился, даже на палку перестал опираться, и с завистью сказал: «Ишь, какие девушки на тебя внимание обращают». Мне было лет тринадцать, а ей под тридцать, и про амур мне даже в голову не приходило.

Впрочем, и дед Антон больше хорохорился. Мужчина всегда молодеет, когда видит хорошенькую женщину.

Лежали там и струганные им доски, светлые после снятой с них стружки. Он мастерил для меня скворечники и другие поделки, которые требовала с мальчика классная руководительница. В этом смысле дед был надежный помощник. Но порой прямо дикий и нервный. Когда он злился, то хватал свой солдатский ремень и пытался перетянуть то меня, то моих двоюродных братьев — Сашку и Тошку — этим ремнем по заднице. Юркий Тошка как-то даже выскочил из окна в палисадник, благо комната находилась на первом этаже. Меня, как старшего внука, сына любимой ученой дочери, бабушка Настя прикрывала своим телом,

вертяться перед дедовским ремнем, подставляя свою нижнюю часть. «Ну ты, потатчица! Убери свою хлебницу! Дай я его достану!» Но бабушка все равно продолжала потакать, и прикрывать мальчика собой. «Это же Танин сын!» Дед мою маму тоже любил, она унаследовала его страсть к биологии: ведь он разводил разные сорта, скрещивал их. Лысенко тогда писал о невозможности скрещивания, ибо получаются в результате мутанты. Но у деда все получалось классно.

Коммуналка, в которой жила мама с родителями, сестрой и братом, находилась на первом этаже двухэтажного домика, в середине квартиры – выгребная яма для большой нужды, бабушка Настя меня всегда туда сопровождала и держала за руку, чтобы я не рухнул вниз. Туалетной бумаги не было, была газета, которую бабушка долго мяла, прежде, чем приняться за вытирание моей задницы. Раз в месяц приезжала машина с большой гофрированной трубой, которую мальчишки называли «говновоз», трубу запускали в выгребную яму и, причмокивая, машина отсасывала дерьмо, пока не заполнялся контейнер.

Папа в подражание Данте написал «Таниаду» в стиле *Nova vita*, стихи, перемежаемые прозой, история их с мамой любви. В том числе и о мамином жилье. Мама жила в Лихоборах, неподалеку от насыпи Окружной железной дороги. Название говорящее. Папа писал: «Кроме Таниной семьи, в этой, с позволения сказать, квартире, жили еще две точно в таких же конурах. Все это были беженцы – из подмосковных деревень, середняки, которых по произволу властей могли раскулачить. Семья моей Тани состояла из пяти человек: отец – шофер, мать – учительница младших классов, две взрослых дочери – старшая на выданье за балтийца-моряка, Таня – ученица средней школы, только в 7 класс переехавшая из своего сельского рая на околицу Москвы, в лихоборскую дерьмовщину. Родители спали на одной однорядной кровати, старшая, корпулентная сестра на столе (для раскладушки не было места), Таня – на диване, куда складывался, за неимением шкафа и буфета, весь домашний скарб, братишке стелили матрас и простыни с подушкой на полу. Как в этих условиях Таня могла заниматься, объясняется тем, что она повелевала семье замолчать, когда готовила уроки, а для своих тетрадей и учебников выкраивала край стола. Всегда скромно одетая, чаще всего в темно-синем габардиновом платье с белым воротничком, всегда чистая, аккуратная, всегда готовая отвечать на задания, ни у кого не списывая, не ожидая подсказки (что было среди учеников повально распространено), она училась отлично. С тех пор, а может быть, и раньше ее

правилом стало “опираться на собственный хвост”. С этим правилом она прожила всю свою жизнь до последнего дня. “Не надо мне помогать, я все это лучше сделаю сама”».

Так и приходилось ей делать всю жизнь. Но что меня поражало и до сих пор поражает, что ни сестра, ни брат дальше учиться не хотели. Мама училась на кафедре генетики. Вспоминая мамину родню, удивляюсь, как в пределах одной семьи, от одних родителей, произошли такие разные дети. Но главное, почему вдруг при прочих равных условиях, только у мамы возникло желание стать ученым, получить высшее образование. Как родилось такое целеустремленное движение деревенской по сути девочки? Конечно, баба Настя — учительница и читательница толстых книг, дед Антон — садовод по призванию, но и брат, и сестра имели тех же родителей. Тут без генетики и впрямь не разберешься.

Дядя Володя окончил семилетку, когда бабушка Настя его корила, что, мол, Таня учится, а Лена — девушка, у нее жених хороший, а парню нужно образование. Дед молча кивал головой. Но все впустую. Дождавшись восемнадцати лет, дядя Володя ушел в армию, попал на Курильские острова, но там не потерялся, сошелся с дочерью поварихи, сделал ей ребенка, женился. И жил неплохо. В середине пятидесятых вернулся в Москву с женой и дочкой. Правда, месяца через два он с курильской женщиной разошелся и отправил ее назад на Курилы. Бабушка Настя рассказывала, что Володька всегда был находчивый. Еще подростком лет шестнадцати они шли вечером домой, а Лихоборы — не место для вечерних прогулок. Их окружила шпана, но Володька умел *по-ихнему* разговаривать, отболтался и его отпустили. А приятеля зарезали.

Еще две детали из его московской жизни, до похорон отца. Он нашел женщину с квартирой, завуча средней школы, по имени Алла Михайловна. Крупная, выше дяди на голову, очевидно, истосковавшаяся без мужчины, она, как могла, заботилась о нем. Никто из родственников ее не признал, хотя она нашла ему работу завхозом в своей школе. Как-то я принес ему от мамы какие-то бумаги. Он вышел открыть дверь, прикрываясь полотенцем, улегся снова нагишом на кровать и принялся листать бумаги. Под кроватью валялись использованные презервативы. «А девушка у тебя есть?» — спросил он, закончив перебор бумаг. Я смутился, мне было пятнадцать лет. И воспитан я был так, что о делах сердечных молчал. Тем более, что дядя хотел знать, трахаюсь я или нет.

Разбирая после смерти родителей их бумаги, я наткнулся на стопку маминых писем, засунутых в старый, уже желтый конверт.

Письма были удивительная, будто новая Элоиза писала своему Абеяру, профессорскому сыну, я их приведу, но по очереди. Вот мамино воспоминание:

*«После посещения твоих родителей целая полоса сомнений в своем уме, развитии. Я ведь деревенская до семнадцати лет. Что о моем детстве? Росла в деревне. Сад. Яблони. Яблони. Любила лазить по яблоням за еще зелеными и потом зрелыми яблоками.*

*За это часто ругал папа, т.к. лазя по яблоням, обламывала маленькие побеги. Вишни, сливы, смородина! Хотела бы я сейчас побывать в таком же саду!*

Маленькое отступление от мамино письма. Сам дед, пересказывая эпизод с маминым падением с яблони, добавлял: «она ветку сломала. Иду, смотрю — ревет, и пытается слюнями ветку назад к стволу приклеить. Я посмеялся, спрашиваю: “Что, отшибла доньшко?” Она увидела, что я не сержусь, заулыбалась, слезы высохли.

*Весна! Ручьи, проталины, первая травка, цветение сада!*

*Осенью сбор яблок. Летом сушка сена, лес, грибы, ягоды.*

*Осенью любила лазить по рябинам за охваченной первыми морозами рябиной. В саду забираться на самую верхушку яблони за чудом уцелевшими яблоками. Зимой учеба у мамы и катание на салазках и ледянках.*

*Помню, однажды, чуть не уехала куда-то, прицепившись к каким-то проезжавшим саням, а отцепиться никак не могла.*

*Помню, еще во 2-м классе прислал мне один мальчишка Петя Ипатов письмо, в котором объяснялся в любви. Лена меня потом дразнила этим до слез.*

*Когда была еще совсем маленькой, мамыны старшие ученики играли со мной, называли «золотой девочкой». Я забиралась с ними в класс и таскала мел. Спрячусь за доску и там грызу его.*

*Зимой около школы (она была на окраине деревни) строили крепости, лепили снежных баб.*

*Весной в пруду около школы ловили лягушечью икру.*

*Лежали в нем, купались и рвали кувшинки.*

*Или как хорошо ехать зимой в лесу на санях! Какая прелесть ехать по дороге, ограниченной заснеженным лесом. Мама ездила на какие-нибудь конференции, забирала меня с собой. Закутает в тулуп, сама правит лошаадьми. Ох уж эти запряжки! Сколько с ними было курьезных случаев. То кольцо соскочит, то повозка сломается, то лошаадь распряжется. Лошаадь у нас была серая. По кличке Ласик. А корова Новинка — белая, хорошая. Но очень своенравная. Ин-*



*интересно было за ней ухаживать, вернее наблюдать, когда она была еще теленочком.*

*Тебе все это незнакомо, городской житель.*

*Я хотела бы, чтобы наши дети уезжали на лето в деревню. Но такой деревни, какая была у меня, у них не будет. Мы же жили там все время».*

Деревня называлась Покоево, находилась в Истринском районе Московской области, купеческом районе центра России. Года три мы ездили туда на лето, последний раз, когда мне было тринадцать лет, а Сашке двенадцать. Младшего, Антошку-Тошку, тетя Лена отправляла в пионерлагерь. В деревенском доме, поплотнее, чем был у деда (как считала мама), жила его сестра Пелагея, тетя Поля. Высокая, костистая, носившая все лето один и тот же мужской пиджак, она редко улыбалась, смеялась как-то очень резко. Из двоих сыновей старший ушел в армию и в деревню не вернулся. Сестра-погодок была красавица (рассказывала мама), тетя Лена добавляло грубо: «Завела себе любовника, забеременела, так любовник, местный мужик, ее косою в живот ударил, убил и ее, и ребенка». Второй сын Костя был нетверд разумом, и тетя Поля нашла ему молодку Олю, правил, видать не очень твердых, она родила двойню, мальчишек, кормила их, не вставая из постели. И как-то ночью одного из младенцев «заспала» (первый раз я услышал это слово), во сне придавила своим жарким телом, младенец и задохнулся. «Нам теперь легче будет», — оправдывал Костя жену Ольгу.

Деревенская сексуальность, как теперь понимаю, вполне стоила городской. Еще про деда Антона бабушка Настя рассказывала историю. Только они поженились, дед с первой мировой вернулся, был ранен, вернулся с георгиевским крестом (который потом бабушка прятала), завидный жених и выбрал лучшую из невест, сельскую учительницу Настеньку. После свадьбы свекор выделил молодым верх избы, а на третью ночь под утро поставил лестницу и полез к ним, желая познакомиться с молодой. Но дед все же бывший солдат, встал над лестницей с топором в руках и сказал: «Батя, еще шаг, я тебе голову топором развалю!» Попыхтев, батя полез вниз со словами: «Ах ты, блядин сын, все равно по-моему будет». Тогда-то дед и поставил свой собственный дом.

На фотографии дед Антон с отцом, который важно сидел рядом с женой, словно появился прямо из купеческих персонажей Островского, рядом старший брат, модник деревенский, а младшую сестру Пелагею, видимо, сочли недостойной для фотографирования. А, может, фотограф за каждую личность брал отдельную плату?



*Сидят прадед и прабабка, слева стоит дед Антон, рядом его брат Сергей*

Прадед был богатым, держал извоз. По деревенским понятиям очень богат. И чувствуется по фото, что он понимает себя как хозяина всему. Он показывал сыновьям накопленные им бумажные деньги, которые тогда обеспечивались золотом. Были там десят-

ки тысяч. Сыновья просили доли, чтобы каждому по одной четвертой, а сестру Пелагею они берут на себя. Дед Антон был старший, на германской был ранен, вернулся с солдатским Георгием, и прадед его немного уважал. Но и ему он жестко ответил: «Умру, все ваше будет, а не жидовская одна четвертая. Пока тебе и Сергею могу дать по екатериненке, то есть по сотенной, а Пелагеей червонец – красненькую».



Сыновья примолкли. Рассказывая эту историю, дед гладил по волосам любимую дочку Таню, мою мать, и говорил: «Эх, были бы вы с Леной богатыми невестами, если бы батя не оказался таким сквалыгой». А бабушка Настя, смеялась: «Хитрец оказался отец Антона. Он в начале семнадцатого помер, дети все перерыли, ничего не нашли, в начале восемнадцатого заезжие мужики прослышали, что Бубашкины из богатеев, брата Сергея убили, избу его сожгли, потом пришли к нам, но нас никого дома не было, все перерыли, ничего не нашли, и избу нашу тоже спалили. Дед начал избу отца перекаладывать, и в щелях между бревен нашел забитые, завернутые в газетки бумажные купюры». В детстве я играл

в эти бумажные деньги. Было много красненьких – десятирублевков, штук шесть екатеринок – сторублевков, одна купюра в десять тысяч, две по пять. До революции – это были очень большие деньги, дойная корова стоила примерно полтора рубля. Уже позже, когда я подрос, а бабушка пыталась рассовать свои мелкие драгоценности, она их все тайком отдавала маме.

Дед продолжал держать извоз, но уже понимал, что время изменилось. Редкая способность – чувствовать движение времени, его перемены. У деда эта способность была очень развита.

\*\*\*

Но, продолжая тему деревенского секса, должен рассказать одну стыдную историю. Мы гуляли с Сашкой по деревне, вдруг к нам подплыла шайка парнишек лет тринадцати-четырнадцати.

Мы стояли недалеко от дома тети Поли. И все же старший из деревенских спросил: «Кто такие? Городские?» Мелкая шестерка ответил: «Они к тете Поле. Но московские». Чубатый вожак, старший, примерно моей комплекции, сказал: «К тетке Поле? Все равно московские, надо бы их отоварить». И тут неожиданно в толпу мальчишек вошла мама. Губы были в ниточку (признак ярости). Она уже пережила войну, рытье окопов, университет, умирание от сепсиса старшего сына, то есть мое умирание, отчаянную борьбу за жизнь младенца, разгром генетики, когда три ее профессора, затравленные народным академиком Лысенко, покончили с собой, а она ушла из научных работников в чернорабочие – и ничего не боялась. Но правож понимала, заступаться не стала, предложила схватиться один на один – вожака со мной, а второго крупного с Сашкой. И тут сдрейфили деревенские: «Да они же к тете Поле приехали, значит свои. Приходите вечером на поле, в футбол погоняем. А сейчас можем и в веснушки, вон только коров через деревню прогнали». Коровы шли, оставляя за собой лепешки коровьего говна. Надо было подбежать и ударить пяткой так, чтобы брызги от этой лепешки полетели в физиономию противнику, который отвечал тем же. От веснушек мы отказались.

Мама ушла. А, оказывается, эту сцену наблюдала молодая жена слабоумного Кости. И в ней разыгрался аппетит. Она помахала нам, мол, подите сюда. Мы подошли, чувствуя, что нас влекут в неизведанное. Ольга зазвала нас с Сашкой в сарай на сено. «Зовите меня Олька, по-родственному», – сказала она. И почти сразу завалила нас в сухую душистую недавно скошенную траву, задрала юбку и принялась совать туда наши руки. Мы ничего не понимали, не знали что делать. Тогда Олька, расстегнув наши брючки, ухватила наши молодые уды, но мы так перепугались, что никакой эрекции не почувствовали. Но появилась тетя Поля, видевшая, куда невестка отвела внуков ее брата: «Ах ты пробл..., – заорала она. – Пошла вон, а то сама пришибу тебя, раз Костька не может». Больше мы в Покоево до смерти деда не ездили.

У нас в Лихоборах были подружки, у меня – Аллочка, у Сашки Тома – девочки из дома напротив.

Отношения более, чем целомудренные, даже не целовались, тем более не лапали своих подружек. Такое даже в голову не приходило. Как-то в школе одноклассник Толик Пэсеров, с черными жесткими волосами, зачесанными вперед, проходя мимо симпатичной мне девочки, сунул ей руку под юбку, подержал там, так что она согнулась, но ничего не сказала, даже не ойкнула. Толик спокойно вышел из класса. Он любил спросить на улице девушку в вязаной

шапочке: «У тебя волосы какого цвета?». Та простодушно отвечала: «Каштановые». Он ухмылялся и продолжал допрос: «А на голове?» Девушка краснела и убегала. Так и с Клавой Мотылевой, которой он сунул под юбку руку. Сделал это на спор, а у подоконника сказал склонившимся к нему ребятам: «Ну вот и потрогал я Клавку за ...». Я был в шоке. Мне все равно казалось, что он врет, какой-то дурной розыгрыш. Но Толик, увидя мое ошарашенное лицо, ткнул кулаком в плечо: «Ты что, они сами это хотят». Лишь много позже я убедился в правоте его слов. Мне мама без конца твердила, словно я был девочкой: «Никому не давай поцелуя без любви». Так я себя и вел.



*В шляпке Аллочка, выше сестры Тома, Тома в капоре. У меня лицо абсолютного недотепы. Таким всегда был подростком.*

Почему-то мы говорили, когда ехали в Лихоборы, что едем к бабушке Любе, а не дедушке Антону. Все же она делала погоду в доме. А дед занимался своим палисадником, слабым подобием его огромного сада, который ему пришлось в 1929 г. оставить, и переехать поближе к Москве. Вначале они жили в подмосковном Тропарево, потом, когда дед стал шофером при реввоенсовете, им дали комнату в этой страшной коммуналке в Лихоборах. В палисаднике был столик, маленький стул, лично дедовский, и скамейка, на которую он усаживал гостей.

Палисадник был любимым местом деда. Прямо в палисадник выходило окно их комнаты. Маленький прямоугольник земли, длиной в 10 метров, был обихожен, как ни один сад. Росли две яблони, и две груши, на которых были разнообразные подвои, кусты крыжовника и смородины. Он умудрился поставить там и маленький навес от дождя. Вдоль заборчика он пустил малину. Конечно, мама стала биологом, генетиком, селекционером следом за своим отцом. Но не только, была еще профессорская семья, семья отца, и свекор — профессор геологии и минералогии. Биофак она выбрала сама, но кафедру генетики ей насоветовал папин отец. Как написано в «Таниаде»: «Посоветовал Тане предпочесть кафедру генетики мой отец, ибо, как геолог и минеролог, знал — отчасти и наблюдал — действие генетических законов в преобразовании горных пород и сложении разных по плодородию почв. Он давно уже склонялся к выводу, что законы генетики универсальны. Его другом в Академии был известный генетик Антон Романович Жебрак, не отрекшийся от генетики. Однако для генетики наступали черные дни. Лысенко готовился к своему одобренному Сталиным докладу на сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 года. А пока подбивались организационные выводы, Таня закончила МГУ и получила звание младшего научного сотрудника». Но дед Моисей умер в 1946 году, тоже 67 лет, и дальше по научной дороге мама шла сама. Надо сказать, что Жебрак жил в соседнем подъезде. Мы здоровались при встрече, а с его сыном Борисом я немножко приятельствовал. Очень часто я видел, как мама помогала деду Антону подвязывать подвой. Практическая школа у нее была настоящая. «Без садика своего я помру», — говорил дед Антон. Когда генетику разгромили, а именно в августе всех представителей биологически «вредной буржуазной науки» — генетиков разогнали кого куда, папа писал: «Сокращали с работы крупных, с мировым опытом, ученых по причине “научной несостоятельности”. Закрывали институты, кафедры, научные лаборатории. Таня ни разу не пожалела, что выбрала эту гонимую кафедру. Среди ученых разочарование было сокрушительным: профессор Собинин кончил жизнь самоубийством, проф. Голубев умер от разрыва сердца». У мамы было два профессора, которые ее вели, не отказавшиеся от генетики, — Навашин и Раппапорт. А потом, спустя лет тридцать, вывела *земклунику*, и лучший ее сорт назвала в честь Раппапорта — Рапорт. Мама была верным человеком. После погрома ей предложили отказать от них и перейти к правоверному лысенковцу. Мама сжала в ниточку губы, как всегда делала, сердясь, и ответила, что учителей не меняют. И ее сразу перевели в лаборантки — мыть пробирки.

Наступали плохие годы. Душу мама отводила в палисаднике отца, туда же привозила и меня, а тетя Лена сына Сашку.

Внуков бабушка Настя и дед Антон усаживал на скамейку, и мы на довольно-таки грязной улице дышали садом, яблоками и грушами.



*Посередине брат Сашка и я, по бокам бабушка Настя и дед Антон*

Мы были в матросках, потому что моряк дядя Витя, муж тети Лены и отец Сашки, был нашим кумиром. Мама, хоть и была младшей, но характер был такой, что и брат и сестра ее слушались. Ее старшая сестра Лена завела роман с балтийским моряком, потом дважды выходила за него замуж. Я, когда это услышал, не понял, почему дважды. А просто: у офицеров было два важных документа. По паспорту он женился на тете Лене, потом командировка во Владивосток, где застрял на несколько месяцев. У тетки заскребло на сердце, она долго добиралась туда, добралась через два месяца, накануне его новой свадьбы – по военному билету, там штампа ЗАГСа не было. При этом человек он был храбрый, подводник, которым, когда в лодку попала торпеда и она стала тонуть, по приказу капитана выстрелили из родного торпедного аппарата. Выстрелили им и еще двумя тонкими ребятами, трое суток их но-

сило по Северному морю, потом их случайно увидели с советского катера и подобрали. Получил орден. Они с тетей Леной еще раз поженились, и год спустя после меня сына Сашку родила тетя Лена, старшая мамина сестра.

Но его любвеобильность стала толчком к переменам в жизни бабушки и дедушки, да и в жизни тети Лены и дяди Вити. Братья (Сашка, Тошка) пережили это спокойно. А вот организм деда получил сотрясение. Как странно вяжутся узлы жизни.

Дело в том, что мой дядя, муж тети Лены контрадмирал Виктор Петров жил с женой и двумя сыновьями в одной комнате двухкомнатной квартиры. Другую комнату занимал его сослуживец грузин Гургенидзе с молодой женой, русской, нерожаемой, как говорят в народе, и, судя по рассказам, очень податливой, как в песне про неверную жену моряка: «расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты знала, сколько губ, трижды развращенная жена». Блондинка, гибкая, пухлогубая, широкобедрая, ходившая в коротких легких халатиках, в которых ее формы смотрелись вызывающе. Даже я как-то увидел, как дядя Витя, глядя на соседку Маргариту, облизнул сухие губы. Случилось то, что и должно было случиться. Когда муж ее был на дежурстве, жена соседа Маргарита пригласила дядю Витю в комнату чаю попить. Дети были в школе, тетя Лена уехала навестить родителей — раздолье! Так и случился их роман. Женщина оказалась страстной, да и дядя Витя уже утомился от своей располневшей жены, тети Лены со слоновьими ногами.

Романом это назвать трудно, но случки происходили по меньшей мере пару раз в неделю. При том, что коридорчик был узкий и небольшой, она, проходя мимо дяди Вити, старалась молодым своим телом прикоснуться к нему. Когда же она встречала взгляд тети Лены, то смотрела поверх ее головы, словно не видела, будто эта особа не стоила внимания. Мама, как-то посмотрев на переталкивания дяди Вити с соседкой, сказала сестре: «Ты бы эту кошку за космы бы оттаскала». Но тете Лене, тяжелой от толщины, мир был важнее. А может, боялась, что муженек махнет резко на сторону. А тут вроде под присмотром. Но в конце концов их застучал сосед, капитан Гургенидзе. Дядя Витя, боевой офицер, выхватил кортик, который он всегда держал рядом с собой. «Нет! — выкрикнул знойный южанин, — перед парткомом ответишь!» Это по тем временам было пострашнее кортика. Вариантов не было, оставалось отвечать перед партией.

На дядю Витю было наложено взыскание, с него взяли слово офицера, что больше с соседкой он не будет совокупляться. И тут



для обеих семей началась мука мученическая. Маргарита не давала слово офицера, а потому поджидала дядю Витю в коридоре, куда бы он ни шел. Все впали в легкое помешательство. Младший сын Антошка с молотком в руках провожал отца в туалет и в ванную. При виде Маргариты грозил ей своим оружием. Тетя Лена была в растерянности, но контр-адмирала дядю Витю снова вызвало начальство и предложило думать о варианте разъезда. У тебя, сказал начальник, теща и теща имеют комнату в коммуналке. Две комнаты в разных квартирах вполне можно обменять на трехкомнатную — не большую, но все же три комнаты! И тетя Лена энергично взялась за это дело, спасая семью. И осенью 1964 г. она получила ордер на маленькую трехкомнатную квартиру от военного ведомства на улице Маршала Жукова.

Тем временем баба Маня, мать бабушки Насти, прослышав про эту историю, переменяла свое решение, кому отдать семейную Библию. Она была дочерью сельского священника, так всю жизнь и прожила, как дочь священника. Так что и бабушка Настя была верующей и детей крестила. И крещенная моя мама, к тому же с высшим образованием, вошедшая в профессорскую порядочную семью, стала прямой наследницей религиозных книг. Но как полагала бабушка Маня, в доме хозяин муж, а Карл к тому же философ,



*Лихоборы: дед Антон, папа, баба Маня, бабушка Мина*

ему Библия наверняка понадобится. Отец приехал, но с ним поехала и бабушка Мина, член партии с 1903 года, его мать и его партийная совесть.

Библию бабушка Мина папе не разрешила даже в руки взять, полистала пять минут сама и вернула бабе Мане, сказав: «Спасибо вам, моя милая! Но Карлу это не надо. Он член партии, отвечать-то ему придется. Если кто узнает, то его могут и исключить из рядов. Так что забирайте книгу туда, где она лежала». И добавила тихо папе: «Все-таки эти Лихоборы, как видишь, дикое место». Баба Маня растерянно взяла Библию и принялась засовывать в свой холщевой мешочек, где лежал еще толстый том – старинная Псалтырь. Дед Антон, отец, бабушка Мина, мама и я смотрели на ее неловкие движения, которыми она запихивала Библию, вынув для удобства Псалтырь. Баба Маня пробормотала: «Это я Тане обещала». Мама, оттолкнув отца, шагнула к своей бабушке. «Баба Маня, мне и давайте, мой Псалтырь я никому не отдам».

\* \* \*

Бабушка Настя тем временем зажгла лампадку перед иконкой Казанской Божьей Матери, принялась креститься, чтобы мои родители не поссорились. Бабушка Мина пожала плечами, мол, ваше дело. А мама спрятала Псалтырь в свою хозяйственную сумку. Она была уверена, что если бабушка Настя крестится перед иконкой, то все будет в порядке. Эта уверенность сложилась со времен войны, когда немец почти взял Москву.

Англичане поднимали над Лондоном аэростаты на высоту в 2000 метров. Советские аэростаты поднимались в два раза выше. Но Москву немцы обложили, Москва задышалась, в бой бросали ополчение, то есть стариков и необученных вчерашних десятиклассников. Даже почти слепых, так погиб одноклассник отца Володя Рындин, который сослепу попал под собственный танк. Володя был дядя друга моего детства и юности Саши Косицына. Наступило 16 октября 1941 года. В Челябинске, как рассказывал отец, все верили (знали будто), что в Москву враг никогда не войдет, его не пропустят. И правда, стояли насмерть, бросались со связками гранат под танки. Брат отца, дядя Лева, лейтенант морской пехоты, закрыл своим телом дзот, не зная о Матросове. Выхода не было. Погибли трое его солдат, и тогда он пошел сам. Об я еще расскажу. Девятнадцатилетняя мама шила солдатское белье – кальсоны и нижние рубашки, ходила с другими женщинами на рытье окопов и противотанковых рвов.

Но при этом, если не считать работы, особенно в начале октября, женщины притаились, кругом стояли надолбы от танков и ежи, но немецкие мотоциклисты уже въезжали небольшими партиями в город, были в Сокольниках, кто-то видел шального немца, который якобы промчался на своем мотоцикле по Лихоборам. Но скорее всего это были слухи.

Но, как рассказывают историки, 16 октября Гитлеру послали телефонограмму. «Город практически взят, можем вводить войска». А фюрер ответил: «Завтра маршевым шагом с развернутыми знаменами». Кстати, знамена у фашистов тоже были красные, только вместо серпа и молота – свастика. Красный флаг – флаг войны. Я воображаю, как в маленьком домике, в маленькой комнатке, затаилась мамина семья, две сестры, младший брат и дед с бабушкой. Пятнадцатилетнего сына Володьку засунули в подпол, таких подростков, по слухам, немцы тут же расстреливали. Короче, с жизнью почти простились. Никто не спал. Бабушка стояла на коленях перед иконкой Казанской Божьей Матери, ее любимой иконой, и нескончаемо жгла лампадку. И вдруг тетя Лена завизжала: «Вошли!» Она решила, что вошли немцы. Мама тихо, как она умела, в сложные свои моменты, подошла к окну. И шепнула: «Мамочка, ты вымолила». И выскочила на улицу. Было холодно. По широкой дороге шли не ободранные ополченцы, а одетые в тулупы и шапки-ушанки, с автоматами, рослые ребята сибиряки. Следом выскочила сестра Лена, они обнялись и принялись рыдать от счастья. «Мы тогда поняли, что Москву не сдадут», – рассказывала мама.

Они выпустили младшего брата из подпола. И сестрички пошли снова шить кальсоны. Но у мамы подоспели документы, и выяснилось, что ее перевели на второй курс биофака, а универ из Москвы не вывезли, хотя об этом поговаривали. До сих пор не могу понять, как она, когда уже началась война, могла ходить в универ и сдавать экзамены! Верила в себя, верила в победу, наверно, хотела быть на уровне любимого – профессорского сына – Карла. Поступила в 1940-м, но не бросила учиться, несмотря на войну. Свои письма, она естественно начинала с пушкинского подарка русским девушкам – письма Татьяны, ведь и сама Татьяна. Вот начало ее письма 1940 г: «Здравствуй, Карл! Не начать ли словами Татьяны из “Евг. Онегина”»: “Я вам пишу. Чего же боле?” и т.д.? Почему о тебе ни слуху, ни духу?»

Осталось ли у мамы это ощущение влюбленной девушки? Насколько я видел, такого не было. К 1965 г. осталось чувство верной жены и матери. Мама, конечно, «опиралась на собственный хвост», хотела образования, но уровень притязаний она получила

все же в профессорской семье. В Лихоборах — даже как о мечте — о высшем образовании никто не думал, это было ее решение, но вход в круг биологической элиты она позднее получила от свекра. Правда, элита, как и полагалось настоящей, оказалась гонимой.

А Лихоборы? О его населении говорит название — Лихой Бор. Бора уже не было, лес давно повырубали, но лихие люди были основным населением этого микрорайона. Девочек Бубашкиных, Лену и Таню, шпана не трогала, зная, что дед Антон крут на расправу и дубинка у него всегда под рукой. Но драки с поножовщиной случались практически каждый вечер. Потом появились внуки, но и с ними был порядок. В одной из трех комнат на первом этаже, где жили бабушка и дед, жил Витек, местный пахан, с одной ходкой, он взял внуков деда Антона под защиту. И мы спокойно ходили по местным окрестностям, провожали бабушку Настю на колонку за водой. Колонка стояла одним домом ниже, путь для старухи с коромыслом, на котором висело два ведра, был неблизким и нелегким. Но бабушка привыкла, водопровода в доме никогда не было.

Но все же для деда был палисадник. Дед не участвовал в переезде. Когда пришел грузовик, за рулем сидел матросик, которого дядя Витя в приказном порядке посадил за руль. Второй матросик на легковушке увез бабушку Настю на новую квартиру. Она должна была там встречать грузовик, в который дядя Витя и дядя Володя запихивали обстановку комнаты: сундук, шкаф, ширму, стол и стулья, дед ушел в свой палисадник и прощался с посаженными им кустами и деревьями, гладил их. Понимал, что делает это для дочки. Плакать он не плакал, но, как рассказывала мама, лицо его сразу сморщилось, углы губ опустились, а тонкие как у мамы губы, были плотно сжаты. Словно дерево, вырванное с корнем. Ведь палисадник он начал обихаживать с 1929 года. До переезда прошло 35 лет. Сосед Витек увидел, как дед прощается с кустами и деревьями, и неожиданно вышел на улицу. Он подгрел к деду Антону, похлопал его по плечу и сказал своим хриплым блатным голосом классическое русское: «Ничего, дядя Антон, образуется». И принялся помогать ставить вещи в грузовик.

Деда посадили в кабину, и грузовик покатил. Петровым стало сразу лучше. Вместо одной они получили две комнаты, в одной родители, в другой сыновья, прихожая и небольшой холл, коридор, кухня — это все были их владения. В третьей дед и бабушка. Подоконники были крошечные, так что и горшка цветов не поставить. Дед тосковал и все чаще доставал свой нитроглицерин. Как-то и после нитроглицерина не отпустило. Бабушка пошла вызывать

«Скорую», 03. Долго не подходили, потом спросили: «А сколько лет больному? Шестьдесят семь? Давно его прихватило? Да уже, наверно, и ехать нет смысла». Телефон стоял в прихожей, бабушка села на табуретку и заплакала в голос.

Плач услышала тетя Лена, толкнула мужа в бок. Командирский голос подействовал. «Сейчас выезжаем», — сказал врач. Машина «Скорой» приехала минут через сорок, но, как врачи и ожидали, было уже поздно. Врач констатировал смерть. А далее все завертелось. Примчалась мама, приехал, отдуваясь после похмелья, дядя Володя, привез бутылку водки. С дядей Витей они выпили, пока мама звонила в бюро похоронных услуг, а тетя Лена с соседкой обмывали тело деда. Когда приехала женщина врач из этого бюро, подтвердила смерть и выписала квитанцию — разрешение на похороны, добавив по просьбе дяди, что место захоронения оставлено на усмотрение родственников. Дядя Володя аккуратно сложил разрешение и спрятал в боковой карман. Хоронить решили в Покоево, где уже были похоронен отец и брат деда.

Стоял декабрь, уже 25-е. Дед лежал в гробу в своем кителе, черных свежеотглаженных брюках, которые никогда гладить не разрешал, в белой рубашке, бабушка повесила ему на грудь маленький крестильный крестик, дядя Витя не возражал, хотя бабушка его опасалась. Но последний год контр-адмирал Виктор Петров стал ходить в церковь на службы, разумеется, не ставя в известность свое начальство. Приехал и папа, выпивать отказался, но гроб нес вместе с другими мужчинами.

Похоронный автобус стоял у подъезда. Гроб с телом деда родственники снесли вниз. Мужчины внесли гроб и поставили его аккуратно на помост посередине салона. Вдоль стены стояли лавочки для сопровождавших. А также несколько скамеек со спинками для пожилых родственников. Входившие и заглядывавшие в автобус давали цветы бабушке Насте, а та укладывала их вдоль мертвого тела мужа. Было примерно минус двадцать пять мороза. Дядя Витя остался дома, сославшись на дела службы. На самом деле бабушка Настя винила его в смерти деда и не хотела видеть на похоронах. Набилось в автобус не так много: бабушка Настя, мама, папа, тетя Лена, дядя Володя, Сашка, соседка тетя Нюра, приехавшая из Лихобор, и я. Дорога вначале шла по шоссе, но и когда выехали на проселочную дорогу, ход автобуса не изменился, ехали ровно и гладко: вечная история — в России дороги чинит всегда Дед Мороз.

Подъехали к дому тети Поли, забрали ее с собой. В маленькой деревенской церкви быстро отпели деда. Кладбище находилось на пригорке.



За пригорком стоял густой ельничек, метров двести от кладбища. Там уже ждали с ломami и лопатами местные парни, с которыми мы когда-то чуть не подрались. Тетя Поля попросила их (а может, и наняла), чтобы они вырыли могилу. Ломы были нужны, чтобы пробиться сквозь мерзлую землю. Примерно через час гроб на веревках опустили в яму. На крышку сбросили цветы, потом

каждый из родственников бросили на гроб по куску земли. А деревенские парни мигом засыпали землей могилу, создали холмик, воткнули деревянный крест с табличкой. Вокруг креста положили оставшиеся цветы. Мама несколько раз поклонилась кресту, поцеловала табличку. Шофер завел мотор, дядя Володя попросил его не торопиться, подошел к деревенским: «Ребята, топора у вас с собой по случаю нет?» Те пожали плечами: «Вообще-то есть. Зачем тебе?» Дядька улыбнулся своей обаятельной улыбкой, которая одинаково действовала не только на женщин, но и на мужчин. «Да все просто, парни. На носу у нас Новый год. А какой Новый год без елки? В Москве елку не укупить, а тут растут – рубли, сколько хочешь! Я бы с вами пошел, но снегу навалило – в ботинках не пройдешь. А вы все же в валенках». Наши вчерашние враги сильно повзрослели, готовы были помочь, особенно когда отдавало запретным. Проваливаясь в снегу, парни побрели к ельнику. Минут через двадцать или тридцать пушистая красавица уже лежала на том месте, где недавно стоял гроб.

Елку, обмотав шпагатом, оставили в сенах. Потом сидели за большим столом в избе, где в углу висели две иконы – Св. Георгия и св. Власия. На столе было скудно: три селедницы с нарезанной селедкой, покрытой кружочками репчатого лука, на большой тарелке куски вареного мяса, две миски соленых огурцов, две тарелки кружочков любительской колбасы, большой квадратный серый кирпич хлеба, который тетя Поля, прижав к груди, резала крупными ломтями. Стояла посредине стола двухлитровая банка самогона и три или четыре бутылки водки. Глупо улыбаясь, со стаканом водки в руке сидел Костя, полудурок, сын тети Поли, рядом с ним его жена Ольга, лицо которой было расцвечено синяками разной величины и давности, сели за стол кроме родственников и два парня, что копали могилу. «Давайте Антона помянем», – встала первой тетя Поля со стаканом самогона. Сын-полудурок потянулся к ней чокаться. Но та отвела руку в сторону: «Лучше встань и отстань от меня. На поминках не чокаются». Все молча выпили. Но потом встала мама: «Тетя Поля, обожди, я скажу. Отец делал все для своей семьи, переехал из большого дома в Покоево в коммуналку в Лихоборах, дом здесь сожгли беженцы, тетя Поля знает, дом без хозяина плохо сохраняется. А он шоферил, лишь бы семью прокормить. А я еще отцу благодарна, что он поддержал меня, когда я в университет на биофак поступила. И ни разу не попрекнул, что я учусь, вместо того чтобы деньги зарабатывать. Да и биологию я выбрала, на папу глядя. И внукам помогал, сколько он моему старшему скворечников смастерил! Спасибо тебе, папа». Тетя Лена, дождав-

шись окончания маминых слов, вылила в себя стакан самогона, заела огурцом и нацепила на вилку кусок мяса. Мама одним глотком выпила стопарик водки, хотя вообще не пила, порозовела, опустилась на стул, лицо закрыла руками, чтобы не видели ее слез. Папа подошел, обнял маму за плечи, а дядя Володя хмыкнул и сказал: «Ну, Таня, на тебе наш род отдыхает. И отец любил выпить, вон и Лена не дура — стаканчик-другой пропустить, да и я умею и люблю». И тут разговор перешел на водочную тему. Костя-полудурок пил, пила и его распутная женушка, время от времени полузазывно взглядывая на меня. Но тетя Поля не обращала сейчас на нее внимания, а от выпивки не отставала. Соседка Петровых пила тоже, но, похоже, контролировала себя. Деревенские парни подошли ко мне со стаканами: «Не побрезгуешь с нами выпить? Ты ведь городской. Драться умеешь, а пить?..» Чтобы не оплошать, я выпил одну за другой две рюмки водки. «А самогон не уважаешь?» — спросил тот, что постарше. Пришлось выпить полстакана самогона. Меня спас дядя Володя, уже изрядно раскрасневшийся: «Баста пить, вот Таня сказала, я тоже хочу сказать об отце». Он встал, оперся обеими руками о стол: «Вот что я скажу. Скажу, что отец был настоящий мужик, настоящий солдат. Об этом мало кто знает, но он в Первую Германскую воевал, получил солдатский Георгиевский Крест за штыковую атаку. А солдатский Георгий — это награда, что именно за храбрость давалась. За храбрость отца и выпьем. Жаль, мать не уберегла эту награду». Бабушка Настя, сидевшая все время молча, не пившая и не евшая, будто слезы стояли у нее в горле, тут подняла голову. «Ты не понимаешь, — сказала она вдруг жестко, — я его прятала, чтобы не посадили, теперь можно, он со мной. Но я еще не решила, кому его отдать». Она снова замолчала, глядя в одну точку, на тетю Лену и Сашку, как я вдруг заметил, она не глядела. А когда полупьяная тетя Лена подошла к ней поцеловаться, подставила щеку, а потом вытерла ее платком.

Наступил вечер. Тетя Поля вдруг встала и прямо сказала: «У себя я могу на ночь только Настю оставить. Остальные пойдут на электричку, самая удобная в двадцать один тридцать. Вот только с елкой племянник мне начудил. Могли бы пешком через лес до станции дойти. Но с елкой не допрешься. Разве Васю попрошу на своем козликке ее туда добросить. А ты, Володька, пойдешь пешком со всеми. Скажи спасибо, что елку тебе доvezут». И через час мы пошли пешком на станцию через лес.

Спотыкаясь и матерясь, тетя Лена и дядя Володя шли впереди. Мы плелись сзади. Вот наконец и станция. Козлик с Васей и елкой ждал рядом. Мама пошла и купила на всех билеты, понимая,



что ни брат, ни сестра на это уже не способны. Дядя Володя пожал парню руку, втащил елку на платформу. Пошатываясь, он стоял у края, то ли держа елку, то ли держась за нее. Тетя Лена тоже ухватилась за елку, чтобы устоять на ногах. Сашка подпирал мать с другой стороны. Мама, папа и я стояли немного в стороне. Но когда подошла электричка, мы очутились в одном вагоне. Соседка Петровых села в соседний вагон. Одно купе заняли тетя Лена, Сашка и дядя Володя, обтянутая шпагатом елка встала у окна. Мы обосновались в соседнем купе. Около часа ехали спокойно и молча, без происшествий.

Оставалось до Москвы станции три. И тут вошли два контролера и два милиционера. Мама сказала, что билеты на всех у нее. Контролеры отштамповали билеты, но милиционеры заинтересовались елкой. «Чья?» — спросили они. Дело в том, что вырубать елки без разрешения было тогда запрещено. Дядя Володя встрепенулся: «Моя. Но я вот с сестрами еду с похорон отца. Мы около гроба елку держали». Мент потянул елку к себе: «Доказать можешь?» Дядя Володя полез в боковой карман и достал справку от врача похоронного бюро, где стояли слова, что место захоронения гражданина Бубашкина А.Е. оставлено на усмотрение родственников. Я чувствовал, как напряглась мама. «Вот видите, — ткнул дядька пальцем в эту надпись. — А мы решили отца похоронить, где он родился, вот и сестра подтвердит», — он показал на тетю Лену. Мент посмотрел на пьяненькую тетю Лену, которая дремала на плече у сына Сашки. Ухмыльнулся, махнул рукой, сказал парнику: «Ладно, пускай едут». И они вышли из вагона следом за контролерами.

Конечной станцией был Рижский вокзал.

Мы вышли раньше, чем дядя Володя и тетя Лена, но мама осталась на платформе, ожидая брата и сестру. Те вышли, дядя Володя тащил елку. Мама сказала, остановив брата: «Ну ты прохиндей, Володька!» Тот глупо улыбнулся: «Ты чего, Танька! Ты же мне сестра! То, что отец умер, нам повезло! Как иначе я бы елку провез!». В ответ мама развернулась и изо всей силы молча ударила брата ладонью по щеке.

Взяла отца под руку, меня за руку и мы пошли в метро.

*Пицунда, 8 сентября 2018*

## Заимообразно

**Б**абушка дала мне шоколадку, сказала, чтобы я никуда со двора не уходил, а сама заковыляла в дом готовить обед. Я присел на не так давно выкрашенную в зеленый цвет лавочку, стоявшую под толстым тополем между кустами боярышника. Проводил бабушку глазами до подъезда, затем повел ими по сторонам.

На газоне росли кашки, над ними, переваливаясь с крыла на крыло, кружил мощный шмель и носились осы. Кажется, было уже то время, когда облетал тополиный пух, долго плавая в воздухе, прежде чем упасть. Мне надоело сидеть на лавочке, солнце стояло как-то так, что я не мог спрятаться в тень тополя. Краска от жары разогрелась и стала липкой. Я собирал потеки краски и мял их в пальцах, пытаясь что-то лепить, но получались только круглые комочки. Тогда я встал. Оглянувшись, увидел на лавочке пятно, повторяющее очертания моего зада. Несложно было догадаться, что краска налипла мне на штаны. Но домой идти все равно не захотелось. Я отправился на липовую аллею, в тень, продолжая грызть шоколадку, глядя себе под ноги и не озираясь больше по сторонам.

На аллее, однако, я натолкнулся на незнакомца моего возраста — мальчишку лет семи. Байковые короткие штанишки на жилистых ножках, теплая тельняшка обтягивала его плотное тело. А лицо было широкое, простое, сейчас бы я сказал — бабье. И плотность не интеллигентская, без жирка. Я и тогда это почувствовал, но сформулировал так: "Не из нашего дома".

Наверно, я обрадовался ему. Я не умел быть с ребятами, очень мучился от этого и завидовал дружбе моих сверстников-соседей. А теперь я вдруг понадеялся, что, пока они на дачах, у меня зато тоже, может быть, появится товарищ. И, приехав, они удивятся, а мы примем их к себе и будем играть все вместе, и ко мне все будут хорошо относиться. Этот мальчик тоже, вероятно, ходит один, как я. А когда нас будет двое, когда мы будем дружить, с нами все тоже захотят дружить.

Настороженно поглядывая, мы приблизились друг к другу. От него слышался запах жилья, тяжелого кухонного уюта. Во всяком случае, я сейчас вспоминаю именно этот запах. И я почему-то догадался, что он, должно быть, сын новой дворничихи. Мне стало стыдно и своего костюмчика, светлого, летнего, с которым я мог обходиться столь небрежно, и белой панамки, и шоколадки, и вообще всего себя, благополучного, благоустроенного, живущего в трехкомнатной квартире, а не в подвале под домом, как новая наша дворничиха тетя Даша.

Мне очень захотелось уравняться, отказаться от чего-нибудь.

— Хочешь шоколадку? — спросил я.

— Откусить? — поинтересовался незнакомый мальчик, но не живо, а как-то обстоятельно, тяжеловато. И добавил: — Я немноско.

Он плохо говорил, шепелявя. Вскоре я узнал, что он еще не выговаривает букву "р". Он примерился и откусил ровно одну дольку. Когда он кусал, то подбирал губы, оголяя ровный ряд больших зубов. Я тогда обратил на это внимание, потому что мои зубы были кривые, неровные и я как раз ходил с пластиной.

— А ессе не дас? — снова поинтересовался он.

— Кусай.

И снова он откусил ровно столько же. Потом о чем-то задумался. И, видно, решив, что теперь не прогадает, вытащил из кармана руку с зажатым в ней красным леденцовым петухом.

— Хочес откусить? Лаз ус ты такой доблый. Заимооблазно.

Мне стало совсем стыдно. Ему было жалко своего лакомства, а мне вовсе не хотелось этого петуха, но невозможно было отказаться, и от смущения я оттяпал сразу половину леденцовой фигурки. Петух оказался совсем невкусным — противного пригорелого сахара; есть его к тому же было неприятно еще и потому, что оказался он облюнъявленным, как я в последний перед укусом момент заметил, обтекший по краям. Помню, что давился, проглатывая.

Ему же, естественно, помстилось, и справедливо, что отхватил я от его петуха лишку.

— И мне дай ессе откусить соколадку. Заимооблазно. Ты мне, я тебе.

И снова, примерившись, отгрыз ровно одну дольку, спрятавши петуха в карман. Я не знаю, когда я впервые столкнулся с тем, что бывают разные сладости, какие для кого. И мои, в общем-то, из лучших. Особенно для послевоенных лет. Это знание казалось врожденным: есть люди, которые живут, что называется, про-

ше. Почему проще? Об этом дома рассуждалось, осуждалось. Но вряд ли я осознавал, понимал разговоры; я жил атмосферой. Тогда же я вдруг отчетливо почувствовал, что шоколадка для этого мальчишки – исключение из правил; его лакомства – леденцовые петухи.

В растерянности крутанувшись на одной ноге, я предложил:

– Пойдем ко мне!..

– Не, – ответил он, поглядывая на мои штаны, – тетку зду... – И, указывая на красочное пятно на них, сказал: – От мамки попадет.

– Нет, что ты, не попадет, – возразил я.

Он не поверил.

Мы все так же стояли друг против друга. Вдруг он спросил:

– Как тебя звать?

– Боря. А тебя?

– Юлка.

Мы замолчали.

– Ты здесь живес? – спросил он снова, щупая материал моего костюмчика. – Навелно, здесь, – утвердительно удостоверил он.

Он произносил слова рассудительно и обстоятельно:

– Да, – вынужден был я согласиться. – А ты?

– Я к тете Дасе, клестной, погостить плиехал. На недельку, должно быть. А потом меня мамка снова забелет. Хочес, я тебя поциссю? А ты мне соколадку дас откусить. Заимообразно.

Все это – и слово "крестная", которое я понимал, но в живой речи слышал впервые, и пугающее чем-то нетоварищеским, недушевым (я точнее не умел выразить) словечко "заимообразно", – во всем этом чудилось что-то чужое, во всяком случае не то, чего я ожидал и о чем мечтал. Мне сделалось не по себе.

Отдавши шоколадку, чиститься я отказался. Он не настаивал.

– У тебя зубы хорошие, – как приятно сказал я. Не придумал ничего другого. А мысль о зубах сама собою возникла, потому что все время, пока он говорил и ел, зубы его обнажались до самых десен.

– Да. Я вчела клай кастлюли плобовал откусить...

Почему-то мне не понравилось это признание, сейчас не могу дать разумного объяснения своему чувству некоторой брезгливости. Может, потому, что мне внушали, как важно беречь зубы, и было ясно, что подобное обращение с зубами некультурно, негигиенично, отвратительно.

– Ну и как? – лишь из вежливости прикинулся я заинтересованным.

— Один зуб ласкლოსыл. Э...- он ткнул пальцем в передний зуб сверху. — Клестная отняла.

— А надолго ты к нам? — в моем вопросе был скрытый смысл.

— На недельку. А потом мамка забелет, — повторил он.

И мне, к стыду моему, стало легче. "На недельку. Значит, ненадолго". Я смотрел уже как на крест на возможную дружбу с ним. «Но ведь он же не виноват, он просто привык так поступать, потому что его не учат поступать по-другому», — подумал я. Дети вообще житейски понимают столько же, сколько взрослые. У них просто нет слов, которыми понимание это можно выразить.

А наш разговор отчаянно затухал. Я никак не мог дождаться тети Даши, дворничихи, его крестной, чтобы она как-нибудь, зачем-нибудь позвала бы его. Никто во двор не выходил. Я предложил влезть на свое любимое дерево: под ним росли огромные золотые шары, и, пока сидишь на стволе среди ветвей, тебя не видно.

— Не, — Юрка покачал головой, — станы полвес.

И тогда, не зная, что еще сказать или сделать, я повернулся и побежал к дому.

— Вот и умник, что сам пришел, — открыла мне дверь бабушка Настя, приехавшая «сидеть» со мной. — А я уже собиралась тебе кричать. Иди руки мой. Сейчас обедать будем.

Но мне почему-то тяжело было слушать такие домашние слова. Они мне казались изменой. Изменой чему? Я не знал. Мне было мутно и тоскливо, как будто я совершил гадкий поступок.

## Немецкий язык

**М**ы собирались в гости. Был уже вечер, темный, ранний, зимний. Но от снега, отражавшего электрический свет окон, на улице казалось светлее, чем в бесснежные зимние вечера. Снег был сухой, рассыпчатый, недавно выпавший и напоминал елочные новогодние блестяшки. Его праздничная искристость создавала невольно приподнятое настроение. И с этим приподнятым, праздничным настроением я явился домой: меня позвали с улицы переодеться. Дома, однако, было нервно, хотя нервность эта мне показалась тоже хорошей, будоражащей, празднично-гостевой.

Мама нервничала, красила перед зеркалом губы, что делала крайне редко, доставала из шкафа то одно, то другое платье (и каждое такое уютное, такое знакомое), говоря время от времени, что ей совсем нечего надеть, потому что она редко ходит в гости и не имеет ничего приличного, что лучше уж ей совсем не ехать, чем ехать к этим людям Бог знает в чем, особенно к этой женщине, и чувствовать там себя стесненно.

— Иди переоденься! — прикрикнула она на меня, и я вышел в коридор, заглянул в ванную, где отец, намывлив щеки и уперев изнутри язык для опоры, соскребал, как мне казалось, мыльную пену безопасной бритвой. В такие минуты он бывал сосредоточен и не разговаривал, и я отправился в свою комнату. Там я снял мокрые шерстяные рейтузы и мокрые шерстяные носки, натянул приятные, теплые, прямо с батареи, сухие носки и стал дожидаться, завернувшись в плед, когда кончит свои приготовления мама, чтобы спросить у нее совета, как мне одеться.

Мне было не совсем понятно, хочет она ехать в эти гости или же нет. То есть я видел, что вообще-то ей ужасно любопытно посетить их городскую квартиру, посмотреть, как живут люди совсем другого круга, и, конечно, удовлетворить самолюбие, ибо после летнего знакомства получено приглашение от людей знаменитых и, что называется, *известных*. Сам хозяин дома, куда мы были приглашены, Лука Петрович Звонский, был шумевший в те годы по Москве

театральный режиссер, его жена, Лариса Ивановна, младше его двенадцатью годами, занималась графикой, но в основном, как думал я, начитавшись классической литературы, была занята тем, что «держала салон». Она мне очень понравилась, как только я ее увидел: стройная блондинка, с распущенными золотистыми волосами, ласковая, мягкая, но с каким-то твердым стержнем власти и победоносности внутри, смеявшаяся очень открыто и заразительно, раскованно и свободно. Хотя ей было уже весьма за сорок, в мои тринадцать она вовсе не казалась мне старухой, потому что вела себя спортивно, бегала наперегонки, плавала и была со мной так приветлива, проста и мила, что не хотелось думать о ней плохо, как о старухе. Да и не производила она такого впечатления, как я сейчас вспоминаю, нет, не производила.

Ну, конечно, и обаяние известности на меня действовало. Дед мой, которого я не помнил, был профессором, но, кроме двух-трех учеников, о нем никто не вспоминал, отец с трудом после университета устроился младшим научным в институт, что-то писал, но пока ничего не печатал, а фамилия Звонский — звенела. Его, казалось, знали все. И жили мы гораздо строже, суше, проще, чем наши новые летние знакомые. Мама порой бывала резка, хотя и добра ко мне, но не умела быть любезной — с крестьянской утилитарностью и научной деловитостью отрицая «пустое любезничанье», поскольку — если делаешь дело, то делай, а любезничать попусту нечего. А Лариса Ивановна, напротив, была сама любезность, разговорчивая, обаятельная.

Лука Петрович держал себя как бы в стороне от разговоров, был как бы погружен в свои художественные прозрения, но слушал внимательно, изредка вставляя нарочито грубые, бурсацкого толка шутки. Как я довольно быстро догадался, молчание его объяснялось тем, что говорить он не умел, не умел рассуждать, знал мало из жизни идей, читал тоже не очень много, поэтому с таким интересом прислушивался к рассуждениям отца. Когда я рассказал о своем наблюдении отцу, он возразил, что зато у Луки Петровича огромный природный талант, который вполне заменяет ему многознание. Но было ясно, что Лука Петрович прекрасно знает себе цену и ощущает себя своего рода солнцем, без которого жизнь в его семействе, да и в округе, может, и не текла бы вовсе. Он был чуть пониже ростом своей жены, потому казался маленьким, порывистым, с наполеоновским ежиком на голове, дескать, мал да удал, позволял себе смеяться в самых неподходящих ситуациях, как бы подчеркивая этим свою художественную нескованность приличиями, и вообще старался походить на такого грубоватого

парня, простецкого, но гениального, этакое Мартина Идена, которого за его талант полюбила женщина «из образованных».

На самом деле в этой внешней противоречивости чувствовалась внутренняя гармония. Когда мы вдвоем с отцом отдыхали на Рижском взморье, получилось так, что у нас с этой семьей оказались общие знакомые, которые и притащили отца (и меня за компанию) к Звонским, рекомендовав отца как «интеллектуала». А поскольку среди их гостей и приятелей всегда бывали именно «интересные люди», независимо от чинов: поэты, художники, артисты, то и отец попал в их число. Я-то сам считал отца ужасно умным, даже самым умным на свете. Но всегда приятно получить подтверждение со стороны, видеть, с каким уважением выслушивают твоего отца люди посторонние и тоже неглупые, к тому же знаменитые; даже когда, как мне казалось, он говорил вещи обычные и банальные и я смущался и стеснялся этих «недостойных его» речей, Звонские слушали его все равно с вниманием и интересом. Короче, мы стали общаться. Встречались на пляже, а потом шли к ним в номер люкс дома отдыха пить чай. Лука Петрович говорил только о себе, рассказывая случаи из жизни, но не те, в которых он проявлял себя как художник, а те, в которых он выступал «настоящим мужчиной», и нисколько не мешал своей жене Ларисе вести то интеллектуальные, то кокетливые разговоры с гостями.

На излете месяца приехала мама, и ей сразу показалось что-то вроде романа между отцом и Ларисой Ивановной. Было ли что там? Спустя четверть века все кажется милой ерундой, да и в самом деле ничего, кроме легкого кокетства, и не было. А тогда меня сие и вовсе не волновало; этот дом, нет, прежде всего его хозяйка влекла меня: своей приветливостью, выказываемой заинтересованностью в моих делах, умением весьма мило притворяться со мной запанибрата и умением выслушивать; она советовала заняться как следует языком (узнав, что я учу немецкий с учительницей), запоминать наизусть стихи (обещала, когда в Москве будем, подарить мне томик Гейне на немецком языке), она была ласкова со мной, и я был словно очарован, не влюблен, а именно очарован. Завидя издали ее золотистые волосы, я радостно вздрагивал: было приятно, что она сейчас подойдет ко мне, что они с мужем не заняты никаким делом, а только друг другом и другими окружающими людьми, разумеется, включая меня.

После приезда мамы я к Звонским стал ходить реже, потому что и она ходила туда с неохотой.

— Я неинтересный для них человек, — поджав губы, как она всегда делала, когда сердилась, говорила мама, — чего я туда пойду?



Чего я там не видела? Чай пить в номере люксе? Вы, гуманитарии, привыкли время в разговоры переводить. Я уж, видимо, так никогда не научусь. А ты иди, — говорила она отцу, — покрутись перед Ларисой, хвост-то свой павлиний распусти, ты это любишь. А мне с микроскопом привычнее. Не пойду.

Хотя познакомиться с ними маме пришлось, по сути дела знакомством дело и ограничилось. Через неделю Звонские уехали, а напряжение между родителями постепенно исчезло.

Прошло почти пять месяцев, и вот мы получили официальное приглашение посетить их. На сей раз мама согласилась, а я обрадовался, потому что с удовольствием вспоминал их огромный двухкомнатный номер люкс, с большим холодильником, застекленным сервантом с гостиничными рюмками, бокалами и графинчиками, вазы с фруктами на столе, когда к ним ни зайдешь, шоколадные конфеты и непременно минеральная вода. Отец продолжал с ними общаться и осенью — Звонский иногда приглашал его прочитать лекцию по истории искусства актерам в своем театре; судя по папиным рассказам, сам тоже слушал с вниманием, а потом они за полночь сидели уже дома у Звонских. Отец говорил, что Звонские пригнали того несчастного актера из бывшего театра Михоэлса, с которым мы познакомились на взморье, кормят, одевают его, иногда дают мелкие поручения. Отец рассказывал это, говоря о доброте Звонских, и я был с ним согласен, да к тому же и я помнил этого человека. Марк Самойлович был невысокий, ростом с Луку Петровича, совершенно лысый, толстый, с каким-то бугорчатым носом... Глаза беспокойные, заискивающие, хотя он все время пытался хохмить, поглаживая свои маленькие усики и веселя Звонских и нас, потому что в тот месяц мы оказались как бы друзьями дома, а он в поисках работы все же зависел от Луки Петровича, обещавшего пристроить его в театр.

— Где Бра? — однообразно шутил он, закатывая глаза к небу. — Ужас! Вы забыли мальчика на пляже. Надо пойти поискать мальчика в пивной...

Почему-то именно однообразием и повторением эта шутка очень веселила Луку Петровича. Все смеялись, смеялся и я, чувствуя в душе непонятное превосходство над этим старым актером, потому что тот был зависим, а я как бы на равных, да еще меня тетешкала хозяйка. Звонский давал актеру деньги, и тот шел на пляж за пивом. Потом взрослые пили пиво, разговаривали, смеялись невеселым шуткам Марка Самойловича, а я с большим удовольствием ел и сосал шейки и клешни вареных раков. «А Бра слушает, но ест!» — повторял из раза в раз, нарочито перевирая фразу басни,

Марк Самойлович, и снова все смеялись. И еще всех почему-то умиляло, что я ровесник Победы: по этому поводу бежалось еще за дюжиной пива.

Я забрался на тахту в ожидании, что сейчас войдет мама и скажет наконец, как мне одеваться. Жили мы, конечно, не бедно, но и нельзя сказать, что богато, хотя мне самому всегда в детстве казалось, что наш достаток выше среднего. Тахта, шкаф, письменный стол – вот что стояло в каждой из трех комнат. Но три комнаты – это всегда мне казалось (да так оно и было) знаком обеспеченности. Кресел никаких, стулья старые, с твердым сиденьем и прямыми спинками, этажерки да полки с книгами. В родительской комнате на стене висел круглый репродуктор, с военных еще времен, я думаю. Когда я болел и мама перетаскивала меня в свою комнату на раскладушку, я часами слушал передачи по радио, особенно мне почему-то запомнилась радиопостановка «Седая девушка» – о какой-то китайской героине, которая поседела от пыток, но никого не выдала. Эта передача повторялась в моем детстве много раз, и каждый раз я слушал ее с увлечением, но сейчас все забыл. Помню только неизъяснимое чувство благородства и социальной гордости, ненависти к богатеям и захватчикам – все это чрезвычайно мне импонировало. Но, несмотря на демократизм, который возвращали и культивировали во мне, в школьной форме – брюки и гимнастерка с ремнем – я ехать в гости не хотел, отказывался. Универсальных джинсов тогда не было. Но и костюма я не имел. Все же нашлись брюки, на которых на скорую руку мама залатала дырку, совсем стало незаметно, и свитер с высоким воротом.

Не помню, что мы везли с собой: скорее всего, бутылку шампанского и коробку конфет, самое доступное по тем временам. Я надеялся, что ради такого случая поедем на такси, но до самой улицы Горького мы тряслись в трамвае, а трамвай дребезжал всеми своими разболтанными железными частями. Я сидел у окна и смотрел на сумеречную улицу: фонари, забор с лампочкой на углу (значит, шла стройка), дома с темными и освещенными окнами. Прижимаясь носом к стеклу, выдувал на холодном, заледеневшем стекле, белом от намерзшего льда, глазок для осмотра, а потом дыханием, а иногда, сняв варежку, тайком от родителей, жаром руки расширял этот глазок. Родители стояли надо мной, ухватившись за висячие поручни, которые болтались из стороны в сторону на длинных ременных шлеях, а когда трамвай встряхивало, то дергали за собой и державшихся за них. Мы неслись в перепутанице трамвайных и железнодорожных линий Савеловского вокзала,

мимо кинотеатра «Салют», потом пошли высокие каменные дома, вдоль которых передвигались маленькие людишки. Узкие тротуары, казалось, прижимали их к самым стенам. У поворота на столбе висели под фонарем огромные круглые часы с массивными стрелками, наручные часы для великанов. Вообще центр города, да еще вечером, в электрическом свете, казался мне не то что другой страной, а подводным таинственным царством, где все не как у нас на окраине — волшебнее, богаче, запутаннее, утонченнее, изощреннее; то есть слов этих я тогда, разумеется, не употреблял, но если вспомнить свои впечатления, то обозначить их можно только так. А когда зажегся в нашем полупустом (было воскресенье) трамвае, сразу в обоих вагонах, электрический свет — за окнами еще сильней потемнело, и огоньки фонарей и окон домов, бежавшие мимо трамвая, стали напоминать театральную иллюминацию, красивую и таинственную. И вообще весь этот путь в трамвае, путь длинный, через весь почти город, точнее, полгорода, от окраины до центра, до знаменитой центральной улицы Горького, самой нарядной и лучшей в мире, как я был уверен, мимо затемненного спортивного магазина «Пионер», — плавание по городу в светлом ярком корабле на колесах по рельсам, проложенным прямо по дну морскому, мимо этой бедности пятидесятых годов, которая мне казалась богатством, весь этот путь, повторяю, чудился мне как бы подготовкой к лицезрению ожидающего нас не то дворца, не то замка. А может, морского грота, куда вливается потихоньку наш «Наутилус», а там раковины, огромные, перламутровые, раскрывают свои завитки навстречу, лес разноцветных кораллов, жемчуга и блеск чешуи всевозможных рыбок, мелькающих в царевом дворце. Все при деле: кто на посылках, кто вестником, кто в охране, кто прислугой...

Потом мы вышли, долго, как всегда кажется при незнакомом маршруте, шли улицей, потом свернули в переулок между высокими домами с тяжелыми углами, у которых цоколь, словно мхом или морским лишайником, оброс мрамором, затем еще свернули, идя уже дворами; вел, разумеется, отец.

— Однако, как ты дорогу-то вызубрил! — сказала вдруг холодно мама. — Не раз, видно, сюда захаживал.

Отец ничего не ответил. И тут я сообразил, что в трамвае они ни разу словом не обменялись. Это означало только одно: родители или уже в ссоре, или накануне ссоры. Я не очень понимал, почему мама злится; ну и что, что отец сюда ходит! Ведь ему интересно поговорить, послушать, а вовсе не ради Ларисы Ивановны — к тому же тут всегда и Лука Петрович присутствует. Наверно, и мама это

понимала. Но я тогда не знал, что ревновать можно не только к женщине и подозревать не просто измену, так сказать, мужскую, ревновать можно и к образу жизни и видеть измену в предпочтении иного образа и стиля существования.

Но, наконец, мы добрались... Я и не обратил внимания, как выглядит этот дом, потому что не знал, к какому мы идем, какой *наш*. Все они были большие и устойчивые, как скалы, уверенно стоящие поперек омывающей и обтекающей их воды людского движения. Помню только, что вся нижняя часть дома была облицована чем-то гладким, а снег не только перед подъездами, но и на проезжей части весь счищен до асфальта, никакой снежной корки, которая всегда застывала на асфальте у нас во дворе. Дверь подъезда тоже не такая, как у нас — крашеная, фанерная, со стеклом сверху, а тяжелая, массивная, темного дерева, с огромной дверной ручкой, с тугой пружиной, открывалась с трудом. В прихожей подъезда была дверка с окошечком, и сквозь стекло виднелась комнатка-клетушка со столом и топчаном в углу. За столом перед телефоном сидела пожилая женщина в сером жакете с отворотами. Она подняла голову, приоткрыла стеклянное окошко и спросила громко, останавливая нас вопросом:

— Вы к кому? В какую квартиру?

Я из-под руки отца увидел, что на столе лежат какие-то разорванные книжки, а под стеклом — бумаги со списком фамилий, как в школьном журнале, и номерами телефонов. Отец ответил, к кому мы идем, но консьержка (по французским романам я догадался, как должна называться эта женщина) не успокоилась.

— Какой этаж? — подозрительно спросила она.

— Пятый, — сказал отец, и тогда она указала нам рукой в сторону лифта, тут же, по выполнении своего служебного долга, забыв о нас и нашем существовании вообще:

— Проходите.

Мы вошли в лифт, закрыли за собой решетчатую железную дверь, затем две деревянные дверки с окошками, которые закрепила поперек откинувшаяся сверху планка. Я нажал кнопку пятого этажа, лифт дернулся и поехал вверх. После трехминутного плавного подъема лифт остановился, папа открыл дверцы, затем дверь, пропустил нас, вышел сам и с шумом захлопнул за собой дверь лифта. Тот вздрогнул и поехал вниз: очевидно, внизу уже кто-то давил кнопку вызова.

Мы свернули направо, в темный холл с перегоревшей электрической лампочкой, где в глубине чернели две квартирные двери, номеров на них видно не было. Посередине этого, следовавшие

го за лестничной площадкой холла почему-то стоял квадратный стол и несколько стульев. Но папа предупредил нас, и мы на него не наткнулись. Все так же уверенно отец провел нас мимо стола к черневшей слева двери и позвонил. Звонок зазвенел где-то очень далеко.

Дверь нам открыла немолодая, тощая, в голубом переднике домработница (как сейчас вспоминаю, присутствие домработницы меня не удивило, тогда у многих, временами и у нас, были постоянные или приходящие домработницы), вскоре она ушла и запомнилась мне только своим резким, неприятным голосом, которым крикнула, обращаясь в глубь квартиры:

– К вам это!

Повернулась задом и тут же скрылась куда-то в боковое ответвление выходящего из прихожей коридора. Описывать ли их квартиру? Воспоминание у меня смутное, но все же что-то я, как мне кажется, помню, хотя, быть может, их интерьер спутался в моем сознании с интерьером подобных же квартир, где мне приходилось бывать уже взрослым. Помню большую прихожую с встроенными шкафами, маленькое оконце в толстой стене, под ним большое овальное зеркало в деревянной оправе на резной подставке с куриными ножками. Прямо из прихожей дверь в гостиную, налево – детская (правда, дочь их уже выросла, вышла замуж, дома не жила, но комната, как рассказывала Лариса Ивановна, называлась по-прежнему детской). Направо из прихожей коридор вел в кухню, перед которой располагались по одну руку еще комната, а по другую – ванная и туалет. Кухню от коридора отделяла не дверь, а свисающая бамбуковая занавесь. Такое я видел до тех пор только на картинках, изображавших Китай или Японию. Перед гостиной, еще в прихожей, стоял невысокий секретер из дерева с красноватым отливом, а на нем телефон, звонивший за вечер довольно часто, и Лариса Ивановна всегда оживленным голосом восклицала: «А, это ты! Привет! Кисочка, ты не могла бы (или: ты не мог бы) позвонить мне завтра поутру? Я сейчас занята, у нас гости. Да. Потом расскажу. Летние наши знакомые. Ну, пока!»

На стене в прихожей, в простенке между детской и гостиной, висела писанная масляными красками картина в деревянной рамке. На картине изображался морской берег в зимнюю погоду, редкие кусты и перевернутая, занесенная снегом рыбацкая лодка. Ощущение было такое, что в квартире живописи столько, что малоценное из этого избытка выставлено в прихожую. И вправду: в гостиной над столом, стоявшим наискось к окну, столом, крытым зеленым сукном, с высокой бронзовой лампой на нем, висела

огромная, но явно выбивающаяся из общего стиля дома картина: квадраты, кубы, трепещущие бесформенные цветочные пятна и мазки, все это соединялось вместе и перечеркивалось ровными черными линиями, как бы бравшими всю эту цветопись за решетку. Вся эта смесь из Миро и Кандинского, как определил бы я теперь по воспоминаниям, перечеркнутая прямыми линиями, означала, что искусство, нам показанное, — гонимо. Вот, пожалуй, и все, что можно было извлечь из созерцания этого произведения. Но так я сейчас думаю, а тогда с остротой маленького человека, попавшего в незнакомое, но влекущее место, просто впитывал все, старался запомнить, хотя, повторяю, за точность воспоминания не ручаюсь; возможны наложения типических ситуаций других лет. «Эта картина — подарок нашего друга, — объяснила тут же Лариса Ивановна. — Он очень интересный художник». А Лука Петрович, сидя в кресле с подлокотниками в виде воткнутого в дерево топора, сказал: «Выкрутасничает, ха-ха, молодой... Пусть себе побесится». Но было ясно, что художник «в кругах» считается модным и что хозяева, в сущности, гордятся, что им перепала его картина: не случайно ей отвели самое главное место. На другой стене висели зато портреты сановных людей в мундирах и партикулярной одежде прошлого века. Живопись была хорошая, но какая-то несвободная. Лука Петрович, указав на них, опять хехекнул добродушно-подкалывающе: «Это предки Ларис Ивановны. Народную кровь, хе-хе, сосали...» А Лариса Ивановна спокойно и как само собой разумеющееся пояснила: «Это и в самом деле наши крепостные писали». Я помню, как была ошарашена этим ответом мама, гордившаяся своим происхождением из крепостных, и как смутился отец, даже покраснел и отвел глаза в сторону.

Впрочем, мама была, как я видел, шокирована, обижена, уязвлена с того самого момента, как мы переступили порог квартиры Звонских. Домработница скрылась, а из гостиной вышла Лариса Ивановна в бледно-голубом кимоно, одежде дотоле нами не виданной, волосы ее были уложены в простой пучок, на левой руке были надеты маленькие часики с бриллиантом, на правой зеленого цвета браслет, свободно скользивший по руке до локтя, рукава кимоно легко упали почти до плеч, когда она вскидывала руки поправить волосы. Губы ее были не намазаны, а шея открыта и без украшений. Мамин наряд: накрашенные губы, напудренное по обычаю того времени лицо, ее единственное гранатовое ожерелье, довольно тесное, вокруг шеи, и цветастое платье с поясом — сразу показался жалким, нищим, неуклюжим. Лариса же, заметив впечатление, как умная женщина, постаралась сгладить неловкость,

подбежала к маме, взяла ее за плечи, поцеловала в обе щеки (мама, не привыкшая к подобному обращению, с трудом заставила себя ответить тем же: это напряжение было написано на ней), затем, не отпуская рук, отклонилась, как бы издали разглядывая маму, и обр- ратилась к отцу:

– Каждый раз я твоей женой люблюсь? То-то, сиднем дома сидишь. Какая она у тебя красавица и нарядная сегодня!

Эти «сегодня», «твоей» и «у тебя» уязвили, я думаю, маму до чрезвычайности. Значит, обычно она не нарядна (а ясно, что ее самый большой наряд ничто перед этой якобы простой одеждой Ларисы Ивановны), и, значит, хозяйка дома с отцом на «ты», чего он не сообщал. Но мама ничего не ответила, и тогда мы прошли в гостиную. И минут пять нам было дано на осмотр. У стен, под картинами, стояли старинные, темные, застекленные шкафы, за стеклами – хрустальные рюмки и кувшинчики, графинчики, красивые обеденные и чайные сервизы, которые, разумеется же, должны были быть фарфоровыми. Во всяком случае, всюду: и в шкафах, и на сервантах, даже на светло-коричневом пианино – стояли всевозможные фарфоровые и бронзовые статуэтки и фигурки – целующиеся пастушки и пастухи, охотники с собаками, обнаженные женские торсы. В металлических рамках висели меж картин небольшие фотографии Луки Петровича, самого по себе, и со знаменитостями театрального мира, и две или три – в ролях. Про одну роль я догадался, это был шекспировский Ричард III. На массивной деревянной подставке, которую я принял было за тумбочку, стояла большая беломраморная голова Луки Петровича.

Затем нас из гостиной провели в другую комнату, с большим окном, книжными полками во всю стену слева (как потом я увидел, там стояли дорогие и массивные книги по театру и живописи на русском и немецком языках), а на другой стене висели три или четыре картины, изображавшие голых женщин в различных позах. Увидев эти картины, я покраснел, отвел глаза, снова посмотрел, снова отвел.

Лука Петрович, все заметив, хлопнул меня по плечу и сказал дурашливо:

– Что, мужичок, никогда голых баб не видел? Смотри, изучай, если мама не заругает, хе-хе...

На выручку пришла Лариса Ивановна, поправляя своего грубоватого мужа, чувствуя пуританство мамы:

– А я считаю, что в лицезрении подобных картин ничего особенного нет, все нормально, – Лариса Ивановна, прохладная, душистая, светловолосая (даже при пучке было понятно, что у нее

очень длинные волосы, как у гейневской Лорелеи), легкая, теребила рукой мои волосы, отчего мне было приятно и краска с лица постепенно исчезала, — произведения искусства не должны восприниматься дурно. Да и в конце концов, вид прекрасного женского тела должен только способствовать развитию эстетического вкуса у мальчика.

Это было смело сказано. Мама после этих слов напряглась так, что вздрогнула, но ничего не сказала, только невольно сделала от нас шаг в сторону, оказавшись в одиночестве посередине комнаты. Мне было неловко за мамино пуританство, одновременно обидно за нее (наверняка ее точка зрения, не высказанная, но выявленная, казалась хозяевам ограниченной) и вместе с тем боязно, что мама скажет сейчас что-нибудь резкое и нам придется уйти из этого необычного дома. Все это тоже почувствовали и застыли, словно бронзовые или фарфоровые статуэтки. Папа с Лукой Петровичем у книжных полок, я, разинув рот, перед картинами (благо, получил санкцию смотреть!), около меня, в своем голубоватом кимоно, Лариса Ивановна, а мама одна, по-прежнему посередине комнаты.

На сей раз ситуацию спас Лука Петрович.

— Ну, осмотр, можно считать, закончили, хе-хе. Соловьев баснями да картинками не кормят. Да и я проголодался. Давай, солнышко, зови нас к ужину! Вы позволите быть вашим кавалером сегодняшней вечер? Гриша, я надеюсь, не ревнив, — протараторив все это в одну секунду, Лука Петрович подлетел к матери и предложил ей опереться о его локоть. Мама слегка покраснела от удовольствия слушать куртуазную речь и принимать ухаживание знаменитого человека, оперлась о его руку, и мы двинулись через гостиную, потом по коридору в сторону кухни, свернув прямо перед ней налево в комнату, где уже стоял накрытый белой скатертью и уставленный тарелками и закусками стол.

Прислугу Лариса Ивановна отпустила и подавала на стол сама, не позволив маме помочь ей.

— Сидите, голубушка. Уж я как-нибудь сама.

Это «голубушка», как я снова почувствовал, снова покорило маму. По ее представлениям, слова «моя милая», «голубушка» и тому подобные употреблялись «вышестоящими» по отношению к «нижестоящим». Но ее снова отвлек Лука Петрович, и ужин прошел спокойно, оживленно, весело.

Что за отношения связывали отца со Звонскими? Как я видел, было безусловное уважение к его уму и знаниям. Я тогда так понимал, что им за занятиями искусством и светскими делами думать некогда, хотя их многое интересует, а от отца они получали,



не прилагая усилий к чтению и размышлению, идеи, интеллектуальную информацию, а главное — объяснение окружающего мира, событий и того, что сами делали. Понять самих себя, да еще в ряду и на фоне мировых явлений и событий, неожиданно соотносить себя с мирозданием, — да важнее этого для человека ничего нет. Как им было ни обхаживать отца!..

После ужина мужчины, закулив папиросы, вернулись в кабинет Луки Петровича, женщины последовали за ними, а я попал в чулан или что-то вроде того. Это была маленькая, метров пять квадратных, комнатка без окна, с яркой лампочкой без абажура, свисавшей с потолка. Чулан этот располагался между кухней и комнатой, где мы ужинали. Там стоял небольшой покоробленный письменный стол со сломанными ножками под одной из тумбочек, в углу на полу картонный ящик с высокими бортами и импортными наклейками, и вот в этом ящике, а что не поместилось, то на столе или просто грудой на полу — всевозможные игрушки, каких я раньше никогда и не видал. Японские, французские, канадские, немецкие, бразильские, игрушки всех стран света, где побывал Лука Петрович: фаянсовые и фарфоровые куклы, закрывающие глаза и наигрывающие мелодии, стоит их повертеть, японский борец с разинутым в крике ртом, индеец в перьях и на коне с копьем, причем был он сделан из какого-то материала наподобие пластика, что позволяло гнуть его в разные стороны, придавая ему самые разные позы, из такого же материала — Микки Маус со смешной мышью мордой, лопухий заяц, олененок Бэмби, семь так же мнущихся уморительных гномов, которым можно было придавать любое выражение; такие же гнущиеся монстры, ковбои и гангстеры. А еще, еще там было оружие, игрушечное, разумеется, но какое!.. Автоматы, ружья, пистолеты самых разных марок и систем, до того похожие на настоящие, что оторопь брала. Стреляющие, трещащие, с вспышкой, с загорающейся электрической лампочкой, с вылетающими искрами. Словно какой-то великан затащил к себе в пещеру на утес все это богатство и, отдыхая от набегов, играл, как ребенок, во все эти чудеса. Но на самом-то деле это были, как объяснила Лариса Ивановна, подарки Луке Петровичу от восхищенных его талантом режиссеров и актеров во время его зарубежных поездок.

Попал я туда, в чулан, следующим образом. После празднично-гостевого ужина — с красной и белой рыбой, черной икрой, шампанским и коньяком для взрослых, чаем с шоколадными конфетами и кексом — Лариса Ивановна вдруг спросила, довольно

бесцеремонно, на мой взгляд, но все равно очень мило и ловко, как и все, что она делала:

— А сколько тебе лет, Борис? Я что-то забыла. Судя по тому, как ты у Луки Петровича в кабинете покраснел, думаю, шестнадцати тебе еще нет.

— Скоро четырнадцать, — ответил я.

Я вовсе не желал казаться старше, чем я есть, но поскольку у взрослых существовала легенда, что каждый подросток хочет выглядеть старше своих лет, о чем читал и в книгах, и по радио слышал, то я из вежливости ответил таким тоном, будто бы и я хочу выглядеть старше. А на самом деле мне и в своем возрасте было хорошо. Но все умиленно улыбнулись и засмеялись на мою интонацию.

— Ну, тогда ты еще развлечешься, — сказала Лариса Ивановна, единственная сохранившая серьезное выражение лица, — тем, что Луке Петровичу надарили: у него есть игрушки и оружие игрушечное, как раз для мальчишки. А мой Лука Петрович, он же, как всякий художник, совершенный ребенок и совсем непрактичный человек, ему бы все в игрушки играть.

Лука Петрович сидел важный, но сквозь его важность и значительность после слов жены сразу проступило этакое простоудушно-детское и упрямо-мальчишеское выражение на лице: «Конечно, она права, я большой ребенок». А Лариса Ивановна взяла меня за руку и отвела в чулан. И там я, беря в руки то ковбоя, то гномов, то японский автомат, то американский кольт, думал с завистью, что вот бы это все во двор, всю эту роскошь, к нашим играм в казаки-разбойники, в индейцев, тогда бы мы с ребятами поиграли, и это наверняка повысило бы мой авторитет, по крайней мере у Кешки Горбунова и Алешки Всесвятского, которые вечно вытаскивали во двор всякие импортные игрушки и забавы. «А ему зачем? — думал я. — Все попусту пропадает. Не заходит же он сюда по вечерам и не воображает себя то индейцем, то ковбоем, то храбрым партизаном или подпольщиком, скрывающимся от гестапо» (как это было в книге Левенцова «Партизанский край», любимой книге моего детства).

В чулане я, как вспоминаю, пробыл не особенно долго. Не помню уж, сам ли я оттуда вышел, пресыщенный зрелищем богатств и уязвленный их недоступностью, так что и играть не хотелось (мелькнула было мысль выскочить с кольтом в гостиную, но так поступать в гостях, я это знал, было неприлично), или меня зачем-то позвала мама, но я опять очутился а комнате с голыми женщинами на картинах и книжными полками во всю сте-

ну. Взрослые сидели в креслах вокруг журнального столика и вели разговоры.

Увидев меня, Лука Петрович сделал приглашающий жест рукой, чтобы я подошел к нему поближе:

— Ну что, мужичок, наигрался? Понравились игрушки? Ничего, а? Должны понравиться. Понравились?

У меня вдруг мелькнула невероятная мысль, которая и в голову-то до того не приходила, почти невзаправдашняя надежда, и вместе с тем я тут же уверился, что ничего невероятного и несбыточного в этом нет — в том, что Лука Петрович сейчас возьмет и предложит мне на выбор игрушку в подарок.

— Да, — сказал я.

И добавил: — Очень!

Я ждал, что Лука Петрович скажет: «Выбери себе автомат, какой понравится, любой, или если хочешь, то кольт». Но он ничего подобного не сказал, а захохотал, показывая, что рад был доставить мне удовольствие, И я тогда подумал, что ему просто жалко, что он жадничает, а теперь думаю, что ему, может, и впрямь просто в голову не пришло удовлетворить мое корыстное желание.

— Вот и хорошо, что понравилось. — Лука Петрович мотнул головой в мою сторону, предлагая остальным взглянуть на меня: — У малого есть вкус. Эх, мне бы эти игрушки лет на сорок раньше — по поселку с ребятами побегать!.. А теперь все это, как говорят ученые люди, — реализация несыгранного... Ну, садись с нами, мужичок, раз тебе надоело игрушками забавляться. Послушай, как взрослые люди пустяки врут, а Лариса тебе сейчас соку даст. Лариса, поднеси, радость моя, стакан соку нашему старому другу.

Лариса Ивановна легко встала, ее широкое, чистое, курносое лицо светилось довольством и радостью гостеприимства, любезностью. И ко мне она обращалась, словно мы и в самом деле были с ней старыми близкими друзьями:

— Как тебе нравится, Борис, этот держиморда? Что-то он чересчур раскомандовался, тебе не кажется? Помнишь, как на взморье он был тише воды, ниже травы. Он, видите ли, тогда отдыхал и расслаблялся, а теперь новый спектакль готовит, актеров гоняет, вот и мне достается.

Говоря так, она улыбалась, и мне, и всем сразу, налила стакан сока, поставила передо мной, и было ясно, что все легко и хорошо и вовсе ей ни капельки не достается. Поблагодарив, я взял стакан, пригубил его и, перестав наконец привлекать всеобщее внимание, смог глядеть по сторонам. Мама сидела в углу, спиной к картинам, с казенной улыбочкой на губах, откинувшись на спинку кресла, но

слушала все внимательно, хотя реплик почти, не подавала. Отец тоже сидел в кресле, рядом с книжной полкой, весь напрягшись, вцепившись в подлокотники, и нервничал, почти не говорил, только отвечал, да к тому же односложно. Он чувствовал себя несвободно, потому что видел, как многое тут раздражает маму, и вести непринужденный разговор было словно бы неким предательством мамы; во всяком случае, так могло ей показаться, особенно потому, что Звонские принадлежали к столь далекой от нашего привычного круга *элите*. Не просто были художниками, артистами, то есть людьми иной профессии, а именно «высшим светом», где жизнь и профессия, род деятельности и образ жизни странным образом слиты.

Впрочем, и сами Звонские считали себя элитой и настоящими светскими людьми. Я слышал, как на взморье приятельница Ларисы Ивановны, тоже жена, правда, не режиссерская, а одного из видных актеров, говорила: «Конечно, именно мы сейчас представители света, светского общества. Даже чиновники к нам тянутся, они чувствуют, что духовная элита, да и вообще элита — это мы, а не они». Сказано это было с апломбом, но было видно, что произносит она не свои слова, а высказывает точку зрения, кем-то уже не раз сформулированную, может быть и скорее всего ее мужем. Но мне тогда показалось, что она права. «Раньше актеры и постановщики, — подумал я, припомнив разнообразные книжки, — были богемой, общаться с которой представителю “порядочного” общества было зазорно, зато теперь почетно. Знакомством с ними все гордятся». И я пил сок и, забыв вскоре обиду из-за игрушек, с интересом и упоением слушал рассказы Звонских, впитывая их тон, саму манеру разговора, легкую и живую.

— Вот так он и люзует, помыкает мной, как сатрап, — ласково-ироническим тоном говорила Лариса Ивановна. — А как когда-то ухаживал! Что только не вытворял! Я ведь о принце мечтала, как и каждая молодая дурочка, — но слово «каждая» она так выделила, что нетрудно было догадаться, что к себе его она не относит. — Ко мне мно-огие сватались. Я ведь была дочь командарма, да еще и из хорошей семьи: отец мой из тех царских офицеров, что приняли революцию и быстро дослужились до самых верхов. Только в тридцать четвертом он разбился на самолете, ну, зато в чистки не попал. И была я, молодая барышня, вся в денщиках, ординарцы отца каждое утро цветы мне дарили, на машине катали; у отца и в опере свой абонемент был... Поверите ли, Анечка, — обратилась она к моей матери, — что в юности я принимала ванны из молока, для кожи, — кожа у меня тогда была не очень хороша, вот врачи и веле-

ли за собой следить... Во всяком случае, чувствовала себя принцессой. И тут в театральной студии встречаю этого, тогда еще молодого грубияна. А он кто? Да никто. Бывший боксер, пока что трюкач в цирке, в студии на вторых ролях. И вдруг начинает за мной ухаживать!.. Я ему говорю: я выйду замуж только за знаменитого режиссера или актера. «Значит, за меня, — он мне отвечает, — а то нынешние все старики, какой от них прок! Они же ж ничего уже не могут, даже не расшевелят, не то чтобы удовлетворить!» Представляете? Так прямо невинной девушке все и ляпнул! — она захохотала, запрокинув голову. Ей было приятно делиться своей биографией, ей было интересно рассказывать про себя, и этот искренний интерес невольно передавался и слушателям.

— Ну ладно, ладно, — прервал ее Лука Петрович, — ты лучше расскажи, как я тебе меж пальцев из пистолета стрелял. Я ведь молодой лихой был, — пояснил Лука Петрович, — а пистолет у меня от брата после гражданки оставался. Она мне все хвасталась, что вокруг нее военные, храбрые и ловкие, с пистолетами, а ты только, мол, кулаками махать умеешь. А я говорю: а могут ли они из пистолета у тебя между пальцев руки с двенадцати шагов попасть пуля за пулей? Лариса гордая была девочка, мне под стать, храбрая была. К стене сразу подошла — мы у нее в саду были, — пятерню растопырила, к стене прижала: «Давай, говорит, стреляй».

— И вы?.. — перебил я его, острее взрослых переживая историю с оружием.

— А что мне оставалось делать? — усмехнулся он. — Пришлось стрелять. Так пулю за пулей все четыре штуки и всадил.

— Не ранили? — снова встрял я.

— Нет. Тут первый раз ее немного проняло. А потом пришлось мне, в свою очередь, обещание выполнять — становиться знаменитым режиссером. Вот и стал. Все, чтоб ей угодить. — Они оба ласково переглянулись. — Так уж больше двадцати лет лямку и тянем. Двадцать лет бессрочных каторжных работ! — теперь уж рассмеялся он. — Ну, честно признаюсь, Ларисе, конечно, больше достается. У меня работа, театр, а на ней весь дом, да еще и собственное творчество. Но раз уж впряглась в эту лямку, согласилась ее тянуть, — так уж тянет, и без сбоев, — сказал он, а я подумал, вспомнив, что говорила мама о Звонских, что не так уж тяжела эта лямка при домработнице и «хорошо зарабатывающем» муже. Достаточно посмотреть на фарфор и хрусталь, да еще и в молоке в молодости купалась. Зная крестьянское уважение и даже некоторое скопидомство мамы по отношению к продуктам (даже сухой корки хлеба

выбрасывать нельзя, сюда труд вложен!), я просто боялся взглянуть на нее после рассказа о молочной ванне.

— Да уж, — подхватила тем временем свою партию в дуэте Лариса Ивановна, с ласковым укором и одновременно озорной усмешкой посмотрев на мужа. — У него там актриски, то да се, ему легко эту лямку тянуть. Но я понимаю, мы, Анечка, это понимаем, что мужчинам нужна разрядка, такая уж у них физиология. Женской выдержки и терпения у них нет и никогда не будет. Это только мы, женщины, — обратилась она к маме, — способны хранить постоянную верность и преданность. У нас на это силы побольше, чем у любого мужчины.

— Среди мужчин тоже не редкость встретить порядочного человека, если он все время помнит, что у него есть семья, дом, жена, дети и обязанности перед ними, особенно если он твердо знает, что его жена не изменяет ему с каждым встречным и поперечным, — сказала резко мама.

Резкость ее была откровенной, вызывающей.

— Вот и не обязательно, голубушка, — спокойно, без обиды отреагировала Лариса Ивановна. — Вы ведь должны знать, что перед хорошенькой юбкой никакой мужчина устоять не сможет. Это проверено. И нечего его за это винить. Главное, надо следить, чтоб он не влюбился. Тогда это и в самом деле опасно. Я один раз так чуть своего Луку не прошляпила, чуть не потеряла. Думала, так все просто, в игрушки играет, покрутится, повертится, а потом все же в родовой замок вернется, за гранитные-то стены. Вдруг, приглядываюсь, задумываться он стал, на меня грустно так посматривает, на квартиру, будто прощается. Ну, думаю, уводят моего Лукашку, прямо из стойла уводят.

Я невольно посмотрел на Луку Петровича, не смутился ли, но он сидел прямо, крепко, слегка подводя зрачки под веки, с самодовольным выражением, которое я теперь могу определить как самодовольное выражение петуха, которого нахваливает его курица, ссорившаяся из-за него с другой курицей. Он попивал маленькими глоточками коньяк и с удовольствием слушал рассказ жены. Его маленькие глазки жмурились, и он все вальяжнее и барственнее раскидывался в кресле, а пальцы его отбивали на ручке кресла так легкомысленной песенки «Блю, блю, блю кэнери», доносившейся из магнитофона... Да, я забыл упомянуть об этом предмете, а он произвел на меня, быть может, самое сильное впечатление, как предмет невероятной — по моим тогдашним понятиям — роскоши. Машина с двумя крутящимися катушками с пленкой, в полированном деревянном корпусе, — нет, это даже не роскошь, а знак при-

общенности к *той* жизни, зарубежной, европейский, «высшей». К тому же, как объяснял Лука Петрович, приобретался магнитофон не только для развлечения, а для профессиональных надобностей прежде всего, чтобы в работе быть на уровне современных технических средств. Лука Петрович формулировал это так: пишет он плохо, память у него слабая, забывает, что актерам хотел сказать, а наговорить, когда в голову приходят идеи, может много. А тут — раз, включил магнитофон и говори... И все важное сохраняется. Вот зачем он ему нужен.

А Лариса Ивановна продолжала свой рассказ, и под ритмы этой вполне легкомысленной песенки о любви все рассказываемое звучало как милая история:

— ...Уводят моего Лукашку. В глаза он мне не глядит, морда все время виновато на сторону скошена. Ну, думаю, так дело не пойдет. А мне ее показали: ничего, хорошенькая такая, рыжеватенькая. Вкус у Луки, надо отдать ему должное, в этих делах, всегда был неплохой, — Лариса Ивановна хрипло, точнее хрипловато, рассмеялась, и было в этой хрипловатости нечто интимное и незлое, прощающее, уже простившее, но и властное, уверенное. — И все равно, я же знаю, что я для него лучше и нужнее. Конечно, теперь, когда у него такая слава, за него всякая не только пойдет с охотой, а еще и стремиться будет. Это я в свое время беспортошного трюкача приняла... И куда он от меня и без меня денется!.. Он этого может не понимать, зато я понимаю. Ну, я к ней в фойе после спектакля подошла, горжетку, которую он ей купил, сорвала; она побледнела, в сторону, как кошка блудливая, дернулась, я ее за волосы, да об пол и при всех, кто там был, за волосы по полу оттаскала. Она визжит, а сопротивляться не смеет, знает кошка, чье мясо съела. Меня оттащили, а Лука стоял и смотрел. Та визжит, ругается, слюной брызгает, а он ко мне подошел, под руку взял и домой увел. И все, больше с той ни разу не встречался. Оценил! — она снова рассмеялась, подошла и поцеловала Луку Петровича в голову.

Мама перестала совсем улыбаться, отец улыбнулся какой-то тревожной улыбкой, явно ему эта история была не совсем понятна, в нашем доме совсем другой стиль отношений был заведен, серьезнее и надрывнее, а Лука Петрович сидел и ухмылялся, и что-то мягкое и довольное было в его улыбке.

После рассказа Ларисы Ивановны (я почему-то и про себя называл ее по имени-отчеству, хотя сейчас так и тянет назвать просто по имени) слово взял, не давая перерыва, Лука Петрович:

— Теперь, кхе-хе-хе, я опять при ней. Глядишь, так и до конца вместе эту лямку дотянем. Сколько нам там осталось? Двадцать

лет? Тридцать?.. Как по-твоему, Гриша, это много или мало — двадцать лет?

Отец пожал плечами, но не поспешил с ответом, видно мне было, что он переживал за маму, за ее дискомфортное состояние, винил в этом себя, а потому и не сразу включился в разговор, а включившись, ответил неожиданно сухо и с раздражением:

— Все зависит от меры отчета и от наполненности человеческой жизни. Сумеет человек наполнить жизнь делом, вдохновением, настоящей любовью, трудом, реализацией себя — он вложит в эти годы много, спрессует их, а проживет, как свинья, для своего удовольствия, то будто этих лет и не было, во всяком случае для будущего времени их не будет, останется пустое пространство, будто в нем никого и не существовало. Впрочем, все эти банальности вы и сами знаете, без меня.

Он говорил, будто выговор Звонским делал, и снова тем не менее они не обиделись.

— Люблю Гришу, он всегда как-то все на свои места умеет поставить! — Лариса Ивановна отошла от мужа, приблизилась в своем шуршащем кимоно к отцу, обняла его одной рукой за плечи, прижала не то к своему боку, не то к бедру и поцеловала в щеку. Отец невольно дернулся, кинул быстрый взгляд на маму, не привыкшую к таким артистическим вольностям, и покраснел.

А Лука Петрович, потирая свои маленькие глазки, хехекал и повторял:

— Много или мало, все от человека зависит, именно, все от человека зависит, много или мало он прожил, все от человека.

Лариса Ивановна погладила отца по волосам. Свет в комнате был полупритушен, из пяти ламп на люстре горело только две, да еще торшер в дальнем углу, вполне все было видно, и все же атмосфера уюта, изолированности от окружающего мира, предполагающая беспредметную и игровую велеречивость, этим освещением создавалась. Но мама, глядя на глядящую отца руку, выпрямилась со сжатыми губами и сидела, ничего не говоря, как оцепеневшая, как застывшая. Отец старался делать вид, что ничего не замечает.

Молчать, как мама, мне почему-то стало неловко, хотя никто и не ждал от меня особых речей, и, чтобы сделать вид, что я занят и слушаю «взрослые разговоры» как бы вполуха, я тихо подошел к книжной полке и принялся доставать по очереди массивные тома книг по искусству, то на русском, то на немецком языках, листал их и рассматривал картинки, прислушиваясь к разговору. Но иногда отвлекался, читая краткие аннотации. Немецкий я знал тогда настолько, что был в состоянии разбирать подписи под картинками



— И вот вызывает меня этот Шпанделевский, кхе-хе, я так его прозвал, Гриша знает, о ком я говорю, из министерства один там, и спрашивает, — рассказывал тем временем Лука Петрович, — «Ты иностранные языки знаешь?» Я тут же сообразил, что к чему, и отвечаю: «Конечно, два языка». — «В Англию поедешь, — говорит. — Нам нужен там в делегацию грамотный и хорошо образованный театральный деятель, художник, одним словом, да». Я киваю важно. А сам ни бум-бум, ни в одном языке... Сколько меня Лариса немецкому ни пробовала учить — она ведь у меня еще и немка наполовину, знали ли вы это, Анечка? — ничего так и не усвоил. Приезжаем, а я без переводчика ни шагу. Говорят: «Ты что же? А два языка?» Я им: «Два и есть. Армянский и грузинский». Фиг вы, думаю, мне тут проверку устройте. Махнули рукой. С тех пор и езжу. Вот так вот, понял? Языки знать надо!

Вдруг Лариса Ивановна, отсмеявшись, повернулась ко мне:

— А кстати, каковы твои успехи в немецком, а, Боря? Wie geht es Dir? Помнишь, я тебе обещала, если ты выучишь хоть одно стихотворение на языке, подарить хорошую книжку. Ну, и как у тебя успехи?

Я был рад сделать ей приятное, выполнить ее любую просьбу. Тем более прочесть по-немецки стихотворение — такой пустяк. Я повернулся к взрослым и сказал:

— Хайнрих Хайне. Ди Лореляй, — я нарочно сказал «Хайне», а не «Гейне», чтобы показать, что я знаю, как правильно произносить фамилию поэта, и прочитал:

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,  
Daß ich so traurig bin;  
Ein Märchen aus alten Zeiten,  
Das kommt mir nicht aus dem Sinn...

Я прочитал стих до конца, а Лариса Ивановна спросила:

— Перевод, я надеюсь, ты знаешь?..

С самодовольным торжеством я ответил:

— Разумеется. Перевод Александра Блока.

И прочитал:

Не знаю, что значит такое,  
Что скорбью я смущен:  
Давно не дает покоя  
Мне сказка старых времен.  
Прохладой сумерки веют,

И Рейна тих простор,  
В вечерних лучах алеют  
Вершины дальних гор.  
Над страшной высотой  
Девушка дивной красоты  
Одеждой горит золотою,  
Играет златом косы,  
Златым убирает гребнем  
И песню поет она:  
В ее чудесном пенье  
Тревога затаена.  
Пловца на лодочке малой  
Дикой тоской полонит;  
Забывая подводные скалы,  
Он только наверх глядит.  
Пловец и лодочка, знаю,  
Погибнут среди зыбей;  
И всякий так погибает  
От песен Лорелей.

– Ну что ж, роль Лорелей нам подойдет, правда, Анечка? – сказала Лариса Ивановна. – Только не похожи они что-то на погубленных!

– Эта роль не для меня, – сухо отрезала мама. Да и в самом деле, на Лорелей скорее походила Лариса Ивановна, живущая в своем доме-утесе на пятом этаже, и ласковые речи ее – ее песни, а пловцом в лодочке был, конечно, я. Возможно все же, что, сам того не подозревая, я был, наверно, влюблен в Ларису Ивановну, в Ларису. И ее образ был для меня окружен золотым сиянием. Она встала, подошла к полкам, достала том избранных стихотворений Heine (я-то помнил, что он ее любимый поэт и что именно этот том и был мне обещан!) и протянула его мне со словами:

– Держи, учи наизусть. Лучший способ выучить язык – это учить наизусть стихи.

Мне вдруг показалось, что если я буду изъявлять благодарность, как положено, то нельзя не упомянуть и то, что я ждал этого подарка, и тогда получилось бы, что я напомнил об этом чтением стихов, napросился, так сказать. Я взял в руки книжку и, в растерянности пробормотав еле слышно «спасибо» и «пойду положу», выскочил черед гостиную, чувствуя себя неуклюжим и топорным под взглядами взрослых, в холл-прихожую, засунул книжку в мамину сумочку и с трудом заставил себя вернуться обратно.

- Ты куда ходил? – спросила мама. – Даже «спасибо» не сказал.  
– Я сказал, – покраснел я. – А ходил положить. В твою сумку.  
– Хорош! – смутился и папа. – Настоящий бурундук.

Его слова вогнали меня в краску окончательно, до слез, до неловких жестов, когда нарочито не обращаешь ни на кого внимания. Я подошел к окну и мрачно уставился в темное стекло, пытаясь разглядеть за ним слабо освещенный двор, казалось расположенный на дне пропасти, настолько высоки были окружающие его дома. Но виднелся только каток за деревянными щитами с тоненькими деревцами и четырьмя фонарями. Он напоминал арену, куда можно было выпустить и гладиаторов, и диких зверей, а из окон сверху, как с усовершенствованных зрительских мест, можно наблюдать за схваткой, Я замечтался, отвлекся, но сзади захохотал Лука Петрович, и я в отчаянии прижался лбом к стеклу с такой силой, словно пытался выдавить его. Женские руки нежно взяли меня за плечи и, несмотря на мое не слишком упорное сопротивление, развернули. Это была Лариса Ивановна.

– Да ты что, Борис?! Да фу на твоих родителей! Что за мешанская чопорность! Все правильно. Ты получил в подарок книжку и спрятал ее в сумку. Все нормально. Ну, улыбнись, не переживай!

От нее исходил манящий, влекущий запах духов, запах, которого я никогда не слышал раньше. И я был ей благодарен, она, в сущности, вытащила меня из пропасти, в которую я с отчаяния ринулся от стыда, не одернула, не засмеялась и вдруг прояснила, что ничего страшного не случилось. И после самообвинений и ясного понимания, что я поступил «неприлично», наступило столь же ясное понимание, что все в порядке, что я имею право смотреть на белый свет, но все же ее слова о родителях были мне неприятны, хотя за ее доброту я и готов уже был стать ее верным рыцарем, расплыться в обожании ее. Полуобнимая меня за плечи, она подвела меня к креслу, усадила и присела рядом на широкую и плоскую его ручку.

– Ну, – повторила она, – не переживай, мы же друзья. Верно?

– Слушайся Ларису Ивановну, с ней не пропадешь, – сказал щурясь Лука Петрович. – Уж если она меня, хе-хе, удержать сумеет, ума у нее побольше, чем у всех других женщин, вместе взятых.

– А что, Борис, – в порыве вдохновения произнесла Лариса Ивановна, – давай приезжай ко мне, я с тобой буду немецким заниматься. Все же это мой второй родной язык.

Я молча кивнул, а сам вспомнил свою «немку», Эльзу Христиановну, которая «давала уроки» мне и моему дворовому приятелю Алешке Всесвятскому. Когда она приходила к Алешке (мы зани-

мались у него на квартире), его бабка приносила ей на стол чай и конфеты с печеньем в вазочке. Сначала она пила чай и просматривала наши домашние задания, потом Алешкина бабка приносила ей вторую чашку, и Эльза Христиановна начинала спрашивать нас перевод, чтение, слова, продолжая между делом прихлебывать из чашки чай. Когда она как-то раз оказалась в нашей квартире, где суровая мама поставила на стол только будильник и сказала «немке», что, если в течение положенного часа мы будем баловаться, а не работать, чтоб она не стеснялась на нас прикрикнуть, а если надо, то позвать и ее, потому что работа есть работа. «Mach die Tür zu», – досадливо сказала «немка» привычную фразу, кивнув мне. Я встал и закрыл дверь комнаты. На квартире у Алешки обычно это делал он. Эльза Христиановна морщила к переносице брови и с неудовольствием раскладывала книги. Она напоминала мне всей своей повадкой, своим длинным коричневым платьем с белым воротничком и белыми манжетами рукавов, своей длинной костлявой фигурой, любезностью, умением и любовью «побеседовать» с Алешкиной бабушкой «немку» из прошлого века, не то учительницу, не то гувернантку. С нами она всегда была мила, изредка дарила нам немецкие книжки про индейцев, которые (так предполагалось) мы с интересом должны были читать, но которые мы не читали, разве только на занятиях. Она что-то бормотала чуть слышно, ее длинные худые губы шевелились, наконец она произнесла: «Setzen sie sich». Мы уселись, и занятия начались. Очевидно, что ее природный, врожденный немецкий педантизм, почти пропавший среди российской бестолковости и безалаберности, проснулся от маминого крестьянского напора и деловитости, и она целый час гоняла нас по склонениям, заставляла читать, пересказывать, вести между собой беседу, умаяв нас и сама умаявшись. Но больше она у нас в квартире не занималась, предпочитая Алешкину, нахваливая Алешку бабке, чтоб та снова и снова приглашала ее заниматься к ним домой. Было в ней что-то от приживалки, эксплуатирующей свою национальность и язык, раз уж больше нечего и ничего-то другого она делать не умеет, и родина далеко и вряд ли она уже туда вернется, да и есть ли к кому. Очень жалею сейчас о нашем детском равнодушии, что мы даже не поинтересовались ее судьбой. Кто она, откуда, как жизнь прожила и как сейчас живет. Для нас она была хорошей теткой, доброй, не очень нас загружавшей (чем весьма нам нравилась) и, по сути дела, не пытавшейся учить нас языку. И до сих пор я так и не знаю немецкого. Хотя мечты родителей, чтобы их сын непременно знал иностранный язык, потихоньку вколотились мне в голову, и я хотел язык знать, но не

представлял, что это требует постоянных усилий, как и все на свете. О последнем я тоже тогда не догадывался.

Выслушав предложение Ларисы Ивановны, я с радостью молча кивнул ей, но при этом вопросительно посмотрел на родителей. Как *они* к этому отнесутся? Без их разрешения я не представлял себе поездки сюда. Отец пожал плечами, и я поглядел на маму: от нее теперь все зависело.

— Спасибо за предложение, но, Лариса Иванна, — сказала мама, — у Бориса уже есть учительница, да к тому же регулярно сюда ездить у него не получится, а заниматься от случая к случаю — толку не будет, — с прямым и нескрываемым осуждением этой затеи сказала решительно мама.

Я видел, что Лариса Ивановна несколько растерялась: она и не собиралась давать постоянные уроки, как показалось маме.

— Но никто и не говорит, чтоб он бросал регулярные занятия с учительницей, — попытался поправить положение отец. — Сюда он может ездить для шлифовки языка. произношение улучшать.

— Пусть с Эльзой Христианной занимается. За что-то она деньги получает, пусть и произношение ставит. Главное, чтоб он сам не лентяйничал, — уперлась мама.

— А ты считаешь, Гриша, что учить язык полезно? — бесцеремонно встрял Лука Петрович. — Не знать, а именно учить?..

Отец повернул к нему голову, радуясь — по всему было заметно, — что разговор хоть слегка меняет русло.

— Конечно, полезно. Открываешь новый мир, даже заучивая простые грамматические правила чужого языка. Надо только помнить, что слов и грамматических правил здесь недостаточно, — заговорил отец «рассуждающим» тоном, привлекая всех вслушаться в то, что он будет говорить, и забыть о «напрягухе». — Мы не овладеем языком, пока не научимся мыслить на нем, а это задача из задач. Обычно удивляются, почему взрослому труднее выучить язык, чем ребенку. Но у ребенка происходит первая встреча с миром, и эта ситуация уже не повторяется. Поэтому второй язык учить сложнее, тут реальная трудность состоит не столько в изучении нового языка, сколько в забвении старого. Что вы так на меня смотрите? Это звучит парадоксом, но это так. Наши восприятия уже сложились в соответствии со словами и речевыми формами материнского языка, именно материнского, связь тут столь же тонкая и прочная, как у ребенка с матерью, потому и разрыв связей между вещами и словами, чтобы назвать вещи новым словом, требует больших усилий. Но ради языка можно пожертвовать усилиями и временем. Проникновение в другой язык есть всегда проник-

новение в новый мир, обладающий своей собственной интеллектуальной структурой, и самое большое достижение здесь состоит в том, что свой родной язык мы начинаем видеть в новом свете. Как сказал Гете, — отец взмахнул рукой, словно подчеркивая цитату, — «wer fremde Sprachen nicht kant, weiss nichts von seiner eigenen». Борис, можешь перевести?

Я отказался. Лариса Ивановна переспросила, но перевела:

— Кто не знает иностранных языков, тот не знает ничего и о своем собственном. Так? Что скажет ученый мудрец?

Уже в который раз опять зазвонил телефон. Разведя руками, что, мол, не может выслушать ответ отца, Лариса Ивановна вышла в прихожую. Оттуда, как и предыдущие разы, был ясно слышен ее сильный веселый голос: «Да. А, здравствуй, Маричка. Достал? Молодец. Ну, конечно, возьми. Договорились. Наши общие знакомые. Помнишь Гришу Кузьмина? Вот он с семьей. Непременно передам. Ну, разумеется. Сказала тебе — передам, значит, передам. До скорого». Она звонко засмеялась, как обычно смеются шутке.

Вернулась она в комнату, продолжая смеяться.

— Помните такого забавника, Марка Самойловича? На взморье все юлил вокруг нас, надеялся, что Лука Петрович его в театр пристроит. Передавал горячий привет и спрашивал, здесь ли Боря, или его, как всегда, забыли в пивной? — Она снова засмеялась. — Услужливый такой человек! Я его послала очередь отстоять (за одним предметом дамского туалета, — пояснила она, склонившись к маме, интимно). И представь себе, Лука, он достоялся. Завтра привезет. Просто прелесть!

— Да, человек он услужливый, хе-хе, этакий Шпанделевский, — подтвердил и Лука Петрович, — а куда ему деться? Все ждет, что я его на работу пристрою, а у меня пока не получается.

— Несчастный человек, а не человек, — сказала вдруг мама громко и в сердцах.

А я посмотрел на Ларису Ивановну, такую естественную в своем аристократизме, и подумал, что она, конечно, не гейневская Лорелей, а, скорее, прекрасная дама из шиллеровской «Перчатки». Надо сказать, что «Перчатка» своим демоническим и гордым трагизмом нравилась мне куда больше «Лорелей», потому что вообразить себя отважным рыцарем, не побоявшимся с высокого балкона спрыгнуть за перчаткой надменной дамы на площадку зверинца, где бродили лев, тигр и барсы, было куда интереснее и приятнее, чем непонятым пловцом в уютной лодчонке: стихотворение это было напечатано в учебнике готическим шрифтом, что придавало ему средневековую убедительность, и, когда я произ-

носил слова: «Den Dank, Dame, begehrt ich nicht!», — мне казалось, что и я бы с таким же презрением отверг лицемерную и надменную красавицу. Но тут же увидел, что вовсе и не похожа Лариса Ивановна на надменную, тем более лицемерную красавицу, потому что и она ужасно смутилась, да и Лука Петрович смешался после маминых слов.

— Он такой забавник, то есть шутник, то есть я вовсе, мы вовсе не хотели его обидеть, говоря, что он услужливый... что вы, Анечка, «человечек» вовсе не унижительное слово, он ведь и в самом деле невысококенький такой, да и духом невелик, — оправдывался в растерянности Лука Петрович, а Лариса Ивановна подтверждающе кивала головой.

— Да нет, это я так, — спохватилась и мама в смущении.

А Лариса Ивановна бросилась ко мне как к спасательному кругу, как к человеку в лодке среди волн, как к спасателю, как к рыцарю Делоржу, который поднимал перчатку дамы, но не из гордости, а за помощью:

— Ну так что, Борис?.. Как ты решил? Будешь ко мне ездить языком заниматься?..

Конечно же, я хотел ездить. Мне не так хотелось заниматься немецким языком, как заниматься именно с ней, ездить к ней в дом, общаться с ними, это льстило моему самолюбию, сам не знаю почему. У нас дом был, что называется, интеллигентный, но простой. В нем была *прямота*, доходившая даже до обидного, поскольку меня не облизывали, а, скорее, побранивали, гораздо чаще, чем мне хотелось бы. И никогда у нас дома не было избытка: только то, что нужно. Уже позднее я определял этот стиль жизни как характерный для российской демократической интеллигенции. Не голоден, обут, одет, в тепле, здоров, книги есть — читай, развивайся: для занятий — книгами, деньгами, учителями — ты будешь обеспечен, только трудись, работай. Меня не тянули, мне помогали. Но желание приобщиться к миру, где меня не бранили, не поучали, где отношения чудились легкими и простыми, где со мной разговаривали, не ставя одновременно, пользуясь каждым поводом, высокоморальных целей, — короче, желание стать «своим» в этом мире охватило меня.

— Я с удовольствием, — отозвался я на ее слова, но, пытаясь выглядеть куртуазно вежливым, добавил: — Если только у вас будет время для меня.

— Конечно, будет, — сразу сказала она. — Как решишь приехать, так и звони, только лучше звони за день, чтоб я других дел не назначала. Хочешь, прямо с послезавтра и начнем? Все же мать у меня немка, должна же я в ее честь хоть одного человека выучить

ее родному языку, Итак, решено, послезавтра. Приезжай к обеду. Будем обедать и беседовать по-немецки... Gut?

Лука Петрович сморщился:

— Ларочка! Зачем ты обманываешь нашего юного друга! Ведь послезавтра у нас Елисеевы, и тебе не удастся поговорить с Борисом на твоём втором родном языке, солнышко ты мое! Елисеевы, хе-хе, в языках, вроде меня, люди свободные от знаний... Хе-хе! То есть пусть Борис приходит, когда хочет, мы всегда рады его видеть, только в этот день занятий не получится...

— Да вы что, — сказала мама, — зачем ему *попусту* ездить, у него все же школа, уроки, да и вообще я считаю, что нечего попусту людей беспокоить. Пусть хорошо делает хотя бы то, что ему по программе положено, да что Эльза Христиановна ему задает... — Мамино лицо от внутреннего напряжения пошло красно-белыми пятнами, смотрела она при этом на бахрому своего накинутаго на плечи посадского платка.

Но и Ларисе Ивановне, хозяйке волшебного замка, вознесшегося на утесе над морем человеческой обыденности, отступать было нельзя.

— Ну и что. Мы увидимся в другой раз. Анечка, дорогая деточка, я вовсе не съём вашего сына. Он такой милый и славный мальчик, с красивыми глазами, как у отца, и очень мне нравится. Просто Боря должен сам мне позвонить, ну, скажем, через неделю. И мы с ним непременно выберем время для встречи. А с этими Елисеевыми я действительно должна буду заниматься, развлекать их разговорами, и они нам с Борей будут мешать. Лучше через неделю.

— Лариса, — робко сказал отец, — я думаю, Аня права, зачем вам себя утруждать! У Бориса есть учительница. Так что все в порядке, он нормально занимается.

— Тебе, Гриша, стыдно так говорить, — прищурилась златовласая красавица с курносом носиком, и тут я впервые осознал, что отец говорит им «вы», а они ему «ты». — Ты бы должен был понимать, что значит работа по обязанности и что значит работа от души. Ты же мудрец, мыслитель.

При этих словах мама посмотрела на отца проницательным долгим взглядом.

— Быть может, тебе и в самом деле, Гриша, лучше знать это, раз так говорит Лариса Ивановна.

— Аня! Ну что ты, право! — сказал отец, уже не обращая внимания на Звонских.

А я вдруг подумал, что понимаю отца, что как Эльза Христиановна приходила к нам не ради уроков, а чтоб погреться, отогреть-



ся при цивилизованных детях, в профессорских семьях, за чашкой чая, где к ней относились как к человеку, а не просто как к училке, так и папа стремился сюда, чтобы побыть в атмосфере изящества, свободы, где ему *внимали*, причем слушали не как специалиста, а по любому вопросу он мог говорить, как много знающий и умный человек.

— Я ничего, — отозвалась мама, неловко, скованно и принужденно улыбаясь Звонским.

Эта улыбка, ее, так сказать, тональность, показала (мне, во всяком случае), что визит не удался, что мама это сознает и сама сюда ни ногой, даже если и пригласят.

По-видимому, и Звонские это почувствовали. Вечер сходил на нет. Лариса Ивановна плюхнулась на диван, закинула ногу на ногу. Потом закурила, затянулась, положила горящую сигарету в пепельницу и, закидывая высоко руки, принялась поправлять прическу. Широкие рукава ее кимоно упали на плечи, браслет съехал к локтю. Браслет был темно-зеленоватого цвета с золотыми точечками, похожий на свернувшуюся змейку. Я посмотрел на него и вспомнил, как летом, показывая этот браслет, Лариса Ивановна раза три разным людям рассказывала, что, когда она была молодой совсем, ее родители привезли из Индии маленькую змейку, совершенно такого же цвета, вроде той, что укусила Клеопатру, ужасно красивую, только с удаленными ядовитыми зубами. И как она эту змейку носила на руке вместо браслета. И одна старушка на улице все восхищалась этим браслетом, а змейка вдруг подняла головку, раскрыла пасть и зашипела, и старушка упала в обморок. Очень мило она это рассказывала и добавляла, что с тех пор носит браслет, похожий на эту змейку. Почему-то мне нравилась эта сомнительная история. Я готов был еще раз выслушать ее, эту историю, придававшую столько экзотики златовласой хозяйке, но Лариса Ивановна не стала на сей раз ее рассказывать, только улыбнулась и подмигнула мне, указывая глазами на браслет: мол, помнишь? А я радостно закивал ей в ответ, тоже улыбаясь. Но, посмотрев на родителей, невольно посуровел — такие они сидели молчаливые, напряженные и неулыбчивые. Мама явно хотела уйти, поглядывала на часы, так, чтобы отец это заметил. Но, видимо, уйти, чтобы было *прилично*, в такой ситуации было весьма трудно. И отец сидел, тщетно пытаясь, как я думаю, найти повод для ухода.

Разговор тек вяло, Лука Петрович что-то рассказывал довольно скучно, о своей поездке в ГДР, как он притворялся знающим немецкий язык и как его пригласили ставить Шиллера, а он отказы-

вался, говоря, что ему чужд этот драматург. Сопровождавший его немец из вежливости говорил по-русски и его надувательства так и не раскрыл, а может, и раскрыл, поправила его Лариса Ивановна, но виду не подал. Вставить хоть слово об уходе в этот его рассказ было трудно.

Все же мама встала и сказала, что она извиняется, но для мальчика уже поздно, ему завтра в школу, что мы должны идти и что вечер был такой чудный, и что теперь наша очередь звать их в гости. О моих занятиях немецким с Ларисой Ивановной не было сказано ни слова.

— Что за счеты, — говорила Лариса Ивановна, — кто у кого больше был в гостях. Лучше уж вы звоните и приезжайте. Или вот с Борисом передайте, когда захотите прийти. Мы с ним теперь часто будем видеться по поводу немецкого. А сами мы редко ходим в гости. — Этим ее словам я не поверил.

И вот мы снова в прихожей-холле, натягиваем шубы, прощаемся и на лифте, словно в замедленном, мягком прыжке, спускаемся на первый этаж с их вершины, проходим мимо консьержки, внимательно оглядевшей нас, и выходим в темный двор-колодец. Только светились окна дома-утеса где-то наверху. Мы вышли на улицу, трамвая не было, и поэтому, хотя мама была принципиальной противницей такси, как ненужной роскоши, домой на этот раз мы поехали на такси. Когда папа остановил машину, выскочив почти на середину шоссе, и мы сели — папа на переднее, а мы с мамой на заднее сиденье — и машина тронулась, мама сказала:

— Слава Богу, хоть это сумел сделать! Уйти от Звонских сил у тебя не было, конечно! Разумеется, там тебя ласкают, тобой восхищаются... Но вы натуры художественные, вольные, можете и до часу дня спать, а нам с Борей завтра рано вставать, хотя бы об этом надо помнить и пожалеть нас. Ему в школу, да и мне, ты должен знать, на работу к восьми, а путь не близкий.

— Да еще не поздно, — донесся из темноты несмелый и растерянный голос отца.

— Какое «не поздно»! — воскликнула мама. — Уже двенадцатый час!

Папа не отвечал, и разговор затих. Я сидел тоже молча, уставившись в окно, вспоминая вечер и наслаждаясь скоростью и удобством индивидуального транспорта. Дома мама сразу мне сказала:

— Разбирай постель и — спать.

Я вошел в свою комнату и остановился в раздумье у дивана с деревянной спинкой, включил настольную лампочку, стоящую на тумбочке, отпер шкаф и достал из нижнего отделения постель-

ное белье — отдельного бельевика у нас тогда не было. Расстелил простыни, положил подушку, сверху верхней простыни пристроил зеленое байковое одеяло без пододеяльника, потом пошел в туалет. И вправду было поздно, почти уже двенадцать показывал будильник.

Сидя в клозете, я слышал, как родители вышли на кухню и что там-таки все же затеялся разговор, почти ссора.

— Мы для них черная кость! — негодовала мама.

Отцовского ответа я не слышал. Только мамины слова снова:

— А я не позволю ему к ней ездить! Я не хочу чтобы мой сын унижался перед кем бы то ни было! Будь они хоть самые что ни на есть раззнаменитости!

— Аня! О чем ты говоришь? Какое унижение? — долетел теперь и ответ отца.

Опасаясь пропустить самое интересное, потому что тема Звонских и меня волновала (я чувствовал себя равноправным участником этого обсуждения), я поспешил выйти и, помыв с мылом руки, явиться на кухню. Родители сидели за столом друг против друга. Перед мамой лежала на бумаге горка гречневой крупы и стояла кастрюлька. Очевидно, она перебирала гречку, чтоб варить нам на завтрак кашу. Папа сидел, опершись локтями о стол и взявшись обеими руками за волосы; выглядел он растерянным, но раздраженным.

— Ты почему еще не в кровати? — воскликнула мама.

— Действительно, иди ложись, — сказал мне и отец, а маме: — Он еще не успел. Что ты на него накидываешься?

— Ну, конечно, я накидываюсь! Я такая злая! А они добрые! Пусть и Борис так же думает. Ты этого хочешь? Тогда давай.

— Аня! Ну зачем ты так?

— Как *так*? Не изящно, как тебе хотелось бы? Как твои лицемерные Звонские? Да они тебя в грош не ставят, раз боятся принять тебя с семьей одновременно с другими гостями, выделяют отдельное время, ставят на другую доску! Конечно, мы не светские люди. Или тебя они считают светским, только жену твою отделяют? И сына переманивают!..

— Но, Аня!.. Лариса Иванна же знает немецкий и просто хотела оказать любезность — позаниматься с Борей, только и всего. Уверяю тебя, что ничего другого... А эти занятия для него будут полезны.

— Все равно, — упрямо сказала мама. — Нечего ему туда ездить. Это не тот немецкий, какой ему нужен.

— Что значит «не тот»? — встрял я. — Язык один и тот же, двух немецких языков не бывает.

– Ты еще мал, чтоб судить, – сказала мама, – сколько и какие языки бывают. У нее другой язык. У них и русский другой. Я бы никогда такого, что говорили, не смогла бы сказать. Я не хочу, чтобы мой сын ходил куда-то из милости и вел себя, как приживал. Ты понял?

– Понял, – угрюмо ответил я, вышел из кухни и встал на пороге.

Мне было обидно и за себя, и одновременно за маму тоже, потому что я вдруг почувствовал, что ее чем-то обидели во время нашего визита. Руки мамы, пока она говорила, безостановочно двигались, перебирая крупу, ссыпая очищенные зерна в кастрюлю, а бракованные сдвигая в одну кучку. Отец встал и ходил вдоль плиты. Он, может быть, даже и вышел бы из кухни, если бы я не стоял у двери на его пути. Я ждал, непонятно почему, что он сейчас скажет, что все это ерунда, что мама не права, что я все равно должен ездить, раз меня пригласили, но, к моему удивлению, он ничего не сказал, наоборот, помрачнел и вовсе смолк, вместо того чтобы продолжать спорить. Мне только сказал:

– Иди спать, если постелил. Мама тебе что сказала?

Я и пошел. Уходя, еще слышал мамины слова:

– Мне неприятно, что они выставляют передо мной свою жизнь. Это неоправданно... Или они считают, что перед нами, как перед прислугой, нечего стесняться?.. Я не хочу, чтоб мой сын рос и жил, как несчастный Марк Самойлович, униженный и оскорбленный.

– Ты не права, Аня, – сказал отец усталым голосом, – при чем здесь прислуга, при чем здесь Марк Самойлович? А рассказывают они о себе потому, что для художника его жизнь и есть материал для искусства, говоря о себе, они как бы все время в творческом процессе находятся. Такой у них стиль жизни.

– Все равно мне все это не нравится и противно. Да и ты там со всеми своими умными разговорами нужен лишь как развлечение для этих бар. Мы другого круга!.. Впрочем, если тебя подобная роль шута устраивает, что я могу сказать!..

Я пошел в свою комнату и закрыл за собой дверь, чтобы больше ничего не слышать. Разделся и лег, уткнувшись лицом в подушку. Дверь отворилась, и вошел отец, присел ко мне на постель (я от непонятного чувства обиды даже не подвинулся). Он положил мне руку на спину, но я, не поворачиваясь, передернул плечами, показывая тем самым, чтоб он снял руку, хотя на самом-то деле мне было приятно прикосновение его руки.

– Не обижайся на маму, – сказал отец. – Быть может, она не права по форме, но, наверно, права по существу. Лариса Ивановна,

конечно, добрая женщина, но добрая по-светски. Она может легко подарить тебе книжку, но занятия — это ведь постоянный труд. Мне кажется, что, если ты позвонишь, она опять не сможет с тобой увидеться и опять перенесет твой визит, и так будет переносить, пока ты не поймешь, что с этим делом, по этому поводу звонить не надо. И это не потому вовсе, что она плохо к тебе или к нам относится. Просто у нее есть круг людей, с которыми она должна общаться, есть круг светских и театральных обязательных знакомств, обязанностей, которые она должна выполнять, и все это требует времени. Ей кажется, потому что она хороший и добрый человек, что она сможет с тобой заниматься, но она не сможет, поверь мне. Мама права, мы для них из другого круга.

Я невольно повернулся на бок, лицом к нему, чтобы удобнее было слушать. Я и сам знал, понимал, чувствовал, что мы другие, но все казалось, что это не препятствует возможности общения. Я думал, отец так и скажет. А он сказал:

— Мама права, мы принадлежим к другому кругу, — он снова повторил эти неприятные мне слова, словно других не было или он не мог их найти, — но он ничуть не хуже. У нас есть свои ценности, которыми можно гордиться: труд, знание, чтение, наука, а также принципы каждодневной жизни, которым стоит следовать: не путать дело и удовольствие и помнить, что сначала работа, а потом развлечения. Твой дед, человек науки, профессор, в ученном мире был человек известный, но известность эта другого рода, чем у Луки Петровича, — у специалистов, у студентов, вот и все; это жизнь не на виду, не на публике, а в одиночестве кабинета, в спокойствии библиотеки и лаборатории. Мы и в самом деле говорим со Звонскими на разных языках И это никому не в осуждение. Просто образ жизни у нас разный, разный во всем. Даже у меня иной, тем более у мамы, которая шесть дней в неделю, каждый день из этих шести дней, по восемь-девять часов проводит в лаборатории за опытами, а летом в поле, с утра до темноты в земле копается — ботанику иначе и нельзя, а еще и готовка, стирка, хозяйство. Мама так устает, как Ларисе Иванне и не снилось. Ты не должен обижаться на маму. И нечего жалеть, что не будешь больше ездить к Звонским!..

Я не очень верил, что отец до конца говорит, что думает (особенно последняя его фраза вызывала у меня сомнения), потому что ему самому ведь нравилось бывать у Звонских, но я понимал, что он утешает меня, успокаивает, и был ему за это благодарен. Я и в самом деле немного успокоился, заслушавшись его, и затих. Решив, что я уснул под его говор, он тихо вышел из комнаты, но

я еще долго не спал. Погасил свет, но все равно не засыпал, раз десять переворачивая подушку. «А что, если я ей все же позвоню? Просто вот возьму и позвоню. Для нее это было светское обещание, сказанное просто так, из любезности. А я его возьму и приму всерьез. Интересно, что будет? Папа говорит, что такие светские предложения нельзя принимать всерьез, как нельзя этим людям на их вопрос “как дела?” и в самом деле рассказывать о своих делах. Это просто формула вежливости. Ну, а я сделаю вид, что не понял этого. Раз они такие. Раз мы не их круга». Мне было обидно. И, засыпая, я думал одно: «Не хочу быть ничьего круга. Ничьего. Сам по себе».

1984

# Историческая справка

*Александр Косицыну*

*У нас созданся веками какой-то еще  
нигде не виданный  
высший культурный тип, которого  
нет в целом мире, —  
тип всемирного боления за всех.  
Это — тип русский...  
так как взят в высшем культурном  
слое народа русского...  
Он хранит в себе будущее России.*

Ф. М. Достоевский

Село Макарий, рядом река Ветлуга. Три года назад они уже здесь были, обмеряли церковь святого Макария Притыки для свода памятников. Приятель Ильи, Леня Гаврилов, архитектор и командор экспедиции, зарисовывал и фотографировал здание, а Илья Тимашев обходил местных жителей и пытался составить историческую справку о разрушенной церкви. В одноэтажной колхозной конторе он тогда ничего не добился. Смотрят настороженно, столы расставлены буквой «Т», за главным столом полупьяный не то счетовод, не то бригадир в темном мятом костюме, рядом с ним две женщины в сарафанах перебирали какие-то бумаги. Пахло сыростью и табачным дымом. На улице тогда палило солнце, и выходить из прохладной конторы не хотелось. Но проку от разговора и расспросов не было. «Да я не знаю. Да мы не знали, что об этом надо знать. Бумаг нет, не сохранилось. Ломали и ломали. Когда? Да меня тогда не было. Да и их вон тоже» — вот и все, что вытащил из бригадира. Женщины молчали. Пришлось пойти по селу и расспрашивать стариков. Да не в каждый же дом стучать. Начал с автобусной остановки, там сидят долго, долго ждут автобуса. Остановка — деревянный трехстенный домик. Ножом выцарапаны знаки «X+Y=L», а также стишки мест-

ного блюстителя нравов: «Сколько хочешь транспорт жди, а здесь ты все же не сери». Разговорился с горбоносим армянином из Ленинанкана. Армян тут целая бригада, по подряду — вначале в селе Богородском перестраивали церковь под столярную мастерскую, а теперь делают черенки для лопат. «Странные люди, — говорил горбоносый, — лесу полно, а сами не делают. У меня брат хочет скульптором стать, так куда он от армянского камня поедет?» Посочувствовав, он ничего ни рассказать, ни посоветовать не мог.

Их разговор услышали две бабки, обсуждавшие поведение местных мужиков. «Так и не нашли шофера?» — спрашивала одна, круглолицая, в белом платочке. «Нет, не нашли. Убрали его, что и не найти», — отвечала другая, болезненного вида. «Да и у нас в Варнавино тоже человека убрали, — сообщала первая доверительно, — два года найти не могут. Если б хоть медведь задрал, то следы бы остались, а так, то и нет ничего. С приятелями они выпивали, знаешь, а потом и пропал, нигде не найдут». Эти обычные бабки ужасы, подкрепленные наличием неподалеку лагерей уголовников и слухами, что сбежал опасный арестант, не очень-то заинтересовали Илью. Но вот сообщение бабок, что в третьем доме за церковью живет до сих пор дочь дьячка, оказалось более кстати. Он снова отправился по деревне: пыль, кудахтали курицы, с луга около реки мычала корова, деревенские псы, лохматые, грязные, нечесанные, лежали в тени, изредка поднимались и, утопая всей лапой в пыли, переходили улицу. За оградами палисадников было много спелой малины и вишни. Дочь дьячка, очень длинную и очень худую мужиковатую старуху, он, по счастью, нашел. На его расспросы подошли соседи. Постепенно он набрал кое-какие данные. Вчера, готовясь к поездке в Макарий, он просмотрел третьегодний блокнот, прихваченный на всякий случай, и кое-что вспомнил.

Построена церковь была в прошлом веке, в шестидесятые годы. Барин Левашев строил. Над фамилией Левашев он тогда поставил знак вопроса: что за Левашев? откуда? *не чаадаевский ли?* Местные говорили, что его могила в склепе была, в селе Богородском. Склеп в гражданскую разорили, кости выкинули, погреб сделали, картошку держали. А церковь? — шел он глазами по своим вопросам в блокноте, слушая ответы местных баб и мужиков. Большая была. Колокольная выше церкви. Это сейчас село с дороги не видать, а раньше все на колокольную ориентировались.

Высокая костистая старуха, дочь дьячка, по виду походившая на эпилептичку, все всплакивала, вскрикивала истерически, рассказывая: «Колокола уронили при мне, точно помню, в тридцать восьмом это было. Да, папа уже умер, три года прошло, как он



умер. А он в тридцать пятом умер. Долго ломали. Крепкая была колокольня, каменная. Тракторами тащили. На четырех столбах была, три упали, на четвертом еще держалась, такая устойчивая. Строили так раньше. Тросом трактор потянул, она и рухнула. Потом за церкву-от взялись. А камень-от на баржах в Дзержинск отвезли. Там чего-то из него строили. А папа у меня здесь дьячком был. Он говорил, что красивее нашей церкви не было, нет и не будет. Святого Макария Притыки она называлась. А закрыли ее в тридцать пятом. Папа тогда сразу и умер. А ломать уже потом начали. Вся молодежь сошлась. Трудодни за это писали, платили то есть. Никак одолеть не могли. Крепко тогда строили. Нонче вот школу в Богородском-от поставили, все протекает. Начали чинить — крыша рухнула. А церковь-от не сразу сломали. Здесь-от, около церкви, яма была, куда утварь зарыли, там все и сгнило. А иконами клуб топили, — злобствовала старуха. — А какая красота была! Звон красивый по всей деревне шел, уж теперь-от и забыли, как было». Старуха явно рассчитывала на его сочувствие, думал Илья, вспоминая по обрывочным записям ее речь. Мало ли зачем приехали? Может, восстанавливать порушенное? Во всяком случае, был повод повздыхать о прошедшей жизни не то церкви, не то своей. Все прошло, все в прошлом, можно и порыдать. Подошедшие бабы кивали, соглашались с ней, мужики смеялись. «Что вы скалитесь-то? — вскидывалась костлявая дочь дьячка. — Бога-от вы не знаете. Ругайтесь в попа, так мой папа говорил-от, его знаете, а Бога не ругайте, не трогайте. Такую красоту испохабил!» Глядя на мощный остов церкви, величиной с добротный трехэтажный дом, Тимашев тогда думал, что, может, и вправду была хороша. Но остался только остов, как у этой бабки. Что по нему скажешь?

Кто ломал? Старые мужики заговорили наперебой: да сами и ломали. Скворцов Геннадий Николаевич заправлял. А камни на баржах в Дзержинск отправляли, это старуха точно сказала. Жив ли Скворцов? Нет, не жив. Посмотреть и поговорить с ним нельзя, потому что погиб смертью храбрых и посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Так-то! Вот и посмотрели ванда.. На этом обрывались его записи о церкви в селе Макарии, записи смутные и не доведенные до конца, «до ума», как и вся их поездка тогдашняя.

Леня Гаврилов, человек античных пропорций, который стоял сейчас с фотоаппаратом под морозящим дождем, три года назад говорил ему: «Слушай меня. Предлагаю тебе живой отдых, — как и все известные Илье архитекторы, Леня был человек спортив-

ный и походный. — Поветлужье — это примерно полторы Бельгии. Красота там — сам увидишь. Мне нужен помощник для обмеров и чтоб занялся сбором сведений для исторической справки. Заодно возьмем детей, там и купанье, и рыбалка, все будет. А что касается исторической справки, то тебе, может, самому интересно будет, ты же историк. Ну и подзаработаем к тому же. За это — платят нынче. А места замечательные, сам увидишь, о них еще и Короленко писал. Климат континентальный, плохой погоды быть не может». Тогда и впрямь погода была сказочная. Река плескалась, бежала, шумела, играла, на низком песчаном берегу стояли лагуны с теплой водой, оставшиеся после весеннего паводка, песок был чистый, желтый, огромные, прямо марсианские лопухи; ивы и ветлы довершали картину сказочной и пустынной стороны. На противоположном берегу начинался темно-зеленый лес, который тянется, как говорили местные, аж до Архангельска. Не лес подмосковный — прямо тайга: волки, медведи, рыси, лисы, зайцы. Для городского уха и глаза все это было непривычно. Потеряться, заблудиться там — запросто. Слышалось как натурально-взаправдашнее то, о чем раньше только в книгах читалось. Во что верилось, но не виделось. По реке сновали моторки с местными жителями.

Но, как и водится, вовремя они не успели сделать работу, вернее, не успел Леня, а Тимашев и не принимался, видя скудость собранных материалов. Впрочем, для сведений для казенного и заказанного им свода памятников, может быть, и хватило бы, главное — подать как следует, но при этом изменились еще и ГОСТы: необходимы были иные ракурсы, обязательны фотографии интерьеров. Лене, чтоб завершить работу, снова пришлось сюда ехать, и снова он утащил за собой Илью.

На этот раз Тимашев поехал с радостью, можно сказать, бежал из Москвы. Отключиться! Думать об истории, о том только, что встречается по пути!.. Делать записи, создавая тем самым иллюзию творческой работы, хотя все равно в нечто общезначимое их не оформить. Не Стенли же он самом деле, и не Миклухо-Маклай, даже не Битов, тем более не Короленко. Три года назад он тоже делал записи, думал даже историческую статью о Поветлужье написать. Уже в Москве читал А.А. Потехина, В.Г. Короленко, Н.С. Толстого, троюродного брата Льва Николаевича. Вчера в гостинице он эти свои конспекты посмотрел. «Основные историко-культурные памятники относятся ко второй половине XIX — началу XX века. Почему? Какие основные занятия жителей? Какова культурная прослойка?» — читал он свои вопросы.

Затем Н.С. Толстой:

«О невыгодах местности нашей в отношении религиозном скажу, что расколы, старообрядства, лесные скиты или схимы и, наконец, совершенное безверие, заменяемое странными повериями, предрассудками, и даже чем-то похожим на идолопоклонство, все происходит от местности, не позволяющей наблюдать за паствой.

Так, в смертных случаях; душа умирающего жаждет утешения духовного, успокоения совести. А — реки разлились! А — церковь за 40 верст! Болота распустились!.. Дороги не проездимы!.. Духовника не будет!.. Причастия тоже!.. Пронести его нет никакой возможности, — и больной умирает без покаяния душевного! — Оно часто заменяется какими-нибудь нашептываниями и другими странностями; отсюда вкравшиеся злоупотребления в обряды домашние...»

И еще одна выписка из музея села Воскресенского, сделанная, видно, шутки ради, как он вчера подумал. В музее под рубрикой «Об одном из первых антифеодальных выступлений поветлужан в первой половине XVII в.» висела застекленная фотография какого-то лесистого холма, а под фотографией тоже застекленная машинописная страница:

«При впадении реки Усты в Ветлугу, близ деревень Раскаты и Городище, находится шихан (холм) с крутым обрывом в сторону обеих рек. Название шихана — Бабья гора, потому что на нем 300 лет тому назад жила Степанида с двенадцатью разбойниками, над которыми была атаманшей. С возвышенного места разбойникам удобно было следить за проходящими судами, а до них добраться было мудрено. Добытые богатства зарывались в горе. Десять лет Степанида наводила страх на окрестности.

Много сил положили нижегородские воеводы, пытаясь уничтожить ветлужское разбойничье гнездо. Пять последовательных набегов стрельцов, снабженных пушками, понадобилось, чтобы выбить из глубоких пещер дюжину отчаянных людей. Степанида покончила с собой, бросившись в реку».

О чем было писать на основании этих записей? О избирательности народной памяти? О поверьях и обычаях, которых он не знал, не застал?.. Не было у него «конкретики предмета», не родилось и объединяющей идеи. Тогда он к тому же не чувствовал того, что навалилось сейчас, когда возраст перебрался за сорок, — ощущения скоротечности времени, а при этом и ломающейся судьбы. Все тогда было в порядке. Работа, семья, сын. А теперь все, как он был убежден, разладилось, и не без его вины.

Все уходило, размывалось, сын начал жить своей самостоятельной жизнью, и эта жизнь не нравилась Илье. Казавшаяся

громогласной застойно-застольная эпоха бесконечных юбилеев, с ее бессмыслицей работы и существования, породила и определенный стиль поведения: отсутствие деловитости, разгильдяйство, пьянство, вечные, нескончаемые застоля, гитарный перебор — так передовые и прогрессивные спасались бессмыслицы. Но теперь, глядя на сына, который не расставался с гитарой, махнул рукой на учебу, он ненавидел их с женой образ жизни. Хотя было весело, были лихие друзья, звенели стаканы, опустошались бутылки, пелись песни. Постепенно отпелось — а в результате сын не видел ни их учебы, ни их работы (ни тем более отцовского *идеала* — уютной библиотечной кельи, сосредоточенного духовного труда), видел только гулянки, и то, что для них было выходом и даже своего рода протестом против карьеризма сверстников, для него стало нормой существования. Так оно и шло последний год: отчуждение сына, разлад с женой. «Сам виноват», — говорил себе Илья, тщился исправить ситуацию, но ничего не получалось. В тоске он смотрел на себя и свою жизнь в прошедшем времени. «Как души смотрят с высоты // На ими брошенное тело» — все лезла в голову тютчевская строчка. Затем и уехал, чтоб встряхнуться, выбраться из застенка московской квартиры, ежедневной пытки ненормальных отношений. Прошлая жизнь уходила, а потому большее и достовернее было слушать и читать об ушедшем.

«Мой дом — моя Петропавловская крепость!» — кричал сын, выскакивая на звонки приятелей куда-то до утра гулять, а на уговоры учиться, заниматься книгами — начинал злиться, хамить, хлопать дверьми. Во всех этих жестах Илья с ужасом узнавал себя, свое нежелание работать, которое скрывалось ежедневным посещением службы. «Не заводись», — говорил он сыну, а тот, стройный, с длинными полосами до плеч, ронял злобно: «Много вам чести из-за вас заводиться». Илья шел, разбитый и подавленный, к жене, а та говорила раздраженно: «Отцепись от парня. Оставь его в покое! И меня тоже! Не нуди». Но Илья не мог успокоиться. «Ведь нужно высшее образование», — монотонно твердил он. «Зачем? — отвечал сын. — Что оно тебе дало? Что вообще культура может в этом мире? Кому она нужна? Нужно жить естественно, жить, как цветы цветут. Ближе к почве». Но Тимашев внутри себя был человек не только законопослушный, привыкший двигаться по ступенькам, предложенным обществом, но и чувствовавший себя почему-то любой почве чуждым. И поведение сына смущало его. Оно его пугало, ибо не знал он, что такое почва и какое непредсказуемое будущее готовит прикосновение к ней. Коли сын минует

предложенный обществом стереотип интеллигентного человека, то невольно попадет в другой стереотип, в третий и пр. Что он будет? Люмпен? Вечный неудачник — бывший интеллигент? Хотелось твердости, определенности, осуществяемости жизни, как она задумана. Что-то вроде научной карьеры для сына мерещилось ему. Диплом, кандидатская, докторская, профессура и пр. А сын не хотел. «Идея высшего образования себя дискредитировала, — упрямо твердил он. — Только конформисты лезут за дипломом». Но Илье казалось, что за этими словами скрывается всего-навсего лень и нежелание напрягаться. Все же Илье удалось уговорить его хотя бы попробовать — подать документы в институт, а там что получится. Сын документы подал, но готовиться не готовился. Спал до полудня, потом брэнчал на гитаре. Видеть это было выше сил. Дома начались скандалы. И Илья поехал — хоть на пару недель изменить жизнь, укрыться с головой в нечто далекое от московских душетерзаний.

На этот раз ехали без детей.

— Мы с тобой как Одиссеи, которых, к сожалению, не ждут их Телемаки, — мрачно говорил Илья уже в поезде.

— Ну мой, может, и ждет, — оптимистично отвечал Леня. — Хотя лучше бы, стервец, таким образом не ждал. «Папочка, ты мне надоедаешь», — это он мне говорит. Я в тринадцать лет скорее бы язык откусил, чем такое отцу сказал. «Ты что, — спрашиваю, — не любишь отца?» — «Не очень-то, — говорит. — А за что его любить. Он мне магнитофон стерео не покупает». Представляешь? Мне обо мне же — в третьем лице! Но, однако, думаю, ждет. Вдруг приеду и магнитофон куплю. С твоим, старичок, конечно, сложнее. У него духовные запросы. Уже большой.

— Это точно. Большой, — пасмурнел Илья. — С маленьким проще было. А теперь: «Я уже взрослый. Не надо заниматься моей судьбой. Я сам как-нибудь разберусь. На какую-нибудь другую тему ты говорить мной можешь?» И голос при этом злой. А я и в самом деле на другую тему не могу. Я же вижу, что он бездельничает. И раздражаюсь, не могу не раздражаться. Ты знаешь, Чаадаев в свое время писал, что мы, в отличие от других народов, живем постоянными перерывами в предании, в традиции, откатами и отказами, такова уж историческая судьба. И поэтому каждый из нас должен собственным усилием восстанавливать прерванную цепь преданий. А ведь между нами и нашими детьми никакого исторического перерыва нет, а преемственности не получается.

— Старичок, ты об этом должен написать статью И дать твоему спиногрызу прочесть. Это ему поможет, — успокаивал его Леня.

Вчерашний день, решив не полагаться на местный транспорт, они пошли в исполком. Все такой же стол буквой «Т», и опять мелкий начальник разводит руками, одергивает пиджак, хочет помочь московским, приехавшим по казенной надобности, но не может.

— Автоклуб у вас есть? — спрашивал понаторевший в таких поездках Лень Гаврилов.

Выглядели они несолидно — потертые джинсы, несвежие рубашки, но бумаги убеждали начальника, что впрямь надо помочь.

— Автоклуб есть, — отвечал человек без лба, с зачесанными на затылок волосами, пухлыми щеками и в недорогом сером костюме. — Только шофера нет, на свадьбе второй день гуляет. Для москвичей не жалко. Я ж понимаю. Сейчас попробуем. — Он снял телефонную трубку, набрал номер. — Евгений Николаевич? Здравствуй. Сергей Иваныч беспокоит. Как твое драгоценное? Здоров? Ну и хорошо. Ты сегодня едешь куда? Нет? Тут мне для москвичей нужна машина. Самому нужна? А что ж ты? Двух колес нет? А-а. И бензина? Ну ладно, извини, что побеспокоил.

Наконец выяснили, что утром кто-то едет на «уазике» мимо Макария и их подбросит.

— Желаю удачи, — сказал человек без лба. — Дороги у нас, конечно, не очень. Мы депутату своему наказывали, чтоб о дорогах позаботился. Он и позаботился, до своего села провел. А его село далеко в стороне от трассы стоит. Такие дела. Я всем говорю: вы космонавтов вместо центрифуги сюда посылайте, — он похихикал. — Смеются. Но ничего, доедете.

О дорогах они и сами знали. «Это наше национальное родео», — усмехался Лень Гаврилов, спортивный, походный, привыкший ко всяким неудобствам. А Илья вспоминал причиталочку для детей, когда взрослые играют с ребенком, легонько потрясывая его на коленях и приговаривая: «По ровненькой дорожке, по кочкам, по кочкам, в ямку — бух!» Вроде бы роняют при этом ребенка, сбрасывая с колен, но подхватывают у самого пола. Дети обычно визжат от восторга. «А игра эта меж тем вполне объяснима характером наших дорог. Европейцу такая игра и в голову не придет», — думал Илья.

Тем же вчерашним утром Лень купил местную газету «Колхозная победа» от 26 июля 1989 года. Перед сном, лежа на постели и почесывая мускулистую грудь, он читал Илье заметку «На хорошем счету», в которой говорилось о том, о чем опять-таки москвичу слышать было непривычно, — хотя бы о «хлебных днях».

«Как и всем в деревне, хлопот в летнюю пору Людмиле Павловне Рожновой тоже прибавилось, хотя ее работа и не связана

с полем. Людмила Павловна — заведующая магазином в Макарии. А покупателей сюда сейчас заглядывает гораздо больше. Ведь кроме односельчан продавец должна обслужить и отдыхающих с турбазы, и шефов-дзержинцев, и других людей, приехавших в деревню на лето. И самое главное для Людмилы Павловны — никого не оставить без внимания.

Сейчас такая пора, — говорит продавец, — что иногда и в 9 вечера магазин еще не закрыт. Особенно в «хлебные дни», а хлеб к нам привозят во вторник, четверг и субботу, народу вечером в магазине — не протолкнешься. Вот и приходится допоздна задерживаться. Зато никого без хлеба не оставляю.

Вот песок вчера завезла, — радостно сообщает продавец. — Довольна очень. Успела до дождя, а дороги у нас никудышные. Чуть что, и не проедешь. А люди идут за песком. Смотрю — два мешка осталось, надо быстрее ехать на базу. Теперь, думаю, надолго хватит. Вот стройматериалы никак не добуду, — огорчается Людмила Павловна. — Не смогу выполнить заказы мои покупателей на рубероид, гвозди, шифер. Все ремонтом летом занимаются. И рада бы помочь людям, да не все от меня зависит.

И вот уже 9 лет в августе будет, как завмаг в Макарии не меняется. Продавец Рожнова на хорошем счету в райпо.

Вот что говорит о ней Н.Ф. Мунина: Людмила Павловна всегда успешно справляется с планами. В этом ей помогает большое желание работать и, конечно, опыт. Не раз ее портрет был на Доске почет, а имя — в числе победителей социалистического соревнования. Рожнова и нынче перевыполнила полугодовой план».

— Вот, — сказал Леня, — а в прошлый раз мы и внимания не обратили на эту достопримечательность. Ты же историк, запоминай, сохраняй, записывай. Это интересно. Как-нибудь это в твою концепцию развития Поветлужья должно же лечь. На, спрячь в свой блокнот.

Илья покраснел. Леня был хороший профессионал, потому верил и в его профессиональные способности, всячески подсказывал ему сюжеты и повороты ситуаций. В конечном счете эта слепая дружеская вера в его способности историка, ученого, *всерьез работающего над осмыслением истории России*, побудила Леню потащить Илью с собой, чтоб он столкнулся с *живым материалом*, не библиотечным, чтобы, ни говорил, «ощутить не “дыхание” истории, а ее живую протяженность». А у Ильи в голове, как назло, не было ни одной мало-мальски приличной мыслишки.

И вот их подбросили до Макария на «уазике», обещая часам к трем вернуться и забрать. С утра моросил дождь, резко похоло-

дало, это они сразу почувствовали, как вылезли из машины. Под навесом запертого на железный засов гаража Ленья готовил фотоаппарат. Илья тоскливо зевал, предчувствуя три или четыре бесцельных часа. На дороге валялась часть коровьей ноги с копытом, привязанная за леску: очевидно, мальчишки играли с собаками. Через моментально образовавшуюся от дождя лужу пер трактор на колесах.

Они подошли к одинокому остову церкви. Внутри пусто, убитая земля, посредине неглубокая яма, осколки красного кирпича (из которого сложена была церковь), битого бутылочного стекла, обломки веток, нанесенные ветром от соседних кустов и деревьев, щепки, валялся дохлый грач, вытянув заостренную ногу. В углу кусочки раскрошенного шифера и часть гнилой деревянной балки. Снаружи свистели какие-то птицы, каркало воронье. Вверху под сводами, на железных наперекрест связях купола, сидели грачи. Ветер продувал насквозь, мокрый, холодный.

Ленья принялся фотографировать, а Илья пошел бродить вокруг. Дома за заборами, сараи, дрова под шифером, невысокий деревянный сруб, наверно банька. Около церкви в сторону реки — заросли ольхи, кустарник, береза. Рядом с березой маялся привязанный за кольцо теленок. У сараев рос бурьян: репейник, лебеда, васильки, крапива, ромашка, конечно, лопухи и еще какая-то мелкая кустистая травка. Подальше под берегом виднелся конус синего цвета, на нем крест, низкая ограда: безымянная могила. Окончательно продрогнув, Илья нашел шнырявшего меж кустов в поисках выгодных ракурсов Ленью и сказал, что пойдет греться в магазинчик, который они видели в самом начале села, — «Товары повседневного спроса».

Ленья ответил, что через час или полтора подойдет туда. И, зажав под мышкой зонтик и надвинув от морозящего дождя на голову капюшон штормовки, Илья двинулся к магазину. Дорога была длинная, минут на пятнадцать, и он брел не торопясь, продолжая прокручивать в голове невеселые свои мысли о сыне, о собственной, как ему казалось, несложившейся судьбе, о семействе Левашевых, данные о котором он все же раскопал: три дня назад — в селе Галибиха кое-что, где была их усадьба, а затем в селе Воскресенском. Любопытная оказалась семья, хорошая, таким семьям мох только завидовать.

Почему сын отказался принять традицию, идущую от его прадеда-профессора, традицию, которая доля была привести его к духовному взрослению, мудрости, к каждодневному одушевляющему труду с Книгой? — думал Илья. Но то, что хотят родители, не



всегда хотят дети. Не сокрушался ли так же и его отец, видя, как растрчивает его сын, т.е. Илья, свое время? Илье, правда, казалось, что он-то уж знал всему меру, в отличие от своих друзей. Он и в самом деле статьи успевал писать, даже книгу выпустил. Но со стороны, со стороны-то, да еще пристрастным родительским взором, как это виделось?.. Особенно когда являлся он к родителям пьяный и грязный. Он верил в себя, что встряхнется, опомнится, начнет работать. И встряхивался, опоминался, начинал. Но так же, наверно, думает и его сын. «Не зуди парня, — говорила жена. — У каждого мужчины должна быть своя биография. Не все такие библиотечные короеды, как ты».

Он вспомнил, как ездили они на трамвае в дальний детский садик — остановок семь — и он читал малышу стихи Маршака, баллады о Робин Гуде и длиннейшую сказку «Путешествие Нильса с дикими гусями». Мальчика тошнило в транспорте, и он его «зачитывал». Ничего этого сын не помнит. Илья почувствовал, как у него сжало горло, словно он собрался заплакать. Любопытно, как реагировали в прошлом веке русские служилые дворяне или священники, когда их дети шли в нигилисты, отращивали длинные волосы, заворачивались в плед, курили дрянной табак, опрошались, когда их интеллигентное либеральничанье, не шедшее дальше салонных разговоров и чтения полузапрещенных книжек, дети принимали всерьез, как жизненную программу, и потом смеялись над мягкотелостью отцов, над их библиотечной книжностью и книжной мудростью, бросали бомбы и шли на каторгу, а то и на эшафот? Как эти родители вели себя? Отрекались ли, раз дети не шли их дорогой? Или потворствовали, чтобы остаться друзьями?

Этого ничего не было у Левашевых. Поразительная духовная преемственность, по крайней мере насколько ее можно проследить до восемнадцатого года, когда их выселили из их имения в Галибихе. В Галибихе, узнав, что принадлежало имение Левашевым, Илья вдруг сообразил что-то и воскликнул: «Слушай, а не те ли это Левашевы, которые церковь в Макарии ставили и у которых в Москве жил Чаадаев?» — «Левашевых много, — ответил Леня, — но, если узнаешь, то замечательно. В конце концов, это твоя задача сделать мне историческую справку. А деталь была бы важная, если это не просто помещики, а друзья Чаадаева. Тем самым это факт большой культуры. Есть что тогда не только про Галибиху сказать, но и про Макарьевскую церковь. Раз они ее ставили». — «Если они московские, — повторил Илья, — тогда сомнений нет». — «Да ты не рассуждай, ты выясняй, выясняй».

Имение Левашевых было превращено в дом отдыха, и отдыхающие, которым было лестно, что их уже разрушающийся дом интересует приезжих, указали Илье сторожа, отец которого работал у Левашевых. Мужичонка был невысок, волосы зачесывал вперед, одет в пиджачишко с отвисшими карманами, сосал все время сигарету без фильтра, «Приму» местного завода, рядом у дерева стояла коса (он косил, когда к нему подвели Илью). Они сидели на лавочке за столом под липами, и старик рассказывал, рассказывал сбивчиво. Многого из того, что интересовало Илью, он не знал. Рядом толклись отдыхающие, тоже что-то слышавшие, какие-то обрывки из прошлого. Всю эту несусветицу Илья заносил блокнот, надеясь впоследствии разобраться, хотя бы получить толчок, в каком направлении дальше искать.

«Строил усадьбу Валер Николаич Левашев. В середине прошлого века. Один дом был его. Другой он Валер Валерычу (так произносил старик), третий Вячеслав Валерычу, а четвертый зятю своему, Кондыреву Иван Палычу, построил. Кондырев ученый был, человеческие скелеты на чердаке потом нашли. А у Валер Николаича плавучий лесопильный завод был, по Волге и по Ветлуге курсировал. Конюшня здесь была, а там пруд, в нем карпы водились, прямо к обеду ловили, так отец рассказывал. У каждого много детей было, с младшим Филиппом я играл, а когда он умер, мне его картуз и костюмчик подарили. Отец мой у них сторожем был. Вячеслав Валерыч, когда их выселили, куда-то уехал. Валер Валерыч в деревне остался, в лапотках ходил, к отцу моему захаживал кормиться. Известные были, школу завели, с отцом Ленина переписывались, — так теперь говорят. Добрые были, из городу приедет, Валер Николаич-от, так конфеты детям раздает всегда. У отца долго фотографии ихнего семейства хранились. Они твердые, на картонках были, мать ими крынки прикрывала с молоком, а мы, дети, когда чего строили, из них дверки делали. У отца и патрет был Филиппика, младшего, сына Валер Валерыча, маслом писанный. Какой-то знаменитый художник из Москвы приезжал рисовать-от. Отец и взял патрет Филиппика на память. А был у нас тогда такой красноармеец Иван Иваныч Лунин, ходил с винтовкой со штыком. Штыком в патрет-от и ткнул: «А это кто такой?» — «Это младший Левашев, — отец ему объясняет, — сын молодого хозяина, Валер Валерыча». А он говорит: «Хозяев теперь нет. А это сжечь надо, а то тебя сожжем». Отец тогда испугался, вынул патрет из рамки, а рамку оставил, она под серебро была, с вырезами красивыми, в ней потом Сталина в клубе повесили. А патрет так на чердаке и валялся, пока не пропал».

Отдыхающие еще добавили, что, по их сведению, Левашевы дружили с декабристами, а потом с Чернышевским, а жена Левашева принимала участие в первом Интернационале, но откуда эти сведения и московские это были Левашевы или нижегородские, никто не знал. Но все утверждали, что, когда их выселили, они ничего, не озлобились, не обиделись, приняли, что так и должно быть. Ивы вдоль Ветлуги, чтоб берег держали, они насадили, и кедровую аллею тоже. Илья все это аккуратно записал в блокнот, но данных для исторической справки по-прежнему не было. Все эти рассказы давали материал лишь для банальных рассуждений о превратностях человеческой судьбы в перипетиях истории, но не больше. «Ищи», — сказал неунывающий Леня.

А позавчерашним днем еще дальше прояснилось. Леня обнаружил в Воскресенском дом бывшего страхового агента ветлужского пароходства. «Что значит есть у дома хозяин! — говорил Леня. — Там дочка этого агента сейчас живет с мужем. Старуха уже, но о доме заботится — не то что левашевская усадьба. Разбили комнаты на клетушки, кроватей наставили, электричество провели, назвали домом отдыха. Отдыхающие меняются, никто за домом, конечно, не следит, только все жалуется, что здание гибнет — отдыхать негде будет. Моя бы воля, — разорялся Леня, — я бы рядом дом отдыха отгрохал, а усадьбу в музей превратил». — «Это еще нужно доказать, что усадьба — памятник культуры», — отвечал Тимашев. «Докажешь», — смеялся уверенно Леня.

Дом старухи действительно был красивый, со светелкой, вместительный, на окнах сохранилась деревянная резьба, внутри старая (старинная!) мебель, даже работающая фисгармония красного дерева фирмы Слезкина из Нижнего Новгорода. Но поначалу хозяйка, маленькая пухленькая старушка, глазки-щелочки, внутрь их не пускала, стояла на крыльце и рассказывала им о доме, в котором прожила всю жизнь, а стало быть, и о самой жизни. Они рассматривали фотографии, выносимые по ее приказу из внутреннего помещения старичком с лихой челочкой на левую сторону лба, ее мужем. На небо набегали облачка, но дождя пока не сулили, дождь прошел, все просветлело, и эти облачка напоминали о прошедшем и предвещали возможное будущее.

— Дом папа поставил в тыща девятьсот шестом, — говорила старушка, — а я родилась в девятьсот семнадцатом, в марте. Я самая младшая. У папы с мамой было двенадцать детей, а выжило четверо. Тогда ведь знаете как? Понос — и в три дня готово. Смертность детская была высокая. А папа умер в девятнадцатом. Сорока девяти лет, маме тогда только тридцать пять было. *В такое время — и сво-*

*ей смертью умер.* Да еще учтите, как пришла новая власть, стал начальником местной милиции, — глаза старушки заслезились, она отвернулась, а Илье все казалось, что она что-то скрывает.

— А вас не выселяли отсюда? — неожиданно спросил он.

— Да за что? Не за что было выселять-то, — речь старушки была правильная и гладкая, «образованная».

— А кого-нибудь из ваших или вокруг? — настаивал он, надеясь, что старушка проговорится, не доверяя ее благолепию.

— Это вы в смысле купцов-то? Да все поменьше которых. По-настоящему богатые, те лавки-то пораспродали да уехали. Не стали торговать и когда разрешили. А приказчики бывшие, ну, мелюзга, одним словом, завели торговлю, но так... Как бы вам объяснить? Ну что-то вроде продажи газированной воды. Крупных *операций* никто не производил. Да их все равно пораскулачили, а дома поотбирали. Вот мой дядя по маме был мясник, тогда это разрешалось, один не справлялся, нанял двух рабочих, платил им, да и им-то тоже работать где-нибудь надо было, свои семьи кормить. Его схватили: эксплуатируешь чужой труд. Дом отобрали, самого правда, не тронули. А с другим дядей, Андреем Ивановичем, плохо поступили. Он доверчивый был, тихий. У него мельница была, женился на дочке хозяина, от тестя и досталась. Потом колхоз начался, он мельницу-то ту в колхоз сдал, сам вступил, его при мельнице и оставили. А с помола, с гарнца, налог тогда собирали. Вот председатель, Скворцов Геннадий Николаевич, ему и пишет: «Андрей, мол, Иванович, предьявителю сего отсып с гарнца столько-то». Он и отсыпал. А тот снова. Так он и давал. А потом председатель-то, Скворцов то есть, пришел и как-то уговорил уничтожить его записки, мол, комиссия будет, а это документ, и тебе, мол, Андрей Иваныч, хуже будет, что под такие записки зерно давал. Он их в печку, записки-то, и бросил. Простой был. Жена прибежала: ты чего жгешь? Он сказал. Она к печке, решительная женщина была, расторопная. Но не успела, все сгорело. А председатель на крыльцо и был таков. А потом сам на дядю моего и написал, что тот, мол, растратил весь гарнец. А что он растратил! Их пришли описывать, у них даже кровати на пересменок, как говорят, не было, одни лавки, на лавках спали. Бедно жили, — благолепная старушка засмеялась, махнула рукой, а Илье снова подумал, что знала она толк и в богатстве и в бедности. — Бедно жили. Но их все равно на Кай выселили.

— Далеко это?

— Да не очень теперь-то. А тогда далеко было. Место необжитое, пустое место было.

– Да где место-то? – настаивал Илья, плохо представлявший местную топографию, но полагая, что это где-то в окрестностях. – Сто километров отсюда? Двести?

– А в Сибири, – ответила спокойно старушка.

– По-моему, это под Иркутском, – сказал великий топограф Леня Гаврилов. – Там речка Кая течет.

– Точно, – словно обрадовалась старушка. – Они и теперь там. Раньше писали, а теперь уж не пишут.

Она заговорила с Ленией, а Тимашев, слушая, не слушал: «Неужели правда, что все проходит? А у этой старухи ведь жизнь была небось напряженной. Были страсти, романы, страхи за отца, за мать, за дом. Интересно, любила она отца? Ах да, ведь ей год был, когда он умер. Все прошло, осталась благолепная старушка. Мать умерла в семьдесят втором, то есть ей было далеко за восемьдесят. Как они с дочкой жили?»

– А это брат Антонины Петровны, Иван Петрович, полный генерал армии, – услышал Илья слова старушкиного мужа, из-под Лениного плеча показывавшего семейные фотографии. Илья глянул на старушку, она снисходительно принимала восхищение и даже преклонение и раболепство мужа. Видно, она привыкла, что ее родню все почитали. Сначала отца, потом брата. – Он уже в тридцатых был большой командир. Сюда когда приезжал, то председатель бегал ему представляться. А что уж сороковые годы, вон Иван Петрович, а энто я, рядом, мы, стало быть, вместе за одним столом сидим, потому что родственники.

– Да пойдёмте в дом, – вдруг сказала старушка. – я вам, если хотите, семейный альбом покажу.

– Хотим, – сказал Леня. – Вот он посмотрит, а я, с вашего разрешения, интерьер пофотографирую.

Так они очутились в доме. Пахло чистотой, свежестью и вместе с тем обжитостью, уютом, хорошей пищей.

– Сейчас на пенсии, только хозяйством и занимаюсь, – пояснила старушка. – За мужем ухаживаю. Кормлю его, обшиваю. Но он у меня аккуратный, вещей не портит.

Мужичонка самодовольно улыбнулся словам жены.

– А где работали? – спросил Илья.

– В банке. По папиной линии пошла, – усмехнулась старушка.

Через чистую прихожую они попали в кухоньку, а из кухоньки прошли в гостиную. Леня принялся фотографировать: установил штатив, прикрепил фотоаппарат, отдернул занавески с окон, оглядывая хищным взглядом специалиста интерьер, направляя в разные углы экспонометр. А Илью посадили на диван, стоявший непо-

далеку от длинного овального стола, мужичонка принес картонную коробку с фотографиями. И гость скорее из вежливости начал перебирать их.

«Вот отец, — комментировала старушка, — на охоту собирается»: у каменного забора стоят сани-розвальни, а около них холеные мужчины с подстриженными бородками, в тулупах с ружьями. «А вот отец с актерами местного театра, им и сцену помогал доставать». — «А что, был театр?» — «Да, маленький, но был. Селото торговое было, большое». Много было фотографий сильного породистого мужчины в военной форме, то с кубиками, а потом, звездами, брата хозяйки. Фотография юной красавицы с косой, задумчивыми, словно распахнутыми глазами, мечтательным выражением лица поразила Илью. На обороте фотографии стояла дата: 1938. «Это я, — засмеялась старушка. — Мне тут двадцать лет». Навероятно, думал Илья. Прямо дворянская барышня из девятнадцатого века. Навероятно. В такой глуши и в такое время.

Фотографии ее с мужем все были конца сороковых. Лицо вытянувшееся, постаревшее, с запавшими глазами. «Когда ж вы поженились?» — «В сорок седьмом, — встрял старичок. — Я Тоню еще до войны обхаживал, но согласилась только уж после». То есть, — думал Илья, продолжая перебирать фотографии, конверты и открытки, — когда уже под тридцать подошло, когда уже без вариантов, особенно здесь, в глуши, лишь бы замуж. О чем раньше думала? Какая-нибудь другая была партия?.. Или этот претил? «А дети ваши где?» — осторожно спросил Илья, обнаружив отсутствие детских фотографий в коробке и соображая, какие отношения могли сложиться дальше в этой семье. Все несложившиеся отношения отцов и детей теперь интересовали его, ведь человеку всегда хочется понять то, что ему всего больше. В этих отношениях — история как таковая, ее бытие, думал Илья в оправдание болезненному своему любопытству. «А детей у нас вот и нет, — снова встрял старичок. — Тоня не хотела. Мы и не завели». Старушка посмотрела на него с выражением учительницы, глядящей на сорвавшегося вдруг до этого подававшего надежды, но недовоспитанного, как оказалось, недоросля. Но ничего не вымолвила, только посмотрела. Старичок тут же сам стушевался. Илья от смущения опустил глаза в коробку, продолжая перебирать уже изрядно поднадоевшие фотографии, как вдруг внимание его привлекла старинная открытка. На ней был изображен мопс, держащий в зубах плетеную корзиночку с яйцами, от корзинки протягивалась голубенькая ленточка с розочками, а внизу надпись: «С Светлой Пасхой». Илья перевернул открытку и замер.

Текст был такой: «Христос воскрес! Дорогая Ирочка, желаю лучше сдать экзамены. Скоро ли поедешь в Москву? Целую. Адя Мерцалова. 1914». Но более всего поразил Илью адресат: «Ирине Валерьевне Левашевой».

— Откуда? — даже подскочил Илья.

— Да это Левашевых открытка, — спокойно и даже несколько надменно сказала старушка. — Это из их вещей. Они у нас жили, когда их из имения-то *товарищи* выселили. Жена Валер Валерыча здесь в селе учительницей работала, французский и музыку преподавала. А Валер Валерыч совсем блажной стал, в лапотках по деревням ходил, с сумой. Да и то, брат погиб, сестры в Москву уехали, дети постарше тоже. А он все ходил и бормотал: «*Не надо было в этой стране детей заводить*». И все с клюкой шастал, подаяние просил, работать не хотел. Уж как его жена упрашивала с ними жить. Пусть не работает, только живет. А Марина Сергеевна сильная была женщина, волевая. Дочку воспитала, *меня французскому научила*. С ней здесь младшая жила, Кира. Мы с ней долго еще по-французски переписывались. Я с Кирой долго дружила, — задумалась старушка, — вот ее кофейничек фарфоровый досель у меня стоит. Как их выселять пришли, она кофейничек-то фартучком прикрыла. Так и спасла. Маленькая была, а жалко, привыкла к своим вещам-то. И кукольную чашку с блюдцем спасла. Вот она, с розочкой. Они у нас долго жили. А потом им в другом месте комнату дали. Они хорошо к нам относились. Они, Левашевы то есть, вообще добрые были. О них напечатали несколько лет назад статью в нашей газете «Колхозная победа», статья называлась «Усадьба». Я ее хранила-хранила, а потом думаю — зачем, да и выкинула. О них, говорят, еще и в краеведческом сборнике писали. Но это уж я не читала. Да он в музее, наверно, есть. Должен быть. А в газете сказано, для вас это важно, раз вы ими интересуетесь, *чтоб за этот интерес вам не попало*, что они революционеры были, листовки провозили, оружие у себя для революции прятали, про оружие-то я не совсем помню, а листовки точно. И воспоминание одного мужика приводят, что вот он пил, а Левашев Валер Валерыч его усоветил, денег ему дал. «Ты и так бедный, — он ему сказал, — а еще и пьешь». Он и бросил. Но самое-то главное, они революционеры были, — повторяла старушка.

Она явно утомилась, только муж ее, суется, носил все новые картонные коробки. А Илья думал о Левашевых, что «за что боролись, на то и напоролись», хотели, чтоб этому народу лучше стало, а кончили сумой и комнатой в коммуналке вместо имения, хорошо хоть не тюрьмой. И что, конечно, когда Левашевы в этом доме

жили, то старушка видела в них поначалу только друзей отца, потом нечто высшее и духовное, а теперь вот отстраненно смотрит, время прошло, можно по газете о них рассказывать. Или это она так *свое иное понимание* скрывает? — вдруг догадался Илья.

Но самым главным было сообщение хозяйки, что в музее есть сборник со статьей о Левашевых. Да и то еще ясно, что Левашевы долго определяли потом жизнь юной девушки, лет до тридцати, до замужества, а то и много позже. Все прошло, но что-то все же и осталось. Осталась память, и ее надо хранить. Дома остались, их тоже надо хранить, чтобы сохранились, чтобы еще более дальние потомки, если они будут, могли по их останкам восстановить прошлое, как ее восстанавливали по останкам Колизея, термам, водопроводам и мощеным дорогам римлян. Только благодаря тому, что что-то осталось от древних римлян, варвары перестали быть варварами. Как же мы сами свое смеем не хранить! — такими несколько банальными, хотя и резонными резиньяциями была в тот вечер полна голова Тимашева.

Вплоть до вечернего звонка домой. Телефонная станция находилась в каменном домике, тоже постройки начала века, на втором этаже. Ждать связи, сидя на деревянной скамейке, пришлось довольно долго, потому что на полчаса вдруг в поселке отключили электричество. Правда, было еще светло, он мог даже у окна почитать. Но не читалось. Тоскливо было. Он безусловно предчувствовал, что какая-то неприятность его-таки поджидает. Действительно, жена по телефону сообщила, что через три дня после его отъезда сын забрал документы из института, потому-де, что он себя знает, все равно он учиться не будет, что в конце концов он сам за себя отвечает и что почему они, родители, вроде бы на словах демократы, а полагают, что необразованные люди хуже образованных. Что он столь же достойно проживет лаборантом, как иной не проживет и профессором. Жена, обычно защищавшая сына от упреков Ильи, была расстроена и растеряна. Разговор окончился на весьма минорной ноте. Илья положил трубку. Его сын, его наследник, наследник духа, как ему казалось, потому что вещей-то практически не было, не желал этого наследства, и получалось, что половину из своих сорока лет, когда он считал, что живет для сына — для сына собирает библиотеку, покупает пластинки — в надежде на будущую духовную гармонию, на то, что домашняя библиотека, дом могут послужить сыну лесенкой в науку, в культуру, — прошли попусту.

Что будет с его Домом, с его сыном? Илья почувствовал, как стонет сердце, как сжимается голова, еле дотащился до гостиницы,



но там неунывающий Леня сказал, что его самочувствие к перемене погоды, что будет гроза или сильный дождь, потом принялся читать заметку о продавщице из села Макарий и действительно отвлек от мрачных мыслей.

\* \* \*

Все это Илья вспоминал, пока шел к магазину «Товары повседневного спроса». «Интересно, какая из продавщиц Людмила Павловна?» — подумал он, поднимаясь по ступенькам в магазин. Со сложенного зонтика стекала вода. Одна половина магазина была продуктовая — кофе в зернах, азербайджанский чай, подушечки под названием карамель мятная (усллада его голодного детства, Илья аж вздрогнул, увидев их), рыбные консервы, хлеб — «по два килограмма в одни руки», сигареты в мягких, уже расклеившихся пачках, соки в трехлитровых банках, плохое вино. Другая — промтоварная: стекло, ткани, обувь, парфюмерия. Продавщицы были молодые, симпатичные, обе тянули на Людмилу Павловну, потому что с покупателями были приветливы и на «ты».

— Я тебе больше взвесила, на два четырнадцать. Отсыпать?

— Оставь, — отвечала короткорукая женщина в плаще.

— А пряников сколько?

— Ну сколько в большой пакет войдет.

В углу, у большой и толстой белой трубы, препирались две старухи:

— Я ей говорю, доживи до моих лет, блядь ты этакая, ты еще хуже будешь, ешь твою мать!

Потолкавшись еще, Илья пошел снова на ступеньки, в прихожую магазина, стоять у двери, курить, смотреть на дождь и ждать Леню. В прихожей стояло ведро с совком внутри, грязный бидон. На лестничной площадке лежали пустые картонные коробки, вдоль стены один на другом грудились деревянные ящики, на них громоздилось облезлое коромысло, за дверью валялось два брошенных черных валенка, а на стене висело два ржавых огнетушителя.

Он закурил и принялся смотреть, как хлещет дождь, как гнутся ветки деревьев, как окончательно раскисла дорога, так что и «уазик» вряд ли проедет, вспомнил совет начальника из исполкома — ездить в плохую погоду только по вторникам и субботам: в эти дни трактор народ на дальние участки возит, может и застрявшую машину вытащить. Но был четверг, так что на трактор надеяться не приходилось. Ощущение затерянности, бедности, неухоженности этого края охватило его. Но что делать, если климат такой, что дожди все портят,

подумал он, но тут же сообразил, что в Прибалтике, в Эстонии, которую он знал лучше, тоже дожди, но там каждое дерево, даже в лесу, выглядит ухоженным и едва ли не специально посаженным, дороги если не асфальтированы, то уж во всяком случае покрыты щебенкой, все выглядит рукотворным, даже природа, а мы, мы выше такого мешанства, у нас всего много, а потому почти ничего нет.

Вниз простучали женские шаги, у двери остановилась с разлету пожилая женщина, пожилая по деревенским понятиям, лет сорока пяти, как вычислил потом Тимашев. Глаза с узким разрезом, лицо коричневое, как у крестьянки, каждодневно работающей в поле, задубелая кожа, морщины. А губы пухлые, красивые, когда-то целованные. Была она в коричневой юбке, полушерстяной кофточке, ноги в туфлях. Она посмотрела на дождь, отступила и засмеялась:

– Не выйдешь! Хотела ведь болонью одеть, – проводила глазами молодую женщину в резиновых сапогах и плаще-болонье, державшей за руку так же точно одетого мальчика-дошкольника. – А корову встречать надо. Да не свою, зятеву. Хоть не выгоняй по такому дождю.

– А кто еще из живности у вас есть? – делать было нечего, и Илья затеял пустопорожний разговор.

– Да у меня чего! У зятя живу. Корова есть, свиньи, куры. Зять из-под Саратова гусей-от привез, – охотно отвечала женщина. – Да уж двух гусенят-от задрали. Их пасти надо, а собак-от и натравляют. Народ такой. Не привыкли. Гусей-от тут ни у кого нет.

– А на кур не натравляют?

– На кур? Нет, разве что охотничьих собак-от.

– А охотятся здесь?

– А нешто нет? Учитель у нас жил, так зимой даже волков-от приносил. А без коровы в деревне нельзя. Молоко у нас – все: его и государству сдаем – тридцать копеек за литр. И продать, у кого нет, за сорок копеек. В магазине-от ничего не купишь. А мяса и во все-от не бывает. – Она вдруг высунулась в дверь и крикнула, обращаясь к туманной фигуре за струями дождя: – Машка! Коров еще не повели?!

Та что-то ответила, махнув рукой.

– Не повели? – из вежливости спросил Тимашев, чтобы хоть что-то сказать.

По ступенькам из магазина спустилась короткорукая женщина с сумками, держа под мышкой кусок полиэтилена, тоже остановилась у двери.

– Не, не повели, – ответила суховато первая и тут же обернулась к вновь спустившейся: – Ну чо? Была ты? Ездил?

— Ездил, — так же на «от» заговорила короткорукая. — Нинку, слышь-от, так и не пустили. Как деньги-от, шиснадцать рублей, нашли, так и не пустили.

— Да, должно быть, она-от их не показала, что они у ей есть. С обыском-от и нашли. Вот и не отпустили, — пояснила для меня первая им обеим понятную ситуацию.

— А может, и так. Должно, не объявила-от до обыска, что шиснадцать рублей при ей. Зря и съездила. Мы с Клавкой сказали, и ничего, пропустили. А у Зинки-от, ну из Чемашихи, все сорок было, и ничего, тоже пропустили. Да всех почти баб пропустили: и из Пузырей, и из Зашильского, из Лядв... Ну, я побежала.

Ухватив кусок полиэтилена обеими руками и расправив его над головой (при этом, как гири, подняв свои сумки выше уровня плеч), тетка выскочила под дождь. А Илья тут же спросил:

— Что это у вас за место такое, где обыскивают? — Всякие кошмары из сельской жизни представились ему.

Но тетка ответила свободно и спокойно, не скрывая ничего:

— Да в Дзержинск-от она ездила, в лагерь. Там у ей муж уж который год сидит. А Нинка, та тоже к мужу ездила, они, правда, не расписаны были, но он ей равно что муж был. Я знаю. А как туда приедешь, то вещи там раскладываешь, что привезла-от, и деньги указываешь, сколько с собой. Я всегда говорю. Все равно не передашь. Некоторые бабы исхитряются, такие комочки из воску делают и глотают, а потом в туалет идут. Там эти шарики и остаются. Она где-нибудь в углу сядет, чтоб не в дырку, а потом мужики приходят и ищут.

— А вы откуда все это знаете?

— Сын там сидит.

— Давно?

— Да тринадцать месяцев ему осталось.

Это было сказано опять-таки столь спокойно и свободно, без укоров и попреков, наговоров на сына, как было бы в интеллигентской среде, что он невольно подумал: «Чего я так на своего-то напругаюсь? Слава Богу, не украл, не ограбил, книжки иногда читает, о смысле жизни может поговорить. А я недоволен, что он не хочет получать высшее образование. Может, и вправду, не в том счастье! Что за чушь, действительно. Из прошлого века. Когда служение отечеству, добру истине сопрягали с образованностью».

— А за что он сидит?

— Овец пас, тридцать восемь штук-от недосчитались, за то и дали три года.

Вниз тем временем спустилась новая бабка, толстая, щекастая, багровый отсвет на щеках и под глазами, на ногах калоши, сделан-

ные из сапог (просто отрезаны голенища). Она сразу заговорила с переживавшей дождь, но говорила так непонятно, что Илье поначалу почудилось, что говорит она на иностранном языке. Это его не удивило, потому что должны же жить здесь и коми, и мари, и мордва. Но потом он стал разбирать отдельные слова, но из слов предложения все равно не складывались. Мимо них пробежали две молодки.

– Нешто таз на голову одеть! – хихикнула одна.

– Точно, – ответила вторая.

И первая, прежде чем нырнуть с тазом на голове под дождь, резюмировала:

– Комедь. Горе от ума.

Они обе засмеялись и исчезли в дожде. Следом за ними пропала и толстая бабка с невнятной речью.

– Вот из-за ее сына, – неожиданно злобно сказала первая собеседница Ильи, – моего и посадили. Он зачинщик был, ее сын-от. Но не посмотрели, одинаково им дали. Но мой-от ничего. Десять классов там закончил, работает помощником мастера, как человек, деньги получает, разве что в заключении. Со специальностью выйдет. А еенный так и втыкает палочки, где прикажут. Такой же дурак и неделовой остался. С чем пришел, с тем и выйдет.

Тут из дождя появился Леня Гаврилов. Несмотря на зонт и кожаные башмаки на толстой подошве американского производства, ноги у Лени явно промокли.

– При подходе такая лужа образовалась – не обойти, – объяснил он, доставая из своей твердой фотосумки полиэтиленовый пакет с сухими носками и тут же начиная расшнуровываться и переодеваться. – Застрянет к черту наш «уазик», не проедет, – голос у него, однако, звучал, как всегда, бодро и весело. – Ну, а ты? Время с пользой провел? Что-нибудь новенького насчет Левашевых узнал, разговаривая с местным населением? – шутовски выделил он два последних слова и кивнул на женщину.

– Это каких Левашевых-от? – вздрогнула та. – Вы из ОБХСС, что ли?

– Да нет, мы никого не привлекаем, – балагурил промокший Леня, – хотя и стоило бы... Но мы всего-навсего архитекторы.

– А-а... ортотекники!.. – перевирая слово, чему-то обрадовалась женщина.

– А Левашевы, – продолжал неугомонный Леня, засовывая ноги в сухих носках назад в мокрые башмаки, – бывшие дворяне, которые здесь в прошлом веке церковь ставили.

— Не знаю, — ответила женщина и добавила: — Побегу, что ль, — шагнула из дверей и через минуту размылась в сумраке дождя.

— Удрала, — засмеялся Леня. — Хотя мы и *ортотекники*, а все равно опасается. Нет у них информации, что Москва опять церкви разрешила. Я пока фотографировал, ко мне один мужичонка из конторы подкатился: «Вы, говорит, по какому праву фотографируете? Кто вам разрешил здание культа фотографировать?» Я ему: «Надо». И все, отвали, мол. Не отстает. Ходит следом. «А разрешение у вас есть?» Я тогда все же говорю: «Мы из обкома. Из отдела культуры. Это у вас архитектурный памятник». Тут он чего-то сообразил, снова спрашивает: «Вы что, реставрировать приехали?» — «Нет, — отвечаю, — ставить на учет свода памятников». — «А, говорит, памятников. Тогда понятно. Только об чем память-то? Как строили али как рушили?» Запиши к себе. Для справки, конечно, не пойдет, но для статьи тебе, может, пригодится.

«Конечно, вклеить в статью такую псевдонародную мудрость было бы эффектно, — подумал Илья. — «Об чем память? Как строили али как рушили?» Только почему это называется мудростью? Такая фраза». А вслух сказал:

— А ты бы спросил у этого конторщика, почему них такие дороги, почему урожаи низкие, почему мужики бездельничают, пьют и воруют? А он беспокоится, почему-де разрушенную церковь фотографируют, сукин сын!

— Да ты и сам знаешь, — перестал улыбаться Леня. — Чего злиться? Ты уж лучше исторической справкой занимайся, чем вопросы задавать. Нам о Левашевых надо знать, это — наша работа.

— Для этого мне в музей надо попасть, — сказал Илья.

— Попадем, — ответил Леня. — Только еще в Богородское заедем. Я там в ихней церкви интервью сфотографирую.

И они принялись ждать машину. Наконец она пришла. Шофер через лужу не поехал, издали посигналил, и они, под зонтиками, проваливаясь в грязь, добрались до машины. По дороге заехали в Богородское. Церковь была превращена в столярную мастерскую. Лежали распиленные доски, сколоченные рамы, обтесанные бруски. В комнатухе, где жили рабочие, висел прикреплённый портрет усатого человека. Рабочие все были пришлые, по подряду.

— Это что, тоже глас народа? — буркнул Илья, указывая на портрет Сталина, но Леня ничего не ответил.

Когда вышли из церкви, увидели, что в машине их ждал человек без лба, из исполкома.

— Хорошо, что вас встретил, — сказал он. — Сюда заскочил по делу, а назад не выехать. Автобус застрял. Да, дороги у нас будь

здоров, я вам еще вчера говорил. Аварии, столкновения здесь очень даже постоянны. Ведь еще и пьют, а что с пьянством делать, не знаем, — он говорил, Леня молчал, молчал и Илья, глядя в окно, машина ехала, а человек говорил, желая то ли отвести душу, то ли скрасить дорогу. — Сам в прошлом году вот так попал. Еду, а на нас самосвал прет. Можно бы на обочину, да кто того знает, что ему в голову взбредет. Хорошо, наш водитель сообразил: рванул и проскочил. И то тот зад у нас задел. А там хоккеист наш сидел, местный, с травмой ехал, так ему опять руку сломали. Еле довели.

— А что с тем шофером? Что наехал?

— Да ничего. Он же ничего не понимает. Стоит, глаза лупит. Да и родственник нашего оказался. Наш его по-родственному и поучил. Два раза в зубы, тот упал, а наш его маленько ногами. У нас не город. Куда, если его посадят, машину деть? Шофер нужен, да и самого на голодный паек сажать за что? Ну, родственник к тому же на своего заявлять не пойдет. А лопают у нас здорово. Все пьют. Спьяну и творят. А что с ними делать? Это в Москве или Горьком можно посадить. А тут каждому пьянице нужно в ножки поклониться: спасибо, что в колхозе остался и работаешь. Я как-то подшивку старых газет поднял. Были в нашем районе четыре колхоза: «Свет Ильича», «Красный пахарь» и еще два. Так они на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке участвовали. А теперь?.. Эх! Где они?.. Я говорил с Ивановым, один из первых председателей, застрельщик колхозного дела. Мы с ним раз бутылочку взяли и поехали вот сюда как раз, — он указал рукой в окно, где за дождем виделся маленький перелесок, какие-то кусты, одинокие деревья, поникшая трава да скользкая глинистая почва с глубокими лужами. — Раньше тут стояла деревня Рогово. А теперь там травмурава, кусты смородины да малины да яблоки дикие. И он, Иванов-от, — единственный раз употребив просторечное «от», попутчик вздернул снова брови, так что они соприкоснулись с корнями волос, совершенно скрыв полосу лба, — мне говорит: «А вить я из этой деревни. Какие мужики были крепкие да умелые, самые умные во всем колхозе. В колхоз охотой пошли, да как его подняли, на выставке участвовали. Да-а». — «А где же, — спрашиваю, — они теперь?» А он мне отвечает: «Я ж тебе сказал, что они были самые умные. Все разбежались, все теперь в городах». Н-да, — вздохнул представитель исполкома, — что имеем — не храним, потерявши — плачем. Прав был Козьма Прутков.

«А он не такой уж и серяк, хоть и без лба», — подумал Тимашев, а вслух спросил:

— Что ж, в деревне одни дураки да пьяницы остались?

— Почему? Что это вы такое говорите? Конечно, нет. Только умные и тем более работать не хотят. Не доверяют нам. Вот я вас спрошу: когда деревенский мужик должен на работу подниматься? Вы ж книжки читали, знаете. С зарей. И мужик это знает. Иначе смысла нет в сельской работе. А он к девяти только к колхозной конторе должен подойти, чтоб наряд получить. А там тары-бары-растабары... К десяти он наряд получит. А там пока машина подойдет, чтоб его на поле везти. Да еще она, может, сломана, а может, шофер в похмелье лежит. Вот и прикиньте, когда он на поле оказывается, за работу берется. А без наряда нельзя, потому как мужицкой самостоятельности мы не доверяем. Мы — ему, а он — нам.

Все замолчали, не зная, что сказать.

— Ним подвижники нужны, — помолчав, продолжал говоривший. — Образованные люди и одновременно подвижники. Чтоб не за копейкой к нам тянулись. Копейку-то мы им дадим, но чтоб от души еще. Вы вот Макарьевскую церковь обмеряли. Хорошее дело. Ее еще Левашев ставил, был такой здесь барин. Слышали о нем?

— Слышали, — ответил Илья.

— Говорят, революционно настроенный был. Школы открывал, больницы. А зачем, скажите, церковь ставил? Нет, я понимаю, сейчас это памятник культуры. А тогда? Думали церковью исправлять да воспитывать, так, что ли? Не верю я в это. Вот ко мне и сейчас бабки приходят, жалуются, что в Елдеже священник пьет.

На недоуменный взгляд попутчиков пояснил:

— Мы ж отдел культуры, все культы в нашем ведомстве. А тогда, что ль, священники лучше были? Не верю. Можно ли проповедью вора или пьяницу исправить? Как по-вашему? По-моему, нет. Его, если он в тюрьму не попал, только трудом исправить можно, только трудом. Только так хозяйство поднимем и человека исправим. Согласны?

— Конечно, — бодро сказал Ленья.

— То-то и оно, — продолжал человек без лба. — Нужно все здесь переиначить, а то мы ко всему только прилаживаемся. Хозяин нужен.

— Так кто больше — подвижники или хозяин? — улыбнулся Илья.

— И то, и другое, — не смутившись и не сбившись, отвечал попутчик. — Все нужно. А то, что нашей историей занимаетесь, — это хорошо, это тоже нужно. Чтоб помнить, что не на обочине живем, что не хуже других, Правильно? А? — Но прежде чем они успели

ответить, воскликнул: — Ну вот, подъезжаем... Вам куда лучше? — Хотя они его подвозили, но местным хозяином был он.

— Нас бы к музею, — попросил Леня.

— Сделаем.

Прощавшись, они вышли из машины. Пока они ехали, ливень прекратился, но все еще моросило, и они и раскрыли зонты и пошли через примятый и грязный от дождя цветник с поломанными и поникшими цветами к дому, который напоминал сказочный теремок. Если писать в стиле путеводителей, то надо бы отметить, что «музей располагался в бывшем доме купца Беляева, владельца лесопромышленного и стекловаренного заводов». Дом был построен по моде начала века — с резными завитушками, коньками, балкончиками, причем из дерева, что позволило и впрямь придать дому сказочные выверты, так сказать, чудесоватые, чем-то напоминающие индийскую архитектуру. Резьба была прекрасная, они осмотрели дом со всех сторон, но внутрь пока пройти не могли, потому что был перерыв до четырех, и на оставшиеся четверть часа они вышли к Ветлуге.

\* \* \*

Берег был высокий, крутой, почти обрыв. Они стояли на самом краю, ухватившись за пень поясного роста, и смотрели вниз. Внизу река темного глинистого цвета неслась, огибая берег, видна была сила течения. Сосна со светло-коричневыми толстыми ветвями наклонилась параллельно воде, перпендикулярно склону обрыва. Казалось, что если влезть на нее, то корни уже не удержат лишнюю тяжесть, вывернутся из земли, и полетит дерево стремглав в воду. Но до очередного паводка сосна могла и устоять. У берега громыхнула лодка, мужик в робе отвязывал цепь, парнишка лет десяти в синем комбинезоне уже сидел на скамейке, мужик оттолкнул лодку от берега, вскочил в нее, взялся за весла и вывел на середину течения, тут он весла сложил и включил мотор. Затарактев, лодка пошла вверх по реке.

— Нам пора, — сказал Леня, взглянув на часы, — а то совсем темно будет, я ничего не сфотографирую.

Они вернулись, дверь была уже открыта, они вошли внутрь. Внизу никого не было, тянулись анфиладой комнаты с портретами местных знаменитостей, а также Короленко, Потехина, Н.С. Толстого, на столах, под стеклом, лежали их книги, открытые на страницах, где повествовалось о Поветлужье. В одной комнате стояли чучела зверей, водящихся в здешних местах: медведя, волка, лисы, зайца, рыси и даже лося. Висели диаграммы «до-



бычи пушнины и леса». В другой комнате за перегородкой имелась прялка и прочие *предметы крестьянского обихода*. Все так же висела фотография Бабьей горы, названной в честь разбойницы Степаниды, руководившей «одним из первых антифеодальных выступлений поветлужских крестьян». В третьей — «отражался купеческий быт»: весы, гири и гирьки, модель «беяны», двухэтажной барки, с пояснением при ней: «Беяна — баржа с готовым пиломатериалом, которая своим ходом, самосплавом, шла до Волги, к заказчику; когда все продавалось, баржа тоже разбиралась и шла в дело». При макете лежала «расчетная книжка № 13, выданная от С. Н. Беяева Михаилу Ивановичу Легонову». Книжка представляла из себя несколько сшитых листков с обложкой, размером в четвертушку школьной тетрадки. Внутри чернилами был записан договор. По привычке Илья списал его в свой блокнот, сохраняя орфографию и пунктуацию, как и полагалось дошному историку:

«Краткое условие Поряжен в рабочие на плоты идущие с пристани Керженца до пристани, где будут проданы с окладом жалованья двадцать два руб. (22 руб.) в месяц на своем содержании и харчах Во все время сплава идущих плотов должен вести себя в трезвом виде и быть в полном послушании, исполняя приказания безатговорочно, как служащих Беяева также и лоцмана. Причем поназначению обязан исполнять дневные и ночные караулы, т.е. вахты. Если случится какое-либо несчастье, то я рабочий обязан производить все работы какие встретятся пораспоряжению служащих Беяева или лоцмана несмотря на время днем или ночью. Кроме всего если служащими Беяева будет замечено с моей стороны неисправность, то служащий Беяева имеет полное право рассчитать меня тотчасже. По сплаву и постановке плотов к пристани срок службы кончается и учиняется расчет. Если я рабочий пожелаю уволиться самовольно, где нибудь в пути, то служащий Беяева имеет полное право удержать с меня в виде неустойки пять рублей.

Поступил мая 20 дн.».

На другой странице: «расчет учинили, причитающиеся получил сполна Михаил Легонов».

«А ведь небось как зверь работал. Куда было от купца деться? Некуда. Да и тот с ним как с равным. Все с ж не наряд, где оба ответственные», — размышления Ильи были прерваны Леной.

— Ты чего делаешь? Нужен директор, я при таком освещении ничего не сниму. А-а, ты про Левашевых нашел что-то?

— Да нет, здесь этого сборника нет.

— Тем более, пошли за директором.

Они снова вернулись к входу и прислушались. Сверху, со второго этажи, доносился стук молотка. В промежутке тишины Леня постучал по деревянным перилам внутренней лестницы. И вскоре на ней появился человек в черном рабочем халате в стружках и клее, он моргал глазами под стеклами очков и вид имел не очень-то представительный. Он был сразу и директор, и рабочий, и сторож музея.

— Стенды готовлю, — объяснил человек. Он застенчиво улыбался и сразу же принялся помогать Лене, притащил какие-то лампы, рефлектор, шнур-удлинитель, а Илью тем временем запустил в свою маленькую комнатку, где стояли стеллажи с карточками, лежали альбомы с фотографиями и краеведческие книги местных издательств.

— Вот посмотрите пока, — он положил перед Ильей фотоальбом. — Это Беляев и его семейство. А это его племянник, Иван Васильевич Шуртыгин, он после революции у нас стекловаренным заводом руководил, он и дядю своего раскулачивал, а в тридцать седьмом его посадили.

Директор вышел помогать Лене, а Илья смотрел на фотографическую карточку Шуртыгина И.В. Мужчина с бородкой-эспаньолкой, дорогое двубортное пальто, застегнутое до горла, кепочка с пуговкой, взгляд такой ясный и светлый, что даже страшно. Илья присмотрелся: эффект был в том, что зрачков почти не видно, очень светлый ободок зрачка.

«Вот она, история, — мрачно думал Илья. — Калейдоскоп судеб. Живые люди в ней участвуют и платят своей жизнью за это участие. А мы только рассуждаем. Я даже историческую справку написать не в состоянии, что уж говорить об осмысленном исследовании...»

Он встал из-за стола и принялся листать книги, стоявшие на стеллажах. Взял в руки «Записки краеведов». Место издания — Горький, год издания — 1980. И тут вспомнил, что, похоже, об этом сборнике говорила благолепная старушка, дочь страхового агента. Быстро открыл оглавление. Оно! Статья Н.Ю. Сергутиной «Валерий Николаевич Левашев». Лихорадочно нашел нужную страницу, сел за стол, вытащил из кармана куртки мятый блокнот, шариковую ручку. Наткнулся глазами на строчки: «В левашевском архиве на Ветлуге имелись чаадаевские рукописи, которые, возможно, еще отыщутся в горьковских архивных, музейных, библиотечных фондах». И несколькими строчками ниже в подтверждение своих слов автор статьи приводила в собственном переводе с французского письмо В.Н. Левашева П.Я. Чаадаеву.

Тимашев замер. Хоть и не он открыл, но все равно, все равно! Неизвестные штрихи и факты из жизни великого мыслителя, родоначальника русской философии, друга Пушкина и тому подобное!

Он читал и записывал, дрожа от восторга, понятного только историкам и библиофилам:

«Только вчера, дорогой Петр Яковлевич, я прочел Ваше столь любезное письмо — Дельвиг забыл передать мне его. Спешу поблагодарить Вас за память; я никогда не забуду, что Вы были другом моей матери, и это главный источник моего уважения и любви к Вам. Я оставил службу, весьма мне досаждавшую, чтобы обосноваться в деревне и оставаться там до полной выплаты всех наших частных долгов... В бумагах отца я нашел несколько Ваших рукописей, дорогой Петр Яковлевич, и прочел их с несказанным удовольствием. Они напомнили мне счастливые и спокойные дни, проведенные в кругу семьи. Эти письма, прочитанные мною со всем вниманием, на какое я только способен, вызвали во мне горячее, но почти несбыточное желание — я хотел бы получить все Ваши рукописи, так как желал бы посвятить свою жизнь чтению и наукам. Прощайте, дражайший Петр Яковлевич, будьте здоровы и не забывайте того, кто Вас искренне любит. Валерий».

Илья смотрел на переписанные строки, вертел в пальцах ручку, что-то опять-таки болезненно-близкое чудилось ему в словах и интонации этого письма. «Где наши Чаадаевы, которым наши дети хотели бы подражать? Которые могли бы их вовлечь в высокое чтение и науку! Которые научили бы их увидеть высокий духовный смысл жизни!» Но, думая все это, он одновременно думал и о том, что времени осталось мало, что сейчас Леня закончит фотографировать, директор придет запираеть музей, завтра им уезжать из Воскресенского, а точных данных для справки нет. И он стал поспешно конспектировать статью, сказав себе, что о главном он додумает чуть позже.

«Валерий Николаевич Левашев, — писал он, — принадлежал к древнейшему роду служилых дворян.

В 1552 году Левашевы были пожалованы за «Казанскую службу» именьями в Нижегородской земле.

Отец — Николай Васильевич Левашев — участник Отечественной войны 1812 года.

Мать — Екатерина Гавриловна Левашева (Решетова).

Бабушка — Е.А. Решетова (Якушкина) — родная тетка декабриста Якушкина И.Д.

Левашевы жили большею частью уединенно в деревне и занимались воспитанием своих детей и улучшением жизни крестьян,

помогали им. Завели училища для мальчиков. В их московском доме бывали и гостили Муравьев, Тютчев, Баратынский, Вяземский, Фонвизин, Жуковский.

Салон Екатерины Гавриловны в Москве – центр московского «западничества» 30-х годов.

После восстания декабристов Е.Г. встречается с Бакуниным, Белинским, переписывается с Герценом и Огаревым. Душой салона был П.Я. Чаадаев.

Валерий Николаевич Левашев родился 25 мая 1822 года. Было еще пять детей: Василий, Лидия (Толстая), Эмилия (Дельвиг), Николай и Анатолий. Литературу им преподавал В.Г. Белинский.

В доме царила атмосфера преклонения перед декабристами.

После смерти матери семья в 1839 г. переезжает из Москвы в Нижегородские имения на Ветлуге – сначала в село Богородское, а затем, в начале 50-х годов, в заново отстроенный дом в деревне Галибихе. В 1844 г. умирает отец.

В 1861 году мировой посредник III Макарьевского участка В.Н. Левашев «показал либерализм в ущерб дворянства в проведении реформы».

Супруги Левашевы стояли в списке неблагонадежных в бумагах III отделения с 1863 года.

В 1863 г. в имении В.Н. был произведен обыск. Губернатор вызывает В.Н. в Нижний, он не едет, тогда привозят насильно, он все же возвращается к себе в Галибиху, где скрывается у крестьян. Затем уезжает в Курмыш, а чуть позже (без паспорта) за границу – в 1868 г.

Жена В.Н. – Ольга Степановна Левашева – одна из активных деятельниц русской секции I Интернационала. Поместья Левашевых на Ветлуге становятся опорной точкой революционной пропаганды в начале 60-х годов.

В 1868 году Левашев убеждается в бесперспективности своих попыток демократического решения «крестьянского вопроса» – намерений отказаться от собственной земли в пользу крестьян, содействия в строительстве школ и больниц в своих имениях.

Образ жизни последних лет – подчеркнуто замкнутый, аскетический.

В.Н. Левашев умер в 1877 году в имении Галибиха на Ветлуге и похоронен в семейном склепе в селе Богородском, около церкви».

«Стало быть, в том склепе, который разрушили и в котором после гражданской картошку держали», – вспомнил Илья. Он закрыл книжку. Вышел к Лене.

– Ну что, старичок? – спросил тот. – Я заканчиваю. А как ты? С уловом?

– Угу!

– Ну-у! Поздравляю! Нашел?

– Нашел!

– Все. Сворачиваемся. – Леня закрыл фотоаппарат, уложил его в кожаный футляр, сложил и спрятал в чехол штатив. – Только поможем свет прибрать.

– Да вы идите, если торопитесь, – робко и просто сказал директор музея. – Я сам справлюсь.

– Нет уж, поможем. Мы же вас растревожили.

Они принялись сворачивать шнуры, относить в подсобку лампы, Илья помогал, сжав губы, словно, произнеся слово, мог расплескаться, упустить полученную информацию.

Они вышли из музея. Вечерело, но темноты еще не было. Пройдя небольшим парком, они снова очутились на обрыве и, не сговариваясь, стали спускаться к реке узкой, скользкой после дождя, крутой тропинкой, стараясь идти по травяным ее краям. Наконец они выбрались на широкую песчаную дорогу, которая вела к мосту. Мост начинался с того берега и доходил до середины реки (из-за сильного весеннего таяния река поднялась и расширилась), дальше к их берегу вел понтонный настил, по нему кряхтя полз грузовик. Сзади из-за деревьев с холма било солнце. Небо очистилось, синело, но местами зависали тучки, такая ромбовидная тучка зависла и над ними и полила грибным дождиком. Прямо над ними поднялась радуга, они были в ее центре (правда, Леня тут же объяснил Илье, что таково свойство радуги: ты всегда в ее центре), а потом вдруг впереди себя они увидели бледную половину луны. Они свернули с дороги и пошли по песчаным дюнам, между кустиками травы и мелкими лагунами, к реке. На другой ее стороне зеленел и коричневел высокий сосновый бор.

– Роскошь какая! – воскликнул Леня и потянулся. – Ну что, старичок, в самом деле *те* Левашевы? *Чаадаевские*?

– Те.

– Это же здорово! – пнул он Илью кулаком в плечо. – Вот тебе и материал, теперь уж статья должна пойти.

– Да нет, дружище, материала здесь только на историческую справку. Статья уже до меня написана.

– Точно? – подозрительно-вопросительно глянул Леня. Увидел по лицу, что точно, но, будучи человеком добрым и вместе с тем жизнерадостным, утешил: – Ничего. Историческая справка – это тоже важно. А статью о чем-нибудь еще напишешь. Не расстраивайся. Все равно не зря съездили. Ты подыши поглубже – какой воздух! Настоящий! Без обмана! И лес, и река, и радуга! Это под-

линное, старичок! Наслаждайся, — говорил Леня. — Когда еще в такие места попадем! Это же килограммы здоровья. Хорошо хоть природу пока не везде испоганили!

А Илья молчал, мычал подтверждающе, а в голове неотступно свербило, что он о чем-то в музее не додумал: «Где же наши Чаадаевы, чтоб наши дети могли им следовать? Нет, не то. При чем здесь Чаадаев? Он уже свое сказал, он уже был, плохо то, что мы его не знаем. И не только его. Что я Лене говорил? Что мы Одиссеи, а наши дети — Телемаки, которые не ждут возвращения отцов. Но кого им ждать? Мы отнюдь не путешествующие Одиссеи. Мы не странствуем в чужих духовных областях. Это Чаадаев странствовал и привез богатство на родину. Добро бы мы странствовали. Чего-нибудь привезли бы. А мы сиднем дома сидим. Сиднем сидим и при этом даже дома своего не знаем. Что уж говорить о хранении. Хранить можно, когда знаешь свои ценности, знаешь, что они — ценности. Сидим, не работаем. А ломать — не строить. Народная пословица. Ломать легче. Это мы всегда умели, надо строить, делать, созидать! Нужно ежедневно, ежеминутно, каждую секунду совершать над собой усилие, преодолевающее духовную лень. На что надеялся Чаадаев, когда писал? Писал, его не печатали, объявляли сумасшедшим, он разорился, жил во флигеле у своих друзей Левашевых, а все равно мыслил, думал, писал, сохранял форму, был корректен, язвителен, подтянут. Духовно подтянут. Можно ли так сказать? А, все равно. С собой говорю. А ведь понимал, что многое, им написанное, может пропасть, и, наверно, пропало, а до сих пор находят и в восторге печатают. А все потому, что он преодолевал хаос, хаос мира, хаос России, хаос своей души. И как это объяснить сыну?»

Илья тяжело вздохнул. Как это объяснить? На что опереться? На то, что не зря жил Чаадаев, не зря жили Левашевы и все другие — мыслители, страдальцы, поэты и подвижники? Он вдруг успокоился. В конце концов, надо надеяться, что ничто высокое пропадает бесследно, иначе не стоило бы и жить.

## Наливное яблоко

**Я** запишу эту историю так, как увидел ее в детстве. То есть не совсем в детстве. Мне было уже лет двенадцать-тринадцать. Но, будучи ребенком в достаточной степени домашним, более погруженным в книги и семейные переживания, нежели во внешнюю жизнь, я не замечал многого, что другие мои сверстники знали как бы на ощупь. Разумеется, я знал многое и про многое читал и слышал, но все это слышимое и известное я как бы не видел. По нашему двору ходили вежливые, благообразные люди, при встрече они раскланивались, приподнимая или даже совсем снимая шляпы. И со мной тоже раскланивались, и я отвечал весьма вежливо, хотя почти никого не знал по имени-отчеству, разве что в лицо. И мне до того случая и в голову не приходило, что среди этих, даже каких-то бесполох от вежливости людей могут быть страсти, борьба, противостояния, «подсидки» и вообще *подлости* (о чем я читал в книгах, но в жизни не сталкивался) и здесь, в нашем, зеленью отгороженном от улицы (и, казалось, тем самым от низменных страстей) дворе, можно увидеть «провал в адскую темноту». Но так я, во всяком случае, тогда увидел и подумал.

Был, наверно, август, конец месяца, последние дни до школы. Я вернулся из деревни, где на лето родители снимали дачу, и, одуревший от дачного бездумья и бесчтения, взялся сразу читать «толстые» и «серьезные» книги, с удовольствием чувствуя, как наполняются ум и душа, примерно так же, как после тренировки укрепляются мышцы и приходит в результате хорошее самочувствие. Во дворе никого из ребят еще не было, значит, не вернулись с каникул, и, стало быть, до начала занятий оставалось не меньше недели.

Несмотря на предчувствие осени (появившиеся кое-где желтые листья, темно-красные продолговатые ягодки барбариса на колючих кустах с редкими маленькими листочками, выгоревшая, темная и старая трава на газоне, а также сумки и авоськи, набитые фруктами), дни были еще вполне летние, жаркие, и я торчал на улице, читая и с приятностью одновременно ошущая, как

сквозь листву липы падает на меня свет и жар солнца. Обычно до обеда я сидел на скамье в липовой аллейке, разделявшей два больших газона с кустами сирени по углам и крестообразными дорожками, обсаженными кустами барбариса. А когда надоедало читать и хотелось просто бесцельно думать ни о чем, я складывал книгу, зажимал палец между страницами и медленно ходил вокруг клумбы по барбарисовым дорожкам, срывая, жуя и сплевывая продолговатые красные, тощие и кисловатые ягодки. И состояние духа было спокойное, вдумчивое, исполненное серьезности и самоуверенности. Я очень нравился себе в такие минуты, мне казалось, что все в жизни понимаю, а если и не все, то непременно через время пойму. В тринадцать лет ведь думаешь, что год, ну от силы два — и в восьмом, а то и в седьмом уже классе ты будешь взрослый и всезнающий.

Так я гулял по дорожкам газона, что расположен был как раз перед моим подъездом, когда с балкона второго этажа меня окликнул высокий, толстый человек, одетый в теплый байковый халат и шерстяные лыжные брюки с начесом (видные сквозь прутья балкона).

— Скажи мне, мальчик, ты — Боря Кузьмин?

Он стоял, опершись толстой грудью и ладонями о перила балкона. На голове у него была феска с кисточкой, а его большой горбатый нос был заметен даже на расстоянии и напоминал клюв коршуна, как его рисуют на картинках. Кто он, я знал: Сипов Георгий Самвелович, профессор института, где работали раньше дедушка Миша и бабушка Лида. Я с ним ни разу не разговаривал, как, впрочем, со многими другими также, хотя Сипов жил прямо под нами и я каждый день видел его во дворе. Он ходил, выпятив живот и грудь, держа в кулаке ручку огромного, но плоского ледеринного портфеля, глядя перед собой и немного вверх, и на робкое «здрасьте» когда отвечал, а когда и нет. Важность Сипова передавалась не только его злой, тощей и старой жене, передвигавшейся мелкой, быстрой, переваливающейся походкой и раздраженно стучавшей по асфальту палкой, но даже его домработнице, без зазрения совести вытряхивавшей половики прямо на лестничной площадке. Она даже не очень-то спешила спрятаться за дверь, когда кто-нибудь поднимался по лестнице, и пыль летела вам прямо в физиономию.

Вопрос, Боря ли я Кузьмин, насторожил меня. Уж не сделал ли я что-то не то? Может, где газон помял?.. Но вроде бы я по дорожке шел... Хотя кто знает, что ему могло показаться. Я помнил, как в наш двор вдруг приехали рабочие и стали обрезать и опиливать



нижние ветви с тополей, на которые так удобно было залезать. И рабочими этими, властно покрикивая, распоряжался Сипов, а не Юрий Николаевич Кротов, который, в сущности, и озеленил наш двор. Потом мы узнали, Сипов вызвал рабочих обрезать ветки как раз из-за того, что мы на них лазали и орал, играя у него под окнами. Поэтому я довольно робко задрал вверх голову и подтвердил, что я и вправду Боря Кузьмин. Но он не ругался, а с каким-то любопытством и даже добродушием осмотрел меня и сказал:

– Ты, я вижу, хороший мальчик! Любишь книжки читать!

– Да, – сказал я, успокаиваясь и с самодовольством.

Он медленно моргнул обоими глазами, как это могла бы сделать птица от яркого света.

– А что ты читаешь?

Читал я, надо сказать, книги «не по возрасту», иногда гордясь (когда с «понимающим» собеседником говорил), иногда стесняясь этого. Сейчас ответил с важностью:

– «Ад» Данте, песнь тридцать вторая.

– Анданте? Что – анданте? Не понял.

Мне стало стыдно громко кричать про Данте, и я упростил:

– Стихи.

– А-а... молодец. Я помню, твой отец тоже стихи любил читать. Маяковского. А твой дед – Пушкина. А ты кого?

И я снова застеснялся выкрикнуть имя Данте, когда он уже в первый раз не то что не услышал, а не понял, о ком речь.

– Да разных...- насупился я, – были бы поэтами...

– С большой буквы поэтами, – поправил он меня и вдруг зябко поежился и обнял себя за плечи. Губы его посинели и задрожали, словно от холода. Язык не слушался, когда он с трудом выговорил: – Тебе не холодно? – И пояснил: – У нашего балкона пол совсем ледяной в любое время года. Строительный брак. Это у нас еще бытует. Но в данную минуту, мне кажется, везде похолодало.

Ноги его – было видно сквозь прутья решетки – подергивались и приплясывали. А солнце светило ровно и жарко, ни тучки, стояла спокойная позднеавгустовская теплынь. Да и время самое солнечное – предобеденное. Я был в ковбойке с коротким рукавом и прямо на голое тело, в бумазейных синих штанах и сандалетах на босу ногу.

– Мне не холодно, – сказал я, – на улице сейчас, пожалуй, градусов двадцать пять, не меньше. А вас, наверное, просто знобит.

– Да, знобит, – он глянул тревожно, и эта тревожность как-то не шла к нему, к его толщине, властности, коршуноликому обра-

зу. — То месяцами ничего, ничего, а то вдруг налетает. — Он криво улынулся. — Ноги как во льду стоят. Хотя я не простужен.

— Это у вас, видимо, нервное, — заметил я, и, надо сказать, в тот момент безо всякой задней мысли.

— Ты умный мальчик. Как и твой дед. Ты на него похож. Умом.

Я и раньше слышал, что называется, краем уха, значения этому не придав, что дедушка работал с Сиповым, который был поначалу его учеником, а потом вскоре стал вместо него заведующим кафедрой. Говорилось это словно бы вскользь и с каким-то неодобрением, особенно в голосе бабушки Лиды слышалось раздражение. Но причиной тому я, не особенно вдумываясь, считал бабушкину уверенность, что никто не может сравниться с дедушкой и заместить его. А поскольку после его смерти, думал я, с кафедрой, где он работал, отношений больше не было, вот и с Сиповым мы не общались. Да и важный он был чересчур.

Поэтому на слова Сипова я никак не среагировал, а только улынулся вежливо и немного смущенно (так я считал должным в этой ситуации поступить) и ответил:

— Мне трудно судить. Вы ведь знаете, что дедушка умер в сорок шестом году, спустя год после моего рождения. Так что я его совсем не помню.

— Совсем? — снова по-птичьи встрепенулся он, плотнее закутался в свой байковый халат и переступил с ноги на ногу. — Ты милый мальчик. Хочешь яблоко?

— Нет, спасибо, — отказался я. Мне и вправду не хотелось, к тому же не любил я никуда заходить. Почему-то в детстве родители старались не пускать меня в гости по чужим квартирам.

— Ну, тогда у меня к тебе просьба. Отломи веточку барбариса и принеси ее мне. Она мне нужна для коллекции минералов, туда положить для красоты. Прошу тебя, Боря. Только не уколись.

Его неожиданно добрая и заботливая предупредительность была мне приятна. Ничего не оставалось, как выполнить просьбу. Я обломил ветку с красными ягодами и с зелеными, но уже как бы с прожелтью листочками.

— Подходит?

Сипов кивнул:

— Подходит. Поднимайся.

— Я только родителей предупрежу. А то они рассердятся.

И снова в лице его мелькнула некая напряженность. И даже испуг и растерянность.

— Да зачем? На минутку всего лишь зайдешь...

Дверь мне открыла его злобная тощая жена с коротко обрезанными седыми волосами, выглядывавшими из-под черного пухового платка. Она была в черной меховой накидке и даже по квартире ходила с палкой.

— Тебе чего? — сказала она вместо «здравствуй».

Я сделал шаг назад. Но из глубины квартиры уже донесся резкий и повелительный окрик:

— Зоя! Впусти! Это я пригласил. — И, выйдя из дальней — с балконом — комнаты, сделав приглашающий жест рукой, Сипов пояснил жене: — Это Боря, внук Михаила Сергеевича Кузьмина.

Но приветливости его слова жене не добавили. Прихрамывая в своих войлочных полусапожках, она развернулась и, мелко семеня и опираясь на палку, пошла впереди меня по направлению к мужу, который уже снова скрылся в комнате. Я двинулся следом, мимо высокого зеркала, едва не задев плечом гардероб, стоявший в коридоре при входе. Стекла в нем были, правда, завешены зелеными занавесками, но сквозь них все-таки проглядывали черные пальто и шубы с меховыми воротниками. «Значит, шубы они летом держат не в диване, как мы», — подумал я и, свернув направо, вошел в профессорский кабинет-приемную. То есть на кабинет это не очень-то было похоже, во всяком случае как я его себе представлял. Не было письменного стола с лампой, разбросанных бумаг, папок, книг с закладками, около стены я заметил всего один книжный шкаф. Зато по углам стояли две застекленные горки с весьма старинной по виду посудой, платяной полированный шкаф, а посередине — круглый стол, тоже полированный, с тремя салфетками из соломки на нем и хрустальной вазой со светящимися румяными яблоками. Вокруг стола — четыре крепких круглоспинных стула, два мягких кресла друг против друга.

В одном из них уже сидел, кутаясь в плед, накинутый поверх байкового халата, Георгий Самвелович. Его горбоносое лицо, казалось, отдавало в синеву от пронизывающего его холода. Он выглядел таким замерзшим, что даже натертый паркетный пол заблестел в моих глазах ровной гладью, как зимой лед расчищенного под каток пруда. «Словно озеро Коцит, — подумал я, потому что как раз про это начал читать в тридцать второй песне. — Может, Сипов тоже какой-нибудь грешник. Ведь пол у него как “озеро, от стужи подобное стеклу, а не волнам”. Но тут же устыдился глупых мыслей. Ноги профессора были обуты в теплые войлочные туфли. Горел рефлектор.

Вроде бы от всего этого должно бы быть тепло, но нет, тепла не было. И хотя минуту назад, на улице, я чувствовал себя разомлев-

шим от жары, да и здесь спервоначалу я холода не ощутил, но при взгляде на съжившегося Сипова и его колченогую супругу, тоже под пледом сидевшую в другом кресле и уставившуюся на меня напряженным взглядом, меня вдруг зазнобило и затрясло. Я даже плечами передернул от холода (мамин жест, который она, как она сама говорила, переняла у свекра, то есть моего деда, отцовского отца).

— У нас всегда в квартире очень холодно. Вот мы и греем старые кости. — Сипов помолчал, всматриваясь в меня, как бы оценивая мой подерг плечами. — Ты не похож на отца, ты все же на деда похож. Что скажешь, Зоя?

Она сидела в кресле, поставив перед собой палку и держась за ее рукоять обеими руками с таким выражением, словно готова была пустить ее в дело. На вопрос мужа она ничего не ответила, только моргнула, по-прежнему глядя на меня, словно чтоб ни жеста не пропустить моего (так мне показалось). Я стоял не шевелясь, барбарисовую веточку у меня никто не брал, и я держал ее немного за спиной, чтобы не выставлять подчеркнута, что она мне мешает. Зато холод вдруг как пришел, так и ушел.

— А почему ты ничего не скажешь?

Я понял, что Сипов обращается ко мне, но не мог понять, чего он ждет услышать и почему он и жена с таким вниманием следят за каждым моим движением и за выражением лица. Какое, в конце концов, ему дело до меня, зачем он придумал эту историю с барбарисовой веточкой, чтобы заманить меня к себе, и чего он от меня, в сущности, ждет? Поэтому с детским хитроумием я ответил простовато и бестолково:

— А чего говорить-то!

И даже, кажется, носом для правдоподобия шмыгнул. Но этим еще больше смутил и почему-то насторожил его — своим превращением из интеллигентного мальчика в простоватого дурачка.

— Ты не хочешь говорить? Ты боишься, тебе от родителей попадет, что ты ко мне зашел? Да? Я вижу, ты послушный мальчик. Это хорошо.

Он замолчал, сидя в кресле, обнимая себя за плечи и все больше нахохливаясь. Надо сказать, что феску свою шерстяную он и в комнате не снимал. Я сглотнул слюну и как бы случайно выдвинул из-за спины барбарисовую веточку. Пусть видит, что я давно уже держу в руке то, из-за чего к нему зашел. Но он смотрел мимо.

— Мы с твоим дедушкой вместе работали.

— Это я знаю, — обрадовался я возможности хоть что-то сказать.

– А еще что знаешь? Ты говори, не стесняйся.

– Ничего, – пожал я плечами.

– А почему же тогда твои родители запрещают тебе ко мне заходить? Скажи!

– Никто мне этого не запрещал. Просто родители могут забеспокоиться, когда позовут обедать, а меня во дворе не будет.

Разговор стал совсем непонятным и нелепым, а главное, мне сделалось не по себе от пристального, молчаливо-цепкого взгляда его сухой, сморщенной, маленькой, почти утонувшей в своем кресле жены.

Он, видимо, это или еще что-то почувствовал.

– Ну, тогда иди, конечно. Только дай мне барбарис, который ты сорвал.

Он не добавил «пожалуйста», а просто протянул руку. Я сделал было шаг к нему, держа веточку двумя пальцами, чтобы не уколоться, но Сипов предостерегающе поднял ладонь, очевидно вспомнив про колючки.

– Положи на стол. Вот так. Спасибо. Теперь возьми из вазы яблоко. Не бойся, возьми. Я же тебя угощаю. Можешь здесь не есть, если сейчас не хочешь. Съешь дома. До свидания. Зоя, проводи.

Держа яблоко за хвостик, чтобы не испачкать грязными руками (а со стороны, как мне потом стало понятно, это могло выглядеть, что брезгую), я пошел к входной двери. Постукивая палкой по полу, Сипова провожала меня, все так же молча и подозрительно и чуть-чуть исподлобья заглядывая мне в лицо. Открыла дверь, выпустила меня и сразу ее захлопнула, и было слышно, как она запирает дверь на цепочку и засов.

Я поднялся этажом выше и оказался дома. Мама велела мне идти на кухню, потому что первое уже разлито по тарелкам, и она не понимает, где я болтался, ведь она мне минут пять с балкона кричала – звала обедать. Действительно, и папа и бабушка сидели за столом и, может быть, даже съели уже к моему приходу по паре ложек супа. Чтобы оправдаться в опоздании, я сказал, поднимая за хвостик на всеобщее обозрение яблоко:

– Меня Сипов – знаете, внизу под нами живет – в гости зазвал зачем-то и вот яблоко подарил. Ничего яблочко, а?

И как вещественное доказательство своей правдивости я положил яблоко прямо на стол меж солонкой и хлебницей.

Наверно, так они были бы ошеломлены, если бы я вдруг положил на стол что-нибудь небывало-невиданное или ужасно страшное, а не какое-то обыкновенное вполне яблоко. Папа опустил,

почти уронил ложку в тарелку и сумрачно-недоуменно сгустил над переносицей брови. Даже надменно прямоспинная и прямосидящая бабушка как-то принагнулась от удивления, уставившись испытующе на меня: уж не дурацкая ли это шутка. А вошедшая вслед за мной на кухню мама не спросила, а выдохнула:

– Кто? Кто зазвал?..

Папа же взял яблоко за хвостик и почему-то стал рассматривать его на свет. «Яблоко как яблоко, молодое, наливное, румяное. Со всем, – вдруг подумал я, – как в “Сказке о мертвой царевне и семи богатырях”, которое принесла, подпираясь клюкой, злая колдунья. Ведь и вправду яблоко это “соку спелого полно” и при этом “будто медом налилось”!» Я подумал даже, что папа ищет, видны ли «сечки насквозь», как в том яблоке.

– Что он тебе говорил?- не давая мне ответить на первый вопрос, перебил папа.

– Ничего особенного. Попросил ему веточку барбариса принести, – я почувствовал, что меня снова охватил озноб. – Говорил, что с дедушкой вместе работал.

– Это он правильно говорил, – отвела бабушка рукою негодующий жест отца. – А больше ничего он не сказал?

Ее надменно-прямая спина распрямилась снова, а выпуклые безресничные глаза за очками потемнели. Но видел я в них не гнев, а скорее беззащитно-презрительное недоумение.

– Ничего, – снова повторил я. – Я, может, что-нибудь не так сказал?

– Откуда мальчик мог знать, – оборвала мама напрягшегося было что-то сказать отца. – И хорошо, что он ничего не знает.

– Не уверен, что это хорошо...

– Именно, – поддержал я отца, – я хочу знать. У него с дедушкой разве была научная полемика?

– Если бы! – не выдержал отец. – Но то, что этот коршун проделал, называется не полемикой, а другим словом. И в те времена, и во все времена это называлось...

– Гриша!! – воскликнула в тревоге мама.

– Аня права, – подтвердила неожиданно бабушка, хотя они редко с мамой в чем-нибудь сходились. – Боре не надо об этом знать.

– Да, но хочу знать я! Он что-нибудь про дедушку тебе говорил? – папа осторожно опустил яблоко на стол.

– Посмел бы он что-нибудь сказать! – выкрикнула мама, хотя только что собиралась молчать и отцу не дать говорить. – После

всего, что он сделал, как у него еще совести-то хватило Борю к себе зазвать!

Я упрямо посмотрел на маму и сказал:

— А что, собственно, произошло? Я не понимаю. Что такого, что я к нему зашел? Он говорил, дедушка был очень умный человек и хороший ученый.

— От него особенно приятно это слышать!.. — начал было снова отец.

Но твердокаменная бабушка снова оборвала его:

— Твоему сыну не надо знать о таком прошлом. Он должен жить обращенный в будущее, а не в прошлое. Достаточно того, что у Сипова ничего не получилось, и Миша отделался только инфарктом. Я ведь обошла тогда всех и отстояла твоего отца. Так что я имею больше права об этом говорить. Но я молчу. Вот и ты будь благодарен. Не растрavляй ребенка.

Все замолчали. Но отец все же еще раз сорвался:

— И что, он сам угостил тебя яблоком? Или *ты* попросил?

— Конечно, он сам, — отвечал я, решив при этом про себя, что я этого яблока есть не буду.

— Не понимаю, — сказал отец.

Я тоже ничего не понимал, точнее сказать, до конца не понимал, хотя и догадывался кое о чем. Но расспрашивать подробности все же почему-то не стал. Не по себе становилось, что я, такой мирный, должен буду начать кого-то ненавидеть. И я тоже ничего не сказал и не спросил. А яблоко потихоньку, после обеда, когда все ушли с кухни, выбросил в помойное ведро и сверху прикрыл газетой, чтоб не заметили.

Сипов, надо сказать, меня больше к себе не приглашал. А когда спустя время я в разговоре с отцом случайно помянул Сипова, сказав, что и он и его жена все время у себя в квартире мерзнут, даже летом, отец все равно ничего не стал рассказывать, а только пробормотал, что это у них, скорее всего, что-то нервное.

# Все это было, было, было

Но верю — не пройдет бесследно  
Всё, что так страстно я любил,  
Весь трепет этой жизни бедной,  
Весь этот непонятный пыл!

*Александр Блок*





## Знакомая девочка, или Как сверкают пятки

**М**не шесть лет. Я гуляю один за домом, на южной стороне. Весна. Дом пятиэтажный, длинный и нештукатуренный. Время – конец обеденного, на улице никого. Жарко. В расщелинах кирпичей лениво греются огромные черные мухи, счастливо отзимовавшие. В полете они жужжат, и их совсем нетрудно ловить.

Я сосредоточенно хожу, руки за спину, и о чем-то размышляю. Мне хорошо думается, и я рад, что в одиночестве. При этом я, так сказать, созерцаю мир: нагретую солнцем кирпичную стену с отбитыми краями и углами; ручеек, бегущий вдоль растрескавшейся асфальтовой дорожки перед домом; пролежавшие зиму высохшие кучки собачьего кала на газоне. На мне чулки на резиночках, сандалеты, серые короткие штаны и лыжная курточка. Мне уютно в этой одежде.

Тут я слышу, как в одном из подъездов хлопает дверь. Я быстро высчитываю: получается, что в третьем. Значит, Лидка Серезнева. Как помню, у нас с ней всегда были какие-то непроясненные отношения. Враждовать мы открыто не враждовали, а так, ощущали неприязнь. Но виду не показывали.

Я как раз у другого угла дома. Достаточно завернуть за угол, и мы не встретимся. Я это чувствую и все же иду назад.

Мы двигаемся навстречу друг другу. Расстояние между нами большое, дом длинный. Я спотыкаюсь. Самое неловкое – это идти издали к какому-нибудь человеку, особенно когда вы не друзья.

Синенькая юбочка, ленточка в косичках, новенькие сандалии, красные носочки и шерстяная кофточка с вышитыми цыплятами. Сейчас я с трудом восстанавливаю ее облик. Наверное, была плотная девчонка, веснушчатая, узкилицая, самоуверенная и очень властная.

Я прохожу большую часть расстояния и теряюсь. Она внимательно смотрит на меня и говорит первая:

– Здравствуй.

– Здравствуй, – говорю я и краснею, потому что слишком быстро шел и потерял лицо, надо в таких случаях ходить медленно.

Она смотрит на меня в упор, ставит одну ногу на скамейку и говорит:

– А мне мама новые сандалеты купила.

И ждет, что я скажу, какие обновки у меня, и уверена, что у меня их нет. Я говорю:

– А мне папа – барабан...

Она тцекает и продолжает хвалиться:

– А мне мама – новые носочки. Вот!

Я тогда честно припомнил свои последние обновы, но последних не было, а соврать в неожиданном разговоре я не умел.

– А мне папа – барабан...

– А мне мама – юбочку новую. Она дешевая, зато практичная.

Я угрюмо повторяю:

– А мне папа – барабан...

И тут мы начинаем тараторить. Она все больше и больше упиваясь, а я все больше и больше озлобляясь.

– А мне мама кофточку. Э-э!

– А мне папа барабан!..

– А мне мама ленточки-и!

– А мне папа барабан!!

– А мне мама косыночку-у!

– А ты... а ты... а ты...

”Дура”, – хотел сказать я, но не сказал. Молчу. И она сразу замолчала. Испугалась, что ли?

Но я не пугал, я боялся сам, что она может сказать что-нибудь такое обидное, на что я не найду ответа. Я знал, что не найду.

Мы не разбредаемся в разные стороны, потому что домой рано, а ребята еще не вышли, чтобы каждому разойтись по ”своим”. Мы сидим на ободранной скамейке со спинкой, сидим рядком, но молчим. Однако плохое настроение не держится. Снова начинает она:

– Скажи «чайник».

Сомнительно мне что-то, произношу нерешительно:

– Ну, чайник...

– Твой отец – начальник!

Подобные дразнилки считались шутивными. Но она так серьезно произносит это, что я готов обидеться. Снова молчим.

Я встаю и подхожу к садику злющей старухи, жившей в собственном одноэтажном домике. Ни домика, ни садика сейчас нет – двенадцатиэтажный кооперативный дом, а тогда ветки за забор

свешивались. Я подхожу и начинаю почки жевать — очень вкусно. Старухи дома нет, ушла в магазин. Верка подходит и тоже начинает объедать почки. Мне почему-то очень хотелось с ней подружиться взаправду. Быть может, потому, что была в ней какая-то непоколебимая уверенность, которой во мне не было...

Если бы появилась старуха, я думаю, нас сдружило бы общее бегство от нее. Но на мое невезение, она не появляется. Однако, опасаясь ее, мы двинулись прочь и снова вышли на асфальт около нашего дома. Я принимаюсь рассказывать мой первый увиденный тогда фильм — "Алитет уходит в горы". Распинаюсь и выкладываюсь. Вдруг она прерывает меня:

— А мне папа сказал, что когда я бегаю, у меня пятки сверкают! Э-э!..

Ее папа!.. Толстый профессор, запрещавший дочке по непонятной для меня в том возрасте причине играть со мной. Позднее, подростки, я узнал от родителей: по причине моей нерусской фамилии.

Я недоверчиво кошусь на нее: "Как это — пятки сверкают?.."

— Вот, смо-ри!- кричит она, вскакивая.- Только как следует!

И она бежит вдоль дома. Я смотрю очень внимательно, но ее пятки не сверкают. Они даже не мелькают. Ноги ее отрываются от земли одна за другой очень размеренно.

Она возвращается, запыхавшись.

— Ну и что? — пожимаю я плечом. — Я так тоже могу, подумаешь!..

Мне хочется, чтобы и меня кто-нибудь похвалил. И еще я чувствую вдохновение бега.

Пожалуй, я и сейчас уверен, что бежал быстрее нее.

Я прибегаю назад, она сразу торопится сказать:

— У тебя пятки вовсе не сверкают-ут! — И поспешно встает: — Смо-ри, как надо!

И мчится. Я уже понимаю образ не буквально, не жду от ее пятки сверкания, но все равно мне кажется, что я бежал поскорее своей соседки, и кажется, что она-то понимает слова своего отца буквально.

Но объяснить, что я понял, не умею.

— Видишь, как надо? — возвращается она.

Она даже не торжествовала, нет. Она просто меня учила. А мне стало совершенно ясно, что она никогда не сможет разглядеть, как быстро я бегаю. Не сможет, потому что не захочет. Или это мне сейчас ясно?.. А тогда только обиделся: чего, мол, она воображает?!

Но вслух все равно ничего не сказал.

1968, 1979

## Библиофил

**Ч**его, собственно, ждал я от него? Дружбы? Нет, я очень тогда чувствовал разницу в возрасте, понимал, что он мне не ровня, что он уже взрослый. Хотя, конечно, мне льстило, наше «ты» друг другу. Ведь ему было не меньше двадцати шести—двадцати семи, значит, человек серьезный и много повидавший, мне же не больше восемнадцати.

Познакомились мы с ним в букинистическом магазине в Столешниковом, когда-то одном из лучших в Москве. Начало шестидесятых бросило всех мало-мальски рассуждавших к книге, причем к той, с подлинными, неофициозными ценностями, ее и достать было труднее, — к старой, дореволюционной.

Кажется, именно в этот день я нашел себя в списках поступивших и гулял по городу с новым ощущением собственной значительности и взрослости: поступил! Как-то даже легко и свободно вступал я в тот день в разговоры с незнакомыми людьми, нечувствительно преодолевая привычное ощущение, что в общении не должно быть мелкого, случайного, не подлинного и что для подлинного контакта людей им надо говорить о чем-то значительном.

Помню, я стоял на втором этаже у прилавка, разглядывая корешки выставленных на продажу книг. Рядом также тянули свои шеи другие покупатели: юные девушки, искавшие современную поэзию (то есть тогдашнюю трицу лидеров — Е. Евтушенко, А. Вознесенского и Р. Рождественского); молодые спекулянты-перекупщики, хватавшие ходкий товар и продававшие потом эти книги с рук, хоронясь от милиции; юноши с изможденными лицами, пытавшиеся найти мудрость в философском идеализме, лучше всего в восточной, практически недоступной в те годы мистике; элитарные знакомые продавцов, которым что-то доставалось из-под прилавка уже завернутым в бумагу и недоступным чужим взорам; наконец, случайные посетители, попавшие в этот книжный мир, руководимые не любовью к книге, а назойливым каким-то любопытством к непонятному. Рядом со мной как раз

примостился такой дядечка со слезящимися, красными, наверно, конъюнктивитными глазками и длинным носиком, который он совал с бесцеремонным любопытством в каждую книгу, которую я просил для просмотра. Невольно я старался отгородиться от него высоко поднятым плечом, но он все равно, вытянув шею и шурясь, лез к облюбованным мною книгам. Вдруг между нами протиснулся молодой бородатый мужчина. Оперев свой большой и тяжелый желтокожаный портфель о край прилавка, он снял коричневые кожаные перчатки, сунул их пальцами вверх в карман теплого плаща и заговорил с усталой продавщицей как понимающий толк в книгах. Мужичонка со слезящимися глазами был им так явно и спокойно отодвинут в сторону, что это показалось мне признаком жизненной силы и уверенности в себе. Вновь подошедший смотрел внимательно, книгу листал осторожно, видимо, понимая, что в ней ищет.

Мне невольно захотелось, чтобы он обратил на меня внимание: тщеславное желание выделиться из ряда. Что-то я сказал насчет спрошенной им книги, что — не помню. Но добился: он с интересом и доброжелательно глянул на меня. Затем неспешно, но вежливо ответил: шевеля светло-рыжими усами и, как мне показалось, с трудом пропихивая слова сквозь густую бороду. Фразы он строил гладко и подчеркнуто книжно, что мне, выросшему на окраине, непривычно было слышать от посторонних, не семейных людей. Но, самое главное, он говорил со мной не как с мальчиком, а как с равным, будто я и впрямь равен ему.

В магазине было жарко и душно. На полу слякотные разводы, натоптанные мокрыми башмаками. Я даже поскользнулся было в лужице на гладком каменном полу. Но схватившись за прилавок, устоял. Нас еще плотнее притиснуло друг к другу. Он сдвинул свою кепи с пуговкой на затылок, я снял берет и сунул в карман пальто. Мы стояли рядом, листая книги, перекидываясь репликами. У меня аж дух захватывало, что я как бы между прочим оказался ровней взрослому.

— Спасибо, — произнес он, возвращая продавщице книгу, — мне, очевидно, не подойдет. Извините великодушно, что затруднил вас понапрасну.

Не очень молодая или просто очень усталая женщина с большим животом (на последних месяцах беременности), измученным лицом, некрасивой родинкой с волосиками на правой щеке улыбнулась ему, принимая книгу:

— Заходите в другой раз.

— Непременно, благодарю вас.

Натягивая перчатки, он выбрался из толпы у прилавка. Я последовал за ним. Он подошел к маленькому журнальному столику у окна, поставил на него портфель и сел в низкое глубокое кресло; я — в такое же, напротив него. Из этой ситуации должно было что-то родиться. Закинув ногу на ногу, он обнаружил толстые тяжелые башмаки и черные шерстяные носки, выглянувшие из-под приподнявшихся брючин. Я сразу же подумал, что на внешнее, на комифотность ему плевать, раз он так просто одевается, что он сущностно живет: так ему удобнее — и баста.

Женщина за прилавком что-то устало выговаривала малограмотному покупателю с длинным острым носом и красными глазками. Я почему-то вдруг подумал, что недели через две здесь будет стоять другая, а эта — в декрет уйдет.

— Ну, — поощрительно он мне улыбнулся, — что вам сегодня интересенького удалось достать?

Мне, надо сказать, сильно повезло в тот день. Всего за пятерку я приобрел “Петербург” Белого, сброшюрованный с “Кузовком” Ремизова и “Барышней Лизой” Сологуба. Я молча вытащил из своего, еще школьного портфеля толстый том. Он осторожно взял его в руки, сняв предварительно перчатки.

— Ого! — он листал его, поглядывая на меня с явно возмужавшим интересом. — Не хотите уступить? — вдруг спросил он.

— Нет! — я в испуге потянулся к книге.

— А поменять на что-нибудь?..

— Нет-нет!..

— Да вы не бойтесь, — с такой, я бы сейчас сказал, ласковой насмешливостью молвил он (из-за окладистой бороды казалось, что он не просто говорит, а молвит), — не украду я вашу книжку. Хотите посмотреть, что у меня имеется?

Он раскрыл свой огромный портфель, не портфель, а почти баул, и принялся доставать оттуда книги. Ухвативши покрепче своего Белого, я рассматривал его добычу. Сейчас не могу припомнить в точности те книги, что он вытаскивал из своего желтого бездонного портфеля. Как дьявол, купивший душу Петра Шлемиля, он демонстрировал мне одну лучше другой. Были там, кажется, трагедии Еврипида в переводе И. Анненского, что-то по восточной философии, какие-то знакомые мне лишь по названиям романы, сборники стихов... Нет, не помню. Дрожь в руках и зуд зависти охватили меня.

— Где вы это купили, если не секрет? — старался я подделаться и под независимость, и под манеру его разговора.

— Не секрет.

И он принялся называть мне какие-то неизвестные мне имена продавцов и перекупщиков, упоминая при этом такие цены, что реальная потребность в этом знании у меня тут же пропала. Слишком невелика была родительская дотация. Хотя я продолжал изображать внимание и желание самому завязать все эти связи. При этом, храня собственную значительность, намекал, что и я не без такого рода знакомств. Наконец, он собрал свои книги в портфель, натянул перчатки и поднялся:

— Жаль прерывать беседу, но мне пора.

Встал и я. Проходя мимо прилавка, он еще раз с милой улыбкой поклонился продавщице, и она улыбнулась ему в ответ. Мы вышли вместе. Мне нравилась его непринужденная вежливость. Хотелось этому подражать. На улице уже стемнело и моросил еле заметный, но все же противный дождичек. Мы задержались под навесом у выхода: там еще было сухо и светло от магазинных окон.

— Вам в какую сторону? — обратился он ко мне.

Я сказал. Выяснилось, что нам не по пути. Тогда он, снова стянув перчатки и засунув их в карман плаща, достал из портфеля записную книжку и ручку:

— У вас телефон есть?

Я развел руками. Телефон у меня, конечно, был, но сообщить его даже понравившемуся мне незнакомцу я не осмелился.

— У меня, к моему величайшему сожалению, тоже отсутствует, — промолвил он. — В таком случае давайте хотя бы представимся.

— Борис, — с готовностью сказал я, протягивая руку.

— Викентий, — он задержал мою руку в своей. — Что ж, Борис, будем надеяться, что мы еще встретимся.

Из дверей выскользнул мужичонка с красными слезящими-ся глазками и, увидев Викентия, пробурчал что-то раздраженно-нелестное, но негромко. Затем втянув голову в плечи и прикрываясь от дождя маленькой папкой, поспешил направо — к выходу из переулка и автобусным остановкам. Я указал на него глазами Викентию, улыбаясь как сообщник — с чувством превосходства над убежавшим. Мой собеседник улыбнулся мне в ответ сквозь усы и бороду. Мы понимающе переглянулись и раскланялись. Так закончилась наша первая встреча.

\* \* \*

Начались занятия в университете. Неожиданно оказалось, что мы с Викентием однокурсники, хотя и в разных группах. Мы друга друга узнали. Завязывались знакомства на скорую руку, и атмосфера была, разумеется, такая, что все сразу стали на ты, не обращая



внимания на возраст. Хотя, впрочем, почти все оказались одногодками, кроме двух-трех человек, в том числе и Викентия. Он уже успел где-то поучиться, поработать, жениться и развестись, пока добрался до филологического.

Я Викентию обрадовался.

Он был старше меня, он был взрослый. А мне думалось, что за эти разделявшие нас восемь-девять лет человек может успеть невероятно много в области духа, в понимании принципов жизни и истории. То есть рационально я это не продумывал, просто был уверен, что к этому возрасту я уже Бог знает какие дела успею совершить: времени впереди — неограниченно. Какие же тайные знания хранил его ум?! Ибо тогда тайное и чудилось самым важным. Я почтительно слушал его, но держался поначалу замкнуто, опасаясь, что ему моя суть может показаться неглубокой. Но докапываться до нее он не собирался.

Встречая меня на *психодроме* — во дворике перед университетом (и осенью, и весной все тут торчали: зубрили, флиртовали и просто шалберничали), Викентий всегда поднимался со скамейки, чтобы его заметил, и взмахивал приветственно рукой:

— Борис!!

А когда я подходил ближе, стараясь держаться независимо и не показывать, что завидую старшекурсникам, запросто болтавшим и сидевшим в полубобинку с университетскими красотками, он подвигался, снимал свой огромный портфель, чтобы освободить мне место, и гудел сквозь бороду, ласково на меня поглядывая:

— Рад тебя приветствовать.

Я пожимал ему руку и садился рядом. Пусть все видят, что у меня есть взрослый друг, что у нас дела и что именно поэтому, а вовсе не потому, что стесняюсь, не обращаю я внимания на красоток. А тогда все виделись красотками. Но подойти познакомиться я робел. Мне казалось, что это слишком серьезно, что мужское желание пофлиртовать оскорбительно для женщины. Спустя несколько лет одна из тогда мною отмеченных симпатичных девиц говорила, слегка в нос и растягивая слова: «Ты на первом курсе ходил та-акой нетро-онутый». А я был серьезен, даже чересчур. И не просто по неопытности, но и по воспитанию, и по натуре.

Викентий тоже был серьезный, такой же. Мы беседовали только о книгах. Впрочем, можно ли назвать беседой такой диалог?..

— Достал что-нибудь новенького? — спрашивал я.

— А ты? — отвечал он вопросом на вопрос.

И мы принимались выгружать из портфелей свои находки.

Что ж, таковы были все наши разговоры. Но с ним у меня хоть общая тема нашлась, с другими же я поначалу не мог найти никакой темы, особенно с девушками. Однако, по правде сказать, такие отношения меня вполне тогда устраивали. Мне казалось, что видимость дружбы с взрослым и мне придает облик опытного в жизни человека. На какой-то момент выглядеть опытным стало для меня самым важным. Викентий тоже не делал попыток к подлинному дружескому сближению. Хотя инициатива, как я думал, должна от него исходить. Ведь он – старший.

Прошла неделя, затем другая. Нас в группе стали называть друзьями, корешами, соседями (мы и сидели на занятиях рядом). Я сейчас иногда не замечаю, как в пропасти времени исчезают неделя за неделей. Так всегда бывает при налаженном быте, стабильной работе, устоявшейся жизни. А в молодости недели тянутся как годы. В несколько дней складываются дружбы, определяется отношение к миру, к власти, к любви, причем полное и окончательное...

И через пару недель я решил выяснить с Викентием наши взаимоотношения. И вот почему.

Возникают вдруг в отношениях такие состояния, которые не выговариваются словами, но которые можно почувствовать. И вот я почувствовал – по той предупредительности, с какой он протягивал мне сигарету, по тому вниманию, с каким выслушивал мои реплики, – что он меня уважает, причем, похоже, всерьез уважает. Для подростка, перерастающего в юношу, это и лестно, и удивительно, что взрослый заметил в тебе Другого, да еще и равного себе. Пару раз в аудитории, похлопывая меня по плечу, он гудел сквозь усы в присутствии наших сокурсников: «Ну, старик у нас – выдающийся человек!» Гудел как бы с некоторой иронией, но иронией ласковой, той, которая звучит не издевательски, а подчеркивает прямой смысл высказывания. И мне стало хоть и лестно, но одновременно немного неспокойно. Что я ему!..

Конечно, самомнение у меня тогда было юношески титаническое, и духовный свой мир я ценил весьма высоко. Разумеется, я считал себя предназначенным нечто совершить, изо всех сил читал, вел записную книжку, писал рассказы и даже задумал сатирическую повесть о школе. Причем, надо добавить, что школу я понимал как микромир, в котором отражается все наше общество...

Но он-то ничего такого про меня не знал. А – уважал.

Года два спустя, уже подначитанный в «самиздате» и «тамиздате», наслушавшись разговоров, я мог бы подумать, что он не случайно мной интересуется, что вполне может, если и не служить, то, во всяком случае, информировать о настроениях кого надо.

Хотя правильно, что не подумал. Какой от меня мог быть интерес и информация! А завербовать? Но я был настолько молодой лопух, щенок, что даже и не понял бы, о чем речь, а поняв, мог обрушить всю силу молодой порядочности на вербовщика. Нет, такой идиот никому не был нужен.

\* \* \*

Сейчас, когда я восстанавливаю всю последовательность наших встреч и бесед, мне трудно припомнить, что меня подтолкнуло затеять тот нелепый, мучительно неловкий для меня самого разговор. Но тогда, значит, мне казалось это возможным, раз я решился, несмотря на мою скованность и замкнутость.

В университет я пришел минут за пятнадцать-двадцать до занятий, зная, что Викентий обычно приходит пораньше, посидеть на психодромном дворике, благодушно покуривая сигарету и полуприкрыв глаза, расслабиться и помедитировать.

Как я и ожидал, Викентий сидел на скамейке, из-за окладистой своей бороды казавшийся мрачноватым, но я готов был открыть ему душу, понимая, что мрачноватость — это так, чисто внешнее. Он, конечно, курил. Рядом с ним суетился то садясь, то вскакивая тонконогий и тонкошей поэт с третьего курса (он сам нам представился поэтом; явился к первокурсникам и представился так, а в доказательство развернул рулон стенгазеты и страничку «Алый парус» из какой-то молодежной газеты, где было напечатано его стихотворение). Курящих девиц на скамейках не было: все же в начале октября утра уже прохладные. А потому свеженькие и раздумавшиеся красавицы пробегали прямо в здание, чтобы наникотиниться на черной лестнице между вторым и третьим этажами. Двое старшекурсников гоняли по двору вокруг клумбы теннисный мячик, смеясь и отпихивая друг друга руками. Я не стал подходить, ожидая, пока уйдет поэт, все не решавшийся прервать неторопливую речь Викентия. Наконец, не выдержав, он вскочил и, как-то задом отступая, почему-то хихикнул:

— Ну, мне пора, а то еще опоздаю!..

Поэт, несмотря на свою поэтичность, ходил в отличниках. Провожая взглядом сбежавшего собеседника, Викентий поднял голову, увидел меня, стоящего у ворот в ожидании, приподнялся и помахал рукой. Около него как всегда мостился его огромный желтокожий портфель. Я почему-то инстинктивно сел так, чтобы баул этот нас разделял. Викентий достал пачку «ВТ» — модных тогда болгарских сигарет — и, встряхнув, протянул мне высунувшиеся из пачки белые палочки с коричневатым фильтром. Сигарету я взял, хотя

собирался не только открыть всю душу, но и выяснить всю правду, что, по студенческим понятиям, могло привести к разрыву отношений. И сделать так, чтобы он «не ушел от серьезного разговора».

– Ну, Борис, – приветствовал он меня, добродушно улыбаясь и расстегивая свой портфель, – могу показать кое-что интересное.

Понятно, что надо было как-то обозначить не накатанную, а новую тему разговора, а то обсуждение книг увлечет нас... Поэтому, взяв в руки томик Станислава Лема «Охота на Сэтва», листая его, но показывая, что листаю машинально и принужденно, что голова другим занята, я выдал из себя заготовленную фразу:

– Вишка! – как можно судить по употребленному мною сокращению его имени, мы уже явно сблизились. – Я хотел бы поговорить с тобой серьезно и по душам. Ты не возражаешь?

Удивленный, он глянул на меня исподлобья, недоуменно, приостановив беседу о книгах, как останавливается по окрику тренера спортсмен, уже начавший свой разбег, ему трудно, но он замирает в движении, потому что полностью владеет собой. Так и Викентий молвил с готовностью:

– Безусловно не возражаю. Отчего не поговорить, если тебе это надо?..

Не смотря в его сторону, я с трудом, но отчетливо выговорил:

– Скажи, Вишка, пожалуйста, у нас с тобой нет случайно общих знакомых? Или таких, которых бы я не знал, но которые меня знают? Припомни, пожалуйста.

Когда я перебирал в уме логику наших отношений, одно из предположений было, что он знаком с кем-то из друзей моих родителей, которые и наговорили про меня много лестного. Я поднял голову. Викентий сидел, держа в руках возвращенный мною томик Лема и положив ногу на ногу, покачивал своим тяжелым башмаком. Поглаживая рукой бороду, он шурился, явно не очень понимая, чего я от него жду.

– Нет, безусловно не припоминаю.

Время бежало, я с трудом тянул из себя слова, но он терпеливо отвечал на мои вопросы, сам не забегая вперед и контрвопросов не задавая, разве что время от времени с тоской поглядывая на свой открытый и набитый книгами портфель. Но я даже немного разозлился. Ведь книги – не идолы и мы не идолопоклонники, чтоб совершать каждый раз ритуальный танец вокруг них. Ведь книги для того, чтобы мы сами учились думать и сами писать... И тогда я спросил последнее:

– Не думаешь ли ты, что я пишу?.. Прости за нескромность, но я очень прошу тебя ответить. Для меня это важно. И вовсе не так

нелепо, как кажется, — видимо, ждал я реакции удивления, любопытства, может, жаждал даже расспросов и признания, раз говорил такое, хотя ощущал всю неловкость и нелепость разговора. — Так не думаешь ли ты?.. Конечно, сейчас все пишут. Но я уж во всяком случае не поэт..

Последней фразой попытался я придать шутливость некую и обыденность теме разговора. Но в этом и не было особой нужды. Викентий не собирался воспарять за мной, предпочитая (сознательно или инстинктивно) дружески-нейтральный тон. Благожелательный, но сдержанный, он гудел:

— Безусловно даже не думал об этом.

— Ну а последний вопрос... Как говорят алкаши, ведь ты меня уважаешь? Разве нет?

— Что за нелепый вопрос! Конечно, уважаю. Почему я должен тебя не уважать?

Я посмотрел на часы. Разговор занял не больше десяти минут, хотя сошел с меня не один пот. Я не знал, как себя вести дальше, полагая, что Викентий испытывает ту же неловкость, что и я. Не мог же истинный смысл моих вопросов не дойти до него! Не мог же он просто-напросто, как кибернетическая машина из рассказов Лема, буквально сообщать ответы на заданные вопросы, без тени волнения говоря о своем представлении (вернее, непредставлении) обо мне? Ласково улыбнувшись, словно почувствовав смуту в моей голове, Викентий внезапно сказал:

— Ну, Борюшка, это все, что ты хотел у меня узнать?

— Все. — Тогда, — он тоже глянул на часы, — раз у нас пока еще есть время, позволь показать тебе еще кое-что.

И он пошире раскрыл свой желтокожий портфель.

«Что же это? — думал я, не вслушиваясь больше в его слова. — На самом деле, он совсем равнодушен ко мне. Я как Я ему не интересен. Он просто не замечает меня как личность... Как того дядечку с красными глазами и длинным острым носиком... Он ведь его бы и вообще не заметил, если б я не указал на него глазами... Что это я сочинил, что это мне в ум взбрело насчет уважения?»

Весь день — на лекциях, после лекций — я все думал, размышлял о нашем разговоре, почему-то все сравнивая себя с тем дядечкой из магазина. Хотя ведь нельзя сказать, что Викентий отнесся к нам сразу одинаково, — напротив. На того он вовсе не обратил внимания, меня же сразу приметил, выделил, захотел познакомиться... Однако что-то общее в его отношении к нам я чувствовал... Но что? Что? И вместе с тем разница очевидна. Мы ведь явно с первого раза заинтересовали друг друга...

Так я тогда и не понял, в чем тут дело, и, решив, что у него ко мне всего-навсего взрослая снисходительность, стал отдаляться от Викентия. Потом он перевелся на вечернее отделение, мы стали само собой встречаться реже, и вот уже вскоре раскланивались как люди малознакомые и не очень желающие общаться. Похоже, что из-за моей мнительности сошла на нет намечавшаяся дружба.

Задним числом всегда легче понимать. И сейчас мне кажется, что он и вправду уважал меня. *Как библиофил библиофила.* И, право, это не самое плохое, что может быть в жизни.

*1969, 2006*

# Язычица

*Посвящается Дагмар*

**П**очему меня все время тянет к воспоминаниям детства? И дело тут не только в уже ошутимо приблизившейся старости. Не в ностальгии по прошедшей свежести и непорочности. Просто в случайных детских эпизодах, встречах, событиях нахожу я теперь некие символы, могущие если и не объяснить, то хотя бы дать намек на разгадку нашей посконно-домотканой культуры да и всей нашей — с постоянно меняющимися смыслами — вывернутой наизнанку жизни.

Я вспоминаю, как мы с Танькой Саловой, девчонкой годом меня старше (а мне уже девять), укрылись в кустах поспевшей черной смородины и дергали потихоньку одну ягодку за другой. Маленький садик ее и дом были окружены забором. Перед калиткой рос огромный дуб, как страж разделявший наш двор, где два пятиэтажных каменных профессорских дома, и ее дворик и домик — деревянный, с мезонином, уцелевший от окраинной, околичной Москвы. Когда я читал: «У лукоморья дуб зеленый...», я почему-то всегда именно это дерево воображал.

Около дуба, на нашей территории, стояло одноэтажное и тоже деревянное, белого цвета домоуправление, состоявшее из двух частей: в одной конторская комната, где днем сидел домоуправ Сенаторов (подлинная фамилия — не сочиняю), в другой — дворничье жаркое, пропахшее потом и стружками жильё. Там ютился дворник Иван, перебравшийся год назад в Москву из Иваново-Вознесенска. Был он высок, силен, молчалив, постоянный трудяга. Он столярничал по жильцам, потом заменил и вечно пьяного слесаря Ваську, благородно оставив его при себе как помощника. Не пил, не курил. Нрав имел твердый, строгий. Все, что обещал, выполнял. Скажем, нам он сделал во всю стену книжные полки для двух комнат: аккуратно, в срок и дешево. С собой он привез жену и дочь, живших вместе с ним в дворничьей. Обе некрасивые, бесфигурные, мучнистого цвета, лица одутловатые, с маленькими глазками. Жена его ходила, выпятив вперед грудь и живот, подпо-

ясываясь почему-то веревкой. Дочку звали Матрешей. Профессорские дочери и внучки в свой круг ее не впускали, но и околичные девчонки, вроде моей Таньки, тоже с ней не водились. Она держалась особняком, замкнуто, а оттого казалась еще большей уродиной, юродом — так я переименовал слово юродивая, которым назвала Матрешу Танькина мама. Губастая, неуклюжая, косолапая, Матреша выглядела придурковатой. При этом к Ивану все относились хорошо, особенно в нашем доме. Его работоспособность и услужливость позволяли профессорам наших домов, соединенных густой липовой аллеей, чувствовать себя как бы жильцами барско-профессорской усадьбы, опекаемыми верным слугой, вроде глухонемого Герасима из тургеневской «Муму».

Мы сидели с Танькой, потихоньку поедая смородину, и ждали, когда нас кликнет ее мать — есть оладьи. Дверь в ее домик была открыта, помещение начиналось с кухни, и оттуда доносились вкусные запахи стряпни. Печка там всегда топилась, и казалось мне, что там всегда — тепло, уютно, домовито. Как и должно быть у русских людей. Круглолицей Танькиной матери нравилось, даже было лестно, как я теперь понимаю, что с ее дочерью дружит скромный мальчик из профессорской семьи. А я не то чтобы стеснялся своего профессорского происхождения, но быть простым русским человеком мне тогда казалось самым почетным званием. Ведь с конца сороковых радио целый день говорило, что простой русский человек — опора, свет и будущее всего мира. Неужели же дети не слышат радио?! Еще как! И воспринимают все произносимые слова как правду-истину. Были и враги, *не наши*. Их было много, все злобные и черные. Зато понятие «наши» сливалось для меня в нечто каратаевски круглое и незамысловатое. В готовность быть таким как все и без колебаний пожертвовать собой по первому же призыву. В тот год — кажется, тысяча девятьсот пятьдесят четвертый — по радио часто передавали песню, как «врагу не сдастся наш гордый “Варяг”, пощады никто не желает». Не имея слуха, я тем не менее песню эту любил и все время пел, даже при посторонних, испытывая глубокие патриотические чувства. Танькин отец, бывший моряк, тоже привечавший меня, дал мне прозвище «крейсер “Варяг”». «А вот и крейсер “Варяг” к нам идет, — слышал я, когда переступал их порог. — Давай, не топчись, швартуйся». А Танька любила слушать мои истории. Я много читал, а она не очень. И я с восторгом плел затейливые пересказы разных книг, ощущая самого себя чрезвычайно благородным в эти моменты: ибо всегда был на стороне «наших» — восставших крестьян, шиллеровских разбойников, красных бойцов или краснокожих индейцев. Брат



Таньки, Толик, работал на заводе, то есть тоже был тем, кем надо. Как несложно сообразить, ни черта я в жизни не понимал, не видел, но зато был архетипичен донельзя.

Я с упоением слушал рассуждения Танькиной матери о предметах: чего можно, чего нельзя делать — и почему. И принимал все всерьез: Саловы верят, значит, кроме книжного, есть и другое знание о том, как вести себя, истинное, ибо народное. А Танька и Танькины родители были вполне суеверны: чуть что — плевали через левое плечо; говорили «чур меня»; рассыпав соль, боялись ссоры; боялись пустых ведер навстречу; из-за черного кота могли пойти другой улицей; споткнувшись, стучали кулак о кулак — сверху, снизу, сверху; Таньку раз побили, когда она зеркало расколотила; зато разбитое блюдце или чашка не наказывались — на счастье. Рассказывали жутковатые истории про людей, не остерегшихся примет. Но передо мной словно бы и извинялись: «Мы люди простые, со старины в это верим, а уж вы теперь ученые, можете и посмеяться. Толик вон мой — смеется. На заводе ума набрался», — улыбалась круглолицая, вся в ямочках, Танькина мать.

Одно было странно — Танька не желала дружить с Матрешей. Матреша была, конечно, некрасивой, но тоже из простых, то есть *наша*. А Танька ее не любила. И сидя в кустах смородины, объев следующую гроздь и ожидая оладьев, она на мое высказанное не помню уже почему недоумение вдруг просто сказала:

— Ее убить надо. Один раз девочки ее чуть не поколотили. Ей-Богу, не вру! Она только от них успела на дуб залезть. Она часто на нем сидит, все что-то высматривает и колдует там. Она в Бога верит. Так все девочки считают. А раз веришь, то в церковь ходи. Вот моя тетя Клаша каждое воскресенье Николаю Угоднику свечку ставит. Чтоб от нечистой силы избавил. А Матрешку там ни разу не видела. Она знаешь кто? Она — *язычница!* Вот кто! Честное пионерское.

Таньку уже приняли в пионеры, и она этим гордилась.

Я недоверчиво посмотрел на нее. Вернее, изобразил недоверчивость, потому что совершенно не понимал значения слова «язычница». Но признаваться в этом не хотел.

— С чего ты взяла? — возразил как знающий. Мне одно было только ясно: что быть язычницей плохо, это вроде как быть врагом, *не нашим*.

— Хочешь, красным галстуком поклянусь? — быстро опровергла меня подружка. — Гляди, клянусь: делом пионерии, делом комсомолии, делом партии. — Надо сказать, она всюду носила, еще важничая новым своим статусом, красный галстук, а тут быстро его

сняла, поцеловав по очереди: короткий и тонкий лоскут — за пионерку, длинный — за комсомолию, а задний, широкий — за дело партии. — Уж теперь-то веришь? — воскликнула она.

— Верю, — согласился я. Мне ничего другого и не оставалось. Уж страшнее этой клятвы Танька не могла и придумать. Она стояла всех других заклятий!

— Да и мать у нее — мордовка. А мордовки, они все такие — деревьям поклоняются. Ей-Богу, не вру. И в пионерки Матрешка не поступает. Ей мать не велит.

Про мордовку я тоже ничего не понимал. Что за название чудное Танька выдумала? Мордой, что ли, Матрешкину мать обзывает? То, что слово это от «морды» происходит, я не сомневался, хотя и чудился мне в нем национальный оттенок: мол, мордовка, не русская. Или это я потом понял? Когда в пионерлагере, через год примерно, услышал про одну деревенскую бабку, которую все недолюбливали: «Да она мордовка, вроде еврейки». А тогда я связал слово про мордовку и язычницу, что как будто у них с лицом у обеих не в порядке.

— Они кустам молятся, и в Бога верят, — продолжала Танька. — Ей-Богу. Потому Матрешка и на дерево всегда лазит, чтобы повыше быть и Бога высматривать. Что, не веришь? Честное пионерское! Глянь,- вдруг обрадовалась моя юная наставница жизни, — вон она опять на дубе сидит!

И крикнула:

— Язычница! Язычница! Чтоб тебе с дерева свалиться и насмерть разбиться!

В ответ Матрешка высунула толстый язык, но ничего не сказала, только плюнула, но не в нас, а так просто, на землю; мол, она нас несколько не боится.

Надо сказать, на этот громадный, почти сказочный в своей развесистости дуб и я любил лазить. Часто сидел там меж ветвей, наблюдал, как проходят с нашего двора люди мимо забора Танькиного дома к утопанной широкой дороге, за которой располагались футбольное поле, горка, с которой зимой катались мы на санках и лыжах, мелкий пруд (где летом «большие ребята» купались, флиртовали, а иногда топили кошек) да маленький лесок за прудом. В этих метях господствовала и бушевала шпана. Позднее лесок благоустроили и превратили в парк «Дубки»: школьникам при его разбивке тоже пришлось побатрачить. Дуб возвышался над всеми мирами, но был и пограничным указателем, ибо от него расходились разные дороги — и в профессорскую жизнь, и в тихую Танькину, и в юродивую Матрешкину, и в жизнь уличной шпаны. А имя

Матрешка показалось мне вдруг забавным. Так ведь куколок зовут, где одну откроешь, а там другая, эту откроешь, а там новая — потрудиться надо, пока до сути дойдешь. И куколок своих тряпичных девочки тогда тоже Матрешками звали.

Но я готов был вместе с Танькой ненавидеть эту Матрешку: ведь она была язычница, то есть чужая.

Шипнув, изогнув спину и хвост, обежала стороной дуб Танькина серая кошка и нырнула в открытую дверь домика, откуда доносились вкусные запахи.

— Вот и кошка наша ее боится, стороной обходит, — кивнула головой моя собеседница. — А домой бежит, жрать хочет. Чувствует, что мать стряпню развернула. А язычнице на дубе хоть бы хны. Сидит и дразнится. Право слово, колдунья какая-то. Она иногда про такие чудеса болтает, что хоть уши затыкай. Ты ее спроси: она не стесняется все это рассказывать.

Но я отрицательно помотал головой. Показалось, что если буду расспрашивать, будто к прокаженному подойду. Ведь с насмешкой я не смогу, а значит поневоле буду всерьез прислушиваться: а так и заразиться недолго.

— Да ну ее, — сказал я.

— А ты не бойся, — утешила меня Танька. — Подойди, послушай, а потом и отбеги. Она и не успеет тебя заколдовать. А хочешь, вместе ее как-нибудь подловим и все выпросим?

Этот вариант меня больше устаивал. Когда вдвоем, то можно самому как бы и не вступать в сомнительный контакт, со стороны просто слушать. Но все же я не зря читал гуманистические книжки, поэтому искал жалких оправданий Матрешке:

— Но Иван-то, ее отец, хороший, рукодельный.

Ответ был неотразим:

— А зачем тогда на мордовке женился?

Я еще раз вспомнил одутловатое лицо его жены. Что ж, при желании его можно было назвать мордой, несмотря на ярко-синие ее глаза, а саму ее мордовкой. Но это уж кому как повезет — тот на том и женится.

— Эй, язычница! — крикнула Танька. — Слезай, поговорить надо. Да не бойся ты! Драться не будем.

Но Матрешка сидела на ветке, не двигаясь. Только снова высунула толстый язык, показывая, что не слезет.

— Давай, — предложила тогда Танька, — комьев земли наберем и ее оттуда сшибем, раз она *по-доброму* не хочет..

И она сразу принялась собирать комья земли — посуше и потверже. Я не решался ее остановить: ведь мы с ней дружили. К мо-

ему облегчению, Танькина мать тут крикнула, что оладьи готовы и можно идти за стол. Танька кучкой уложила собранные земляные комки и пообещала Матрешке:

– Погоди, мы еще до тебя доберемся!

Мы вошли в дом. Ели у Саловых в следующей за кухней комнате. Здесь же, за обеденным столом, Танька делала уроки, и спала тут же, на лежанке в углу. Усатый Евдоким Матвеевич, Танькин отец, уже сидел перед пустой тарелкой – в своем потертом и засаленном фланелевом матросском бушлате. Он никому не давал забывать о своем морском прошлом. Служил на флоте простым матросом, никакого звания не выслужил, и потому говорил, что любой капитан, любой старпом, любой мичман и любой боцман без матроса не более чем дырка от спасательного круга. Это я хорошо понимал и полностью был согласен, что без простого русского человека (чем проще, тем лучше) никакое дело сделаться не может. Так и тут. Капитан ведь только приказы отдает, а дело делает, конечно же, матрос. А Евдоким Матвеевич и в домашней жизни не рвался на командные места.

Нина Петровна внесла миску, накрытую тарелкой, поставила на стол, рядом – широкогорлый горшочек с растопленным маслом, куда полагалось макать оладьи, и без того жирные. В комнате сразу запахло тяжелой сытостью. А клеенка на столе была в цветочек и чистая, но я сразу вообразил, какие сальные пятна останутся на ней после нашего пиршества. Впрочем, клеенка – не скатерть: протер, и дело с концом.

– Вы ешьте, сейчас уже другую принесу, там теста совсем мало осталось, – сказала Танькина мать.

– Да мы хозяйку подождем, – возразил отец.

– Ешьте лучше, а то остынут, я сейчас с вами сяду. – Нина Петровна говорила, держа открытой дверь на кухню, и оттуда тянулся характерный запах нерафинированного подсолнечного масла, на котором жарились оладьи.

– Ну тогда ладно, раз главное командование приказало, наше дело исполнить приказ как следует. Не подкачать, – и Танькин отец снял с миски тарелку, взял рукой верхнюю подрумяненную оладушку, обмакнул в растопленное масло, поднес ко рту и кивком предложил нам «действовать так же». Вообще мне показалось, что Евдоким Матвеевич и Нина Петровна жили – не тужили, друг друга поддерживали и вроде бы совсем не ссорились.

– А Матрешка опять на дереве сидит, – успела вдогон матери выкрикнуть Танька.

– Ох уж эта мордовкина дочь! – с какой-то даже ласковой укоризной буркнула Нина Петровна. – Сломит она как-нибудь себе шею.

И скрылась на кухне. А мы принялись за еду. И хотя перед каждым стояла тарелка, но пока оладья плыла в руке от горшочка ко рту, склоненному над тарелкой, следы масляных капель отмечали ее путь. Вилки и ножи в данном случае в Танькином доме не полагались. Но оладьи — пища тяжелая, требуют горячего чая. И Нина Петровна через пару минут принесла не новую миску, а уже запотевший от пара заварочный чайник и большой чайник с кипятком, поместив их на деревянные дощечки, всегда использовавшиеся как подставки. Затем из застекленной части серванта достала чашки с блюдцами и чайные ложечки, а из его же закрытой части — банку смородинового варенья. Кто хотел, мог теперь класть на оладью варенье, прихлебывая из чашки.

Но вот и вторая миска, и Нина Петровна села рядом с мужем, напротив нас, и тоже приступила к трапезе. На секунду лишь прервала ее чавканье вопросом Евдоким Матвеевич:

— А Толику, когда придет?..

— Я ему в духовке оставила, — ответила Танькина мать, вытирая рот и руки кухонным фартуком.

Никаких серьезных, тем более политических разговоров, как у нас дома, здесь за едой не велось. Слишком это было важное занятие. Но Танька уже насытилась, а потому влезла с репликой:

— А мы с ним, — кивая на меня, — язычницу хотим отловить!..

— Лучше бы не связывались вы с ней. Шли бы стороной мимо, — вздохнула Танькина мать. — Добра не будет от этого. А то и порчу какую наведет, — она боязливо вздрогнула. — врать не буду, а слыхала, что с такой же вот, как ваша Матрешка, дети связались, поколотили маленько, ну, пошалить вздумали, а потом у одного рука отсохла, другой зайкой стал, третий вообще окривел, а четвертый перед машиной перебежал, поскользнулся, ему обе ноги и отрезало...

Мы притихли.

— Слушай мать, дурного не посоветует, — сурово тогда сказал Таньке Евдоким Матвеевич.

Но мы все же подловили ее на другой день.

Мы пускали с Танькой щепки, как кораблики, в образовавшейся после ночного дождя большой луже на солнечной, торцевой стороне нашего пятиэтажного дома. Солнце пригревало, настроение у нас было чудесное, и мы, находя все новые и новые щепки, бегали вокруг лужи, спотыкаясь о рытвины, переговаривались деловито, не кричали. У нас шел морской бой. Мой крейсер «Варяг» уже миновал без потерь несколько минных полей, и разрывы бомб, то есть комки земли, бросаемые Танькой, только ускоряли его ход.

В поисках комка поувесистей, чтобы уж наверняка покорежить мое судно, она сунулась было на теневую сторону нашего дома — когда-то фасадную. Но теперь вход был со двора, газончик перед парадными подъездами зарос бурьяном и лопухами, асфальт растрескался, а парадные двери были заколочены досками, да и изнутри подъездов в ручки дверей были продеты толстые палки. С этой стороны дом словно бы забаррикадировался. И доски набивал, и палки вставлял Иван по приказу домоуправа Сенаторова. Слишком близко подходила эта сторона дома к трамвайной линии, вдоль которой еще полно было бараков, да и не просматривалась никем, не то что подъезды со стороны двора, где вечно сидели люди. И кого-то из жильцов дома — сообщало местное предание — как раз на парадном крыльце и ограбили. Как и все в России, и это было вывернуто наизнанку: не двор, а парадный подъезд — опасное место. А уж потом туда и вправду стала забредать шпана — перекинуться в картишки на ступенчатых крылечках пустующих подъездов. Туда-то и ринулась Танька, но вдруг так быстро скакнула назад, как будто наткнулась на что-то опасное.

Она предупредила мой вопрос-вскрик, приложив палец к губам, подмигнула, блестя своими круглыми коричневыми глазами, — вся такая круглолицая, сильная, коренастая. И зашептала:

— Там Матрешка сидит на крыльце. В ближнем подъезде. Давай тихонько подкрадемся. Она сидит и чего-то пальцем по ступеньке водит, дура такая ненормальная. Только надо так подойти, чтоб к дубу ей от нас не утечь. А то сбежит, влезет! Поговори тогда с ней, порасспрашивай. Язык будет казать — и все. Только на нем ее тогда и не достанешь. Надо с двух сторон зайти. Ты иди с той, что вокруг дома, а я с этой, ближе к дубу. Видишь, здесь и в домоуправление дверь открыта, она и сюда может шмыгнуть, — мы играли как раз между нашим домом и домоуправлением. — Тебе отсюда нельзя идти. Ты робкий и мягкий, наверняка ее упустишь, сжалишься. Ну ты иди, тебе дальше идти. А я здесь у угла притаюсь. Как увижу, что ты уже по той стороне идешь, мигом выскочу — и к ней. Тебя-то, если даже увидит, она не испугается, так и будет сидеть.

Ноги не очень слушались. Казалось, все на меня оглядываются. Чего это, мол, я вокруг дома бегу. Что сказать? Что охочусь, как дикий индеец, на глупую девчонку? Глупо. Но никто не спросил. Зато по пустынной стороне дома, по необжитому пространству оказалось идти труднее, ибо жутковато. Все же я немало наслушался разных сказочных историй: и от Таньки Саловой, да и от других. Не как сказок, а как того, что и сейчас в жизни бывает. Скажем, в подвале нашего дома запросто могли жить не то домовники, не то

домовые, не то домушники. Вдоль растрескавшейся асфальтовой дорожки — подлопушники и подасфальтники, которые норуют, если оступишься, тебя за ногу дернуть — так что упадешь и нос расшибешь. А думать будешь, что сам споткнулся. В кустах, отгораживавших газон от трамвайной линии, таились фиги-шишиги. А еще из пустых подъездов способны были выскочить *пустотницы* — обволочь тебя пустотой, утянуть к себе, так что сам пустотой станешь. И семь лет надо на них отработать, семь человек в пустоту обратиться, чтоб себе прежний облик вернуть. Конечно, я знал, что все это сказки, но одновременно тайная вера в них меня не покидала.

Но вот я уже заметил Матрешкины — в резиновых черных ботах — вытянутые ноги, торчащие с крыльца. Сама она еще была скрыта в проеме подъезда. Затем углядел высывавшуюся из-за угла круглую Танькину рожицу, которая моргала мне глазами, предлагая ускорить шаг. И чуть я приблизился к нужному месту, как Танька стремглав бросилась ко мне. И мы оба стали по обеим сторонам Матрешки упершись в нее глазами.

— Думала, не подловим? — торжествовала Танька. — Ничего, подловили. Признавайся теперь, что в Бога веришь! И расскажи-ка нам, какой он такой — кудрявый или бородатый с рогами?

Матрешка судорожно вертела глазами по сторонам, на ее одутловатом лице было выражение беззащитности и тревоги. Но, быстро сообразив, что ей не вырваться, ответила, как мне показалось, заносчиво, при этом плохо ворочая во рту толстым языком:

— А Бог он один и есть. Безо всяких рогов. Рога только у черта бывают. Бог один и един в трех лицах: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. А Сын Божий — он еще Богочеловек, Христос-искупитель. Он все грехи человеческие на себя взял, чтоб род человеческий от геенны огненной спасти.

Понимала ли тогда Матрешка, что она говорит, — не знаю. Но мы точно ничего не понимали.

— Один — в трех лицах! Представляешь? — захохотала Танька. — Это он получается как трехголовое чудище — вот как! Попробуй-ка теперь отрицать, что ты язычница! Язычница и есть! И в церковь не ходишь, и в пионерки поэтому не вступаешь, — сурово прикрикнула на Матрешку Танька.

— А вот и не язычница!

— А кто же ты тогда такая? Скажешь, может, что и на облаке никого не видела? Ты Полосиной рассказала, а она мне.

— Ну и видела! — вдруг обозлилась Матрешка. — Вам такого никогда не увидеть! У вас сердца каменные, даже у тех, кто в церковь ходит, без истинной веры. А я видела, как облако плыло — я высоко

тогда на дубе сидела — белое, большое и словно на нем одинокий крест стоит и весь светится. И вдруг рядом поднялась Мария-Дева с младенчиком Христом на руках. Как раз со светящимся крестом.

Букву «х» Матрешка выговаривала как «к», что внесло окончательную путаницу в мозги: «с младенчиком Крестом возле креста». Ничего непонятно, ведь «е» и «и» тоже похоже звучат. А Матрешка вещала, чувствуя нашу растерянность:

— И Дева Мария сказала, что истинно верующие могут в нашу церковь не ходить, потому что она всегда с теми, кто нарушает закон Божий. Но что таких страшных войн, как эта, больше не будет до конца века, а потом только наступит светопреставление. Зато праведники всенепременно спасутся.

— А ты-то праведница, что ли? — перебила ее Танька.

— Конечно, праведница.

— А вот я тебя сейчас побую!

Но Матрешка неожиданно очень ловко подсекла своей ботой Таньку под коленкой, так что та присела, опершись рукой об асфальт, а сама бросилась бежать. Но не к дубу, а нырнула в домоуправление, в свою дворницкую, под родительскую защиту.

— К матери побежала, к мордовке, — хмуро сказала Танька. — Жаловаться на нас будет. А Иван, ее отец, к Сенаторову пойдет. Ивана сейчас все любят. Попасть нам может. Пойдем отсюда. А если что — скажем, что Матрешка все наврала. Не приставали мы к ней. Понятно?

— Ага, понятно, — согласился я.

— Ладно. Может, пронесет. Может, и не наябедничает, — продолжала рассуждать Танька, пока мы уторопленными шагами перебирались в другой двор — за трамвайную линию. Будто мы там и играли все время. Тем более, что там и вправду была детская площадка с качелями, нами любимыми. — А ты спорил, не соглашался, — укоряла меня неизвестно за что Танька, видимо, чтоб себе разрядку дать. — Говорил, что она не язычница. Видишь теперь? Послушал ее? Самая настоящая язычница и есть.

А я туповато думал, что ни про какой язык Матрешка не говорила, разве что у самой он очень толстый и еле во рту ворочается. Наверно, за это девчонки ее и не любят и такое прозвище дали, чтобы свое плохое к ней отношение показать. Ведь Матрешка была «чужая», а чужих дразнят, с ними не играют и всяческие обидные слова говорят. Например, язычница.

*1995, Бохум, Германия*



## Черточка

**В** первом классе это было. В первый день. А может, и не в первый. Да, скорее всего, что не в первый. Буквы «по-письменному» уже начали проходить. Учились по прописям писать, и дошли они тогда как раз до буквы «Н» заглавной. Параллельно также учились читать, пока по складам.

А Петя буквы знал. И читать уже умел. До школы еще. Лидия Ивановна, учительница, этого не одобрила. Петя ее хорошо запомнил и всегда вспоминал, особенно когда среди фотографий находил одну, где с застывшими, напряженными лицами, с закрытыми глазами сидел первый класс, а впереди, опершись линейкой об учительский стол, длинная, худая и суховатая одновременно, в темной длинной юбке, жакете, волосы пучком, стояла Лидия Ивановна.

Лидия Ивановна зашла к ним домой еще до начала занятий. Она всегда, как потом он понял, перед первым сентября, заходя, обходила учеников по семьям, чтобы узнать быт и условия и познакомиться, кто из родителей может оказаться полезен школе. И к Петиным родителям пришла. Бабушка Роза была в санатории, и квартира без ее проникающего всюду голоса казалась огромной и пустой. Словно нарочно для приема гостей. Петя забыл, как Лидия Ивановна представлялась, как поначалу засуетились родители, но вот как она уже сидела на их старом залоснившемся диване, глядела на холодные, крашенные синей масляной краской стены, как вокруг нервничали родители, — вот с этого момента он уже кое-что помнил.

Правда, то, что говорили родители, он помнил хуже, он не на них смотрел. Родители были привычные и потому незаметные, были как бы частью его самого; отец, к примеру, открывал дверь в шлепанцах на босу ногу и в драной сетчатой рубашке, а мама была в домашней блузке с короткими рукавами и сарафане, и, пока не вошла Лидия Ивановна и не сняла светло-серого своего пальто, под которым оказался серый же чесучовый костюм с большими пуговицами на рукавах жакета, Петя даже не замечал, как оде-

ты родители. Петю посадили рядом с учительницей на диван. Она смотрела на Петю, последние дни дохаживавшего в коротких штанишках на ляпочках, а он, чувствуя на себе более пристальный, чем хотелось бы, взгляд, уставился в диван. Диван был семейный, очень старый, коричневого цвета, с темными разводами, многократно прописанный насквозь еще маленьким Петей, когда родители брали его к себе, чтоб он не орал. Петя вдруг испугался, что гостя догадается, откуда взялись эти разводы на диване. Давно уже родители говорили о покрывале, но как-то не доходили руки, а на новый диван денег все не было, все-таки «вчерашние студенты». Остальные вещи были хотя и старые, но добротные. Учительница вроде бы ничего такого не заметила.

– Румяный мальчик, здоровый. И хорошо упитанный, – это были первые ее слова, которые Петя запомнил.

На улице кто-то засмеялся, потом заплакал, а Андрюшка Мацкевич, живший в соседнем подъезде, закричал-запричитал: «А мне не бо-ольна, курица до-во-ольна!.. Э-э!..» Занавески в комнате не были задернуты, окна и балконная дверь открыты настежь, и в них виднелись еще и не начинавшие желтеть листья высоких деревьев, росших во дворе, теплый, вечерний воздух стоял в комнате, а вечернее солнце лежало на столе, на полу красноватыми пятнами и отблесками. Ощущение было почти дачное – уюта, спокойствия и благодушия.

– Петя уже читать умеет, – сказала мать, а отец укоризненно сделал строгий жест бровями, мол, зачем хвалишься. Но это он напрасно. Лидия Ивановна вовсе не обрадовалась, наоборот, неодобрительно покачала головой. Петя даже поразился, до чего точно это у нее получилось. Как у куклы. Именно так и надо было неодобрительно качать головой, выражая осуждающее недоумение. Сначала налево, потом слева направо, и снова справа налево, и уж затем только поглядеть ровно.

Покачавши головой, она сказала:

– Мне мыслится, напрасно до школы учить детей чему бы то ни было. Можете мне поверить, я уже больше тридцати лет в школе работаю. У меня уже бывали такие дети. В школе у них развивается самомнение и наплеватьство, и постепенно они приучаются не готовить домашние задания, не работать в классе, многие становятся даже двоечниками. Так что я этого одобрить не могу. – Она помолчала, а потом вдруг выкрикнула: – И начинают лгать! Лгут! Потому что невыученный урок – это ложь учителю! Когда ученик отвечает неправильно, значит, лжет. Знаете, сколько с ними терпения надо!

Мама с испугом посмотрела на Петю и побледнела. Посмотрела на папу и сказала ему таким голосом, словно всплеснула руками: — Я тебе говорила!

Лидия Ивановна сидела ровно посередине дивана, руки сложив на коленях, подобрав к дивану свои ноги в коричневых нитяных чулках, и зорко рассматривала комнату. Фотография Горького в рамочке, зеленая лампа, книжные шкафы, книги были все классиков, тяжелые тома, письменный стол, на нем фотография Петиного деда-профессора, чернильница и пресс-папье, — для Пети все это составляло естественную гармонию, незыблемый миропорядок, который чувствовал он сейчас обостренно, следя за взглядом будущей своей учительницы. Глаза ее напоминали Пете две дырки в стене от толстых гвоздей, черные и до жути неясные. Она вторглась к ним так внезапно, и теперь непонятно, осуждает она их за что-нибудь или просто у нее взгляд такой напряженный.

Мама стояла немного сбоку от нее, а папа сидел в углу комнаты на стуле, принагнувшись слегка вперед. И сказал, после слов Лидии Ивановны не сразу, но сказал, неловко и ненатурально улыбаясь:

— Ну ничего, он у нас мальчик с головой. Надеюсь, он вас не подведет. Мы за этим последим.

Мама тотчас подхватила упавшим голосом:

— Да-да, непременно. Уж вы не беспокойтесь. Мы за Петей обязательно проследим как следует.

И она взглянула на Петю так, что Лидия Ивановна не могла не поверить ей. Поэтому она благосклонно кивнула и, казалось бы, переменяла тему, да и тон смягчила.

— А ты что скажешь? — наклонилась она к Пете с улыбкой. — Надеюсь, ты мне будешь помощником.

— Я постараюсь, — сказал вежливый Петя. И тогда к родителям любезно:

— Я вижу, он у вас послушный и развитой мальчик. У меня такой еще один есть — Женя Чуркин.

— А кто он? — ревниво спросила мама.

— Это сын нашей учительницы. Хотя супруг ее и обучил мальчика до школы некоторым буквам. Тут она недоглядела немного, но, думаю, исправит положение. Она у нас уже восемнадцать лет работает, — все так же любезно пояснила Лидия Ивановна. — Очень опытный педагог!.. У меня у самой нет детей. Я имею в виду своих детей. Потому что в классе их у меня почти сорок человек. И так каждый год, и за всех отвечай! А если бы вы знали, как мало у нас развитых детей, развитых и послушных, какая это редкость! — по-

жаловалась она и опять головой покачала: налево, слева направо, справа налево и затем уже прямо голову поставила.

Лицо у папы от волнения сразу стало выглядеть как бы небритым. Мама подошла и присела на другой стул. А Петя, не очень разобравшись, обрадовался и почувствовал удовлетворение от своего явного превосходства над этим неизвестным ему Женькой Чуркиным: он же читать умел уже.

— Ну, всего хорошего, — неожиданно поднялась Лидия Ивановна, — очень приятно было с вами познакомиться. И с тобой тоже, — она потрепала рукой Петины волосы. Но была она чем-то явно недовольна.

— Нет, нет, что вы! — сорвались с места мама с папой. — А чай? Без чая мы вас не отпустим.

Родители принялись уговаривать ее: хотя бы чашечку, ведь это десять минут, не больше, и чайник уже закипел, и вообще они обидятся. И Петя голосом радушного хозяина приглашал ее к столу тоже. Ему в этом виделось установление с ней каких-то дружеских отношений. Он делал жесты гостеприимного хозяина, это взрослило его и было ему приятно. К тому же выступал он здесь не как ее ученик, а как сын таких же сильных и взрослых, как и она, — своих родителей. Хотя родители как-то тушевались, словно робели, заискивали перед ней почему-то. В комнате уже изрядно стемнело, Петя подошел к выключателю и зажег электричество. На улице сразу темнота сгустилась, а мама, не закрывая окон, задернула занавески

— Как же это мы не сообразили? — спохватился папа. — Сидим в темноте. Вы уж нас извините.

И словно включение электричества было самым веским доводом, Лидия Ивановна согласилась остаться на чашечку чая.

Совместное чаепитие со «взрослыми»! Вечером, за одним столом, когда ты почти равен им, сам наливаешь чай, кладешь сахар, участвуешь в общей беседе; и печенье на блюде горкой, и самое лучшее варенье, которое давно уже не вынималось, и, главное, разговоры, взрослые разговоры! Пока задергивались занавески, стол накрывался скатертью, расставлялась посуда (мама достала ради прихода такой гостьи старинный фарфоровый сервиз, привезенный бабушкой Розой еще из Аргентины), Петин папа рассеянно, по дороге, воткнул штепсель громкоговорителя в розетку (Петю название это каждый раз слегка удивляло: розетка ведь — для варенья), а Лидия Ивановна спросила Петю, чтобы заполнить время, но строго:

— Какую же ты книгу прочитал сам?

— «Три толстяка», — признался Петя, — и второй том Аркадия Гайдара тоже.

Помолчал, покраснел и прибавил:

— Гайдара я сейчас читаю, еще не прочитал.

Лидия Ивановна укоризненно покачала головой, но улыбаясь, и подняла палец указательный, призывая прислушаться. По радио пели: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве».

Дослушав до конца, Лидия Ивановна медленно и со вздохом заключила, только родители вернулись в комнату:

— Очень красивая песня. И, главное, верная.

О чем за столом шла речь, Петя не помнил. Помнил только, что Лидия Ивановна сидела на их высоком, лоснившемся диване (лучше места в комнате не было), рядом сидел папа, ухаживал за ней, а они с мамой на стульях. Балкон был открыт. Было празднично, жарко, и Петя радовался. Да и старинный фарфоровый сервиз, «единственная, как мама говорила, ценная вещь в доме», доставался лишь по большим торжествам. Лидия Ивановна держалась очень прямо, чопорно, локти на стол не ставила, из блюдца не пила и поднимала чашечку, отставив в сторону мизинец. С нижнего этажа очень явственно доносились голоса: соседи пили чай на балконе.

Потом провожали ее до двери, приглашали заходить, как будто и впрямь между ними возможна была дружба. Отец подал ей ее серое летнее габардиновое пальто с двумя большими прямыми карманами. Она повязала косынку, простилась с родителями и сказала, протянув руку Пете:

— Ну, надеюсь, мы с тобой будем друзьями. Обещаешь?

Петя потупился от смущенья и промычал, пожимая ей руку «мужским пожатием»:

— Обещаю.

Лидия Ивановна пошла к двери, которую уже приоткрыл Петин отец, ожидая, чтобы пойти проводить Петину учительницу. Но она вдруг остановилась, снова повернулась к Пете, взяла его за плечо, поставила перед собой и сказала:

— Я, конечно, к тебе буду присматриваться, чтобы составить свое мнение. Мне это надо, потому что теперь ты будешь большую часть своей жизни проводить не дома, а в школе. И я буду тебя воспитывать столько же, сколько родители.

И долго объясняла, что он вступает в новую, самостоятельную уже жизнь, что отныне он сам несет ответственность за свои поступки, но что позор за его плохую успеваемость падет на родите-

лей, которые, значит, вложили в него неправильные задатки, что школа дает запас знаний на всю жизнь и поэтому важно не пропустить ни одного урока, поскольку все там важно, быть предельно внимательным, потому что из мелочей слагается большое, и т.д. И внушительным тоном закончила:

– Надеюсь, родителям за тебя краснеть не придется.

И вот они вышли, мама пошла мыть посуду, а Петя остался в полной тишине. Он разобрал свою постель, погасил свет и улегся. Он знал, что, когда он заснет, родители еще будут сидеть на кухне и обсуждать сегодняшний визит, но ему ничего не скажут, что они там порешили. Со двора доносился смех. Вернулись уже перед школой из пионерлагерей «большие ребята» и все вечера просиживали на скамейках в липовой аллейке, делившей двор на две равные части. Петя лежал тихо, делал вид, что засыпает. Глаза его были закрыты. Вошла шумно мама, но, увидев, что он спит, удалилась на цыпочках. С улицы слышались голоса, шаги, вскрикивания.

И в темноте, в тишине, в одиночестве, наедине сам с собой, Петя клялся не подвести родителей, оправдать их доверие. Он лежал в темноте, глаза уже немного к ней привыкли, да и сквозь занавески пробивался свет уличных фонарей, и мечтал, что все его будут любить, что он не сделает никогда никаких ошибок, потому что только внимательно надо слушать, что говорят люди, знающие, как этих ошибок избежать, и что, наверное, он будет отличником. С этим словом он не связывал тогда ничего, кроме желания быть хорошим и всеми любимым.

\* \* \*

Лидия Ивановна оказалась женщиной вспыльчивой. «Это какое же с вами надо терпение!» – постоянно кричала она, а иногда, самых строптивых, хлопала линейкой или указкой по пальцам; Васька Паухов как-то раз даже, правда, прикидываясь и юродствуя, от нее под парту полез прятаться.

Но на Петю она ни разу не прикрикнула; и ему казалось, что это не только оттого, что он старается и хорошо учится, но и оттого, что она была у них дома, дом его как бы защищает. Однако все так длилось до времени, до того дня, когда начали букву «Н» заглавную проходить. По-письменному. Конечно, не в первый день это было.

Шел второй урок. Ленивый Быстров дремал, Васька Паухов тихонько вырезал на парте длинное слово, кто что делал. Только Петя Востриков был весь внимание, да Женька Чуркин, у которого мать была учительницей и про которого Лидия Ивановна каждый день

все матери рассказывала. И все были убеждены, что Женьке лучше всех живется, потому что ему мать все подсказывает и помогает.

Итак, Лидия Ивановна написала заглавную «Н» на доске. Петя не очень помнил, сразу ли она велела Быстрову выйти и повторить рисунок или нет. Скорее, что сразу. Так по логике вещей получалось.

Быстров, сопя и вперевалочку, со своими вечно полуприкрытыми сонно глазами, вышел к доске и тоже написал «Н». Красиво написал. Что и говорит.

— Молодец, — суховато сказала Лидия Ивановна. Повернулась к классу и спросила:

— Но что, дети, он пропустил? Какой детали он не заметил, упустил? А ведь эта деталь есть в моей букве. Представляете, если рабочий на заводе, собирая машину, пропустит деталь, — ведь тогда получится что? Получится авария. Вот и у Быстрова произошла авария. Из его рук вышел бракованный автомобиль. Ну что, Быстров, попробуешь сам найти ошибку?

Быстрое склонил голову к плечу, разглядывая свое творение. Но глаза его даже на чуть-чуть больше не приоткрылись.

— Ну, — торопила Лидия Ивановна.

— А чего, — потянул время Быстров, — все верно.

— Лжешь, Быстров, в том-то и дело, что не все верно. И очень плохо, что ты этого не видишь сам. Плох тот рабочий, что пропустил при сборке деталь, но вдвойне плох тот, который не желает в этом сознаваться и не желает искать дефекта. Такой уже близок к преступлению. Тебе, Быстров, это понятно? — дернула она вбок подбородком.

— Понятно, — пробурчал он.

— Тогда, дети, раз Быстров неспособен найти ошибку сам, помогите ему. Кто хочет получить пятерку? Кто сейчас докажет, что он самый внимательный и самый сообразительный?

Петя перебирал, сравнивал, напряженно очень. «Завитушка — и там, и там. Петелька — и там, и там. Пере-кладинка — и там, и там».

— Ты, Быстров, садись на свое место, — сказала Лидия Ивановна. — А остальные соображайте скорее! И не надо учителю больше лгать!

— Шляпу забыл нарисовать! — Васька Паухов крикнул.

Быстров, не обращая больше ни на кого внимания, сел и, довольный, что его оставили в покое, снова погрузился в полудрему. А Петя ожидающе вопросительно посмотрел на Лидию Ивановну: что она скажет и прав ли Васька. Но Лидия Ивановна не обрати-

ла внимания на хулиганскую выходку Паухова, она приблизилась к Пете.

– Ну, Востриков, что скажешь? – спросила она, улыбаясь дружески ему.

Сердце Петино заколотилось. «Она надеется, что именно он сможет дать ответ. Единственный из всех», – подумал он о себе в третьем лице, и его обдало жаром. Он заторопился:

– Может быть... может быть... у него не очень длинная переკладина?..

Ничего другого ему в голову не приходило, как он ни напрягался. Да и это он не заметил, а, скорее, так сказал. Но Лидия Ивановна покачала отрицательно головой: налево, слева направо, справа налево и прямо поставила голову.

– Нет, ты ошибся, – сказала она, отходя снова к доске. – Ну, а кто все-таки скажет?

Тут руку поднял Женя Чуркин, с которым Петя даже приятельствовал немножко, но к способностям которого относился тем не менее с некоторой иронией, хотя Женька всегда на все вопросы отвечал правильно, так, как требовала Лидия Ивановна. Петя сощурил свои большие выпуклые глаза, такой взгляд, по его мнению, выражал иронию, что было вызвано подспудным желанием самоутвердиться, и все равно всего его перехватывало от стыда, когда он потом вспоминал об этом. А Женька сказал:

– К переკладинке, – сказал он, краснея и, как показалось Пете, слишком по-взрослому, – снизу и немного под углом должна быть черточка проведена. Вот так.

И он показал рукой в воздухе – как. И верно: только тут заметил Петя тоненькую эту черточку, изыск каллиграфии. А Лидия Ивановна сказала, кивая одобрительно:

– Ну иди, Женя, покажи.

Женька, склонив голову и выставив немного вперед правое плечо, прошеголял к доске и дочертил быстровскую букву.

– Умница, Женя. Садись, – сказала Лидия Ивановна, склоняясь над журналом. И, нацарапав в нем что-то, объявила: – Чуркину – пять, а Быстрову четыре с минусом. А ты, Востриков, – добавила она, – мне мыслится, всю свою жизнь прозеваешь. Воображаешь, что если ты умеешь читать, так школа тебе и не нужна? Но вот первой проверки ты и не выдержал! Думаешь так всю жизнь ехать на запасе старых знаний? Ты не сумел сделать открытия, которое сделал Женя. А небось считаешь себя умнее его!..

Затарабанил звонок, Лидия Ивановна, забрав журнал, ушла в учительскую. Ничего она такого особенного не сказала, но Петя



вдруг почувствовал себя совсем беззащитным, почувствовал, что ни мама, ни папа не защитят его здесь, что он в чужой власти. Он вышел в коридор, пухлый, маленький, готовый зареветь, и спрятался за стенд с картинками доменных печей. Ему казалось, что все видят слезы, стоящие у него в глазах. Он с трудом глотал слюну и думал: «Что же сделал я за пакость? Почему она на меня так накинулась? С таким презрением? Наверно, она присмотрелась и поняла, что ничего из меня в жизни не получится. И стараться не стоит. Все равно. Ну и пускай. Пускай. Почему, почему я черточку не заметил, а Чурка заметил? Но я ж не думал, что это всего лишь черточка... Я-то думал, что где-нибудь большая ошибка у Толика есть, а не черточка. Ну и пусть я глупее, ну и пусть! Все равно этого не исправишь...»

И тут же решил, что он будет великим человеком, самым великим, всеми признанным, всеми любимым, чьи желания для всех — закон, и что Лидия Ивановна придет к нему, когда он будет великим человеком, с какой-нибудь просьбой, а он ее просьбу выполнит и ей ничего не скажет, не напомнит, а ей самой станет стыдно, что она так обижала великого человека. «А уж тогда-то меня никто не будет обижать почем зря», — говорил он сам себе.

# Ольга Александровна

## Новелла

Очередь тянулась от прилавка вдоль застекленной витрины, потом вдоль стены, потом снова делала угол и шла уже вдоль окна на улицу, во всю стену магазина, и кончалась у самого входа в винный отдел. Невысокая женщина в грязном, давно не бывавшем в прачечной белом халате, завитая и крашенная перекисью под блондинку, отпускала товар.

– Ну чего лезешь?! – кричала она. – Не видишь, что ли, что я отпускаю. Убери руку! Убери, тебе сказала! Дай человека обслужить! Пива нет, сколько раз повторять! Слепой, что ли! Вон, русскими буквами написано! Ну что тебе? Давай! Ну быстрее!.. Вина? Водки? Одну? Не задерживай! Деньги давай!

– Спасибо, Шур, – сипел здоровый мужик, через головы других захватывая огромной лапой за горлышки пару бутылок портвейна. Крашенная блондинка ссыпала мелочь на железный поднос, смятые бумажки бросала в выдвигавшийся ящик под прилавком и обращалась к следующему, умело чередуя «законных» и «незаконных» потребителей алкоголя, то есть стоявших в очереди и лезших нахрапом.

Борис стоял за краснолицым добродушного вида редкозубым мужичонкой в сером плаще с хлястиком, постоянно с кем-то здоровавшимся, очевидно, что местным, и думал, что очередь пройдет не скорее чем за полчаса и что таким образом небольшой отрезок пространства перетечет в явно не соответствующий ему по масштабам отрезок времени. Но выхода не было, вечером они с женой ждали гостей, их магазин поблизости, как неожиданно выяснилось, закрыт «на учет», а без бутылки как-то неловко принимать людей. «На стол нечего поставить», – сказала жена. Редкозубый оказался необыкновенно суетливым, все время хватал за рукав проходивших мимо, шарил глазами по лезущим нахрапом без очереди, потом сказал, что на минуту отойдет, и действительно отошел метра на два в сторону и препирался с таким же красноли-

цым человеком: кто-то кому-то был должен стакан, не то водки, не то дешевого портвейна: «бормотухи», которую они почтительно именовали «вином». Очередь двигалась медленно, потому что все время подходили к продавщице знакомые или просто прибрлатненные нахалы, совавшие деньги через головы остальных. Возмущенные крики («Не давайте без очереди!», «Не за хлебом небось, чего без очереди прешь!», «Совесь имей! Мы тоже стоим! Что мы, не люди?!», «У тебя что, дети голодные плачут? Куда торопишься?!») цели не достигали. Выдав бутылку следующему знакомому, продавщица разводила короткими ручками: «А что я могу поделаться?» Редкозубый мужичонка, крутя головой и улыбаясь, вернулся в очередь. Внезапно один из отлучавшихся куда-то приятелей дернул его за рукав: «Давай сюда, здесь Соляпа». Соляпа, человек в кепке без козырька, с широкими плечами и угреватым лицом, уже протолкавшийся в начало очереди, хрипло спрашивал: «Тебе чего брат?» — «Два вина», — быстро ответил мужичонка, покидая очередь и протягивая Соляпе деньги. Но оказался он существом деликатным, потому что, ухвативши две бутылки портвейна, он вернулся к Борису и на всякий случай пояснил: «Я больше стоять не буду». И показал, за кем ему держаться.

— В спецодежде не обслуживаем, — крикнула продавщица.

Мужчина в спечовке отошел от прилавка и принялся совать деньги то одному, то другому, тихо приговаривая:

— Ну возьми одну. Здесь без сдачи. А то ребята ждут.

Кто-то взял деньги. Еще кто-то снова полез без очереди. Стоявший впереди Бориса хмурого вида высокий парень с усами тихо выругался. В ногах у него стояла спортивная сумка, набитая бутылками. Борис решил терпеть и наблюдать жизнь. Он был уже два года женат, ему уже исполнилось двадцать пять лет, через пару месяцев он кончал университет и, по всему, чувствовал себя ужасно опытным мужчиной и человеком — наблюдателем людских отношений, знающим жизнь и даже умеющим разговаривать с пьяными на улице и в магазине, не теряясь, а совсем как равноправный собеседник. Он и сейчас наблюдал, рассчитывая, что напишет когда-нибудь рассказ или повесть, где все это (а что «все это»? пьяные речи?) будет наконец отражено по всей правде, без прикрас. Он думал, что как же все это странно, ведь все учились в школе, где их учили, что надо жить творчеством, высоким и прекрасным, посещать музеи и концертные залы, читать книжки, а не проводить время в алкогольном отупении, что были же писатели, Толстой, Достоевский, Шекспир, которых почему-то никто не помнит в своей повседневной жизни, хотя на уроках литерату-

ры всех нас призывали не забывать классику, но вот все живут, как будто никакой литературы и не было на свете. Он даже на какой-то момент ощутил себя кем-то вроде шекспировского Кориолана, гордого и презирающего толпу за ее бездуховность. Но недолго. Он переступил с ноги на ногу, кого-то случайно толкнул плечом, кто-то пихнул его, и он успокоился как-то сразу, и сразу же исчезло и книжно-величественное самомнение. «Уж так дивно устроен человек, как сказал бы Гоголь, — вдруг подумалось ему, пока он продвигался по шажку вдоль стенки, медленно, очень медленно приближаясь к прилавку, а литературные реминисценции развлекали в это время его ум, перетекая, порой неожиданно, одна в другую, — что вначале видит соломинку в глазу ближнего своего, а сам в зеркало глядеться не хочет. Ведь сам же за водкой стою. И пить ее буду. Чего ж других судить!»

Но тут же он вообразил своих приятелей, сидящих у них за столом — Леню Гаврилова, Сашку Косицына, Илью Тимашева — и ведущих разговоры, а не просто так пьющих. А потом поющих песни.

...Он сидит за столом, курит крепкий табак,  
Мой милейший механик, начальник дорог.  
Через час ему биться с плато Расвумчор,  
По колено идя впереди тракторов.

Потому что дорога ужасно трудна,  
И бульдозеру нужно мужское плечо,  
Потому что сюда не приходит весна,  
На затылок Хибин, на плато Расвумчор.

В этом словечке, в этом названии — «Расвумчор» — было что-то от «черта», да и вообще песня была мужественная, а дорога воспринималась как жизнь, как страна, которой в трудную минуту может понадобиться мужское плечо, то есть плечо его, Бориса, и его друзей. И, глядя в их суровые в момент пения лица, ему нравилось думать, что и они чувствуют примерно то же самое, что и он, и что поэтому дурное прошлое никогда не повторится, а настоящее будет суровым, но честным, как на картине Никонова «Наши будни» — обветренные, суровые лица работяг, в брезентовых плащах сидящих на дне грузовика, но в их глазах уверенность в себе и в своем деле. Он огляделся вокруг и подумал, что, наверно, эти люди на работе таковы же и что не надо о них судить по магазину.

— Я отойду на минутку, — плечистый парень с усами кивнул Борису, вскинул на плечо спортивную сумку с бутылками, растолкав

ханыг, пробрался к прилавку, перегородив своей могучей спиной, как плотиной, доступ с «незаконной» стороны.

Отпихнув локтем особо настырного, он гаркнул:

– Все! Хватит! Давай в порядке очереди! Все спешат, у всех дела! Постоят, а то ловчее всех нашлись...

Вид у него был решительный, очередь его поддержала («Вечно одни и те же без очереди, а мы стой! Правильно, парень, не пускай их! Пусть тоже постоят!»), и ханыги, присмирев, рассредоточились вдоль очереди, пихая деньги в руки тем, кто стоял ближе к прилавку и у кого вид был менее решительный.

– И не бери у них! Рабочий день кончился! Некуда им торопиться, – командовал усатый парень.

На некоторое время установился порядок, и дело пошло скорее. Но когда минут через пять парень-распорядитель, а за ним сразу Борис отоварились и перешли в другой отсек магазина, в винном отделе опять воцарился хаос.

Теперь надо было купить закуски. Для вечера народу в продуктовом отделе, когда люди возвращаются с работы, было не так уж много. После давки и криков относительная тишина и спокойствие этого отдела действовали приятно. При этом была и колбаса, и масло, и сыр. Борис направился к кассе, подсчитывая, что всего возьмет граммов по триста, денег как раз хватит, а селедка дома есть, соленые огурцы, лук, хлеб тоже в наличии, так что будет что «поставить на стол». Полно картошки – все нормально.

Человека за три впереди вполоборота к нему стояла пожилая женщина, или, скорее, старуха с выбивавшимися из-под черной старомодной шляпки, похожей на капор, седыми буклями, в черном, плотном, не по сезону, пальто. Магазин был, что называется, «дальний», квартала за два от его дома, Борис обычно сюда не ходил. Так что ничего невероятного не было – столкнуться тут с человеком, которого в своем микрорайоне не встречаешь. Но Борису почему-то всегда казались странными, нелепыми встречи в магазине, это как подглядеть в щелку за семейной жизнью – видеть, что люди едят, пьют, на что у них хватает денег, а на что нет: магазин это проявляет, хотя человек, может, и не хотел бы это показать. Но особенно странно увидеть здесь человека, которого по детской инерции привык отождествлять совсем с другой обстановкой. Старушка развернулась от кассы и теперь с чеком в руках двигалась навстречу ему, но то ли не замечала, то ли не узнавала, то ли почему-либо не хотела узнать своего бывшего ученика в этом парне в чешском синем плаще с капюшоном, с прозрачной полиэтиленовой сумкой в руках, внутри которой болтается бутылка водки.

Борис подумал, что, быть может, она, напротив, боится, что он теперь, спустя столько лет, не захочет ее признать.

Ольга Александровна Быкова преподавала у него в пятом и шестом классе русский язык и литературу, потом ушла на пенсию, а в девятом классе Борис брал у нее на дому уроки – подгонял русский. И вот уже лет семь или восемь ни разу не видел ее. А она очень изменилась.

Она уже и семь и десять лет назад была почти совсем седой, рыхлой, крупной и, в силу своей рыхлости, какой-то беззащитной. Борис помнил, что в школе все худощавые, худосочные такие учительницы были злыми и, как правило, пугали учеников, эта же сама своих воспитанников боялась, на каждую очередную выходку содрогаясь всем своим большим неуклюжим телом, одетым в широкое платье. Платья она носила темные, как и все почти учителя, но непременно либо с рисунком, либо цветастые. И они как-то странно не гармонировали с ее полной фигурой, и вместе с тем без них ее невозможно было представить. С тех пор, как видно было с первого взгляда, она еще больше огрузнела, ее словно пригнуло к полу, словно она даже стала короче, а ноги выгнулись в кривизну.

В руках она несла незастегивавшуюся и набитую, видимо, в других магазинах маленькую хозяйственную сумку с продуктами. Сумка оттягивала ей руку книзу, и как будто из-за этой тяжести она переваливалась с боку на бок, с ноги на ногу, ковыляя как тяжелая утка.

– Здрасьте, Ольга Алексанна, – сказал он громко и немножко развязно, с чувством взрослой независимости и равноправия, которые в эти годы не уставали радовать его по отношению к бывшим своим учителям, и даже некоторого превосходства: поскольку он был студент, он был свободен пока перед будущим, еще он сам выбирал себе жизнь, а не она выбирала его, а все учителя, казалось, давно определились в своем существовании, прошли уже значительную часть своего пути, а то и кончили его, так что преимущество было явно на стороне Бориса.

Она от неожиданности вздрогнула, напряглась, вскинула на него глаза. Но не узнала его... Или так ему почудилось по растерянному ее взгляду и по тому, что она обратилась к нему не на «ты», а на «вы»?..

– Здравствуйте...

Она поспешно прошла мимо, ускорив шаги.

Борис заплатил деньги и с чеком в руках вернулся к молочному прилавку, где помимо молока торговали еще сыром, маслом и колбасой. Ольга Александровна по-прежнему стояла на два человека

впереди него. Он больше к ней не подходил, потому что говорить им, собственно, было не о чем, а долг вежливости он исполнил, поздоровался, — в конце концов, никаких таких особых неофициальных отношений у них не было. Тут он почувствовал, что не очень-то честен перед самим собой. Формально-то все так, но в глубине души он в этом сомневался. Она никогда не была любимой учительницей, встретить которую приятно и которая сама обычно расцветает улыбкой навстречу, и перед ней хочется похвастаться, что вот, на филологическом, в МГУ, вашими, так сказать, стопами и прочее. А тут ничего похожего. И все-таки сомнение было не случайно.

И объяснить он это мог только неискупленным чувством вины за то, что ни разу в школе не вступился за нее, а только растерянно смотрел на то, как глумятся над ней ребята из «компании» Герки Кольцова, общепризнанного классного хулигана и «вожака», словечко это Борис употреблял, как и все остальные в классе, после коллективного просмотра «Оптимистической трагедии», где главарь анархистов «вожачок» столкнулся с женщиной-комиссаром. Но энергии и решительности комиссарши Борис в себе не находил, да и как-то нелепо тогда казалось вставать в позу борца по поводу школьных шуток. К тому же шутки эти шутил самый презираемый из компании Кольцова парень по фамилии Авдотин, самый хлипкий, самый низкорослый, с землистым личиком, полным угрей и прыщей. Он вроде бы был совсем как человек, но Борису порой казался как будто другого, не человеческого, а обезьяньего, что ли («бандерлогом», по Киплингу), племени, настолько ему ничего не было жалко и он мог над всем грубо подхихикнуть.

Этот Авдотин навешивал ей на платье тряпки, как хвосты, мазал мелом сиденье стула, и то и вовсе вынимал его, натирал воском классную доску так, что мел по ней даже не царапал, а один раз, раздухарившись, вырвал у «Бычки» (таково было ее незамысловато придуманное прозвище) из рук перо, когда она собиралась ставить ему двойку, и заплясал па классу под одобрителный хохот «ребят из компании» и робкое веселье остального класса. А когда несчастная, не умеющая отвечать на «шутки» и растерявшаяся рыхлая женщина в темном цветастом платье, содрогааясь своим большим неспортивным и потому чувствующим свою беззащитность телом, встала и сказала, что она «вынуждена покинуть...» (дрожащим голосом она не кончила фразы, она почти плакала и сразу вышла за дверь), Авдотин, скача как сумасшедший, вскидывая в воздух ноги, заорал нелепо: «Бычка, вон де ля класс». Они учили французский, и Авдотин из этого языка в состоянии был усвоить только, что

предлог «де» означает по-французски «из», а «ля» является необходимым в чуждом этом языке артиклем. Авдотина директор заставил извиниться, но с седьмого класса Ольга Александровна у них уже не преподавала, она ушла на пенсию. Ее сменила одноногая Татьяна Ивановна с красивым лицом и нервно вздернутой бровью. Эту училку почему-то слушались и побаивались, хотя принципиального отличия в методике ее преподавания, да и в поведении Борис не видел, Но тогда еще он подумал, что недаром существует пословица про человека, на которого все шишки валятся.

А в девятом классе он, по совету Татьяны Ивановны, подгонял синтаксис с преподавателем на дому, и этим преподавателем оказалась Ольга Александровна. Прозанимался он с ней не больше месяца, и ничего у него в памяти об этих занятиях не сохранилось, кроме обстановки ее комнатки да того, что отнеслась она к нему как к обычному отстающему, плохо понимающему и русский язык и литературу. Борис помнил, что это его задевало и даже злило. Но на занятия он ходил исправно.

Он поражался, насколько тесная у нее комнатка. Она была такая тесная, что, сидя за письменным столом (который, очевидно, был и обеденным), он спиной упирался в дверь. Он не любил сидеть спиной к двери, а тут еще спина почти в коридор высовывалась, так что было совсем неприятно. И комната поэтому казалась такой же беззащитной, как и ее хозяйка. Какая-то зажатость чувствовалась в этой комнате. Справа стоял буфет на ножках, далее, упираясь в стенку, пружинная кровать с никелированными спинками и шишечками на них (кровать была шире буфета и почти соприкасалась задней спинкой со столом — пространство между ними едва пригодно было для прохода), в дальнем углу, за кроватью, — бельевик с зеркалом над ним, а слева, в узком простенке меж стеной и дверью, — платяной шкаф с примыкавшим к нему книжным стеллажом, на котором Борис мог различить учебники и школьные издания русской классики. Второй стул, на котором она сидела, заглядывая ему порой через плечо, чтобы видеть, что он пишет, помещался на пространстве, образованном углом буфета и кровати. На подоконнике обычно стояла бутылка кефира и лежал батон белого в полиэтиленовом пакете, вызывая ощущение одинокого быта.

Но Борис тогда над этим не задумывался, гораздо важнее ему казалось доказать этой равнодушной училке, смотревшей на него лишь как на средство для получения дополнительного небольшого дохода, то есть как на туповатого, не очень резвого соображением ученика, и потому весьма отстраненно, что он совсем не



дурак, а, напротив, поумнее многих будет. И он вспомнил, как это ему удалось. В первом же сочинении, которое он принес ей для совместной работы над ошибками, были слова, полные, как ему казалось, настоящей глубины и важности: «В нынешнем историческом контексте мы по-новому пытаемся оценить роман» или «В постепенном, диалектическом развитии характер Нагульнова приобретает...» и тому подобное. Он помнил ее робкую, удивленную улыбку, когда она читала эти слова, как бы взвешивая, тянули ли они на интеллигентную солидность. И уважение, засветившееся в ее глазах. Борис помнил и свое удовольствие, от того, что она оценила по достоинству, как ему показалось, его ум и начитанность. Через месяц он подзубрил, что надо было, и больше с ней не встречался, потому что отношения дальше деловых так и не пошли. И все-таки он общался с ней не только как ученик в классе, но и один на один, то есть чисто по-человечески вроде бы, выделившись из толпы себе подобных. Это и вызвало у него сейчас желание подойти и сказать какие-то слова — и удивление, что она сама этого не захотела.

Но она не захотела, и он погрузился в какие-то бессистемные и вялые размышления, испытывая состояние, которое он сам называл «бытовой оцепенелостью». Ольга Александровна протянула чек и, задыхаясь, произнесла:

— Пожалуйста, молока два пакета по шестнадцать, сто пятьдесят грамм масла и двести российского сыру.

— Масло будет только мороженое, гражданочка, — не двигаясь с места, пробурчала толстая продавщица, так же как и продавщица винного отдела, крашенная под блондинку. Она мотнула головой так, что забрякали длинные сережки. — Все суют: масла, масла! — И крикнула кассирше: — Клава! Масло не выбивай. Масло все замерзло!

Она тем не менее отрезала кусок крошащегося под ножом масла, по дороге, пока она несла, развалившегося на несколько кусков, положила на грубую серо-белую бумагу, бросила на весы, собрала на широкий нож еще несколько обломков и, подложив их на бумагу, взглянула на стрелку, стрелка показала ровно 150 г. Продавщица завернула масло, толкнула его по прилавку по направлению к Ольге Александровне, затем выбросила на прилавок из полиэтиленовой тары два треугольных пакета с молоком, мокрые и надорванные.

— А других нельзя? — послышался робкий старушечий голос.

— Все такие. Пожалуйста, — резким движением продавщица сбросила с прилавка два предыдущих пакета и выбросила два новых, действительно в еще худшем состоянии.

«Почему она сама ходит? Где ее дети, внуки?» — подумал вдруг Борис то, о чем раньше не задумывался.

Продавщица тем временем взвесила кусок сыра.

— Пятнадцать копеек доплатите. Я вам ровно двести свесила.

— А мне двести и надо было.

— Вы сто пятьдесят просили. Где ваш чек? Ну, рубль сорок пять. А надо рубль шестьдесят..

— Но я считала... Вы сами посчитайте.

— Давайте, женщина, платите, не задерживайте людей. Мне за это не платят, чтоб я за всех правильно считала. До старых волос дожила, а считать правильно не научилась!

Тут сразу заволновалась очередь:

— Эти старухи! Нет чтоб с утра ходить, когда люди на работе! Все равно им делать нечего! А все норовят не вовремя влезть! На работе намаешься и здесь еще стой!

Пока усталые после работы молодые и средних лет женщины с поджатыми губами бранились, а Ольга Александровна рылась в кожаном кошелечке, Борис быстро прикинул, чего стоит ее покупка, и, отчасти в подражание парню со спортивной сумкой из предыдущей очереди, отчасти чувствуя потребность заступиться за бывшую учительницу, громко сказал, при этом мягко улыбнувшись продавщице (и очередь, где он был единственным мужчиной, естественно, прислушалась к его словам):

— Нет, здесь все верно. Посчитайте сами. Двести сыра — шестьдесят копеек, два пакета молока — тридцать две, итого девяносто две копейки, и пятьдесят три копейки за сто пятьдесят масла. Вот в сумме и рубль сорок пять.

— Ну-ка, ну-ка, — продавщица аж шлепнула счета на прилавке и защелкала кругляшками. — Я и не спорю, когда правильно. Мужчина верно посчитал. Берите, гражданочка, и не задерживайте.

Она встряхнула своими длинными сережками, улынулась Борису измалеванными красными губами и, взяв следующий чек, довольно ловко принялась орудовать за прилавком, подвижно и сноровисто, несмотря на свое толстое, большое тело. Борису было приятно, что он выступил, как тот, понравившийся ему плечистый парень и столь же успешно. Очередь замолчала и, не желая признаваться в своей неправоте, тихо гудела о чем-то совсем другом, будто этого инцидента и не было вовсе. И в этой наступившей относительной тишине тем слышнее прозвучал старческий, срывающийся от восторга голос «Бычки»:

— Никто не смог сосчитать, а Боря смог! Никто не смог, а Боря смог!

В голосе звучали торжество и даже какая-то гордость за него. «Значит, она меня все же узнала», — подумал Борис.

— Ну что вы, ерунда, — сказал он.

Но «бытовая оцепенелость» уже проходила, и он подумал, что надо быть вежливым до конца и проводить ее до дому, поднести сумки, а по дороге о чем-нибудь поговорить. «А то что такое, считаю себя писателем, а ни с кем и поговорить толком не умею о жизни».

Он подумал, что дома могут хватиться, что его долго нет, если он отправится ее провожать, но решил, что ничего, он же не надолго. Ему нравилось чувствовать себя таким художником, свободно располагающим своим временем, таким вольным стрелком. К тому же ему давно хотелось, да и было это модно, сойтись поближе с какой-нибудь этакой «старой барыней на вате» и послушать рассказы про прошлое, кем она была и кем стала, ведь годы-то какие были, и революция, и война, а на таких переломах только и начинаешь понимать жизнь. И понять, была ли жизнь прожита так, как могла бы быть по исходным данным прожита, или сломалась; или, напротив, сверкала фейерверком, а потом вдруг потухла, и главное — какое отношение выработалось у человека к прошедшим годам, ведь они как-то, каким-то образом определили ее мироощущение. Увидеть это, понять это — значит постигнуть жизнь не только в ее сегодняшнем, минутном и случайном проявлении, а в процессе, который прошел и претворился в человеческую судьбу. Стоит вспомнить только слова Цицерона из знаменитого чаадаевского письма (о котором так много распинался Илья Тимашев): «Что такое жизнь человека, если память о предшествовавшем не соединяет настоящего с прошедшим». Но почувствовать так жизнь может только тонкий и ранимый человек. А то, что Ольга Александровна и интеллигентна, и ранима, и жалка, и чувствительна, — о, это он знал, и сейчас это подтвердилось, и он почувствовал к ней то родственное чувство и ощущение взаимопонимания, которое один болезненно и самолюбиво ранимый человек может испытывать к другому такому же. И подумал, что они-то друг друга не могут не понять. Особенно теперь, когда он научился наконец владеть своими чувствами и эмоциями, управлять ими и потому в состоянии не испугаться, что ранимость и болезненность другого способны увеличить его собственные фобии.

Борис побросал в сумку продукты и выскочил на улицу вслед за Ольгой Александровной. Дождя не было, но было такое ощущение осенней промозглости от серого затянутого тучами неба, что сейчас вот-вот все-таки пойдет дождь. Он огляделся и доволь-

но быстро догнал с трудом передвигавшуюся на кривых коротких ногах старуху в черном пальто. Издали казалось, что она идет по земле, почти присев на корточки, — так низко был у нее опущен таз: никогда раньше Борис этого не замечал — она словно вращалась в землю. Склонившись над ее плечом и невольно — по контрасту с ней — чувствуя себя сильным, ловким, здоровым и уверенным, он проговорил:

— Может, вам помочь?

Она вздрогнула, услышав за спиной чей-то голос.

— Да нет, мне недалеко... А... это Боря. Ну возьмите. Я ведь тут неподалеку живу теперь.

Он шел рядом, возвышаясь над ней и стараясь приноровиться к ее одышливой походке. Время от времени она останавливалась и переводила дух и один раз присела на лавочке перед чьим-то чужим подъездом, сказав с трудом:

— Здесь у меня обычно привал.

Он смотрел и удивлялся, то ли он раньше этого не замечал, то ли Ольга Александровна за протекшее время так присела к земле, стала совсем квадратной; широкое тело в черном пальто, почти совсем без ног. Борис подумал, что школьником он не обращал внимания на подробности телосложения учителей (учителя входили в детское сознание не совсем как люди, а как часть школы, и их физический облик казался необходимой частью школьной обстановки: ничто человеческое вроде любви, детей, страстей, казалось, не было им присуще), и только теперь он понял, что она была некрасивой, даже уродливой женщиной. И снова защемило жалостью к ней: а была ли она замужем, были ли у нее дети, или так она и прожила все свое время одиноко и неприятно?

Ольга Александровна тяжело дышала, хотя Борис и старался идти, изо всех сил стесняя свой шаг, предупредительно приноравливаясь к ее скорости и при переходе небольших улочек подхватывая ее под руку. Они свернули во двор небольшого пятиэтажного дома с пятью подъездами, неизменными лавочками перед ними и маленькими деревцами вдоль проезжей части: в такие блочные дома, обильно строившиеся в начале шестидесятых, — с низкими потолками, невероятной звукопроходимостью и совмещенным санузлом — переселяли, как правило, людей из бараков, решая таким образом жилищную проблему. Дома эти по архитектурному замыслу имели временный, промежуточный характер (после барака, но до настоящего жилья). Однако люди пока оставались в них навечно. И хотя его друзья архитекторы, вроде Лени Гаврилова, возмущались этим, Борису казалось, что хорошо, что хотя бы так была

решена проблема и люди теперь могут существовать хоть в относительной изоляции, жить сами по себе, а не на глазах у соседей.

— Ну вот, пришли, — Ольга Александровна на минутку присела еще раз на лавочку перед подъездом.

— Разве здесь? — удивился Борис, вспоминая огромный многоквартирный дом-муравейник постройки тридцатых годов, куда, как ему помнилось, он когда-то ходил. — Мне помнилось совсем другое место.

— Мы с сестрой съехались, она тоже поблизости жила, — задыхаясь, никак не в состоянии нормализовать дыхание, сказала старуха. — Да ну вас, загоняли меня совсем.

— Да я еле-еле шел, — снова с легким оттенком превосходства и самодовольства оправдывался Борис.

— Для вас еле-еле, а для меня просто бег. Просто запыхалась вся.

Ольга Александровна по-прежнему называла его на «вы», и Борис теперь уже не препятствовал, чтобы утвердилось еще больше чувство равноправия меж ними.

— Ну спасибо, довели, — сказала она, наконец вставая на кривые больные ноги, и это «довели» прозвучало для Бориса иронично и двусмысленно. — Давайте сумку, дальше я сама.

— Может, наверх поднять? — Борис не оставлял надежды разговорить ее хотя бы в домашней обстановке, потому что говорить по дороге, разумеется, как он сразу понял, нагнав ее, было бессмысленно, и только по художническому и молодому эгоизму можно было предположить, что ни с того ни с сего человек начнет про себя что-то рассказывать.

— Ну давайте.

Медленно, с остановками, с передышками, они поднялись на третий этаж. Остановились перед обитой черным дерматином дверью с видневшимся посередине глазком. Ольга Александровна взяла у него из рук сумку, достала из кармашка ключи, отперла дверь.

— Занесите уж тогда продукты на кухню, будьте любезны.

Борис вошел в квартиру, зорко пытаясь схватить глазом всякие важные мелочи. Но ничего особенного. Слева от двери зеркало, под ним низенький деревянный шкафчик, очевидно для обуви, около него скамеечка, справа — вешалка, на которой только и висел что летний серый плащ, такие еще давно, как помнил Борис, носили родители и который назывался «пыльник». На кухню он прошел через выкрашенную белой масляной краской дверь со стеклом в верхней части и сделанную, очевидно, из прессованных древесных стружек (именуемых древесно-стружечной плитой), по-

ставил на беленькую табуретку сумку около такого же легкого беленького столика из гарнитура, два синевато-белых шкафчика для посуды висели на стенке. Что еще? Все, что у всех: белая газовая плита с двумя черными конфорками, стол для готовки пищи, раковина у стенки с красным и белым кранами и еще маленький холодильник «Саратов».

– Поставьте все это на стол, – услышал он запыхавшийся голос из прихожей (очевидно, она меняла обувь на домашнюю). – И откройте там окно. А то дышать нечем.

– Не холодно будет?

– Ничего. Мы ведь ненадолго. Стоит день не открыть, и в квартире как в склепе.

Борис открыл окно. С улицы доносилось далекое карканье городской птицы – вороны. Он шагнул назад, в сторону прихожей. Ольга Александровна все еще, кряхтя, снимала свои ужасные ботики и влезала в домашние тапки. Опустив глаза, он вдруг увидел на чистом линолеумном полу черные лужицы воды с его башмаков.

– Ой, Ольга Алексанна, я вам наследил!..

– Ничего, я потом уберу. Вы не волнуйтесь.

В этих словах снова почудилась ему какая-то радость от его присутствия и готовность перенести известные неудобства, связанные с этим событием. Борис вернулся в крошечную прихожую. Горела под низким потолком желтым светом электрическая лампочка без абажура. Не зная, что еще сказать и сделать, чтобы завести разговор, он стоял, опустив руки. И неожиданно услышал:

– Вы, небось, спешите? Или попьете чайку со старухой?

И хотя это было то, что он хотел, он посмотрел на часы, чтобы не выдать своей заинтересованности, да и в самом деле уточнить свой временной лимит. До прихода гостей оставалось часа полтора-два. Но на всякий случай он состорожничал:

– Полчаса или, скажем, минут сорок у меня есть.

– Успеем, успеем чайку попить. Вы пока проходите в комнату, а я чайник поставлю.

– Вам, может, помочь?

– Да нет, не надо. Здесь я сама...

Борис прошел в комнату, слыша за стеной на кухне шум льющейся из-под крана воды, звяканье чайника, чирканье спички, гудение вспыхнувшего газа. Слышимость была просто поразительная. Борис стоял, опираясь рукой на стул, и внимательно оглядывал комнату, стараясь все заметить, все запомнить и понять. Комната, как и кухня, была удивительно чистой, хотя и весьма обширной, неожиданной для малогабаритной кварти-

ры, с лянными полотняными ковриками на натертом паркетном полу. У стены, почти сразу какходишь в комнату, по правую руку, стоял круглый полированный стол, около него два стула с мягкими сиденьями и выгнутыми спинками, один из них был как раз у него под рукой. В дальнем углу находились рядком две красные кушетки, усеянные подушками. На бельевике, расположенном рядом с кушетками, прямо у стены, лежали толстые семейные альбомы — по виду с фотографиями, словно кто-то перебирал, пересматривал их каждый раз, и не один день, перед сном. Но проход к кушеткам перегораживало большое кресло, которое сдвинуть Борис так и не решился, хотя взглянуть на альбомы было ему любопытно. Однако, стоя на месте, он повел глазами дальше. Дверцы знакомого платяного шкафа были раскрыты, виднелись висевшие на плечиках платья, две тяжелые шубы, а на дне почему-то сваленные какие-то вещи, будто кто-то собирался уезжать, да так и бросил все на пол по дороге, а их потом на скоростях запихали в шкаф: то ли не уехал, то ли вещи эти не понадобились. Почему-то брошенные вещи связались у него с альбомами на бельевике, почему — он не понимал и отвернулся. Да и вообще часть комнаты с кушетками вызывала какую-то тревогу и странным образом дисгармонировала с другой половиной, где стоял круглый стол с двумя стульями, козетка, за ней небольшой телевизор, а сбоку книжный сервант, окно, балконная дверь — светло и тихо. Так что, решил он, не случайно кресло перегораживает эти половины. Борис хотел было шагнуть к книгам, посмотреть корешки, но испугался, вспомнив, какие следы оставляют его башмаки. Приподняв ногу, он глянул вниз: слава Богу, ботинки высохли и уже не следили. Сделав шаг в глубь комнаты, он запустил глаз за стекла книжного серванта: два собрания сочинений — Тургенева и Гончарова, остальные книги, как он успел на скоростях заметить, были самого случайного свойства. Тогда он как бы из центра еще раз оглядел комнату. На стенах висело несколько фотографий, три пейзажика и два карандашных, слегка стилизованных женских портрета. Один вроде бы напоминал Ольгу Александровну, но другой, другой — скорее Ахматову: так же горделиво вскинута голова римской матроны, такая же полная шея и надменно-властный взгляд. А сделаны портреты одной рукой. Но если это Ахматова, то при чем здесь Ольга Александровна? А если это Ольга Александровна, то при чем здесь Ахматова? И снова в голове зашевелились мыслишки о той тайне, которую скрывает в себе жизнь человека, о ее непредсказуемых встречах, поворотах, изломах, пересечениях, которые связывают человека

с человеком и через которые просвечивает сама история. И он порадовался, что зашел сюда.

— Книжки смотрите? — раздался сзади тихий голос. — Книг у меня мало. Племяннице в Ленинград отсылаю, дочке брата. Я теперь больше телевизор смотрю. Чем-то надо день наполнить, а то скучно. Вы видели последний фильм про Уланову?

Она ставила на стол чайную посуду: чашки, сахарницу, молочник, плетеную вазочку с печеньем. Надо сказать, по своей квартире она двигалась гораздо проворнее и увереннее, чем по улице. Толстая уродливо-короткая фигура ее в темном цветастом платье то появлялась в комнате, то снова исчезала на кухне.

— Видели?..

— Урывками, — ответил Борис, — гости были.

— А я до сих пор люблю балет, оперу. Только в Большой теперь не попасть. А раньше мы с сестрой туда часто ходили.

Ничего этого Борис за ней даже и не подозревал — таких пристрастий и интересов. Как же так? Почему? Но ведь и вправду, глядя на нее, этого и подумать было нельзя. Говоря, она продолжала хлопотать: достала еще вазочку с кусковым быстрорастворимым сахаром в дополнение к сахарнице с песком. Борис ждал, что сейчас в дело пойдут пряники, как обычно угощала его бабушка Настя, но нет, на столе появились две коробки конфет — мармелад и шоколад, коробка изящных ленинградских вафель и при этом непременно у небогатых старушек лимонная карамель. Откуда шоколад? И почему ему? Как дорогому гостю?

— Как вы относитесь к варенью, Борис? Употребляете?

— Конечно, Ольга Алексанна. Да вы не хлопчите так. Ничего мне не надо. Давайте просто посидим.

Но она уже полезла, с трудом нагнувшись, почти встав на колени перед платяным шкафом, в его нижние ящички, отомкнула их маленьким ключиком и вытащила нераспечатанную пол-литровую банку; Борис подскочил, помог ей подняться, отнес и сам поставил банку на стол. Она была полна какой-то красноватой массой с зелеными зернышками. Ольга Александровна присела на стул.

— Посижу, пока чай закипит... — Помолчала. — Давно я вас не видела, — и нейтрально, не на «ты», но и не на «вы»: — Вырос, возмужал. Женился?

— Да.

— Дети есть?

— Пока нет.

— Это правильно. Рано еще. Пока учиться не кончите, не заводите. А где вы учитесь? А то я и не знаю.



– На филологическом.

– Тяжелый факультет, неперспективный. Трудно потом работу найти.

Не зная, что сказать, Борис пожал плечами. Ему захотелось сказать, что пошел он на филологический, чтоб быть поближе к литературе, но что не филологию, а писательство он считает «делом своей жизни». Но не сказал, потому что выглядело бы это, на его взгляд, либо похвальбой, либо нелепостью. Не говоря уж о том, что получалось все совсем наоборот, чем он предполагал: не он ее выпрашивал, а она его. И он примолк, соображая, как бы ему начать самому задавать вопросы, но деликатно, конечно.

Он сидел против нее, придумывая первую фразу, и молчал. Молчала и она, развязывая веревочку, которой была перевязана бумажка, закрывавшая банку с вареньем. Сколько бы ни прошло лет и как бы мы сами ни изменились, тот, с кем мы расстались, представляется нам все таким, каким он был много лет назад. И в памяти Бориса Ольга Александровна до сегодня оставалась пожилой женщиной с сильной проседью в волосах, но нестарым еще лицом. Сейчас волосы были совсем белые, лицо морщинистое, и, хотя кожа была еще не дряблая, по обилию пигментных пятен, по ноздреватости какой-то видно было, что теперь это лицо старухи.

– Крыжовенное, – пояснила Ольга Александровна, указывая на банку. – Вы посидите еще минутку. Я пойду чай заварю.

Она поднялась и, ковляя на своих раздутых кривых ногах, вышла на кухню. Сразу стало слышно, что чайник кипит, даже хлопает под напором пара крышка.

Борис встал, прошелся по комнате и громким голосом сквозь дверь «начал разговор»:

– Я смотрю, у вас новая квартира. Неплохая. И комната большая. Я-то помню, что вы в коммуналке жили. Это что, кооператив?

Ольга Александровна появилась на его голос из кухни с полотенцем в одной руке и заварочным чайником в другой, приземистая, с широко расставленными ногами, она стояла в дверном проеме и говорила:

– Это мы с сестрой съехались. У нее была большая – почти тридцать метров – комната, и у меня, вы помните, наверно, какая. Сестра жила через два дома отсюда. А здесь разъезжались. Мы в метраже проиграли, но зато – отдельная квартира. Пять лет мы так прожили, а теперь я снова одна.

– А что с сестрой? – спросил он, уже догадываясь об ответе, но понимая и то, что не спросить нельзя.

— Умерла. Уже два месяца, как умерла. Последний год она очень болела. Исхудала невероятно. А была такая пышная женщина, очень поесть любила. А потом только кашки, соки, ничего другого не могла. Оказалось, рак пищевода. Я целый месяц ни на что и ни на кого смотреть не могла. Уже теперь ничего. Может, еще живу? Да вы садитесь, чай как раз готов. Я сейчас наливать буду. Вам покрепче?

— Если можно...

Борис хотел сказать «примите мои соболезнования», но не знал, уместно ли это говорить спустя два месяца, решил лучше промолчать и сел, ругая себя, что совершенно не владеет формой жизнеповедения. Но теперь становилась понятной мрачная часть комнаты, где на кушетке, очевидно, болела, а затем умирала сестра Ольги Александровны. И кровати стояли рядом, чтобы быстро прийти на помощь, если нужно. А сваленные вещи — это, видимо, так и осталось от сестры, когда ее обряжали.

Он внутренне как-то замер и окостенел. Даже вообразить ужасно, как две старухи, еле передвигающиеся, тут живут, одни, только их двое, никто к ним не заходит. О чем говорят? Ведь все в прошлом. Только вспоминают? Но ведь нельзя больше растравить себя, чем воспоминаниями. Или — внезапная догадка — беседы у них велись только на бытовые темы: что дают в магазине, где достать хорошего врача или редкое лекарство, у кого что болит... А если не так, если без этой защиты бытовых разговоров, то остается выть, что жизнь прошла, что вот последние дни отщелкивают и каждой как в зеркале видно в сестре, как уходят, укапывают последние капли жизни. Ни мужей, ни детей, ни внуков. Разве что племянница в Ленинграде...

Это было совсем не то, что он ожидал, идя сюда и собираясь найти подкрепление своим собственным домыслам о роли Октября, коллективизации, войны в частной жизни человека. Это было о другом, просто о тяжести жизни. Или не так?

Ольга Александровна принялась разливать чай. Руки ее, толстые, с морщинистыми складками на кисти, слегка тряслись. И Борис ощутил невольно, что чайник что-то весит, и привскочил, чтобы помочь. Но от помощи она отказалась, усадила его и села сама. Началось чаепитие.

— А кто это? — спросил Борис, сызнова затеявая разговор и указывая на предполагаемую Ахматову.

— Это моя сестра. Ее и меня наш сосед-художник рисовал. Правда, похоже? Но сестра удивительно хорошо получилась. Такая она и была. Она ведь была оперной певицей. В Кишиневе пела

и в Куйбышеве. А потом прервалась. Муж заставил. Потом они в Москву переехали. Она с мужем разошлась, хотела опять на сцену, а тут у нее дочка умерла. Она года два ничем заниматься не могла. Так и осталась на третьих ролях.

Ничего подобного Борис опять-таки не ожидал. Опера и... Ольга Александровна, училка и таинственная, волшебная опера! А оказывается, существовала такая связь. Сестра и замужем была. А сама Ольга Александровна? Но спросить про это не решился.

— А отчего дочка умерла? — спросил он, все-таки ожидая в ее истории хоть каких-нибудь социальных катаклизмов.

— От гриппа.

— А-а, — не зная, что сказать, сказал он.

— Да вы пейте, Боря, чай. Вафли берите, конфеты.

— Спасибо, я уже взял.

— Берите еще. Варенье можно вам положить? Это крыжовенное, — снова пояснила почему-то она. — Сама варила. Еще сестра была жива. Мне одной все равно теперь не съесть.

— Спасибо, спасибо. — И, помолчав, задал ловко-провокационный, как ему самому показалось, вопрос: — А вы всегда в Москве жили?

— Я всегда жила в столицах. Родилась в Варшаве, потом мы жили в Минске, потом в Ленинграде, а потом в Москве.

— А почему в Варшаве? В вас, простите за нескромный вопрос, есть польская кровь?

— Четвертушка, я думаю. У меня бабушка была полячка. Во всяком случае, мы с сестрой по-польски говорили свободно.

— А почему меняли столицы? — не отставал он.

— Отцу давали работу, мы и переезжали.

— А можно поинтересоваться, кто был ваш отец? — Вот сейчас и обнаружится этот жизненный слом: отец-профессор, из обедневших дворян, а дочь его, с прекрасным образованием, всю жизнь работает как простая учительница, или она дочь какого-нибудь значительного революционера, репрессированного в тридцать седьмом, — вот вам и романтическая история: на таком переломе от счастливого детства к дальнейшей малообеспеченной, скучной жизни и возникает драма характера.

— Он был рабочий, — но тут же, испугавшись, что принизит отца этими словами, добавила, — но очень квалифицированный рабочий. Очень образованный человек. Мы с сестрой, бывало, все вспоминали, как его боялись. У нас была своя комната, заьемся туда, когда отец не в духе, и не выходим. А квартира была у нас на первом этаже, окна в сад, летом окно откроешь, вздохнешь и забы-

ваешь, что кто-то где-то не в духе. Мы с сестрой любили мечтать у этого окна. Прямо как Наташа Ростова с Соней. Помните? Вы не думайте, что, раз я старуха, у меня и молодости не было. Про меня говорят: ровесница века, а я была молода, хоть сейчас и семьдесят лет, уже семьдесят лет. Вам сколько лет, Борис?

— Двадцать пять. Тоже, знаете, символический возраст: конец войны, и вся моя жизнь падает на мирный период. А вы всего хватили: и войн, и революций. Вдоволь истории насмотрелись, на несколько биографий хватило бы.

— Удивительно, но ничего не вспоминается значительного из этих лет. Все значительное вы и сами знаете, из того, что я помню. Помню, что трудно было. Работать приходилось много. Я ведь в войну на заводе работала. А вот хорошо помню, как девчонкой у окна сидела, даже запах жасмина тот помню. Вот это удивительно, правда? В старости только и вспоминаешь что детство. Я даже мужа своего меньше помню, чем отца. — Увидев вопрос в глазах собеседника, она пояснила: — Муж после войны умер, а отец в двадцать шестом. Отца помню, а мужа нет. Да вы пейте чай, Борис, пейте. И варенье ешьте. Я еще подложу. Ешьте. Его много.

— Да я и пью, и ем, не волнуйтесь, спасибо.

«Конечно, в историю входит только распятый», так говорит Илья Тимашев (Илья Тимашев был его новый знакомый, старше его шестью годами, профессиональный философ, любил говорить, как он это называл, «символами», но Борис гордился и тщеславился таким знакомством, тем, что с ним на равных беседует новый московский Чаадаев, так он в свою очередь определял Илью, и что он его понимает и в состоянии с ним полемизировать), что обычным образом человек и знать не хочет, что творится в истории и во вселенной, о борьбе между жизнью и смертью, что инстинкт самосохранения убирает эти конечные вопросы, способствуя спокойному и беспечному существованию, но на свой лад история касается всех, оставляя отпечаток на каждом человеке, — вот что существенно. Но Илья не во всем прав, — говорил он себе, глядя на Ольгу Александровну, — и безо всяких там исторических переломов и изломов жизнь каждого человека трагична. Каждого данного человека хотя бы потому, что он неминуемо умирает. В этом трагедия каждого живого существа. И в конце концов все злые силы в истории как раз тем и заняты, что используют эту величайшую несправедливость мироздания». Мысль показалась ему глубокой, и он решил ее при случае додумать. Пока же он смотрел на тяжелое лицо старухи, все в пигментных пятнах, на ее толстые морщинистые руки со складками, которые в этот момент придвинули ему чашку

с вновь налитым чаем, и по инерции задал еще один столь же нелепый, как и предыдущие, вопрос:

— А квартира у вас в детстве была большая?

— Пять комнат.

— Ого! Если по нынешним временам и меркам, то...

— Да нет, нас же одиннадцать человек было. Дед с бабкой отцовские и бабушка с материнской стороны — трое, отец с матерью — уже пятеро, две маминых сестры, считайте, уже семеро, мы с сестрой и брат — десять, и еще жила у нас двоюродная сестра, дочка умершего папиного брата. Вот и судите сами — как раз точно одиннадцать. А теперь смотрите: комната для отца с матерью — раз, для теток с кухней — два, для нас с сестрой — три, для деда с бабкой — четыре, для маминой мамы — пять, и брату приходилось еще у нее ночевать в комнате, пока он в Петербург не уехал. Хорошо хоть, что прислуга у нас была проходящая и ей комната не требовалась. Так что пять комнат не очень-то и хватало...

— А после революции как жили? — спрашивал Борис, чувствуя, что все больше и больше впадает в дурацкую роль интервьюера, задающего дежурные вопросы.

— Обыкновенно. Правда, все разъехались по разным местам, но я оставалась с отцом, я была младшей. А он стал, как тогда говорили, красным командиром производства, был директором фабрики, и мы жили неплохо, а в двадцать шестом умер. Но я к тому времени уже была замужем. Да, вот и прожила жизнь, а вспоминается только детство.

Борис хотел спросить, были ли у нее дети, как фамилия их соседа-художника, который рисовал и ее, и сестру, как вспоминается ей школа и почему она стала преподавать русский язык и литературу, что за институт она кончала, каким образом, будучи, очевидно, филологом, она работала на заводе, что заставило ее туда пойти, кто был ее муж, кем работал, но это походило бы уже на допрос. А спрашивать, не одиноко ли ей живется, было нелепо, и так было видно, что одиноко. Он допил последний глоток чая, подумал, было взять новую конфету, но сладость пришлось бы запивать, а просить еще чаю не хотелось, чтобы не затягивать сиделок, и он сказал, отодвигая чашку:

— Спасибо большое.

— Не за что. Может, еще? Да, вы не стесняйтесь, Боря.

— Спасибо. Я и не стесняюсь, но и в самом деле хватит. Я, пожалуй, пойду. Мне пора. Было очень приятно.

— Ну что ж. А я тогда телевизор включу. Я и при вас хотела, да побоялась, что вам не интересно будет. Там сейчас мультфильмы дают.

Она поднялась и, переваливаясь с боку на бок на своих распухших ногах, подошла к козетке, села спиной к нему, лицом к телевизору, шелкнула переключателем. Телевизор, нагреваясь, загудел, и через минуту засветился экран, послышалась какая-то детская песенка, а потом появилось и изображение: весело маршировавшие по заснеженному полю лесные животные. Борис подхватил свою сумку с водкой, колбасой, маслом и сыром. Было видно, что старуха так же, как была рада его приходу, рада, что остается одна наконец, в привычной обстановке, и ждет не дождется его ухода. Она сидела в своем темно-синем платье с разводами цветов и, не поворачивая в его сторону головы, смотрела на экран. То ли она просто устала от вторжения в ее жизнь инородного тела, то ли просто очень хотела посмотреть телевизор, с таким же неистовым желанием, какое бывает только у маленьких детей, когда они просят полюбившуюся игрушку, не обращая внимания ни на какие препоны. Как бы то ни объяснять, во всяком случае он был уже лишний.

– Я пойду, Ольга Александровна...

Она подхватила и засемила за ним следом к двери. Не заходя в прихожую, она спросила:

– Дверь сами сумеете открыть?

Ей так по-детски хотелось к экрану, что она даже не говорила обычных в таких случаях слов: «заходите еще», «была вам рада», «спасибо, что зашли». Не успел он справиться с замком, как она сказала:

– А потом сами дверь захлопните... Ладно, Боря? – и припустила назад к телевизору.

Борис тащился по уже темной улице, перепрыгивая через черные лужи, обходя слякоть. «Ну и что? Хорошо ли я поступил, что влез в ее быт, как естествоиспытатель? Фу, стыдно! Но как будто ничего не было! Ни войн, ни революции, словно не было истории». Он проходил мимо магазина, где покупал водку (магазин был уже закрыт) и где так про себя негодовал на мужиков, не видящих в жизни ничего, кроме водки. «Какое удивительное свойство у человека – все забывать или не обращать внимания на то, что тебя впрямую не касается. Это, конечно, дает возможность с чистой душой начать жизнь заново. Не ей, разумеется, а ее детям, внукам, если б они были, народу, человечеству. Но это и страшно – эта беспамятливость. Значит, все те же ошибки, преступления, злодейства, глупость, которые были в истории, могут сызнова повториться, хотя против них из века в век изо всех сил предупреждают лучшие умы и души человечества. А мы живем так, как будто ни Шекспир, ни Достоевский никогда не существовали на све-

те!» — вдруг вспомнил он свою мысль, пришедшую ему в магазине в окружении алкашей. И подивился кругу, который прошло его размышление. А может, лучше, точнее назвать это топтанием на месте? — одернул он себя. «Но это же важно! Не поняв этого, жить нельзя. Вот она говорила, что пока она жива, то и сестра ее жива, потому что есть память о ней, есть в мире сердце, где живет эта не очень удачливая оперная певица. Потом они обе будут живы, пока жива и помнит их племянница. А потом? У кого в памяти? У меня? Допустим. Но и я не вечен, да и за заботами и забыть могу. Как все хрупко! Они обе в общем-то уютно устроились в своем уголке, вне вопросов, вне проблем, вне истории. Но как ты относишься к истории, так и она к тебе. И приходит смерть, и она потрясает. И, спасаясь от памяти, от надвигающегося на тебя, стараешься вообще ни о чем не думать... Глупо, глупо! Во всяком случае, я стараюсь жить иначе, взять историю за горло. — Сумка на длинных ручках моталась и раскачивалась, мешая идти. — Но кто знает, как суждено прожить мне?»

Вечером, как он и предполагал, пили и пели. Больше к ней он не заходил, а через год от случайных знакомых услышал, что Ольга Александровна умерла. Как это произошло, кто был при ней, кто ухаживал, кто хоронил, кто провожал на кладбище и было ли кому этим заняться, он так и не узнал. И от этого было горько, стыдно и страшно. И он не мог об этом думать, но и не думать не мог тоже.

*Декабрь 1981 — январь 1982*

## Няня

**Я** готовился пойти в душ. Халат, чистое белье, махровое полотенце из шкафа — все отнес в ванную. Домашние брюки, драные, но любимые и, главное, уютные, и рубашку снял, бросил в «грязное». Из душа всегда выходил внутренне подтянутый, довольный собой, а волосы, просохнув, становились шелковыми и даже немного вились. Зато нянька наша, не наша, конечно, а с трудом раздобытая для сына, о мытье отзывалась неодобрительно. «В Европе, — говорила мне обычно моя первая жена, иронически усмехаясь в такие минуты, — душ каждый день принимают. А то и два раза в день». Я с ней соглашался, но добавлял, что для этого и быт иначе устроен, и квартира чистая, и посуда всегда вымытая, и в гости на всю ночь играть в преферанс не закатываются. А ведут более размеренный образ жизни, за книгами, за письменным столом. Но это была эпоха «застойного» и самого веселого времени в советской истории. Был бесконечный маскарад и карнавал. Под песни Окуджавы мы воображали себя благородными дамами и кавалерами, чувствовали себя как бы в светлом пушкинском времени. На эту свободу нужно было время. Денег не было, но няньку для сына мы хотели. Ибо и в пушкинское время родители тоже не занимались детьми, по малолетству с детьми сидели няни, а потом начинались гувернеры. Моя нынешняя жена как-то сказала: «Богат русский язык. Что делают няни и бабушки с детьми? Не воспитывают, не образуют, а *сидят*. Гениально. Как заключенные».

В этот застойный период институт няnek был своеобразным. Вывешивали на заборах объявление, а потом к тебе приходили наниматься разные сомнительные особы. Помню одну, широкоплечую, в пиджаке, которая объявила, что ехала к нам из загорода, будет жить у нас, и уже сегодня останется, поскольку приехала издалека, из Александрова, что мы можем больше ни о чем не беспокоиться, работать, ходить в гости, она все берет на себя. Глаза были серые и очень решительные. И жене, и мне она сразу стала говорить «ты». Мы спросили, наконец, ее паспорт. «Вы что, человека



по лицу различить не можете? Я же не в милицию пришла, а к приличным людям. И прописка мне у вас не нужна. Нужно, чтобы ваш сынок вырос здоровым». Но сверкавшая во рту фикса меня тоже смутила. И, пересилив интеллигентскую робость, которая всегда возникала, когда я чего-то должен был требовать от незнакомых людей, я все же настойчиво попросил показать паспорт. «Боишься, что ли?» — спросила она, употребив слово более грубое. «Знаете, вы нам не подходите», — сказал я, ненавидя свой интеллигентский извиняющийся тон. «Ладно, покажу, — возразила она, неохота ей было никуда на ночь глядя ехать, тем более в такую даль, в Александров, — только паспорта у меня нет. Есть только бумага об освобождении». И она вытащила мятую-пермятую бумагу из черной дамской сумочки. Мы с женой остолбенели и бумагу смотреть не стали. Женщины всегда решительнее. «Ну-ка, подымайся и топай отсюда, — резко сказала жена, — пока милицию не вызвала!» Тетка встала, но с места не сдвинулась, только подбоченилась: «А ты мне дорогу туда-обратно оплати. Я ведь по твоему объявлению ехала, деньги на проезд занимала!» Жена вспыхнула, а в гневе она была не подарок, я, во всяком случае, ее в такие минуты побаивался. Где и силы у Лильки против такой бабищи нашлись: она схватила ее за воротник пиджака и, подталкивая коленом, поволокла к двери. Но у двери та уперлась: «Под дверью сяду, всю ночь сидеть буду. Не на что мне ехать! Понятно?» Я спросил: «Сколько?» Услышав ответ, сунул ей в карман пиджака трешку, и мы с трудом выставили ее за дверь. Больше объявлений давать не решались. Да и жена еще вспомнила, что Александров — это тот самый город, куда ссылались за сто первый километр те, кому после тюрьмы не разрешена была Москва.

Поэтому когда моя бабушка, жившая на улице маршала Конева, сидя на лавочке перед пятиэтажкой, услышала трогательную историю про деревенскую тетку, которую невестка выгнала из квартиры, и та ночевала по соседям, она нам сразу позвонила. Приехала эта тетка из белорусской деревни к сыну, работавшему уже год в Москве милиционером. Он ее сам из деревни и выписал, дом ее продал, а деньги — как бы взнос невестке за житье в московской квартире. Но невестка все равно ее, особенно спьяну, на улицу выгоняла, и вот Домна Антоновна сидела на лавочке, плакала и жаловалась соседкам на жизнь: «И жена Генина пьет, и теща. Напьются, так жена Геню (так она сокращала имя сына — Геннадий) к себе в постель не пускает». Бабушка Настя осторожно спросила, пойдет ли она сидеть с трехлетним мальчиком и что за это возьмет. Она сразу сказала: «Надо у Гени спросить, если разрешит, то пойду. Да

ночевать бы дали, да исты что-нибудь, вот и скажу спасибо». Старухи на лавочке накинулись на Домну, чего, мол, у сына спрашивать, раз он позволяет ее на улицу выгонять. Но она твердо стояла на том, что сын не виноват. Заступиться за нее он не может, потому что жена ему самому прописки не дает, и он никаких прав на жилплощадь не имеет. Хотя когда три года в милиции отработает и за это московскую прописку получит, он бросит свою жену-пьяницу, уйдет от них, дочку по суду заберет и в интернат определит, а сам комнату получит, и мать к себе возьмет, чтоб за порядком приглядывала и обед готовила.

Вернувшись от Гени, она долго, по рассказу бабушки, сморкалась в свой коричневый платок, потом спросила: «Геня велел узнать, чи они очень богатые?» Бабушка ей сказала, что внук живет в одном из профессорских домов в Тимирязевском районе, что там два профессорских дома друг напротив друга и двор хороший, тихий. Дед внука был профессором, но дед давно умер, а жена внука работает экскурсоводом, а сам он аспирант, получает маленькую стипендию, так что вот за стол и постель могут пустить. Домна снова ушла, потом вернулась, сказав, что без денег Геня не велит идти. После чего бабушка позвонила нам, передала все разговоры и добавила, что и без денег пойдет, потому что деваться Домне некуда. Но нет, та чувствовала свою полную зависимость от сына, и без денег не шла. Тогда, посоветовавшись, мы решили, что если от ничего (от нашей зарплаты) отрезать чего-то, то меньше у нас не станет. И предложили ей тридцать рублей. Никакой символики мы в эту цифру не вкладывали. Не тот был сюжет.

Когда она появилась у нас, мы были поражены ее худобой и странными привычками. Платье на ней было плоское и длинное, висело, как на вешалке-манекене. Вначале мы думали, что вот, будет у сына своя Арина Родионовна, будет рассказывать народные сказки, прибаутки и песенки, услышим мы своеобразный народный язык с примесью белорусских словечек. Сказок и песен она, правда, не знала, но язык точно был своеобразный. Снимая сына с горшка, она брала лист газеты и говорила, при этом заглядывая нам в глаза и надеясь на наше одобрение: «Сейчас сраку-то досуха вытрем». И терла, почти втирала газету в попку сына, так что тот корчился. Впрочем, чего было и ждать: жизнь ее была столь тяжела и ужасна, что ей было не до сказок. Муж сгорел еще в начале войны, почки не выдержали той водки, что мужики пили в деревне. И она осталась вдовой с четырьмя детьми — двумя дочерьми и двумя сыновьями, но из сыновей выжил младший — Геня. Хотя про себя иногда она говорила, поглаживая рукой по плоской груди

и плоскому животу, раздвигая узкие губы: «Хороша не была, а молодая была». Так намекала она, очевидно, на некие свои любовные приключения. Надо сказать, трудно было вообразить, что какой бы то ни было мужик, если только не с дикого перепою, польстился бы на эту вешалку для платья. Вспомнив это приятное, она затягивала тоненьким голоском какую-то мелодию без слов.

Была она высокая, худая, плоскогрудая, платье носила без пояса, длинное и обтягивающее, скорее похожее на длинную рубашку. И когда она слезла с голодной диеты, на которой существовала у сына и невестки, она стала немного толстеть — но лицо не округлилось, не потолстели ни плечи, ни руки, а просто появился на худом теле выпирающий животик, словно на остальных местах и мяса не было, где бы можно было жиру отложиться. Ела она много и жадно, зачерпывая все ложкой, полную подносила ко рту и словно опрокидывала в горло. Но в какой-то момент отодвигала резко от себя тарелку или переворачивала вверх дном чашку и ставила ее на блюдце, отрывала и произносила: «До!» или «Досыть!». Это означало высшую степень насыщения. Отрывки своей она нисколько не стеснялась, напротив, даже как будто гордилась: вот, мол, как она сытно ест, что может даже отрыгнуть. Но кроме еды и связанных с нею столовыми приборами, самыми простыми: глубокой тарелкой, столовой ложкой, чашкой и блюдцем, — другими благами цивилизации пользоваться она не желала. Я видел однажды, как на даче, построенной тестем и тещей, куда на лето мы вывозили сына, она сидела на траве, вытянув свои жилистые ноги, перегнувшись в поясе, склонившись над стопами, кухонным ножом обрезала ногти, так что кусочки летели в разные стороны. Теща, увидев эту сцену, сказала дочери, то есть моей жене: «Меня сейчас вырвет». Потом крикнула в окно Домне: «Домна Антоновна, да вы бы ножницы взяли». Но та, кряхтя, отрицательно мотнула головой: «Да уж, поди, все покончила и так!» Жена выскочила на крыльцо и резко сказала: «Еще раз увижу, как столовым ножом ногти режете, уволю. Вы еще и Тимку этому научите! Я требую в своем доме гигиены!» Домна съезжилась, словно над ней взметнулась рука ее ударить, и захныкала: «Не буду я вашего Тимку этому учить. А с бабой Доней ему хорошо, она его жалеет». «Бабой Доней» называла она сама себя. Да и понятно было, что мы без нее уже не обойдемся. У нас появились не только дни для библиотеки и работы, но и свободные вечера, даже свободные ночи, которые мы могли просиживать у друзей за выпивкой, анекдотами, разговорами, играми в буриме и т.д.

Но с гигиеной и мытьем дело по-прежнему обстояло не самым лучшим образом. Мыться она ужасно не любила. Не говорю о ван-

не, даже душ вызывал ее устойчивую неприязнь. По ее понятиям достаточно было раз в месяц, а то и в два, сходить в баню. Как-то, когда я вылез из душа, раскрасневшийся от жара, чистый, с чувством свежести в теле и одежде, и как бы в воздух бросил, что хорошо бы так каждый день, словно заново рождаешься. Домна посмотрела на меня с испугом, как на слегка тронутого умом, и ойкнула: «Каждый день мыться! Да ведь так сдохнешь!»

Не собираюсь говорить об органическом неприятии русским народом чистоты, — это было бы неправдой. Но, будучи и сам наполовину деревенским, я бывал в той деревне, откуда была родом мама, — и прекрасно помню редкое мытье, раз в неделю банька по-черному, откуда вылезает весь в саже. Неслучайно ходил в конце семидесятых анекдот об известной нашей певице народных песен, приехавшей в Париж на гастроли. И на вопрос горничной, когда-де русская дама принимает ванну, ответила, что по субботам. Но сколько было людей, совершенно не воспринимавших этого анекдота. «А что, разве кто по пятницам моется?» Но бывает жизнь так построена, что тема мытья тела даже в голову не придет. Жизнь Домны Антоновны, нашей воображаемой Арины Родионовны, складывалась так, что ненормальность стала нормой.

И при ее жизни о каждодневном мытье и думать не приходилось. Страшная все же была жизнь. Во время войны в Белоруссии она жила в землянке. Немцы искали партизан, деревню сожгли, пятнадцатилетнего сына ее застрелили, почему-то решив, что он партизанский связной. Осталось трое. Сама выкопала землянку, старшая дочка Наташка немного помогала. Плутала слезы, рыла, устраивалась, делала из земли полки и лежанки, ставила кое-какие чашки и плошки, лежанки покрывала тряпьем и ругалась матом. Погодки Геня и Маша лежали в грязи и ревели. Геня уже ходил, а Машка была еще пятимесячным младенцем. Потом начали болеть, больше всего дизентерией маялись. Питались картофельными очистками, подгнившей ботвой да корой. Воду из болота брали. Стирать было негде, да и нечего. Все, что было, было на них. Да и какой туалет — ближайшие кусты. И в холод, и в дождь. Гене как-то совсем стало плохо. И вот на санках, местами по глубокому снегу, двадцать километров тащила до немецкого госпиталя. Дали им там лекарства, помыли, покормили, на три дня оставили. Вылечили, короче. А младшая, уже годовалая, тем временем на старшую девятилетнюю оставалась. Подхожу к землянке, рассказывала Домна, хихикая, санки еле волоку, тиф у меня тогда начинался, а в землянке старшая младшую укачивает: «Спи, блядишша, спи! А то matka придет — пизду тебе надерет!» Мы удивлялись ее хи-

хиканью, пока не поняли, что матершину она воспринимала как юмор. И о своей жуткой судьбе рассказывала просто, эпически спокойно, даже о том, как немецкий офицер вывел их всех из землянки, целился в них из пистолета, говорил: «Пиф-паф!» Жестами показывал, как сбрасывает их трупы в землянку и заваливает землей. И хохотал, довольный собой. Она именно повествовала, как будто все так в жизни и должно было быть.

А я ничего подобного не знал, не испытал, всегда в квартире ванна была и душ, всю жизнь в городской квартире, исключая детские годы. Почему-то стыдно становилось от рассказов Домны, будто я виноват в такой ее жизни. А может, при высшем, мировом мистическом раскладе и виноват, ибо говорится: у неимущего отнимется, имущему дастся.

Старшая дочь Домны в начале пятидесятых вышла замуж и осталась в деревне, а младшая Маша уже в шестидесятые раньше даже своего брата приехала в Москву и стала работать официанткой в ресторане, обеспечив себе жизнь. Тогда я почему-то впервые понял, что работа при пище, в тепле, при возможных чаевых, считается у «простого народа» жизненной удачей. Она-то и посоветовала брату Гене милицейскую карьеру в Москве. Мать она навещала нечасто, но очень запомнилась мне: хорошей мордочкой, черными вьющимися волосами, веселым глазом, умением поиграть с сыном. Один раз она шумно восхищалась Тимкой, и Домна вдруг вполне серьезно сказала ей, почти посоветовала, указывая на меня: «А ты Глебу дай, и у тебя такой же будет». Дочка блеснула глазками и засмеялась. Смутился только я.

Зато сын приходил к нам два раза в месяц, долго стоял в коридоре, потом долго вытирал башмаки о коврик в прихожей, проходил в комнату, где мать жила с нашим сыном. Там долго молчал, потом спрашивал: «Ну как?» И мать торопливо отвечала: «Да ничего, Геня. Не обижают. И малец послушный». Первый раз он как бы навещал, заботился, все ли с матерью в порядке. Второй раз приходил забрать зарплату матери. Объяснял, что все ее деньги на сберкнижку на ее имя кладет. Был он степенный, всегда гладко выбритый, видно, что чисто вымытый, всегда в форме и непременно в свежей рубашке. Сыну моему он подарил кокарду, и Домна, когда мы приходили с работы, всегда подсовывала сыну кокарду как игрушку. И нам поясняла: «Геня мальцу подарил. А уж он как об этой кокарде обмирает. Вырастет, тоже, наверно, милиционером станет. А что – хлебное место...» Хотела нам показать, какой Геня добрый и заботливый, ибо чувствовала наше к нему нерасположение. Жена так просто считала, что он обирает мать и деньги кладет

на свою сберкнижку. И старшая дочь Домне о том же писала (она нам ее письма показывала), сердилась, что мать не ей, в нищую деревню, посылает деньги, а отдает брату в «богатой Москве». Надо сказать, что Геня старшую сестру во многом обошел. Скажем, получил от матери доверенность и раз в полгода ездил в деревенский сельсовет, где копили к его приезду пенсию матери, и получал ее, естественно, тоже забирал себе.

Но мать он как-то по-своему жалел. Я даже видел, как один раз, глядя в сторону, он гладил ее по плечу. Нежнее этой ласки немислимо и вообразить для такого, как он, подумал я тогда. На мои слова, сказанные мною Домне после его ухода, что негоже ему так мать обирать, нянька отвечала, что его собственные деньги, его милицейскую зарплату его жена, невестка то есть, отбирает, а сама пропивает все с любовником: «Как Геня на дежурство, к ней мужики сразу, у них вся семья такая. И мать ее пьет, и отец пил, а сестру Гениной жены всех родительских прав лишили, так она дите свое бросила и с ними теперь живет, и каждый день нового мужика водит, с того и кормится. Да холодильник у них все равно всегда пустой, сколько бы Геня еды ни приносил, у них в милиции заказы дешевые бывают, — все сжирают. А деньги все на водку тратят. А мой Геня у меня никогда не пил и теперь не пьет. Он ждет, пока его пропишут, потому и терпит, — говорила Домна Антоновна, — а когда у него право будет, он через суд с ними квартиру поделит и уйдет от них. Да они его все не прописывают, боятся. Но в милиции ему уже обещали комнату дать с пропиской. А их он и засудить тогда сможет, и всю квартиру себе забрать. Нигде не работают, а каждый день пьют, нажрут-ся своей водки, наблюют, так в блевотине и спят, ей-ей! А потом даже и душа не примут, и сами не подмоются, и срач свой за собой не уберут. Геня там все чистит и моет». Это было единственный раз, когда Домна положительно упомянула душ. Как рассказывали бабушкины соседки, невестка Домне мыться в ванне не разрешала и не кормила. Прежнее отсутствие еды она у нас наверстала, а равнодушие к ванне сохранила, хотя руки мыла несколько раз в день. Но ванну принимала не чаще раза в месяц. Зато уж тогда лежала и, казалось, просто отмокала, чтобы струпяя грязи сошли с нее. Увы, это случалось весьма не часто. Но и зрелище было, когда она вдруг за обеденным столом хватала обеденную ложку, запускала ручкой вниз под свое мешком висевшее платье и, кривя лицо от наслаждения, принималась чесать спину! Жена уже молчала, отводила глаза. Ссориться не хотелось, поскольку Домна и впрямь дала нам свободу.

Она спала в комнате сына, где кроме детской кроватки стояла широкая тахта. Тахту на ночь она застилала своей собственной коричневой простыней и огромным одеялом с пестрым пододеяльником, пошитым на деревенский манер из разных кусочков ткани. Постель стояла поначалу сутками небранная, но как-то после замечания жены Домна среди дня поверх одеяла начала стелить наш шотландский плед. Когда мы уходили в поздние гости, она брала Тимку себе в постель, чтобы ночью к нему не вставать. Правда, Лилька следила, чтобы туда же были перенесены Тимкины простыня, подушка и одеяло. Он укладывался, грустно смотрел на уходящих родителей, а Домна махала на нас рукой: «Идите! Мы с Тимочкой спать будем». И укрывала поверх его одеяла своим пестрым. А мы мчались в гости и проводили время, будто и забот у нас семейных никаких не было, словно молодые и бездетные.

Днем она одевала сына, ходила с ним гулять. Любила знакомиться с прохожими. Подводила сына к кому-то и говорила: «Дай дяде здарсьте». Она была очень высокая, поэтому ходила сутулясь. Все окрестные домработницы и няньки Домну знали и рассказывали нам, как Тимка любит бабу Доню. Одна история была такова, что мы растерянно даже не знали, как ее воспринять. Няньки и домработницы часто водили выпасаемых ими хозяйских детей в парк «Дубки». Там они сидели на лавочках и болтали, а дети резвились перед их глазами в песочнице и на площадке с качелями. Чтобы дети не разбегались, няньки запугивали их, что в парке между деревьев бродит волк, да, может, и не один, а с голодной волчицей, поэтому далеко от нянек уходить нельзя. Площадка — как охраняемый загон. Именно там как-то Домна Антоновна и устроила спектакль для товарок. Она вдруг спряталась за дерево. Но Тимка был увлечен игрой и не замечал ее попыток напугать его. Какая-то из нянек пришла Домне на помощь: «Тимочка, а где баба Доня? Ты не видел?» Тимка поднял голову и огляделся. Домны нигде не было. «Баба Доня», — позвал он тихо. В ответ молчание. А она не раз говорила ему: «Вот будешь плохо себя вести, уйду к другому мальчику». И Тимка решил, что он чего-то нашалил, не заметив этого, и пришла расплата: баба Доня бросила его. А где-то за кустами уже наверняка притаился волк. Открыл рот и заревел во весь голос, точнее даже, зарыдал, закричал с всхлипами, с каким-то странным подвыванием. И тут-то и произошла история. Через «Дубки» шла домой с работы Лилька. Бросив на землю сумку с продуктами, она понеслась на рев сына. Но Домна соображала быстро. Не успела жена добежать к ревушему сыну, как Домна молнией метнулась из-за дерева и уже сидела рядом с сы-

ном, прижав его голову к своей груди, так что тот и пикнуть не мог. И приговаривала: «Ну вот, малец, вот твоя баба Доня! Не пугайся, она тебя никому в обиду не даст. Ух ты, как бабу Доню любит! А уж как она тебя жалеет!» Такой мужик Марей в юбке! Тимка успокоился и, не видя еще мать, обвинил руками шею бабы Дони. Но лицо няньки, как потом рассказывала Лилька, было оскалено прямо как волчье.

В этот раз Домна обвела жену, сказав, что решила поиграть немного с мальцом в прятки. Лилька не нашла, что ответить, только резко сказала: «Пожалуйста, впредь без таких игр!» Домна обратилась к Тимке, будто это была их общая затея: «Слышь, Тимочка, что мама говорит? Не будем больше так играть». И впрямь, Домна стала замкнутее, хотя с товарками болтала по-прежнему, но в «Дубки» ходить перестала. Они теперь больше гуляли во дворе, тем более что зелени здесь тоже было немало. Два газона с кустами сирени по бокам, два ряда лип меж двух профессорских домов, аллея между ними, скамейки, где Домна сидела либо, сутулясь, ходила за Тимкой, когда он катался на своем трехколесном велосипеде. Машины во дворе почти не ездили.

Геня продолжал навещать мать по-прежнему два раза в месяц. Но начал с ней больше разговаривать. И как-то Домна, очень гордясь, сказала, что Геня нашел себе справную женщину и скоро от этой своей жены-пьянчужки уйдет. Может, и дочку заберет. В интернат он ее отдавать раздумал. Наверно, ей с внучкой придется сидеть. И жена, и я немного занервничали, привыкнув к вольной жизни. Но, как и обычно, понадеялись, что невыгодно Гене снимать свою родительницу с места, где ей платят деньги, которые идут ему в карман. И все-таки жизнь вдруг изменилась. Никого себе Геня не нашел, но слух этот он потихоньку внедрил в сознание своей жены, и та вдруг испугалась остаться без мужа с ребенком на руках. Дальше произошло невероятное. Она бросила пить, выгнала сестру в ее квартиру, туда же отправила и мать. А сама устроилась работать. И тут-то и впрямь понадобилась им Домна – сидеть с дочкой.

Мы просили хотя бы пару месяцев повременить, поскольку у меня как раз должна была быть защита кандидатской. Но она ни в какую: «Геня велел». Мы еще боялись, как перенесет ее уход Тимка, за два года, казалось, сроднившийся со своей нянькой. «А вы ему скажите, мол, баба Доня поехала к внучке погостить, а скоро вернется», – учила нас Домна. Быстро собрала свои пожитки, и уже через час за ней зашел Геня, сказав, что милицейский газик уже ждет внизу. Тимка, словно чуя беду, затаил в своем углу,



расставляя зверей и играя в важного директора зоопарка. Только когда хлопнула входная дверь, он поднял голову. Мы робко подошли к нему. «Она ушла?» — как-то настороженно спросил сын, почему-то назвав няньку не «баба Доня», а отчужденно «она». Наперебой мы стали его утешать, что баба Доня уехала только погостить, что через неделю она вернется. Он недоверчиво смотрел на нас, чуя неправду. Потом так и спросил: «Вы неправду мне говорите?» Я сказал: «Что ты. Конечно, правду». Но он покачал головой и вдруг сказал уверенно: «Нет, неправду». Мы растерянно замолчали.

И вдруг Тимка вскочил с пола и закружился по комнате, приплясывая и отбрасывая ногами игрушки. И закричал громко: «Она ушла. Она ушла навсегда! Она никогда сюда не вернется! Ура! И никогда больше не будет меня пугать! Ура!» Оказывается, тот случай в парке был не единственным, но она запрещала сыну даже заикнуться кому-нибудь об этом, страшая, что баба Доня уйдет, а родителям не до него. А мы, занятые нашим самоощущением духовного возврата в прошлое русской дворянской культуры, даже не замечали вопросительных глаз сына, его нежелания нас отпускать надолго из дома. Презирая себя, я все же позвонил бабушке, рассказав про ее протезе. Бабушка рассказала соседкам. Все решили осудить Домну. Но Домна и не думала стесняться, говоря, что без нее родители Тимочки совсем бы пропали, *сидеть* с сыном не умели и ухаживать тоже. А она всем нужна. Вот и сыну пригодилась. На том все и успокоились.

2008

## Милицейская фуражка

Лет пятнадцать тому назад, возвращаясь с дачи, где он гостил у приятеля, Леня Гаврилов, молодой, спортивный, по тем временам социально благополучный и житейски устроенный (он работал руководителем группы в одном из архитектурных НИИ), был обременен поручением. Ему предстояло проводить до московской квартиры жену приятеля и их пятилетнюю дочку. День уже шел к вечеру, и, конечно, им казалось страшновато ехать одним. Мало ли кто может привязаться по дороге!.. В сопровождении мужчины все же спокойнее.

Разумеется, Леня не возражал. К тому же ему нравилась Татьяна, точнее подобный *женский тип*. С ним когда-то в одном классе училась рыжеволосая Оля (как и Таня, *дочка писателя*), требовавшая *от мальчиков* вежливого поведения, о котором обычные школьницы даже не помышляли. Она — по ее собственным словам — *привыкла* к тому, чтобы при ней не сквернословили, не мусорили, подавали ей пальто, целовали ручки, вели умные разговоры, а вечером провожали домой, не пытаясь при этом *лапать*. В ее мире ценились неординарность, светскость, остроумие. И Лене льстило, что из всех одноклассников Оля именно его выбрала поверенным своих дел и амурных переживаний, как бы приобщая тем самым его, сына обыкновенного полковника из инженерно-строительной академии и учительницы математики, к рафинированно-интеллигентному обществу.

Надо сказать, что с детства Леня прекрасно рисовал, но родители относились к этим его занятиям с сомнением и без особого восторга, хотя не бранились. И только Оля говорила ему, что он *талант* и непременно должен свое *дарование* развивать. В конце концов он поступил туда, где художественные способности и трудолюбие были совмещены в самой основе — в Архитектурный. И проведя пять лет за бесчисленными чертежами и макетами, пережив множество «сплошняков» и научившись путешествовать по дальним городам и деревушкам, делать слайды, выдумывать острые словечки и хранить верность курсовым друзьям, он превра-

тился со временем в высокопрофессионального и неплохо зарабатывающего архитектора. И теперь он чувствовал себя спокойным и уверенным, освоив желанное социальное пространство.

Ему приятно было идти с Таней, сознавая, что оба они *одной культуры* (как у Киплинга — «мы с тобой одной крови, ты и я»), но при этом он еще и опекает ее *как мужчина*, защищает и отчасти даже *покровительствует*. Бывшую свою *симпатию* — Олю — он не видел уже много лет, а ему хотелось, чтоб она оценила его нынешний облик. И ко всем женщинам, напоминавшим ему рыжеволосую одноклассницу, он старался относиться по возможности *рыцарски*, оберегать от случайностей жизни.

Они шли по растрескавшейся асфальтовой дорожке. Таня держала его под локоть. И он с удовольствием ощущал ее полную, с прохладной и нежной кожей руку. Воскресный вечер отпускал дневную жару медленно. Воздух был тепл, а запах сосновой хвои и цветов, которые несла Танина дочка Настя, казался пряным и густым. Правда, среди кустов и деревьев, росших вдоль платформы, располагались как бы в естественном укрытии компании мужиков, распивавших разнообразное спиртное — от водки до портвейна. Впрочем, алкогольного разнообразия в те годы было не так уж много. Но вели себя выпивохи тихо, на асфальтовую дорожку не вылезали и не нарушали вечерней дачной идиллии.

Взяв в кассе билеты, они узнали, что нужный им поезд отменен, а до следующего оставалось еще минут сорок. В помещении станции было душно. На полу валялось несколько растоптанных или смятых сигаретных и папиросных коробок, раздавленные окурки, пара дотлевающих «бычков» и разбитая бутылка. Бутылочные осколки кто-то, видимо, подгрел ногой в угол, но невысохшая лужица дешевого вина издавала кисло-сладкий запах. Да и публика не радовала. Там сидели *местные*, причем не лучшая их часть: несколько приклатненных парней, куривших, сплевывавших на пол и говоривших нарочито громкими и натурально хамскими голосами, а также пара мужиков, пивших «из горл» какое-то темное вино, в просторечье именуемое «*краской*». Лучше уж на воздухе ждать!

Две имевшиеся на платформе скамейки были заняты немногочисленными дачниками, возвращавшимися в Москву. Зато охапки цветов и сумки, набитые «грушовкой» — мелкими и сладкими яблоками, — вновь вернули ощущение уютного дачного мирка. В ожидании поезда они прогуливались по деревянному настилу платформы. Таня шла между Леной и дочкой (одетой, как и мама, в джинсы и легкую курточку) — и рассуждала.

— Видишь ли, — говорила она, опираясь о его локоть, — мой Сашка — хороший врач и, наверно, мог бы неплохо зашибать. Уж на машину бы заработал! Но он считает себя ученым, пишет кандидатскую. У него есть *духовные ценности*. И я, хотя ничего в его медицине не понимаю, готова с дочкой *жить впроголодь*, — краем сознания Леня отметил, что при ее богатых родителях ей это не грозит, но все же порыв ее был *благороден*, и это он тоже отметил, — но я никогда не буду заставлять Сашу работать для денег. В конце концов, творческая реализация человека важнее всего на свете, особенно это важно для мужчины, — Таня не любила эмансипаторш и всегда подчеркивала свою женственность и зависимость от мужчины. — Кто я? Обыкновенный театровед, сижу в институте, хожу по театрам, концепций не создаю, пишу статьи — примерно так же, как вышиваю, стежок к стежку, но я *не творец и не работник*, — она выделила последние два слова. — А вы с Сашкой — творцы и работники, за что я вас и уважаю.

Они дошли до начала платформы, развернулись и двинулись в обратную сторону, по направлению к кассе и залу ожидания. Затем еще один поворот, и еще. Так ходили они минут десять, и, наконец, дочка Настя стала отставать, тихо поскуливая. Но обе скамейки были по-прежнему заняты, присесть некуда.

— Может, зайдём? — Леня кивнул в сторону станционного здания. — Там вроде свободные посадочные места еще есть. Присядем хоть ненадолго. А то Настенька, кажется, устала...

— Ты устала? — наклонилась Таня к дочке.

— Немножко, — она подняла на мать глаза с вопросом, правильно ли она отвечает, но не удержалась и добавила: — А все же давай сделаем, как дядя Леня предлагает. Посидим чуть-чуть.

Лавка, как и деревянный пол станционного помещения, была покрашена коричневой масляной краской. И если пол был затоптан и замусорен, то лавка выглядела облупившейся, с выцарапанными гвоздем или вырезанными ножом привычными грубыми словами. К счастью, Настя не обратила на них никакого внимания. Войдя, она сразу забралась на лавку и, подобрав под себя ноги, прислонилась к стенке, отдыхая. Взрослые присели рядом, продолжая беседовать, только тема невольно возникла новая.

— Я ненавижу, — Таня бросила раздраженно-неприятный взгляд на окружающую их грязь, — наше варварство, наше пренебрежение вроде бы мелочами — чистотой, порядком, опрятностью. И все это неумение жить прикрывается неумеренным хвастовством — причем во всех слоях. И у интеллигенции тоже. «У-у, мы ничего не делаем, бездельничаем, пьянствуем, но если надо будет,

*если прикажут*, то всех перешибем». Словно какая-то враждебность в нашей психе к цивилизованному образу жизни. Отсюда панибратство, амикошонство, равнодушие к внешнему облику, даже к языку, которым мы пользуемся. Мне иногда кажется, что это наше российское хамство всех затопило и никто не может поставить ему *преграду*.

Так получилось невольно, но Леня почувствовал в ее словах упрек себе. Он по-петушиному дернул голову вверх и оглядел залу. Напротив них, под большим листом в деревянной рамочке — расписанием электричек, сидели двое: парень лет семнадцати-восемнадцати с физиономией, покрытой красными бугорками не то прыщей, не то угрей, и белесыми — навывкате — глазами, рядом с ним пожилой мужик с багровым носом, щеками в прожилках и такими же белесыми глазами (дядя? отец?). Они грызли семечки, сплевывая шелуху на пол, и вроде бы закусывали ими портвейн, который прихлебывали прямо из горлышка.

— А чего Зинка? — спрашивал старший.

— Не дает. Двадцать копеек, говорит, еще набери, тогда вторую бутылку получишь. Я ей — завтра отдам! А она — нет и нет, — дальше последовал набор малосмысленных матерных слов.

— Ну и х... с ней! Будь!

— Сам будь!

Они сделали еще по глотку. Старший вытащил из кармана засаленного и потрепанного пиджака вареное яйцо, облупил его, бросил скорлупу на пол, откусил половину, а вторую половину передал младшему. Лене стало неловко перед Таней, что он, мужчина, как бы вынуждает ее слушать эту матерщину. А она в этот момент, отбросив носком туфли осколок бутылочного стекла от лавки, раздраженно сказала в пространство, к нему вроде бы не обращаясь:

— Откуда берется на наших пригородных станциях столько грязи и мусора?! И никто при этом не виноват!.. На дворе одна тысяча девятьсот восемьдесят первый, а мы как дикарями были, так дикарями и остались!

И тут уж Леня не выдержал. Чувствуя свою правоту, силу и уверенность, что в случае чего сумеет побить этих хиловатых пьянчуг, он встал перед ними и, показывая на шелуху у них под ногами, произнес властным тоном:

— Убрать надо! Вон урна в углу стоит.

Парень чуть не поперхнулся портвейном и злобно, но немного испуганно посмотрел на говорившего снизу вверх. У Лени промелькнула мысль, что сам бы он в такой ситуации, даже признавая правоту упрека, никогда бы не бросился подбирать с пола шелуху

руками, как он того требовал от парня. Но тот был еще ошеломлен и реальным смыслом произнесенных слов.

– Че? Че ты сказал? – оторопело вскинулся он.

– Говорю – убрать надо! Раз намусорили. Чтобы грязь не разводиться. Стыдно ведь.

Вступил старший:

– Че? Че мы тебе, уборщики или дворники?

Но младший, приподнявшись, выдвинулся вперед, как бы загородив собой пожилого:

– Че ты сказал? Ты постой, батянь, – попридержал он отца, – я сам. – И, устремив бешено-белесый взгляд на блюстителя чистоты, забормотал скороговоркой: – Пойдем выйдем. Слышь? Выйдем, а?

Теперь надо было отвечать Лене, да так, чтобы не потерять лицо и не осрамиться.

– Если ты сейчас встанешь и мы выйдем, – сказал он нарочито медленно и раздельно, – то ты там ляжешь. Так что выходить не надо, а вот убрать надо.

А поскольку парень рвался к нему, он мощным толчком посадил его на место. Но уже понимая, что силком их убирать не заставишь, а стоять над ними и вовсе бессмысленно, Леня повернулся к агрессивной парочке своей широкой спиной и, не торопясь, сохраняя достоинство, двинулся назад к Тане, иронически усмехаясь и досадливо дергая плечом.

– Вот ведь понесло меня, дурака, – сказал он, подходя.

Очевидно, Таня почувствовала свою вину за то, что втравила Леню в историю. Она поднялась, подхватила Настю и, не давая его противникам опомниться, сказала:

– Пойдем лучше по платформе погуляем, – и, предупреждая его естественное возражение, что, мол, убежать он не собирается, добавила: – Настя уже отдохнула. Не правда ли? – обратилась она к дочке.

– Конечно, мамочка, – послушно ответил наблюдательный ребенок, при этом еще немного и испуганный.

– Да и электричка скоро должна подойти, – продолжала Таня и, взяв Леню под руку, повела его к двери. За другую его руку уцепилась Настя. Но выйдя на воздух, Леня почувствовал, что напряжение и внутренняя настороженность не покидают его, а только усиливаются. Таня, полуоправдываясь, заметила:

– Нам всем урок: никогда нельзя связываться с быдлом.

А Леня все оглядывался, высматривая поезд. Ему хотелось поскорее попасть за стены вагона, чтоб уберечь Таню с дочкой от последствий нелепого конфликта. И последствия не замедлили.

Обернувшись в очередной раз посмотреть электричку, он увидел, что отец с сыном выкатились из станционного помещения и следуют за ними по пятам, размахивая руками и громко, но неразборчиво сквернословя. Он слегка приостановился, но Таня продолжала идти, словно не замечая ни пристроившихся за ними мужиков, ни напрягшихся мускулов на Лениной руке. Она опять говорила о том, почему она уважает своего мужа и Леню, какие они молодцы и творческие люди, всем своим видом показывая, что не собирается обращать никакого внимания на «распоясавшихся хамов».

И это явно выказанное презрение окончательно раззадорило отца с сыном, которые уже шли с ними вровень, перекидываясь словами, вроде: «В чужой огород влезут и там распоряжаются! Нам столичные не указ!» Или: «Начальников приказывать сейчас, ба-тянь, много, а как самим что делать, так их нет».

Старшего особенно раздражала Таня:

— Ишь, идет, хлебницей виляет! Отрастила себе хлебницу и в штаны засунула: смотрите на меня, мужики! А этот козел и рад перед ней выхваляться! «Убери! Убери!» Насрать на твое «убери!» Сам убери! Ети твою мать!..

Таня, сжав Лене локоть, чтоб не вмешивался, вдруг резко обернулась.

— А ну не матерись!- прикрикнула она на сквернословя. — Ты же старый! Неужели не стыдно?

Она так стремительно повернулась и так жестко это сказала, что пожилой хулиган даже отскочил. Таня, несмотря на свою стройность, была женщиной крупной, во всяком случае повыше пристававшего мужика. Немудрено, что он от неожиданности прынул в сторону. Но тут же распрямился, чуя поддержку молодого, который, весь кипя, нарывался на драку. И старик, и парень были распалены и тяжело дышали.

— Ах ты, гда! — ощерился пожилой, но все же на расстоянии. — Че говорит! «Стыдно!» Это твоему пусть будет стыдно, как он старому человеку замечания делал! Стыдно! Ети твою мать!

А молодой, более наглый и решительный, шагнул вперед и замахнулся на Таню кулаком. Настя взвизгнула. Леня успел перехватить его руку и завернул ему за спину так, что парень согнулся и выматерился. Продолжая его держать в полусогнутом состоянии и понимая, что избить его по своей интеллигентности он не сможет, Леня угрожающим голосом сказал:

— Если не перестанете хамить, сдам в милицию.

И пихнул парня на старика, понимая также, что и в милицию он его не потащит. Уцепившись за отца, тот на ногах устоял и заклекотал, захлебываясь словами и междометиями:

– Ты! Ты! Батянь, да он грозитя!.. Ух! Грозится!.. Да я!.. Ну? Че? Эй! Ты!.. Нх...й! Недорезанный! Ша!.. Ша!.. Ша я ребят позову! Они те покажут... Ты, батянь, постой!

А поскольку слова у одноклеточных никогда не расходятся с делом, то с последними словами в зубах он уже частил по ступенькам, которые спускались с платформы к выбитой тропке, бежавшей по направлению к винному магазину. Старик заковылял следом.

Таня взяла Леню за руку, как ребенка, затем прижала к себе Настю. Минуту или две они стояли так молча и в растерянности. А потом двинулись опять к началу платформы, *подальше от ступенек*. Шли, не разговаривая, почти бегством спасались. Но при этом другого не оставалось, как делать вид, что *все нормально*, что ничего особенного не произошло. О чем думала Таня, Леня не знал, сам же он мысленно корил себя: «Кретин! Кретин! Зачем полез? Пили бы они и пили, все равно их не исправить... А теперь влипли мы непонятно во что». Где-то в глубине сознания он сокрушенно понимал, что если бы сидели не пара хиловатых алканов, а четверо или пятеро здоровых бугаев, он бы не подошел к ним и не начал бы стыдить. Но от этого на душе стало сквернее, и ходу он этой мысли не дал. И так было не по себе. «Как он сказал – *недорезанный!* Как тот, который знает, что человека можно резать, зарезать, убить, взаправду это сделать, а не на словах». На спине проступила испарина: сумеет ли он защитить Таню с малышкой?

И тут на их счастье показалась долгожданная электричка. Они вошли в один из первых вагонов. За ними какая-то бабка с двумя сумками. Остальные пассажиры рассосались где-то по всему поезду. Таня жестом предложила им сесть у окна со стороны путей, а не платформы. Вроде как менее заметно. Электричка была местная, пришла раньше и до отхода оставалось еще минут восемь. Таня нервно рассмеялась и первый раз после столкновения произнесла:

– Вот так-то, Леничка! И это в конце двадцатого века! Неужели мы когда-нибудь цивилизуемся настолько, чтобы не нуждаться в охране, когда едешь в общественном транспорте?.. Воронков по ночам мы уже не боимся. А в электричке страшно. Как был интеллигентный человек беззащитен перед миром, так и остался. Я где-то читала, что на самом деле человечество делится на два вида – один, способный к развитию, а другой только *человекоподобный*, сохраняющий все зверские, даже каннибальские черты. И эти два вида не мирно сосуществуют, а по сути ведут борьбу, кто из них будет главенствовать на Земле.

Не отвечая, он подошел к противоположному окну и выглянул. Вдалеке на платформе, еще у ступенек, вилась комариная стай-



ка парней (человек семь или восемь), почти все покрепче и повыше обиженного. Но обиженный был впереди и если не предводительствовал, то во всяком случае указывал дорогу. Он бежал, почти прильнув носом к вагонным стеклам, вынюхивая и высматривая своих обидчиков. Стало ясно, что через минуту или две они будут у их вагона. Леня вздрогнул, представив, как дерется привокзальная шпана, используя все — от кастетов и ременных пряжек до ножей, нисколько не стесняясь своего численного перевеса.

— Успокойся, сядь, — сказала Таня. — Скоро уже поезд пойдет.

Леня вернулся на свое место, сел. И в этот момент дверь от резкого рывка раздвинулась. В первую секунду Леня не разглядел вошедшего, но тут же с облегчением вздохнул. Невысокий, хотя явно крепкий мужик, шагнувший в вагон, был *в милицейской форме*. Леня, правда, сомневался, что присутствие милиционера останавливает шпану, но шанс появился. Таня радостно ухватила Леню за плечо, шепнув:

— Ты знаешь — просто смешно: почти счастье при виде мента.

Запасмурневшее и испуганное личико Насти тоже просветлело.

Милиционер уселся у противоположного окна, со стороны платформы. Посидев минуту, он достал из кармана сигареты, положил на сиденье фуражку, пригладил ладонью волосы и двинулся в дальний тамбур — покурить. Опять они остались одни. Ведь шпана не знает, что в тамбуре — милиционер.

Но вот стайка привокзальных хулиганов уже у их вагона. В окне показалась прыщавая, белесоглазая, злобная физиономия. Обнаружив тех, кого он искал, парень аж просиял и хотел что-то крикнуть, но вдруг как-то глупо раскрыл рот и застыл. Проследив его взгляд, Леня понял, что хулиган заметил *фуражку*. Потому и растерялся. Отпрыгнув, принялся толковать с дружками, тыкая рукой в окно вагона. Они сбились в кружок, обсуждая, но к электричке не подходили. Потом парень глянул на вокзальные часы и дернулся. Леня поглядел на свои. До отправления оставалось три минуты. В открытую верхнюю часть окна просунулась прыщавая морда с белесыми злыми глазами и бессмысленно залопотала:

— Выди, а? Ты, ну выди! Поговорить надо. Ребята с тобой поговорить хотят. Ну выди, выди, выди. Не бойсь. Выди.

Леня не отвечал. Ясно уже было, что парень в вагон не зайдет, не решится. Не было у него особых причин (ни корысти, ни заказа, ни карточного проигрыша), чтоб осмелиться бесчинствовать *при возможном присутствии представителя правопорядка*. Милицейская фуражка, как преграда, как дамба, как мол остановила нака-

тывавшуюся волну. Леня испытывал почти нежность к этой фуражке. Улыбался в белесые и подлые глаза юного хулигана и молчал.

— Ну выди!- молил парень.

Внезапно он набрал в рот слюны, поднапрягся, явно изготовившись к дальнему плевку, но в этот момент электричка дернула и пошла. Таня и Настя сидели бледные и притихшие.

Из тамбура вернулся милиционер, подвинул фуражку и сел. От него сильно пахло табаком.

А годы спустя, слушая страшилки о мафии, разговоры о росте преступности, Леня всегда вспоминал эту историю с фуражкой (теперь он воспринимал ее *как некую модель мироустройства*) и думал: «Ну и что? Что другого можно здесь ожидать? Дело не во времени, не в социальном происхождении и положении, даже не в режиме. При Сталине эта привокзальная шпана пошла бы в палачи и охранники. Сегодня идет в мафию. Просто по-другому *они* существовать не способны. Таня права. Два вида. И который победит — неизвестно. Я, похоже, *с такими* справиться не в состоянии. Тогда нам повезло. А могло не повезти. Могли убить. Все у нас случайно». И пожимал плечами. А перед глазами вставал тот летний вечер на дачной платформе пятнадцать лет назад.

2000

## Прятки

**М**ы возвращались с отцом с первомайской демонстрации. Шли по Садовому кольцу. День был, как редко бывает, — без облачка, с ярко-синим небом, свежей, полураспустившейся зеленью на деревьях. Звучали обрывки бодрой веселой музыки, они то вспыхивали, то гасли, и очень подходило это оживленно-радостному настроению, которое держалось, несмотря на утомление от долгого пешего хода. Кучки людей то собирались, то распадались, напоминая цветные узоры в калейдоскопе; из кучек доносился смех, голоса, песни. Все было разноцветно и весело: зелень деревьев, красные флаги, синие, желтые, зеленые и красные воздушные шары. Дети несли маленькие красные флажки с надписью «1 Мая», стояли тележки, с которых продавали газированную воду: хочешь — с сиропом, хочешь — просто так, лотки с печеньями, пирожками, бутербродами, фруктовой водой, тележки со странным приспособлением для надувания воздушных шариков летучим газом, поворот какой-то рукоятки — и шарик уже рвется в воздух. А пищалки «уйди-уйди», а «тещин язык», высывавшийся почти на длину детской ручки! А мячики, набитые трухой, тяжелые, обклеенные и обшитые разноцветными бумажками, на резинке, мячик отскакивал от земли, а резинкой им управляли. Мне очень хотелось такой мячик, но я уже считался взрослым, а потому и не просил отца. Мы и так выпили по стакану фруктовой воды, съели по бутерброду с бужениной и чувствовали себя прекрасно — свободно, раскованно, переживая то, что нынче называется карнавальным мироощущением.

На углу улицы Воровского мы столкнулись с дядей Лево́й, старинным отцовским приятелем. Он был в расстегнутом пиджаке, пряди волос свешивались по обе стороны его лица, как два собачьих хвоста, нечесаных и грязных, глаза сквозь маленькие очки глядели возбужденно. Он куда-то спешил. Но, увидев отца, свернул и подбежал к нам, взмахивая радостно рукой.

— Гриша! Гришенька! Как хорошо, что мы встретились! — почти кричал он, тиская руку отца и исподлобья глядя на меня, как на

неожиданную и нежеланную помеху. — Пойдем со мной, с нами! Я к Реджинальду Эвенкову! Там такие сегодня люди! Цвет нашей творческой интеллигенции! Да! Я рад, что и ты будешь.

Отец всегда был не любитель поспешных решений, случайных гостей, вынуждаемых неожиданностью поступков (так, по крайней мере, мне казалось), и я, чтоб поддержать его невысказанные колебания, пробормотал настойчиво:

— Мы маме домой обещали сразу..

— Он же меня не звал, — сопротивлялся, как я и ожидал, отец.

— Да кто же знал, что тебя удастся вытащить! А Реджинальд в восторге от твоей статьи, что идет в том же сборнике, что и его. Честное слово! Он всем это говорит!

— Да я с Борисом, — продолжал упираться отец, потому что больше всего на свете, несмотря на страсть к трибуне, к форуму, он любил свои занятия за письменным столом, в окружении книг и рукописей.

Я смотрел на его грустное лицо с высоким лбом, зачесанные назад гладкие черные волосы, худые щеки и орлиный нос, сожалел о его прерванной речи о смысле весеннего праздника и, переводя взгляд на раскрасневшееся, оживленное лицо дяди Левы с распатланными, перхотными волосами, тихо негодовал. Он выглядел суетным и поспешным, подло манящим нас с горних вершин бесцельной и мудрой беседы в свои прагматические низины необходимости — куда-то спешить, с кем-то непременно общаться, так сказать, культурно функционировать. Словесно я бы выразить такое свое понимание тогда бы, наверно, не смог, как сейчас, но испытывал, насколько помню, похожие чувства, просто не умея их сформулировать.

— Ну и что, что с Борисом?! — брал нахрапом дядя Лева. — И он с нами пойдет. Мальчику надо привыкать к интеллектуальному общению, к духовной среде. Тебе сколько лет уже?

— Тринадцать, — угрюмо ответил я, надеясь, что его испугает несчастливое число — чертова дюжина.

Не тут-то было!

— Пора! Пора! — воскликнул он, обнимая меня за плечи.

И отец сдался по мягкости характера, но нашел объяснение в словах дяди Левы, сказав мне, что и в самом деле хорошо бы мне посмотреть на людей, которые живут духовными проблемами.

— Это недалеко отсюда, на Вспольном, — продолжал говорить дядя Лева, увлекая нас за собой.

Дом был, по-моему, шестиэтажный. Мы вошли в подъезд, прямо перед дверьми находился лифт, справа от него лестница, ведущая

наверх, слева — вниз. Дядя Лева повел нас налево. Но если у лифта и вверх по лестнице было светло — от двери и от окон, то вниз путь был не освещен, и крутые ступени казались краем обрыва, спуском в пропасть. Снизу долетал гул голосов, грохотала шахта лифта.

— Черт! — воскликнул дядя Лева.— Опять кто-то из хулиганов свет вырубил. Идите за мной, только за перила держитесь. Выключатель, к сожалению, внизу, около Реджинальдовой квартиры.

— Ты, Лева, прямо Вергилий, — усмехнулся отец. — Надеюсь, что это и в самом деле Лимб, где собрались мудрецы и поэты, а не какое-нибудь зловонное болото, где нас сожрет крокодил.

— Ты что, того? Какой еще крокодил? — спросил дядя Лева, уже начавший спуск. — У Данте крокодилов нет.

— Осторожнее, — сказал мне отец. — Держись одной рукой за перила, а другой за мое плечо.

Шахта лифта закрывала доступ всякому свету в этом полуподвальном помещении, так что вскоре я ничего различить не мог. Было жутковато, но интересно. Можно было вообразить, что дядя Лева оказался предателем, хотя назвался связным партизанского отряда, и завел нас, настоящих партизан, в засаду, где нас поджидают агенты гестапо. Что ж, придется отстреливаться. Я вообразил, как одним прыжком перескочу через несколько ступенек вниз и начну палить из обоих наганов, крикнув отцу, который на самом деле командир партизанского отряда, чтобы он бежал, и приму неравный бой.

Вообще надо сказать, что духовный мир мой представлял странную смесь интересов: я читал Гомера и романы про шпионов, Стендаля и все выходившие тогда партизанские повести («Это было под Ровно», «Подпольный обком действует», «Партизанский край»), Данте (по совету отца) и «Катакомбы» Катаева (сам по себе). В Данте не поиграешь, а чтение военно-приключенческих книг давало, видимо, выход неушедшему детству. И я играл в них, играл отчаянно, но так, чтоб никто не знал. Я был и партизаном, и разведчиком, и барабанщиком из гайдаровской «Судьбы барабанщика», скрывался от немецкого гестапо, а двор наш, дом и квартира были арендой боевых схваток, о которых никто не знал, даже приятели, потому что они тоже уже повзрослели и тоже стеснялись играть «в войну». Книжный мальчик, я и играл «по книгам», то по Гайдару, то по Катаеву, то по Левенцову.

Вот я сижу в своей квартире и выглядываю из-за занавески в окно, вижу людей, идущих вдоль трамвайных путей, бегущих следом за трамваем, выходящих неторопливо из трамвая и дефилирующих мимо, а не то сворачивающих на дорожку к нашему

дому: мужчины в шляпах и длинных плащах — это подозрительно, женщины в светлых пыльниках — тоже подозрительно. Я ведь не просто сижу дома и маюсь от безделья, нет, я на конспиративной квартире, в руке у меня наган, в кармане трофейный парабеллум, я жду, когда придет на явку связной из Центра, но может явиться и гестапо. Квартира, как я чувствую, под наблюдением, но уйти я не могу, связной не знает знака опасности — горшка с геранью на подоконнике. И я не могу уйти, не дождавшись нужного человека (мамы), а если гестапо, то что ж, приму бой. Где мой верный пистолет, пристрелянный и безотказный? Да, я держу его и сквозь мушку смотрю на сомнительных прохожих. Наконец я ясно вижу: дом окружили гестаповцы, я жду стука в дверь, я спокоен, живым им не дам, но ведь есть еще и другие комнаты, есть пожарная лестница, по которой они тоже могут взобраться, — значит, придется перебежать из комнаты в комнату, стараясь не пропустить врага, буду отстреливаться, уж нескольких-то прихвачу с собой на тот свет (если он есть — тот свет, я знаю только этот). И тут появляется человек, которого я жду (мама), он не подозревает, что дом окружен. Сейчас он войдет в подъезд, и тут его схватят. Надо принимать бой, чтоб дать ему знать об опасности: он должен уйти, у него важные сведения... Хладнокровно прицеливаюсь: бац — падает толстяк в шляпе (он продолжает идти, не подозревая, что убит), кх — за ним другой, кх-кх — третий, вот и шпионка-гестаповка, для конспирации прогуливавшаяся с собачкой, рухнула...

Внезапно внизу загорается свет, это дядя Лева добрался до выключателя. Теперь видно, что лестница и впрямь крутая и высокая. А внизу за шахтой лифта — просторный холл и выкрашенная в коричневый цвет дверь в квартиру, из которой доносятся голоса.

Дядя Лева позвонил, и через секунду полная, черноволосая, красивая, улыбающаяся женщина открыла нам дверь.

— А, Лева, — сказала она. — Ну! и Гриша пожаловал! Вот это событие! Реджинальд будет в восторге. Редкий гость!.. А это кто с тобой? Сын?

— Да, Борис.

— Ну, здравствуй, Борис, — она протянула мне мягкую, пухлую ладонь, совсем не похожую на твердую руку моей мамы, но, когда я эту ладонь пожал, она быстро втащила меня в квартиру, приговаривая: — Только не через порог. Давай заходи.

Ее полное тело было одето в нечто розовое, с оборочками и цветочками, от нее пахло душистой свежестью, черные волосы были расчесаны и слегка вились, глаза блестели внутренним жаром. Как я потом узнал, она была гречанка, дочь сбежавшего из застен-

ка греческого коммуниста, но она уже вполне натурализовалась и вышла замуж за московского философа Реджинальда Эвенкова, вполне русского, несмотря на странное имя и фамилию. Отец еще раньше рассказывал о нем, хотя и вскользь, восхищался им, говорил, что, пожалуй, он самый талантливый из известных ему людей, много читает, свободно владеет немецким, что для философа очень важно, поклонник Вагнера, а с особенным умилением поминал, что Хрисеида (так звали его жену), когда ездила в Англию (тогда такое случалось еще крайне редко), то купила не шубу себе, а набор вагнеровских пластинок мужу. «Потому что она понимает его духовные запросы, создает условия для творческой жизни», — говорил отец. Она, как и ее муж, кончила философский факультет, только психологическое отделение, там они и познакомились. А мне тогда казалось, что всех философов имена должны быть необычными (ведь даже у дяди Левы полное имя звучало как Леопольд Федорович), такая у них профессия, отсюда Эрихи, Эрики, Эвальды, Эдуарды, Реджинальды, Леопольды, Вилены, Рейнгольды, Ричарды и тому подобные.

Очевидно, приглашение интеллектуалов тоже входило в создание условий для творческой жизни. Уже много позже я понял, что в эти годы все ко всем ездили и со всеми разговаривали. «Все же на дворе не какой-нибудь, а пятьдесят восьмой», — говорил тогда дядя Лева. Искали друг у друга новых, свежих идей, чтобы «противостоять косности и догматизму». Впрочем, как я теперь могу предположить, и сами вчерашние догматики искали контакта с «молодыми и творческими», обещая им свою поддержку и надеясь пожить за их счет. Вот на такое интеллектуальное сборище молодых (от двадцати пяти до тридцати пяти или шести) мы с отцом тогда и попали.

Мы вошли в длинную прихожую, слева тянулась вешалка, вся плотно увешанная плащами и пальто, напротив нее висело зеркало. Прихожая переходила в коридор, упиравшийся, как я потом выяснил, в ванную, туалет и кухню. Кухня находилась справа, справа же были две жилые комнаты, слева в коридоре стояли застекленные книжные полки. Книги стояли в два ряда, сзади повыше, чтобы их тоже можно было различить. Открылась дверь ближайшей комнаты, и из нее вышел тощий человек в сером твидовом пиджаке, длинноволосый, сутулый, с впалой грудью, в глазах его было безумие. Он протянул навстречу нам обе руки.

— Ужасно рад, ребята! Заходите. Плащи сюда, еще Женя Евтушенко обещал зайти, его ждем, да вы раздевайтесь, Гриша, хорошо, что наконец зашел, такие люди, как мы, должны быть вместе.

— Да мы ненадолго, Реджинальд Васильевич, — ответил отец.

— К черту отчества, я всего на год старше тебя, на «ты», друг, на «ты», в одном сборнике печатаемся, в одно время живем!

Мне было приятно, что к отцу относятся с таким уважением люди, о которых и сам он отзывался с пиететом. Мы сняли плащи. Отец остался в костюме цвета хаки, под которым была ковбойка в крупную клетку, а я в черном («сон разбойника»), перешитом из дедовского и выдаваемом мне в торжественных случаях. Мы вошли в комнату. Маленькая девочка в белой юбочке, белой кофточке, с красным большим бантом в косе, стоя на стуле, читала стихи, слегка картавя. Увидев нас, она остановилась.

— Продолжай, Леночка, продолжай,- сказал Реджинальд Васильевич. И она, не запнувшись, продолжала:

Погляди в свое окно:  
Все на улице красно:  
Вьются флаги у ворот,  
Пламенем пылая.  
Видишь — музыка идет  
Там, где шли трамваи.  
Вся земля, и млад, и стар,  
Празднует свободу!  
И летит мой красный шар  
Прямо к небосводу!

Она была дочерью усатого кинорежиссера, как я тут же узнал, сидевшего около стола нога на ногу — в рубашке с пальмами, узеньких коротких брючках, ярко-красных носках и черных ботинках на толстой подошве. Все захопали, кроме еще одной девочки, примерно моего возраста, скривившей взрослую презрительную гримасу. Я понял, что это она мне показывает, что она большая уже. Серая ее юбка была перетянута в талии широким поясом, а поверх цветастой кофточки повязана на шее такая же цветастая косынка.

— Меня зовут Катя. А вас? — бойко бросила она через весь стол.

Все засмеялись, мы представились, и нас усадили за стол. Меня рядом с этой Катей. Стол был вполне праздничный: салат «оливье» под майонезом, салат из крабов, тоже под майонезом, черная икра, красная икра — в хрустальных вазочках, семга, осетрина, буженина, все нарезано тонкими ломтиками, красиво разложено по красивым тарелкам, так же тонко нарезан хлеб — белый и черный, бутылки сухого вина и минеральной воды. На пианино в углу сто-



ял в кувшине букет сирени. Хозяйка раскладывала по тарелкам салат «оливье» и еще каждому по ложке крабового салата. Захотелось есть так, что даже слюна во рту появилась. Кого-то ждали.

Женщины все сидели нарядные, в платьях с треугольным вырезом и большим воротником, платья были яркие. Все эти женщины казались мне изящными, красивыми, узенькие рукавички до локтей оголяли тонкие, холеные руки, все они были не похожи на мою суровую, ширококостную маму. Но, к моему стыду, они мне нравились. Никого из них я не знал, разве что только понял, кто хозяйка. Кроме отца, дяди Левы, Реджинальда Васильевича и кинорежиссера с усами мужчин было еще двое: лысый театровед в вязаной кофточке и плохо выбритый, неряшливо одетый (в мятых брюках и пиджаке с полуоторванным карманом) поэт с женским почему-то именем. Мужчины курили папиросы «Беломорканал». Наконец хозяйка сказала:

— Может, приступим? Женя потом подойдет.

— Давайте, — хозяин поднялся и разлил по бокалам вино, девочкам и мне — минеральную воду.

— Я хочу сказать тост, — вскочил дядя Лева, всем улыбаясь. — За мир во всем мире! Я думаю, теперь он будет всегда. Теперь дело за нами, творцами и изобретателями, философами, поэтами, искусствоведами, — он посмотрел на отца, — и историками. С появлением водородной бомбы война стала бессмысленной.

— А люди осмысленными? — пробурчал, глядя в пол, поэт.

— Что ты хочешь сказать? — вскинулся дядя Лева.

— А то, что в прошлом веке тоже всякие умники говорили, что война невозможна, потому что появился пулемет, — поэт не говорил, а бурчал себе под нос, но достаточно внятно.

— Война — страшная вещь, и всей правды о ней пока не сказано, — произнес режиссер, приглаживая усы. — Я был десантником и никогда не забуду, как нас выбросили с парашютами, а внизу горели костры, немцы нас расстреливали из пулеметов. Нас только трое уцелело, а когда мы две недели шли к своим, в одной деревне какая-то баба выдала нашего товарища немцам, когда он пошел попросить еды, и его убили, а мы ничего не могли сделать. Про это надо рассказывать, чтоб все знали. А у нас сидят умники-старперы, и на просмотрах один постоянно вопит: «Я поставлю пулемет и буду стрелять в каждого, кто в фильмах убивает советских людей». Я думаю, именно на наше поколение возложена миссия рассказать правду обо всем, что с нами было, — и он выпил свой бокал.

Все тоже выпили, а дядя Лева выкрикнул:

– Правильно!

– Надо только уметь правдиво думать, а не только видеть, – снова пробурчал поэт.

– Да Боже мой, хотя бы рассказать, что мы видели, – сказал низким таким голосом лысый театровед. – У нас все книги о храбрых партизанах и разведчиках, которые даже если жизнью жертвуют, то очень красиво и благопристойно. А я всю войну провел в контрразведке и могу сказать, что там страшно и грязно. У нас было задание – уничтожить гауляйтера, так две наши девушки прошли через немецкий солдатский публичный дом, за красоту были переведены в офицерский, а потом их горничными взял гауляйтер, которого они и убили. Про это разве расскажешь? Да и как? Я всего несколько раз бывал на немецкой территории, по несколько часов, а страху натерпелся на всю жизнь. Как в бреду там был, ничего не помню, кроме своего безумного страха и того, что с парабеллумом я ни на секунду не расставался и готов был стрелять в каждого, кто попросит у меня документы. А между тем документы у меня были в порядке, да и немецким я вполне прилично владею.

По нарочито небрежному тону, по мужественности жестов я понимал, что он интересничает, рисуется, и все равно я смотрел на него и на кинорежиссера во все глаза и с обожанием. Все-таки как-никак, а это было с ними взаправду. Я уже совсем не жалел, что мы пришли сюда.

– Намазать тебе хлеб маслом? – спросила вдруг меня моя соседка Катя и, не дожидаясь ответа, сделала мне бутерброд с семгой.

Заметив наши склоненные друг к другу головы, ее мать, та самая гречанка Хрисеида, хозяйка этой полуподвальной квартиры, весело улыбаясь и ничуть не стесняясь, воскликнула:

– Наши-то дети смотри как заворковали. А Катька, когда хочет, и заботливая даже. Как, Гриша, подходит тебе моя в невестки?

– Конечно, Катюша – чудесная девочка, – смутился отец.

Я покраснел, знал, что покраснел, от этого краснел еще больше, и уставился в сторону, как бы рассматривая комнату. Комната меж тем и впрямь была интересной, я таких раньше не видел: стены очень толстые, окна узкие, почти под самым потолком, так что свет падал сверху, наверно, как в катакомбах, думал я, а толщина стен угадывалась по толщине оконного проема. Стены были выкрашены синей масляной краской, которая не скрывала их неровностей и выпуклостей. А все сидевшие здесь словно прятались от кого-то в толстостенном бастионе – во всяком случае, можно было так вообразить.

– Зря краснеешь, – сказал театровед-контрразведчик. – Все, брат, в порядке. Никто тебя обидеть не хотел.

– Да, Катя у меня музыкантша, – говорила ее мать, указывая на коричневое пианино, стоявшее под узким высоким окном. А Катя водила горделиво глазами, упиваясь восхищенными охами и ахами. Волосы у нее были забраны в конский хвост, что после фестиваля стало тогда общей модой *стильных* девиц.

– А Борис чем увлекается? – спросила Катя *взросло и поощрительно*.

Отец немного растеряннo и вопросительно посмотрел на меня, смутившись от такого прямого вопроса.

– Чем увлекается? Книжки читает, книгочей, книгоглотатель, вот, пожалуй, и все, – добросовестно объяснял отец. – Сейчас в Стендаля впился, читает и перечитывает.

– Ну-у, замечательно, – протянул лысый театровед. – Хотя книги, может, и не по возрасту, но это замечательно. Я тоже поклонник Стендаля и терпеть не могу Бальзака. Он устарел и скучен.

– Так все снобы считают, – снова буркнул небритый поэт. – Им бы только импульсы, только психология, а не *знание*.

– Ну это чушь! – загорячился театровед. – Читателю нужно доверять, ему нужно оставить свободу для воображения и домысливания.

– Мне кажется, есть разные уровни домысливания, – сказал отец. – Один художник о мире все равно всего не скажет, но чем больше он скажет, тем больше простора для наших размышлений. Борис, правда, со мной не согласен, мы с ним об этом часто спорим. Ему больше по душе стендалевский психологизм, чем бальзаковский объективизм.

– Я, пожалуй, стану тут на сторону Бориса, – сказал вальяжно кинорежиссер. – Когда я экранизирую, у меня должна быть визуальная свобода, свое видение героев.

– Тем более Бориса поддержи я, – пробасил театровед.

Реджинальд Васильевич и дядя Лева как люди в изящной литературе не очень начитанные (все-таки философы!) участия в словопрениии этом не принимали. Зато я ожил, меня как бы сравняли в правах с Катей и даже отнесли почти как к взрослому.

– Конечно, – сказал я хамским от напряжения голосом, – сам Стендаль ведь говорил, что проще описать одежду и медный ошейник какого-нибудь средневекового раба, чем движения человеческого сердца. Одежду описать легче, чем душу, а Стендаль описывает душу *мыслящего* человека.

В то время я очень хотел походить на Жюльена Сореля, гордого, скрытного и честолюбивого, и когда не играл в партизан, то ходил

с поднятым воротником плаща, воображая себя непонятой натурой. Впрочем, в те годы многие ходили с поднятыми воротниками: такая была общая мода проявления независимости.

— Не только в этом дело, — перебил меня театровед: его лицо, лысая голова были странной какой-то формы — к затылку его лысый череп расширился, а ко лбу снижался и сужался, губы были близко от носа, так что эта точка казалась своего рода фокусом, как кончик морды у все вынюхивающей крысы. — Не только в этом дело, — повторил он, — а в том, что, говоря об исторических деталях, он описывал их с короткостью знающего человека, ему достаточно было детали, чтоб показать сущность персонажа. Там, где Бальзак навёрчивал кучу описаний, Стендалю достаточно было штриха, эпизода. Взять хотя бы Фуше, наполеоновского министра полиции...

— Это насчет гостей? — встрял я, чтобы показать свои познания.

— Ты помнишь? — восхитился шумно он. — Расскажи этим большим дядям. Ведь через этот эпизод видна вся система отношений тех лет, а всего полстраницы текста.

Я растерялся, но отец сказал:

— Расскажи, если помнишь.

— Один полковник наполеоновской армии, я не помню, правда, как его звали, — заговорил я, искоса поглядывая на Катю, чтоб видеть, какое я на нее произвожу впечатление (она сидела, подперев голову рукой, и с любопытством на меня посматривала), — хотел созвать гостей на свой день рождения. Вдруг он испугался, что Фуше будет им недоволен. Он пошел спросить разрешения на гостей. Тот говорит: «Ладно. Но пусть там будет один из моих агентов». Полковник был *человек чести*, он возмутился: «Я зову моих близких друзей, товарищей по оружию. Это оскорбительно». Фуше начал настаивать, полковник отказываться. Вдруг Фуше словно осенило. «Дайте, говорит, список приглашенных». Полковник протягивает список. «Можете приглашать», — говорит Фуше. «Как?» — удивляется полковник. «А так, — отвечает Фуше, — можете звать. Там больше половины наших». Вот и все, — закончил я, гордясь наступившей в результате моего рассказа тишиной.

— Потрясающе! — закричал дядя Лева. И замолк.

— Реджинальд, а ты список утверждал? — спросил небритый поэт. — У нас в Караганде утверждали.

Гости зашумели, засмеялись, а хозяин сказал:

— Успокойся. Слава Богу, прошли те времена списков.

Поднялся усатый кинорежиссер:

— Друзья мои, — он поднял бокал, — налейте вина. Я хочу выпить за наш союз, союз людей творчества, людей науки и искусства. Как бы остатки мракобесов ни пытались нам помешать, но свет подлинного искусства воссияет, ибо искусство наше коммунистическое в самой своей сути. Не прихлебательское, а настоящее. Главное, что не прихлебательское. Как написал так и не пришедший сюда поэт...

— Еще придет, — сказал Реджинальд Васильевич.

— Возможно. Но тем не менее я процитирую. Потому что в этих строках наше кредо.

И с таким спокойным пафосом, мне понравившимся и показавшимся очень достойным, прочитал:

Им, кто юлит, усердствуя,  
И врет на собраниях власть,  
Не важно, что власть Советская,  
А важно, что это власть.  
А мне все это важно,  
И потому тревожно.  
Я умер за это бы дважды  
И трижды, если бы можно.

Он выпил свой бокал, все тоже выпили, и он сел под одобрительный гул гостей.

Небритый и неряшливый поэт с женским именем, бурча шурил подслеповатые свои глазки, тер лоб, доставал из кармана рваного пиджака мятые листочки с написанными карандашом словами, видимо, хотел тоже что-то прочитать, потом снова прятал их в карман и опять доставал. Его попытку перебил хозяин. Он поднялся — впалая грудь под твидовым пиджаком, вдохновенно рассыпавшиеся длинные волосы — и сказал, что поэт и коммунист — это одно и то же. Затем произнес речь, это доказывающую:

— Я хочу прочитать вам немного из статьи, которую я написал для сборника, где и блестящая Гришина статья, — говорил он, беря из ящика полированной тумбочки напечатанные на машинке листочки, перебирая их, и прочитал: «Развивая, дисциплинируя и оттачивая силу воображения, позволяющую человеку самостоятельно видеть конкретные факты в свете общей перспективы развития, искусство и осуществляет свою важную миссию в общем деле борьбы за коммунизм, за всестороннее развитие индивидуума. Искусство для нас — не ветка сирени, которую можно взять, а можно и не взять с собой в космос. Без искусства и развиваемого

им эстетического чувства, связанного с культурой силы воображения, не будет ни ракеты, ни человека, способного на ней лететь. Развитое чувство красоты — это верный компас, указывающий людям верное направление на коммунизм в любой конкретной области жизнедеятельности, могучий союзник партии и марксистско-ленинской теории». Все!

Он сел, и тут все захлопали, как в театре, а он красивым жестом швырнул листочки статьи на тумбочку и, встряхивая волосами как поэт, добавил:

— Так я кончаю свою статью. В этом и есть специфика искусства, что бы ни говорили ретрограды! Мы должны возродить идеал коммунизма во всей его чистоте и показать людям, как он прекрасен.

Он запахнулся в свой твидовый пиджак и замолк, ожидая спора. И спор-разговор завязался.

— Я полагаю, — сказал театровед, — что мы должны обратиться к принципам эпического театра Брехта. Сегодня их актуальность несомненна. Ведь Брехта не удовлетворяют страх и сострадание — основные чувства, порождающие древний, аристотелевский еще катарсис. Он, я говорю о Брехте, а не о катарсисе, считает эти чувства пассивными, не отвечающими духу нашего времени. На их место должны прийти уверенность и радость от познания той истины, что мир не только может, но и должен быть переделан.

Он продул мундштук папиросы, постучал им по столу и закурил.

— Вы знаете, — сказал отец уточняющим голосом, как он всегда говорил с посторонними, — мне кажется, дело не в древности, а в принципе. Просто Брехт наследует платоновскую традицию служебного значения искусства, которую тот изложил в «Государстве». Это великая традиция, и она никогда не умирала.

— Возможно, — в разговор вступил поэт, метнув на отца любопытствующий взгляд (дескать, ты, оказывается, что-то знаешь, а я с тобой не знаком). — Зачем только смешивать, как вот он делает, — он кивнул на театроведа, — сострадание с испугом? Да и вообще — это живые человеческие чувства, — он склонил набок голову, катая одной рукой по столу хлебные шарики, а другой почесывая щеку и подбородок. — И раз уж тут говорят о принципах, то я не понимаю, как в принципе можно впрягать в одну телегу Стендаля и Брехта?

— Очень просто, — дымя папиросой, лысый склонился к небритому. — Ты вдумайся. Реджинальд же сказал, что всякое истинное искусство влечет нас в одну сторону — к светлому будущему, оно его прообраз, который должен быть утвержден в реальности.

Реджинальд Васильевич сидел такой вдохновенный, словно не замечал, что он тут как владыка людей и умов находится, как ахейский вождь Агамемнон, собравший под своим началом славнейших героев, что на него ссылаются и цитируют, а он только подтверждает, вносит коррективы. Дядя Лева, пивший больше других, бокал за бокалом, раскрасневшись вскочил:

— Так! Должен! Мы должны утверждать трудовую сущность красоты, которая ведет к творчеству, к активной перделке мира. Историю делают творцы. Гриша, скажи ты! Историческая ответственность лежит на нашем поколении. Пусть нас пока мало, но наше время придет, оно уже приходит.

Эти речи, их пафос завораживали меня. Я невольно чувствовал себя участником начинающегося обновления мира. Даже говорившим казалось, что оно уже началось, тем более мне, в тринадцать-то лет! А люди эти выглядели и впрямь избранными на *высокое*. И мне льстило, что я среди них. Даже холодок бежал по спине, потому что я чувствовал *приобщенным* (хотя бы через отца) к тем, кто творит новую эпоху в науке и искусстве. Я увидел, что отец тоже хочет говорить. Но в этот момент моя соседка тихо положила мне руку свою на плечо так нежно, что я вздрогнул.

— А по-моему, красота — это свойство женщины, как говорит моя мама, — шепнула она капризно-игривым голосом. Была она, как сегодня мне кажется, хорошенькой, с зелеными большими глазками, раскованной и немного порочной, что влекло и пугало. — Наши мальчики в школе совсем целоваться не умеют, — говорила она, — только тискают. А уж ухаживать — тем более. А женщине приятно, когда за ней ухаживают. А они даже пальто подать не умеют.

«Этакая пижонка», — подумал я, потому что тоже ни разу никому пальто не подавал, но головой кивал, как бы соглашаясь с ее словами, и поддакивал тоже, хотел ей понравиться.

— Пойдем я покажу тебе мою комнату. Хочешь? — спросила она.

— Хочу, — робея, ответил я.

— Я пойду Борису книжки покажу, раз он книголюб, — громко сказала она своей матери, и мы вылезли из-за стола.

Мать кивнула нам головой, на нас уже внимания все мало обращали, увлеченные разговором. Только маленькая Леночка, до этого смирно сидевшая на своем стуле, заныла, что она хочет с нами, но Катя велела ей сидеть на месте, потому что книги взрослые, маленьким неинтересно.

Мы вышли в прихожую, она прикрыла за нами дверь, но в комнату свою не повела, а предложила погасить в прихожей и коридоре свет и играть в прятки.

— Чур, я первая прячусь, — сказала она. — Если ты меня найдешь, то можешь поцеловать. В ванной, на кухне и в туалете не прятаться, только в коридоре, прихожей и в моей комнате. Я, чур, прячусь в комнате! Гаси свет и отвернись к стене.

Впрочем, она сама повернула выключатель, толкнула меня носом к стене и протопала в свою комнату. Постояв минуты две (честно говоря, я простоял бы больше, потому что боялся идти ее искать и найти), я отправился следом за ней. Комната была небольшая, меньше той, где сидели гости, но так же падал свет из верхнего узкого окна, похожего скорее на смотровую щель, чем на окно, стоял под ним школьный письменный стол, на нем валялись учебники и тетрадки, в углу стоял платяной шкаф, между ним и столом находилась узкая тахта, застеленная цветастым покрывалом, над ней какая-то керамика, изображающая нежный девичий профиль и букет цветов, у другой стены стояла полка с книгами, самыми обыкновенными, как я успел краем глаза заметить (учебники и книги по школьной программе). Стены были тоже выкрашены масляной краской, только салатного цвета. Бедно тогда жили.

Но все я разглядеть не успел, потому что из-за шкафа, почти не прячась, смотрела на меня Катя.

— Ну, так нечестно, — сказал я робко, отступая к полке с книгами, почти прижимаясь к ней спиной. — Ты плохо пряталась.

— Это точно, — согласилась она. — А ты все равно боягуз. Испугался целоваться. Ладно, прячься теперь сам. Давай. Я тебе покажу, как это делается.

Она двинулась ко мне, и я выскочил в темный коридор. Куда деваться? Где здесь спрячешься? В ванной нельзя, на кухне нельзя, в туалете нельзя... Из-за двери гостевой комнаты доносился голос отца. Но вслушиваться мне было некогда. Я вдруг вспомнил про вешалку в прихожей у двери, увешанную плащами.

Погода была еще холодная, хотя и солнечная, поэтому, кроме дяди Левы, похоже, что все пришли в плащах. Плащей было много, висели здесь и осенние хозяйские пальто. Если зарыться среди них, то в темноте есть шанс скрыться... Я полез в самую середину вешалки, подлезая под рукава, полы, обшлага и прочие составные части плащей, задвигая их за и перед собой, как занавес, так чтоб вешалка выглядела естественной. И вдруг в процессе этого прятального обустройства рука моя наткнулась на что-то твердое в кармане одного из плащей. И такое на ощупь (я сквозь карман пощупал) знакомое по кино, книгам и, главное, детским игрушкам, но, кажется, *настоящее*. Признаюсь спустя уже тридцать лет, что я сунул руку в чужой карман и теперь уже явственно ощутил,



что пальцы мои касаются *пистолета*. Взявшись за рукоять, я приподнял его. Пистолет был тяжелый и вполне реальный.

Первая мысль была вбежать с радостным воплем в комнату и крикнуть: «А что я нашел! Чей это?» И показать оружие. Заодно и пряталки прервутся. Но тут же решил, что это нехорошо, — все решат, что я лазил по чужим карманам. Позор на всю жизнь. Потом трусливая мысль: все откажутся, а потом преступник (ибо он вполне мог быть преступником) нас подстережет (меня, маму, папу) и убьет. И не так было страшно за себя (ведь я же нашел, значит, виноват), как за родителей — уж они-то ни при чем. Я себя буквально довел до ужаса этими размышлениями и картинками, как нас за углом любого дома может подстерегать смерть. Вот ведь дела! Стоит всего лишь *сказать*, произнести *слово*, и все, как в калейдоскопе изменится — кто-то, считавшийся другом, окажется врагом. А может, все испугаются, будут друг на друга думать, перрсорятся. И впрямь, как в калейдоскопе... Маленькое движение, и уже другой узор жизни.

Потом вдруг мелькнуло: а может, выкрасть пистолет, как бабабаник Гайдара, вот тут-то и поиграть в партизан и гестапо, разведку и контрразведку. Но для игры, как мне сразу же стало прозрачно ясно, настоящего пистолета вовсе не требовалось. Достаточно было пугача. В игре все было не так страшно. То ли мой книжный мир не выдержал столкновения с реальностью, то ли реальность оказалась непонятнее, а потому и страшнее, чем я мог предполагать по книгам. Но я знал, что что-то надо делать, так уж я был воспитан. Но что? Я попытался представить, кто из гостей мог быть хозяином этого пистолета. Папа и я сразу отпали, дядя Лева был без плаща. Хозяин дома? Вряд ли он будет держать пистолет в плаще, когда его можно спрятать в стол. Хотя мог и забить. Но не похоже. Усатый кинорежиссер? Но он и в самом деле кинорежиссер, я это знал. И театровед тоже. Про маленького неряшливого поэта и думать так даже не хотелось. И вот они все там сидят такие веселые, разговорчивые, а у кого-то в кармане плаща — смерть. И никто про это не знает.

Тогда я решил подождать, пока все оденутся и пойдут домой, тогда все прояснится, и я решу, что делать. Успокоившись на этой мысли, я стал размышлять, что может преступник делать в этой квартире и в этой компании. Все довольно бедные, водки нет, а разговоры — для матерого преступника, наверно, скука. Потом я подумал, что, может быть, это интеллектуальный преступник. В какие-то периоды своего времени он грабитель, а в другие — его влечет к людям искусства и науки. Этакий романтический герой.

И тут я вдруг сообразил, что, во-первых, Кати долго нет, а во-вторых, она может сейчас заявиться сюда и тоже нащупать пистолет, сунувшись искать меня. Надо спасти ее. Я быстро вылез из-под плащей, зажег свет, и тут как раз из своей комнаты вышла Катя. И я сразу понял, почему она задержалась: она ярко-ало на-красила губы. «Чтоб след на щеке мне оставить небось», — подумал я. Сердце заколотилось. Я двинулся ей навстречу. Она увидела меня.

— Вот и нашла!

— Нет, я сам вылез, — ответил я автоматически.

— Эх ты, опять боягуз, боишься, что я тебя поцелую. Не больно и хотелось. — Она отвернулась, открыла дверь и шагнула в комнату к гостям. Я следом за ней.

— Не понимаю вашего исторического герметизма, — бурчал поэт. — Почему именно наше поколение нечто создаст? Что ему за привилегия такая. Нету легких времен. И в истории остается только тот, кто несет на своих смертных плечах ее тяжесть. Несет, порой уносит, прячет. Когда Рим брали гунны, мудрецы бежали. Брюсова помните?

А мы, мудрецы и поэты,  
Хранители тайны и веры,  
Унесем зажженные светы  
В катакомбы, пустыни, пещеры, —

провыл он ритмично.

Его остановил хозяин:

— Довольно. Ты прав, старина. Всю культуру, которая спрятана была, мы возродим к новой жизни. Всю великую культуру прошлых веков, потому что именно мы — ее наследники, мы, люди коммунистического завтра. Это непросто понять, но это так.

Они все в комнате словно расплывались от сизого папиросного дыма, клубившегося столь густо, что он менял очертания фигур, заставляя думать, что на улице полумрак, а не ясный, синий день. Я закашлялся от дыма. Катина мать повернула к нам голову.

— Ну что, дети, наигрались? — спросила она.

— Да с ним скучно играть, — сказала Катя.

— Катя, так нехорошо говорить, — одернула ее резко мать.

— Ну, не буду, — и она стала пробираться на свое место.

Глаза быстро привыкли к дыму, и я, как бы немножко со стороны, принялся рассматривать гостей, вглядываясь незаметно в их лица. Каждый, оказывается, мог быть не тем, за кого он себя вы-

давал, а таинственным Иксом. Или не совсем тем. Отчасти тем, а по совместительству и другим, чужим. Я искал того, кто, как мне казалось, смотрит «двойным» зрением, «как сквозь прорезь прищелла». Красивое это выражение, где-то вычитанное, я тогда про себя повторял, оно мне нравилось. Но таких взглядов и выражений на лицах не было. Все смотрели открыто, дружелюбно, хотя и возбужденно. Как и Катя, я двинулся к своему месту.

– Погоди садиться, – сказал вдруг отец.

И тут я увидел, что отец встал и явно собирается уходить. Он принялся пожимать руки, обещал навещаться, давал кому-то наш телефон и заверял хозяина, что непременно следующую свою статью отдаст в сборник, который будет готовить Реджинальд Васильевич. На мои уговоры еще побыть отец ответил твердо:

– Нет, пора. Мама будет сердиться, что мы ее в праздники одну оставили. С Катей в другой раз поиграешь.

Объяснить, что дело вовсе не в Кате, а в пистолете, я ему не мог. Мы оделись и вышли. За дверью опять была сплошная темнота. Кто-то снова выключил свет. Позади остался шум голосов, споры, оживление, странная тревога. Ощупью мы поднялись по лестнице, так и не найдя выключателя. Солнечный свет на улице буквально ослепил нас, пришлось прикрыть глаза рукой. Небо было синее, пишалки «уйди-уйди» по-прежнему пищали, музыка еще играла откуда-то, а люди смеялись и пели песни. Это и была настоящая жизнь, а то, что было в полуподвале, моментально показалось мне мороком, невзправдашним чем-то, во всяком случае вслух произносимым.

Мы пошли домой. Дома нас ждала мама, которая уже начала волноваться. И я опять ничего не решился рассказать. Концовки у этой истории – к сожалению или к счастью – так и не было. Эвенковых мы больше не навещали, отец пару раз ходил к ним, но дружбы у него с Реджинальдом Васильевичем, «несмотря на близость позиции», как говорил отец, так и не сложилось. Кто это был, что это было, я так и не знаю. Просто черная точка «на фоне счастливого детства». А потом, спустя время, я стал думать, что мне все это привиделось от моих постоянных игр.

# Пистолет

## Рассказ в диалогах

### Действующие лица:

*Борис Григорьевич Кузьмин* – 44 года.

*Кларина* – его жена, 35 лет.

*Михаил Потапович Пампушин* – 71 год.

### Персонажи из рассказа Бориса:

*Сам Борис* – 13 лет.

*Отец Бориса* – 37 лет, неразговорчив.

*Реджинальд Эвенков* – 34 года, восторжен.

*Катя* – его дочка, 14 лет, слегка порочна.

*Кинорежиссер* – 39 лет.

*Леночка* – его дочка, 6 лет.

*Поэт* – 38 лет, был в лагерях, все время бурчит.

*Михаил Потапович Пампушин* – 40 лет, шумный, барственный.

## I

*Борис Григорьевич Кузьмин* – 44 года

*Кларина* – его жена, 35 лет.

**В**есь их разговор происходит на кухне под звук льющейся воды, звяканье перемываемой посуды и время от времени лязг и уханье мусоропровода. Голос диктора «Вестей», разбитной, отчасти даже хамски-панибратский:

– На этом пока все новости. Желаю вам приятного выходного дня, и до нашей с вами встречи в три часа. Привет.

**Борис** (*выключая телевизор*): Телевизор на кухне, конечно, удобно, но когда он молчит, сразу лучше.

**Кларина:** Разумеется, милый. Только я все время суечусь на кухне, а с телевизором будто не зря время теряю. Хоть какую-то информацию получаешь.

**Борис:** Интересно, они от себя говорят или все же какая-то инструкция им спускается. Раньше было понятно: диктор — рупор государства, даже вранье диктора было государственным враньем, а теперь непонятно, его это блеф или чье-то задание.

**Кларина:** Какая разница, милый. Вранье всегда вранье.

**Борис:** Дело в том, что его личное вранье не интересно. Через государственное вранье можно было правду понять, исходя из обратного. А тем, кто слова о свободе и правовом обществе говорит, верить хочется. Но иногда мелькнет дурацкая мысль: а вдруг вся наша перестройка — это гигантская мистификация. А потом придут и скажут: поиграли — хватит. А то ишь — распоясались. Вот такое нам привычно и понятно. Потому что вдруг всю демократию нам взяли и сверху спустили. Зачем? Это непонятно, как и то, почему Пампушин на мою докторскую явился и меня спас.

**Кларина:** Почему непонятно, милый? Ты же сам говорил, что он всегда приличным людям помогал. Если бы он не приехал, то Булыга с Бочковым таки добились бы своего и кворума бы не было, диссертацию перенесли на осень, а что будет осенью — кто знает. Я вижу, тебе не хочется к нему ехать.

**Борис:** Не хочется. *(Пауза, льется вода, звякают чашки.)* День сегодня будет хороший.

**Кларина:** Вот и съездишь к нему на дачу. Заодно воздухом подышишь, расслабишься после защиты.

**Борис:** Не могу я к нему ехать. Понимаю, что уже принял из его рук докторскую степень, что те, кто хотели меня завалить, хуже него, а я с ними раскланиваюсь, в одном секторе работаю. Все знаю наперед, что мне можно возразить. Но что-то меня не пускает.

**Кларина:** Что, милый?

**Борис:** Ну, хотя бы то, что всем известно, что мой благодетель, профессор, доктор наук, еще и полковник КГБ. Одно дело — он просто пришел на защиту как член Ученого совета, другое — я к нему поеду благодарить.

**Кларина:** А что ты про остальных знаешь, милый? Может, они во много раз хуже Пампушина. А о нем специально слухи распускают, чтобы себя прикрыть. Он ведь стольким людям помог — как такого человека не очернить!

**Борис:** Все равно мне кажется, что эти разговоры про него — правда.

**Кларина:** Как говорит твоя мама, если кажется — перекрестись. Он ведь старик, семьдесят лет, поднялся на ноги, из загорода, с дачи

поехал, чтобы кворум был, чтобы тебя спасти. Разве этого мало для благодарности? В конце концов, ты всю свою жизнь прожил в советской империи, получал ее деньги, работал в советских учреждениях, и это государство, пусть не печатая, пусть не пуская тебя наверх, давало тебе возможность не вступать в партию, читать книжки и писать, что ты хотел, давало возможность жить, хоть и бедно, но не в тюрьме. Или, точнее, – в общей тюрьме, но все же не в концлагере. В сталинские времена ты бы давно был там, а с тобой вместе и я. Нет, я думаю, про Пампушина все врут. Те времена прошли, потому, кстати, ты и докторскую защитил. Бери бутылку коньяка, поезжай, скажи спасибо – и назад. Можешь с ним и не сидеть, раз не хочешь. А поехать надо: элементарный долг вежливости.

**Борис:** Права, права, конечно, ты права. Стоило мне позвонить ему, без объяснений все понял, приехал, не поленился и спас. Но я-то нечто доподлинно знаю, не с чужих слов. И мне это не помешало. Я же один раз с ним встречался, когда еще мальчишкой был, и то заметил, что никто из взрослых не заметил. Я тебе не рассказывал?

**Кларина:** Нет, не помню. Расскажи, милый. Ты расскажешь и успокоишься. А потом к нему съездишь и проверишь свой рассказ, свои подозрения. Ты же культуролог, тебе все должно быть интересно. А отношения ГБ и интеллигенции тем более. Смотри на ваш разговор со стороны, как наблюдатель. Это ведь все история русской культуры. Вот и изучай ее не только по книгам.

**Борис:** Конечно, когда он вдруг прошел по залу, важный и толстый, стуча палкой, опустил бюллетень в ящик – еще до всякого голосования, подошел ко мне и громко сказал: «На х... русской культурой занимаешься? Запад надо изучать, Запад. Это важнее», – я сразу успокоился и понял, что защита состоится. И тогда я о своих подозрениях не думал.

**Кларина:** Значит, не так они важны были. Ну, не дуйся, милый! Расскажи мне лучше свою историю, как ты Пампушина заподозрил.

## II

*Голос Бориса, вначале отчетливый, в дальнейшем уходит как бы за кадр, звучит фоном к речам других персонажей.*

**Борис:** Мы возвращались с отцом с первомайской демонстрации. Шли по Садовому кольцу. День был почти как сегодня, – без облачка, с ярко-синим небом, свежей полураспустившейся зеленью, звучали обрывки бодрой музыки, они то вспыхивали, то

гасли, и очень подходило это оживленно-радостному нашему настроению. Кучки людей то собирались, то распадались, напоминающая цветные узоры в калейдоскопе, все было разноцветно и весело: зелень деревьев, красные флаги, синие, желтые, голубые, оранжевые, зеленые и красные воздушные шары. Дети несли маленькие красные флажки с надписью «1 Мая», стояли тележки, с которых продавали газированную воду: хочешь — с сиропом за три копейки, хочешь — просто так за копейку, а еще лотки с печеньями, пирожками, бутербродами. И не забыть мне пищалки «уйди-уйди» и «тещин язык», высовывавшийся почти на длину детской ручки. Мы выпили по стакану фруктовой воды, съели по бутерброду с бужениной и чувствовали себя прекрасно. А над всем этим праздничным гамом господствовала одна песня, так мне, во всяком случае, вспоминается.

*(Действительно, перекрывая рассказ Бориса и городские карнавальные шумы, которые должны слышаться, звучит песня:*

*Утро красит нежным цветом  
Стены древнего Кремля,  
Просыпается с рассветом  
Вся советская земля!  
Кипучая, могучая, никем непобедимая,  
Земля моя, страна моя, ты самая любимая!)*

И вот на углу Воровского мы столкнулись с невысоким толстым человеком в расстегнутом плаще и очень хорошо пошитом костюме. Я хоть и мальчишка был, а это понял: двубортный, тяжелый, а из-под него жилетка. Это, как ты уже поняла, был Пампушин. Увидев нас, он вдруг перегородил нам дорогу и к отцу бросился.

**Пампушин** (*голос молодой, но с властными, барственными интонациями*): Гриша, дорогой мой! Как славно, что я тебя встретил! Я тебя теперь не отпущу. Со мной пойдешь! Я к Реджинальду Эвенкову! Там сегодня прекрасные люди, цвет нашей интеллигенции! Ты посмотри — страна обновляется! Нам вместе надо быть! На дворе уже пятьдесят восьмой!

**Удаляющийся голос взрослого Бориса**: Мне никуда не хотелось, я уже устал да знал, что и отец не любитель шумных застолий, поэтому вмешался:

**Борис** (*ломающийся голос подростка*): Мы маме домой обещали сразу после демонстрации...

**Отец Бориса**: Неудобно, Михал Потапыч. Он же меня не звал.

**Пампушин:** Ты что, Григорий! Кто же знал, что тебя удастся вытащить. А Реджинальд в восторге от твоей статьи, ну, той, что в сборнике идет под моей редакцией. Кстати, я тоже в восторге, знай это. А Реджинальд тебя на каждом углу расхваливает! И поэт там этот чудной будет, год, как из ссылки, теперь везде ходит и бурчит.

**Отец Бориса, он же Гриша:** Да я с Борисом, неудобно...

**Пампушин:** Ну и что, что с Борисом! И он с нами пойдет. Мальчику надо привыкать к интеллектуальному общению, к духовной среде. Вырастет – сам ученым станет. Тебе сколько лет?

**Борис (мрачно):** Тринадцать.

**Пампушин:** Пора, брат, пора! Самое время – умные разговоры слушать. Да вы чего – это недалеко, на Вспольном.

**Голос взрослого Бориса, издалека:** Мы все же пошли. Действительно, оказалось совсем рядом. Дверь нам открыла молчаливая жена Реджинальда, отцу, а заодно и мне, и вправду обрадовалась. Я заглянул из коридора в комнату, где сидели гости. За обильным столом было не так уж много народу: мужчина с впалой грудью в твидовом пиджаке – Реджинальд Эвенков, потом был какой-то знаменитый и уса́тый кинорежиссер в цветастой рубашке и коротких брючках – с маленькой дочкой, небритый поэт с женским именем, обрюзгший и скособоченный, и дочка хозяев Катя. Дочка кинорежиссера стояла на табуретке и читала стихи. Заметив нас, она запнулась. Реджинальд в твидовом пиджаке ее ободрил.

**Эвенков:** Продолжай, Леночка, не стесняйся.

**Леночка:**

Погляди в свое окно —  
Все на улице красно.  
Вьются флаги у ворот,  
Пламенем пылая.  
Видишь – музыка идет  
Там, где шли трамваи.  
Вся страна, и млад и стар,  
Празднует свободу!  
И летит мой красный шар  
Прямо к небосводу!

*(Слышны хлопки в ладоши, поощрительные.)*

**Эвенков:** Я ужасно рад, Гриша, тебя видеть. Идем к столу. Сына твоего мы посадим рядом с моей Катей, вон она и не возражает, ей кавалер нашелся.

**Катя (бойко):** Меня зовут Катя. А вас?

**Борис (все так же мрачно):** Борис.



**Эвенков:** Ну, вот они и познакомились, пусть теперь друг другом занимаются. А Гришу с Михал Потапычем мы вот на этот конец стола усадим. Ну что, почти все в сборе. Жени Евтушенко нет, но он сказал, что может и не прийти. Зато вместо него Гриша.

**Пампушин:** Я, это я его вытащил, давайте теперь выпьем. Реджинальд, говори тост.

**Эвенков:** Ну, первый тост самый простой, хотя и самый важный. За мир во всем мире. Только тогда люди творчества смогут себя реализовать. Я думаю, теперь он будет всегда. Теперь дело за нами, творцами и изобретателями, философами, поэтами, режиссерами. С появлением водородной бомбы война стала бессмысленной.

**Поэт (бурчит):** А люди осмысленными?

**Эвенков:** Что ты хочешь сказать?

**Поэт (все так же себе под нос):** А то, что и в прошлом веке тоже всякие умники говорили, что война невозможна, потому что, да, появился пулемет...

**Кинорежиссер:** Я вам как кинорежиссер, снимающий картину о войне, могу точно сказать: война — страшная вещь, и всей правды о ней пока не показано. Я десантником был и никогда не забуду, как нас выбросили с парашютами, а внизу горели костры, и немцы нас расстреливали из пулеметов. Нас только трое уцелело, а когда мы две недели шли к своим, в одной деревне какая-то баба выдала нашего товарища немцам, он еды у нее просил, и его убили, а мы ничего не могли сделать. Про это надо рассказывать, чтоб все знали. А у нас сидят умники-старперы, и на просмотрах один особенно вопит: «Я поставлю пулемет и буду стрелять в каждого, кто в фильмах убивает советских людей». Я думаю, именно на наше поколение возложена миссия рассказать правду обо всем, что мы видели. (*Слышно, как он отпивает из рюмки.*)

**Поэт (бурчит):** Надо уметь правдиво думать, а не только видеть.

**Пампушин (вальяжно, но с оттенком трагизма, цинизма и чего-то еще, под конец спича — самоиронии):** Да хотя бы рассказать, что мы видели — и то неплохо. Ведь не поверит никто! У нас все книги теперь о храбрых партизанах и разведчиках, которые даже если жизнью жертвуют, то очень красиво и благопристойно. А я всю войну провел в контрразведке и могу сказать, что там страшно и грязно. У нас было задание — уничтожить гауляйтера, так две наши девушки прошли через немецкий солдатский публичный дом, за красоту были переведены в офицерский, а потом их горничными взял гауляйтер, которого они и убили. Про это разве расскажешь? Да и как? Я всего несколько раз бывал на оккупированной территории, по несколько часов, а страху натерпелся на всю жизнь. Как

в бреду там был, ничего не помню, кроме своего безумного страха и того, что положенного мне по роли парабеллума я боюсь не меньше, чем немцев, которые всего только однажды мои документы проверили, вежливо откозыряли как офицеру вермахта: ведь я и немецким владею прилично. А вот поди ты — умирал со страху.

**Голос взрослого Бориса:** Сама понимаешь, что, несмотря на всю мою книжность, эти военные истории пленяли мое воображение. Но моей соседке, Реджинальдовой дочке, они быстро прискучили, и она начала вызывать меня на разговор...

**Катя:** Сделать тебе бутерброд с семгой? Мужчины, я знаю, сами о себе позаботиться не могут.

**Борис (еле слышно):** Ладно...

**Эвенков (с усмешкой):** Смотри, Гриша, ты не хотел все ко мне выбираться, а наши дети-то как заворковали! Катька, когда хочет, она заботливая. Как, Гриша, подходит она тебе в невестки?

**Отец Бориса (смущенно):** Конечно, Катюша — чудесная девочка...

**Эвенков:** Она у меня музыкантша.

**Катя:** А ваш Борис чем занимается?

**Отец Бориса:** Чем? Да я даже и не могу так сказать. Книгочей, книгоглотатель, вот, пожалуй, и все. Сейчас в Стендаля впился, читает и перечитывает.

**Пампушин:** Ну-у, замечательно! А ты, Гриша, не хотел его сюда вести! Хотя книги, может, и не по возрасту, но это замечательно. Я тоже поклонник Стендаля и терпеть не могу Бальзака. Он устарел и скучен.

**Поэт:** Так все снобы считают. Им бы только импульсы, только психологию, а не знание.

**Пампушин:** Ну, это, братец, чушь. Я хоть и уважаю твою судьбу, но лагерь и ссылки никого эстетической тонкости научить не могут. А читателю нужно доверять, ему нужно оставить свободу для воображения и домысливания. Но не только в этом дело, а в том еще, что, говоря обо всем, даже об исторических деятелях, он писал то, что сам знал, видел и слышал, а потому — с короткостью знающего человека. Ему достаточно было детали, чтобы показать сущность персонажа. Там, где Бальзак наворачивал кучу описаний, Стендалю было достаточно штриха, эпизода. Взять хотя бы историю с Футе, наполеоновским министром полиции.

**Борис (напряженно-хамским голосом всезнайки):** Да-да, это насчет гостей, не так ли?

**Пампушин (с шумным восхищением):** Ты помнишь? Тогда расскажи этим большим дядям. Ведь через малюсенький эпизод, всего полстраницы текста, видна вся система отношений тех лет. Ну же!..

**Борис:** *(все таким же напряженно-хамским голосом):* Один полковник наполеоновской гвардии, я не помню, правда, его имени, хотел созвать гостей на свой юбилей. Вдруг он испугался, что Фуше будет им недоволен. Он пошел спросить разрешения на гостей. Тот говорит: «Ладно. Но пусть там будет один из моих агентов». Полковник был человек чести, он возмутился: «Я зову моих близких друзей, товарищей по оружию. Это оскорбительно!» Вдруг Фуше словно осенило. «Дайте, — говорит, — список приглашенных». Полковник протягивает список. «Можете приглашать», — говорит Фуше. «Как?» — удивляется полковник. «А так, — отвечает Фуше. — Можете. Там больше половины наших». Вот и все.

*(Слышна мертвая тишина.)*

**Поэт:** Реджинальд, а ты список утверждал? У нас в Караганде утверждали. Как бы тебе не попало!

*(Нервный всеобщий смех, шум, голоса.)*

**Эвенков** *(перекрывая шум):* Успокойся. Слава Богу, прошли те времена списков.

**Кинорежиссер:** Друзья мои, налейте вина! Я хочу выпить за наш союз, союз людей творчества, людей науки и искусства. Как бы остатки мракобесов ни пытались нам помешать, но свет подлинного искусства воссияет, ибо искусство наше — коммунистическое в самой своей сути. Не прихлебательское, а настоящее. Главное, что не прихлебательское. Как написал не пришедший сюда поэт...

**Эвенков:** Еще придет.

**Кинорежиссер:** Возможно. Но, тем не менее, я процитирую. Потому что в этих строках наше кредо:

Им, кто юлит, усердствуя,  
И врет на собраниях всласть,  
Не важно, что власть — Советская,  
А важно, что это власть.  
А мне все это важно,  
И потому тревожно.  
Я умер за это бы дважды,  
И трижды, если бы можно!

Вот за это, друзья мои, и выпьем!

*(Опять слышится звон бокалов и звук заглатываемой жидкости.)*

**Эвенков:** Замечательные слова! И как радостно, что все мы в едином порыве! Теперь я хочу вам немного прочитать из статьи, которую я написал для сборника, где и блестящая Гришина статья, сборника, который Михаил Потапыч пробил сквозь все косности. Вот, послушайте. *(Читает.)* «Развивая, дисциплинируя и оттачивая силу воображения, позволяющую человеку самостоятельно

видеть конкретные факты в свете общей перспективы развития, искусство осуществляет свою важную миссию в общем деле борьбы за коммунизм, за всестороннее развитие индивидуума. Искусство для нас — не ветка сирени, которую можно взять, а можно и не взять с собой в космос. Без искусства и развиваемого им эстетического чувства, связанного с культурой силы воображения, не будет ни ракеты, ни человека, способного на ней лететь. Развитое чувство красоты — это верный компас, указывающий людям верное направление на коммунизм в любой конкретной области жизнедеятельности, могучий союзник партии и марксистско-ленинской теории». Так я кончаю свою статью. В этом и есть специфика искусства, что бы ни говорили ретрограды! Мы должны возродить идеал коммунизма во всей его чистоте и показать всем людям, как он прекрасен.

**Голос взрослого Бориса:** Моя соседка совсем извертелась от скуки взрослых разговоров и принялась снова доставать меня, энергично и настойчиво. Но только благодаря ее приставучести я и сделал свое довольно-таки жутковатое открытие...

**Катя:** А, по-моему, красота — это свойство женщины, как говорит моя мама. Думаю, я права. Мужчины, правда, не всегда это понимают. Наши мальчики в школе, например, совсем целоваться не умеют, только тискают. А уж ухаживать — тем более. Но ведь женщине приятно, когда за ней ухаживают. А они даже пальто подать не умеют... Ты чего на меня так смотришь? Понравилась? Пойдем, я покажу тебе мою квартиру. Хочешь?

**Борис:** Наверно...

**Катя** (*громко, вслух*): Спасибо. Можно мы из-за стола встанем? Я пойду Борису все свои книжки покажу, раз он такой книголюб.

**Эвенков:** Конечно, конечно. Идите.

(*Слышен хлопок закрывающейся двери.*)

**Катя:** Ну вот и сбежали. Теперь давай в прятки играть. Чур, я первая прячусь. Если ты меня найдешь, то можешь поцеловать. Только уговор: на кухне и в моей комнате не прятаться. Я, чур, прячусь в ванной, а ты потом в коридоре, вон среди плащей на вешалке. А там я тебя найду и сама поцелую.

**Голос взрослого Бориса:** Я безумно робел и старался ее не найти, но неизбежное свершилось. А когда прятался я, то в кармане одного из плащей случайно обнаружил настоящий боевой пистолет, сразу же решил, что он принадлежит Пампушину: слишком много он о контрразведке и всяких шпионских делах распространялся. Но только год или два спустя я сообразил, что пистолет-то имел право носить только сотрудник органов. А, стало быть, во время

этого возвышенного разговора кто-то один, скорее всего Пампушин, держал, что называется, камень за пазухой, следил, наблюдал за другими, был соглядатаем (*голос Бориса приближается, становится близким, снова слышится звук льющейся воды, гуденье газовой плиты, шум мусоропровода и прочие кухонные звуки: быть может, звук ножа о деревянную доску, как бывает, когда режут картошку, морковку, лук*). Понимаешь? Кларина, я никому про это не рассказывал, даже отцу, ведь доказать я ничего не мог, все это выглядело бы выдумкой. Но с тех пор вот это вот ощущение, что неподалеку живет человек, который — по закону — носит в кармане пистолет, значит, имеет право пустить его в ход, а я никому про это даже сказать не могу, более того, вроде бы доброжелательный, улыбчивый человек, многим сделавший столько хорошего. А он может застрелить любого из нас. И это меня не меньше гнетет, чем все разговоры о том, что он является полковником КГБ.

**Кларина:** Послушай, милый, всякий нарыв надо вскрывать. Поезжай, спроси его прямо, ну, по ситуации, когда удобно станет. Захочет — ответит, не захочет — не ответит. Но ты же уже не мальчишка, поймешь, правду ли он говорит. Мне так, например, интереснее, почему, если он гебешник, он поддержал такую тему диссертации, как у тебя, — «Достоевский и русская религиозная философия».

**Борис** (*взрослый, разумеется*): Ну, это как раз понятно. ГБ вперед глядит, знает, чем Запад интересуется, да и для себя отступление в другую идеологию подготавливает.

**Кларина:** Ну, раз тебе много чего понятно, то поезжай, милый, поймешь и остальное. Главное — не томи себя. Разреши загадку и успокойся. Заодно и долг вежливости выполнишь.

### III

*Михаил Потапович Пампушин — 71 год.*

*Борис Григорьевич Кузьмин — 44 года.*

*Перестук колес проходящей далеко электрички. Кричит петух, лает собака, скрип колодезного ворота и прочие дачно-деревенские звуки. Тренькают велосипедные звонки. Голоса мальчишек:*

*— За одним не гонка, человек не пятитонка!*

*— Чур меня! Я выручился.*

*— Петька, сиди! Не высывайся!*

*— Я так не играю! Серый подсказывает!*

*— Нет, ты уж води до конца! Давай, давай, ищи!*

*Громкий стук костяшками пальцев по дереву. Визжат калиточные петли. Затем голос пресыщенного, балованного барина, это Пампушин.*

**Пампушин:** Чего стучишь? Звонка не нашел? А он вот он. Электрический. Прямо в дом к себе в дом провел. Хоть и дачник, а по-прежнему не люблю идиотизма деревенской жизни. Классики верно определяли. Петли вот только никак не смажу, так стонут, что самому порой жутко. Да ты не толкись в калитке, заходи. В доме расскажешь, зачем приехал. Хотя и сам знаю. Спасибо сказать хочешь.

**Борис:** Это прежде всего.

**Пампушин:** Значит, еще в чем нужда приперла. О новых проблемах сегодня не буду. Устал, и жара. Вон, видишь, в семейных трусах шеголяю. Сейчас кваску холодненького выпьем.

**Борис:** Никаких новых проблем, Михал Потапыч. Действительно, хочу «спасибо» сказать. Если б не вы, Ученый совет мою докторскую либо завалил, либо на осень перенес. Спасибо вам, что пришли.

**Пампушин:** Это да. Уважают они меня. А тебя испугались. Ну, это их дело обычное. Как талантливо, как ново, значит, рубить будут. Эти их мать! А при этом кричат: перестройка, перестройка! А я всегда и безо всякой перестройки умных людей спасал! Потому что Отчеству нужны не только танки, но и головы. Потому и люблю талантам помогать. Талант — он необуздан, в любую минуту может в сторону свернуть. А ты его поддержи, пригрей, помоги — он и будет тогда цвести на благо государства. Сколько я книг протасил под своей редакцией. Дураки боялись, что антисоветчина, крамола, а я пробивал! И Баткина, и Аверинцева, и Ильенкова — всех печатал. Да ты в комнату-то проходи, чего жмешься! Библиотеку посмотри, знаю, что тебе любопытно. В Москве мне тяжело стало, возраст природы требует. Так я почти все книги сюда перетасил. Да ты что глаза в пол уставил? Шокирует, что ли, что брюк не ношу? Семейные трусы, брат, это все равно что шорты. А в шортах весь цивилизованный мир ходит. Мне же надо, чтоб пузу моему воля была.

**Борис:** Это нормально, это каждому хочется. А уж русскому человеку — тем более, в свое пузо пожить, по своей воле то есть.

**Пампушин:** Иронизируешь? Над русским человеком иронизируешь? Зачем тогда диссертацию о Достоевском писал? Ну да ладно. Я тебе скажу и другое: что русский человек, быть может, больше любого немца по строгому закону способен жить, и самый буйный

из нас все равно властей опасается, а уж потом, к пенсии, когда заслужил и выслужил, может и расслабиться. А что, не так?

**Борис:** Не знаю. Вам, наверно, видней.

**Пампушин:** Конечно, видней. И мне на подколки твои наплевать, потому что я знаю, что говорю. Да и ты знаешь, только прикидываешься. У всех у нас одна школа. Ты лучше на книги внимание обрати. Вот, к примеру, весь отец Александр Мень. Брюссельское издание «Жизнь с Богом». Это когда он еще Эмилием Светловым подписывался. Сейчас все кинулись Бердяева издавать, а у меня он давным-давно весь собран. И Шпет, и Шестов, и Федотов... Много чего есть. Не зря я по миру поездил. А на немецком сколько книг по культуре привозил! Вообще без этого языка прилично образоваться все же нельзя. Правда, английский с французским тоже нужны. Ну, об этом за столом поговорим, продолжим наш бинарный симпозион. Ты чего принес? Коньяк? Армянский? Это неплохо. Сам и выпьешь. Я только пригублю, мне нельзя. У меня вон сколько по полкам дареных бутылок — тут тебе и «Камю», и «Наполеон», и «Бисквит»... Друзья мои вкусы знают. Только все мое питье уже в прошлом. Но твой армянский пригублю. Мы ведь с тобой первый раз за столом сидим, надо тебя уважить. Как там у Достоевского глава называется в «Карамазовых»? «За коньячком»? Вот и мы за коньячком посидим да побеседуем. Мне любопытно тебя поближе рассмотреть.

**Борис:** А ведь мы, Михаил Потапыч, второй раз вместе за столом сидим. Вы-то не помните меня, мне тогда тринадцать только исполнилось, а я вас запомнил. У покойного Реджинальда Эвенкова это было.

**Пампушин:** И вправду, не помню. Ну, где я только не бывал! Вся московская элита в друзьях, все мне обязаны. Но тебя у Реджинальда не припоминаю. Ты с отцом, что ли, там был?

**Борис:** Ага. В пятьдесят восьмом, в первую оттепель.

**Пампушин:** Ну, тогда эту оттепель вовремя прикрыли. А то бы, как сейчас, все государство по кочкам разнесли. Ты чего уставился? Еще не разнесли, но разнесут, я тебе точно говорю. Михаил Потапыч вперед глядит. Эти м...ки, Горбачев с Яковлевым, и державу проиграют, и самих себя. Одно утешает — что органы все это принимают. Стало быть, так надо. Есть замысел, о котором нам с тобой и не догадаться. Ну, да и ладно. Я человек пенсионный, ты человек маргинальный, как и положено интеллектуалу. Выпей лучше за мое здоровье! Вот так-то. Значит, говоришь, с отцом был. В пятьдесят восьмом? Тогда все друг к другу в гости так и шастали, разговоры разговаривали. И я тоже везде бывал. И у Реджинальда

Эвенкова не один раз. А тебя не помню там. Да и отца не помню. Все-то он особняком держался. Поди и сейчас такой. Молчун. Ты в папашу пошел. Как он сейчас? Здоров?

**Борис:** Слава Богу!..

**Пампушин:** Ну и хорошо. Ты ешь, закусывай. Мне жена тут мяса на всю неделю наварила и курицы две тоже. Ты вон в миске большой выбирай, прямо руками можешь брать. Тут и на месяц хватит при умеренном-то питании. Но я все равно в неделю схаваю. Давай и огурчики с лучком бери. Свежие, прямо с огорода. Конечно, закуска больше под водку, ну да уж что сам принес, то и пей. А я теперь только садом да книгами занимаюсь. Помнишь, как там у Вольтера: хорошо возделывать свой сад. Вот я и возделываю. Да ты пей, не обращай внимания, что я пропускаю. С кем я только раньше не пил! И помногу!.. И всегда на ногах держался, а главное — голова всегда ясная. Меня за это очень ценили.

*Из-за окна, совсем близко, вдруг врзаются громкие крики мальчишек:*

*— Ребя, а давай в казаки-разбойники на велосипедах!*

*— Чур, я в казаках, ловлю!*

*— А чего это сразу ты?! Посчитаемся сначала!*

*— Да ему батя кольтяру из Америки привез, совсем как настоящая! Ему пострелять хочется.*

**Борис:** Михаил Потапыч, можно вопрос задать? Еще сюда когда ехал, все спросить хотел. Сразу не решился. А теперь вот мальчишки напомнили.

**Пампушин:** Чего напомнили? Давай спрашивай. Только окно прикрою, а то орут больно громко. Ну, задавай свой вопрос.

**Борис:** А вы не обидитесь?

**Пампушин:** Да ты что! Когда это Пампушин на талантливую молодежь обижался! Давай, не тяни резину.

**Борис:** Вы, Михал Потапыч, человек-загадка. Сегодня я вас разгадать хочу. Одно воспоминание мне покоя не дает. Ладно, об этом потом. Вот мой вопрос. Правду ли о вас говорят, что вы, так сказать, по совместительству еще и полковник КГБ?

**Пампушин:** Врут! Все врут! Майор! Выше не дали подняться! У нас там строго было. Я развелся, на Кисе своей нынешней женился. Тут меня и уволили. В конце сороковых это было.

**Борис:** И с тех пор в завязе? Вы простите, ради Бога, но уж раз задал первый вопрос, то и продолжаю.

**Пампушин:** Все правильно спрашиваешь! С этим делом, голубчик, завязать невозможно. Там живого до самой смерти не отпуска-



ют. Так что задания я все время выполнял, но чины уже больше не шли. Зато поездил вволю по всему свету. И все ведь, голубчик, не без пользы для философии. За границу у нас зря не пускают. Вот ты хоть в лепешку разбейся, а тебя на Запад не выпустят. Потому что — невыездной. А я оттуда не вылезал. Даже с Солженицыным хотел встретиться. А он — тоже осел, еще меня в чине повысил (*передразнивая чью-то интонацию*): «С генералами госбезопасности дела иметь не желаю». Ну и пусть. Да если б не эти генералы, о чем бы он писал, да и где был бы сейчас! Уж точно, что не в Америке. Сталин бы его не помиловал. А нам он полезнее — там, чем здесь. Мужик скандальный, теперь, вместо того чтобы нас обличать, он Запад на чем свет костерит. Смешные они были, наши-то диссиденты. На два шага вперед ничего рассчитать не могли. К одному я как-то пришел, в Нью-Йорке, где-то в Бронксе жил, квартирка крошечная, развалюха, одним словом. А мне надо было ему совет передать. На восьмой этаж без лифта еле влез. С моим-то пузом! Говорю: «Просили вам, любезный Викентий Пафнутьевич, напомнить, что у вас в Москве семья осталась: и не только жена, понятно, что вы ее уже забыли, но и родители, и сын ваш от первого брака. Не дай Бог с ними что случится! А вы все выступаете, близких не шадите». Так знаешь, как он испугался! Виски мне налил, сам вокруг вьюном вьется, лебезит. Будто я чего могу! Но я же не оперативник, убивать его не собирался. Меня попросили — я передал: вот и вся моя работа.

**Борис:** Жестоко. Вам не было его жалко?

**Пампушин:** А ничуть не жестко. Что он, ребенок, что ли, с государством в прятки играть! Ему и напомнили, что спрятаться не удастся. А я людям никому зла не делал, только добро. Сколько подписантов на своей кафедре пригрел! Ты сам не зря ведь ко мне за помощью побежал. И кто помог? Я помог, Михаил Потапович Пампушин. А то эти акулы мигом бы тебя слопали, несмотря на перестройку. А у меня работа такая, или, если хочешь, то хобби — людям помогать. Давай за это выпьем. Я тоже глоток приму.

*Слышен звон соприкоснувшихся рюмок. В тишине, наступившей после слов Пампушина, снова возникают крики детей:*

— Пах-пах! Я тебя убил, падай!

— Сам падай, я раньше выстрелил!

— Тогда ты не играешь! Ребя, Серый жулит!

— Сам жулишь! У тебя-то и пистолета нет, эта палка совсем на него не похожа.

— А ты со своей кольтярой не выпендривайся!

**Борис:** Занятно все это. Хорошо, что ГБ теперь в прошлом...

**Пампушин:** Почему это в прошлом? Тебя *дерьмократы* наши такому научили. Эта организация вся в будущем! Всегда вперед смотрит. У нее все впереди, как Василий Белов написал. Не может страна существовать без такой организации. Это понимать надо. Вы все плохих гебешников ищите. А жизнь сложнее. И *там* это понимают. Меня, например, никогда по персоналиям не спрашивали, знали, что не для меня подобное дело. Не могу я с человеком пить, а потом на него настучать. Этими делами мелкая сошка занималась. Мои задания деликатные были. Я общую информацию об атмосфере, об умонастроениях сообщал. И это, поверь мне, важнее, чем на какого-нибудь Игрека настучать. Вот тебе, к примеру, задача, которую передо мной как-то поставили. Идут интенсивные интеллектуальные беседы с западниками. Те требуют от нас толерантности как принципа государственной жизни, о хельсинкских соглашениях что-то буровят. Надо красиво выйти из ситуации. И соглашаться с ними нельзя. Какое! Сам помнишь эту доктрину мирное сосуществование государств, но непримиримая идеологическая борьба! Тут не до толерантности. Ну, я и спас ситуацию. Спросишь как. Расскажу. Уж больно смешно получилось. Выступаю и говорю: «Господа хорошие, хорошая у вас идея насчет толерантности, но не для нас она. *Народ* русский эту идею не примет. А для нас воля народа — закон. А не примет он потому, что толерантность по-русски — это терпимость. То есть для русского слуха совпадает с понятием “дом терпимости”, иными словами, — “публичный дом”. Можем ли мы такую проститутчию терминологию навязывать своему народу?» Все заржали, и западники тоже, тем дело и кончилось. Отступили они. У ГБ тонкая работа была. С плеча уже давно не рубили. И все это чувствовали, из тех, что поразвитей, потоньше. Вот ты со мной сидишь, не брезгуешь. А ненавидь ты ГБ всерьез, да ноги бы твоей тут не было! Но ты правильно сидишь. Сашку Зиновьева ведь мы спасли. Как и Солженицына на Запад выпроводили. По той же причине. Пусть лучше Запад ругают. Они теперь врут, что всегда были с ГБ в «непримиримой конфронтации». А переговоры, однако, вели, и заискивали, и обещали. Думали потом, что обманули. Да им никто и не верил. Как на ладони были видны. Но ГБ, поверь мне, о Родине и ее талантах больше печется, чем нынешние *демократы*. Еще пожалеете, что на них положились!

**Борис:** И так всегда было? Что пеклись о талантах?

**Пампушин:** Ну, ты сейчас Манделъштама вспомнишь, еще кого там. Кто спорит — все было. Но с середины пятидесятых совсем

другая уже концепция была. Не уничтожение, а наблюдение и подталкивание, почти родительское подталкивание в нужную сторону.

**Борис:** В таком случае я, пожалуй, и загадку разгадал. Вспомните все же: после первомайской демонстрации в пятьдесят восьмом были вы у Реджинальда?

**Пампушин:** Может, и был. Да, точно был.

**Борис:** Вот я и говорю, что вы. Мы тогда с отцом шли по кольцу бульварному, кругом смех, шутки, веселье, песни...

*Издалека, из прошлого, доносится песня:*

*Утро красит нежным цветом*

*Стены древнего Кремля —*

*Просыпается с рассветом*

*Вся Советская земля!*

*Кипучая, могучая,*

*Никем непобедимая,*

*Земля моя, страна моя,*

*Ты самая любимая!*

**Пампушин:** Точно, на перекрестке у Вспольного я вас с отцом встретил и к Реджинальду затащил. Потом славно так посидели. А чего ты эту встречу запомнил?

**Борис:** Знаете, я хоть и мальчишкой был, но очень книжным и, как мне казалось, очень понимал, что происходит очищение коммунистической идеи, очищение Октября, возврат к ленинским нормам жизни, которые тогда казались верхом демократии. И я сидел за столом, слушал умные разговоры, умные, благородные, возвышенные. Все там сидящие казались мне такими замечательными демократами и прогрессистами — ну, прямо, как сейчас, при Горбачеве. Тоже все о свободе пеклись. Как положено в России — дружным хором. И ели вкусно. А потом хозяйская дочка утащила меня по квартире в прятки играть. Я в коридоре между плащом спрятался, и вдруг что-то тяжелое меня по боку стукнуло. Ощупал, даже руку в чужой карман запустил. До сих пор свой тогдашний испуг помню. Потому что из кармана вытащил я — настоящий пистолет. Настоящий, боевой. Я, по своей книжности, конечно, в системах пистолетных не разбирался, понял только, что советский, но зато сразу же подумал — слишком много взрослых разговоров наслушался, что среди всех этих замечательных людей есть некто, который за ними следит, сексот, сотрудник органов. Мне тогда показалось, что все мы пропали, что после этих разговоров завтра же придут и всех арестуют. Одно только странно; я ведь видел и чув-

ствовал, что все, абсолютно все были за свободу, раскрепощение человека и очень искренно об этом говорили, фальши ни в ком не было.

**Пампушин** (*ворчливо*): Конечно, не было.

**Борис**: Во всяком случае, никого не арестовали. Какой отсюда я мог сделать вывод? Либо сам этот сотрудник ГБ перековался и ни на кого не донес, либо ГБ этим сборищем не заинтересовалась, а теперь вы мне объяснили, что это в то время уже такая политика была: позволять что-то вякать. Но под наблюдением. Но кто все же был тот таинственный незнакомец? У нас с отцом плащей не было. Остаются вы, Реджинальд, кинорежиссер, поэт и жена Реджинальда. Теперь ясно.

**Пампушин**: Чего тебе ясно?

**Борис**: Что пистолет ваш был.

**Пампушин**: Да ты что, я после войны эту гадость никогда в руках не держал. Ведь это же оружие убийства. А на моей совести ни одного трупа нет. Тем более своих. Да мне и ни по штату, ни по роли пистолет не полагался. Это оперативник какой-то был. А кто — я не знаю. Так что, Борис, осталась твоя загадка неразгаданной. Да ты не переживай. Это необходимо тоже. Россия наша всю свою историю на передовой, отовсюду враги грозили. Большинство — в бою. А сзади заградотряды. Так со времен Дмитрия Донского повелось. Он первым на Куликовом поле заградотряды установил, из татарской конницы, чтоб мужик русский из этой дьявольской сечи не утек. Бойцы невидимого фронта. Мужикам и витязям слава, а о заградотрядах песен не слагали. А без них победы бы не было. Недавно, правда, кинулись все чекистов изображать, ну, там, своей среди чужих, чужой среди своих, но уже перестали. В перестройку-де неудобно. А кто перестройку эту готовил, как ты думаешь? Не знаешь? Ну и не надо тебе знать, кто твоим демократам советы дает. Когда надо будет — прекратят. Дискредитируют демократию — и каюк! Давай лучше радио послушаем, что нам нового Родина сообщит, хотя эти демократические выкрутасы поднадоели. Каждый диктор выпендривается, как премьер-министр.

*Слышен щелчок включаемого радио.*

**Голос диктора** (*торжественный, под Левитана*): Дорогие сограждане, братья и сестры! Группа изменников Родины, объявивших себя так называемыми демократами и приведших страну к национальному позору, арестована. Вся власть в руках православных патриотов своего Отечества. Границы перекрыты. Наши доблестные войска, по просьбе лидеров пытавшихся отделиться республик, восстанавливают народную власть. Наступил конец унижению.

Вся компьютерная техника, полученная от инофирм, национализована и находится в надежных руках. Фермерам предложено сдать орудия производства в колхозы. Все граждане, посещавшие в этот период Запад, обязаны пройти регистрацию в районных отделениях госбезопасности. Объявлена всеобщая мобилизация. За уклонение — расстрел. Все партии, кроме руководящей, распущены. Президент подписал указ о возвращении к ленинским нормам партийной жизни. Телефоны и приемные госбезопасности работают круглосуточно. Просьба к гражданам сообщать обо всех проявлениях саботажа и недовольства. А теперь послушаем в исполнении рок-ансамбля «Перевертыш» давно забытую песню.

*В рок-исполнении раздается:*

*Кипучая, могучая,  
никем не победимая,  
Страна моя, земля моя,  
ты самая любимая!*

**Пампушин:** Чего? Задрожал? То-то!

**Борис:** Но это же переворот!

**Пампушин:** Если бы! Это у меня шутка такая. Магнитофон я включил с записью, а не радио. Актер один, мой приятель, на пленку смеха ради наговорил. И надо же — все как один верят, что это взаправду. Запуганные вы ребята, запуганные. А еще интеллигентия, цвет нации! Да кому вы нужны! Сами с собой склочничаете, друг друга подозреваете невесть в чем, разговоры разговариваете, вот и хорошо, вот и дальше в том же духе!.. А вообще-то я тебя люблю, талантливый ты парень! А я талантам всегда помогал.

*За окном крики мальчишек:*

*— А чего он хвалится! Сейчас и настоящий купить можно!*

*— Купишь — а потом отберут!*

*Слышен дальний перестук колес. Он длится по крайней мере минуту и все усиливается, пока не становится близким. Чтобы у слушателей возникло ощущение, что кто-то куда-то едет или, точнее, кого-то куда-то везут. Гудок поезда, длинный, тоскливый.*

*Конец*

*Июль 1992*

# Темный язык жизни

Парки бабье лепетанье,  
Спящей ночи трепетанье,  
Жизни мышья беготня...  
Что тревожишь ты меня?  
Что ты значишь, скучный шёпот?  
Укоризна или ропот  
Мной утраченного дня?  
От меня чего ты хочешь?  
Ты зовёшь или пророчишь?  
Я понять тебя хочу,  
Смысла я в тебе ищу...  
(вариант: темный твой язык учу)

*Александр Пушкин*



## Разве это жизнь?

**В**ладик Касовский жил на первом этаже. Это я помню, знаю точно... Я третьеклассником, потом пятиклассником, потом семиклассником заходил в подъезд, поднимался по каменным ступеням на один маленький лестничный пролет и оказывался на площадке первого этажа, где друг напротив друга располагались две профессорские квартиры. Слева жили вдова профессора Мигалова и его красивая, уже пожилая дочь, справа — профессор Рувим Касовский с женой, дочкой Софой и великовозрастным сыном, которого он сумел протащить через институт, где сам работал, защитить его диплом и пристроить работать. Как у него получился такой сын, было не очень понятно, уж очень профессор был строгих правил — каждый вечер перед сном он ходил упорно по десять кругов вокруг дома. Может, потому, говорили соседи, что пяти лет у Владика случилась базедова болезнь. И он смотрел на всех выпученными, слегка слезящимися глазами. Да, Владик... Нет, он не пьянствовал, был интеллигентен, добродушен, женился на ясноглазой, с милым лицом русоволосой женщине, крупнотелой красавице, тихо улыбавшейся соседям. Как теперь понимаю, Зина вышла, очевидно, из совсем другого социального страта, окружавшие ее молодые кобели, видимо, были или казались ей много ниже, чем профессорский сын. Она жила в доме с коридорной системой, и после одной комнаты, где она теснилась с отчимом и двумя братьями, небольшая трехкомнатная профессорская квартира, где с ее приходом стало жить пятеро, а когда она родила, то и шестеро, все равно была более домашней. Она видела, что пришлось по душе строгому Рувиму и его жене Иде. Более того, казалось, что после дурака-отчима, который иногда пытался приставать к ней, хотя и нерешительно, она нашла в старом Рувиме кого-то вроде отца. И легко стала называть его папой, хотя его жена так и осталась для нее Идой Исааковной. А Владик?... Он вдруг почувствовал, что стал большим, что у него, как у большого, есть жена, женщина, что он посвящен во взрослое таинство, которое ему казалось раньше грязной болтовней мальчишек.



Так вот, идя из школы и поднявшись на площадку первого этажа, я почти всегда видел Владика, который стоял там в пижаме и стоптанных тапках. Он курил «Беломор», жуя мундштук папиросы. Он всегда хватал меня за плечо и, радостно улыбаясь, спрашивал: «Борька, слышал последний анекдот? У армянского радио спросили: “Сможет ли женщина выдержать одиннадцатиметровый?”. Ты ж понимаешь, что тут речь не о пенальти. И армянское радио ответило: “Сможет. Если такой найдется”. Ловко придумали, а?» – и он смеялся, немного брызгая слюной от удовольствия. Я поднимался к себе на третий этаж, переваривая информацию. Я, вроде, понимал, что он имел в виду, но и не очень. Подростковое воображение чудовищно. Я и впрямь решил, что бывают мужчины с пенисами такого размера. Мне теперь иногда кажется, что и он так думал, страдая, что у него обычный. Но это потом выяснилось.

А в следующий раз он ошарашивал меня другим анекдотом, смеясь и немного брызгая слюной: «Послушай, Борька, вчера мне рассказали. У армянского радио спросили: “Можно ли обременить женщину заботами?” Армянское радио ответило: “Можно. Но лучше за шкафом!” А? Как словом-то играют! Понравилось. Но вообще-то могу тебе сказать, что женщина, когда хочет отдаться, отдается в любом месте, причем самая порядочная. Это выше их». Он смотрел на меня своими выпученными базедовыми глазами, голубоватыми и слегка водянистыми.

Воскресными летними днями (суббота тогда была рабочим днем) соседи мужского пола грудились во дворе, за шахматными досками под липами. Переживали матч Михаила Ботвинника и Василия Смыслова, разбирали их партии. Радовались, что мировая шахматная корона все равно останется в Советском Союзе. Владик играл со всеми, играл неплохо, но чаще проигрывал. Мне проигрывал, поэтому относился с уважением и болтал со мной: «Знаешь, жена Смыслова говорила, что она кормила своего Васю во время матча рыбой, треской, чтобы было больше фосфора. А слышал, Борька, как мужик приходит к врачу и говорит, что у него плохо с потенцией? Врач отвечает, что надо побольше рыбы есть, что в ней много фосфора. А мужик отвечает: “Я хочу, чтобы он у меня стоял, а не светился”. Как полагаешь, правильно ответил?» Я неопределенно хмыкал и вспоминал фразочку взрослых девиц с нашего двора, что до женитьбы Владик был «сексуально озабоченным», а после свадьбы стал «сексуально озадаченным». Отвечать было нечего, и мы продолжали играть. Потом его позвала жена, пришло время обедать. «Вот, Борька, – произнес он как хо-

зяин, — не женись. Начнет одна такая тебя понуждать жить по своему времени». Но я-то видел, что хозяйкой была Зина. Она вышла из подъезда, тихо подошла под липы к играющим и сказала как-то очень по-женски: «Я же жду». «Иду, иду!» — вскочил он, и она повлекла его за собой.

Но все равно каждое возвращение из школы сопровождалось для меня встречей с Владиком. Будто он не работал никогда. Однако он работал, где-то за кем-то вел семинары, времени было полно, зарплата маленькая. Но он хохмил: «Все равно всех денег не заработаешь». И рассказывал анекдот, как девушка наутро говорит любовнику: «Да уж, не очень-то. И зарплата у тебя тоже маленькая».

Как-то я пару раз попытался пересказать родителям его анекдоты. Они поморщились. «Ему что, не с кем из взрослых поговорить?» — рассерженно выговорила мама. С тех пор, когда я рассказывал не совсем приличные анекдоты, отец спрашивал: «Опять Владика Касовского на лестнице встретил?» Я смущался, относиться к Владиду стал немного иронически.

Потом я женился, переехал, а у них с Зиной, как слышал, родился сын Зигфрид.

Этот Зигфрид рос на удивление быстро. Строгий дед Рувим выглядел ошеломленным, получив внука с таким немецко-арийским именем. Видно было, что он внука избегал, как-то погружаясь в себя. Но невестку все равно любил, был с ней ласков. А внук был толстый, сильный, с голубыми глазами немного навывкате, но явно не в отца, со щитовидкой все было в порядке. Он как-то быстро сошелся с окрестной шпаной, вместе с ней приходил бить юных жильцов профессорских домов и был, пожалуй, самым громким в выкриках «жидовская морда» и «еврей пархатый».

У родителей я бывал еженедельно. Так получилось, что я отловил как-то сына Владика во дворе, усадил на лавочку под липой, где летом раньше играли в шахматы, и сказал: «Тебе не стыдно? Ведь у тебя и дед, и бабка, и родной отец — евреи. Дружки узнают — побить могут. Не опасаясь?» Он с простодушной наглостью посмотрел на меня и сказал презрительно: «А Владик Касовский мне не отец. Он еврей. Мой отец — спортсмен-боксер, и зовут его Ростислав Жгутин. Слышал, небось? Он за меня кому хошь морду набьет. А потом мама у него немка, так что он настоящий ариец. И я тоже». Я оторопел: «Разве твоя мама развелась с Владленом Рувимычем?» Он пожал по-взрослому плечами: «Ей жалко его. Этот еврей каждую ночь ревет, как баба, и просит ее не уходить. А мамаше старика только жалко. Потому и живем здесь».

Какая-то новая картинка нарисовалась мне. Я был женат и уже наглядился на разные семейные пары, которые были все несчастливы на свой лад. Но такого еще не встречал. То-то, вспомнил вдруг я, что Зина последние годы ходила опустив глаза и только кивала в ответ на приветствия. Я оторопело пошел прочь от юного нациста. Время было уже перестроечное, *такие* уже начали появляться, по Москве ходили слухи, что бритоголовая шантрапа отмечала на Красной площади день рождения Гитлера. И все равно как-то не верилось, что из тихой еврейской профессорской квартиры мог вылупиться такой гаденыш. Стало страшно.

Войдя в подъезд, сразу увидел на площадке первого этажа Владика, который жевал в зубах беломорину и, увидев меня, привычно возбудился, заулыбался. «Борис, как семейная жизнь? Что-то ты жену сюда не возишь!.. А слышал анекдот? Брежнев распорядился показать ему тот свет, чтобы выбрать местечко получше. Привели его в рай – скучно. В трубы дуют, псалмы поют. Повели в ад, там разные комнатки. В одну заводят, а там Никита Хрущев с Брижит Бардо сношается. Ну, Брежнев в ад и захотел. Попадает в ад. Сажают его на сковородку и принимают его филейные части жарить. Он взвыл. Кричит: “Я, как Хрущев, хочу!” А ему главный черт отвечает: “То, что ты видел, наказание для Брижит Бардо, а не для Хрущева”. Понял? Женщине заниматься этим делом с плохим мужчиной – сущее наказание».

Он хохотнул заискивающе, так мне теперь показалось. Слушать это было стыдно, мучительно, особенно после рассказа его пасынка (или бастарда, выблядка?). Я кивнул, сделал вид, что спешу, и побежал двумя этажами выше, где жил раньше и где по-прежнему жили мои родители. Но рассказывать им ничего не стал. Как-то увело бы в сторону от наших проблем. А я через пару недель должен был уезжать в Нью-Йорк почти на два года и хотел обсудить, кто и как сможет помочь родителям, пока меня не будет.

Прошло два американских года. Были они разные. Одно было странно: оттуда жизнь в России казалась такой нереальной, почти не существующей, даже наши политические деятели – маленькими и как бы невзрачными, политический выбор России – не имеющим для жизни человечества никакого значения, будто выбор марсиан, а уж отношения мужчин и женщин в России похожими на сексуальные игры рыб в гигантском нью-йоркском аквариуме.

Отец выучился посылать мейлы, мы постоянно беседовали. Я ему излагал, как видится Россия из далека. Он призывал меня к реальности, говоря, что свой уголок жизни содержит в себе всю шекспировскую глубину, надо только уметь ее увидеть. Америку

я охватить не мог. Несмотря на архитектурную эклектику того же Нью-Йорка, я чувствовал его мощную мелодию, но не мог понять, как она возникает. И все американцы виделись мне эклектичными, но мощными. А когда летел в Калифорнию над Скалистыми горами, то все вестерны ожили во мне. Грубые ребята забрались на край света и построили страну. И выработали одно важное условие жизни: privacy. Это я в нью-йоркском метро увидел. Это не уединение, как говорит точный перевод, а некое свободное пространство между одним человеком и другим. Войти в это пространство без насилия невозможно. Это стало инстинктом западного человека. Вы входите в страшное нью-йоркское метро, толкаться невозможно, от тебя отступают, сохраняя пространство. И так во всем. Никакого российского амикошонства, когда выворачивают себя наизнанку. Это я понял, но знал, что в России все равно все не так. Или не всегда так. Закрытость воспринимается как чуждость, враждебность, и человек эту закрытость всячески маскирует. Маскирует свою потребность в свободном пространстве вокруг себя. Будто стесняется этого.

По мейлу отец через пару месяцев сообщил, что их сосед с первого этажа профессор Рувим Касовский скончался. Было ему уже семьдесят восемь, не молод. Да и детей дорастил вроде бы до самостоятельности. Владуку уже стукнуло сорок семь. А его сестре Софе тридцать пять, была она незамужней, посвятив себя уходу за родителями. Через полгода умерла жена Рувима, верная Ида.

Я все еще оставался в Нью-Йорке. Следующий мейл меня очень удивил. Отец писал, что нашего анекдотчика Владика оставила жена Зина, уехала к другому, забрав сына Зигфрида, что Владик ходит потухший, ни с кем не разговаривает, даже анекдоты перестал рассказывать. И тут вдруг меня пронзило, что его анекдоты — это было тоже своего рода прайвэси: ограждение своей души от посторонних. Жалко его снова стало, но слишком он был далеко, а тут своих дел хватало.

Через два года, в марте я вернулся в Москву, почти сразу поехал к родителям. И первое, что увидел, войдя в подъезд, это коляску, а за коляской Софу, пытающуюся скатить коляску по ступенькам. Я быстро подошел, помог ей. Она мне улыбнулась радостно-растерянной улыбкой: «Думала, что совсем засох стебелек, а он, видишь, ожил, зазеленел. Сыну уже два месяца. Кто муж? Он медик. Тебе должен понравиться. Спортивный, не пьет. В больнице работает и преподает в институте». Я позволил себе поцеловать ее в щеку и спросил: «А как Владик? Что с ним?» Она засопела немного: «Ты слышал, что Зина уехала от нас? А Владик снова же-

нился. Собирается к жене переезжать. Но совсем перестал за собой следить. Даже бреется не каждый день. А Зигфрид его умер, неожиданно. Резкое обострение диабета. Ну, я пошла. Гулять с Мишкой надо».

Я поднялся к родителям. Когда вечером спускался, то на площадке первого этажа увидел Владика. Он, как всегда, курил «Беломор», который доставать было все труднее. Он действительно изменился. Щеки небритые и как-то обвисшие, выпяченный больше, чем раньше, кадык, глаза совсем навывкате, животик круглился над тренировочными штанами, в которых он обычно выходил курить. Плечи сутулились.

«Слышал, Борька, мою печаль? — остановил он меня. — Сын мой Зигфрид *престался*, — он употребил неожиданно православное слово. — Диабет. И Зина ушла от меня. К какому-то спортсмену. Как женщина ушла, но не переехала. Хотела даже, чтобы он с нами жил. Мол, диабет у сына может излечить. Не излечил. Потом все же уехала. После смерти Зиги. А я решил снова жениться. Хотя знаешь ведь, что хорошее дело браком не назовут. — Он слабо хихикнул. — Моя новая в меру серьезна, прихрамывает, правда, с палочкой ходит. Зато никто не польстится, а то веры женщинам нет. Знаешь анекдот?» — «Ну?» — «Акушерка приходит к роженице: “Здравствуйте, мама. У вас проблемы. Вы родили мальчика с черным цветом кожи, блондина, с голубыми раскосыми глазами. Пожалуйста, следующий раз в групповухе будьте осторожнее...” Роженица-то и отвечает: “Слава Богу, он хоть не гавкает...”». Я криво ухмыльнулся: «Думаю, не все такие... Да и Зина была нормальной женщиной. Влюбилась — бывает». — «Эх, Борька, рассказывать не буду, что было. Отец-то мой помер из-за ее поведения. Когда своего спортсмена к нам привела жить. Я ей быстро надоел, понимаешь? И Зигфрид мой от него... Она с ним уже открыто хотела жить. Но у него не могла. Мол, квартира у него маленькая. И прописать хотела. Отец еле их выгнал».

Он вдруг заплакал, не выпуская изо рта папиросу. Слезы потекли по щекам. Вид был странный, жалкий, какой-то неприятный и неопрятный. Кое-как я простился и выскочил из подъезда.

Увидел я его через пару месяцев, было начало июня. Он был одет очень неряшливо, брюки мятые, пиджак неглаженный. Его руку держала очень большая женщина, косматая, с правильными чертами лица. В другой руке у нее была палка, на которую она опиралась. Шли они молча, не разговаривая, как люди, у которых нет будущего, все в прошлом.

Вечером я снова увидел его, курящего у входа в квартиру. Чтобы не слушать очередного анекдота, сделал вид, что спешу, и мимоходом спросил: «Как жизнь?» Он шумно вдохнул и ответил без анекдота, хоть и с проснувшимся вдруг еврейским акцентом: «Разве это жизнь? Это же ужас!»

*2011*

# СМЫСЛ ЖИЗНИ

**П**очему, затеяв писать о смысле жизни, я вспомнил школьные годы моего приятеля? Да просто с возрастом стал понимать: направление своей жизни человек угадывает (если угадывает, если успевает поймать свою догадку) именно в юности, не очень еще вникая в попутные сложности и проблемы.

\* \* \*

Костя сидел в классе, где год назад парты заменили столами и стульями, и все пытался вспомнить, что же такое он сумел понять в тот зимний декабрьский день примерно пятилетней давности, когда мать отослала его во двор «подышать воздухом» до прихода гостей. Но сейчас он сидел за столом, жевал кусочек оторвавшейся от тетради бумажки, глядел в окно на такое же, как тогда, зимнее и облачное небо, на прозрачные падающие за окном снежинки и слышал крики выскочивших во двор и играющих в снежки ребят, визги и ойканье девиц, попавших под снежный обстрел. Фрамуга была открыта, он поеживался от холода, но зато все из комнаты вышли, и он остался один. Перемена была большая, и следующий урок не скоро здесь начнется, и надо постараться успеть все вспомнить за эти двадцать минут. И вот он сидел, сопоставляя тот день и нынешний, стараясь припомнить ход мысли, который сегодня оборвался, а тогда привел к цели. Вот-вот он снова доберется...

— Корнев, ты чего здесь делаешь в одиночестве? — заглянула в кабинет завуч. Тон ее был любезен, почти игрив. Тошная, серая, прозванная старшеклассниками «селедкой», она, как говорила школьная басня, всегда заигрывала с выпускниками.

— К физике готовлюсь, а там кабинет пока заперт, — соврал Костя, стараясь ограничиться минимумом информации и так подать ее, чтобы продолжение разговора сделать как можно менее вероятным.

— Ну хорошо, хорошо, сиди, — разрешила она, выходя. — Только смотри, чтоб посторонних тут не было.

Костя кивнул, а когда дверь закрылась, сплюнул изжеванный бумажный шарик, которым чуть не подавился во время разговора. Но мысли сбились. И увидев на столе перед собой тетрадку с сочинением и испытал смешанное чувство удовольствия от похвалы литератора и некоторое расстройство от слов рыжего Сашки, он вспомнил, что и в тот день, пять лет назад, во дворе он играл в снежки тоже с рыжим, только с Виталиком. Костя отлистнул страницы тетради до заголовка последнего сочинения «В чем я вижу смысл жизни...», проглядел текст, еще раз глянув на пятерку и написанную красными чернилами фразу: «Тема раскрыта глубоко и интересно».

Если мой герой дожил до нынешних дней, то, оглядываясь на прошлое, он может воскликнуть: «Советское было время, а учитель – типичный шестидесятник, пытавшийся для своих смутных фрондерских стремлений найти оправдание в марксизме, вместо того чтобы думать мыслями». Его светлые волосы вились жесткими завитками, но глаза были холодные, однако загоравшиеся, когда, взмахивая рукой, он читал стихи. К Косте он вроде бы благоволил, а последнее сочинение не только похвалил, но и зачитал вслух, сказав слова о «широкой эрудиции и разносторонних интересах вашего одноклассника», о том, что этот одноклассник даже ему поддал мысль заново перечитать школьное сочинение молодого Маркса и использовать его на уроках. Косте было приятно, хотя выигрышный, кульминационный момент, вокруг которого строилось все сочинение, придумал он не сам, а использовал этот текст по подсказке отца.

Теперь-то нам смешно, что фрондеры использовали Маркса как антитезу реальному социализму, но тогда это казалось им выражением свободомыслия.

– Давай рассуждать, – сказал тот, видя Костины мучения. – Тебе нужно написать сочинение. «В чем я вижу смысл жизни...» Прекрасно. Тема трудная, но интересная. Однако ни один мотор не работает без горючего. В данном случае горючее – это чужие мысли. Мысли великих людей, думавших на эту же тему. Ты ведь понимаешь, что человек должен опираться на достижения прошлого. Это наиболее экономный способ деятельности. И вот на твое счастье один из величайших людей в твоем примерно возрасте написал сочинение на близкую тему – «Размышления юноши при выборе профессии». Вот как раз этот том. Да, это Карл Маркс. Не отмахивайся, это вполне доступно, ведь пишет семнадцатилетний юноша.

Он сел рядом с Костей на диван, раскрыл том на первых страницах, почитал немного про себя, а потом сказал:



— Вот отсюда прямо можно начинать: «Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком». Прекрасная, глубокая мысль, если вдуматься в нее как следует, — добавил от себя отец, но тут же продолжил, не желая прерываться: — «Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что это — жертва во имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам, наши дела будут жить тогда тихой, но вечно действенной жизнью, в над нашим прахом прольются горячие слезы благородных людей».

Он закрыл том и посмотрел на сына:

— Ну и что скажешь? Разве я не прав? Ты подумай: имеешь ли ты что-нибудь возразить на эти слова? Отвечают они твоим мыслям? Как ты видишь, тут не просто цитата ради цитаты, она у тебя будет как изюминка в пироге.

Костя прекрасно понимал, что все прочитанное и умно, и благородно; в принципе ему нечего было возразить против любого из положений, оставалось только аранжировать их собственными рассуждениями.

Действительно, учитель литературы зачитал его сочинение вслух, хотя в нем было написано примерно то же самое, что и в других: что смысл жизни в том, чтобы жить для других людей, куда бы ни забросила тебя жизнь и на какой бы работе ты ни оказался, всегда помнить, что ты служишь людям. Однако отрывок из Маркса придал его словам ту философскую глубину, интеллектуальную полировку и ощущение широты мысли, которой не чувствовалось у его одноклассников.

Но, как порой бывает, одна фраза, случайная, быть может, для сказавшего, прозвучала для Кости обидой, задела его, ибо поставила под сомнение его Я.

Пухлощекий рыжий — крепкокостный, сутуловатый и немного обезьяноподобный — с движениями нарочито утрированными, с постоянным подмигиванием, похлопыванием себя по ляжке, подхихикиванием, как у классного шута, каковым он все же не являлся, сел на угол стола, подмигнул:

— Костик, а если без цитат, ты сам можешь сказать, что ты думаешь о смысле жизни, именно ты? — сначала спрашиваемый подумал, что это — шутка, но это был настоящий вопрос в форме шутки, как стало ясно из вполне серьезных слов рыжего Сашки, за

этим последовавших. — Ты прямо говори, что думаешь, — как Ленин. Ты ведь Корень! А ты все цитатами прикрываешься.

Рыжий был шут и правдоискатель, постоянно страдавший от учителей за подначивающие вопросы. Но Коренев относился к рыжему Сашке вполне всерьез, хотя девочки и говорили, что Рыжий сам не верит тому, что говорит, поскольку у себя во дворе ведет себя как трус и водится с самой последней шпаной, чтоб его не трогали.

— Я примерно так и думаю, как написал. Что думаю, то и написал, — ответил Костя. — Никаких возражений у меня этот текст не вызвал. Я с ним вполне согласен.

— Во-во, — Рыжий покрутил растопыренной пятерней перед Костиным лицом, как бы показывая относительность его ответа. — В том-то и дело, что «примерно так», а не точно так. Конечно, ты с Марксом согласен, я тоже согласен. А что все-таки ты сам думаешь, ты, человек двадцатого века? Неужели ты создан жить для других и хочешь этого: жить для меня, для литератора, для «следки»?.. Но не есть ли это психология раба, который живет для хозяина? А мы, советские люди, — прежде всего свободные люди. А? Что скажешь?

— Нет, — сказал Костя после мучительного мгновенья растерянности, — если все друг для друга, то уже не рабы.

— А если все не захотят? Тогда принуждать будешь? То есть подгонять всех под себя?

— Да что ты пристал? — не выдержал Костя. — Это всего-навсего сочинение, а не то, что я сам придумал, не трактат. Но если хочешь, то я против подгонки всех под меня. Пусть все развиваются свободно, как хотят.

— А ты будешь жить для других? Ну-ну! Двистительно, почему бы одному бла-ародному дону не оказать услугу другому бла-ародному дону? Бла-ародные мысли бла-ародного дона! — закончил он цитатой из Стругацких, из всеми любимого тогда романа «Трудно быть богом».

Рыжий снова подмигнул и вышел с портфелем под мышкой за дверь, не дожидаясь ответа и оставляя последнее слово за собой. Ушли девочки-отличницы, ушли школьные спортсмены-разрядники и трое наиболее близких Косте приятелей, которые тоже собирались поступать на физфак. И, делая вид, что копается в портфеле и чем-то занят, он пропустил их всех и остался в классе один, задела его фраза Рыжего, что он прячется за цитаты. Он внутренне согласился с ним, что цитата не позволяет разглядеть истинный смысл твоего бытия, что она преграда между то-

бой и смыслом. Он сидел на стуле и пытался привести в порядок собственные соображения на тему смысла жизни. Но, принявшись думать, с раздражением сообразил, что ничего, кроме банальностей, ему в голову не приходит: «Ведь я вправду спрятался за цитату. И не знаю, что же и в самом деле об этом думаю. Ну, в идеале, в конечном счете, чтоб моя деятельность была признана всеми, тогда... Признана всеми или полезна всем? — оборвал он сам себя. — В идеале, конечно, полезна, но хотелось бы, чтоб и признана, вот чего на самом деле я хочу. Нет, но если шире: для чего я существую на Земле? Ведь не для того, чтоб меня признали... Сколько при жизни признавали, они ушли, а их забыли. Да и не в этом дело. Надо понять, что такое — жить для других. Но почему? И для всех ли других? И что же, значит, меня родили из расчета, что я для кого-то буду жить? Нет, это нелепо. Зачем вообще живет человек, не я, а вообще человек? Может, просто, чтоб любить, жить и производить себе подобных... но зачем тогда человеку сознание? Ведь именно этим он отличен от собак и кошек, и... и вообще от животных. И есть ли на все это ответ? Не эти общие слова, а мой, мой собственный ответ. Я вроде бы знаю все справедливые слова на этот счет, или почти все, но именно только знаю, а не сам придумал, а надо пусть то же самое, но чтоб сам...»

Но заметив, что начинает повторяться, что прошло уже почти десять минут и что такими темпами он до конца перемены не управится, от нетерпения и раздражения, что ничего не получается, даже притопнув ногой, Костя прекратил попытки быстро понять. И, не зная еще слов Платона о знании как припоминании, пошел дорогой воспоминаний, понадеявшись, что вспомнит то, что надо было открыть. Ему вдруг почудилось, что открытие уже было и надо лишь поднапрячься, чтоб вспомнить его.

\* \* \*

И тогда он словно увидел тот сбор в четвертом классе под названием «Твое место в жизни», напряженные лица сидевших за черными партами с откидными крышками и тянувших руки, когда прямая, как складной метр, с какими-то угловатыми движениями всех частей тела их классная руководительница Лидия Ивановна указывала линейкой то на одного, то на другого, поскольку она требовала, чтобы все по таким вопросам «высказывались, а не отсиживались за спинами товарищей». И все выступали. Таня Бомкина говорила о том, что только в школе может быть настоящая дружба, Витя Подоляк ее не то оспорил, не то поддержал, сказав, что без совместного дела, которое для пионеров всегда в совмест-

ном труде, не может быть и настоящей дружбы и именно дело делает человека человеком, а не только дружба. Костя поначалу ничего не мог придумать, что бы ему сказать такое, но требовательность Лидии Ивановны заставила высказаться и его, и он тоже поднял руку, пробормотав, что место настоящего человека должно быть среди тех, кто строит новую жизнь, что надо быть ударником на заводе, на фабрике, на стройке, короче говоря, быть стахановцем во всех областях жизни, но быть стахановцем — это значит помогать тем, с кем ты соревнуешься социалистическим соревнованием. При этом Костя удачно привел рассказ из учебника по литературе о соревновании двух каменщиков — когда один стал отставать в работе из-за болезни, то его соперник, как настоящий товарищ, после работы втихую оставался, чтоб выполнить норму своего друга, с которым соревновался.

— Мне не нравится только слово «втихую», — сказала Лидия Ивановна, качая головой слева направо и справа налево и стоя прямо, как деревянная линейка, которую она, как обычно, держала в правой руке. — Но в целом, мальчик, ты мыслишь правильно. И пример показывает, что ты понимаешь, о чем мыслишь. А ты что улыбаешься, болван деревянный! — прикрикнула она вдруг суровым и яростным голосом на Ваську Паухова. — Лучше слушал бы, если думать не умеешь. Просто не похож на советского человека. Ходишь в школу истязать учителя! Скажи, зачем ты сюда ходишь? Ты даже не понимаешь — ума не хватает — зачем ходишь!

Этим скандалом и закончился сбор. Костя отправился домой, дорога была длинной, трамваи не ходили, целая их вереница растянулась на квартал, он шел по тропочке, протоптанной вдоль рельсов среди глубокого снега, нанесенного за ночь и первую половину дня, и вдруг почему-то представил себе серебристую и заснеженную джеклондоновскую Аляску, потом подумал о первобытном Севере, о вымерших мохнатых мамонтах, о великом оледенении, а следом и подумал, что само слово «жизнь» ужасно сложное и как-то оно во всех областях имеется. Быть может, он думал и не совсем теми словами, но так ему тогда в девятом классе вспомнилось. Ему вдруг представилось, что жизнь — это что-то огромное, охватывающее все континенты и материки, все страны и народы, все прошлое, настоящее и будущее, и что поэтому строить ее нельзя, потому что ты в ней живешь и являешься ее частью и кто-то еще живет, и еще, и еще, и твой узкий участок жизни еще не вся жизнь... И тут-то он подумал про пересказанную им историю о каменщиках, что вкладывать все свои силы и всю свою жизнь в строительство каменных зданий и каменных стен — без-

умие, потому что ведь это может сделать кто угодно, поэтому вначале нужно человеку понять, что именно он должен сделать на земле. И Костя с охватившим весь организм холодом спросил себя: «А я? Зачем я здесь, на Земле? Есть в этом какое-то назначение, какой-то смысл? Или это просто так?»

В таких размышлениях он и явился домой, но здесь поговорить, как всегда, было не с кем. Хитроумного отца, который не любил разговоров просто так, а только по делу, по урокам, по прочитанной книжке, но который, тем не менее, мог бы хоть что-то сказать, дома не было, а мать готовилась к приему гостей. Должны были прийти вроде бы милые и старые знакомые родителей, которые неожиданно стали «нужными людьми». Отец тогда пробивал отъезд за границу в один из пресс-центров, мать собиралась с ним, а сегодняшние гости как раз и сватали Костиного отца на эту работу, где прежде работал приглашенный приятель отца. И вот это смешанное ощущение грядущих гостей как старых приятелей и одновременно как нужных людей выбивало мать из колеи. Она нервничала, и хотя Юра Пастухов позвонил, чтобы никаких особых приемов не было, мать хлопотала на кухне, чтобы сделать так, будто ничего особенного не происходит, а вместе с тем, чтобы все было, что может захотеться гостям: к ужину и хорошее вино, и охлажденная водка, и ломти семги, и копченый угорь, и икра, и капуста, и огурцы, и селедка, и шпроты, и салат оливье, буженина, а также готовилось что-то ужасно вкусно пахнущее и ворчавшее внутри духовки, а на после ужина марочный коньяк к кофе и хороший трубочный табак, поскольку Пастухов курил трубку, научившись этому за рubeжом.

\* \* \*

Костя отчетливо (так что даже страшно становилось, как можно так видеть прошлое: словно в стереокино) представил себе эту сцену: старую кухню, на которой с тех пор столько уже было перестановок, застекленный шкафчик, подаренный друзьями маминых родителей, зеленая газовая плита с черными конфорками, около плиты домработница Клава, приехавшая из деревни на заработки, с каштановыми волосами и круглыми черными глазами, с черными бровями и ресницами, видно, какая она стройная под маминым старым платьем и молодая совсем, ей семнадцать лет; у кухонного стола мама, она на всякий случай, на случай прихода гостей раньше назначенного времени, — в приличном синем платье, а поверх — фартук с двумя завязками — на шее и на спине. Матери было не до него. И не спрашивая даже, как его дела в школе,

она сказала ему, чтобы он переоделся и шел гулять, пока они с Клавой готовят, но от дома далеко не отходил, потому что, как только вернется отец и придут гости, его позовут и тогда он сразу должен бежать домой, а не заставлять себя ждать, как всегда.

Эта картинка ясно представилась ему, но мысли, ради которой она вспомнилась, он пока не находил. Надо было идти дальше по воспоминаниям. И Костя снова ощутил запах жареной утки с яблоками, потому что мать открыла дверцу духовки и пробовала утку вилкой, испытывая ее готовность.

\* \* \*

Он надел валенки с калошами, черную ватную шубу с меховым воротником из собаки, в рукава были вдеты варежки на резинках, чтоб он их не потерял, и кроличью шапку-ушанку. Получив еще раз наставление прийти домой по первому зову, Костя принялся спускаться по испещренной прожилками и какой-то зернистостью каменной лестнице. Он очень отчетливо, до деталей, вспомнил, что между первым и вторым этажами он увидел стоявших у батареи ребят: кто стоял, кто сидел у батареи, кто на подоконнике, свесив к батарее ноги, увидел лежавшие и сушившиеся варежки и носки. Там были и Андрюшка Мацкевич, прижавшийся спиной к теплу и уставившийся наглыми глазами на спускавшегося Костю, и — опять же рыжий — Виталька, всегда угрюмый и раздражительный (хотя он вовсе не был по-настоящему рыжим, а скорее белесым, но потому и злился больше, чем надо, когда его дразнили «рыжим», и в отличие от большинства рыжих, ехидных, но все же шуточных, смотрел на всех исподлобья, хмурил брови, не прощал обид, вечно сморкался в носовой платок и часто болел), всем своим видом выражавший презрение к тому теплу, которое шло от батареи, рядом с ним стоял и грелся Вовка Метельский, в очках и очень положительный по виду мальчик из их дома, а также двое ребят из чужого двора. На улице не было холодно, наоборот, падал мягкий, почти мокрый снег, но они все, судя по мокрым шубам, варежкам и горсточкам снега, вытряхнутым из валенок, играли в снежки, совершенно извозились в снегу и промокли.

— Здорово, — сказал Вовка Метельский. — Надолго вышел?

— Да не очень. Как позовут.

— Уроки делать?

— Не, в воскресенье буду. Гости должны к родителям приехать.

— Ну ладно, — он сдвинул очки на нос и посмотрел поверх них на Костю подбадривающим взглядом, но взгляд этот показывал еще и то, какая этот Вовка шкура и пакостник. — Вот за них

будешь, — он указал рукой на двух ребят из чужого двора. — Мы в крепости, а вы атакуете.

Косте показалось обидным, что его словно отделяют от компании, отправляя с чужими, и он спросил, а почему именно он.

— А кому же еще? — наивно удивился Вовка. — На новенького... Не Рыжего же посылать, ему опять в атаке глаз подобьют.

— Почему? Я пойду, — сказал хмуро Рыжий. — Только посмотрим, кто кому еще глаз подобьет.

Одевшись (хотя варежки и носки еще не высохли и от мокрой теплой шерсти валил пар), они вышли гуськом из подъезда, а Рыжий, выходя последним, не придержал дверь, и она хлопнула гулко и дребезжаще. Потом они прошли по асфальтовой дороге перед подъездом, которую дворничиха тетя Маша расчищала широкой лопатой, сгребая снег в кучи к краю газона, обсаженного деревьями, и вообще вдоль дороги. Затем свернули на аллею, разделяющую газон на две части, правую и левую: аллея их называлась в обиходе «средней». Костя вспомнил, как он сразу увидел неподалеку от голых кустов, покрытых ледяной корочкой, прозрачной и блестящей на солнце, снежные комы, уложенные один на другой квадратом, иными словами, снежную крепость.

Потом он вспомнил, как они внутри крепости лепили снежки, как быстро пропитались влагой его варежки, но от этого только легче стало лепить, как он наготовил себе с десятков комков и сложил их на небольшой полочке внутри крепости, и то же самое делали Вовка Метельский и Андрюшка Мацкевич, чтоб не тратить времени на лепку во время атаки противника, да к тому же у нападавших было преимущество — обилие снега вокруг, они же обобрали снег с земли внутри крепости и теперь лепили снежки, отщипывая кусочки снега от стен своего бастиона...

Противники, схватив по пять-шесть комков, изготовились к атаке.

— Чур, только ледышками не кидаться! — крикнул осторожный Мацкевич.

И началось!.. Летели снежки, нападавшие были упорны и обильны зарядами, а защитники непреклонны, защищая крепость, свой дом — свою крепость. Шапки сбились, шарфы свисали, варежки Костя сбросил, и они на резинках втянулись в рукава шубы, так что сразу намокли рукава рубашки, снег сыпался в валенки, но они раскраснелись, смеялись, получая удары снежками в грудь, плечи, живот, прикрывая от комков лицо.

Но мысль, видимо, продолжала работать незаметно для самого Кости, потому что в один из перерывов меж боями он вдруг неожиданно для самого себя обратился к Вовке:

— В школе у нас сегодня сбор был — «Твое место в жизни»...

И потом, во время этого затишья, смущаясь и говоря косноязычно, он спросил у Вовки вполголоса, как тот думает, зачем человек рождается и зачем существует на Земле. Вовка посмотрел на Костю сквозь очки взглядом положительного мальчика, которому все известно, но который ничего так в простоте не скажет, а непременно под каким-нибудь пакостным условием. Был он немножко странный, по понятиям дворовых ребят, жил на пятом этаже и часто лазил на чердак, куда остальные ходить не решались, а он говорил, что там у его отца кладовка и тайник, что он там «все ходы и выходы знает», но никого с собой не возьмет. И еще про него говорили, что он ест селедку с белым хлебом (это казалось дикостью — надо с черным), а на пряник намазывает горчицу.

— Могу сказать, — произнес Вовка, довольно долго перед этим поглядев на Костю сквозь очки, — могу... Давай только вначале в Рыжего одновременно влепим, ты справа, я слева... Видишь, он снежки делает.

И не сообразуясь с тем, что это было не по правилам — кидать, пока противник лепит снежки, Костя, подначенный Вовкой и ожидая разъясняющего ответа, метнул свой снежок и так неожиданно ловко и сильно попал Рыжему прямо в лоб. Тот, сидя на корточках в неустойчивом положении, от удара даже опрокинулся на землю. А Вовка свой снежок и не кинул...

— А ты что же? — растерянно спросил Костя после своего попадания, чувствуя, что вся ответственность за нарушение перемирия падает теперь на него.

— А у меня что-то руку свело, — ответил Вовка. И непонятно было, серьезно он это говорит или слегка глумится. — А ты бы меня не слушался, если Рыжего боишься, или меня подождал бы, вместе и кинули бы.

Между тем Рыжий, озверев, вскочил и, потрясая кулаком, выкрикнул, обращаясь к Косте, несколько угроз, которые сводились к тому, что он ему всю морду снегом залепит.

— Вот видишь, — сказал рассудительно Вовка, — для тебя сейчас решен вопрос, как жить на Земле, потому что ты должен защищаться от Рыжего, иначе нашей крепости придется плохо.

Костя растерялся и бормотал, что он не хотел, что он к Рыжему Виталику хорошо относится, что Вовка его гнусно обманул, но вместе с тем, говоря все это, так и не решился покинуть крепость в знак протеста, потому что все сочли бы это трусостью и предательством.



Он хотел что-то ответить Вовке, но в этот самый момент снежок Рыжего попал ему прямо в ухо, залепив его целиком, оглушив до звона в голове, а рассыпавшиеся остатки снега попали за воротник рубашки. Он вскрикнул от обиды и ярости, забыв даже, что сам первый поступил не шибко хорошо. Ухо и зубы у него аж заломило от холода, пока он выковыривал снег из уха, доставал его из-за воротника и обтряхивал от снега воротник рубашки. Прodelывая все это, он крикнул, трясая заледеневшей рукой:

— Я пока не играю!

— Рыжий! — крикнул Вовка Метельский. — Корень пока не играет! Ты погоди немножко!

Эти слова вызвали у рыжего Виталика очередной приступ ярости.

— А я играл?! — завопил он и одновременно запустил в Костю новый снежок, который у него в руке отлежался и скрепился сильнее обычного.

Костя и без того чувствовал, как вода стекает по его спине, и совсем уже было собрался идти греться в подъезд. «Теперь заболеть, — думал он, — если не обсохну». И в этот момент получил оглушительный удар в лоб плотным, почти ледяным, смерзшимся снежком. Это было так неожиданно и больно, что он невольно охнул и сел задницей на какой-то кусочек льда, валявшийся внутри бастиона, ударившись болезненно копчиком. Вовка и Андрюшка захохотали, как всегда бывает при чьем-то неожиданном и нелепом падении, а у Кости закапали из глаз слезы. Он вскочил, выбежал из бастиона и побежал по аллейке к дому, но не домой, а за дом, отсидеться там, чтоб никто не видел его злых слез.

Костя вспомнил, что ощущение обиды как-то встряхнуло его всего и придало остроту всем его мыслям. Он завернул за дом, где снег не сгребали и он лежал ровной чистой пеленой, поэтому шаги его отпечатывались совсем четко, и только по краям следа снег немножко осыпался внутрь, что портило четкость отпечатка. Несмотря на свои злые мысли, Костя старался, чтобы след был четок, и для этого вытаскивал ногу осторожно, дергая ее прямо вверх, а не шаркая валенками. Он не дошел до самого конца дома, нарочно оставив промежуток нетронутого снега до утопанной тропинки, и пошел назад след в след, чтобы следы его обрывались таинственно и непостижимо. Такая незамысловатая игра развлекла его. Но мысли при этом оставались сердитые и горестные.

\* \* \*

А ведь тогда, вдруг спохватился Костя, я как будто понял.

Отвернувшись от измазанной мелом доски, он снова вернулся на пять лет назад, к своей прогулке за домом, к тому, как, успокоившись, он шел мириться к ребятам, и понял, что, наконец, подобрался к моменту озарения. И воспоминания его приобрели замедленность и яркость медленно прокручивающихся киношных кадров.

\* \* \*

Вот он шагнул за угол дома, тело как будто само приняло решение о направлении пути, меж тем как мозг продолжал прокручивать идеи о «смысле жизни» и о причинах человеческого появления на Земле. Но тут ему пришло в голову нечто такое, от чего перехватило восторгом открытия весь организм, он и сейчас, спустя пять лет, помнил это чувство, чувство неожиданного откровения. Тогда только надо было зафиксировать и обдумать пришедшую в голову мысль, но прежде чем мозг успел отдать приказ телу повернуть назад, тело вышло из-за угла во двор, и Костины глаза уткнулись в стройную полногрудую Клаву, стоявшую у подъезда в маминых валенках и накинутом поверх платья пальто. На газоне, за сугробом, весь в снегу маячил Вовка Метельский и, увидев Костю, замахал кому-то рукой:

— Ребя, назад! — и, обращаясь к Клаве, указал на подошедшего: — Да вот он, — и к Косте: — Тебя, Корень, мать уже раз двадцать звала.

И Коренев видит, как рыжий Виталька и Андрюшка Мацкевич повернули назад: один бегал к противоположному дому, другой к шоссе — искать его. Им и махал рукой и кричал Вовка. Клава ежилась от мороза:

— Захлодела тебя ждать! Наталья Петровна уже горло сорвала кричать тебя. Гости приехали.

Косте бы остановиться, отмахнуться, додумать, минуты бы хватило, ведь только четко себе сформулировать, и тогда стало бы ясно не только, как человеку жить на Земле (это он вроде бы знал — чтобы помогать другим), но и зачем он сам на ней появился, зачем живет и какой во всем этом высший смысл. Но он уже втянут в инерцию отношений, и ему кажется, что он еще успеет додумать. «Дома, после гостей, вспомню и додумаю», — решил он.

— Иду, иду, — сказал он Клаве.

Но надо было как-то отреагировать и на ребят, и он подхватил с асфальта липкий снег, сжал его в снежок и шутливо, с глупым

смехом кинул его несильно в Вовку, чтобы как-то показать, что все забыто, затем прыгнул следом за Клавой в подъезд и сквозь полуоткрытую дверь высунул голову, показал Вовке язык и, дразнясь, выкрикнул:

– Э-э-э!.. Съел?!

И, считая все это удачной шуткой, захлопнул дверь подъезда и поскакал вверх по лестнице, пока Клава, догнав его, не буркнула осуждающе:

– Некрасиво так – бросить и спрятаться. Так мальчишки не поступают.

И хотя он знал, что Клава не поняла шутки, ему вдруг ужасно стало стыдно за свой глупый смех и брошенный снежок, так что он даже покраснел. И от стыда окончательно забыл, что же такое пришло ему в голову.

Действительно, гости уже пришли. Муж, жена и сын, Костин ровесник, ленивый и неповоротливый мальчик с короткой шеей.

– Ты где застрял? – не очень довольным тоном спросила мать. – Разве забыл, что у нас гости?

– В снежки заигрался, – преувеличенно бодро ответил Костя, зайдя прямо в шубе и валенках в комнату, весь еще мокрый и покрасневшийся, являя собой картинку здорового жизнерадостного мальчика, все свое время проводящего в разумных детских развлечениях на свежем воздухе.

– Хоть бы ты подбавил энергии нашему дитятке, – улыгнулась жена Пастухова.

Костя широко улыбнулся в ответ, развел руками, вернулся в коридор, снял шубу, валенки, ушел к себе в комнату – переодеться в сухое, и пока переодевался, у него снова мелькнула мысль: «Только бы не забыть». Но речь уже должна была идти не о том, чтобы не забыть, а о том, чтобы вспомнить. Однако вспомнить времени не хватило – его позвали к столу. Так, быть может, в первый раз в жизни он не сумел остановиться, выпасть из потока и бега времени, чтобы ухватить, не потерять то, что касалось самой сути его бытия. Бег времени, песок мелочей оказались сильнее.

За обедом разговор был оживленный, шуточный, но все не о том. Уже вечером, лежа в постели, Костя опять задумался о своем почти состоявшемся открытии. Он лежал в темноте под одеялом, мучительно напрягаясь и испытывая отчаяние от того, что никак не может вспомнить то, что, казалось бы, и забывать нельзя, – так это важно. Эта невозможность вспомнить что-то очень важное и как будто известное, уже бывшее в голове, вызвала у него какой-то внутренний зуд во всем теле, который ничем унять не

удавалось, даже почесать, как комариный укус, и то невозможно. От ярости он даже принялся, полуплача, колотить подушку, но потом, изнемогши от бессильных и безрезультатных попыток, незаметно для себя уснул.

\* \* \*

И сейчас, сидя в классе и напряженно уставившись на пустую доску, он снова и снова крутил все эти древние эпизоды, перетряхивая память и пытаясь вспомнить невспоминаемое, пока не зазвенел звонок к следующему уроку; тогда он встал, собрал портфель и пошел к двери, сказав себе: в другой раз непременно вспомню, невольно, как бы случайно, себя не насилую, постараюсь не пропустить, но как-нибудь в другой раз, как-нибудь еще. Как-нибудь.

\* \* \*

Вот это ощущение я и хотел передать. Ощущение, что все мы всегда откладываем на потом поиск смысла — своего, личного, не общественного, не навязанного. А потому и живем без смысла. Хотя иногда — как в бреду — хотим вспомнить, где ж она, наша суть, наш смысл.

Моему герою это так и не удалось. Но ведь многим и вспоминать нечего!

2001

## Собеседник

**А**втобус был синий, с длинным вытянутым капотом, своего рода носом, в котором заключался мотор. Такие автобусы, где вход только мимо водителя, и водитель сам, вручную, открывает и закрывает дверь, я видел только в детстве, когда гостил у бабушки, жившей на самой окраине Москвы, за Окружной дорогой, да еще в деревне летом, куда класса до шестого меня мама отправляла к родственникам. Но странно: вид этого провинциального автобусика, уткнувшегося передними колесами в бетонную кромку асфальтовой площадки, так что они повернули немножко вбок, привел меня не в умиление, а в состояние близкое к душевному испугу, или, точнее сказать, к той заторможенности, нерешительности, даже вялости, которые у человека всегда предшествуют действию, необходимому, но совершаемому без внутреннего жара и желания.

Я вспомнил понурые и усталые лица людей, возвращавшихся в этих автобусах вечерами с работы; бабушка Настя заставляла меня уступать им место, этим людям, существовавшим где-то вне меня, не просто жившим, как я, а — ходившим на службу работать — на завод, на фабрику, в контору.. А поскольку домашнего их быта я не представлял, не видел их воскресений, их отпусков, то люди, ездившие вечерами в автобусе, воплощали для меня это понятие ежедневной службы. И не так страшно, что ежедневной, как то, что всю жизнь. Всю жизнь пребывать где-то вне дома, от звонка до звонка, даже без перерыва на перемены каждый час, как в школе, и все ради того, чтобы два раза в месяц получать количество денег, необходимое, чтобы прожить этот месяц, чтобы время от времени покупать одежду, платить за квартиру да иногда дарить детям игрушки. Я еще никогда до той осени не работал; производственная практика, из-за которой нам сделали одиннадцатилетку, воспринималась как часть школы, а не как работа. Ведь на работу приходишь один, и ты не особый, не школьник, а такой, как все, почти равный взрослым, ты вроде бы достиг их уровня: тоже ходишь на службу, тоже получаешь зарплату. И притом многие

*старики* «получают» не больше тебя, молодого, а у тебя еще есть «перспективы для роста», пойдешь в вечерний институт или на курсы — будешь получать еще больше. Ну что ж, я даже был доволен, что теперь работаю и буду получать деньги: мне казалось, что это утвердит мое Я, что я докажу сам себе и всем, что я не иждивенец, что я могу зарабатывать *на жизнь*.

На третий день меня выделили от бригады на уборку свеклы. Мне казалось, что от того, что я не привык к «физической нагрузке», я быстро устану и не «потяну», и все поймут, что я «вчерашний школьник». Почему-то я этого стыдился; школьник — это значит маменькин сынок, а я, хоть и не собирался идти чернорабочим, как пошел, а поступал летом в университет, выглядеть маменькиным сынком не хотел. Поэтому я, например, изо всех сил сопротивлялся, когда мама заставляла меня надеть резиновые сапоги, свитер и плащ, а в сумку мне пихала продукты, — мне казалось позорным надевать теплые вещи и брать с собой еду, будто бы я боюсь холода или голода. И только около автобуса я про себя тихо поблагодарил маму, что она хотя бы на плаще с капюшоном настояла.

Утро было промозглое, пасмурное, моросил мелкий дождь, тучи плыли как лохмотья какой-то драни, одна налезала на другую, за серой шла черная, за черной — посветлее, затем опять темно-серая, но синего неба не проглядывало. И хотя еще не было восьми, было ясно, что и день будет не лучше, Я бесцельно толкался перед пустым еще автобусом, не зная, заходить или нет, не решаясь спросить об этом шофера, чтобы не будить его: он, приехав, открыл дверь, положил на руль руки, уткнул в них голову и заснул. Перед автобусом стояли еще двое: молодая девушка, очевидно что-то вроде прораба, как я потом понял, в резиновых сапогах, лыжных брюках и длинной теплой куртке с капюшоном, и высокий мужчина лет тридцати в темном прорезиненном плаще, накинутым на плечи столь изысканно-небрежно, что казался он не то командирской плащ-палаткой, не то плащом оперного дьявола.

Я как бы случайно профланировал мимо них к уже пустому искусственному пруду с заасфальтированными берегами. Летом, как я помнил, там плавали два лебедя, казавшиеся очень изящными в воде и толстозадыми и коротконогими, когда они с трудом вылезали на сушу — чуждую им поверхность. Пройдя мимо стоявших, я заметил, что у девушки плотно сжаты губы, а лицо бледное, некрасивое, но при этом интеллигентное и одухотворенное. Зато лицо человека в плаще поразило меня своей художественной законченностью и значительностью. Оно казалось серым, но, «быть

может, это от погоды», наивно подумал я, заметив, что белое здание Ботанического сада намокло и тоже посерело от дождя. Лицо его было узкое и стремительное: брови — углом, от переносицы они поднимались на лоб и вдруг резким углом опускались к виску; нос словно летел вперед и немного вниз как копьё на излете; ему бы очень подошла борода эспаньолкой и треугольная шляпа, но длинный и узкий, разделенный заметной ложбинкой подбородок был чисто выбрит, а на голове плотно сидела, залезая резинкой на лоб, болоньевая шапочка от дождя. Длинный тонкий шрамик с левой стороны лица, идущий вниз от левой губы, придавал ему насмешливо-ироническое выражение. Был он красив, но красив красотой, как я книжно определил про себя, «вырождающегося аристократа-византийца». В этом, несмотря на весь мой демократизм, прививаемый с детства, было нечто настолько привлекательное и властное, что ужасно захотелось, чтобы именно этот человек заметил меня и заговорил

В восемнадцать лет, наверно, каждый второй — конечно, рефлектирующий, конечно, Лермонтова начитавшийся — полагает, что не ему быть мелким чиновником, делопроизводителем, клерком, а мечтает о карьере Дарвина, Кюри, Бальзака и т.п. И к своему тогдашнему общественному состоянию я хотел относиться в общем-то как к случайному эпизоду, который каким-нибудь образом сам пройдет, судьба все изменит, и буду тем, кем предназначено мне стать. Кем — я не знал еще, это просто означало, что я реализую, выявлю себя, свою суть. Но поймет ли человек в плаще эту, еще скрытую от меня самого суть? Я считал себя заслуживающим его внимания и одновременно — в том-то и дело, что одновременно! — сомневался в себе наотмашь, до конца. В юности так легко переход от сомнения к полному самоуничтожению. Я чувствовал себя именно в те дни почему-то жутко одиноким, никому не нужным, пустым и никчемным. И мне ужасно надо было поговорить с кем-нибудь взрослым, но не с родителями, которые, конечно же, просто-напросто утешали меня после двух провалов в институт, и я им не верил; мне надо было правды, правды от человека, который тоже бы отнесся ко мне с добротой и пониманием, как относились родители, но — со стороны.

От застекленных оранжерей и парников, расположенных по бокам перпендикулярно главному зданию и чуть вдвинутых назад, к площадке перед прудом, где скособочился наш автобус, шли не торопясь и как-то понуро сорокалетние и пятидесятилетние женщины в ватниках, телогрейках под прозрачными полиэтиленовыми накидками и замызганных плащах. Но внутри этой понурости

и ворчания, что не их очередь ехать на уборку, было и спокойное приятие неизбежности этой поездки, вплоть до забвения, куда и зачем их везут; они молчали, перебрасываясь иногда словами на темы, мне тогда далекие, — о детях, домашних делах, пьянстве мужей и магазинных проблемах. Маленького мама водила меня смотреть оранжереи и парники. Там была одуряющая жара, казавшаяся мне, книжному мальчику, тропической, в парниках стояли распылители воды между рядами вьющихся огурцов и помидоров, а в оранжереях — бассейны с подогретой водой, с лотосами и кувшинками, плававшими по поверхности, пальмы в кадках, со стволами гладкими и мохнатыми, какими-то плетеными, словно перевитыми корневищами растений и уголок кактусов, высоких, огромным, не то что в цветочных горшках, с мелкими камешками керамзита, которыми была устлана поверхность кадок. Среди всей этой тропической жары и роскоши бродили эти женщины в синих халатах, с ведрами и тряпками. Тогда они мне улыбались. Но сейчас никто из них на меня даже внимания не обратил. И я пошел снова описывать круги возле пруда, размышляя угрюмо, отчего это я последнее время все ссорюсь с отцом и мамой, хотя мне этого совсем даже не хочется.

Я добродился до того, что автобус почти наполнился, все лучшие места оказались заняты, осталось только одно — сзади, вплотную к неотопливаемой стенке. Пробираясь к своему месту, я заметил, что, если не считать мужчины в плаще, который уселся рядом с бледной девушкой, и шофера, все остальные были женщины, да к тому же в возрасте немалом. Стенка, к которой я оказался притиснут, от дождя и сырости совсем заледенела, так что я сразу почувствовал проникающий внутрь тела холод, и постарался пристроить между собой и стенкой сумку с бутербродами.

От холода я сжался в комок, чтобы было теплее, и приготовился отдаться движению, думая о чем-то с движением не связанном, чтобы не замечать его. Но автобус не двигался: мы еще кого-то ждали. От здания к автобусу спешил пожилой по моим тогдашним понятиям (лет сорока пяти) человек с широким плоским и рябым лицом. Я его видел дня три-четыре назад, когда оформлял документы в кабинете главного инженера, который подписывал мое заявление о приеме на работу. Главный инженер говорил, что хорошо знает маму как отличного специалиста, что меня пока берут садовым рабочим, но я молодой и у меня есть перспективы роста, что у них есть сейчас курсы трактористов и чтобы я месяца через два к нему заглянул, и он меня туда устроит, ведь я сразу после школы, так что быстро овладею трактором. «А то, гляди, женишь-



ся, — засмеялся вдруг главный инженер, — не на пятьдесят же рублей семью содержать!..» — «Это пироги с котятами получатся тогда», — подмигнул мне ряболицый человек, «замначальника АХО» (так он представился), таинственного АХО, расшифровать тогда эту аббревиатуру я не мог. Плотный, коренастый, широкоплечий, он напоминал председателя колхоза «из кино», даже добродушный рокошущий басок подходил под эту роль.

— Ну, все здесь? — спросил он, войдя в автобус и бросая взгляд вдоль заполненных сидений. Под расстегнутым плащом у него виднелся пиджак и рубашка с галстуком, брюки были заправлены в высокие, выше колен сапоги.

С сидений послышались невнятные препирательства, потом кто-то выкрикнул:

— Налепина больна, остальные все!

— Ну, тогда поехали.

Он присел на одинокое сидение впереди, рядом с шофером. Автобус тронулся, встречный промозглый ветер обдувал и без того холодную стенку. Дождь полосовал стекло, капли разбивались, стекали вниз длинными полосками, некоторые от удара уцелевали, на мгновение застывали, проходила их короткая жизнь, и вдруг они стремительно по странной кривой сбегали вниз и расплывались по краю. Как только мы съехали с городского шоссе, пошли пустые поля с рытвинами, заполненными водой, намокшие скирды сена, обвисший ельничек среди почти облетевших и потемневших лиственных деревьев. Колеи были, очевидно, глубокие, скользкие и одновременно вязкие, потому что автобус то заносило, то он начинал буксовать и шел с трудом. Мне было одиноко, тоскливо и как-то непонятно на душе. Непонятно, как жить дальше и вообще жить. Прекратились внезапно наши длинные разговоры с папой; он, я это достаточно отчетливо понимал, был в растерянности из-за моего внезапно возникавшего раздражения и даже злости. Я кричал и ему и маме, что они на меня не обращают внимания, что им все равно, что со мной будет, обижался на малейшие проявления невнимания, хлопал дверью, уходил без завтрака, спать ложился без ужина, но с комком в горле. И только вне дома отходил и понимал, что все это — мой бред, но, возвращаясь, снова впадал в ту же полуистеричку. Писать рассказы я тогда перестал, и не было дела, к которому можно было бы приложить душу. Не было при этом в новой послешкольной жизни и той обязательности, когда от тебя требовалось некое постоянное напряжение: ответ уроков или сдача экзаменов. Возникла привычка, особенно в последний предэкзаменационный год, читать с какой-то внешней целью, а те-

перь она исчезла. Можно было расслабиться, «распустить пояс». Время вроде бы и терялось, для духа я имею в виду, но никто, однако, не считал, что оно теряется, потому что я ходил *на работу*.

И вот эту вот образовавшуюся вдруг в жизни и душе пустоту я пытался изо всех сил забить чтением, не целенаправленным, не к экзаменам, но и не бескорыстным, как в детстве: я просто старался держать себя в форме, как спортсмен между соревнованиями, ожидая неизвестно чего, ожидая, что каким-либо образом судьба моя переменится, не зная, однако, совершенно, как это может произойти. Я кидался от книг про французский импрессионизм и современную архитектуру к романам Диккенса и Бальзака, стараясь прочесть как можно больше, чтобы ум не пустовал. Я читал по дороге на работу, в обеденный перерыв, по дороге домой и дома вечерами до полуночи. Один роман Бальзака, вошедший в новое собрание сочинений, перечитал даже дважды Я говорю о «Луи Ламбере». Луи Ламбер, гениальный философ, который еще в школе писал трактат о воле, а с него требовали выполнения школьных уроков, он хотел понять мироздание, а ему говорили, что надо заниматься «делом», он приехал из провинции в Париж, думая там совершить мировой переворот в философии и вдруг понял: чтобы быть свободным от денег, надо деньги иметь, а, чтобы их иметь, надо отказаться от проблем бытия и заниматься проблемами быта. Ламбер свой выбор сделал, отказавшись от устройства собственной жизни.

«Но, — спрашивал я себя, — к себе же я не могу отнести судьбу Ламбера. Ведь я не собираюсь вроде бы объяснять мироздание, у меня просто “смутное томление чего-то жаждущей души”, какая-то слепая, ни на чем не основанная уверенность в своем предназначении. Но к чему? К какому делу?»

Имеет ли вообще такое томление хоть какую ценность? Не блажь ли все это? Быть может, и вправду лучше поступить на курсы трактористов, поработать год или даже два, зато как *стажник*, да еще *по профилю*, я разом поступлю на биологический, а филологический, пожалуй, по боку. Ведь мама и папа говорили, что *биолог — это профессия, а филологи — как один безработные, их перепроизводство. Вот и надо было, провалившись на биофак, на филологический уже не лезть, но сразу идти в Ботанический сад работать. А после двух лет стажжа по специальности не только поступить легче, но и пять лет учебы тоже в стаж пойдут, что для пенсии существенно. И это здорово: я буду учиться, а мне рабочий стаж идет, да и твердая профессия тракториста в руках, — я говорил все эти старческие речи, словно глядел на себя глазами приемной комиссии или со-*

ставлял себе положительную характеристику, как бы не осознавая их пошлости, вполне всерьез, именно как вариант жизни, настолько я был в растерянности. Вообще, — думал я, — общественная жизнь состоит из ячеек, клеточек, как хотите назовите, и нужно только спокойно перемещаться из одной в другую, шажок за шажком, пока не займешь предназначенное тебе по твоим способностям место, *социализоваться*. Вот мама тоже, когда из-за генетики лишилась работы, упорно, сжав губы (именно губы, я так и представил решительный изгиб маминых губ и пристальный, упорный взгляд, когда она сидела сосредоточенно за работой), тоже шла шажок за шажком: чернорабочей (это после университета-то!), затем лаборанткой, затем научно-техническим, а затем и младшим научным сотрудником, потом наконец защитила кандидатскую по эмбриологии, и теперь — старший научный. Что же тут плохого? Она так и двигалась из одной ячейки в другую. Да и где бы она тогда отсиживалась со своей генетикой, к которой, кстати сказать, сейчас снова вернулась. Она приняла социальные законы и выиграла. Или, во всяком случае, утвердилась в обществе. Вот и меня вполне, наверно, может устроить спокойная жизнь человека, получающего свою зарплату, без риска разорения, как рискуют капиталисты, или творцы, ставящие все на карту своего творчества.

Так я мечтал, или, точнее, заклинал себя, и грустно было мне от этих размышлений, и я думал, кто же она, которая будет мне спутницей в этой жизни, где трудом я должен был себе доставить и независимость, и честь, и положение, и захотелось, чтоб это была бледная девушка, сидящая рядом с мефистофелеподобным человеком в черном плаще. Разница бы в возрасте меня не испугала, думал я, и у нас были бы дети, такие же как она, немногословные, с нахмуренными серьезными бровями. Я так усиленно принялся думать о ней, что она вдруг повернулась и удивленно и даже, как я решил, робко посмотрела на меня. Я испугался и отвернулся к окну.

В этот момент мы перевалили овраг и с трудом по размытой и размокшей дороге выехали к черному, видно, что раскисшему под дождем полю. Еще сидели в автобусе, а уже было ощущение, что ноги вязнут в грязи по щиколотку, и я пожалел, что не надел резиновых сапог, как настаивала мама, потому что кеды мои сейчас наверняка промокнули, носки тоже, и я простужусь. Мы вышли, выползли, по одному и с неохотой, из автобуса: на небе ни просвета, все та же мелкая и мерзкая моросня, нудная и безостановочная. Впереди вдали виднелся продолговатый одноэтажный барак: контора. В одном из окон желтел свет — единственное пятно в пол-

умрачноватой серости: опушка небольшого леса перед полем, где остановился автобус, от дождя казалась даже почерневшей.

Рябой бригадир, шаркая сапогами с налипшей на них сразу мокрой землей, направился в контору. Все остальные полезли назад в автобус, чтобы не мокнуть под дождем, Я сделал то же самое, решив повторять поступки большинства, ибо не знал, как себя вести, а со мной никто даже и не заговаривал, словно бы меня и не было среди них. Только бледная девушка смотрела на меня немного удивленно и с каким-то напряженным вниманием (она была вся какая-то неправильная, угловатая, но очень милостивая, *напускавшая* на себя строгость). Да черный мужчина, всю дорогу ее неизменный собеседник, перехватив ее взгляд, тоже пару раз внимательно вскинул на меня глаза; мне стало приятно, что *он* обратил на меня внимание, но он тоже ничего не сказал.

Вернулся бригадир, махнул рукой, и все снова неохотно принялись выбираться из машины. Он сделал широкий жест рукой, охватывая пространство от барака и неопределенно далеко в стороны, и сказал глуховато-добродушным голосом киношного председателя колхоза:

— Нам отводится этот участок работ. Как сделаем, так уедем, как говорится. Не обязательно в шесть. Сделаем до четырех — уедем до четырех, сделаем до двух — уедем до двух. Как у нас в армии говорилось: как потопаем, так и полопаем.

Я не понял, где конец участка, но понадеялся, что мои опытные «товарки» это поняли, и просто надо работать так же и столько же, сколько они. Выдергивать свеклу, бросать ее в кучки, потом стаскивать эти кучки в большую свекольную кучу, да все это под дождем, в грязи, — работа с непривычки тяжелая. Вскоре у меня заболела спина, заныли кисти рук, стали плохо, с трудом, сгибаться и разгибаться пальцы, Выданные мне брезентовые рукавицы стали грязные, мокрые и тяжелые от налипшей земли, плащ и даже свитер (потому что верхняя пуговица на плаще не застегивалась) на груди тоже испачкались: перетаскивая свеклу, я невольно прижимал ее к груди.

— Что же, мамка не могла тебя получше одеть? — как-то очень добро спросила вдруг моя напарница, поглядев на хлюпающие мои кеды, но сказала это вроде как бы мимоходом и больше уже не говорила, да и я промямлил что-то крайне глупое: де, мама предполагать не могла, какая будет погода и какого сорта работа нас ожидает.

Безбровое, широкое и безулыбчивое лицо моей напарницы было покорным и суровым, выражая одно: надо делать работу что

бы ни было и не отвлекаться на жалость и разговоры. Мне стало интересно, работает ли руководящая тройка: бригадир, бледная девушка-прораб и так поразивший меня своим необычным лицом человек в черном плаще. Но в сумраке дождя фигуры нагибающиеся и разгибающиеся были неразличимы. До конца «участка работ», как я теперь видел, оставалось уже не больше трети пути, но силы у меня совершенно иссякли, так что свекольная ботва выскальзывала из ослабевших пальцев и я тащил из земли двумя руками ту свеклу, которую раньше выдернул бы одной. Да и сгибался и разгибался я уже не сам по себе, а волевым усилием.

И тут, к моему облегчению, бригадир начал бить ложкой по доньшку алюминиевой кастрюли, вынесенной из конторы. Все остановились, с трудом распрямляя согнутые спины. А бригадир объявил, что уже двенадцать часов и что он предлагает получасовой перерыв, потому что, похоже, мы до двух успеем доделать все. Торопящиеся домой женщины заговорили было, что надо бы уж разом все прикончить и ехать, и я пришел в ужас, что бригадир их послушается, но он твердо повторил:

— Перекур.

Когда я проходил мимо него, он мне подмигнул и спросил:

— Ну как пироги? С котятми?

Но я так устал, что даже не отреагировал никак на его шутку, из вежливости хотя бы. Просто прошел мимо. Автобус, оказывается, уехал; шофер обещал к двум вернуться. Вещи все он выгрузил и оставил на опушке под высокой лапчатой елкой. Подобрал свою сумку, я побрел по опушке в поисках места, где можно было бы присесть и сжевать свои два бутерброда с сыром и выпить бутылку холодного сладкого чая (от термоса я из упрямства и стеснительности отказался и теперь, продрогнув и промокнув, жалел об этом). Женщины доставали из своих баулов большие и толстые полиэтиленовые пленки, раскладывали их на мокрой траве и усаживались, болтая, доставая огурцы, помидоры, хлеб, колбасу и термосы. Наконец, я увидел два незанятых пня. Уселся угрюмо на один из них и принялся за еду.

У конторы, еле различимой сквозь серую мглу этого непрерывного мелкого дождя, стояли бригадир, бледная девушка и высокий ее спутник в черном плаще — так, по крайней мере, я догадывался по очертаниям фигур. Бригадир, судя по жестам, приглашал их в контору, девушка вскоре согласно кивнула и скрылась за дверью, а мужчина покачал головой, вздернул на плечо сумку и зашагал, как-то странно выбрасывая вперед ноги, по направлению к опушке. Когда он приблизился, я заметил еще одну странность в его поход-

ке: пятки он ставил вместе, носки же и ступни — под прямым углом друг к другу. В школе мы почему-то были уверены, что такая походка означает принадлежность к тайной масонской ложе, хотя одновременно прекрасно понимали, что ни лож, ни масонов давным-давно не осталось. Но во всяком случае такая походка придавала еще больше привлекательности моему незнакомцу. Он шел, уверенно лавируя между сидящими на земле женщинами, и вдруг я с удивлением увидел, что направляется он прямо ко мне. Я весь напрягся и даже смутился, потому что никак этого не ожидал, хотя и хотел и мне было бы лестно, чтобы он со мной заговорил.

Он встал передо мной, поставив свою сумку на соседний пень.

— Я вам не помешал?

— Нисколько, — ответил я изысканно-вычурным тоном, уловив такую же подчеркнутую вежливость в его голосе и невольно подражая ему; и сделав любезно-приглашающий жест рукой, добавил: — Садитесь.

— С удовольствием.

Его присутствие и обращение заставили меня на какой-то момент тщеславно встряхнуться и выйти из оцепенения мрачных мыслей и усталости.

— Вам здесь, я, вижу, одиноко, — продолжал он, подбирая под себя плащ, чтобы не сесть на мокрый пень, затем сел. — Интеллигентный человек, попав в чуждую ему среду, — он указал на жующих женщин в робах и телогрейках, — не может, хотя бы на миг, не почувствовать свою космическую одинокость.

Продолжавшееся его обращение ко мне как ко взрослому и равноправному существу, к чему я совершенно ни в школе, ни на улице не был приучен; его «вы» вместо обычного «ты, Борис»; его сочувствие, когда я этого совсем не ждал, заставили меня не только встряхнуться, но даже спину разогнуть, что удалось, надо сказать, о трудом.

— Почему же чуждую? — однако возразил я,

— А разве это не так? С кем вы здесь можете поговорить об интересующих вас предметах: о живописи, поэзии, философии — вообще о высоком? Вот вы и молчите, потому что я прав.

Он говорил ужасно серьезным и задушевным тоном, и, хотя его физиономия была исполнена насмешливости и лукавства, эта насмешливость, этот явный взгляд на свои слова как бы со стороны придавали им некую объективность и неопровержимость.

— Впрочем, что же я болтаю! Я вижу вы пьете холодный чай. Не желаете ли горячего кофе? В такую погоду это, уверяю вас, очень неплохо. И не стесняйтесь. У меня термос велик, на нем две кры-

шечки, так что мы можем пить, друг друга не стесняя. Да и колбаски бы после физической работы ой как необходимо! Вот, берите. Поверьте мне, что это нужно. Я знаю, я вообще многое знаю; вот и физический труд тоже знаю.

Я смотрел на него как замороженный. Его вежливость, интеллигентность и предупредительность, его сочувствие моему положению, кажущееся понимание моего психологического состояния, наконец, его внимание и ласка покорили меня, Я послушно сделал глоток горячего черного кофе из белой крышки термоса и откусил бутерброд с колбасой. Он пил кофе из красной крышки, и этот цвет как рефлекс подсветил в серой мгле его красновато-смуглое лицо.

— Позвольте, однако, представиться. Я-то знаю, кто вы, — он подтверждающе кивнул головой. — Вы сын Анны Антоновны Кузьминой. Почтенная женщина — ваша матушка. Лично я отношусь к ней с огромным уважением. Она ведь попала под сессию ВАСХНИЛ сорок восьмого, когда кончала аспирантуру по генетике покрытосеменных в институте Навашина, — и выдержала. Два года работала чернорабочей, пять лет лаборанткой, а в пятьдесят восьмом все-таки защитила кандидатскую по эмбриологии, да так, что все на нее сейчас ссылаются: чтобы все это выдержать, надо сильную волю иметь. Да и талант, конечно. Как видите, кое-что я про вас и ваше семейство знаю. Хотя бы из области внешних фактов.

Я проглотил слюну. Полез в карман брюк за сигаретами. Почему-то меня поразило, что он не только знает про маму, но и говорит о ее делах с тем верным акцентом, как мог бы сказать я или отец.

— Хм, — сказал он, улыбаясь левым уголком губ моему озадаченному выражению лица, — не уверен, знает ли меня, а если и знает, то говорила ли вам про меня ваша матушка, но тем более представиться друг другу мы все же должны.

Он приподнялся и поклонился:

— Ужатов, Виталий Георгиевич.

Я тоже приподнялся, подхватывая рукой поползшую с колен сумку и неловко кивнул:

— Борис.

— А по батюшке?

— Борис Григорьевич.

— Ну что ж, будем знакомы, Борис Григорьевич. А поскольку наш начальник еще не вспомнил о своей священной обязанности гнать нас как скот на работу, мы можем некоторое время не без приятности поболтать.

Я поглядел на контору. Дождь немного приутих и было хорошо видно, что около двери стояла, прислонившись к косяку, понравившаяся бледная девушка, моя предполагаемая будущая подруга; теплая куртка ее была расстегнута, лыжные эластичные брюки, заправленные в сапоги, обтягивали ее длинные красивые ноги, косынку она сняла, и ее подстриженные волосы опускались до плеч, очень пленительно, как мне показалось.

— А вот девушка эта, тоже начальница, она вышла уже, — робко, с запинкой и как бы случайно обратил я его внимание на предмет моего интереса.

Он повернулся, взглянул туда, потом на меня с усмешкой.

— А, Клара... Вы что, мой друг, заинтересовались ею? В таком случае объект выбран правильно. Она как раз лет на восемь вас постарше: для начинающего — оптимальный возраст партнерши. Она вас многому научит.

— А... а... а она разве *такая*?

— Совсем *не такая*, — передразнил он меня с добродушной улыбкой. — Даже наоборот. Старается блюсти себя и быть гордой и непреклонной. Но семьи нет, постоянного друга нет, а природа требует свое. Вы это, я думаю, уже понимаете. Вот и непреклонная Клара Максимовна иногда срывается. Главное, мой вам совет, быть настойчивее и не обескураживаться первыми неудачами. И тогда вы получите то, о чем втайне мечтает ваше естество.

Эта откровенная простота в объяснении мотивов человеческого поведения (женщины при этом!) походила на правду, но тем более шокировала меня. Он помолчал, пристально и как-то исподлобья и снисходительно-грустно глядя на меня.

— Могу вас представить ей.

— Не надо, — твердо сказал я, хотя и понимал, что без его помощи никогда не приближусь к той бледной девушке. Но что-то постыдно-неприятное было в его предложении.

— Как хотите.

Говорить ему свои соображения о браке, о семье я не решился, опасаясь, что это выставит меня перед ним как *мальчишку-сопляка*. И чтобы скрыть свою растерянность, я протянул ему раскрытую пачку сигарет, которую наконец вытащил: оказались они вовсе не в кармане брюк, а завалились в дырку кармана плаща и задержались подкладкой.

— Не желаете? — спросил я.

— Не хочу, — он отрицательно поводит ладонью перед своим лицом. — Не курю. Уж лучше дышать серой и прочими дьявольскими испарениями, нежели поглощать в себя никотин.



Я был с ним вполне согласен, и сигареты носил из самоутверждения, и из самоутверждения же, чтобы показать свою независимость и хоть что-то делать, а не просто сидеть, слушая его речи, я закурил.

— Чтобы нам не сидеть, слушая только мою болтовню, — словно подхватил он мою мысль, — расскажите-ка лучше о своих интеллектуальных притязаниях и проблемах.

И я рассказал ему, что поступал на биофак, хотя всю жизнь чувствовал призвание к филологии, точнее даже к писательству, но считал, что знание биологии, высшей нервной деятельности (отделение биофака, куда я хотел поступать), не повредит мне, а поможет, что не добрал я всего одного балла (из-за аттестата, добавил я, оправдываясь), что тогда решил не ждать одного года, а подать документы на филологический, сдал и снова не добрал балла, но если к биофаку я готовился долго, то на филфак шел без подготовки, ибо филология — это то, что я знал с детства, что открылась вдруг возможность подать те же баллы на вечернее отделение филологического, и я подал, но что результат будет известен в конце октября только. А пока я изо всех сил читаю, читаю все подряд, но высокое, иначе быт затянет, ведь на этой работе думать не надо, приходи, вкалывай, получай деньги и домой. А особенно, если в конторе работать буду или трактористом. Год, когда нет стимула для чтения, для размышления, — это ужасно.

Мы давно уже доели все и допили, сигарета моя размокла от попадавших на нее капелек дождя, и я ее выкинул; он сидел, положив ногу на ногу, и, обхватив себя руками за плечи, облизывал губы, глядя на меня. Наконец, сказал:

— Вижу вы уже постигли смысл выпавшей вам работы: она освобождает от интеллектуальной ответственности и умственного напряжения. Но оценили ли вы ее прелесть? Быть может, и вправду стоит расслабиться, «распустить пояс», — повторил он вдруг мое же мысленное выражение. — Вас никто не осудит, ведь вы же ходите на работу. Что вы сейчас читаете?

— «Луи Ламбер» Бальзака.

— А, знаю. Мистический роман, где утверждается, что ангелы — белые. И что же вы теперь намерены делать? Просто читать? Конечно, это тоже неплохо. Но ведь надо прежде разобраться со смыслом жизни...

Он повел рукой, как бы охватывая окрестности, включая и дождливое небо, объединяя все в одно целое. Я не собирался «просто читать», я еще хотел наблюдать жизнь и людей с тем же проникновением сквозь внешние черты внутрь человека, как Баль-

зак. Но слишком я был тогда опрокинут на самого себя, и поэтому все впечатления внешнего бытия не связывались во что-то единое, перед глазами тогда был, как помню, хаос линий и цветовых пятен. Жизненные столкновения, факты и эпизоды казались лишенными смысла и не воспринимались как части общей картины жизни. Поэтому я с такой готовностью и доверием послушно проследовал взглядом за движением его руки, обещавшим прояснить все; потом сам огляделся. На полиэтиленовых пленках, вытянув ноги в резиновых сапогах и прикрыв юбками колени, сидели группки жестикулирующих и говорящих о чем-то женщин. Почти рядом сидела моя напарница, а вполоборота к ней и спиной к нам, очевидно, ее знакомая. Около моей напарницы лежал мешок, в который она собирала несортную свеклу, чтоб отнести ее домой. Это разрешалось. Нас женщины не слушали, потому что сами весьма изрядно перепирались.

— Побирушка ты и есть, — говорила сидящая к нам спиной. — Эвон сколько свеклы набрала! Все с запасом норовишь!..

— Ну и пусть побирушка, — отвечала моя напарница. — Зато у меня сын вон инженерный институт кончает, а ты так всю жизнь с голым задом и проходишь. Твои-то сыны где? Все по тюрьмам гуляют? От хорошей жизни, небось...

— Тебя, девушка, это не касается!..

Он, видимо, тоже услышал, потому что указал мне на женщин глазами и произнес:

— Как это ни ужасно, но именно об этом, о том, как жить, и наши споры тоже, и мы не много больше можем сказать, чем эти чуждые высокому существу женского пола. Разве что прибавим чувство собственной космической неприютности. Вся философия и все искусство накручены вокруг того, как бы прожить получше, поудачнее свою жизнь. Вот я, например, не подумайте, что я хвастаюсь, окончил оба эти факультета: и биологический, и филологический, И к чему все это? Я, конечно, тоже считал, что во мне горят великие силы. Однако потом вскоре я начал задавать себе вопросы, которых вы себе пока, наверно, не задавали. Интересовал ли вас, скажем, вопрос о свободе и предопределении? Что первично в мире? — он вдруг заговорил проникновенно-возвышенным тоном. — Может быть, случай, а может быть, провидение. Обе идеи, обозначенные этими словами, непримиримы друг с другом. Если случайности не существует, то надо принять фатализм или насильственную координацию всех фактов, подчиненных общему плану. Почему же мы сопротивляемся? Если человек не свободен, то чем становится здание его нравственного мира? А если он может

строить свое будущее, если он по своему свободному выбору может остановить выполнение общего плана, то что же такое Бог?

Говоря последние фразы, он полуприкрыл глаза и покачивался, будто наизусть декламировал. Что-то мне слышалось знакомое, но что?

– Узнаете? – уставился он в меня.

– Нет.

– Луи Ламбер, собрание сочинений Бальзака, том девятнадцатый, страница двести семьдесят три – двести семьдесят четыре. Из письма философа его дядюшке. Возьмем, если угодно, вместо слова «Бог» слово «мироздание», и ничего не изменится в смысле. Но могу сказать, что я понял то, чего не понимал бальзаковский гениальный Луи. И с тех пор живу по законам, которые открыл.

Подул ветер, тряхнув верхушки деревьев, и вся скопившаяся на них дождевая влага пролилась на наши головы, плечи и спины. Ужатов сидел, прижав локти к бокам, как будто и вправду был ужат, сжат, зажат, но от этой зажатости тем напряженнее казались его слова, тем пристальнее взгляд.

– Не верите? – переспросил он,

Но я верил ему. Он шел по пятам моих собственных мыслей и наблюдений, интересов и пристрастий, и это покоряло, убеждало, хотя и смущало. Будь я Бальзаком, как я хотел быть, я постарался бы выяснить, кто он, откуда родом, почему он подошел ко мне, попытался бы прочесть его характер по чертам его лица, слишком выразительным, чтобы быть случайными. Быть может (надо было так спросить себя), он – неудачник, которого терзали страсти и мучили великие проблемы, а теперь он заброшен безжалостной судьбой на уборку свеклы, в общество людей, ему далеких, и он, увидев меня, человека из того же, духовного, мира, хочет как-то самооправдаться, показать, что он создан для другого и стоит большего, что он здесь случайно, по несправедливости жизненного расклада, и потому он и рисуется передо мной. А быть может, он – некий Мельмот, Вотрен, демон проездом, который мимоходом искушает случайного встречного. Если бы я успел задуматься, я скорее тогда склонился бы к последнему предположению (что-то в этом духе навевал на меня его облик, да и очень уж он был проникновенен), но я чувствовал себя рядом с ним маленьким, растерянным мальчиком, и был способен только слушать, впитывая в себя каждое его слово.

– Какие законы? – выдохнул я, срываясь на хрип.

– Видите ли, у нас пока что слишком велика разница в возрасте; когда мне стукнет сорок, а вам двадцать пять, она, эта разница, уменьшится. Пока же, я боюсь, вы можете кое-что понять умом, но

не осознаете, не прочувствуете. Но тем не менее, тем не менее... Раз уж я начал, то продолжу. В один прекрасный день, а быть может, это был ужасный день, я со всей отчетливостью осознал то, что вы пока осознать не сможете. До этого дня я был легковверен и молод, видел перед собой долгий путь творческих успехов, и мои способности, казалось, неисчерпаемы; я с легкостью кончил два факультета, писал стихи, и даже опубликовал исследование о сонетах Шекспира, где сравнивал подлинник с маршаковским переводом: все-то меня тянуло выявить то, что выявлять, может, и не стоит. А жизненный промежуток, который я тогда проживал — от двадцати до тридцати — виделся мне бесконечным, едва ли не вечностью, к концу которой, то есть к тридцати годам, я мечтал достичь если и не мировой известности, то все же шумной и прочной славы. Но лет в двадцать шесть меня вдруг, именно вдруг, охватил ужас, что жизнь проходит, а еще ничего не сделано, но главное — я почувствовал, что не вижу смысла в делании чего бы то ни было, — он говорил грустным тоном умудренного жизнью человека, тоном тоскливого воспоминания, и *ничего в нем не было демонического* (все же в какой-то момент промелькнуло у меня в голове), напротив, в голосе слышалась интонация всепрощения и снисходительности к человеческой слабости, тем же тоном говорил он мне и о бледной девушке Кларе, как бы заранее извиняя и ее, и меня. Но самое удивительное, что мечты о славе, и примерно также, то есть, чтоб к тридцати годам, и меня обуревали, и, если бы по мне так работа не ударила, я бы о другом и думать не стал.

— Я вдруг понял, — продолжал он, — всю монотонность и однообразие жизни, когда день идет за днем, а разрывают это однообразие только неприятности да страдания, сталкивающие тебя с самим собой. А из всех неприятностей самой непоправимой является, как вы понимаете, смерть. Я понял, осознал, прочувствовал до самой своей сердцевины, до печенки, как говорят, что я смертен, что природе и миру на меня наплевать и тем более плевать на мои творческие потенции, на мои создания, я понял, что природа меня все равно убьет, что бы я ни создал, кем бы я ни стал, — так будет. Я перестану существовать, И все пожрется неведомой бездной. Всякая обо мне память пройдет со временем.

Он помолчал, потом оглядевшись и понизив голос, стесняясь, видимо, что его услышат женщины, продекламировал:

Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.

— Это Державин, — пояснил он. — Причем этот глубокий и страшный старик, написавший это стихотворение перед своим гробом, убил меня больше всего окончанием стиха. В начале ведь говорит он вещи известные, все уйдет, но творчество, но искусство!.. Оно ведь должно как будто бы остаться! Вы помните окончание?

Я покачал головой, ошеломленный этим напором. Да и Державина я вообще не знал тогда, только учил про «певца Фелицы».

— Так слушайте:

А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы...

А! Казалось бы вот оно! Вот! Поэзия, искусство, мысль! Остаются? Как бы не так.

А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы.

Это уже перестало напоминать беседу. Скорее это был монолог перед слушателем. И все же это была беседа, ведь я мог в любой момент перебить его, если б захотел, но я не хотел.

Надо, правда, для точности добавить, что пока он говорил о славе, о Ламбере, я это воспринимал и верил ему, но когда он заговорил о смерти, я перестал относить его слова к себе. Очевидно, возраст был еще тот, когда, кажется, что с тобой ничего не случится; уже не тот, когда думаешь, как в детстве, что к моменту твоего старения изобретут лекарство от умирания, но все же некая уверенность, что у тебя еще время есть. Но это, пожалуй, и все. А в остальном полное доверие. Я то кивал, то поражался, до чего же наши ощущения похожи, то просто смотрел, как он крутил в руках пустую красную крышку от термоса, как нагнул, поднял мокрую шишку и швырнул в сосну, попал, засмеялся и продолжал:

— Вот так. *Общей не уйдет судьбы. Это* всех ждет, и вас, мой друг, тоже, хоть наверняка вы думаете об особом своем положении в мире. А надо думать, быть может, только о земной карьере. Но мы гордые, мы не можем, даже если и задумаемся об этом, то потом стыдимся!..

— В космосе все случайно, — говорил он, — и общего плана не существует. Мир, природа, история, общество — они движутся

сами по себе, а вовсе не для человека. Человек что? Пылинка! Даже и того меньше. Где же человеку искать опору? В себе? Ну какая тут опора, если мы случайны. И я понял: чтобы выжить, не сойти с ума, нужно принять законы рода, роя, пчелиного улья, не высовывать нос выше положенного.

Все мои терзания как бы получали удостоверение в подлинности. К тому же, словно мимоходом, он развивал их и указывал выход. Оказывается, какой-то другой человек, более опытный и несомненно умный, шел тем же путем, каким сейчас иду я, и теперь у меня есть учитель.

— Ведь что такое общество, рой, улей? — он прищурился на меня татарским прищуром, его вислый нос и шрамик под нижней губой вдруг покраснели, будто налились кровью, а может, это был отблеск красной крышечки термоса, которую он держал почти у самого лица и в которую ударил луч выглянувшего или, скорее, разорвавшего на мгновение облачную мглу солнца. — Общество, как улей, состоит из ячеек, клеточек. Вы попадаете в одну, потом в другую, медленно так передвигаетесь, но передвигаетесь, а лучше этого ничего нет. Вы живете нормально. Нет ничего выше этого слова: *нормально*. Получаете зарплату, рождаете детей, имеете обеспеченную старость. Ведь в конце концов все революции совершались, чтобы у всех людей была нормальная жизнь. Конечно, вы надеетесь, что живете не напрасно, что в вашей жизни есть какой-то высший смысл, говоря старинным словом, предназначение. Но это не так. Никакого смысла. Никакого. Ничего. Нигиль. Как писал ваш любимый Маяковский: «Над всем, что сделано, ставлю Nihil». И не думайте, что бояться творчества стыдно, что стыдно променять творческий дар на уютную, семейную, квартирную жизнь! Это каким же надо самомнением обладать, чтобы быть уверенным, что та черточка, которую вы, условно говоря, сумеете прочертить, провести, так важна и существенна для бесконечного мироздания!.. Конечно, молодость влечет черт знает куда! Вдруг вы захотите бросить все и уехать на целину, на стройку какую-нибудь, но ведь и там то же самое: вы женитесь, получите квартиру, станете инженером или кем еще и доработаете честно до пенсии. Порыв — первые два-три года, а затем будни. Да и с вашей филологией и с вашим писательством, если вы все же рискнете, — то же самое. Ведь все художники и писатели в конце концов приходят к тому, что им нужна квартира и обеспечение. Но здесь есть риск: то ли вы выиграете, то ли проиграете, а если проиграете, то в зрелости начинать нормальную жизнь будет много сложнее. Пойдут дети, внуки, нужно будет думать о самом вульгарном заработке. Вот и судите сами.

От его уроков мне стало просто страшно, настолько безысходная картина моего будущего вдруг возникла передо мной. То, что было у меня в мыслях под знаком вопроса, он возвращал мне, возвещал мне со знаком восклицательным. Спасаясь от сомнений в себе, в своих силах, я вроде бы сам нечто подобное придумал о своей жизни, а теперь оказывалось, что другого варианта и не существует. У меня заболело сердце и стало почти до слез себя жалко. Очевидно, лицо мое выразило испуг и желание, чтобы его слова относились к нему только, но не ко мне. Он сдвинул свои брови — углом, так что почти скрылись глаза:

— Вы, может, думаете, что я неудачник. Фамилия моя такая — Ужатов. Есть в ней, конечно, задавленность, ужас, ужатость, но есть и то, что я ужал всю воду и в случайной беседе, не желая говорить с умным человеком по пустякам, выдал вам весь смысл жизни. Ведь в Ужатове и уж слышится. Уж, змея, змей — символ древнейшей мудрости, почти космический. И я вам мудрость старался передать, что делать — она не радужна. А вообще-то я и в «Юности» печатался, в лучшие ее годы, стихи писал не хуже нынешних знаменитостей. Да сам бросил. Гораздо разумнее статьи по биологии писать, что я и делаю, не шумно, зато честно. И сейчас меня тянут заведовать отделом в отдел соседний с отделом вашей матушки — космической биологии. Я специалист довольно редкий. Да я сам не хочу.

Он подметил остатки сомнения у меня:

— Вы, я вижу, все же верите, что нечто создадите, что останется. Напрасно. Поскольку вы натура, видимо, поэтическая, я позволю себе напомнить вам Блока:

Ночь, улица, фонарь, аптека,  
Бессмысленный и тусклый свет.  
Живи еще хоть четверть века —  
Все будет так. Исхода нет.  
Умрешь — начнешь опять сначала,  
И повторится все, как встарь:  
Ночь, ледяная рябь канала,  
Аптека, улица, фонарь.

Все, мой юный друг. Больше мне сказать нечего.

Закончив свою речь словно прямым и беспощадным ударом копы, с какой-то непонятной безжалостностью, он вскочил резко и пружинисто на ноги. Стремительность его выглядела зловещей. Казалось, он больше не видит во мне ничего сверх того, что он го-

ворил обо всех, не оставляет надежды на исключение. Насмешливое выражение его лица стало злым и саркастическим. Снова закапал, заморосил дождик, солнце скрылось, будто и не выглядывало. Я увидел, что женщины тоже встают.

— Ну еще часок работы, — он похлопал меня по руке как начальник подчиненного, — и за вами автобус придет.

— А вы?

— А мне еще в конторе надлежит быть. Дела, мой друг, дела. Желаю удачи. Жизненной удачи.

Честно говоря, я был даже рад, что нам не придется с ним ехать назад вместе. Слишком я был подавлен. На бледную девушку Клару я даже и смотреть не мог, хотя мы и возвращались в одном автобусе и случай для знакомства был очень удобный.

...Больше мне сталкиваться с ним не приходилось. Мама сказала, что знает его плохо, но что он — «толковый специалист, только болтун». Но внимания на ее слова я не обратил. Мне не важен уже был он сам по себе, его слова — вот что я мучительно проворачивал у себя в мозгу. Мне стало казаться, что если все так просто и ничего нет и не нужно, кроме быта, еды, питья, любви (в специфическом смысле слова), службы (и открытий в пределах службы), то лучше не жить, а взять и покончить с собой. Все это мне виделось как аксиома. Потому что, если все так, то тогда жить неинтересно и незачем. Любой другой может прожить мою жизнь, потому что она не моя, а такая же как миллион других. Смысл жизни оборачивался бессмыслицей, все было взаимозаменяемым и тем самым необязательным. Первое время после беседы с ним я был не только разбит, уничтожен, подавлен, но и физически чувствовал безумную слабость во всем своем организме.

Я старался забыть и Ужатова, и весь этот разговор, сделать вид, что он ко мне не относится (и забыл, и не вспоминал, пока не перегорело и не смог смотреть со стороны на все это), хотя ничего не мог противопоставить его словам, кроме безумной, слепой и ни на чем не основанной уверенности, что я зачем-то пришел в этот мир и что-то могу сделать только я, а не кто другой.



## Случайные заботы и смерть

**О**н посмотрел на будильник, стоявший перед ним на коричневом ящике для постельного белья. Четверть девятого. Надо вставать. Утро было пасмурное, затянутое какими-то серо-белыми облаками, света в комнате не хватало, поэтому он включил настенную лампу над диваном. Проснулся он рано, в начале шестого, как всегда бывало с ним после сильной выпивки, но голова не болела, только чувствовалась похмельная разбитость во всем теле да сердце стучало сильнее и прерывистее. И часа три лежал в полудреме, пытаюсь уснуть, но не получалось, и он отважился наконец зажечь свет. Лаки, большой, черный, давно не стриженный пудель, лежавший коврик у стола и вроде бы спавший, словно ощутив, что хозяин надумал вставать, поднял голову и приветливо, на всякий случай, качнул туда-сюда хвостом, а увидев, что хозяин смотрит на него, подошел к дивану и сел напротив, тяжело дыша, высунув красный язык и напряженно-выжидающе следя за его движениями. Псу давно уже хотелось на улицу, потому что вечером прогулка была непродолжительной, но Михаил Никифорович так и решил, что до начала девятого он постарается если уж не удастся уснуть, то хоть подремать, прежде чем начать длинный день. Да к тому же он хотел, чтобы прошли школьники, бежавшие в это время в школу: пес всегда рвался за бегущими, изо всех сил тащил за собой хозяина, а сил у него было немало — зимой он даже катал его на лыжах. Михаил Никифорович протянул руку, и Лаки сразу подsunул свою лохматую голову, всячески ласться и в свою очередь прося ласки.

Вчера, после заседания сектора, он, по случаю, попал к приятелю, которому бывшая его подруга прислала из Абхазии большую плетеную корзину фруктов и две бутылки марочного коньяка. Кроме огромных груш и персиков, в корзине лежали еще свежие грецкие орехи, настолько непохожие на высушенные магазинные, что поначалу он подумал, что орехи незрелые, но нет, они поспели, как объяснил приятель, а влажными были от свежести. Коньяк с такой закуской казался вкуснее и изысканнее, и они выпили много

лишнего, потому что у приятеля оказалась дома еще и третья бутылка. И Михаил Никифорович подзадержался, поскольку жена вторую неделю лежала в больнице на обследовании, а Лаки, когда оставался дома один, вел себя спокойно. Зато сегодня, с того самого момента как проснулся, Михаил Никифорович мрачно мычал, ругал себя за вчерашнюю податливость на выпивку, выходил на кухню, пил холодную воду и на всякий случай валокордин, потому что чувствовал спросонья слабость в сердце, на душе было мутно и противно самого себя, и наступающий день представлялся потерянными из-за вчерашней случайной встречи и собственной невоздержанности. Где-то около семи ему уже звонил приятель, тоже мучимый похмельной утренней бессонницей, приглашал к себе опохмелиться и продолжить; правда, приглашал не очень настойчиво: все его друзья и приятели знали, что «на следующий день» он не пьет, а терзается по поводу «бессмысленно потраченного времени» и «пытается работать». Хотя, конечно, работать не получалось, разве что читать; а он несколько раз уже ловил себя на том, что просто читать, только для интереса, как в детстве, как в школе, было уже скучно, казалось пустым времяпровождением, если читаемая книга не годилась как материал для научной работы или хотя бы для рецензии. И только в дни болезни или похмельные дни он позволял себе расслабиться и почитать не утилитарно.

Но сегодня он решил потратить день на всяческие хозяйственные нужды — благо, библиотечный, — ведь все равно не работалось, а уж лучше трагить на эти нужды время, которое все равно пропало для работы. К тому же он обещал жене, что к ее возвращению батарея в туалете будет установлена и он постарается, чтобы это произошло до начала октября, то есть до того, как начнут топить. Но сегодня было четвертое, и от стены в ветреные дни уже несло в спину холодом, а он по-прежнему еще не был уверен, что эта история будет иметь благополучный конец. Он аж вздрогнул, вспомнив ощущение бессилия, беспомощности и униженности, которое он испытывал весь этот месяц, добиваясь прихода слесарей. Чувство ярости и злобы, которое невозможно реализовать, если каким-либо образом не наказать виновников твоих неприятностей, заставило его наконец дернуться и сесть на постели. Лаки тоже вскочил и потянулся, выдвинув далеко вперед передние лапы и отключив кверху зад с вытянутым в струнку коротким нечесаным хвостом.

После писем, заявлений и звонков в ЖЭК, в которых он пытался, изнывая от бессилия слов, доказать, что жить без батареи в туалете невозможно, особенно зимой, что батарею эту сняли еще

весной (когда лопнула от ветхости труба и залило всю квартиру) и обещали поставить ее в конце лета и что назначенное время уже прошло, — он испытывал желание оставить все, как есть, плюнуть, и лучше мерзнуть зимой, чем довести себя до нервного приступа. Его еще мучило, что ни в каком письме, ни в каком заявлении он не смог бы описать — не позволял жанр — бесцеремонность и хамство этих, как говорила жена, «с позволения сказать» мастеров, снимавших батарею. Его самого не было дома, когда случилась авария, но, по рассказу жены, он представлял себе, как это происходило после того, как она наконец с тряпкой в одной руке и телефонной трубкой в другой дозвонилась до ЖЭКа. Как описать в заявлении двух полупьяных слесарюг, первым делом попросивших стакан и пригрозивших, что если не будет стакана, то они пойдут и включат снова воду и живи как хочешь, а потом просто-напросто отпиливших батарею, сидя по очереди орлом на унитазах: чемоданчик для инструментов у них был набит пивом, и лишь пилу они захватили с собой. Конечно, за весьма приличную мзду они готовы были тут же поставить краденую батарею, но денег тогда не было, да и слишком они были наглы и бесцеремонны. И вот теперь этих слесарей ждал и не мог дожидаться Михаил Никифорович. Но желание пойти куда-нибудь пожаловаться, хоть в газету написать, чтобы найти на них управу, наталкивалось на слова главного инженера, полные безысходной, отчаянной и тоскливой дерзости: «А я что могу сделать? Может, вы мне посоветуете? Нет? Тогда зачем говорить?! Я вхожу в ваше положение... Войдите и вы в мое. А где я других возьму? Уж какие есть... Людей нету! Все нынче хотят чистенькой работы...» И слесаря эти прекрасно понимали свою полную безнаказанность, понимали, что любой ЖЭК примет их с радостью. Это ему, кандидату филологических наук, куда-либо устроиться затруднительно. Не много даже в столице таких учреждений, где так уж нужна его профессия. Хотя, конечно, на работу он ходил всего два раза в неделю: день заседания сектора и день дежурства, — а это, надо признаться, весьма неплохо. Впрочем, подумал он тут же с яростью, эти работнички только называется, что ходят на работу: для них работа — это клуб, где можно выпить водки, побалдеть, потрепаться и проявить лихость, сшибив у жильца ни за что трояк, а то и пятерку.

Позавчера эти давно жданные специалисты явились опять вдвоем, протопали по коридору и, склонившись над торчащим отрезком трубы за унитазом, произносили непонятные Михаилу Никифоровичу слова о резьбе, коленях, продувке и сливке. Потом, выйдя из туалета (который, казалось, от их неловких дви-

жений должен был быть разнесен и уцелел только по какой-то случайности), стояли у стены и рассуждали; правда, один, по-сумрачнее, с вытянутым и резким, более породистым или, точнее, более человеческим лицом, как раз тот, что сидел на корточках и рассуждал о резьбе и пробках, теперь молчал, а второй, в шапке-ушанке, надвинутой на брови, чесал в затылке и, моргая глазами, говорил: «Да, дела. Снять-то легко было. Это точно. Ломать — не строить. Я помню, мы и снимали. А как к ней теперь подойдешь, когда отпил есть, тут надо резьбу насаживать. А что было делать, когда у вас тогда трубу прорвало?.. Хозяйка тут еще была, она нам стакан давала, приветливая такая». — «Да помолчи ты, — прервал его молчаливый, глядя в пол. — Ну мы пошли, хозяин. Потом зайдем». — «Когда?» — переспросил Михаил Никифорович. «Да когда?.. — ответил мужик в ушанке. — Надо подготовить все. Может, сегодня. А то ставить — тут с отпилем и не подберешься. У тебя тут, гля, какая пробка поставлена!.. Это, даже чтобы вдвоем работать, дня два надо, не меньше. Да, не меньше. Да и унитаза как бы нам не попортить. Ну это мы для тебя постараемся. Для хорошего хозяина чего не постараться! Грязи мы, конечно, тебе за два дня много развезем. Да и собачку тебе придется запертой держать, а то вить как лает».

Лаки бывал очень изящен после стрижки, но лохматым становился похож на черного терьера, и не разбирающиеся в собачьих породах люди, видя большую черную и лохматую, злобно и басисто надрывающуюся от лая собаку, в квартиру заходить боялись, пока собака не убиралась. К знакомым, надо сказать, Лаки ластился, прыгал, кладя на грудь лапы, и не успокаивался, пока ему не удавалось лизнуть вошедшего в физиономию, но на посторонних рычал, и сейчас, запертый в одной из комнат, гавкал время от времени из-за двери.

«Стало быть, мы пойдем щас обедать, — продолжал упорно мужичонка в шапке, продвигаясь к выходу, — уже как-нито двенадцать. А после обеда придем. Как справимся, так и придем. Но работы дня на два, не меньше». Он явно набивался на предобеденную пятерку, но, не получив таковой, затопал следом за напарником вниз по лестнице, и больше они в тот день не появлялись.

Он еще раз взглянул на часы и увидел, что пронежился и промечтал, задумавшись, в постели на четверть часа больше, чем собирался. Он встал и, стараясь не делать резких и лишних движений, принялся собирать постельное белье и складывать его в предназначенный для этого коричневый полированный ящик, на котором стоял будильник, чашка с водой и транзистор с выдвинутой еще

с вечера антенной. Заломило виски и затылок, но больше всего он чувствовал тяжесть и слабость в сердце и усталость, как будто его собственное тело было грузом, который надо тащить. Лаки сразу отскочил от постели, как только он поднялся, и теперь юлил вокруг него, изгибаясь всем телом от радости и норовя пронырнуть между ног хозяина. Хвостиком он вилял из стороны в сторону весьма энергично. Михаил Никифорович прошел на кухню, наполнил водой чайник, поставил его на плиту, затем сходил в туалет и ванную. Хотел было принять душ, но на улице, судя по всему, было ветрено и холодно, и он побоялся простыть и ко всем своим неладам добавить еще и простуду. Поэтому он только умылся и почистил зубы; вернувшись в комнату, надел халат, купленный в Эстонии, и отправился пить чай. Чайник уже кипел, но, прежде чем налить себе, он взял Лакину миску, насыпал туда геркулеса, бросил для вкуса и запаха кость и, залив все это кипятком, поставил на край плиты, чтобы к их возвращению собачья еда была уже готова. Выпил чаю, съел бутерброд с сыром, вернулся в комнату, скинул халат и принялся одеваться для улицы. Увидев, что хозяин натягивает на себя лыжные брюки, пес задыхался еще сильнее, начал путаться под ногами, двигаясь туда же, куда шел хозяин, а потом вдруг закрутился по комнате, стараясь не то ухватить себя за хвост, не то просто полизать под хвостом. И вот, улегшись на пол перед самой дверцей шкафа, он действительно принялся яростно выкусывать и вылизывать что-то под хвостом. Михаил Никифорович все так же спокойно, стараясь не растревожить лишней раз сердце, которое то начинало колотиться, то словно прокалывалось болью, продолжал одеваться. И хотя он был уверен, что это не настоящая, а всего-навсего невралгическая боль, лучше уж было не спешить. Натянув на себя свитер, теплую куртку из старой, потрепанной псевдозамши и сапоги, Михаил Никифорович взял в руки поводок, и тут, окончательно убедившись, что хозяин оделся, чтобы идти с ним, Лаки, как всегда, запрыгал от радости, не давая нацепить поводок на ошейник. И хозяин говорил ему ласково: «Ах ты лохматая тварь, ах ты рожа, это чья такая наглая рожа лохматая!» И пес терся головой о его ноги.

\* \* \*

Неподалеку от двора проходило шоссе, небольшое, так себе, проезд, соединявший две больших магистрали, а сразу за ним был огороженный забором пустырь, принадлежавший институту, в котором работало большинство жителей дома (или когда-то их родители). Это был скорее даже не пустырь, а целое поле, с пересе-

кавшим его посередине оврагом, вдоль которого любили гулять собачники. Обычно, выгуливая Лаки, Михаил Никифорович не только сам выгуливался, но и обдумывал очередную работу, которой он занимался. Поэтому он любил гулять один. Сегодня же мозги явно не варились, и он шел, надеясь, что холодный воздух и ветер выдуют из него вчерашний хмель и сегодняшние его остатки.

Трава на поле уже пожухла и пожелтела и была прибита ночным дождем, но человек в резиновых сапогах старался все же идти по мокрой траве, а не по вытопанной тропинке, поскольку тропка раскисла и скользила под ногами. Лаки умчался куда-то в сторону и вот уже сидел орлом, весь напрягшись, подняв голову и вздрагивая ушами. Михаил Никифорович, не обращая на него внимания, шел, заложив руки за спину, и вялые, тусклые мысли едва-едва шевелились у него в голове.

Он думал о том, что ему уже пятьдесят один год, что он выпустил две книжки, напечатал статей еще, в сущности, на одну книжку и вот теперь сдал в издательство небольшую монографию, листов на десять, о Достоевском. Последнее воспоминание было ему неприятно, поскольку редакторше книжка, очевидно, не понравилась, она требовала, чтобы он высказывал «более общепринятые положения» (так она выражалась), поскольку в противном случае она отдаст рукопись начальству, чтобы то решало само, что делать дальше, а она никакой ответственности за книгу нести не хочет. Он размышлял уже о каком-нибудь компромиссном варианте, но сейчас про это вспоминать не хотелось. Он говорил себе, что вообще-то в его жизни все складывается неплохо, во всяком случае с точки зрения профессиональной, что лет ему еще не так много и еще есть время создать нечто, чтобы стать человеком, который не только пишет о людях, сказавших новое, но и сам говорит это новое, свое. Постараться не писать больше о частностях, а сказать нечто глобальное о литературе, об истории, о мироздании и о самом себе, наконец. Все то, что, как ему казалось, в нем сидит и пока выплескивается капельно в работах по частным вопросам. Известно же, что и Дефо, и Сервантес, и Аристотель принялись за свои основные работы, выразившие самую сущность их миропонимания, уже в возрасте за пятьдесят. Так что время еще есть, успокаивал он себя, только надо перестать поддаваться случайным слабостям, вроде выпивки и женщин. Впрочем, последнее Михаил Никифорович прибавил для красного словца, потому что сидение в библиотеках и над собственными рукописями не оставляло времени на серьезные любовные приключения и романы. Проще было напиться, что он и позволял себе время от времени.

Сделавший все свои дела. Лаки, дважды уже присаживавшийся, поднимавший ногу у всех нанюханых им кустиков травы и даже лихорадочно выкопавший в какой-то момент передними лапами довольно глубокую яму в тщетной надежде поймать полевую мышку, подбежал к нему, ткнулся кожаным носом в руку и повиллял хвостом, открывши пасть и заглядывая в глаза. Таким манером он звал домой, потому что после гулянья вторым постоянным удовольствием у бедного пуделя была еда, и он уже, очевидно, проголодался. Действительно, пора пришла двигаться домой, гуляли они уже больше получаса, и ноги у Михаила Никифоровича в резиновых сапогах, несмотря на войлочные стельки и шерстяные носки, заledenели. Они двинулись к дырке в проволочном заборе, ограждавшем поле.

Подходя к дому; он увидел маячившую женскую фигуру в сером, возможно, шерстяном платке и длинном, старом, темно-зеленом пальто — их домоуправшу Ефросинью Ивановну. Он хотел было пройти мимо, только кивнув, не ожидая чего-либо нового в разрешении вопроса о батареях, но не удержался и подошел. Было ей уже за шестьдесят, скрюченная, старая, изможденная не то болезнью, не то возрастом, она напоминала долго прожившую бабу-ягу: нос, загибавшийся к заостренному и торчавшему вверх подбородку, кустики волосков на подбородке, глаза, постоянно слезившиеся из-под старых очков, особенно когда она начинала говорить, на всех жалуюсь, довершали это не очень оригинальное сходство. Она посмотрела на него, подшмыгнула носом в ответ на приветствие, помолчала минуту и потом, как бы «переходя в наступление в порядке защиты», принялась жаловаться обиженно-плаксивым голосом:

— Вы думаете, я старая бреховка? А я здесь с девяти дежурю, их жду, специально приехала. А что мне делать, они меня не слушают! Говорят: а пошла ты! Представляете, я им говорю, а они меня посылают. А сами с одиннадцати часов уже пьяные. И откуда деньги берут? Воруют, а работать не хотят. Я все ваши заявления Федоруку передала с сопроводилкой. Он обещал послать, но на них управы нет. Сидят, ждут одиннадцати, а потом пьют. И меня не слушают. «Вот Федорук как скажет, мы и пойдём, а ты иди» — вот что говорят.

Михаил Никифорович стоял, терпеливо слушал ее жалующиеся слова, но так и не понял, придут слесаря сегодня или нет. А слабость во всем организме была такая, что вступать в более подробные выяснения не было сил, оставалось махнуть рукой. Однако для очистки совести он задал еще один вопрос, который задавал чуть

ли не в течение года, да и жена просила это выяснить к ее возвращению, — будет все же в доме капитальный ремонт или нет: если нет, надо самим заняться — побелить потолки, поклеить обои и отциклевать пол; если же будет, то надо обождать, а то, ремонтируя, все разворотят, и придется начинать все по новой.

— Ну черт с ними, — сказал он, с трудом удерживая на поводке Лаки, вдруг ринувшегося что-то понюхать у края газона; все же пес подтащил его, куда хотел, и он продолжал говорить, стоя уже вполоборота к домоуправше. — А что слышно насчет капитального ремонта? Ведь дом же с тридцатых годов не ремонтировался, все трубы давно прогнили. Батарею-то у нас не случайно прорвало.

Дом был старый, крепкой постройки, пятиэтажный, с высокими потолками и хорошей планировкой квартир, но действительно не ремонтировавшийся уже лет сорок. Ожидая ремонта, переезжать оттуда они, однако, не хотели. Но и опять он толкового ответа не получил.

— Вот что я вам скажу, Михаил Никифорович, — собеседница подшмыгнула опять носом и, подойдя поближе и приблизив свои слезящиеся словно от обиды глаза к его лицу, сказала, будто давая тайный и действенный совет, — вы напишите заявление, а я передам Федоруку, пусть там сами решают. Мне они своих планов не докладывают, — окончила она решительно.

Лаки тем временем поднял ногу, покапав на нанюханное местечко. И Ефросинья Ивановна, глянув на него, перескочила на другую тему.

— Вы все с собакой, — проговорила она теперь осуждающе-доверительно, как могла бы сказать пожилая дальняя родственница или старая ворчливая соседка, — а от них власоглавы. Вы же небось и в морду целуете? Очень напрасно. Вон как Писклявиной из-за этих глистов даже желудок вырезали. А у нее тоже была собака, она ее все в морду целовала. Тьфу, не могу понять, это же противно — целовать животное в морду, оно же не человек...

Лаки потянул к подъезду, и это было вовремя, во всяком случае Михаил Никифорович мог сделать вид, что прекращает разговор не сам по себе, а просто будучи уже не в силах удерживать рвущегося домой кобеля. Поднимаясь по лестнице, он почувствовал, что свежий воздух и гулянье не принесли ожидаемого результата: сердце ужасно колотилось, и это колоченье сопровождалось слабостью такой сильной, что по спине проступала испарина. Он пару раз останавливался, держась за перила и жалея, что не взял с собой валидола. Но, придя домой, он все же не лег, потому что всегда мелкие заботы спасали его от подобного рода болей гораздо лучше,



нежели покой. Он поставил миску с Лакиной уже готовой едой на скамейку, зажег под чайником огонь, чтобы с холода выпить еще чашку горячего чая, и после этого накапал себе около двадцати капель валокордина и выпил их, запив водой.

В таком состоянии за дела, даже за чтение, приниматься не хотелось. Он подумал было позвонить в райком или райисполком, чтобы пожаловаться наконец кому-то на хамскую нерадивость слесарей, но, ощутив вдруг, что стоит ему об этом заговорить не так, как с домоуправшей, а всерьез добиваясь и качая права, у него сразу подскочит давление и поднимется неудержимая и неуправляемая злость, с которой он потом не сразу справится, он отложил свое намерение до того момента, когда будет себя лучше чувствовать. Оказалось, что правильно сделал, что отложил. Лаки еще лежал на полу перед миской (будучи благородным пуделем, он не бросался сразу на еду, а долго сидел или лежал перед миской и, только выждав лишь ему известный ритуальный срок, подходил и принимался хлебать из миски; надо сказать, никто его этому не учил, — очевидно, работала наследственная память породы), а в дверь позвонили. С громким лаем первым к двери добежал Лаки. Ухватив его за ошейник, Михаил Никифорович открыл дверь. На площадке стоял давешний молчаливый слесарь в ватнике, синих, заправленных в кирзовые сапоги галифе, одной рукой он придерживал три принесенных им секции батареи, в другой держал чемоданчик с инструментом.

— Собаку убрат надо, хозяин, — сказал он, не входя, и Михаил Никифорович (вспомнив филологический курс диалектологии и романы «про Сибирь») отметил, что он кончает слова на твердое «т», иными словами — сибиряк, а сибиряки, известно, настоящие работяги, но заговаривать про это не стал, считая такие разговоры проявлением высокомерно-подхалимствующего псевдомократизма. Заперев Лаки в комнате, он спросил, не нужна ли помощь и придет ли его напарник. На это неразговорчивый мастер ответил, что его напарник «уже нажрался»:

— И где они, черти, до одиннадцати водку берут! Ни ногу, ни руку поднять не может.

После чего, пока слесарь работал, отказавшись от всякой помощи, Михаил Никифорович, потративший накануне все деньги в ожидании близкой зарплаты, звонил по соседям, в надежде перехватить у кого-нибудь до завтра трояк, но все тоже подошли ко дню зарплаты, и только у соседей напротив он стрельнул рублевку. Закончив работу, вместо обещанных и угрожающих двух дней, через два часа, слесарь молча взял рубль и ушел. Михаилу Ники-

форовичу было неловко за малую сумму, которую он дал, — после столь быстрого и счастливого разрешения ситуации, казавшейся уже безнадежно безысходной, — но оправдывал себя тем, что ничто не предвещало этого визита и такой оперативности действий.

Он открыл дверь и выпустил Лаки, который с грозным рыком пронесся по квартире, вынюхивая следы ушедшего чужака. Было уже начало первого, и, заглянув в холодильник, хозяин увидел, что для него и для собаки еды на сегодня хватит, так что тратить время на готовку обеда вроде бы ни к чему. Хотя, надо сказать, он и вообще предпочитал обедать дома, нежели ехать куда-нибудь в ВТО или ЦДЛ, где время не сэкономишь, а проэкономишь, да и отвлекает от реальной работы и раздумий эта рассеянная обстановка со светскими сплетнями и мелькающими литературными девочками.

Значит, до обеда у него есть свободное время, и можно хоть что-то почитать, с одной стороны, чтобы нужное, с другой — не очень утомительное. Он сел за стол, отодвинул машинку в сторону и немного вперед, чтобы расчистить место для книги... Но сидеть было трудно: ко всем неприятным ощущениям прибавилась еще непонятно откуда взявшаяся боль под правой лопаткой, отдающая и налево. «Наверно, невралгическая», — решил он, однако все же прилег на диван, прихватив с собой первый попавшийся под руку том Достоевского. Оказалось «Преступление и наказание». Книгу он знал почти наизусть, поэтому даже не мог сообразить, на какой странице открыть и что, собственно, он хочет в ней еще раз продумать. Ведь можно продумывать и не открывая текста. Поэтому он положил книгу рядом и позволил себе расслабиться и задуматься. Скрипнула дверь, это Лаки, просунув морду в щель, начал протискиваться в комнату к хозяину, открыл, прошел под стол и тоже улегся.

Поначалу он вспомнил, однако, о неотложном и перечислил про себя — с твердой установкой запомнить — те вещи, которые он собирался завтра захватить с собой, чтобы отнести жене в больницу. Завтра к тому же была зарплата, так что он сможет после работы купить еще и фруктов, и шоколад, и что-нибудь еще в этом роде. Потом он задумался над тем, что к пятидесяти годам они остались практически одни: сын женился и появлялся не чаще раза в неделю, а друзья превратились в светских знакомых и о старой дружбе вспоминали только для оживления застольной беседы — все стали люди деловые и о шутках и проказах прежних лет только говорили. Он вдруг вспомнил, сколько они друг про друга сплетничали и говорили за глаза гадостей и насмешек, и подумал, что если бы существовал тот свет и все узнали, кто что про кого говорил или, тем

более, думал, то это было бы ужасно, даже самые добрые люди ведь позволяют себе, тайно или явно, позлословить насчет другого, а то и порадоваться его неудачам. Неужели тот свет можно представить как место, где все стыдятся друг друга?.. А как же обещанная милость Господня? Но милость надо заслужить — сказано же, что воздается каждому по делам его да по вере его, кто что заслужил, тот то и получит, кто во что верил, тот то и обретет на том свете. Эта мысль в применении к Достоевскому вдруг заинтересовала его. Он даже подумал, что отчасти она была навеяна самим писателем. Взятая в руки книга почти сама раскрылась на нужном месте — первом разговоре Раскольникова со Свидригайловым.

«— Я не верю в будущую жизнь, — сказал Раскольников.

Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, — сказал он вдруг.

“Это помешанный”, — подумал Раскольников.

— Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников.

— Справедливее? А почему знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе».

Каким-то холодом охватило вдруг и Михаила Никифоровича, и, закрыв книгу, он отложил ее. Он сопоставил огромную бесконечную вечность и свою размеренную жизнь в маленькой двухкомнатной квартирке; и его жизнь показалась ему закинутой, брошенной в эту вечность, крошечной ее частицей в череде уходящих и приходивших народов и людей. Ему захотелось как-то выразить это захватившее все его существо чувство, передать его, но он не знал как и продолжал лежать, размышляя. «Конечно, — думал он, — Достоевский хотел сказать, что Свидригайлов заслужил именно такую вечность. Но если отбросить мистику, то... как я соприкасаюсь с этой вечностью, что есть моя вечность? Вот эта вот маленькая квартирка, книги, лежанье на диване, писание уче-

ных статей, которые будут забыты и сменены новейшими исследованиями лет через десять, и это в лучшем случае, вся эта суeta мелких повседневных забот — это и было бы мне предназначено, если бы существовала вечность и загробное воздаяние? Это же ужас!..» Он пошевелился от усиливающегося озноба, особенно вдруг замерзли ноги — он лежал не укрывшись пледом, а в неотопливаемой еще комнате было холодно. Михаил Никифорович подумал, что, быть может, именно оттого, что он не знает, как выразить подобные собственные рассуждения о жизни и смерти, ставшие приходить к нему в голову, он и запихивает их в свои литературоведческие работы, неосознанно для себя запихивает, а это не может не смущать редакторов. От справедливости этой мысли, вдруг прояснившей ему многое и поразившей его, он резко пошевелился и, чтобы успокоить себя, принялся оглядываться в поисках пледа. Но тут зазвонил телефон, пришлось встать и пройти на кухню: телефон стоял на холодильнике.

Звонила из больницы жена, просила завтра привезти тушь для ресниц, голубой свитер и колготки, рассказывала больничные истории и сплетни, спрашивала, звонит ли сын и не собирается ли он все же наконец навестить в больнице мать. Пока она говорила, он почувствовал, что стоять ему тяжело, и сел перед холодильником на табуретку. Кончив разговор, посмотрел на часы и в комнату возвращаться не стал: пора было обедать. Да и похмельный голод наступил, а точнее, он знал, что должен наступить похмельный голод и его надо непременно утолить.

\* \* \*

Обед был скудный, и потому он съел все до последней крошки, оставив себе только хлеба с сыром на ужин и три яйца для утренней яичницы. Потом аккуратно вымыл за собой посуду: это тоже было дело, не требующее напряжения и потому сегодня вполне доступное. Лаки тоже переключался на кухню и теперь лежал у плиты, ожидающе и мрачно глядя на хозяина. Пришлось дать ему сухарь. Лаки подержал его в пасти, потом положил между передними лапами, расположился поудобнее и принялся его грызть. Было уже начало четвертого.

Он подумал, что, в сущности, день прошел, и ничего не сделано, и, быть может, и вправду было лучше поехать к приятелю, посидеть в тепле и уютных разговорах, выпить немного вина, немного, но выпить, а с завтрашнего утра уже здоровым начать снова жизнь и работу. То есть у приятеля он бы тоже ничего не делал, но хоть пообщался бы, а не выглядел еще раз перед всеми таким

бирюком. Он вспомнил, как мать его однажды сказала, что прожила жизнь «обыденкой». Мать у него была химик и часто употребляла слова, почерпнутые ею в лаборатории, полупростонародные, а он, филолог, даже не задумался тогда, какой смысл вкладывается в это слово, каково его происхождение. Но сейчас он подумал, что, каково бы ни было это происхождение – от выражения ли «абы день прошел» или от слова «обыденность» (московский выговор матери не различал «а» от «о»), – смысл этого слова был очень грустный, и он как-то очень отчетливо вдруг понял это.

Он поднялся с табурета: болела спина и еще какое-то странное ощущение уже несколько раз посещало его – вдруг начинала ломить, или болеть, или неметь (он не мог точно определить это состояние) вся правая сторона тела: нога, рука и правая часть головы. Он несколько раз спрашивал врачей, но ему прописывали успокаивающее, от нервов, или какой-то набор витаминов. И сейчас снова это же ощущение. Почувствовав это, он сказал себе, что в конце концов имеет полное право хоть раз в неделю полностью отдохнуть, то есть совсем-совсем расслабиться и ни о чем не думать, потому что ведь его работа состоит в думании, а стало быть, и отдых – в прекращении ононого, насколько это возможно. Надо просто пойти лечь и почитать какой-нибудь самый дурацкий детективный роман, чтобы просто отвлечься, а потом заснуть, решил он.

Звонок у них был проведен на кухню, и, когда он задремал прямо у него над головой, Михаил Никифорович почему-то почти испугался неожиданности этого звонка, но пошел к двери. «Кто это может быть? – думал он. – Вроде никого не должно быть». А Лаки снова был уже у двери впереди него, злобно лаял и скреб передними лапами пол, как бы подрываясь под дверь.

– Уберите собаку. Это Мосгаз. Уберите собаку, – раздался голос.

И Михаил Никифорович с обреченностью снова запер Лаки и впустил посетителя. Это был толстый мужчина в черном старом костюме, карманы брюк полувывернуты и обтрепаны, брюхо выпирало над ремнем, а отвислая нижняя губа довершала картину расхристанного, распадающегося человека, как показалось Михаилу Никифоровичу. «Мосгаз» прошел на кухню, что-то там проверил, потом в ванную, где, дернув за ручку газовой колонки, проверяя, выдернул ее. Но нисколько не смутился, просто в его непрестанно льющуюся речь вплелась и эта тема (а надо сказать, он с порога не закрывал рта, чему Михаил Никифорович был отчасти рад, раздумывая, где ему еще достать рублевку или чем ее заменить: вроде и не обязан, а как-то принято):

— Да, этого у нас нет. Придется так пользоваться. Просто вставлять и пользоваться. Московские колонки, они хорошие, только их с производства сняли. Так что теперь если радиатор полетит, то каюк. Отключаем. Люди вон по три месяца сидят без газа. А тут всего-то резьба полетела. Я ленку намотаю, и привет, полный порядок, — при этом он открыл свой чемодан, достал пучок растрепанной пеньки и, оторвав кусочек, быстро намотал на резьбу выпавшей ручки и вставил ее обратно. — Ох, погода опять нехорошая в октябре: август, июль — дожди, сентябрь — одно наше удовольствие, а октябрь никуда. Да, а нагар оттого, что свеча запылилась, сажа там. Надо крышку снять и продуть — хитрости никакой. А воду горячую обязательно сливать надо, а то радиатор разорвет. Сегодня у меня смена после обеда, и я к вам ко вторым.

Михаил Никифорович понимал, что весь этот душевный разговор ведется к рублевке, чтобы после таких долгих объяснений хозяину стало бы совестно не дать рубля. Но рубля не было, и он был в растерянности, но тут пришла в голову идея спасения. «Мосгаз», закончив работу, долго упихивал пеньку в чемодан, где среди каких-то инструментов лежала еще свернутая болонья, долго мыл руки, пока стоявший в дверях Михаил Никифорович не предложил:

— Может, рюмку водки? — и, пропуская его на кухню, добавил: — Вы уж извините, денег нет ни копейки перед получкой. Так что водочки, чем богаты, тем и рады...

— С удовольствием, — громадная туша, несколько не стесняясь и потирая руки, проследовала на кухню. — А то за весь день набегаетесь. Я чемоданчик пока в ванной оставил, чтоб он не мешал. Я к вам ко вторым. Был в Дубках — на одиннадцатом этаже, а там лифт отключен. Представляете? Там мембрана полетела. А мембрана полетит, и все, каюк. Это как человек: полетела на сердце мембрана, и помер, — рассуждая, он присел за стол, пока хозяин доставал полграфинчика водки, сыр, хлеб, масло, ливерную колбасу, которой он питался напополам с Лаки. — А эти ленинградские, — говорил мастер, — делают с кнопками, вначале на трубе делали, теперь на корпусе. Только они все хуже и хуже работают. Мы, мастера, как слышим, что где-то старую колонку выкидывают, сразу туда. Детали свинтишь, и порядок, можно работать. Запчастей к московским-то нет, их теперь вообще не выпускают. А людям ведь надо. Я семь поставил уже так. Мне что, жалко, что ли? Мне не жалко. Там, на Усыкинской, снимать будут еще десять колонок, вот поеду возьму. Пять да еще там пять, да, будет десять. Ну, ваше здоровье, будем здоровы! — Он опрокинул в себя аккурат-

но, прямо-таки вылил в глотку полный лафитничек водки, взял кусок хлеба, осторожно положил на него кусочек ливерной колбасы и принялся есть. — А вы что же? — обратился он к Михаилу Никифоровичу.

— Пожалуй, — и, налив себе полрюмки, он тоже выпил, а затем налил еще гостю. А тот ел и похваливал:

— Это я люблю. Если ее с вермишелью перемешать и сварить, то это как паштет получается, и никакого мяса не надо. Только сразу целую кастрюлю съесть, а то холодное оно не вкусно, надо на сковородке разогревать. Это за шестьдесят четыре копейки? Я как раз такую люблю, а диетическую, из настоящего ливеру, не люблю, она мне не вкусная. За шестьдесят четыре копейки тоже бывает плохая, вся сухая совсем, а бывает жирная — шкурку снимешь, так все пальцы обмаслишь...

Он так аппетитно все это расписывал, сразу видно, настоящий чревоугодник, что Михаилу Никифоровичу пришло в голову, как только мастер уйдет, приготовить себе что-нибудь в этом роде. И «Мосгаз» уже казался обыкновенным добродушным, немного болтливым дядечкой, каким он, наверно, на самом деле и был. Только уж чересчур болтливым. Острая, колющая, незатихающая и ровная, словно держащая уверенно одну ноту, боль вдруг проникла ему в сердце, так, что он испугался, но почему-то при постороннем постеснялся встать и накапать себе валокордина, чтобы это не выглядело намеком на предложение покинуть дом и не дало новой пищи для его безостановочной речи. «Авось само пройдет, отпустит». А тот, доливая остатки из графинчика уже сам, все продолжал говорить, теперь придав теме новый поворот:

— А я немного получаю, и жена тоже. Вот она поехала отдыхать в Пятигорск по путевке, а мне оставила пятнадцать рублей. До аванса еще восемнадцать дней, вот и прикинь. Ну она там шей сварила, яйца оставила, колбасу.. Она же знает, что я не пьяница, мне пятнадцати рублей хватит. Ну, она уехала, я вышел, мне много не надо, купил четвертиночку за два двадцать девять, а на следующий день опять ее же, четвертиночку, или красного за два двадцать две. То есть деньги надо. Ну, будем здоровы!.. И я тогда накупаю ливерную колбасу. Очень вкусно и можно от пуза наестся. Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Спасибо вам за угощение. Если что надо, звоните, мигом придем. — Он встал, дожевывая хлеб с ливерной колбасой.

А сердце и вправду само отпустило. И Михаил Никифорович пошел проводить мастера в переднюю. Из-за запертой двери опять залаял Лаки.

– А чем собачку кормите?

– Геркулесом. Бульоном завариваю, а если бульона нет, то тогда просто кипятком.

– А знаете, здесь, ну через два квартала, у двадцать пятого дома геркулес дают, сам видел, честное слово.

– Спасибо, а то у нас уже кончился.

– Не за что. Бывайте здоровы.

Проводив мастера, Михаил Никифорович подумал, что ему и вправду нужен геркулес и что рано или поздно придется идти его куда-нибудь покупать, да еще искать придется, где дают, а сейчас очень удобный случай, раз все равно придется на это тратить время. Но прежде он вернулся на кухню, достал из шкафчика валокордин, накапал в рюмку, разбавил водой, выпил и тут же запил эту горечь. Потом начал одеваться. Пес решил, что его берут с собой, и заволновался, начал дневать, потягиваться и прохаживаться по коридору. Но после строгого и твердого «нет» улегся в прихожей, выразительно и обиженно поглядывая на хозяина. Но прежде чем выйти, Михаил Никифорович вовремя вдруг вспомнил, что денег-то нет и что все покупки надо отложить на завтра. Тогда он твердо решил полежать и почитать, но не детектив на сей раз, а какую-нибудь статью Аверинцева, чтобы было в мозгу ощущение интеллектуальной работы. Но, разумеется, еще не начавши читать, уснул крепким, тяжелым сном.

\* \* \*

Когда он проснулся, было уже темно. Михаил Никифорович включил настенную лампу в изголовье и посмотрел на будильник. Без четверти одиннадцать. Он выключил свет, резавший ему еще сонные глаза. Наступившая темнота воспринялась как облегчение. Но только для глаз, на душе, несмотря на долгий сон, было почему-то пасмурно и тоскливо. Он приподнял голову и неожиданно почувствовал, что она слегка кружится и его немного тошнит. Он снова лег, темнота и спокойствие пустой квартиры всегда располагали его к размышлениям, но не серьезным, а скорее мечтательным, когда одна мысль бесцельно сменяется другой, а чаще даже видишь себя в картинках, в действии, кому-то чего-то говоришь, что-то делаешь, кого-то обнимаешь, а нечто тебе всегда непременно удастся, то, что хотелось. Но сейчас мысли были мрачны и сводились к тому, что он попусту проживает свою жизнь, что сегодняшний день, в сущности, не исключение, что день проходит за днем в суете и необязательных работах и заботах – в визитах в институт, в писании статей для бесчисленных коллективных моно-



графий, где от него требовалось только знание фактов, потому что концепции сборников, как правило, бывали общесекторские, то есть заведующего, а то и в домашних заботах, в ссорах и примирениях с женой, в случайных пьянках — и все это его жизнь? Да он-то здесь при чем? Все это мог проделывать кто угодно другой. Он никак не мог понять, что он хотел бы понимать под своей подлинной жизнью, той, какой ему хотелось бы жить, но, во всяком случае, какой-то другой. Наступала похмельная депрессия, он это даже сознавал, потому что всегда на следующий день *после* (вот как сегодня) хотелось жить чище, лучше, по-иному. Он также заставил себя припомнить, что кажущееся сейчас ужасом и бессмыслицей воспринималось в другие дни как удача и хорошо живущаяся жизнь. Но он словно нарочно дал уйти пришедшей здраво-медицинской мысли и принялся на все лады перебирать пустоту и бессмыслицу своего сегодняшнего дня, когда в очередной раз он так и не сумел ни за что настоящее приняться. А еще все равно надо идти с собакой, хочет он того или нет, вместо того чтобы сесть за стол и заняться напропалую, хоть два или три часа без перерыва — хоть не писать, но хоть читать и конспектировать. И отчаяние охватило его, потому что он знал, что выйдет сейчас с пуделем, прогуляет полчаса, а то и минут сорок, вернется, поставит ему еду, с вечернего холоду и сам выпьет чаю, а там уж и сил не будет, когда на самом деле надо ловить часы такого душевного рабочего подъема. Но он, как раб, прикованный к тачке (откуда-то вылез этот банальный образ, хотя чувство мрака и тоски от своей рабской жизни, прикованной к быту, было вполне искренним), будет вынужден все же все это сделать, потому что так *надо*, а он с детства усвоил, что вначале нужно делать то, что надо, и лишь потом то, что хочется.

Михаил Никифорович снова зажег свет. Лаки лежал у шкафа, но не спал, а, вытянув передние лапы и подняв голову, смотрел на него. Тогда Михаил Никифорович подумал, что, может быть, и неплохо, что он выводит собаку так поздно. Во дворе уже никого не будет, темно, только свет от окон и фонарей, машины на соседнем шоссе ходят редко, и можно будет выпустить собаку прямо во двор, к тому же заодно он сможет захватить и помойное ведро, выкинуть мусор в бак на краю двора, а потом, поставив пустое ведро у подъезда, погулять по двору и по аллейке, разделяющей два газона, пока пес набегается и вернется к нему. Все это обдумывал он лежа, чтобы потом не терять времени, хотя, как ему одновременно казалось, обдумывание житейских мелочей на самом деле отнимало время у чего-то более важного. Он с раздражением сел, чувствуя во всем теле сонную ломоту, какая бывает после вечернего сна,

когда с досадой говоришь себе: «Кой черт угораздил меня вечером заснуть!» Сердце заколотилось снова, да и дурнота не проходила. Лаки вскочил.

— Ну что, лохматый тварь! Поди сюда.

Пес подошел, присел рядом, смешно вывернув задние лапы, и притиснул голову к ноге хозяина. Михаил Никифорович принялся механически чесать ему за ухом и шею под мордой, потом отнял руку, но пес снова поддел головой его руку, тыкаясь кожаным носом и прося у хозяина доброты, расположения и ласки.

— Ах ты псина!.. — Михаил Никифорович забрал в обе пригоршни шерсть вместе со шкурой на морде пса и потряс его из стороны в сторону. — Конечно, ты здесь ни при чем. Это твой хозяин беспомощный никак свою жизнь организовать и устроить не может..

Он встал и, почувствовав слабость, охватившую его, еще раз подумал, что хорошо, что он выходит во двор вечером, — можно не брать Лаки на поводок, а просто открыть дверь квартиры и выпустить его и не придется лететь за ним вниз по ступеням, с трудом сдерживая рвущегося пуделя и едва сохраняя устойчивость и равновесие. «Ф-фу, это уж точно в последний раз, больше никаких случайных пьянок, не тот уже возраст. Скорей бы завтра, выплыву, и все будет в порядке». Он одевался, а Лаки кружился вокруг него. На душе было тускло, ярость, которая была утром обращена на мастеров, все не приходивших чинить батарею, теперь обратилась на него самого, очень хотелось предаться отчаянию, махнуть на все, в том числе и на себя, рукой, снова лечь, выключить свет и лежа предаваться мрачным мыслям. Лелеять свое одиночество и хандру. Но надо было двигаться и существовать.

Он вышел в темный коридор и включил свет. Пудель выскочил следом, боком отираясь около входной двери и вопрошительно виляя хвостом. Темнота подступала из кухни и из открытой настежь ванной комнаты. Михаил Никифорович подумал было пройти на кухню и еще раз для профилактики принять валокордину, но махнул рукой, осуждая себя за перестраховку. На кухню все же пришлось идти за мусорным ведром. Лаки всюду следовал за ним по пятам. А когда хозяин останавливался, останавливался тоже и, раскрыв пасть, тяжело дышал.

Зато когда наконец открылась дверь, пес быстро выскочил на площадку, но, не поверив свободе, тут же и остановился, поглядывая на хозяина. И только после того, как Михаил Никифорович вышел следом за ним и захлопнул дверь, помчался вниз по ступеням. Держа в одной руке ведро, а другую с зажатым в ней поводком засунув в карман пальто, человек медленно спускался по лестнице.

Все как обычно. Он глядел на вытоптаннные каменные ступени с прожилками в камне, на витые деревянные, окрашенные в коричневую краску поручни перил, и вдруг ни с того ни с сего сердце подскочило к самому горлу, а дыхание прервалось; и он представил, точнее, даже не представил, просто ему стало совершенно отчетливо и ясно видно, что это вдруг произойдет, что его не будет, и это уже реально, это всерьез, всамделишно произойдет; это не воображаемая с интересом идея, как в детстве, что, дескать, будет, если меня не будет, и, наверно, не страх за жизнь, как на войне, нет, это ощущение надвигающейся неизбежности, о которой не задумывался и с которой не боролся в свое время. Вот, все будет, а меня не будет. Просто не будет, и все. Даже ступени останутся, а я исчезну. В никуда, в пропасть, в черный провал. Но самое даже страшное, что это и не пропасть, и не провал, где хоть что-то, может, есть, а просто черное ничто. Ничто. Понятие, страшнее которого человечество не выдумывало. Вот, только что тут был и вдруг пропал. И на это место заступит другой. Почему? Родился — не по своему желанию, учился, потому что было так надо, затем надо было поступить в университет — поступил, в аспирантуру, защитил кандидатскую, потому что стало это входить в некий негласный образовательный ценз — все кандидаты, а лет тридцать назад успокоился бы просто на дипломе, зато докторскую защищать не стал — не было этой общей обязательности. Выпустил пару книжек: диссертацию и одну плановую монографию. Ни разу не пытался выступить от себя, навязать миру свою волю, чтобы жизнь обрагилась в судьбу.

Вот так же будут входить и выходить в подъезд и из подъезда люди, будут подниматься по лестницам, какие-то парни будут курить и флиртовать с девушками у батарей. Вот ведь от дворян (которые подлетали в каретах к своим особнякам и взлетали по лестнице, быть может, бренча при этом шпорами, а как их дамы поднимались — и не представить!) ничего не осталось, кроме этих особняков и мраморных лестниц. Может, они и думали, что умрут, но что их образ жизни всего через каких-то сто лет будет казаться сказкой и небывальщиной, вряд ли им в голову приходило. А его образ жизни — в чем он, каков? Но мысль как-то засуетилась между мраморными дворянскими лестницами и их подъездом с разбитой электрической лампочкой при входе и ни до чего толкового не добралась.

Голова кружилась, и почему-то стало жарко, до звона в ушах, и жаром заломило затылок и шею. И снова испарина страха и слабости покрыла спину. Ему оставалось спуститься последний лест-

ничный пролет до выхода (Лаки то спускался к двери, то взбегал к нему навстречу, не в силах сам открыть дверь подъезда), но снова острая режущая боль прошла через сердце. Однако, сказав себе: «Надо встряхнуться и преодолеть. Так “это” не бывает», он толкнул ногой дверь и следом за Лаки вышел на улицу. Пес сразу ринулся в кусты, в середину газона, а Михаил Никифорович остановился и поставил ведро на асфальт, вдыхая всей грудью сырой вечерний воздух. Лаки вернулся, подбежал к хозяину и опять рванул в темноту. Домашняя собака, думал Михаил Никифорович, бегают кругами, но приходит, а он сам даже кругами не бегал. Один раз, правда, чуть было не ушел. Но там была бы такая же точно семья, никакой, в сущности, разницы. А к чему повторять? Сердце забилося ровнее и спокойнее, только жар в затылке не проходил. Он думал, что ему всегда было интересно, как *она* придет к нему. Случай, казалось, какой-то должен как намек произойти, чтобы он понял, вот это уже *она*, пора готовиться, ведь что-то должно произойти или в нем, или в окружении перед приходом смерти, не шутка же. Но сейчас ему показалось, что, скорее всего, ничего и не произойдет. Это сейчас ему было ясно, хотя немного странно и обидно. Просто его не будет. И он даже сам не поймет, что в этот-то момент и происходит умирание, наступает смерть. Он вздохнул, поднял ведро и пошел, взбрызгивая резиновыми сапогами лужи, накопившиеся в выбоинах и покатосях асфальта перед домом. Дождь, видимо, еще раз прошел часа два назад, пока он спал.

Но, тяжелый и неотвязный, этот вопрос привязался к нему, хотя, как и все подобные метафизические вопросы, разрешения не имел, только подолгу занимал воображение: «Так как же “это” происходит? Как *она* приходит? Если не так, то, быть может, эдак?» Его бесплодные размышления были прерваны пожилой соседкой, каждый вечер выходившей в одиннадцать для получасового моциона, — худой и поджарой дамой, преподававшей в институте английский язык.

— Добрый вечер. Вы слышите? Прислушайтесь! — она энергично ткнула рукой по направлению к подвалу.

Он прислушался. Действительно, слышался звук сильно льющейся на землю тяжелой струи воды, тяжелой как обвал. В голове мелькнули полуапокалипсические видения гибели дома, пожарных почему-то машин, толпящихся испуганных обывателей, сонных и плохо одетых, засуетились мысли о своей библиотеке, которая может пропасть, — ведь ясно, что произошла какая-то серьезная авария, а они случайные свидетели. Надо срочно бежать вызывать «аварийку»...

— Что это, трубу прорвало? — испуганно спросил он.

— Да нет, — она была даже раздосадована его испугом, направленным не в ту сторону. — Это Котолеевы новую ванну себе поставили, а сток с трубой плохо подсоединили, вот и льет прямо в подвал, как только они моются или душ принимают.

— А мастеров небось не дозовешься, — посочувствовал он.

— Если бы они звали! Им-то наплевать, что в подвале делается! — соседка говорила, стоя прямо под окнами Котолеевых, и потому, несмотря на поздний вечер нарочито громко, чтобы те слышали и прочувствовали.

Михаил Никифорович, вообще-то соседей зная не очень хорошо — скорее здоровался с ними, нежели общался, — Лену Кротову, которая вышла замуж за Федю Котолеева, знал прекрасно: она была младше его лет на пять, но они вместе учились на филологическом факультете. И хотя даже и в университете они не общались, что называется, по существу, ограничиваясь общим трепом, ее широкая и действительно добрая улыбка, длинная и сутулая, неуклюжая фигура в обвисшем пальто и тяжелых немодных сапогах, по-мужски стоптанные каблук и высовывавшиеся из коротких рукавов натруженные руки, да еще беззащитность какая-то, — все это было ему близко, и было неприятно, что на нее нападают, да еще, по видимости, и справедливо. Он сразу подумал, что Лена, быть может, и хотела бы пойти починить ванну по просьбе соседей, и мастеров бы добилась, потому что семья Кротовых всегда, еще при жизни ее родителей, была без показухи артельной, готовой на помощь любому, но сейчас, наверно, уперся Федор, а перечить ему она боялась. Он был здоровый и пьющий мужик, а она некрасивая и рано постаревшая женщина.

— Мы с Анной Павловной к ним два раза ходили, — продолжала соседка, — больше это никого не интересует, — добавила она шпильку в адрес собеседника. — Они ни в какую. А в подвале уже стены зеленю покрылись и слякоть непролазная на полу. А им хоть бы что! — снова возвысила она голос. — Я уж велела Марусе-дворничихе лампочку в подвал вернуть, чтоб хоть видеть, куда ступаешь.

— Да, наверно, все же мастеров трудно дозваться, — пытался выгородить Лену Михаил Никифорович.

— Ванну себе частным образом ставить за пятьдесят рублей — они нашли мастеров! А теперь на пол у них не течет, ванна новая, так, значит, все в порядке! — Соседка возмущенно издала носовой звук, средний между чиханьем и фырканием, и, не сказав ему даже «до свиданья», двинулась к своему подъезду. Подбежавший Лаки обнюхал ее и как старую знакомую пропустил в подъезд молча.

Михаил Никифорович выбросил мусор, вернулся к своему подъезду, оставил там у стенки пустое ведро и пошел погулять туда-сюда по средней, так называемой «липовой аллейке», пока Лаки бегают по газонам. Когда ему приходилось таким образом поздно выходить во двор и он бродил взад-вперед по аллейке, он, как правило, предавался благодушным размышлениям о себе и своих делах, наподобие Манилова. Как он напишет очередную статью, как ее напечатают и какие на нее будут положительные и хвалебные отзывы. Но нынче, как бы в подтверждение и закрепление всего дня, плохого самочувствия, моральных терзаний и сумрачного настроения, размышления были невеселые, полные тоски и самоистязания.

...Проблема избранности, избранничества, размышлял он, скорее всего, это просто-напросто иллюзия. Он почему-то был всегда уверен раньше, что он не может умереть, не совершив предназначенного, заложенного в нем. Даже в мелочах, даже в периоды неудач, когда более везучие его приятели защищали диссертации, а он валялся на диване и читал сыну книжки про индейцев, он был уверен, что все это временно. И действительно, и диссертацию защитил, и две книжки выпустил, не говоря уже об опубликованных статьях — около сотни (считая, разумеется, и рецензии). Но, делая все это, он знал, что все это пока не «то», что «то» еще придет, и он поймет и возьмется за настоящее дело, и наконец это будет *его* дело, которое никто, кроме него, совершить не может. И хотя жена утешала его, говоря, что и в диссертации, и в своих книгах, и в статьях он написал то, что хотел, но он-то сам знал, что писал их не потому, что не мог не писать, а потому, что так надо было по работе, по институтскому плану. А когда придет его час, его тема? Он настолько раньше был уверен, что не умрет, пока не создаст то, для чего призван на свет, что не только не боялся тратить время на мелкие халтуры, но и не боялся летать на самолетах.

А тут он вдруг почувствовал, что, быть может, пропустил свой час, что умрет до срока именно потому, что, ничего еще даже не начал такого, что побуждало бы его экономить время и жить, чтобы успеть доделать начатое. Тем более что, думал он, сколько нелепостей случается даже с явно великими людьми, и ничего — мир, вселенная это допускают и не содрогаются, все так же зима сменяет осень, весна зиму, идут дожди, падает снег, греет солнце. Кто же содрогнется, если умрет Михаил Никифорович Клешнин, мало кому известный, кроме весьма небольшого круга специалистов! А уж они-то явно не содрогнутся. А ведь надо, чтобы каждый человек был событием на этой земле и чтобы все чувство-

вали некоторую свою неполноту, когда кто-то из людей уходит, умирает.

Он сел на скамейку, размеренно дыша, чтобы успокоить сердцебиение; было темно, и шумели деревья, время от времени отряхивая на асфальт капли дневного дождя. Подбежал Лаки, вскочил на скамейку и сел рядом, привалившись. Так было всегда: пока хозяин ходил, он бегал где-то в сторонке, но стоило присесть, как он тут же объявлялся. Пора было идти домой.

Поднявшись на свой четвертый этаж, Михаил Никифорович снова почувствовал, как нахлынул жар в затылок, заболела спина и появилась необычная слабость в ногах. Но он, по счастью, был уже дома.

Накормив пса, он быстро разобрал постель и лег. Было уже без десяти двенадцать. «Слава Богу, уже в постели. Теперь выспаться, главное, выспаться, отоспаться. Это от усталости все. Завтра утром буду бодр, и все сегодняшнее покажется дурным сном. А там обдумаем все заново. Быть может, и вправду пора уже отрешиться от суеты и собраться духовно, пора».

В глубине души он, правда, надеялся, что на следующий день все мрачные мысли уйдут и в здоровом теле проснется здоровый дух и снова еще некоторое время можно будет заниматься столь важными для текущего его положения делами, и статьями, и книгами. Внезапно он почувствовал сильный толчок в сердце, будто оно рванулось за какую-то преграду, и он всем телом, успев еще удивиться этому странному ощущению, но не успев испугаться, рванулся за ним вверх, чтобы облегчить сердцу этот переход, и перешел. В сердце что-то словно порвалось, и он упал на подушку уже мертвый.

Лаки ткнул носом ему в руку, потом подбежал к входной двери, стал скулить, плакать и скрестись, не то прося, чтоб его выпустили, не то зовя на помощь к хозяину, который лежал холодный и неживой.

# Ногти

## Рассказ

**П**обитые и униженные, мы сидели в песочнице и стыдились посмотреть друг на друга. Нам было лет по девять, наши обидчики примерно тех же лет, может чуть старше. Или они просто казались старше, потому что были сильнее и беспощаднее? А мы не умели ударить их в лицо или хотя бы показать, что мы можем это сделать. Да еще побившие нас грозились сильнее нас побить, когда приведут «ребят из барачков». Мы знали, что они с ними дружили, во всяком случае заходили туда, и, подражая барачным, тоже ходили нечесаными, с нестриженными ногтями и черной каймой грязи под ними, при случае царапали этими ногтями лицо противнику и кричали: «А у меня ногти все грязные! Теперь у тебя заражение крови будет!» И хохотали. Были они обычные мальчишки из ближних четырехэтажных домов, где жил инженерный люд, но, в отличие от нас, профессорских сынков, бродили по окрестностям всегда стаей. Мой приятель быстро утешился и сказал, что лучше пойдет смотреть телевизор, и позвал меня с собой. У нас телевизора не было, а потому соблазн был немалый, но я переживал и не мог идти. Они сорвали с меня матросскую бескозырку, которую мне подарил настоящий капитан, муж маминой сестры. И возвращаться домой, так позорно лишившись этого символа мальчишеского мужества, мне было стыдно. Словить же, что потерял, я знал, что не получится. Наши победители веселились совсем неподалеку, в маленьком парке на берегу прудика, откуда слышались их крики. И мне так хотелось храбро пойти туда, к ним, нагло развалившимся на скамейке, и отобрать мою бескозырку, да еще сказать нечто гордое. Но знал, что не получится. И от этих разрывающих меня чувств — желания героического поступка и очевидной трусости — я сидел на бортике песочницы и грыз ногти. И не двигался с места.

Тогда-то и подошел к нам Севка Грановский. Ему тогда было уже лет четырнадцать, жил он в доме напротив, был сын извест-



ного профессора-медиевиста, но казался нам очень странным. Он никогда не играл ни в какие игры, не то, что с нами, но и с ребятами постарше — ни в волейбол, ни в городки, ни в пинг-понг, ни даже в шахматы, за которыми в летнюю пору под липами, окружавшими газон, рядом с качающимися золотыми шарами и скрытые от любопытных старух кустами сирени, просиживали не только подростки, но и солидные отцы семейств, даже некоторые профессора. Севка ходил мимо, глядя в сторону, кивая на расстоянии, как бы всем сразу и никому в отдельности, и как-то боком обходил все дворовые сборища. Я ни разу не был у него дома, но рассказывали, что Севка ест курицу с яблочным джемом, потому что-де так едят в Европе. Почему-то нас это потешало. Мы предпочитали сосиски с горчицей. А Севка и одевался непривычно. Уже лет с двенадцати он носил костюм, настоящий костюм, пиджак, брюки, а последний год завел еще и жилетку. При этом был он косолап, имел непропорционально длинные руки, а при ширине плеч и движении боком вперед напоминал не то шимпанзе, не то гориллу. Но для гориллы он был низковат. Черные волосы он красиво зачесывал на левую сторону, иногда прядь падала, и тогда одним движением головы он гордо вскидывал ее назад и приглаживал рукой. Наверно, подражал кому-нибудь из литературных героев. Все мы тогда кому-то подражали. Просто мы не знали, на кого он равняется. Глазки у него были маленькие, серые, но вид все равно какой-то нерусский, что-то восточное, а может, даже и еврейское. В отце его это виделось сразу. Но мать Севки была блондинка, и ее кровь немного разбавила его жгучесть. Он подошел к нам, держа в руках толстую трость с какими-то причудливыми изгибистыми линиями по всей палке, а на рукоятке был блестящий набалдашник. «Серебряный», — пояснил он нам. И спросил:

— Чего ногти грызешь?

Я не ответил, но он догадался.

— Побили вас. Да ведь немного. Ничего, плохо, что поцарапали. Идите лучше домой и йодом смажьте, чтоб заражения не было.

Севка редко когда с кем говорил. И если б нас было не двое, а, скажем, трое, он бы к нам не подошел. А тут даже советы начал давать.

Мой приятель Алешка возразил:

— Он не может. Они у него бескозырку отняли.

— Ну не сидеть же до вечера, — усмехнулся Севка, — они ж ее назад не отдадут. — И тут же как само собой разумеющееся добавил: — Подождите меня здесь. Я ее сейчас у них отберу.

И, помахивая толстой тростью, все так же боком и косолапо, он отправился по тропке мимо большого дуба к парку у прудика.

— Побьют его, — сказал приятель. — Он один, а их много.

Но минут через десять Севка, все такой же медлительный, странный и кособокий, вернулся и протянул мне бескозырку.

— Держи, — сказал он. — Они же трусы, как все дикари. Дикие, грязные, нечесаные. А потому боятся белого цивилизованного человека.

Как уже потом я определил его манеру, он мыслил и говорил предложениями, которые полагал должным исполнять. В тот раз он нес на себе киплинговское бремя белого человека. Однако в каждой своей интеллектуальной маске, это я тоже понял потом, после его безумного поступка, он следовал какой-то своей внутренней идее. Далеко не все люди имеют свою, присущую им в результате еще очень ранних поисков ума какую-либо идею. Многие не только не ищут, но и вообще не думают. Из тех же, кто ищет, лишь единицы имеют смелость осуществить то, до чего они додумались.

Севка в какой-то момент взял и осуществил. Но это потом, после. Пока же он и сам еще лишь подбирался к своей идее. Мы тем более ни о чем не догадывались. Я был ему очень благодарен за бескозырку, преданно заглядывал ему в глаза, хотя еще накануне и подумать бы не мог, что косолапый и кособокий Грановский осмелится схватиться с шайкой отвязанных мальчишек.

А он мне сказал наставительно:

— Но запомни только, что ногти грызть нехорошо. Цивилизованное человечество для борьбы с ногтями, наследием дикой природы, изобрело ножницы.

Туповато я спросил, не врубившись в его слова, потому что голова была занята спасенной матросской шапочкой:

— А почему это ногти наследие дикой природы?

Он покачал головой:

— Вот уж не ожидал от тебя. Ты же интеллигентный мальчик. Твой отец производит впечатление интеллектуала. Да и ты должен бы просто сообразить. Ногти — это то, что осталось от когтей, которые есть у всех животных, но у человека в процессе эволюции когти приобрели мирный характер ногтей. К тому же человек и этот остаток дикости, который у него каждый день отрастает, удаляет с помощью ножниц. А если не удаляет, то становится, как эти, те, что вопят там у пруда. Если же ты грызешь ногти, то ты лишь частично цивилизованный. Не говорю уж о глистах и прочих желудочных удовольствиях.

— Но мы же из природы произошли, — возразил я, хотя возражать спасителю вроде и неприлично было.

— Но мы же в ней не остались, — сурово так и раздраженно ответил он. — Иначе ты не переживал бы за свою бескозырку, а носил бы гриву волос, которые бы никогда не стриг, не мыл и не причесывал. Ладно, вырастешь — поумнеешь.

Я даже обидеться хотел, обернулся к Алешке-приятелю, но он, пока мы препирались, уже умотал к телевизору — ученых разговоров он не любил.

Да и Севка повернулся и пошел из песочницы, опираясь на свою трость, как большой, как будто он имел право в своем возрасте уже ощущать себя вполне взрослым и солидным.

\* \* \*

Время потихоньку двигалось, мы тоже выросли. С Севкой не общались, да он и не выказывал к тому особого желания, ходил мимо, глядя перед собой, в сторону или под ноги, поглощенный чем-то своим, иногда даже не здоровался. Зато часто можно было видеть, как он выходит из подъезда, опираясь все на ту же трость, держит за ручку большой портфель, который словно бы его еще больше скособоочивал, кривил на одну сторону, пройдя по липовой аллею и повернув к трамваю, он иногда останавливался и взмахивал правой рукой, будто отмахивался от каких-то своих мыслей, или рубил этой рукой воздух, принимая вроде бы какое-то решение. От кого-то я слышал, что он поступил на исторический МГУ, но в отличие от отца занялся современной, советской историей. Говорили, что отец был против, кричал на сына, что с его знаниями языков глупо миновать если уж не средневековье, то хотя бы зарубежку. Сын отмалчивался, махал своей правой рукой, выдвигал вперед косое плечо, но сделал по-своему. Все решили, что из карьерных соображений. Теперь он носил двубортный костюм (темный или светлый — в зависимости от погоды), отпустил себе усики под носом, волосы стал мазать бриллиантином, чтоб не падала на глаза его знаменитая прядь. Это мне пояснил Алешка, который вошел уже в половозрелый возраст, трахался налево и направо, но поэтому строил из себя денди и тоже мазал чем-то волосы. А потом, хотя и выглядел Севка абсолютным анахоретом, не говоря уж о явном уродстве его фигуры, он стал появляться во дворе с удивительно красивой женщиной. Девицей в пошлом смысле этого слова ее никак нельзя было назвать. Стройная, выше Севки, не длинными, но очень аккуратными ножками, блондинка с черными глазами, она была очень милой, что стоит не меньше

красоты, а грудь была такова (нет, нет, не велика, но удивительно соблазнительной формы), что эротические вожеления у мужской части нашего двора просыпались сами собой. Алешка выразился кратко: «Везет же уродам!» Несколько раз он пытался подойти и заговорить с ней, когда она одна выходила из подъезда, возвращаясь от Севки куда-то к себе домой, но она проходила мимо красавца Алешки, словно даже не замечая его. Он злился. «Такая же чокнутая, — говорил он недовольно. — Из одного теста сделаны, — кривился и добавлял: — Тили-тили тесто — жених и невеста!»

Потом, похоже, они поженились. Про свадьбу ничего не было слышно, но Севкина красавица стала гулять по двору с коляской и уж, конечно, больше никуда не уезжала по утрам. Сам же он по-прежнему двигался одним и тем же маршрутом с портфелем в руках, так же махая правой рукой, только став будто чуть пониже ростом. Мне почему-то казалось, что он носит в портфеле какие-то тайные документы. Так цепко он держался за ручку портфеля, что аж пальцы были белые, это и издали было заметно. Потом появился второй ребенок, потом дети подросли, и Севка стал гулять с двумя мальчиками, цепко держа их за руки, как свой портфель. Алешка уже не пытался добиваться его красавицы-жены, только цедил презрительно: «Всего двух детей сделал, а согнулся, будто сто баб переимел». Потом умер Севкин отец, мать умерла раньше, и он стал хозяином квартиры, перебравшись, как говорили, жить в кабинет отца. Отец был знаменит, его труды издавались, но что писал Севка, никому не было известно.

Так случилось, что, женившись, я переехал совсем на другой конец Москвы. И неожиданную диссидентскую славу Севки я узнал уже по «вражеским голосам». Как тогда говорилось: «Есть такой обычай на Руси — слушать вечерами Би-би-си». Оказалось, что, занимаясь советской историей, он умудрился написать несколько книг (и издать их в *тамиздате*) по *истории уничтожений* — кибернетики, врачей, ядерной технологии, генетики, или, как сам он определил в одном из своих интервью зарубежным коррам (незадолго до того, как его арестовали): «Я не очень интересуюсь политикой, я пишу о том, как дикость хитроумно и целенаправленно уничтожала у нас все возможные варианты цивилизованного развития». Его спросили как-то про экологию, а он неожиданно развернул свое миропонимание, что-то в таком духе: «Я не верю в экологический кризис, природа — это и есть дикость, а она пока торжествует. То, что вы называете экологическим кризисом, это использование дикарями, т.е. теми же детьми природы, инструментов цивилизации. Т.е. природа уничтожает сама себя,

а техника и прочее лишь средство этого самоуничтожения». Но тогда на сумасбродство его идей не обратили внимания, тогда всех интересовала политика — и только политика.

Его арестовали, и началась на Западе кампания в защиту «честного русского историка». Пламенную речь произнес в Штатах Солженицын — под Толстого по Ленину, требуя «срывания всех и всяческих масок». Здесь за него заступился Твардовский, как раз накануне своего юбилея. Именно по поводу Севкиного случая он произнес свои знаменитые слова, которые долго ходили тогда по Москве, прибавив еще один штрих к славе поэта. Рассказывали, что, когда Твардовский выступил в защиту Севки на одном из писательских собраний, а потом написал какое-то обращение в ЦК, ему из последней инстанции позвонили и сказали, что партия и правительство собирались наградить его Героем Социалистического труда в связи с юбилеем, а он-де себе позволяет антисоветские выступления и что если он прекратит свои выпады, то ему это простят, и он-таки получит Героя. На что Твардовский ответил: «Первый раз слышу, чтобы Героя давали за трусость». Коротче за этими баталиями о Севке едва ли не забыли. Но подписи среди интеллигенции в его защиту собирались, подписал какое-то письмо и я, хотя как-то не вязался у меня облик Севки с обликом героя.

В результате правозащитной кампании дали ему не так много, как казалось нам на воле, наслышанным о сталинских десятках и четвертках. Его посадили на пять лет, причем зачли год предварительного заключения в тюрьме. Такие до нас доходили слухи. А потом началась перестройка, страхи, перемежаемые ликованиями. Вот уже Сахарова выпустили, а теперь война в Карабахе. Переживаний хватало. Кончилась война в Афганистане, но умер Сахаров, но Баку, но Ош! И все же ко всему привыкаешь. Привыкли даже к тому, что в Москву несколько раз вводили танки, еще даже до ГКЧП. По центру ходили, натываясь бесконечно на бронированных ящеров с прямым хоботом. И как будто так и должно было быть. Севку я почти и не вспоминал, только слышал краем уха, что он тоже вышел на свободу. Однако его книги, которые тоже были изданы теперь в легальной печати, были не так уж и интересны по сравнению с информацией о степени бандализма государства, под властью которого мы жили. Все же его сочинение о генетике я купил, но почти все факты, там изложенные, разошлись уже по газетным и журнальным статьям, да и «Белые одежды» Дудинцева были всеми прочитаны. Успеха Севка не имел. Я, правда, корил себя за невнимательное чтение, потому что

чувствовалось там что-то еще за фактами. Поначалу его все-таки приглашали на всяческие тусовки, фамилия то тут то там мелькала. А потом как отрезало. Не вписывался он в новый бомонд. Да и жизнь продолжалась.

Продолжалась и требовала новых горючих материалов, чтоб подогревать ледяные души обывателей. А в новую ситуацию, когда теряя линкоры, дредноуты, не говоря уж о территориях, Россия делала вид, что входит в цивилизованное сообщество народов, не умея иначе объяснить себе и другим, что с ней происходит, так вот в эту ситуацию Севка почему-то не вписывался. Теперь-то я понимаю, почему. Потому что у него была идея. Все рвали куски от разваливавшегося пирога, приписывая себе не существовавшие диссидентские добродетели, а он, и вправду отсидевший *за дело*, никуда не лез, ибо вынашивал идею.

\* \* \*

Встретился я с ним в эти тусовочные годы совершенно случайно. Два западных фонда (американский и немецкий, кажется) устроили что-то вроде двухдневной конференции о новой русской демократии, после которой закатили в пятизвездочном отеле под Москвой, где проходила конференция, шикарный банкет. За решеткой, окружавшей этот западный на русской территории отель-ресторан, стояла вполне тривиальная почерневшая от непогод и лет деревенская изба, лежала под примитивным навесом куча дров, рядом с крылечком стояли простенькая тоже почерневшая лавочка и неприхотливый тощий тополек, если и был садик, то с другой стороны, невидимой нам стороны, ночью из избы орал петух. Не надо было иметь особого образования, чтобы произнести слова о двух мирах, двух слоях, двух классах и об опасности нового деревенского топора и красного петуха. Все эти слова и произносили, не учитывая лишь того, что жителю этой избы было уже в высшей степени наплевать на не его жизнь. Опыт столетий, а особенно последнего, отложился так, что все попытки «сообча» перестроить жизнь себе в выгоду все равно неисполнимы, и «сообча» больше никто ничего делать не будет. Каждый за себя, каждый сам по себе. Так что демократы зря опасливо поеживались, глядя на эту избу.

Меня пригласили на эту конференцию как представителя довольно влиятельного тогда журнала, где я работал. Севка выступал в первый день. Но я смог приехать только на второй и доклада его не слышал. Он никогда не курил, поэтому среди тех, кто под предлогом курева мотал с этой бодяги, я его тоже не встретил. Про-

граммы мне как опоздавшему не досталось, устроители обещали поискать ее для меня (для журнала, то есть) в последний день. Так что и из программы про Севку я ничего знать не мог.

Почти никого я здесь лично не знал. Все это были телевизионно известные люди, но не ученые. Поэтому за банкетным столом я сидел вполне в одиночестве, общаться мне было не с кем, заказывать статью тоже некому, ибо говорилось здесь все не для смысла, а для представительства. И когда во время банкета кто-то тронул меня за плечо и спросил, не возражаю ли я, чтобы еще два человека заняли места за моим столом, я кивнул, почти не взглянув на спрашивавшего. Шумел в центре мраморный фонтан, вежливые и хорошенькие официантки подносили по просьбе сидящих водку или вино (закуски и еду брали сами с длинных столов, на которых чего только не стояло — семга, осетрина, карбонат, буженина, маслины, оливки, салаты и пр., не говоря уж о горячем). Произносились какие-то речи о том, что Маркс помешал нашему естественному развитию, что демократия — неизбежное будущее России. И с каждым съеденным куском чрезвычайно дорогих и недоступных яств казалось, что дело демократии крепнет. У меня было одно желание — как следует все это на халяву распробовать и выпить. Но против соседей я не мог возразить, как бы места для всех были предназначены. За стол сел мужчина примерно моего возраста с короткими усиками под носом, в двубортном сером костюме-тройке, стриженный очень коротко, почти наголо, брови его кустились, а восточного типа лицо выглядело как-то вопросительно. Рядом с ним села женщина, которая при беглом взгляде показалась мне и привлекательной и отдаленно знакомой.

Я сдвинул свои тарелки немного в сторону, чтоб не мешать им, и, с приветствием подняв рюмку водки, выпил. И тут вдруг мой взгляд упал на трость с серебряным набалдашником и вязью каких-то слов по самой палке. Именно трость заставила меня поднять голову и посмотреть на неожиданного соседа, увидеть кособокость, неправильный подъем руки, узнать усики и под морщинами уже не очень-то молодого человека увидеть лицо Севки Грановского. Да, ему было по виду уже близко к пятидесяти. Он усмехнулся той улыбкой, которую я запомнил с того дня, когда он выручил мою бескозырку. А рядом, конечно, сидела его жена, по которой в свое время вздыхали мужики нашего двора. Тогда ее привлекательность, казалось мне, была в удивительно красивой груди. Но вот она вся подувяла, да уж и никак нельзя было говорить теперь о прекрасной и юной женской груди. Но привлекательность осталась. И только тогда я понял, в чем она заключалась

и почему Алешка так завидовал Севке. Все ее лицо выражало состояние полной эротической покорности, но не распутной, а той, которая отдается единственному избраннику. Именно это-то и сводит мужчин с ума. Он усмехнулся, и она тоже улыбнулась, глядя мне прямо в глаза.

— Вот видишь, он узнал, — сказала она Севке.

И так мило она это сказала, что я тоже невольно позавидовал Севке.

— Не сразу, — честно признался я. — Хотя рано или поздно встретились бы.

— Почему? Могли и не встретиться, — покривился Севка.

— Я имею в виду уже после твоего лагеря, ну, как тебя выпустили, — поправился я. — Я ведь даже твою книгу о генетике купил, да и все передачи о тебе слышал. Для меня, по правде говоря, неожиданно все это было, я имею в виду твой *тамиздат*, твои интервью.

Он не ответил, сказав другое:

— А я тебе благодарен. Меня чиновник, который подписывал мои бумаги об освобождении, уже здесь, в Москве, пригласил и показал письма в мою защиту. Там и твоя подпись была.

— Господи! Чего только мы тогда не подписывали! — ляпнул я. — Уж больно все противно тогда было. Противнее даже, чем сейчас. Но, — спохватился я, — конечно же, в твою защиту я не мог не подписать.

— Отчасти квиты, — сказал он.

Я вопросительно взглянул на него.

— За твою бескозырку.

— А ты помнишь?

— Конечно. Я вообще все помню. Я же историк.

Я еще раз налил себе, поднес бутылку к его рюмке, но он отрицательно покачал головой:

— Как не пил, так и не пью. Даже в лагере не научился. Ты же знаешь, я против всего, что пробуждает в человеке его дикую природу.

Я невольно глянул на его милую спутницу, прикусил язык, но потом все же спросил:

— А как же любовь? Секс? Дети откуда берутся.

— Оттуда, конечно, — рассмеялся он. — Но ведь ты знаешь, что секс или, скажем, простое животное половое влечение человек сумел преобразить любовью. И в этом-то и задача, чтобы бороться с природой и дикостью в мире и себе. Это как если бы люди ногти не стригли, помнишь наш разговор? Дикие были бы звери. Я в этом в лагере окончательно убедился.



Я невольно глянул на его ногти и коротко стриженную голову (тоже борьба с дикостью в человеке?), а также на его жену. Ногти ее были ухожены, как у лучших модниц, только что лак был бесцветный. Но на ее голове...

Волосы на ее голове были завиты и покрыты серебристой пудрой. Она мне улыбнулась и сказала:

— Ничего особенного, это парик. Так Сева захотел.

Он коротко приказал ей:

— Сними.

Она послушно сняла парик, под ним не было обычных женских волос: голова ее была коротко стрижена, почти наголо, как и у него. Я смутился, и она, заметив это, быстро водрузила парик на голову. Мы сидели как бы в небольшом кабинете-закутке, на нас никто не обращал внимания, все уже были в подпитии, бродили по знакомым, чокались, говорили друг другу комплименты, приглашали на очередные тусовки, ожидали духовную музыку и знаменитый монастырский мужской хор. Для иностранцев в этом было единение церкви с демократией, а для церковного хора возможность валютного заработка. Сева словно проследил направление моих мыслей.

— Потому стараюсь и не выступать нигде. Никто из них о сущности дела не думает. Все — пустые слова. Освобождение человека от дикости должно начинаться с самого простого: чтоб каждый день брились, чистили зубы, принимали душ, стригли ногти, да, да, ногти... Не смотри на меня так. Думаешь, пунктик?

По правде сказать, я и впрямь так подумал. И чтобы перевести разговор, спросил о детях:

— А где ваши сыновья? Должно быть, они уже большие.

Она неопределенно улыбнулась мимолетной улыбкой, а он хмыкнул и коротко ответил:

— Один в Штаты подался, компьютерный бизнес. А другой, ты не поверишь, а младший пошел в фэсбе, как в наше время в партию поступали, с целью, чтоб там больше хороших людей было.

Заиграла музыка. Потом запел красивый мужской хор.

— Я подойду поближе послушаю, — спросила она.

— Иди, Вика, иди, — разрешил Сева.

Он словно обрадовался, что она отошла. Вид у него вдруг стал совсем блаженный, который я часто наблюдал у бывших лагерников, когда они начинали делиться тем, что надумали в остроге.

— Знаешь ли, — он наклонился ко мне через стол, — лагерь — это хорошая школа, в этом Солженицын прав, и у каждого в лагере свои открытия.

— И у тебя тоже? — попытался я ироничным тоном прикрыть тему.

Но он был серьезен, он даже не заметил моего тона.

— И у меня тоже, — подтвердил он. — Зачем природа придумала так, что у человека растут не переставая ненужные ему ногти, а цивилизация заставляет нас их держать в порядке — стричь, чистить и т.п. Когда человека так ненадолго выпускают в мир, и он знает, что он и в самом деле вдруг может перестать жить, зачем ему заниматься ногтями? Так я думал на воле. Но в лагере понял. Ногти — это и есть то, что связывает нас с животными. Мы прячемся, делаем вид, что мы не животные, стрижем ногти, но все это прикровенно. В лагере ножницы были только в больничке у фельдшера и когти все запускали жуткие, ими царапались, перерезали бечевку, могли и горло перерезать, если бы приспичило. Там все превращались в диких зверей, кто хищных, кто съедобных, но тоже диких. И я подумал, что когда женщины украшают свои ногти-когти, то это ведь тоже их сексуальное оружие. Знаешь, в лагере всегда есть начальник с абсолютной властью, а поскольку Солженицын назвал всю страну Архипелаг Гулаг, то значит и здесь в любой момент появится начальник, который может приказать любую дикость. И все будут исполнять, — он склонился над столом, чтоб ближе придвинуться к моему лицу, чтобы слова как бы с большей вероятностью попадали в мои уши, и тут мне стало заметно, что глаза у Севки из серых стали прозрачными и подернутыми даже какой-то голубизной, какая бывает у новорожденных младенцев. — Я там, — продолжал он, — даже такой сюрреалистический рассказ придумал, что у нас к власти пришли почвенники и выпустили указ или декрет, как хочешь назови, запрещающий отныне стричь ногти. С обоснованием заботы о народе: среди прочего говорилось, что на садово-дачных участках отросшие ногти сильно облегчат народу работу на огородах по прополке, по рыхлению земли, выдиранию с корнем сорняков и пр. На улицах останавливает вооруженная милиция прохожих и требует, уткнув автомат в брюхо, «предъявить ногти». Помнишь, как раньше в школе проверяли руки на предмет чистоты прямо перед входом. И всех отлавливают, кто стрижет ногти, всовывают руки в колодки и сажают так в тюрьму на пару недель, пока ногти до нужной длины не отрастут. И колодки такие болезненные, чтоб человек надолго запомнил и больше не попадался бы. Понимаешь? Я во всяком случае понял, что стрижка ногтей — это паллиатив, что ногти — это скрытый резерв дикости, что так природу не победить, с ней надо бороться радикально. Заставить человека отращивать

ногти — это тоже из истории уничтожения цивилизационных механизмов. А как этому противостоять?!

— Не знаю, — поспешно прервал его я, чтобы как-то остановить его речевое наступление на меня.

— Я-то теперь понял. Надо отменить природу, преодолеть ее.

— Ну знаешь! Отменить природу — это отменить жизнь. Природу можно гуманизировать, цивилизовать, но отменить!.. — я пожал плечами, соображая как бы мне поестественней оторваться от него. Да и спать пора было.

— Да, да, я так тоже раньше думал! Все мои книги были в защите цивилизации, а их приняли за политические. Я писал, как человек пытается благоустроить жизнь, а дикари ему мешают!

Всякий работавший в редакции газеты или журнала привык иметь дело с авторами сверхидей. И тут главное — придумать тактику отхода, чтобы наступательная агрессия посетителя растворилась в воздухе, а не обрушилась на тебя. Обычно просишь его оставить свой трактат, чтобы-де на досуге с ним разобраться, почитать внимательно, дать на отзыв специалистам. Как правило, это действует, ибо любой человек с пунктиком заинтересован, чтоб как можно больше людей узнали о его открытии мирового значения.

— Понимаешь, — он сделал характерный жест шизика, т.е. притянул меня за ворот пиджака поближе к себе. — Говорят, они противоречат друг другу, а в случае с ногтями сошлись заодно. Природа растит, а цивилизация велит обрезать. Я пробовал отращивать, неудобно, мешают. Как преодолеть эту условность? Видишь ли, я и с волосами пытался бороться, но волосы не так опасны, они не могут превратиться в оружие хищника, как могут ногти. Я уже в разные медицинские и межправительственные и международные комиссии обращался, объяснял, что, преодолев когти, человечество на самом деле сделает шаг вперед по пути гуманистического прогресса. Меня выслушивают иногда только из-за почтения к моему диссидентскому прошлому. А вообще-то для всех я законченный шизофреник. А я, на самом деле, та точка роста, от которой пойдет новое развитие человечества. Нужны серьезные медицинско-биологические опыты по сведению ногтей, здесь очень может помочь генная инженерия. С ней опять пытаются бороться, как когда-то с генетикой, а мы можем изменить всю историю человечества.

— Ну да, — не удержался я, — «довольно жить законом, данным Адамом и Евой». Уже это было, и по ту сторону необходимости мы уже дружными когортами двигались.

— Ты не понял, — обиделся он, — я никого не хочу насильно заставлять, это должен быть свободный выбор каждого на пути к подлинному гуманоиду.

Со страшной силой затянул хор какую-то тоскливо-оптимистическую православную песню, стало понятно, что распевки кончаются. Я замедленно — из-за изрядного количества выпитой водки — обдумывал отрыв от Севки.

Но на мое удивление он сам вдруг — угловато, как всегда, правым боком вперед — встал и пожал мне руку:

— Пока, — сказал он. — Приятно было поболтать. Пойду Вику поищу, куда-то она запропастилась, пристаёт к ней небось кто-нибудь. Утром в автобусе увидимся, я тебе свои новые координаты дам, а где тебя найти — я знаю.

«Мои координаты знает! Обрадовал! А он еще и ревнив!» — такие тупые и спутанные слова произносились у меня в мозгу, пока я, привстав, пожимал ему руку и договаривался встретиться за завтраком, не сообщив ему, что меня увозят уже сегодня вечером. Вроде бы забыл. Он ушел, а я отправился искать даму-распорядительницу, чтоб узнать, когда мы едем в Москву. Увидев меня, дама раздраженно, но все же удовлетворенно сказала:

— Вот вы где! Куда вы исчезли? Вас обыскались. Все уже в автобусе.

Через три минуты оказался в «Мерседес»-автобусе и я. Усталый и напитоком народ молчал. Тем более молчал и я. Автобус развозил всех по домам, чтоб демократы могли избежать прелестей общественного транспорта. Не прошло и часа, как я уже был дома, более того — даже в постели. Но спалось мне плохо. Видно, съеденное и выпитое на халяву не пошло мне в прок. Я лежал, открыв глаза и стараясь не ворочаться, чтоб не разбудить жену, и, разумеется, думал о вреде обжорства, о завтрашней работе и немного о Севке. Его судьба казалась мне очень понятной: лагерь своей жестокостью свихнул Севкины мозги. Может, кто-то из уголовных, с которыми, как известно, держат у нас политических, издеваясь, развлекался тем, что резал своими ногтями ему кожу до крови, грозил выколоть глаза и пр. Много ли интеллигенту надо! И вообще Севкин пунктик был очень в тональности сегодняшнего демократического словоблудия: поиск какой-то одной причины, почему в России не сложилась европейская демократия. Да нет, не поиск. Искал-то Севка, а остальные вряд ли что искали и во что-то верили, тем более в возможность у нас гражданского общества. Но за эти слова платили, и все их произносили. Но и с Севкой в сущности общаться было не о чем.

Прошло несколько лет. Западные фонды поостыли в своей попытке, накормив сотню-другую интеллигентов-демократов, устроить в России европейскую демократию. Кто был поумнее из наших демократов, те свалили на Запад, чтобы преподавать там легенду о таинственной русской душе, называя ее на новый лад ментальностью. Новые русские, наворовав и по возможности отмыв наворованное, во внимании интеллигенции не нуждались и гуляли на свой лад и без свидетелей. Теперь процветала порода пиарщиков, которые протаскивали во власть бывших партработников (сохранивших парткассу) и бандитов. Короче, русская демократия принимала свойственные ей еще с эпохи Смутного времени черты повального разбойничества. Куда-то на периферию общественного сознания ушли и диссидентство, и Мемориал, и Солженицын, будто и не было этого героического в общем-то периода, и героев будто не было.

Севка, надо сказать, мне так и не позвонил. Не зашел он и в редакцию с объемистой рукописью, в которой содержалась бы идея спасения человечества. А я одно время этого опасался и даже коллега предупредил о такой возможности, чтоб меня подстраховали и, если придет Грановский, не позже, чем через час, вызвали меня на срочное совещание. Книги его больше не переиздавались, статей у него нигде не появлялось, по третьей программе ТВ раз показал Максимов в порядке курьеза среди других шизиков и Севку с его идеей борьбы за будущего гуманоида без ногтей. Правда, волосатый и бородатый ведущий говорил с ним уважительно, вспомнил его диссидентское прошлое, но в сущности ему было наплевать на Севкину идею, как и на идеи других его собеседников, не говоря уж о том, что весь его внешний облик противоречил тому, к чему призывал Севка.

Конечно, я через несколько месяцев, а тем более лет уже и не вспоминал Севку. Своих дел хватало. Но вот наступило новое столетие, новое тысячелетие, и народонаселение поздравляло друг друга, подчеркивая, что не просто так поздравляет, а именно с новым тысячелетием, и так радовались все, будто собирались прожить его до конца, совершенно вдруг утратив перспективу человеческой жизни, которая измеряется годами, в крайнем случае десятилетиями.

Правда, поначалу долго спорили, является ли двухтысячный год концом старого или началом нового тысячелетия. Оптимисты, конечно, говорили, что нового, пессимисты, выдавая себя за математиков, возражали. Но зато в две тысячи первом году все радост-

но успокоились. Новое тысячелетие пришло. В жизни, однако, ничего не переменилось. Вскоре многие даже стали забывать, что живут в новом тысячелетии, по-прежнему числя себя по ведомству двадцатого столетия. В этом повальном помешательстве Севкин пунктик казался лишь дополнительной деталькой, не более того.

Встретился я с ним снова совсем неожиданно. Думаю, что он бы с удовольствием избежал бы этой встречи, если б мог ее предвидеть. Мне предстояла месячная поездка в Германию по научной стипендии, и я записался на ролевые курсы немецкого языка при Международном университете. Это было совсем недалеко от Белорусского метро, а потому для меня удобно. Мне досталась роль журналиста, наверно, преподавательница узнала, что я работаю в журнале. Группа состояла не более, чем из двенадцати человек — разного пола, разного возраста, разных профессий и даже разного социального положения. Никто друг друга не знал и по замыслу этих занятий, все должны были соответствовать своей роли, и только. У меня был полный цейтнот, и я прибежал, когда занятие уже начиналось, и убегал раньше, чем оно заканчивалось. Глазами ел молодую и энергичную преподавательницу, стараясь вбить себе в мозг обороты речи, которые она бросала в воздух с такой легкостью. Но по ходу урока учащиеся становились друг против друга и разыгрывали сценки, повторяя, что только что произнесла преподавательница. Группа оказалась не сильная, участники все больше отмалчивались. Среди прочих выделялся своей молчаливостью и угрюмостью человек, которому досталась роль капитана Фишера из Гамбурга: корабль его был на ремонте, команда сошла на берег, а он не знает, что делать. То есть по роли все сходилось чудно: и даже выглядел это Фишер отчасти по-капитански — грубый шерстяной свитер, густая седая борода, джинсы, на глазах темные очки, а руки всегда в карманах джинсов. Даже, когда надо было что-то записывать, он рук из карманов не вынимал, говорил, что и так все запоминает. Преподавательница не возражала. И все бы ничего, но голос его мне откуда-то был знаком. И на втором занятии, во время перерыва с чаепитием, я простодушно задал ему вопрос, не встречались ли мы где-то. Он нахмурился, отвернулся и отошел, косолапая. Но и тогда я еще не врубился, как вдруг пожилая женщина с короткой стрижкой, милой улыбкой и, несмотря на возраст, очень трогательными женственными ужимками, тоже одна из группы, тронула меня за рукав, отводя в сторону, и спросила:

— Неужели он так изменился?

Про себя она не сказала ничего, скромно умолчала, но когда я оказался в ситуации напряженного воспоминания, я вдруг сразу вспомнил ее, Вику, жену Севки, которая так пленяла когда-то всех. Она увидела, что узнана.

— Я знаю, что изменилась, постарела, подурнела. Да вы как раз никогда и внимания на меня не обращали, не то, что другие. Так что немудрено вам пройти мимо меня, не узнав. Но он! Его же даже по телевизору два года назад показывали. Неужели за два года?..

— Невероятно, — сказал я. — Как кто-то говорил, полностью переменял облик. А почему он не здоровается.

— Он и со мной-то мало говорит, — вздохнула она. — Если б мог без меня обойтись, думаю, выгнал бы меня.

Фишер посмотрел на нас сквозь темные очки, что-то проворчал, скривив губы, но не подошел, а наоборот отошел на несколько шагов и повернулся спиной. Мы сели с Викторией на два стоявших по соседству кресла, держа в руках чашки с чаем. Она как-то очень откровенно и доверчиво сказала:

— Вы же с ним из одного двора, он и ваши статьи всегда читал, и благодарен вам до сих пор за подпись в его защиту. Он вообще-то на доброе памятный. Немного у него добра было в жизни.

— Да что произошло? — перебил я ее.

Она даже вздрогнула:

— Вы же помните, он всегда говорил, что нужно начинать с себя. Он и начал. Писал, писал, а потом решил сам стать примером. Я как-то с работы прихожу, а он весь в крови без сознания на кухне. Я к нему побежала и о что-то запнулась, — она снова вздрогнула и поежилась.

У меня от предчувствия ужаса ее рассказа как-то странно пусто стало в животе, заняло там все, а во рту словно привкус железа.

— Да, запнулась, — повторила она и стала вытирать глаза рукой, но не заплакала, — а под ногой кончик его большого пальца с правой руки. Он себе сам все кончики пальцев обрубил, чтоб с ногтями покончить. Никто его не слушал. Вот он и решил сам доказать. Топором все сделал. Топор-то я потом заметила. И ведь никогда им не пользовались. Особенно Сева. Это про него можно было сказать, что он с двумя левыми руками. Ничего не умел делать. Как сил-то у него хватило левой рукой с обрубленными пальцами удержать топор и на правой все пальцы отсечь. Залечили ему кое-как. Но ничего не может делать. А может, и не хочет. Не бреется, шнурков сам себе не завяжет. И на меня обижен, что я так

же не сделала, что вроде я ему и не верная жена. А кто бы тогда обед ему готовил, в квартире прибирался, его бы обихаживал?.. — оправдывалась она.

Здорово, видно, у нее напекло, если вдруг почти незнакомому человеку так выложить! Видно, и поговорить ей совсем не с кем.

— Он и руки-то теперь стыдится из карманов вынуть, костюмы перестал носить, бороду отпустил, — печаловалась она.

— А немецкий-то зачем? — торопливо спросил я, потому что чаепитие подходило к концу и группа уже рассаживалась по креслам.

— Как зачем? — удивилась она. — Сева уже пенсионного возраста. Хотим по еврейской линии в Германию выехать. Он же полукровка. А там на социале жить будем. Говорят, квартира бесплатная, пятьсот сорок марок в месяц на человека, на зимнюю одежду дают, на летнюю. А главное — медицина там хорошая, а для нас и бесплатная будет, может, подлечат руки-то ему. Пальцы-то у него гноятся все время.

— А дети?

— А что дети? Дети его за ненормального считают...

— Achtung! Achtung! — воскликнула преподавательницы и, подняв руки, хлопнула в ладоши. — Wir sind wieder Reisende...

Мы замолчали и откинулись на своих креслах, ожидая начала урока. Но Севки в облике капитана Фишера я не видел.

— Kapitn Fischer fehlt! Wo ist unser Kapitn? Wer kann es sagen? — продолжала преподавательница урок, обыгрывая новую случайную ситуацию.

А Вика вдруг вскочила и, шепнув мне: «Обиделся на меня почему-то», нарушая роль, воскликнула по-русски:

— Я сейчас приведу.

А мне, склонившись, смущенно шепнула:

— До свиданья. До следующего занятия, наверно. Уговорю я его. Деньги-то немалые сюда заплатили.

Однако на следующее занятие они не пришли. А потом перестал ходить я, свалившись в тяжелом гриппе, которым почти все переболели в ту зиму.

Хорошо бы, думал я тогда, сидя укутанный перед своим книжным шкафом и машинально перебирая книги, хорошо бы удался им этот немецкий социал. Конечно, бред, дикость, та самая дикость, с которой он все время боролся. Так себя изувечить во имя идеи!? А наши раскольники, впрочем, которые во имя светлой христовой идеи устраивали кострища, где сами себя сжигали?.. А скопцы, которые ради чистой жизни сами себя кастрируют?..



А литературный герой Рахметов, который из какой-то ему одному ясной идеи, спал на гвоздях?.. И пусть бы себе спал, но ему потом изо всех сил живые люди подражали!.. А Ленин и большевики, которые, чтоб победить отечественную дикость, со всей страстью и яростью вернули страну в состояние почти первобытное, разбудив такой вандализм и пренебрежение к человеческой жизни, которые царизму и не снились?.. Чем Севка-то хуже!? Начал с борьбы против дикости, но борьба эта обернулась еще большей дикостью. И этот еще из лучших, как говорил о Д`Артаньяне Атос из «Трех мушкетеров». Пусть ему удастся этот социал! Жаль только, что нельзя всю страну отправить на социал!

*Июнь 2001*

## Святочный рассказ

**Н**а каждого, даже очень хорошего человека хотя бы раз в жизни нисходит демон благополучия. Вы ошибетесь, если решите, что демон этот откровенно пошел и вызывает к так называемым низменным инстинктам человека. Он коварен, но мудр и все наши затаенные мечтания, самые вроде бы светлые и человеческие, казавшиеся ранее неосуществимыми, представляет как возможные. Он совсем не плох поначалу, пока не начинает подчинять себе нашу жизнь и жизнь наших близких, заставляя держаться привычной, наезженной, проверенной дороги, стремясь убрать всякую неожиданность из нашего будущего и заставить нас поверить, что стоит только следовать его советам, как мы избавимся от всех окружающих нас случайностей. И повезло тому, кто вовремя распознал коварство этого демона. Ведь будущее все равно приходит, и оно всегда неожиданно. Но как трудно не поддаться тихой сказке, которую человек нашептывает сам себе, сказке, говорящей о предвидимости человеческой судьбы и обещающей ее благоустроенность!

Григорий Михайлович Кузьмин шел домой легкой походкой, которая невольно возникает у человека в удачные периоды его жизни, когда все складывается один к одному, когда удача сама бежит навстречу и предлагает свои услуги, когда вдруг сильные мира сего, о которых ты и не думал, сами находят тебя и ты получаешь то, на что никогда и не собирался претендовать. Тогда человек начинает ощущать всем своим нутром, что он перевалил какой-то бугорок и теперь очутился в таком положении, когда подъем наверх легче, чем спуск вниз. Защитив кандидатскую диссертацию, тему которой долго не хотели утверждать, потом не допускали к обсуждению на секторе, защиту которой дважды под разными предложениями откладывали, отрицательные и положительные отзывы на которую составили в конечном счете целую папку, Григорий Михайлович, продравшись сквозь все препоны, неожиданно оказался не только кандидатом (а по тем временам это значило, что по нынешним доктор наук), но и заведующим тем самым сектором, куда

он несколько лет назад хотел поступить в аспирантуру, но куда его не приняли из-за спорности его реферата. От зарплаты младшего (или, как говорили, мэнэеса) без степени до зарплаты кандидата да еще заведующего сектором взлет был настолько велик и крут, что, вчера еще урезывавший во всем себя и свое семейство, Григорий Михайлович чувствовал себя Гаруном аль-Рашидом, способным осчастливить весь Багдад. И уж во всяком случае свою семью: свою мать, свою еще молодую и любимую жену и, конечно и прежде всего, своего сына, на которого возлагал надежды еще большие, чем на себя самого.

Когда он сошел с трамвая, пропахшего елочным духом, и двинулся под желтым светом фонарей по поскрипывавшему от мороза плотно слежавшемуся на асфальте снегу, утоптанному многими сотнями башмаков, мимо наметенных за декабрь снежных сугробов по краям дороги, но тоже уже улежавшихся, чувствуя в руке приятную тяжесть оттягивавшего ее книзу портфеля с покупками, он испытывал то предвкушение радости, которое дано испытать только доброму человеку. Он предвкушал то радостное сияние глаз, которым встретят его приход жена и сын. Жалко, что мать была еще в санатории, но и она должна была к Новому году вернуться, и тогда все будут в сборе! Его новое положение и сопутствовавшая ему удача на какой-то момент словно примирили любивших его. И потому он не очень боялся совместных празднеств. Напряженность семейных ссор покинула как будто его дом.

Он вспомнил бедолаг, мимо которых проезжал сегодня, толпившихся около елочных базаров, окруженных выкрашенными в зеленое заборами с нарисованным на воротах Морозом с белой бородой и в красной шапке, с мешком подарков за спиной, — бедолаг, переступающих с ноги на ногу и даже подпрыгивающих от мороза в ожидании «нового завоза» елок, и почувствовал себя вот таким же рождественским дедом, несущим в свой дом веселье, и поразился, с какой непринужденной легкостью ему удалось в этом году достать елку. Вчера, только он вышел из дому, как увидел у подъезда подвыпившего мужичка с роскошной, зеленой, отливавшей в серебро елкой, с такими при этом пушистыми и свежими иголочками, такой ровненькой и стройненькой, что смотреть на нее было приятно, а мужик просил всего лишь «на бутылку». Григорий Михайлович вынул просимую тридцатку, тут же поднялся и отнес елку домой, и вот она стояла и ждала его, еще не наряженная, потому что наряжать ее они решили перед самым Новым годом, тридцатого числа, но совершенно преобразившая комнату. Она стояла в ведре, раскинув и распушив свои ветки, стояла около открытого книж-

ного стеллажа, который пришлось повесить какой-то серебристой тканью от иголок, стояла, занимая треть комнаты и наполняя воздух хвойным запахом, который молодит тело и настраивает душу на празднично-волшебный лад святочных гаданий, предсказаний и предчувствий Будущего.

Он оглянулся. Трамвай, погромыхивая и сверкая электрическими огнями, укатил в темную даль пробега. высвечивая на своем пути то фонарный столб с потухшей лампой, то куст у дороги, а Григорий Михайлович, прибавив шагу, спешил к дому с освещенными окнами, в которых кое-где тоже виднелись елки. И демон благополучия нес его, словно подталкивая, вдоль их пятиэтажного дома, к крайнему подъезду, а потом мигом вознес его на третий этаж, к обитой коричневой кожей двери.

Дома, как он и ожидал, его встретили улыбкой и сиянием глаз, как будто он отсутствовал очень долго и вот наконец пришел, принес с собой удачу и хорошее настроение. Его недавно возникшие упоение и уверенность в жизни, как ему казалось, исходили из него ровной волной и охватывали, омывали всех его домашних. Вышел навстречу из своей комнаты сын, стриженный колючим ежиком, еще пухлощекий, еще по-подростковому невысокого роста, но в котором уже чувствовалась, по чернеющей верхней губе и по другим, совершенно неуловимым признакам, скрытая биологическая сила, накопленная организмом перед рывком, и что еще год, максимум два, и к четырнадцати или пятнадцати годам он из подростка превратится в юношу. Сын улыбался ему, и было видно, что рад его приходу. Жена еще не слышала, что он пришел, и, пока он раздевался, они перебросились в коридоре несколькими фразами.

– Привет, папа, – сказал сын. – Это ты пришел?

– Ну, конечно, не я. Разве ты не видишь?

– Теперь вижу. Ты пешком пришел? Или тебя, как большого начальника, прямо к подъезду доставили на машине?

– Увы, увы. Машина мне по штату не положена. Но ты лучше, чем над отцом посмеиваться и насмешничать, скажи, что у тебя сегодня в школе?

– Все нормально.

– Правда нормально?

– Точно.

– Никаких новостей?

– Никаких.

Но по его пухлощекой физиономии Григорий Михайлович сразу заметил, что чего-то сын утаивал, что-то удерживал, не говорил

ему и, как он догадывался, не сказал и матери. Сын никогда ничего сразу не рассказывал, а Григорий Михайлович и не настаивал на немедленном рассказе. Он снял шапку, шубу, размотал шарф, наклонился в поисках домашних тапочек, надел их.

— Ну ладно. А где мама?

Но и жена уже тоже стояла в коридоре и шла ему навстречу:

— Гришенька пришел. А я и не слышала. — Она положила ему руку на плечо, он наклонился и поцеловал ее, а она, радуясь его непозднему приходу, говорила: — Очень вовремя. Мы с Борей как раз собирались ужинать.

Она подхватила его портфель:

— Ого, какой тяжелый! Что это там?

Он засмеялся, перехватил портфель у нее из рук и вошел на кухню. Он чувствовал себя все в той же роли счастливого отца семейства, почти патриарха, которого обожают домочадцы, как своего единственного властелина и повелителя, за его любовь и удачливость в охоте и пастушеском деле. И как некогда охотник притакивал в пещеру тушу убитого им зверя, сопровождаемый восторгом женщин и детей, так и он нес портфель на кухню, а за ним следовал эскорт из жены и сына. Свет на кухне не горел, и в окно он увидел четкие переплетения голых ветвей, какие бывают на японских гравюрах, с вороньим одиноким гнездом в развилке ствола. Вспыхнул неожиданно свет, очевидно, шедшая сзади жена повернула выключатель, и дерево с гнездом пропали, а в комнате стало уютно и даже от света словно бы и теплее. Зато улица сразу как-то грозно потемнела. Жена подошла к окну и задернула кисейные занавески. И черная темнота, просачивавшаяся все же сквозь отверстие, прорубленное в стене и называемое окном, окончательно исчезла.

— Тебе звонили сегодня. Редактор из издательства. Пришла положительная рецензия на твою рукопись.

— Я уже знаю. Он мне дозволился на работу.

Самодовольное чувство человека, владеющего будущим, снова охватило его, и он сжал жену за плечи:

— Все у нас будет хорошо, Анюта. Вот увидишь. Мы направим жизнь туда, куда захотим.

Он раскрыл свой вместительный портфель и достал оттуда бутылку шампанского и бутылку «киндзмараули», из другого отделения вынул коробку с пирожными, куриный паштет, сырное масло, банку шпрот, две банки крабов, банку майонеза и банку черной икры. Вывалив все это на стол, он закрыл портфель, снова полубыл жену за плечи и сказал:

— Народу перед праздниками в магазинах прорва. Вот все, что удалось на скоростях купить. Но давай это не к Новому году, а устроим сегодня рождественский ужин.

Оказывается, это было так просто и так приятно — делать радостными других людей! И жена снова засветилась, словами подтвердив его ощущения:

— Я так рада...

— И, конечно, погадаем, какое новое повышение ждет нашего папу в Новом, пятьдесят девятом году, — съязвил сын, стоявший у другого края стола и с плотоядным удовольствием рассматривавший вываленные на стол деликатесы.

— Ты, Борис, все-таки нахал, — засмеялся отец. Он смеялся, потому что думал, что сын язвит от смущения, а на самом деле доволен предстоящим пиршеством. — Я тебе отвечу за столом. Пока же скажу только, что человек должен не угадывать, а предопределять будущее, строить его.

— И мы постараемся устроить его, разумеется, как нельзя лучше! — снова сказал сын, но тут же добавил: — Шучу, шучу!

Григорий Михайлович ушел переодеться к столу, вымыть руки, а тем временем ужин был сервирован, и все сидели за столом, ожидая его. Как «хозяин дома», он разлил в бокалы шампанское, они выпили «за все хорошее», отхлебнув по глоточку, немножко поели, а потом Григорий Михайлович поднял свой бокал и держал речь.

— Я сейчас, наверно, скажу сентиментальную ерунду, — начал он с ходу, полуизвиняясь, полуоправдываясь. — А быть может, если подойти серьезнее, то и не ерунду, и вовсе не сентиментальную, — он посмотрел на жену, в синих глазах которой он видел спокойствие и доверие — самое лучшее выражение, какое только и должно быть в женских глазах, на сына, продолжавшего готовить себе бутерброд с черной икрой, но наклонном пухлощеклой головы показывавшего, что слушает, и продолжал, упиваясь отчасти собственной речью (ибо демон благополучия требует обязательно от человека, подпавшего под его власть, и прекраснотушия): — Я люблю свою семью. И не только потому, что считаю семью вообще, семью как общественный институт — крепостью, защищающей человека и способствующей его развитию, но и потому, что у меня очень хорошая и талантливая семья, и, уверен, такой останется. Я жалею, что был не очень близок со своим отцом, но он был старше меня больше чем на сорок лет, а потом началась война, и прежде чем я вернулся домой, мой папа, а твой дедушка, Борис, умер. Тебе был тогда ровно год. А дедушка был очень добрый и очень умный. Но мне не повезло. Получилось, что я был лишен общения, лишен

дружеской поддержки отца, руководства, совета, того, что называют отцовской помощью. И в каком-то смысле был предоставлен сам себе. И если бы не помощь моей мамы, а твоей бабушки, то мне было бы очень трудно что-то написать и сделать. — При этих словах жена моргнула, но ничего не сказала, не желая прерывать педагогической речи. — И я надеюсь, что у Бориса все будет по-другому. Во всяком случае, я приложу все силы, чтобы мои знания и опыт не пропали для Бориса даром...

— Папочка, ты уже это не раз говорил, — перебил его сын.

— Не перебивай отца, — стукнула пальцем по столу жена. — Ты должен слушать и стараться понять, что он говорит.

— Нет-нет, Борис, наверно, прав. Мы часто повторяемся, не замечая этого. Но просто я про все это все время думаю, потому и говорю так часто, что начинаю повторяться. И Боре, конечно, все это надоело. — Григорий Михайлович был очень добрый человек и, несмотря на временное благодушие, внушенное демоном благополучия и преуспевания, не считал себя всегда и во всех случаях правым и непогрешимым. — Поэтому я скажу короче. Я хочу, чтоб и спустя двадцать и тридцать лет мы так же мирно и дружно сидели за этим столом или за большим столом в соседней комнате. И чтобы так же по всей квартире пахло елкой. А быть может, и запахом оплывающего воска — у новогодних свечек такой чудесный аромат! А Борис был бы к тому времени доктором исторических или биологических наук, профессором, и здесь сидела бы его жена и их дети, а наши внуки. Может, конечно, и не профессором и не историком, но, главное, достойным человеком, нашедшим свое место в жизни, которым мы сможем гордиться. А я уверен, что так оно и будет. Потому что в этом смысл истории, в преемственности духа от отца к сыну, в преемственности культурного наследия. Во взаимоотношениях отца и сына и осуществляет себя история, происходит ее развитие. Давайте за это и выпьем — за семью, за дружбу родителей и детей!

Они чокнулись приятно зазвеневшими бокалами и еще немножко отпили шампанского и, наконец, принялись за ужин. Ужин был обильный: винегрет, овощное рагу с мясом, шпроты, ветчина, а затем пили чай с бутербродами с икрой и с пирожными. А потом Борис вдруг — как он это всегда делал — сказал:

— У меня рассказ взяли в альманах. Сказочку, — сказал как бы между прочим, но Григорий Михайлович сразу догадался, что в этих словах и проявилась та тайна, тот секрет, о котором он умалчал при встрече в прихожей.

— Что за альманах? — подозрительно спросила мать.

— Лиалюн.

— Как-как? Что это такое? Очень странное название, — продолжала с сомнением она. — Кто это выдумал?

— Да не беспокойся ты! — засмеялся сын. — Так ваша учительница назвала, литераторша. Так что никакого хулиганства и никакой крамолы. Всего-навсего Литературный альманах «Юность», а сокращенно Лиалюн. Она даже сама стишки на обложку выдумала.

— Какие стишки? — спросил отец.

— Ну, девиз альманаха. Могу прочесть.

— Давай.

Сын кивнул головой и прочел немного неуверенным голосом:

Пусть автор твой пока еще юн,  
Но мы безусловно верим в это,  
Что тот, кто сегодня писал в Лиалюн,  
Когда-нибудь станет великим поэтом.

Он сидел, развалившись на стуле, и смотрел на родителей слегка исподлобья, стараясь придать своему пухлощекому лицу суровый вид, как он всегда делал, не зная, как они отнесутся к тем или иным его выходкам. Отец с матерью ответили почти одновременно.

— Это какая учительница? Татьяна Ивановна? Которая на костылях? — спросила мать.

— Она и не подозревает, — подмигнул отец, — что на сей раз она попала в точку. По крайней мере в отношении одного из участников. — И более серьезным тоном: — Что ж, я рад, Борис, это хорошее дело, если только заниматься им серьезно. Писательство, как и всякое дело, требует труда и культуры.

Григорию Михайловичу всегда хотелось подбодрить сына, который, особенно в последние год-два, казался ему неуверенным, сомневающимся в себе, в своих силах, слишком погруженным в себя и в свои переживания, недейственным. И хотя он видел, что сын замечает его подбадривания и порой не очень доверяет им, ему тем менее представлялось, что постепенно таким образом удастся разбудить в мальчике честолюбие и веру в себя, добиться того, чтобы он ставил себе не мелкие, а крупные, настоящие жизненные цели, чтобы его не волокло по жизни абы как, а чтобы он шел уверенно, зная, куда идет. Но вместе с тем он боялся и отпустить его, что называется, по воле волн. Он был уверен, что долго еще будет лучше сына понимать его интересы. Но для этого необходимо, чтобы сын доверял ему. Чтобы его воля не была навязана, а была принята сыном, чтобы сын именно с ним связывал свои честолюбивые



мечтания. Григорий Михайлович мечтал, чтоб в будущем было достаточно одного его слова, чтобы направить сына в ту или иную область — для его же блага. Поэтому он никогда не требовал, не приказывал, а просил.

— Покажешь? — спросил он, имея в виду рассказ, спросил тоном просьбы, которая, однако, предполагала согласие.

— Ладно. Но только не сейчас. А когда я лягу спать, — отвечал слегка набычившись и смущенно, глядя исподлобья, сын.

«Смешной и трогательный подросток», — умиленно подумал Григорий Михайлович и согласно кивнул головой.

Они кончили пить чай, жена принялась мыть посуду, а Борис отправился в свою комнату стелить постель. Наконец он лег, жена помыла посуду, зашла поцеловать Бориса на ночь, вернулась на кухню, где Григорий Михайлович смотрел газету.

— Спит? — спросил он.

— Засыпает.

— Пойдем в твою комнату, к елке.

Он пошел первый, прихватив с собой бутылку «киндзмарали» и пару рюмок. Войдя, зажег свет, и елка его встретила вдруг как живое существо, всей своей зеленой пышностью и оглушающим запахом, снова направляя его мысли на празднично-рождественский лад. Она словно перестроила не только комнату, но весь мир. Хотя бы на время, но наполняя его добротой и спокойствием, ощущением вечности и мира. Поставив на письменный стол бутылку и рюмки и вдыхая хвойный дух, он повернулся к вошедшей следом жене со словами:

— Прямо хочется при свечах посидеть. И погадать, как в старину, гадали. Чего там они делали? Только из Пушкина да из Жуковского и помнишь это... Настали святки. То-то радость! Гадают ветреная младость, перед которой жизни даль, которой ничего не жаль... И как-то там дальше... Что они делали? Не помнишь? Чего-то с кольцами, чаши с водой, свечи с зеркалами...

— Мы, я помню, топили воск и лили в холодную воду, — сказала жена. — Так должно было нагадать будущее. Но все это глупости и суеверие. Молодые были, глупые.

— А, вспомнил! — воскликнул Григорий Михайлович. — Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали... А вы башмачок за ворота не бросали? А? Ха-ха!.. Давай с тобой в этот вечер просто посидим, выпьем хорошего вина, поболтаем. Пусть это будет наш вечер. Почитаем Борин рассказ... Жалко только, что мамы нет, правда? — немного непоследовательно добавил он.

— Конечно, — помедлив и видно, что с трудом и неохотно, согласилась жена. Но он не стал обращать внимания на проскользнувшую в ее тоне напряженность, потому что рождественский вечер должен быть тихим и милым. Потому что хорошо не ссориться, а мечтать в рождественскую ночь, когда, быть может, приоткроется щель в будущее, и очень хочется, чтобы это будущее было беспечальным и без бесконечных проблем.

— Ну давай посмотрим, что мальчик написал. Он, должно быть, уже заснул, — как можно мягче и нежнее казал он.

Жена прошла в комнату к сыну и через минуту уже вернулась, держа в руках несколько напечатанных на машинке листочков. Они сели вместе около стола, выпили по рюмке вина, подержав рюмки в руке и глядя с улыбкой в глаза друг другу, а потом, по очереди читая страничку за страничкой, они прочли следующее.

## Самостоятельный

### Сказочка

В большом лесу жила стая волков. У этой стаи был вожак, громадный, сильный и жестокий волк. У него была жена. У них обоих был сын. Сына звали Фрикки Вольф. Отца Фрикки звали Горри. Случилась эта история, когда люди только начали истреблять волков и волки еще жили в относительном спокойствии.

Фрикки Вольф был очень упрямый волчонок. Характером, как и силой, он походил на отца. Но Фрикки не слушался ни отца, ни мать, ни окружающих. На их слова он отвечал равнодушным молчанием или презрительным фырканьем, а если и произносил что, то ответ был один: «Нет!» Вполне понятно, почему Фрикки был так строптив с другими волками: он видел, как они подчиняются его отцу, а Фрикки считал себя не ниже отца, и, будучи тверд и властен характером, он не переносил волков, которые подчинялись кому бы то ни было. Отцу он не подчинялся потому, что отец пытался властвовать над ним, не учитывая, что Фрикки той же породы и характера, что и он сам. Фрикки был первым среди волчат своего возраста, а отец среди взрослых волков, и Фрикки считал, что они равны с отцом. Отец, однако, не считал так. И между ними была вражда. Матери же Фрикки не слушался потому, что она была заодно с отцом.

Но Фрикки был одинок. Его слабые духом сверстники боялись его, но они боялись и своих отцов. И отцы передали им по наследству, внушили им рабское послушание и преданность Горри Вольфу. А Фрикки не любил отца. Он знал, что со временем будет вожаком стаи, если будет притворяться перед всеми, что он любит отца. Но, во-первых, он видел, как к подобным ухищрениям и притворству прибегал отец, когда хотел кого-нибудь задобрить. Следовательно, Фрикки только поэтому не стал бы так делать. А во-вторых, он вообще ненавидел низкую игру.

Ранняя самостоятельность приучила Фрикки решать все самому, самому принимать решения. Она развила его ум и, конечно, силу. В противоположность отцу Фрикки не был жесток с волками, напротив, был даже мягок с ними. Но он всегда был тверд в своих решениях. Сказано — сделано.

Как-то, когда был голод, отец Фрикки убил оленя и хотел его съесть один, втихомолку. Фрикки узнал это и вытащил оленя к стае. Хотя волки и боялись Горри, но они были слишком голодны, и они съели оленя. Появился Горри. Он был в наисквернейшем состоянии духа. «Кто зачинщик?» — прорычал он. Волки, жутко испуганные, трусливо молчали, пряча хвосты между задних ног. Горри оглядел их. И один из волков просипел тогда: «Фрикки». Горри тихо, медленно подошел к Фрикки. И вот картина. В лесу тишина. Вечер. Двое друг против друга на белом снегу. В одной стороне — сбившаяся стая, в другой — обглоданные кости оленя. «Так это ты украл, собачий выродок? Я тебя...» — и страшным голосом начал Горри. «Попробуй тронь», — слегка обнажив клыки, усмехнулся Фрикки. Это был фактически уже взрослый волк, хотя во всех его сверстниках сохранялось еще нечто щенячье. Фрикки уже исполнился один год. И Горри, чтобы скрыть свое поражение, сказал: «Поговорим в пещере, в семейной обстановке». Схватки не было. Волки разошлись. Таков был Фрикки.

Прошло еще полгода. Теперь все волки считали, что Фрикки не уступит по физической силе своему отцу. Но подчинялись волки Горри. Фрикки был мягок с ними, и они считали, что это признак душевной слабости, несмотря на его многочисленные победы в схватках с ними. Но Фрикки после победы всегда их щадил. А слабые духом волки уважают только сильных, а сильными им кажутся жестокие, те, кто притесняет их, потому что сила притеснителей испытана на

собственной шкуре. И Фрикки стал глубоко презирать свою стаю.

Однажды он бежал вместе со стаей и вдруг увидел громадного, жирного быка. Фрикки позвал стаю. Бык был жирен, но и силен, и Горри сказал: «Нет». Но Фрикки сказал: «Да». В первый раз Фрикки призвал волков к неповиновению. Бык был жирен, но Горри был вожак. И волки не двинулись с места. Фрикки убеждал их напрасно. «Ты просто трусишь один схватиться с быком», — сказал Горри. И было решено, что, если Фрикки один победит быка, он станет вожаком. И Фрикки побежал за быком. Схватка была ужасной. Фрикки чуть не погиб. Усталый, раненый, он лег и думал: «Зачем я дрался? Бык вкусный, но я один бы никогда не напал на него. Чтобы быть вожаком стаи? Но она ведь мне глубоко противна. Большое удовольствие править слабодушными рабами! Они слушаются отца так, будто они собаки, а не волки. Править трусами? Нет. Не хочу. Они мне противны». Фрикки приволок быка. И прежде чем он сказал хоть слово, Горри крикнул: «Так вы против меня?! Все? Ну что ж, кто первый? Никого? Отвечайте: кто ваш вожак?» Волки стояли в нерешительности. «О презренные, трусливые собаки! Вы нарушили договор. Вы не похожи на Фрикки. — Я не хочу быть вашим вожаком». И Фрикки скрылся в лесу.

Фрикки жил один. Он знал теперь больше, чем его отец, так как старался думать, что он делает, а отец правил. А власть опьяняет. Редко думаешь, когда правишь.

Но вот в лес пришли люди. Они стали устраивать облавы на волков. Они огораживали часть леса красными флажками, волки пугались их и бежали прямо на охотников. Фрикки попал в одну из таких облав, но чудом уцелел. И он понял, что нужно не бояться красных флажков.

Облава добралась и до его стаи. И в Фрикки заговорили старые привязанности. Он вернулся в стаю. «Я знаю, как уйти», — сказал он. «Мы тоже знаем, — сказал Горри, — мы побежим к выходу из красных флажков». — «Неправильно, — сказал Фрикки, — я один раз попал в облаву. Нужно прыгать через флажки, а у выхода ждут охотники». — «Ты еще мал мне указывать!» — промолвил Горри. Волки одобрительным ворчанием встретили слова вожака. «Ну подумайте! — убеждал Фрикки. — Зачем охотникам стоять за красными флажками?! Они же знают, что мы боимся красного цвета. И ждут у выхода. Ну подумайте сами!» Чудак! Он призывал их думать. Они

даже забыли, что это такое — думать. И волки послушно побежали за вожаком. А Фрикки, горестно ослабившись, перепрыгнул через флажки и исчез. Стая погибла.

Этими словами рассказ заканчивался.

— Страшный сон, — пробормотал Григорий Михайлович, вытирая рукой лоб.

— Я не понимаю, — беспомощно сказала жена. — Что он всем этим хотел сказать?

А Григорий Михайлович как будто бы понял. О, это был страшный удар по демону самодовольного благополучия! Опустив голову и вертя в руках рюмку, постукивая по столу то ее ножкой, то краем, он коротко рассмеялся:

— Здесь несчастье — страшный сон, счастье — пробуждение...

— Не понимаю, — повторила жена и вырвала у него из рук рюмку, поставив ее твердо на стол, чтобы она не разбилась.

В ночной тишине слышно было, как наверху у соседей часы пробили двенадцать ударов. Зеленая темная масса елки казалась напоминанием о вечных проблемах, которые всегда останутся с человеком, и отец это увидел.

— Ты думаешь, он и вправду станет писателем? — снова спросила жена.

— Не знаю. Написано не бог весть как. Хотя имя Фрикки — это неплохо. Это от фырканы, ведь он на всех фыркает, Боря просто забыл или не сумел, что скорее, это имя обыграть.

— Откуда ты это знаешь? Он тебе говорил?

— Догадался. Да и не в том дело, как написано. Написано, конечно, смешно и не очень грамотно. Но вот что написано — это интересно. Это целое мироощущение. И оно из него вдруг выплеснулось. Я думаю, что Боря сам до конца не понимает, что у него написано. И понять должны мы.

Ожидание его слов и тревога ясно читались на лице жены. А сам Григорий Михайлович вдруг с облегчением, почти физическим, почувствовал, что из него выходит какая-то болезнь, улетает, улетучивается, и глаза становятся яснее, и дурман выходит из головы, как тяжелое похмельное сновиденье. Это улетал демон, рисовавший ему картинки, закрывавшие живую жизнь. И выздоровевший Григорий Михайлович понял то, чего не понимал прежде. И об этом он начал говорить.

— Эта сказочка — урок нам с тобой. И предупреждение...

— Ты хочешь сказать, — перебила его жена, — что он к нам относится, как этот волчонок к своим родителям?

— Ни в коем случае. У искусства свои внутренние законы (а рассказ этот хоть отчасти, да построен именно по этим законам), и путать их с жизнью не надо. Он имеет отношение к нам, но не буквальное. Говорю же, что это мироощущение. Вернее, попытка заявить свою самостоятельность. И урок в том, что нельзя за сына решать, какой дорогой ему идти, нельзя ничего навязывать, — говоря это, он невольно вспомнил, что, как только сын начинал чем-нибудь увлекаться и они сразу заваливали его подарками, советами, пособиями, книгами по заинтересовавшей его области деятельности, увлечение тотчас кончалось, и теперь ему был ясен в этом не осознаваемый самим сыном внутренний отпор их экспансии в его дела, и он повторил: — Нельзя предписывать своему ребенку свой путь. И хорошо, что он пойдет сам, как бы трудно ему ни было! Иначе не было бы развития, не было бы истории. И нам с тобой надо смиренно понять, что у него своя судьба, свой путь, который не угадаешь и не предпишешь. И давай выпьем с тобой за то, чтоб наш сын остался верным себе, остался самостоятельным и когда он станет старше.

Григорий Михайлович медленно наполнил две рюмки красным сухим вином, и они выпили.

— А ты уверен, что ты прав? И что с мальчиком не надо поговорить по поводу его мыслей из рассказа? — путаясь в словах и волнуясь, спросила жена.

— Уверен ли я? Не знаю. Но мне кажется, что уверен. И еще уверен в том, что нам самим надо жить самостоятельнее, чтобы наш сын нас мог уважать.

И, глядя на елку, он думал, что им еще повезло, что они так запросто и без особых усилий получили такой урок. И что такое могло случиться, конечно, только в рождественскую ночь. А сквозь серебристо-зеленую хвою он теперь видел жизнь, наполненную не фанфарами, блеском, благополучием и славой, а трудами, которые чередуются с кратким отдыхом, удачами и длительными неудачами, болезнями и выздоровлениями, срывами и взлетами, — словом, видел то, что мы обычно и называем Жизнью.

## Смерть пенсионера

**Е**сть ли существо гнуснее человека? Где-то читал Галахов, что в одном африканском племени стариков заставляли влезать на высокое дерево. Затем подходили здоровые мужики и трясли дерево. Кто падал и разбивался, тех съедали, а удержавшимся позволяли еще пожить.

Павел попытался повернуться на бок, подложив руку под подушку, а щеку на подушку, как он любил (самая удобная поза еще с детства), но боль в спине и ногах лишала его всякой силы. Вчера он был в больнице у отца, куда того положил младший брат Павла Цезариус. Сам Цезариус в Лондоне, а хитрился в одну из лучших больниц отца положить. Деньги всюду сила. Отцу исполнилось в этом году восемьдесят девять, Павлу — шестьдесят семь. Уже не мальчик, пенсионер, а бегает, как мальчик. Здорово он вчера вернулся, когда еле выскочил из-под колес подлой машины подлого нового русского, очевидно, бандита. Машина, шедшая вдали, вдруг прибавила скорость, обогнала шедшую впереди, которая притормозила, пропуская Галахова, и промчалась, почти вплотную к тротуару, словно пыталась сшибить его. Павел успел взойти на тротуар, но зацепился ногой о столбик загородки, как-то неловко крутанулся и упал спиной на металлическую трубу загородки. С трудом встал. Что хотел этот шофер? Неужели и вправду убить? За что?

Павел вспомнил странного дружка из первого класса: звали его Васек, жил в доме без номера, куда даже милиция боялась заходить (там никто не имел никакой прописки, что для начала пятидесятых было весьма необычно). Он очень стеснялся образованного соседа по парте. Стриженный, как и все, наголо, Васек стеснялся еще и лишая на затылке, выевшего часть волосяного покрова на голове. Он очень хотел показать Паше свою значительность, такая защитная реакция бедного зверька. И Васек выдумал себе принципы. Он переходил шоссе, нарочно замедляя шаг перед быстро мчавшимися легковушками. «Чтобы не нагличали», — объяснял он. При этом шоссе — боковое, в середине XX века почти пустынное, да и скорости тогда были не сравнимые с нынешними. Своими принципами

Васек хотел заслужить уважение Галахова. Потом остался на второй год, а потом Паша услышал, что его бывшего соседа по парте насмерть сбила машина. Теперь он думал о нем, как о правдолюбце, который на свой лад боролся с сильными мира сего, потому что на скоростях всегда неслись машины властных нелюдей.

От боли Павел не мог заставить себя подняться и вылезти из постели. А потому хотел заспать свою маленькую нужду. Обычно — каждую ночь последний год — промаявшись до пяти утра (ворочаясь, вставая, выходя в туалет, потом на кухне выпивая ненужную чашку чая, которая снова гнала его в туалет), он засыпал, наконец, и спал часов до десяти. Он не умел спать один, и дело было не только в телесной близости с женщиной, которая еще требовалась, хотя не столь живо, как раньше. Нет, просто в тепле женского тела, а под женщиной последние годы Павел понимал только Дашу, и, не находя ее рядом, чувствовал среди ночи, что ему не хватает половины самого себя. Оставшаяся одна сама по себе половинка ныла и жаловалась, что ей некомфортно. Он пил на кухне ненужный ночной чай и смотрел телевизор. По ночам под утро, как правило, крутили вестерны: ковбои в шляпах с заломленными полями выхватывали кольты и расправлялись с негодяями. Почему-то раньше ему и в голову не приходило, что в этих длинных скачках по степям и горным перевалам герои никогда не испытывают простых человеческих потребностей — пописать, покакать. Разве что пожрать да выпить! А если у тебя к старости запор, да еще аденома предстательной железы, когда по двадцать минут стоишь в туалете, мучительно глядя, как мелкие редкие капли превращаются, наконец, в вялую струйку. Смог бы ты скакать при этом на лошади и стрелять из кольта без промаха? Как всегда, он заснул перед экраном, очнулся, вспомнил слова Даши, которая в таких случаях обнимала его за плечи и, ведя к постели, приговаривала: «Спать надо лежа». Он шел и ложился в постель, но все равно засыпал, лишь когда начинало светать.

Около девяти он услышал звонок домофона, но сквозь дурноту сна только испытал к звонившему раздражение и полное отсутствие в теле какой-либо возможности встать, подойти к входной двери и нажать кнопку, впускающую в подъезд. Он вспомнил, что сегодня приносят пенсию. Приносит почтальонша с твердым квадратным ртом и бородавками по всегда открытой шее. Потому он и не поднялся на звонок в дверь, знал, что соседка с нижнего этажа возьмет пенсию. Почтальонша все же как-то вошла в подъезд, поднялась на его этаж, позвонила в дверь. Но Галахов затаился. И та отправилась к соседке, бормоча: «Ушел, что ль, куда в такую рань».



Эту почтальоншу не хотел он видеть с прошлого месяца. Он тогда ей тоже не открыл. Неохота было на эту пенсию смотреть. Из четырех с половиной тысяч у него две уходило на квартиру, тысячу он по-прежнему отдавал восьмидесятидевятилетнему отцу, а на остальные полторы тысячи живи, как хочешь. На американские деньги это получалось около пятидесяти долларов. Если при этом учесть, что Москва считалась одним из самых дорогих городов в мире, то лучше было ничего не жрать. Павел не грустил. И без того казалось, что чужие дни доживает, дни друзей, которые умерли раньше. Но прошлый месяц, не дозвонившись до него, почтальонша пошла на хитрость.

Соседка с нижнего этажа, молодая, уже в теле, пришла с ней вместе, чтобы подтвердить, что это и в самом деле почтальон: «Вы чего не открываете?» «Даша придет, сама со мной на почту ходит», — хитрил он. Даша на почту никогда с ним не ходила. Он и сам мог бы ходить, просто никого последнее время не хотел видеть. «Вы будете открывать?» По слабости характера сдался, открыл дверь. И получил! «Даша! Даша! Да нет ее уже в живых! Знаете сами, а придуриваетеесь! Стыдно, бабушка!» А потом добавила с укором: «Что вы голову, как страус, прячете?! Просто берегла она вас». Даша бы не позволила так говорить с ним или о нем, если бы была дома, а он мужик, мужчина позволил эти речи, как последний подлец. А ведь хотели умереть в один день. Он не мог даже вообразить, что с Дашей может случиться что-то плохое!..

Нет, соседка врет! Галахов молча взял деньги у почтальонши, не пересчитывая, сунул в карман домашних мятых брюк, расписался в ведомости — большой амбарной книге. Глаза слезились, им, наверно, казалось, что он плачет, но слез не вытирал. Закрыв за ними дверь, все так же не разжимая губ. Врут нарочно, чтоб мне стало плохо. Даша не умерла, она уехала, оставила его. После Дашиного отъезда и стали слезиться глаза. Обидно, что она не с ним, но она хотела как лучше. Сама живет сносно, и ему помогает. Он ведь нашел пакет, а в нем триста долларов и ее записка. Она писала: «Рада, что у тебя в руках сейчас деньги. Это моя тебе помощь, подарок!» Конечно, уехала. Даже домой не вернула из больницы. Или вернула? Он не помнил. Кажется, прямо отправилась в аэропорт, передав через знакомых, что она все же уезжает в Америку к тому, кто будет о ней всегда заботиться, чтобы Павел ее не провожал. Он был потрясен, обижен, замкнулся и не разжимал губ почти неделю. Никому не сообщил, но все же в тот день к дому подкатили знакомые, заходили к нему, пытались увлечь за собой. Он отказался.

Надо подняться, вылезти из-под одеяла, встать ногами на пол. «Пока Даша в отъезде, надо не забывать цветы поливать», — говорил он себе, и это был один из внешних стимулов, заставлявших его что-то делать. Нельзя умирать в одиночестве. Самая страшная смерть. Днями думаешь, чем себя занять, чем время наполнить. Ну, суп из пакетика сварил, сардельку, которую есть не хочется. Лучше на больничной койке, даже в лагерном бараке, хотя нет, судя по рассказам, там уж совсем полное одиночество. Может, Даша все же вернется... Уж очень много она здесь работала. А сама нездорова. Все время давление высокое, так с ним то на лекции, то на синхронные переводы ездила. По утрам жаловалась, что вся разбита, но вставала и ехала. Как она сейчас живет?

Он вспомнил, как Даша рассказала ему в самом начале их романа, что однокурсник сказал ей: «Мужика завела? Или влюбилась?» «Почему?» — удивилась она этой пронизательности, вроде никак себя не выдавала. «Да с тобой можно смело в самые темные подворотни заходить. Не страшно». — «Почему?» — «Потому что светишься вся!» Это поразительное свойство влюбленных женщин он и сам наблюдал, оно лучше всяких слов рассказывало об их подлинных чувствах. Он стеснялся, что на тридцать лет старше ее, что она еще совсем юная, думал, что любит его за его знания и ум и мигом разочаруется, когда узнает о нажитых им с возрастом болячках. Как-то машинально, говоря по телефону с ней, с трудом урвав момент для этого разговора, пожаловался на здоровье и даже испугался, ведь что молодой женщине до его болячек! Но она спокойно сказала: «Мне можешь жаловаться!» Это было удивительно и трогательно.

Потом понял, что отношение ее к нему было сложнее. Отец оставил их с матерью, когда Даша была еще маленькая. И так получилось, что Галахов стал ей и любовником, и отцом, а потом (хоть они так и не расписались) по сути дела мужем. Труднее всего ей было как-то называть его. Наедине, в письмах, конечно, милый, а на людях? Ей казалось, что будут усмехаться над ней, да и самой было неловко звать мужчину много старше ее, известного ученого, просто по имени. И она стала звать его по фамилии — Галахов, сама к этому привыкла, да и все привыкли. Только отец почему-то ворчал: «Она тебя зовет по фамилии, как Наталья Николаевна звала Пушкина». В тот жуткий вечер, когда они возвращались от Лени Гаврилова и их чуть было не убила шпана, он предложил ей руку и сердце, а она в ответ очень по-детски, но твердо: «Галахов, мы с тобой хорошо жить будем». И жили хорошо, пока, пока, пока... Да, пока она его не оставила год назад. И уехала в США. Как нарочно, первая лекция, которую он читал ее курсу, была на тему Амери-

ки в русской литературе девятнадцатого века, и он рассказывал, что для русских писателей Америка казалась тем светом. И Даша пропала для него. Но теперь он утешал себя, что это все же Америка, а не тот свет. Что иногда она там вспоминает о нем.

Она была немного выше его, иногда важно говорила: «Галахов, у тебя теперь высокая дама». Но тут же наклоняла голову и тревожно заглядывала ему в лицо, не обидела ли. И видя, что он не сердится, начинала светиться всем своим круглым лицом, всеми своими ямочками. Как она смешно ревновала, маленькая, что он такой бывалый. Ревновала к медсестрам, когда он лежал в больнице, к продавщицам, улыбавшимся Галахову, к тому, что молодая врач-невропатолог пригласила его в свой кабинет и продержала там почти час. «Да что же я, не понимаю, что тебя все хотят!» При этом по первому его зову она бросала учебу, мчалась к нему, жадно и страстно принимала его любовь, хотя порой и бормотала: «Я из-за тебя двоечницей стану». Пока они не жили вместе и он много ездил, стеснялся этого, а брать ее с собой на конференции было трудно, почти невозможно, и он бормотал, извиняясь: «Я взять тебя с собой не смогу». — «Я понимаю, я почти и не существую, чувствую себя абсолютно виртуальной». — «Такая большая и красивая». — «Такая большая, а вся помещаюсь в телефонную трубку». А теперь и в самом деле она стала виртуальной.

Отъезд вдаль всегда напоминает похороны, а похороны напоминают отъезд. Наверно, соседка видела, как Даша все же проехала мимо дома (да, все же проехала!), ожидая, что Павел выйдет, и сколько было цветов и провожающих, потому так и сказала. Среди провожавших он видел атлетическую фигуру Лени Гаврилова. Именно после визита на его день рождения Галахов сделал Даше предложение. Был писатель Борис Кузьмин, чьи повести нравились Даше. Павел не запретил ей уезжать, он никогда никому ничего не запрещал. Но он не вышел и провожать ее, в аэропорт не поехал. Остальные поехали на машинах и в автобусе, было не только много цветов, но была даже музыка.

С этого момента у Галахова пропала отчетливость разума, он мог много раз, как будто в первый, обсуждать сам с собой какую-то проблему, возникали постоянные провороты в мыслях, воспоминания из разных периодов жизни наплывали одно на другое, первой реакцией на всех людей, на все события стала обидчивость и раздражительность. Мысли путались, повторялись. И сейчас, лежа в постели, он чувствовал, как его давит невнятица прожитой им жизни. А еще страх пенсионера, что дети не будут помогать. Нет, думал Павел, нет вечного возвращения, Ницше не прав, есть лишь

постоянное возвращение человека в небытие. Это вечный путь, проходимый каждым.

\* \* \*

Его дети — от двух браков — не только выросли, но и устроились на весьма оплачиваемые работы. Сын стал менеджером, а потом и директором какой-то пиар-компании. Иногда, грустя, Павел вспоминал, как носился по врачам, отмыливая сына от армии, возил презенты, договаривался с кем-то, чтоб помогли, не тронули. А в аспирантский период работал вечерами, чтоб ему на башмаки заработать (сам и в старых доходит), хотел беседовать с ним, чтоб было интересно, как ему самому было интересно с отцом, заранее придумывал темы разговоров. А как однажды несся он домой, бросив работу, узнав, что рухнул мост, где — может быть! — мог проехать трамвай, на котором иногда ездил сын! Глаза вытаращены, весь мокрый от ужаса. Теперь сын знать его не знает, разбогател. И унижительное чувство беспомощности, в которой он оказался, рождало обиду. Дочь, которую он устроил в аспирантуру в Швецию, вышла там замуж, родила и вытребовала туда мать. Катя, его вторая жена, уехала, он не возражал. Жену больше волновали всякие бытоустройства и дочкина судьба, что было и разумно, и естественно. Она была женщиной умной и доброй, поэтому, когда Павел написал ей о Даше, она это приняла, просила только не говорить дочке, чтобы та не ревновала отца. Так с Дашей они и не расписались, квартиру в свое время он оформил на Катю и дочку. А Даша оставалась прописанной у матери в Черноголовке. Дочка иногда телефонировала, тогда бывала ласкова. Сын не только не заходил, но даже не звонил. Когда Павел пытался ему звонить, то слышал протяжное: «Пап, я сейчас занят, я тебе потом позвоню». И не звонил. Другой вариант бывал, когда он звонил ему в воскресенье, часов в двенадцать дня: «Пап, ну что ты так рано! Я очень поздно лег. Досплю, перезвоню тебе». И ни разу не перезвонил. Павел и сам перестал ему звонить. Его звонки были похожи на вымаливание милости, а он и впрямь порой с ужасом воображал такую возможность. «Есть ли существо гнуснее человека?» — снова подумал он.

Пенсия была такая, что впору идти побираться. Но не у сына же просить милостыню. Николай Федоров писал, что воскресение отцов — русская идея. Достоевский усомнился и показал, как дети убивают отца, старика Карамазова, каждый по-своему. А теперь дети просто ждут, когда старики свалятся с дерева, чтобы брезгливо их зарыть. И дело здесь не в стыде перед попрошайничеством, а в жизненной установке, точнее, привычке к определенному об-

разу жизни. Еще до его пенсии, Даша еще была с ним, то есть несколько лет назад, они в воскресный день съездили в Александров, бывалые люди говорили, что там 101 километр, всегда бандиты жили, бывшие шпана и воры, подъезды на ночь не запирают, можно пристроиться ночевать. Павел смеялся тогда: присмотрю, мол, подъезд на пенсионное будущее. Погуляв по городу, посетив музей Марины Цветаевой, доходившей и здесь от бедности, двинулись в чересчур знаменитую Александрову слободу, откуда пошла опричнина.

Зашли в Троицкий собор. В помещении колокольни — синодик Ивана Грозного, перечисление им убиенных — но только бояр, смердов не считал, зато о смердах — в писцовых книгах, как опричники убили хозяина крестьянского двора, затем другого, жен насильничали, дворы после грабежа сожгли, короче, разорение крестьянства.

При выходе из Троицкого собора увидели девочку с чересчур осмысленным взрослым лицом, но маленького роста, темные волосы стрижены под ежик, очень синие глаза, взрослая шерстяная кофта, черные брючки и лакированные черные старые туфли (тоже с взрослой ноги). Павел с Дашей прошли было дальше. Подошла монастырская хожалка, странница, попрошайка и побирушка. Протянула привычно руку: «Подайте, сколько можете, на хлебушек». Павел протянул копеек сорок. Рядом возникла девочка: «Они говорят “на хлебушек”, а сами вечером водку покупают. Мы за одной проследили». — «А как тебя зовут?» — «Катя». — «Сколько ж тебе лет?». — «Двенадцать».

Была она слишком мала для своего возраста. Павел протянул ей червонец, она деловито взяла и объяснила, что ей теперь и на свечки и на булку с маком хватит. Даша сказала: «Ты бы сняла кофту. Жарко». Та потянула сквозь вырез у шеи лямки нижнего белья: «Не, там у меня ночнушка».

Потом перед службой села между ними на лавку. Свободно болтала обо всем, о себе, конечно: удивительный талант общения. Павел даже поразился этой свободе и открытости, живому языку.

— Мамка в Курган уехала. За мной?.. Мамина подруга присматривает. Иногда мои подружки чего поесть принесут, хлеба, супу (*понятно стало, что «мамина подруга» не очень-то смотрит, так, взглядывает, не померла ли девчонка*). На прошлой неделе на тридцать два рубля мяса мне купили. Я кастрюлю наварила, вкусно было. Варить я умею, мама у меня повар и швея. Папку мама выгнала: уходи, говорит, а то я тебя задушу. Не, я не из Кургана. Я в Москве родилась. Но я папу Сашу не люблю, я больше родного пап-

ку люблю, дядю Витю. А Сашка мне ножом за дверью грозился. Я дверь открыла и его как ногой в живот!.. (*Глазки засверкали от собственной выдумки.*) Он убежал. Я сюда недавно хожу. Я крестилась. Отец Андрей крестил меня бесплатно. Неделю назад, — она показала дешевый латунный крестик на бумажной веревочке. — Не, не здесь. У нас за оврагом у моста церковь тоже есть. Не, я сама к нему пришла. Мамка еще не знает. Сюда хожу, им помогаю, сестрам, матушкам, иногда подмету, посуду помою. Они тоже покормят, копеечку иногда дадут. А я себе сайку куплю. Здесь дешевые. Читать умею, но плохо. Во второй класс только в этом году пойду. Почему раньше не училась?.. А мы бедные, портфель не на что было купить. Нас у мамки пять, еще два брата и две сестры. Скоро еще один маленький будет, у сестры Ленки. Ее муж ногой в живот ударил, она его просила не пить. Они на диване спят. Братья на топчане, а я на раскладке. Мамка с папой Сашей раньше на диване спали, до Ленкиной свадьбы, а теперь на полу..

Пол-России такие. А у него немного наоборот. Он детям не нужен.

\* \* \*

А чего на пенсию вышел? Не знал разве, что тягостно будет? Хотя тогда он еще работал и относился к пенсии как к дополнительному доходу.

Всю прошлую неделю он ходил в пенсионный фонд, пытаясь добиться повышения пенсии на триста рублей, которые полагались ему по принципу введенной накопительной системы. Скользил по тротуарам, а, переходя шоссе перед замершими на светофоре машинами и вступая на оледенелый поребрик, каждый раз думал, что поскользнется, упадет на спину, и рванувшаяся машина его переедет. А к зданию пенсионного фонда переход и вовсе был без светофора. Кто перебежит, глядишь, и получит пенсию. А не сумеет, то нет ни человека, ни пенсионной проблемы.

Первый раз он пришел туда семь лет назад в конце марта, дня за три до своего дня рождения, к девяти утра. Все документы собрал заранее и был уверен, что дело это займет полчаса, ну, час. Двери уже были открыты, но когда он поднялся на второй этаж, то увидел бесконечную, длинную русскую очередь из стариков и старух: все толпились перед кожаной дверью, но порядок соблюдался. Сидела женщина с листочком, на котором были записаны фамилии и их порядковые номера. Павел подошел к ней и попросил его записать. «Вы будете сто сорок восьмым», — сказала женщина в капоре. Рядом стоявшая высокая и широкоплечая тетка в ватном пальто

пожала плечами: «Сегодня вы не попадете, дня через два разве по этому списку. В день они не больше тридцати человек принимают». «Ну что вы, женщина, говорите! — возразила первая в капоре. — Бывает, что люди записались, а вовремя не пришли. Тогда те, кто не отходили, могут пройти. Но с вашим номером, мужчина, шансов, конечно, не много». «Когда же приходиться нужно, чтоб в тот же день попасть? — спросил Павел, понимая, что сегодня стоять не будет. «Все, кто в самом начале, к пяти утра приезжают, — пояснили ему. — И ждут до девяти перед дверью».

Но март стоял холодный, и Павел приехал на это стояние только в конце апреля. Протолкался часа три на улице, бегая в дальние кусты по малой нужде, аденома мучила. В восемь утра их запустили на первый этаж, на втором стояли, преграждая путь, охранники. Пенсионный фонд начинал работать в девять. Потом было долгое сидение на лавочке, толкотня вокруг двери, заглядывание внутрь комнаты, чтобы понять, свободен ли *его* инспектор. И непрекращающаяся склока перед этой *важной* дверью: «Мужчина, не лезьте». — «Да мне только справку отдать». — «Все так говорят. Не пустим. Что, с женщинами драться будете? Я тебе говорю: куда прешь?! Женщины, не пускайте его!» В дверь он вошел где-то около четырех, выкурив перед подъездом несметное количество сигарет, хотя до этого не курил почти полгода. В огромной комнате, уставленной шкафами с бумагами и столами, сидели инспекторы, от которых зависела будущая судьба пенсионера: как скоро будет пенсия оформлена. А ведь были — в отличие от Павла — и не работавшие уже люди. Для них всякое промедление было похоже на катастрофу. Тут же выяснилось мелкое чиновничье воровство. Мало того, что не присылали все пенсионные извещения по почте, как в Америке и Европе, не посещал вас вежливый пенсионный чиновник, пенсию начисляли лишь с момента подачи заявления, а не с дня рождения!

«А если бы я, скажем, полгода болел?» — «Нас, мужчина, это не касается. Не мы правила устанавливаем», — ответила молодая, но расплывшаяся нездоровой полнотой девица лет двадцати пяти. Но окончательно ошеломила его женщина в другом кабинете, в котором Галахов попытался выяснить, много ли накопил он за те два года, когда была введена накопительная система. «Да в ваши года уже много не накопишь, — сообщила улыбчивая тетка. — Но вам полагается *срок дожития*, вот и старайтесь его прожить». «Какой еще срок дожития?» — Павел почувствовал какой-то мистический ужас. «Срок дожития вам определен в восемнадцать лет». Переспросил, не понимая: «Мне?» — «Ну, всем пенсионерам с момента получения пенсии». — «А если я вас обману и прихвачу пару год-

ков?» — «Не обманете, умные люди считали. Обычно гораздо раньше умирают».

У его друга Орешина был лысый приятель, старик уже, как им казалось, по прозвищу «комиссар» (Орешин вообще питал слабость к чудакам) — со старческими пигментными пятнами на лысине и по лицу, он пил с ними, орал песни. Павел даже поначалу спьяну допытывался, правда ли и сохранился ли у того маузер. Но потом как-то в один из дней Павлу позвонил общий приятель и сообщил, что «комиссар» покончил с собой ни с того, ни с сего. Причем для верности повесился в лестничном пролете: если бы не выдержала веревка, то наверняка разбился бы. На «Смерть комиссара» Петрова-Водкина нисколько это не походило. Ни тебе красного знамени, ни уходящих в бой товарищей. Жестокая смерть отчаяния.

А другие смерти стариков!..

Но он все же год назад ушел из университета на пенсию. Не стало сил говорить с кафедры, вчерашний любимец совсем потерял контакт с аудиторией. Неинтересно стало готовиться. Да и сил не было в переполненном метро ехать к первой паре. И раньше-то выползал из метро еле живой, особенно после пересадки на Проспекте Мира, — мокрый, помятый, потный, минуты три приходил в себя, одергивая измятый пиджак или поправляя перекрутившийся плащ, — смотря по погоде. А тут еще дождь, значит, — раскрывать зонт и минут двадцать по лужам до здания универа, когда в голове еще туман от недосмотренного сна.. А потом стали сбываться слова тетки из пенсионного фонда о «сроке дожития».

После отъезда Даши он стал присматриваться к жизни бомжей. Как собирают жестяные банки, кладут на землю, каблук уминают, складывают в мешок, куда сдают, сколько стоит. Большая сумка и перчатки, дырявые на пальцах, чтоб рыться в мусорных баках. Вот старик роется в мусорных баках. Бочком. Баки зеленого цвета, обшарпанные. Стыдно профессору толкаться у мусорных баков. Увидел, как что-то бросили в бак разумное, но подъехала машина, подняла на магнитах бак, перевернула в кузов, не повезло. Бомж отскочил в сторону, матюгнулся. Ну, подумал Галахов, со мной все же неплохо. Все же дома ночью. Павел видел телепередачу про бомжа, который получал пенсию, сдавал бутылки и стал миллионером. Но, как сказал репортер, места были расхватаны и грязные, жутко пахнущие мужики избивают и гонят чужих, если они пробуют рыться в мусорном ящике. В сообществе этом были свои группы — картонщики, бутылочники, жестянщики. Не было Павлу там места.

Профессор вспоминал идею о «хищных гоминидах», о которых писал в середине девяностых некто Диденко. Что, мол, с само-



го своего зарождения человечество делится на людей и «хищных гоминидов», существ похожих, но биологически другой породы, живущих за счет людей. Тогда Галахов даже мимоходом выступил в какой-то своей статье против этой идеи, как слишком биологизаторской. Нагавкал на Диденко. Нужно искать социальные законы, возразил он. Тогда он был сильный. И не понимал, как по глазам можно узнать хищного гоминида. Теперь он их видел: на улицах, в транспорте, по телевизору, научился различать. Видел по телевизору министра здравоохранения и социального развития России Михаила З., который сообщил, что по планам правительства деньги на социальное обеспечение рассчитаны таким образом, что мужчина в России должен умирать в возрасте пятидесяти семи — пятидесяти девяти лет, не доживая до пенсионного возраста. Даже щедринский Угрюм-Бурчеев был милосерднее. Он читал указания градоначальника из «Истории одного города»: «Люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек».

Галахов думал о жизни, о хищных гоминидах и полуспал-полубредил.

\* \* \*

Да сны еще — стали один другого причудливее. Когда Даши рядом не было, в очередной раз уезжала на заработки, ему снился какой-то бред. Как-то приснилась ему мама с безумными глазами. Кто-то стучал дико в дверь чем-то тяжелым, долбил, взламывал, отворачивая филенку — нахально, не скрываясь, не боясь соседей. Он отворил полуразбитую дверь. На пороге мама, глаза безумные как на картине Брейгеля о слепцах, волосы всклокочены, в руках — лом. И бормочет: «Что-то очень мне беспокоило за вас стало. Решила посмотреть, как вы там». И говорит, и смотрит, как живая. А Павел-то при этом помнит, что уже несколько лет, как она умерла.

Вот и сегодняшний сон. Павел знает, что в соседнюю комнату забралось все Зло Мира и готовится уничтожить человечество. А у него в нижней, закрывающейся дверкой, книжной полке стоит супероружие, которое только одно на свете способно уничтожить все Зло Мира. И дочка из Швеции вернулась ради этого: «Папа, доставай оружие. Только мы можем справиться». А он еще перед ее приездом дверь в комнату, куда Враг просочился, не просто прикрыл, а снизу в щель большие Дашины портновские ножицы забил, чтоб она не открылась. «Да, — говорит дочке, — сей-

час достанем, потом на балкон выйдем, оттуда как раз можно в ту нашу комнату попасть снарядам». И в голову ему не приходит, что и стрелять-то он не умеет, никогда в армии не был. Открывает он дверку шкафчика, а там никакого сверхаппарата нет, а одни книги. «Где же?!» – в отчаянии кричит дочка. А он книгу за книгой выкидывает, гору нагромоздил уже, а за книгами еще книги – и никакого оружия.

Нет, все же встать необходимо, хотя бы цветы полить. К тому же захотелось пить и в туалет. Глаза по-прежнему слезились, будто плакал. Вытерев их углом простыни, Павел снова попытался подняться, но почему-то теперь не мог даже рукой двинуть, тем более сесть и спустить ноги с тахты. Все-таки он здорово навернулся! В конце февраля, несмотря на быструю смену мороза и легкого таяния, несмотря на наледи на тротуарах, скользкие бугорки и неровности от слежавшегося, стоптанного снега, улицы чистить вообще перестали. Мэр появлялся на экранах только в случае крупных городских катастроф, обещал разобраться, но было понятно, что на следующий срок он не останется, а потому уже не мог заставить чиновников что-либо делать. А без приказа в России ничего не делается. Чиновникам было некогда: они понимали, что не останутся на своих местах после отставки шефа, а потому лихорадочно припрятывали наворованное за годы пребывания у власти, легализовали свои особняки и дорогие машины. До тротуаров ли им было! Вот и падали и разбивались старики и люди что называется среднего возраста.

Надо было еще полежать, притерпеться. В конце концов, чем меньше пьешь жидкости, тем легче не ходить в туалет. Боль утихнет, и он встанет. Хорошо, когда воев ветер, а ты молод, молод, лежишь, тепло укрыт, читаешь книжку и думаешь, что когда-нибудь будешь вспоминать этот вечер уюта. А когда тебе шестьдесят семь?.. Почему он не передал своей тревожной природы детям? Никто не зайдет, не навестит. А как квартиру будут делить? Он бы так не смог. К отцу он ездил каждую неделю, а звонил каждый день (мама умерла восемь лет назад), деньгами помогать не мог, как раньше, но старался, приезжая, хотя бы фрукты привезти. У отца жила женщина, ухаживавшая за ним. Раньше они с братом платили ей зарплату напололам, а теперь едва мог выделить тысячу рублей, жалкие тридцать долларов. Брат Цезариус поначалу требовал, чтобы он платил прежнюю сумму – шесть тысяч рублей. «Это наш общий отец», – пояснял он свою точку зрения. Но что делать, если получал Павел теперь всего четыре с половиной тысячи, сто шестьдесят долларов, из которых две тысячи платил за квартиру. Цезариус предложил ему продать или поменять свою квартиру, которая ему не по карману,

получить некую сумму, чтобы он мог по-прежнему вносить свою половинную долю на оплату отцовской сиделки. Павел отказался. Менять привычную трехкомнатную квартиру, набитую книгами, — трудно было даже вообразить себе. Куда книги деть? Выкинуть? Но так долго жили ими!.. Да и страшновато было. Ему несколько раз звонили, предлагали выгодные обмены, скажем, на двухкомнатную с очень большой доплатой. Но он отказывался, боялся, не верил, бросал трубку. Слишком много писали, как при таких обменах стариков выкидывали вообще на улицу, если не убивали в пригородном каком-нибудь парке. У брата Цезариуса (поздний ребенок — и странное имя ему отец дал) было три квартиры в Москве, не говоря о лондонских апартаментах, да еще и родительская квартира была завещана тоже ему.

У него, правда, что-то лежало на карточке, куда переводили зарплату с последней работы. Но деньги эти он тратил скупой, чтобы оставить себе на похороны. Код карточки (с объяснением, для чего эти деньги) он написал на листке бумаги, положив ее в верхний ящик письменного стола, надеясь, что первыми по случаю его смерти придут сын или брат. Вот только Дашиных долларов там не было. Подумав о долларах, он весь болезненно сжался. Как там Даша в Америке?.. Ему приснилось однажды, что Даша прислала ему эсэмэску, словно уехала не в Америку, а в командировку: «Как ты там, счастье мое? Доклад написал? Скучаю и очень хочу к тебе». Давно ее с ним не было. Даша много раз повторяла ему, что они хорошо жить будут. И жили неплохо, долго жили. Но потом все же она ушла. Как в старых романах о власти золота — так и у них произошло. Ну нет, не совсем так, все же вместе десять лет прожили. Она не только любила его, но и уважала, гордилась его известностью, его книгами. Ни известность, ни профессорство денег не приносили. Конечно, Галахов позволял себе шуточные, хотя и правдивые рассказы, как иностранные коллеги приходили в ужас, узнав, что в месяц он получает триста долларов, спрашивали даже, настоящий ли он профессор. Он смеялся: «Ну не показывать же им мои два десятка книг!» Даша довольно долго смеялась вместе с ним. Работать при этом ей приходилось много. Она преподавала в двух областных вузах, переводила с английского за деньги какие-то научно-популярные книги, да еще в НИИ имела полставки. И все равно денег хватало от зарплаты до зарплаты. Павел уже не профессорствовал, бесконечно оппонировал ради копеечных денег, да еще писал книги, на которые надо было доставать гранты. Книги денег не приносили никаких. Он все время удивлялся, как коллеги с гораздо меньшим научным багажом приспособлены в жизни много лучше

его. Очень часто, когда она долго не возвращалась, он звонил ей на мобильный. Тут было два варианта. Или она не брала свою трубку, и шли бесконечные длинные звонки («выключила звук, чтоб не мешал на лекции», — объясняла она). Павел сам читал лекции и почти никогда не отключал мобильный: профессор всегда со студентами договорится. Или абонент бывал недоступен. А потом она рассказывала, что ее курс перевели в помещение с тяжелыми потолками, где мобильный не ловит. Однажды после какого-то совещания он все же часов в семь вечера поймал ее. Она резко ответила: «Не могу сейчас говорить. Начальник дает ЦУ. Приду поздно». Павел вначале ревновал. Но что он мог поделать! И перестал тревожить ее в те дни, когда она уезжала из дому на службу. Даша бегала по всем этим работам, хотя ее мучило давление и, что хуже, какие-то женские неполадки. Иногда головы поднять не могла, но вставала и говорила: «Пока человек ходит, он должен работать. Мне же деньги за это платят. Откуда мы их еще возьмем».

А Павлу оставалось беспокоиться за нее, ходить в аптеку, тихо выгуливать ее в выходные дни. Потом она нашла работу с поездками. В Сибири платили больше, особенно в нефтяных местах, она вдруг стала привозить оттуда немалые деньги и дорогие подарки. Это в России было принято, Павел не удивлялся. Но когда ее не стало, он нарисовал себе картину, что какой-то из не очень крупных нефтяных магнатов, все же миллионер, пленился и красотой зрелой женщины, а главное, ее умом, что для него, человека с образованием, было тоже важно. Даше было тридцать семь, еще самый возраст для женщины! Да и устала она, понять можно. Болела очень, а за границей и лекарства, и врачи — любого в порядок приведут. И она уехала в США — жить со своим новым русским, думал Павел. Ему казалось, что раза два Даша присылала ему в помощь не то двести долларов, не то триста. Но где они? Как он их ни искал, найти не мог. Потом известий от нее не стало, и тогда он сам для себя решил, построил сюжет, что богач, новый русский, прогнал Дашу, что она одна, бедствует в этой богатой Америке, живет в ночлежке для бомжей, но написать об этом, тем более вернуться — не может. Стыдится. На самом-то деле ей бы самой как-то надо помочь, что-нибудь из пенсии откладывать, найти эти дурацкие, неизвестно куда завалившиеся доллары. Но на какой адрес их послать? Записки и доллары она передавала с оказией, приходили какие-то странные люди, приносили послания и исчезали, а ему ни разу и в голову не пришло взять их координаты. Спасибо, что хотя бы зашли.

Да-да, как в романах когда-то им любимого Бальзака. Все понятно, ему как раз исполнилось шестьдесят шесть, когда он остался

один. А теперь ему – шестьдесят семь. В этом возрасте умерли оба его деда. Он лежал на спине и чувствовал себя Грегором Замзой, неожиданно превратившимся в насекомое-паразита. Ungeziefer, – вспомнил он немецкое слово. Неужели пенсионеры сродни паразитам?

Соседи редко заходили. У всех свои дела. Но отношения *теплые*, то есть *здасьте* и улыбки при встрече, иногда в Новый год зайдут с рюмкой или к себе зовут чокнуться. Случайные встречи в дверях или на площадке...

Раньше слово «пенсионер» чем-то напоминало ему слово «легионер». Пенсионер – это легионер на покое. Он один в трехкомнатной квартире. Все есть, а нищета. На Западе профессора на свою пенсию по миру катаются, а куда я доеду на трамвае? До парка – посидеть на лавочке? Так это тоже не жизнь, а умирание. Теперь понимал он долгие старушечьи разговоры на лавках, над которыми пошучивал раньше. Их попытки вмешаться в чужую жизнь, на что так досадовала молодежь, были простым желанием оказаться кому-то нужным и тем самым наполнить жизнь, продлить ее.

Так был ли он легионером? Студенты ждали от него какого-нибудь решающего слова, но его отпугивали все прошедшие по мировой истории полубессмысленные революции и движения, убивавшие десятки миллионов за те слова, которые через двадцать лет уже всех сместили. А дети хотели действия, активизма. Или хотя бы нового учения. А своего слова, которое требовало бы развития, у него не было. Были точные наблюдения, угадывающий анализ, из этого системы не построишь.

\* \* \*

Какой уж там активизм! С постели слезть не может. А еще и лекарства надо принять: ноотропил, сермион, декамевит, сиднофарм – все, что по бесплатным рецептам получал. Сил только встать нету. Надо же так удариться об эту железку! Он дотронулся рукой до болевшего места на спине чуть выше поясицы. Было больно, но, похоже, обошлось без перелома. Потому что боль была переносима, как от ссадины. Где-то он слышал, что если перелом, то дотронуться нельзя. А дотронуться можно, хотя синяк, конечно, будет. Так что паниковать нечего! Не из-за синяка же вызывать врача! Да и неловко привлекать внимание к своей особе. К тому же запах!.. Омерзительный запах, такой, что трудно дышать. Хотя и говорят, что собственной вони человек не замечает, но газы отходили, окна были закрыты, и Галахов поневоле оказывался в закрытом пространстве, где травил сам себя собственными от-

правлениями. Хорошо бы встать, в туалет сходить, но еще и окно приоткрыть. Как-то исхитрившись, они с Дашей, до ее отъезда, сделали пластиковые окна, чтобы уличный шум не очень доставал. Но, закрытые, окна и запах не выпускали на улицу.

Почему он такой нерешительный? Слишком уязвим.

Себя он порой чувствовал мужчиной по имени Золушка. Всегда мучило чувство бесконечной ответственности. Подростком, открыв перочинный нож, ходил к парку встречать с работы маму, боялся за нее. За всех боялся. О себе не думал, думал, что сам всем обязан, а потому по мере сил надо отдавать долги. С первой женой Леной долго не мог разойтись, хотя любовь давно кончилась, домом она не очень-то занималась, даже посуду после гостей он мыл сам, к его книжным занятиям она относилась вполне иронично. Но он не уходил, хотя роман с Катей привел к рождению дочки, не уходил, потому что обязался быть с ней, исполнять ее прихоти. В детстве младший брат Цезариус был королем во дворе, знали, что старший брат выйдет в любую минуту и расправится с обидчиком. А как он этого брата устраивал в институт, возил к влиятельным знакомым, переписывал статью одного из них и публиковал в журнале, где сам тогда работал: от этого человека зависела оценка сочинения. Прибегал и позже, когда тому грозила опасность. Потом брат завел большое коммерческое дело в масс-медиа, вышел на международный рынок, тогда Павел стал ему мешать. Несветскостью, что ли? Вначале, приглашая к себе, дверь не открывал. А потом, не извиняясь, говорил, что ему было некогда, что у него была важная встреча с западными людьми. Ужасное ощущение — стояние перед запертой дверью, в которую даже записка не всунута, что, мол, приду тогда-то. А потом и вовсе перестал приглашать. Деньгами он ворочал немалыми, но Павла все время упрекал: «Тебе хорошо, ты живешь на зарплату, ежемесячно получаешь деньги через кассу и ни о чем не заботишься. Попробовал бы ты жить, как я! У меня нет гарантированной зарплаты». Теперь Павел получал *гарантированную пенсию*, а брат, став типичным русским миллионером, перебрался в Лондон, где собирались российские олигархи. Хозяин жизни! Вот и к отцу его погнал, как мальчишку, наставительно и требовательно говоря в трубку: «Если я могу из Лондона положить отца в больницу, то, кажется, ты можешь хотя бы раз в день к нему съездить, навестить. Ты же пенсионер, ничем не занят». Разница у них была в пятнадцать лет, молодость Цезариуса пришлось на перестройку, он сумел в новую жизнь вписаться. И не желал думать, что брат уже больной старик.

Все заняты сиюминутным, словно не понимая, что скоро умрут. Его часто посещало странное чувство. Глядя на смеющегося старика, работягу, засовывающего в карман бутылку водки и торопящегося на пьянку, женщин, рассуждающих о каких-то покупках, больных в поликлиниках, человека, радующегося обновке, он все время воображал, что все они живут вроде как для вечности, а на самом деле для дурацких пяти минут. Живут так, словно всегда будут жить, словно им никогда не приходила мысль, что настанет момент, когда их на этом свете не станет... Ну и что же? — спрашивал он себя. — Сразу кончать самоубийством? Уж лучше жить так, что твои пять минут и есть вечность. А что есть вечность? Гениальная идея Андерсена в «Снежной королеве», что вечность нельзя сложить из льда, сотворить ее ледяным холодным сердцем. Она требует сердечного тепла. В той мере, в какой она возможна, она создается временно, любящим сердцем.

Как же она решилась на отъезд? Он с трудом мог это вспомнить. Перед тем, как уехать в Америку, Даша стала худеть, слабеть, но работать продолжала. Потом сказала, что ей предстоит небольшая операция, по женской линии, и неопасная, добавила она. «А может, и в Америку уеду, — странно улыбалась она. — Уж там точно перестану работать. Устала очень. Надо и отдохнуть».

Он старался не слушать этих ее слов. Неужели она может его оставить? Наконец, она отправилась в больницу, просила ее не провожать, мол, скоро вернется. Беспокоилась, чтоб он без нее вовремя принимал лекарства. Он принимал лекарства, на душе было горько, как будто пил какие-то горькие микстуры. Один раз она позвонила, беспокоилась, как он себя чувствует. А он еще переживал, что перестал быть тем любовником, «фантастическим любовником», как она когда-то ему сказала, что постели у них уже по-настоящему не было, по его вине. Его ласк хватало теперь очень ненадолго. Конечно, она еще молодая, ей нужно что-то другое. Однажды он сказал ей это и услышал в ответ: «У тебя плохое настроение. Но зачем ты обижаешь меня? Мне же больно». Когда она говорила ему, что он нужен ей любой, он по мужской глупости не очень в это верил. И оказался прав, она все-таки оставила его. В тот день, когда это произошло, ему было очень плохо, он думал, что умрет. И радовался этому. Но не умер, просто стал передвигаться с трудом. Что-то в этот день еще было, но он забыл и не хотел вспоминать.

На следующий день после ее отъезда Галахов выполз на улицу, соседи смотрели на него странными глазами и сочувствовали ему. Подальше от сочувствий он пошел в Царицынский парк. Прошелся мимо императорских дворцов, вышел к большому пруду, сел на

бревно среди деревьев, тупо смотрел на воду, которая казалась ему бездонной. Спрашивал себя, мог бы он броситься в воду и утопиться. Но он же не Офелия и не Катерина, он — мужчина. Стоял поздний теплый август, деревья были зеленые, а у него болело сердце, и Павел с тревогой спросил себя, доберется ли он до дому. И тут, вертя тощим хвостом, подошла к нему черная узкомордая и, очевидно, немолодая дворняга и принялась вдруг тыкать носом ему в руку и просительно заглядывать в глаза. Он машинально погладил ее по загривку, она затихла и притулилась к нему. Потом они сидели, Галахов чесал ей машинально то за одним, то за другим ухом. А когда он отправился домой, собака за ним последовала. Прогнать ее не было сил, она была такая умильная. Он назвал ее Августой — по месяцу находки. Спала у него в ногах, он кормил ее тем, что оставалось от его еды, чаще всего заливал овсянку мясным бульоном, сваренным на костях. Она смотрела на него и все понимала. Благодаря ей Павел стал гулять утром и вечером.

Но ему было грустно. Глядя на тощий хребет Августы, он невольно вспоминал (начитанность не уходила) старика Смита из «Униженных и оскорбленных» Достоевского и его исхудалую собаку Азорку. Смерть Азорки оказалась предвестием смерти старика.

\* \* \*

Спина болела, когда он пытался повернуться. Может, все-таки врача вызвать? Но из «академической» перестали выезжать, а из районной придет толстая тетка и, глядя в другую сторону, начнет ворчать, мять спину и прописывать антибиотики: она считала их средством от всех болезней. Хотелось прежней молодой независимости, не хотелось стариковской униженности, уязвленности. Ведь он еще не старик! Его еще нельзя загонять на дерево! Но уже что-то подобное чувствовалось ему в равнодушии и пренебрежительности врачей.

И он уже сам замечал, что тон его становится, нет, еще не заискивающим, но зависимым. Принять, проглотить чужую грубость. А не возмутиться как раньше. Потому что деваться некуда. Вот и месяца три назад он сидел перед кабинетом зубного врача. Правая челюсть отяжелела, как свинцом налита, рот с трудом открывается. Кабинет закрыт, врача все нет и нет. Пошел стукнуться в ординаторскую, благо, на том же этаже, узнать, пришла ли Валентина Петровна вообще на работу. Открыл дверь. В маленькой комнатке со шкафами толкотня белых халатов. Увидел своего доктора, автоматически поздоровался, мол, «здрасьте, Валентина Петровна». Высокая тетка в плаще, стоявшая в центре группки других теток в белых



халатах, вдруг властным и грубым тоном оборвала его: «Куда претесь?! Вы все скоро в туалет за нами ходить будете. Не видите что ли, что это наша комната?!» И вдруг Павел с ужасом услышал свой голос, услышал, что он, как и положено старику, испуганно пробормотал, стараясь при этом казаться вежливым: «Простите, я не хотел никого обидеть».

Нет, надо лечиться народными средствами. Но какими? Он вдруг вспомнил давний разговор с приятельницей, эмигрировавшей несколько лет назад в Германию. То есть она уехала с мужем, который получил там двухгодичный контракт. Но когда он собрался вернуться и сказал ей об этом, она ему бросила (потом этот ответ долго по эмигрантским кругам ходил): «Ты меня Родиной не пугай!» Развелась с ним, нашла немчика и осталась. Так вот, как-то подхватив не то грипп, не то простуду, Павел пил разные лекарства, как вдруг позвонила Майя. Дальше произошел разговор, прямо для современной пьесы: «Болеешь?» — «Болею». — «Что с тобой?» — «Простуда, кажется». — «Чем лечишься?» — «Народными средствами». — «Помогает?» — «Не очень-то». — «Может, народ не тот?»

Нужен хотя бы глоток чаю. Чашка стояла у постели на краю комода. Он потянулся, не достал, надо было немного приподняться, подтянув тело, чтобы спина опиралась о подушку. Тело слушалось плоховато: вот что значит никогда не занимался спортом, да и толщину нажил, тяжел слишком. Он попытался сделать упор на локти, действуя силой плеч. Это удалось. Правда, сползло одеяло. Но это пустяки. Он поднял чашку, сделал глоток, но тут же вспомнил, что придется идти в туалет. А сможет ли? Невелико пространство, но сегодня для него немалое. От этих мыслей чашка в руке дрогнула, желтоватая чайная жидкость выплеснулась на наволочку подушки. Совсем противно стало. Чем-то старческим потянуло от этого желтоватого пятна. Надо бы не просто до туалета дойти, но и наволочку сменить, еще и отцу позвонить. Что за глупость! Вчера же еще, уже после падения, он ходил, даже за квартиру в сбербанке платил. Болела спина, но боль пересилить было возможно. Эх, если бы какая красивая девушка на него глянула (а лучше — Даша!), он бы непременно встал и все сделал.

\* \* \*

А какое у него еще дело? Недописанная книга, где он проводил странное сравнение между переселением народов в четвертом-пятом веках нашей эры, когда варвары потянулись в цивилизованные римлянами части тогдашней Ойкумены. Теперь русские сотнями тысяч едут в Европу и Америку, ругая почем зря эту ци-

визацию. Вроде его брата Цезариуса, который в России бывает лишь наездами из Лондона, но поскольку сохранил российское гражданство, эмигрантом себя не считает. Все на Запад прут — и богатые, и бедные, надеясь разбогатеть. А в Россию — люди с Кавказа и из Средней Азии. У них во дворе уже пару лет вместо русского пьяницы-дворника работали мальчишки-туркмены, тщательно метя и чистя двор.

Ладно, не о книге надо думать, а как до сортира добраться.

Зачем мои книги о толерантности, о наднациональной идее России, когда в Москве и Питере убивают таджикских девочек, убийц оправдывают, в крайнем случае дают срок как за мелкое хулиганство, а молодые скинхеды кричат об уничтожении всех нерусских. Вот и до русского фашизма дожили. И ведь не фашизм, а обыкновенный русский бунт, когда режут всех. На этой идее даже Третий Рейх не построишь. Смерть не строитель. Хорошо, что дочка моя в Швеции, внучка там и жена Катя, а Дашу ее новый русский вывез в Америку. Ругают новых русских, а они шкурой чувствуют...

Но его-то сейчас это не касается. У него простая задача — вылезти из постели и дойти до туалета. Не мочиться же в постель. Тогда он здесь вообще лежать не сможет. А кто к нему придет? Никто. Сослуживцы бывшие в лучшем случае на похороны скинутся, да на кладбище придут. Друзья? Их так мало осталось. Столько уже приятелей, едва к пятидесяти подходило, умирало. Двух он даже считал близкими друзьями. Только один человек звонил ему постоянно — друг детства и ровесник Леня Гаврилов. Он рассказывал анекдоты, вычитанные в «Комсомольской правде», в основном эротического содержания, повторяя: «Старичок, мы должны держаться. Жизнь ведь продолжается. Послушай, что пишут: “Если мужчина четыре раза сходит налево, то по законам геометрии он вернется домой”. А? Ха-ха! Нас еще рано в утильсырье. Слышал про Давида Дубровского, из ваших, из гуманитариев? Ему семьдесят четыре, а жене двадцать четыре, они уже ребенка сделали. И мы, старичок, должны держаться. Главное — не раскисать! Ну, хочешь, я тебе альбом сделаю с Дашиными фотографиями? Может, тебе легче будет?» Да, ему не нужна была никакая другая женщина, кроме Даши. Спасибо Лене, что звонит. Отец последние годы никогда ему не звонил, всегда ждал его звонков, часто ему пенял: «Ну, ты еще молодой. Мне осталось уже немного. Поэтому мне можно жаловаться, а тебе еще нельзя». Что ж, получил свое. Когда они с Дашей только начали жить вместе, он ворчал. «Я ведь умру раньше тебя», — говорил он. «Это никому неизвестно, кто когда», — очень серьезно отвечала она.

А потом она уехала, и этот разговор потерял смысл. Только одно осталось: чувство потери, да и говорить теперь было не с кем. Уже давно, чтоб создать себе эффект общения, он звонил бывшим сослуживцам вроде по делу, но как бы между прочим заговаривал и о бытовых вещах. Те охотно отвечали, советовали, но сами не перезванивали никогда. Утешала Августа своей и в самом деле собачьей преданностью. А куда ей было от него деваться! Здесь все же кров и пища. Была она даже трогательна в своей забитой привязанности. Собака была запугана в своей несчастной бездомной жизни, вздрагивала от каждого шороха в квартире. Когда однажды Павел уронил на пол торшер, Августа так перепугалась, что не знала куда забиться, даже под комод пыталась, пока не заползла в узкую щель под тахту. Оттуда Павел ее потом едва извлек. Зато слыша шум шагов на лестничной площадке, Августа принималась отчаянно лаять, защищая себя, свою слегка наладившуюся жизнь и человека, пригревшею ее, отпугивая воображаемых врагов.

Нет, все не о том он думает. Надо сползать, не вверх на локтях, а наоборот боком из-под одеяла — и на пол. Пусть даже на четвереньки встанет. Все равно никто не видит. Прежде чем начать сползать, он оглядел комнату, нет ли чего полезного для сползания. Горел над головой ночник, за окном уже было темно, светились окна двенадцатиэтажного общежития напротив: с отъезда Даши он шторами пользоваться перестал. У окна на столе мерцал экран невыключенного компьютера. Может, послать сразу по нескольким адресам письмо: «Помогите, мне плохо!» А что плохо — спина болит? Но это надо преодолеть, в конце концов, он все мог преодолеть. Около стола валялась груда книг, которыми до больницы пользовалась Даша, переводя очередную книгу, так он эту груду и не разобрал, год прошел, а он все никак не опомнится. Единственно, что он запретил тогда очень жестко: он запретил себе спиртное. Он помнил, как запил его друг после смерти жены, и через год был конченный человек, а там и умер. Хорошо, что Даша не умерла, а нашла себе богатого мужа, который вывез ее отсюда. Нет, Галахов не смерти боялся, боялся пьяной пошлой смерти, когда с улицы приходят бомжи-собутельники и шарят у мертвого по карманам и в столе, не осталось ли на выпивку.

Да, комната без Даши совсем захламлена. Больше всего у него заставлен комод. Кроме чашки чая, будильника, валявшихся блокнотов, шариковых ручек, поводка для Августы, там стоял еще и телефон в стиле ретро начала XX века, подаренный ему сослуживцами, когда он уходил на пенсию. Зачем он это сделал? Ведь знал, что на пенсионные копейки прожить нельзя. С тех пор они существо-

вали на Дашины заработки и тратили пенсию на квартплату да на помощь отцу. До того момента, как Даша покинула его. А три дня назад его покинула и Августа. Побежала куда-то в кусты, да так и не вернулась. Звал он ее понапрасну. Ходил по соседям, спрашивал, не видел ли кто. Однако нет, никто ему помочь не смог. А молодая толстотелая соседка с большими грудями, жившая этажом ниже, сказала: «Да успокойтесь, дедушка. Может, ее бомжи покончили, на шапку. Да вам теперь легче будет, не придется утром и вечером с ней по улицам таскаться!»

\* \* \*

Слезая с постели, он все-таки упал. Встав на четвереньки, Павел попытался подняться на ноги. Проклятый шофер! Неужели задавить, или, точнее сказать, убить хотел? Или просто поугагать? Тот, кто в машине, по сути дела, — «человек с ружьем» против безоружных. Хорошо хоть успел из-под колес выскочить. Прав был Васек, его сосед по парте в первом классе. Он уже тогда понял, что шоферню следует обуздывать. Старик все же поднялся. Держался за притолоку двери, потом за стенки коридора. В туалете стоял, упершись головой в стенку перед собой. Его мутило, ноги подгибались. «Кажется, моя ветка трещит», — мелькнуло мимоходом и, слабя, он завалился на кафельный пол. От холода кафеля через время очнулся. Лежал и готовился помирать. «Это мне наказание, — сказал он себе, — за то, что другого старика стряхнул с его ветки».

Вчера выгнал он с лестничной площадки между этажами бомжа Александра Сергеевича. Между их этажом и следующим ниже угнезвился бомж. Запах от него стоял понятно какой. Из дверей квартиры стало трудно выходить. Он с позапрошлой зимы там прижился. Даша тогда его добром просила, в милицию звонила, спрашивала, где в нашем районе специальные приюты для бездомных. «Нету таких», — ответили ей менты. «А по телевизору рассказывали...». Те рассмеялись: «А вы что, всему, что в телевизоре рассказывают, верите?»

Но стояли морозы, гнать его было невозможно, Даша стала, как приبلудному псу, выносить ему еду. В разговоре он сообщил, что его зовут Александр Сергеевич (поначалу они решили, что врет, что во всем Пушкин виноват, но он паспорт показал — верно), что он бывший учитель математики, что ему шестьдесят шесть, уже три года не работает, а их подъезд выбрал, поскольку прописан на втором этаже, но бывшая жена и дочка его в квартиру не пускают, а он, однако, здесь по праву прописки. Во время разговора

Даша заметила, что три пальца на руке у него черные, спросила, что это, он ответил, что, наверно, отморозил. Тогда Даша вызвала «скорую», его забрали, но следующим вечером он снова был на своем месте, объяснив, что его в больнице помыли, дали переночевать, утром покормили – и выгнали. Вот он снова здесь и обретается. А на пальцы они даже смотреть не захотели. Даша снова вызвала «скорую». В этот раз приехала милая широколицая женщина, но с твердым выражением на лице, – такая, любимая Павлом разночинно-интеллигентская уверенность в себе, привычка настаивать на достойном. По просьбе Даши она посмотрела пальцы Александра Сергеевича, не снимая резиновые перчатки, как и было положено врачам «скорой». «Да, – сказала, – температура, воспаление, может дальше пойти, на начало гангрены похоже. Пойдет дальше – придется руку резать».

Даша умоляюще посмотрела на нее. «Понимаю, – пожалала та плечами, – но нам запрещено бомжей госпитализировать. Всех больных перезаражать могут. Кто знает, что они на себе носят. Ладно, беру на себя. Уговорю нашего хирурга». И Александра Сергеевича увезли, не появлялся он долго, уже Даша уехала, а его все не было. И вот явился. Вернувшись на площадку, рассказал, что месяц пролежал в больнице, руку ему вылечили, потом где-то скитался почти год, а идти все равно некуда. Пока бомжа-пришельца не было, соседи выяснили его историю. Оказалось, что и впрямь он в квартире на втором этаже прописан, пришел добродушный участковый, проверил паспорт: прописка правильная. Но вселять отказался, поскольку насильно к жене поселить его не может, тем более и ситуация сложная – там коммуналка, соседи тоже протестуют. Конечно, поначалу жену ругали – стерва! Двери она никому не открывала, смотрела в глазок, кто звонит. А потом пошли по соседям и узнали. Александр Сергеевич лет пятнадцать назад бросил ее с малолетней дочерью и ушел к овдовевшей генеральше, ушел и забыл, ни разу не появился, денег ни копейки не посылал, дочку сама растила, а работала всего-навсего на почте. Жила весьма бедно. Что там с генеральшей произошло, но год назад А.С. снова явился. Бросив жену, из квартиры он не выписался, формальное право имел вселиться. Однако квартира была двухкомнатная, коммунальная. В одной комнате брошенная жена с дочкой, в другой – соседи. Пускать его было некуда: только к себе в комнату, чего она не хотела и боялась. Ситуация безвыходная.

И вот вчера он сам стряхнул старика с дерева. Хотя А.С. был и помоложе его, но тоже пенсионер. Пришла соседка из квартиры напротив, позвонила вчера вечером Павлу в дверь. «Вы все же

мужчина, Павел Вениаминович, — она улыбнулась немного иронически, — а у меня просто сил не хватит, да он меня и не слышит, потому что слово женщины для него не существует, он ведь женщин за людей не считает. А вы, хоть уже и в возрасте, но вид внушительный. Может, он вас хоть испугается. А то прихожу домой, квартиру отпираю, запах, сами понимаете, но мы вроде притерпелись, но ведь он прямо по лестнице вниз от моей квартиры, весь мне виден. Вчера пьяный напился, валяется, ширинка расстегнута, хозяйство наружу. Видно, перед тем, как отрубиться, онанизмом занимался. Таньке моей пятнадцать лет, ей такое ни к чему видеть. Я вчера его пинками подняла и на улицу выгнала. А сегодня прихожу, он снова с бутылкой в обнимку и мне кулаком грозит, да еще какую-то блохастую собаку с собой привел».

При слове «собака» Павел даже вздрогнул. Но соседка поняла и отрицательно, с сочувствием покачала головой: «Нет, не ваша. Не Августа. Так поможете?» Никогда Павел не умел людям грозить, тем более выгонять их, да и драться, если честно сказать, тоже не умел. Он и представить не мог, что должен сказать А.С., чтобы тот ушел. Он вышел на площадку в теплой домашней куртке, которая уширяла и без того его широкие плечи, к тому же в ней он чувствовал себя мужественнее (бывает такая одежда), посмотрел на А.С. сверху вниз как можно мрачнее и произнес неопределенно: «Шел бы ты, мужик, отсюда, чтобы хуже не было». Кому хуже? Но бомж вдруг засуетился, сунул бутылку в отвислый карман драпового вонючего пальто, встал, подобрал подстилку и суетливо побрел вниз. Ветка надломилась, и старик упал с дерева.

А другой старик вернулся в свое жилище, думая, что сам он несколько не лучше. Прошло два дня. Одиночество давило его. Исчезнувшая три дня назад собака Августа стала казаться каким-то страшным зовом судьбы. Он ее искал целый день, звал, но она не вернулась. Без нее квартира стала совсем неудобной. А после вчерашнего падения он чувствовал себя словно выбитым и из того физического состояния, которое поддерживало в нем жизнь.

С трудом он начал подниматься с кафельного пола, но руки-ноги подгибались. Хотя бы доползти до комнаты, до телефона, приказывал он себе. Но сил не было. Павел лежал, из глаз катились слезы. Похоже, что на этот раз он в самом деле плакал. Плакал о совершенно непонятно зачем прожитой жизни. Все же он приподнял голову. Зачем? Чтобы встать? И вдруг усилием воли встал. Голова кружилась, он с трудом сохранял равновесие. Потом ощутил, что ему стало трудно дышать, грудь сжималась при каждой попытке вздохнуть, от жуткой слабости подгибались ноги, спина по-

крылась потом. Ему стало страшно, он ослаб, снова сел на пол. Но даже ползком он уже не мог добраться до телефона.

\* \* \*

Его душа еще блуждала по Земле, сорок дней ей было предназначено скитаться здесь до ухода на небо. Он умер, но ни брат, ни сын не интересовались по-прежнему ни его жизнью, ни смертью. Спohватился отец, которому он перестал звонить. Дозвонился до внука, то есть сына Павла, брат, как всегда, был в Лондоне. Сын ответил, что занят, что ему некогда, но все же приехал, взломал с милицией и людьми из ЖЭКа замок, вошел в квартиру. Оттуда позвонил дяде в Лондон (они все же иногда общались), тот сказал, что похоронить надо по-человечески, что он пришлет три тысячи баксов, но особо оповещать и собирать народ не надо. А то слишком много хлопот. И без того кто-нибудь да придет. Народу и впрямь было немного.

И Павел видел свои скудные похороны, видел, что ни брат, ни отец, ни сын на похороны его не пришли. Впрочем, брат и денег обещанных не прислал. Был друг детства Леня Гаврилов с женой, он привел нескольких общих знакомых, писатель Борис Кузьмин высокопарно говорил о трудности оставаться человеком в этой жизни, которая, добавил он вдруг афоризм, «вовсе не школа гуманизма». Старый бабник Томский пустил слезу, сказав: «Павлушка, ты был хороший. Мы скоро за тобой последуем. Но тебе-то, наверно, небо определено, а куда нас отправят?»

И снова заплакал. Пришло также несколько бывших сотрудников Галахова. Даши не было. И Павел заглядывал в лицо всем пришедшим в безумной надежде, что вдруг обознался, вдруг она просто в другой одежде. Но не увидел. Душа как птица присела на одинокое дерево у могилы. Душа плакала и думала, что, наверно, Дашу ее новый муж не отпустил даже на похороны. Душа его долго блуждала около этой пустынной могилы. Через месяц прилетела из Швеции дочь, а жена Катя, видимо, осталась там караулить внучку. Дочка долго плакала, сидя на лавочке у могилы. Потом улетела назад. А Даша так и не показалась здесь. И только спустя сорок дней он понял, почему она не пришла, осознал то, о чем не хотел думать весь последний год. Даша давно ждала его на небесах, где они и встретились, наконец.

*Сентябрь 2007*

# Зло на пороге

Вдоль дороги — лес густой  
С бабами-ягами,  
А в конце дороги той  
Плаха с топорами.

*Владимир Высоцкий*





# Мутное время

(Из цикла “Сны”)

*Сон правду скажет, да не всякому*

Русская народная пословица

## Сновидец

**С**тоит мне остаться одному или уехать куда-нибудь to be alone, как на меня наваливаются сны — один другого чуднее и страшнее. Посплю полчаса или час — и просыпаюсь от очередного кошмара или нелепицы. Полежу тихо, в потолок погляжу, хотя и не вижу его, но знаю, что он должен там, наверху, быть, и опять засыпаю. А сон уже поджидает меня, ждет не дождется. Хорошо хоть, что приучил себя не кричать во сне. Разве что пот холодный по спине да волосы взъерошенные. А чего, казалось бы, бояться? Атомная бомбардировка мне не снится, хвостатые кометы тоже, огненные знаки в небе мне не являются, НЛОнавты меня избегают. Все больше из нашей жизни, обыденность какая-то, но каждый раз так перекошена, что еще страшней и правдоподобней, чем наяву. После снов этих на улицу выходить жутковато.

Нельзя, конечно, так жить! Бред сплошной, никакой ясности сознания. Хотел было уж к врачу отправиться. Хотя и побаивался. Неловко как-то признаваться, что ты не в себе. Но очередной сон мне приснился, и не пошел я никуда. Живу, как мне суждено.

А приснилось вот что.

Какой-то домик одноэтажный, собранный из кусочков: из бревен, досок, жести, фанеры, в окнах где стекло, а где и слюда, словно все строение в заплатках. Забора огораживающего нет, бурьян и лопухи во дворе. Грядок нет. Ни собаки, ни курицы, ни поросят. Только черные коты шмыгают из подпола во двор, со двора в подпол. Но кроме крыс и мышей вряд ли кто и там имеется. Домик этот, избушка эта покосившаяся, говорят, одним духом хозяина и держится. Лекарь здесь живет. Души врачует, а денег не берет.

Но редко ходят к нему, боятся. А я и заплатить готов, лишь бы от снов своих проклятых избавиться.

Стучу. Ответа нет. Опять стучу. Нет ответа. Дверь толкаю — сама собою открывается. Без щеколды, значит, человек живет. Никого не опасается: ни случайного забулдыги, ни лихого придорожника. Странно это: в стране нашей всегда, кто посмышленей, хоронились и прятались — и от чужого, и от своего. Вхожу. За секретером хозяин сидит, что-то пишет. Сидит к двери спиной. От секретера вверх две или три книжные полки тянутся: на них толстые книги в кожаных переплетах — фолианты старинные. В комнате полумрак. А перед пишущим слева свеча в подсвечнике стоит. Я дверь за собой прикрыть не успел — пламя заколебалось. Тут я замечаю, что на окнах изнутри ставни. Робею его окликнуть. Слава про него дурная идет, будто он — «злокозненный философ», а не только лекарь, и никому доброго слова не сказал ни разу.

Глядь — а он уж передо мной стоит и меня рассматривает. А я тоже на него уставился. На нем сюртук, который я только на картинах да в кино, прошлую жизнь изображающее, видел. Чело, как череп голый, а щеки обвисли, как у бульдога. Веки набрякли и синие припухлости под глазами. Отчетливо это я все вижу, потому что близко мы от открытой двери стоим.

Голос пронзительный, противный, без смягчения интонации:

— Богов боишься?! — будто обвиняет в чем-то.

— Почему?

— Они сны насылают. Неужто не знаешь?

— Забыл, — отвечаю, а сам думаю: «Вот это лекарь! Я ему еще ни слова, а он угадал все».

— Забыл ли? — усмехается он. — Поверить в это боишься — вот в чем дело. А сон — орудие Божьего промысла, будущее приоткрывает. Правильно истолкуешь — большая польза людям, да и тебе тоже.

— Не умею я толковать.

— Тогда смотри хотя бы. И запоминай. Толкователь найдется.

— Устал я, — бормочу. — Да и сны какие-то мутные, невнятные, государственных вопросов не касаются и *личностей политиков наших* тоже. О себе сны да о близких.

— А ты Фрейда вспомни. Сон и есть способ самопознания, порой общезначимого. Ты видишь то, что другие лишь чувствуют, ибо никто сегодня не знает, что будет завтра, но трясутся от страха.

— Не хочу я видеть этого!..

— Не хоти. А все равно придется. Неизлечим ты. Свыше тебе болезнь послана, — и вдруг приближает свое лицо к моему, в гла-

за мне заглядывает. — Хотя я готов помочь тебе, раз так мучаешься. Сумеешь в семипудовую бабищу воплотиться или хотя бы жить с ней — поправишься!.. В ту, что в твоём доме этажом ниже живет.

Все так же в комнату дальше пройти не предложив, отступают, а передо мной бабища эта оказывается — страшной войны. Сразу я ее вспомнил. В любую погоду ходит в тапочках с разрезанными задниками, одна пол лифта занимает, а амбре потом — в лифт не войти. Рот похабный, сальный, вечно жует что-то, глазки узкие, заплывшие, и вонючая, как протухшее мясо. К ней и приблизиться-то противно, а уж в нее воплотиться — слуга покорный!

А он издали фальцетом:

— Вот твоё лекарство, твоя суженая. Примешь ее как муж — ничего тебе сниться не будет.

Отшатываюсь в ужасе. Тошноту чувствую, прямо к горлу подкатывает. А бабища надвигается, улыбается *женской* улыбочкой, и от того еще отвратнее делается. Рядом с ней откуда-то корыто с каким-то жирным, прогорклым варевом.

— Сладкий ты мой! — курлычет она. — Я уж и отрубей с требухой наварила. Нахрюкаемся и в постельку. Поласкаю тебя. Я и зимой согреть могу, я горячая. А ты потопчешь меня, как петух курочку.

И грудями своими прет мне в лицо. Растет она, а я перед ней маленький, слабый. Голову нагнула, губами слюнявыми к моим губам тянется, из пасти у нее запах такой, что не вздохнуть — смрадный, тягучий, настоящий. Жить с ней еще немислимее, чем в нее превратиться. Закрывать глаза и не обонять, не видеть этого ее толстого брюха, утробы, скопища сала и дурной, плохо приготовленной пищи!.. И такое мне на каждый день и каждую ночь?! Уж лучше сны, мелькает в голове.

И тут меня захлестывает по маковку дурнота, меня мутит, выворачивает. Но нет облегчения. Запах ее у меня в ноздрях стоит. Блюю, весь изогнувшись, прямо в корыто. Спазмы рвотные не прекращаются, уже желчь идет, а я все проснуться не могу.

Лежу на полу, весь обессилев, в слезах и соплях. Бабища исчезла, корыта тоже не видно, а надо мной лекарь склонился, одной рукой стакан воды протягивает, другой за плечи придерживает, чтобы сел я. Шепот пронзительный, но с состраданием.

— Нет другого лекарства, увы, нет. К ней, как к почве, прильнешь, сыт и доволен будешь, и никакие видения тебя не посетят. А не хочешь из корыта хрюкать, не бойся снов. Не хлебом единым жив человек.

Воду пью, зубами за стекло зацепляюсь, сиплю:

— Ага, не хлебом.  
Такое вот мне привиделось как-то в дремоте.  
Живу с тех пор, к врачу не обращаюсь.  
И сны смотрю.

*16 марта 1991*

## **Маленькие девочки**

В салоне у первой жены. Почему-то приглашен. Полно народу. Все светские и пьют водку. Я тоже, хотя притормаживаю. Чтоб в руках себя держать. Все на меня смотрят исподлобья и с любопытством. Какой, мол, стал?.. Изменился или нет?

Бывшая жена, она же хозяйка, все подкалывает меня. Себя утверждает. А подкалывая, не дает уйти. Меж тем, давно пора. Мне далеко ехать. Остальные или на машинах, или рядом живут. Удобно устроились, потому что на улицах нынче жутковато.

Бывшая жена все вопросы задает. Отвечаю обстоятельно, хотя и сдержанно. Чувствую ее настроение: дескать, раз бросил меня, теперь терпи. И терплю, что поделаешь! Права ведь во многом. Тут начинают и другие гости разговоры о поздноте заводить: что-то неспокойно вечерами на улицах. Режут всех подряд.

Но никто все равно с места не встает. Сидим, курим, выпиваем. Набравшись решимости, выдавливаю из себя:

— Пора идти. Боюсь, что уже поздно.

— А ты не бойся, — отвечает хозяйка, иронически на меня глядя. Наконец-то уела!

Я все же ухожу. Темнота. Слякоть. Фонари едва мерцают, освещая грязные лужи, углы домов и окна с притушенными огнями. Ждать автобуса или трамвая бессмысленно. Надо двигаться. Мне бы в метро до закрытия попасть. А метро не близко.

Дома кончаются. Шоссейная дорога мимо лесопарка ведет. Ни прохожего, ни машины, ни огонька. Тишина. Поэтому от каждого лесного звука невольно вздрагиваю. Помню, что дорога вдоль леса минут на десять пути. Иду себе, бреду. Но вот, наконец, впереди снова темные высотки: дома замаячили. И тут, на краю лесопарка, вижу одноэтажный домик: свет горит, занавесочки, за занавесочками герань, музыка доносится. Вслушиваюсь. Кажется, Шуман — «Альбом для юношества». Кто-то на рояле играет. Вглядываюсь. Прямо чудеса! Живут, никого не боятся. Крылечко с перилами, дверь в полутемную веранду отворена. Тихо стучу в стекло.

Появляются на крыльце две девочки. На той, что повыше, постарше, на плечах белая шаль. На младшей — тоже белая. Улыбается мне в полумраке. Одной лет двенадцать, другой лет шесть.

— Здравствуйте, — говорят. — Куда же вы идете в такую темень?

— Надо, — отвечаю. — Домой пора. Извините, девочки, что беспокоил. Хотел узнать, кто в таком милом домике живет.

— Мы живем. Одни живем, — хором девочки восклицают. И голосок у обеих такой нежный, что за сердце берет.

— А вам не страшно вечерами одним?

— Иногда страшно. А ты оставайся с нами. У нас папы нет. Она, — старшая указывает ласково кивком головы на младшую, — особенно без папы страдает. Я уже большая, уже умею терпеть. А она у меня маленькая сестренка, она часто плачет. Оставайся. Мы о тебе заботиться будем.

Но у меня в голове цель сидит:

— Нет, — возражаю, — мне домой надо.

Сам же думаю: а зачем домой? Дома пустая комната с книгами. И никого, даже собаки нет.

— Что ж, — вздыхают девочки, — мы тогда проводим.

Провожают меня через овраг и какие-то буераки. Идем вдоль не то разрушенного, не то недостроенного дома. Развалины, куски арматуры, кучи песка. Вдалеке загорается буква «М».

— Видишь, впереди светится? — спрашивает старшая. — Это метро. А нам дальше нельзя.

Хочется мне с ними остаться. С ними покой. Хоть эту ночь на веранде их домика переночевать.

Но, помахав им последний раз рукой, иду. Не оборачиваюсь. Понимаю, что и они к себе домой пошли.

А мне пройти через стройку надо.

Ямы для фундаментов со склизкими краями, внизу, в ямах, вода. Мокрая глинистая тропка. Ее перегораживают обломки стены, бетонные плиты. Между плитами да над ямами мосточки, покрытые засохшим цементом. Балансирую, спотыкаюсь. Болят от напряжения ноги. Горы щебня, носилки брошенные, груды побитого, поломанного кирпича. И все не кончается этот пейзаж, все тянется тропка.

Почему-то страшно мне через эту бесконечную стройку идти. Даже вдоль леса не так страшно было. А назад вернуться неловко. Большой дядя! Должен делать, что сказал, а не пятиться со страха. И неожиданно так ясно мне становится, что никогда я с этой стройки не выберусь, а завтра найдут меня здесь мертвым.

Может, не поздно еще повернуть?..

## Тигр

Во дворе никого нет. Я поднимаю голову и с тоской смотрю на серый высокий прямоугольник дома. В этом доме я уже полгода снимаю однокомнатную квартиру. В шахте лифта здесь обитают крысы, они бегают и по двору, в квартире — тараканы. Мой бывший дом за два квартала отсюда. Но как будто далеко-далеко. Не расстояние меня отделяет, а целая жизнь. Я теперь одинок.

Я иду туда, где еще в прошлом году гулял со своей маленькой и рыжей кокер-спаниэлихой, ласковой и доверчивой. Если она с кем-нибудь (пусть даже из бывших домашних) гуляет, то хоть издали погляжу. Иду растрескавшейся асфальтовой дорожкой к шоссе. На той стороне небольшой парк: кусты, деревья, летом там лужайки и посыпанные гравием тропинки. Под большим дубом площадка «для выгула собак». Но до нее еще надо пройти. Медленно двигаюсь мимо окутанной паром двухэтажной прачечной красного цвета.

Перехожу дорогу, огибаю кусты. Ранняя весна. Лужи. Под водой еще лед, снег грязный, рыхлый, а там, где утоптан, то скользкий. Проползши по мне зло-внимательными глазами и не поздоровавшись, осторожно ступает по этой склизкой, зимне-весенней дорожке, вьющейся по парку, литературная дама Катя Хавроньева. Когда-то с виду была неуклюжая. С боку на бок переваливалась. После замужества построилась и стала носить дорогую одежду. Нос у нее дырочками вперед, на носу большие круглые очки. Лицо молодое, но уж, конечно, никакого простодушия на нем.

Откуда она взялась? Ведь в другом районе живет. Тут я понимаю, что она мне снится и что во сне все бывает. Это соображение меня успокаивает, и сонное действие разворачивается дальше. Иду следом за Хавроньевой. Скольжу. Хватаюсь за ветки кустов с уже набухшими почками. Литературная дама направляется к прачечной. В руках у нее сумка с грязным бельем и рубашками мужа. Неужели на людях будет свое грязное белье стирать? Впрочем, таким, как она, ничто не зазорно. Чувствую исходящую от нее ненависть.

Она всех ненавидит и желает гибели любому, кого может счесть соперником своего мужа. Ей двадцать шесть. Но злобы к *чужим* у нее на старую Бабу-Ягу. Я чувствую, что она хотела бы меня уничтожить. Во сне это желание кажется мне убедительным и обоснованным. Я ведь почему-то помеха ее благополучию. Хотя именно я устроил ее на работу, откуда она меня потом выжила. Я вспоминаю Катин, слегка гнусавый рокошущий басок и обращение (из редакции — при всех! — по телефону) к мужу: «Андрюша, птица! Прилетай за мной к шести». Ее муж, которого она увела от

двух маленьких детей, — молодой, хваткий и хищный литературный критик. Брак создал ей положение. На меня она не смотрит и не здоровается *принципиально*: содеянная подлость лучше всего оправдывается, если причинена человеку *других взглядов*. Да и человек я старомодный, ясно уже, что в карьере ни ей, ни мужу помогать не буду.

Но что она здесь в моем сне делает?..

Вот и площадка, почти пустая. Несколько собачников курят в углу. Собаки носятся, роют носом и лапами землю, раскисшую и оттаявшую на исхоженной вдоль и поперек площадке. И вдруг они замирают. Поджав хвосты, скулят. Сбиваются в кучку. Какие-то беззащитные становятся. И собачники цепенеют, не шевелятся. Уставились на шоссе, а глаза стеклянные. Сigaretка прилипла к нижней губе одного из них, а он ее не сплевывает. Поворачиваю голову, хочу понять, что их так ошеломило. Гляжу и вижу: на шоссе стоит и озирается ростом много выше самого крупного дога красавец тигр оранжевого цвета. Стоит вроде бы спокойно, недвижно, но усы топорчатся, и хвостом себя по бокам нахлестывает.

Потом вижу несущуюся толпу людей, и себя ощущаю внутри этой толпы. Мы вламываемся, вталкиваемся, втискиваемся в прачечную. Кое-как уплотняемся, захлопываем стеклянную дверь и глядим сквозь нее. Народу набилось много. Улица совсем пустая перед прачечной. Собаки куда-то исчезли. И разговоры:

— Скоро год тигра. Пришел проверить, как здесь и что, ждем ли.

— Ох, поест он всех людишек-то!

— Да не за людьми он, а за собаками пришел...

— И правильно. Собаки энти экологию нарушают!

Не пойму, чей голос — ненавистника собак или собачника-предателя? Но никто из собачников в защиту друзей четвероногих не вступается. Напротив, еще голос слышу:

— Срут везде, гадят... Лапу под деревом задерет и льет!..

Озираются все, друг на друга смотрят диковато. На молчащих собачников, как на врагов поглядывают. Или как на жертвы?.. Вдруг Катя Хавроньева на меня пальцем указывает:

— У него собачка, он ее за пазухой прячет!

И мне:

— Вы должны, если вы порядочный человек, ее на улицу выбросить. А то вам никто из приличных людей руки не подаст.

А другие:

— Да выбрось ты свою собачонку.

— Давай, мужик, выбрасывай. Пока тебя самого на хрен не вытолкнули вместе с твоей суккой!



Пожимаю плечами:

— Нет у меня собаки.

Не верят. Куртку расстегиваю: проверяйте, мол. А сам думаю: «Какой же я негодяй! Испугался! И хоть не взаправду, а предал дружка своего. Дружка, о котором сердце шемит».

Служащие прачечной заперлись на втором этаже. Столпившиеся внизу люди злее собак. Грязные, небритые, страшные. Глаза нехорошим блеском блестят. Понимаю: если б не страх, что если дверь открыть, то тигр ворвется и резню устроит, давно бы кого-нибудь ему выбросили. Чтоб успокоился. Может, и меня.

— Эй, смотрите! — кричит один с прилипшей к губе сигареткой.

Приникаем к стеклу. По тротуару, не глядя по сторонам, идет простовато одетая женщина в черном драповом пальто и шляпке. На поводке ведет черного ризеншнауцера. Вздох облегчения по прачечной: *их* тигр сожрет, а *нас* не тронет. Одна Катя досадует, что не я тигру попался. Прыжок оранжевого зверя. Беззвучный крик женщины. Она падает на землю. В окно видно, с какой легкостью тигр растерзал и тут же слопал огромного ризена. Но хозяйку не тронул, перепрыгнул через нее и исчез. Не смотря друг другу в глаза, покидаем прачечную.

...Наутро в соннике читаю: «Если Вам снится идущий на Вас тигр — значит, Вам будут всячески досаждать Ваши враги». Но «видеть во сне убегающего от Вас тигра — предвещает Вашу победу над врагами». Впрочем, столь же двусмысленно и про собаку: если «мирная», то — «добрый друг», если «нападающая», то — «лютый враг».

А про встречу усталого, одинокого и беззащитного человека с Катей Хавроньевой — ни слова.

19 января 1991

## Незванные гости

В помещении редакции, в зале. Длинный стол, вокруг стулья, на окнах цветы, застекленные шкафы с томами Большой советской энциклопедии и номерами журнала за несколько лет. Я разговариваю с Сашей П. Он сын большого партийного начальника. Будто он снова у нас работает. Ведь когда-то именно в редакции мы познакомились. Как всегда — в состоянии (с моей стороны) полувражды.

Он мрачен. С похмелья.

— Родитель зовет обедать. Хоть рюмку выпью. К нему я тебя не зову. А ко мне зашел бы как-нибудь. Подружки Манечкины будут.

– Как-нибудь, – отвечаю.

– Слушай, ты что опять такой? Давай мириться и дружить. Тебе хуже не будет. Сам знаешь, время жуткое. А мы – одного поля ягода.

Я качаю головой отрицательно.

– Да нет, мы с разных полей.

– Я хочу сказать, что мы оба образованщина. Обоих на одном фонаре повесят.

– Не бойся, тебя не повесят.

– Я и не боюсь.

Уходит.

Помещение вдруг делается вроде школьного класса. Парты. На стенах карты висят, диаграммы. Школьная доска. Учительский стол. Но я по-прежнему взрослый. Только что с Сашей отговорил. При этом стою около *своей* парты. На ней груда вещей: помимо книг и тетрадей какие-то засаленные бумажные брюки, драные, пропахшие потом и грязью ковбойки, рваные, вонючие носки. Принимаюсь их разбирать.

Вдруг класс заполняется людьми. меховые лица и шапки. Ясно, что неформалы. А может, вечернее отделение какого-то факультета. Или, скорее, совещание какое-то!

Но кто им разрешение дал пользоваться нашим помещением?! Военизированным людям! Потому что вижу: они в полугимнастерках, галифе, сапоги. У нас ведь гуманитарная организация! А у них и лица давно не бритые. Жуткие, черные щетины.

Подбегаю к самому длинному, с подвязанной щекой, понимаю, что *второму* по чину в этой шайке, *первый* уже за учительским столом, кричу довольно строго:

– Что вам здесь надо?!

Отвечает, дергая головой в сторону, не глядя на меня, глотая слова и окончания слов, но я догадываюсь и воспринимаю ясно:

– Мы в вашем помещении проводим занятия.

Бритоголовый начальник, сидящий за учительским столом, подтверждающе кивает и иронически смотрит на меня: что, мол, будешь делать? Нас здесь много.

Его взгляд самодовольно окидывает заполненные людьми парты, он словно приглашает и меня взглянуть на страшные рыла своих подчиненных – небритые, глумливые, толстые ряшки.

– Кто это «мы»? – кричу, чувствуя, что и сам уже догадался.

– Организация, – высокомерно бросает длинный, все так же дергая головой, а щека все так же подвязана.

А бритоголовый иронически выцеживает сквозь зубы:

— Мы к вам в гости. Опытном поделиться. Чтоб вы у нас поучились.

— Нам не надо, — бормочу, потом голос опять повышаю: — Не имеете права! Это же редакция! Тут бумаги!..

Но на мои слова никто больше не обращает внимания. Люди с меховыми, шерстяными, щетинистыми рожами продолжают усаживаться поудобнее за парты. И тут я окончательно понимаю: это какая-то фашистская группа. Фашисты. Не немецкие, конечно, а наши. Они выбрасывают на пол хранящиеся в партах рукописи статей, папки, короче, обычный редакционный хлам. И засовывают на освободившиеся места свои ранцы. И хотя мне плевать на выброшенные бумаги, я возмущаюсь бесцеремонностью пришельцев.

Бегу в раздевалку. Но все ушли. Только уборщица. Она советует сходить к директору Института. Поднимаюсь на лифте. Но уже полшестого. Секретарши Тани на месте уже нет. И дверь его кабинета заперта тоже. Все ушли. Здание пусто.

Сажусь за телефон. Набираю номер милиции. В дверях появляется высокий с подвязанной щекой. Повязка прямо через меховую морду тянется. Подходит и становится с левой стороны от меня, чуть сзади, и слушает мой разговор. Мимо открытой двери мелькают фигуры незваных гостей, из коридора слышен их регот. Здание в их руках.

В милиции просят меня представиться. Я называю свою еврейскую фамилию.

На шее у меня удавка.

— Тебя-то нам и надо, — хрипит высокий мужик с меховым лицом.

Хочу крикнуть, но рот спекся.

...Во сне с криком падает с кровати трехлетняя дочка. Я просыпаюсь, подбегаю, поднимаю ее, глажу по спинке, успокаивая. Она спит, не просыпаясь.

Я записываю сон.

1989

## Девушка

Будто бы ждем с приятелем остальных на пьянку. Не у меня дома, нет, и не у него. В каком-то казенном заведении, общественном, которое приятель на один вечер арендовал. В сарае, кажется. Но с камином и магнитофоном. На каминной полке кассеты разные. Кругом степь и два кустика у нашего сарая. Под кустами ящики пустые

разбросаны, деревянные. Мы раньше приехали – камин растопить. Ящики на дрова ломаем. Прохладно, а мы от работы взмокли, пиджаки и рубахи сняли, по пояс голые, доски отдираем. Вот и камин разожгли, загудел родимый. Жару нагнал. Мы так без рубах и остались. Сидим, ждем, курим.

Вдруг телефон зазвонил. Приятель трубку снял – это начальник наш звонит, но тоже приятель, в сущности. Среди прочих и его ждем. Говорит, что выезжает, что шофер за ним уже заехал, но вот как Игорь Т. – неизвестно. Пока не объявлялся. Потому что игорева семья на отдыхе, а сам он вчера вечером на работу к нам зашел и неожиданно подхватил Зиночку К., старую деву, недотрогу, чрезвычайно целомудренную, а потому сохранившуюся свеженькой, несмотря на свои тридцать с небольшим. Фигурка стройненькая, грудки торчат. Не очень, конечно, красива при этом. Ситуация понятная.

– Падло, – говорим, – выезжай, камин пылает, и шашлыки уже на шампурах.

– Еду, – решает он.

Он едет, а мы обсуждаем, приедет Игорь или нет, справится с Зиночкой или нет. Все же Сын Большого Начальника и сам уже Начальник, хотя пока и небольшой. Вдруг снова звонок. Игорь звонит.

– Выезжаю, – говорит.

– Да шеф наш с шофером уже наверно уехали. Тебя не захватит.

– Ничего, – отвечает, – я на своих «Жигулях».

Что это он разлихачился, обсуждаем. От Зиночки бежит трахнутой? А я все про себя так о Зиночке думаю: как же она могла – гордая, неприступная! Очень она мне этим была симпатична.

Подъезжает начальник, включается в обсуждение. Сидим на длинных лавках за продолговатым столом. Тут слышим – «Жигули» за стеной тормознули. Начальник, старый автомобилист, по звуку их узнал. Выскакиваем на воздух. Свет фар на всю степь. Ведь темно, вечер уже. Из машины Игорь выскакивает, обегает ее и с другой стороны дверцу распахивает. Ба! а оттуда Зиночка. Немного смущается, нас увидев, но в целом ничего. И тут мы замечаем, что он ее вчера вечером уволок и, стало быть, целые сутки себя продержал.

Мы в сарай возвращаемся. Она тоже заходит, он следом, дверь перед нею придерживает. Начинаем пир: шашлыки с вином. Жарко. Игорь, как и мы, пиджак и рубаху скидывает.

– Как время провели? – спрашиваем.

– Нормально, – отвечает Игорь.

А Зиночка смотрит на него счастливыми глазами, как на своего господина. Совсем жарко становится.

— Убери посуду, — говорит он ей.

Она согласно кивает, начинает убирать и мыть тарелки с фужерами под умывальником.

— Да ты сарафанними! — кричит он ей.

Она опять слушается. Остается в трусиках и бюстгальтере.

— И бюстгальтер, — добавляет Игорь.

Она снимает послушно, и на лавку, где уже сарафан лежит, кидает. На ее крепкое тело приятно смотреть.

А я думаю: значит, не только трахнул, но и растлил. Чтоб недоτροга Зиночка платье сняла при мужиках, обнажилась — да невероятно это. А она, счастливая, смотрит на него и взгляды его ловит.

1990

## Побег из тюрьмы

Я у железных решетчатых ворот. Уже арестован, но в своей пока одежде, в штатской, а не в арестантской. Меня уже допрашивали, дело на меня завели: что в своих рассказах на начальство клевету, но в камеру еще не отправили и выпустили вроде бы погулять. Охранник ушел куда-то. Я его жду, с судьбой смирился: ничего другого пишущему ждать у нас не приходится. Хожу по двору и охранника жду. Вдруг у ворот с той стороны — жена, Марина. Лицо бледное, решительное, губы сжаты. Кивает, глазами знак дает: мол, подойди, но меня не узнавай. Подхожу. «Прижмись к воротам», — шепчет. Я на секунду прижимаюсь, она тоже. И сует мне ключ в карман пиджака. Отходит от ворот, но недалеко. Я озираюсь — никого кругом. Будто нарочно все ушли. На небо как бы между прочим смотрю: ясное небо. Сухая осень. Быстро пихаю ключ в замок, поворачиваю его, к своему удивлению без скрипа. Открыл. Ключ опять в карман прячу. И тихо, несильно, одну створку ворот приотворяю, щелочку делаю, как раз, чтоб проскользнуть. Марина наблюдает — и сразу ко мне. Запереть снова не можем, замок изнутри устроен, но прикрываем плотно, будто все в порядке. Но что дальше?

Она, освободительница, подруга, впивается мне в руку почти неживая от счастья удачи. Но что тем не менее дальше? Перед нами шоссейный пустырь, вроде как конечная автобуса. Но остановки нет. Слева здание тюрьмы, куда меня вчера привезли, три подъезда. Шоссе какое-то бесконечное, вдаль уходит. А по бокам

поля пустые. «Я сюда на попутном грузовике доехала», — объясняет она. Да, ногами здесь не дойдешь. Враз заметят.

Вдруг из среднего подъезда тюремного здания повалили люди: курьерши, секретарши, машинистки, делопроизводители, много женщин, мало мужчин. Кончился рабочий день, догадываюсь. К ним, откуда ни возмись, подъезжает автобус, под стеклом дощечка с надписью «Служебный». И отчаянная Марина решается. Крепко держа меня за руку, чтоб не исчез, не потерялся, она подходит к толпе, и, сливаясь с толпой, мы вдруг залезаем в автобус. На нас не обращают внимания. Мало ли новеньких тут! Даже сиденье удалось занять, не впереди, конечно, но где-то третье или четвертое. Оно и лучше — среди тюремных служителей как бы затерялись. Они ведь тоже в приватной одежде, не казенной. Разговаривают об отдельных делах, о том, что Спиридон Петрович не сумел сладить с какой-то Наталкой: то ли она не дала, то ли у него не получилось. Но были все уверены, что он мужик упорный — добьется. Потом поговорили о заказах, что в них давали: кофе растворимый за шесть рублей, сыр, пшено, сухой кисель. «Я все взяла — пригодится», — говорит одна. «Правильно, — отвечает вторая, — в другой раз и этого не будет».

Мы с Мариной переглядываемся: значит, у *них* тоже все в дефиците. И еще радуемся, что далеко уже уехали: вон вдали дома видны, город скоро. Автобус останавливается у поворота на мост. Шофер к нам вдруг голову поворачивает, говорит: «Вам сходить. Дальше везти вас не могу. Дальше сами, как сумеете». Марина деньги достает. «Да вы что!» — восклицает шофер и дверь открывает. Мы выходим, автобус уезжает, пассажиры внимания на нас не обращают, словно мы там и не находились только что. И не поймем, кто кого обманул: мы КГБ или КГБ нас. Сочувствует шофер беглецам или органами подослан? А, может, мы друг друга не поняли? Он в слова самый обыкновенный смысл вкладывал, куда-то в специальное место своих пассажиров вез, где они все *кучно* живут?.. Но чужаков-то он в нас признал, а все же в автобус впустил, а потом выпустил... Может, не зря мы в его словах *особый* смысл ловили?..

Но куда идти? Домой нельзя, там беглеца ждать могут. А Марине еще на работу надо, вечером — лекции, пропустить невозможно — уволят. И как она без службы в наше *мутное время* жить будет?.. Однако и меня она боится одного отпускать. Словно защитить может. Договариваемся, что я поеду к родителям. Там вроде бы искать не должны. Даже когда меня *брали*, туда ни разу не зашли. Там она меня и найдет после работы. Расстаемся.

Вот я уже у родителей. Странно. Радости не вижу на их лицах. Только испуг. В прихожей держат. На табуретку у зеркала посадили, сами передо мной стоят — мать у кухонной двери, отец у входа в комнату. «Ведь тебя арестовали!» Объясняю, что Марина помогла бежать. Лица их стали еще тревожнее. В тридцатые-сороковые вырастали. Все по закону привыкли делать. И за меня беспокоятся. «Что она наделала! Она тебя что, погубить хочет? Без мужика потерпеть дня не может!.. Куда ты пойдешь? Где скрываться будешь?.. И как? Ведь не умеешь...» И понимаю: нигде, никак, не умею. «Теперь тебе только увеличат наказание. Вот и все, чего ты добился». Я испуган. Сызнова вспоминаю слова шофера. Может, проверка была, провокация?.. Уж слишком в самом деле легко получилось!.. Как теперь я оправдаюсь? Вышел, де, не подумав. Ворота были открыты, я и вышел. Мне резонно возразят, что я знал, что выходить нельзя. Как же быть? «Теперь никаким твоим словам не поверят», — говорят в тревоге, чувствуя мое смятение, родители. А бежать дальше не могу: не знаю, как и куда.

И до возвращения Марины с работы иду сдаваться, придумывая детские оправдания. А о том, что ключ у меня в кармане остался, совсем забыл.

1990

## Кукла

По речке с водопадом и порогами спуститься надо. Как в романах Джека Лондона о Смоке Белью. Джек Лондон, деньги, любовь, страсть, золотоискатели, миллионы... Какие уж тут миллионы!.. Мы убегаем, спасаем свою жизнь.

Водопад небольшой, двухметровый, а дальше пороги и водовороты. И неперемное условие спасения — спуск по этой речке. Пороги называются «Белая Лошадь», и нырнуть в них и уцелеть надо на деревянном коне верхом. Падая сверху, вода разбивается о воду. Внизу пузыри и будто мыльная пена, все бело от водяных завихрений. Если не ухватит водяной бог, значит, ты не грешен, *не чужой*. Нырнул один — выплыл, второй — выплыл. Третьему тонуть. А третий — я. Но сзади нас почему-то стена. Назад хода нет. И жена с дочкой умоляюще смотрят. «Папа, ты же большой и сильный». Я ныряю. Глубоко засасывает. Потом головой пробиваю воду вверх. Коня не теряю, зажал коленями. Плыву на своем деревянном коне к двум прежде вынырнувшим. Лица у них невнятные, но удивленные, что я уцелел. Даже страх какой-то передо мной. Словно мне

кто из сильных мира сего помог, а они и не знали, что у меня такая «лапа».

Помогают, объясняют, как до станции добраться. Я снова с семьей. На станции — поезда. И — ходят! Доехали мы. Живем на казенной даче. Один из выплывших со мной — комендант дачного поселка. Выдал дочке игрушку — тряпичную куклу, большую, в дочкин рост.

Дочка, играя, неудачно рванула и разорвала куклу пополам: голова и ручки отдельно, попа и ноги отдельно. И рад бы другую купить — да негде. А жена зашить не может — ниток нет. Никакие магазины не работают. После войны за правильное понимание русского пути.

Иду каяться к коменданту. А тот у себя в избе свечечки ставит перед литографиями знаменитых картин нашего знаменитого художника, который нашу историю в лицах изображает. Стоит комендант перед литографиями и все угадывает, кто есть кто. Я коменданту сочувствую. Нынче время такое. Никто ничего не знает. Историки знаменитые по картинам знаменитого художника учатся. А литографии его вместо учебников идут.

Смотрю, а комендант-то новую литографию приобрел. Называется картина «От Чернобыля до наших дней». Стоят кружком перестроечные и современные наши политические лидеры, будто обсуждают что, а лица у них светлые, даже светящиеся. Я коменданта за рукав трогаю и куклу показываю. Говорю, что готов другую купить.

— Ты что, миллионер? — он спрашивает. — Вот когда разбогатеет или атомом мировой капитал разрушим, то накопишь денег и иголку с ниткой купишь. Тогда и зашьешь.

А я и пикнуть боюсь, что у меня в кармане трешка завалилась. Уцелела миленькая. Только что делать с ней, в этой стране, — не знаю.

А комендант со мной все по-простому разговаривает, по-хорошему. Кажется даже, что по-товарищески.

1990

## Удар копытом

Живем в своей коммуналке. В своей! Отдельная, не смежная комната. Счастье: есть, где жить. И сосед в другой комнате неплохой. Кругом разруха. На улицах валяются трупы убитых собак и кошек,



со снятой шкурой. Освежеванные, так сказать. Горят костры, вокруг них — подозрительные, обтрепанные личности. Добредешь до подъезда живым, заберешься в свою коммуналку, запрешь за собой дверь — и счастлив. За окном клубы раздражающего бронхи дыма. Все время кашляешь. Поэтому — чтобы спастись от дыма и гари — окна и дверь на балкон закупорили. Сосед с нами согласен, свое окно тоже задраил. И он кашляет, как с работы вернется. И ночью кашляет, слышно, как харкает и сплевывает в ночной горшок, который у него под кроватью стоит.

Как-то ночью просыпаюсь от тяжелого храпа. В комнате душно и почему-то смрадно. Поневоле от такой духоты захрапишь. Прислушиваюсь к звукам. Но нет, это не моя молодая жена, тем более не маленькая дочка, что спит на маленьком диванчике за шкафом. Храп доносится вроде бы из-под пружинной кровати, откуда-то взявшейся и стоящей у противоположной стенки. Хочу взглянуть, но темнота в комнате, не разглядеть ничего. И сон, тяжелый, дурманный, утаскивает меня назад в свою глубину. Все же при первых лучах рассвета я просыпаюсь. Около пяти утра. Тяжелый со свистом храп продолжается, теперь ясно, окончательно ясно, что он и в самом деле идет из-под пружинной кровати. Я, с трудом распрямляя негнущуюся после сна спину — сильнейший остеохондроз! — сажусь в постели, затем тихо слезаю с нее, тихо, чтоб не разбудить спящих жену и дочку, сую ноги в тапки и иду к кровати. Сдергиваю матрас и — о, ужас! — вижу сквозь пружины: под кроватью лежит и тяжело дышит еще живая, наполовину освежеванная лошадь. На груди, на плече, на одной из передних ног у нее не то содрана, не то срезана шкура. Видны жилы и мясо, почему-то без крови, белое. И цвет сохранившейся шкуры в полумраке кажется тоже бледно-серым.

— Ох! — невольно восклицаю я.

Чуткая жена немедленно просыпается и спрашивает:

— Что?

Я пытаюсь загородить собой полутруп.

— Кто там так ужасно дышит? — снова спрашивает жена.

И не успеваю я соврать что-нибудь несуразное, но правдоподобное хотя бы, как лошадь начинает подниматься на ноги, глаза ее злобно и страдальчески блестят, даже горят в рассветной полутьме. Она протискивается между стеной и железной кроватью, отжимая кровать от стены, и та медленно, но упорно ползет на меня. Жена вскрикивает. Садится на постели, прижав руку к груди. У лошади свисают с ободранного плеча лохмотья мяса, совершенно обескровленного.

Передними ногами животное теперь упирается в стену, задние скребут по полу. Становится понятно, что лошадь хочет встать на задние ноги. Вот показалось, если сбоку глянуть, огромное брюхо. И я вижу, что перед нами *дикий жеребец*. Я догадываюсь об этом, заметив болтающуюся метелочку его члена. Почему-то вспоминаются дикие кони-людоеды фракийского царя Диомеда, которых захватил в плен Геракл. Стараюсь скрыть страх и поясняю жене:

– Жеребец это.

– Зачем он здесь? Зачем он здесь? Зачем он здесь? – бормочет жена, зажимая кулаком рот.

Она напугана. Она боится, но не за себя и не за меня, а за нашу маленькую дочку, которая еще спит, ни разу даже не проснувшись от всех этих шумов. Перешагиваю пружинную железную кровать, отталкиваю ее еще дальше от стены, хватаю жеребца за холку, чтоб снова его на четыре ноги поставить и из квартиры вывести (а наша коммуналка на последнем, восьмом этаже), в лифт запихнуть и на кнопку первого этажа нажать.

И тут происходит метаморфоза, которая кажется мне естественной, вроде бы я ее даже ожидал, во всяком случае она меня несколько не удивляет. Передо мной мужик в грязно-белом костюме, оба рукава оторваны с мясом, лацканы пиджака тоже оторваны, рубахи под пиджаком нету, из дыр глядит белое мускулистое тело, волосатая грудь. Лицо его удлиненное, лошадиное, с толстыми вывернутыми губами, глаза цыганские, белки кроваво-красные. Все так удивительно ясно видно.

Хватаю его тем не менее за воротник. Не надеясь на успех, пытаюсь поволочь за собой прочь из комнаты. К моему удивлению, он поддается, подчиняется, не вступая в пререкания. И вот мы уже в коридоре, здесь лошадиный мужик упирается, но как бы для виду. Я гордость вдруг испытываю: он меня боится. В конце коридора из своей комнаты рядом с входной дверью выглядывает дед-сосед. Он всякое повидал в жизни: латыш, в Россию перебрался, революция, гражданская война, в Испании воевал, двенадцать лет в сталинских лагерях отработал, в бараках да в коммунальных квартирах всю жизнь – со всеми ладить привык. Ни в карты, ни в домино во дворе и раньше не играл – европеец! Свой месяц отпуска в путешествиях по стране проводил, пока ездить не очень рискованно было. Теперь опасается. Но тут не дрогнул:

– Помочь?

Не дрогнул, хотя за окнами какую ночь уже костры палят, откуда-то мясо достают и жарят, и слухи, слухи, что человечинной питаются те, что у костров.

– Не надо. Сам справлюсь.

Сосед скрылся, а я дверь входную открыл, только на площадку с мужиком вышел, как он зубы ощерил – крупные, лошадиные, твердые, и на меня шагает. Страшно стало, аж на мгновение дыхание сперло, но грубовато подтолкнув его к лифту, говорю твердо:

– Вниз сам съедешь.

И с трудом удерживаясь от молниеносного прыжка назад, в квартиру, разворачиваюсь к нему спиной, делаю два больших, но спокойных шага, вот и порог. Переступаю. Сзади хохот, похожий на ржанье, и шумные вдохи и выдохи. Но я уже в квартире. Не оборачиваясь, быстро захлопываю дверь за своей спиной.

И тут же стук в дверную филенку.

Я успеваю подумать, что хорошо, что дом у нас старой постройки и двери толщиной в шесть сантиметров, а не в четыре, как в новых. Из-за толщины не удалось и глазок вставить: все дверные приборы теперь на четыре сантиметра рассчитаны. Из-за двери голос:

– Пусти, а? Нас целый табун в церковь загнали. Как в стойло. И таскают по одному, рубят – и на жратву пускают. Сколько лошадок за эти ночи слопали – ужас! Пусти.

Я понимаю, что врет он. Не лошадь он, а человек. И что-то страшное в нем есть. Наверняка плохое задумал. Молчу. Совсем притих. А он снова:

– Открой!

Тогда я, все так же молча, ухо к двери приложил, слушаю, что тот за дверью делает. Не дышу даже. И вдруг вижу, вижу сквозь деревянную преграду, как со всего размаха бьет он правой рукой прямым ударом в дверь, как раз туда, где я ухом прижался. Кулак пробивает деревяшку навзлет и ударяет меня в висок. Падая замертво, успеваю услышать его смешок, увидеть, как он снимает *сквозь пробитую в двери дыру* засовы и щеколды, отпирает замок. Но упав и вылетев душой из тела, вижу сверху, что на виске мертвеца, на моем виске, вмятина от удара копытом.

1990

## Жертвоприношение

Отгремела, отпылала постперестроечная война. Нет у меня теперь дома. А у кого сейчас дом есть?! Мало у кого. Выжженное пространство. Но какие-то островки жизни остались. От одного к другому бреду себе потихоньку. Люди везде странные, друг от друга хо-

ронятся. Обычай в каждом месте свои, и чудные донельзя. Находишься, намаешься, намерзнешься, наголодаешься, приткнешься куда-нибудь и спишь. Стараешься как можно дольше спать: хоть сутки, хоть двое. И снятся такие сны, трудно разобрать — сон это или явь. Иногда и вправду явью оборачивается. Значит, на ходу грезил, что сплю.

Снится мне опушка леса или несколько деревьев среди поля — не могу понять. И опять не пойму я в этом сне, снится он мне или впрямь я на этой опушке с ноги на ногу переступаю в кучке других людей. Всего нас человек двадцать. Никого их я не знаю. Я — *пришлый*. Но толпимся вместе, не прогоняют. Перед нами, под деревом, могила в форме креста. У могилы с петлей на шее стоит парень лет двадцати пяти. Рядом со мной мужчина и женщина: то ли отец с матерью, то ли крестные парня. Это обряд какой-то местный, так я понимаю. Торжественный. И мне говорят, что сейчас парня повесят и зла в мире будет меньше.

— Он преступник? — спрашиваю.

— Нет, жертва. Сам вызвался.

Веревка перекинута через сук. С другой стороны она привязана к спортивной штанге, которую держит на вытянутых руках, словно «берет вес», палач. Но веревки явно мало. Поэтому и жертва, и палач стоят на цыпочках. Парень с петлей на шее начинает петь. Что-то церковное. Песня кончается. И мужик-палач медленно опускает штангу и наваливается на нее всем телом. «Для тяжести», — соображаю я. Парень повисает в воздухе. Но, к моему удивлению, снова начинает петь. Только другую песню. Но тоже торжественную. Как это возможно? А вот как: женщина в черном пальто маленькой веревочкой оттягивает от его горла удавку. Парень висит и поет, славит Господа.

— Хватит, мать, отпускаяй! — кричит мужик-палач, сидя на штанге.

Тетка отпускает веревочку. Теперь горло сдавлено. У парня открывается рот, вылезает язык, белки глаз чернеют. И в этот момент основная веревка обрывается. Парень тяжело шмякается в могилу. На него начинают сыпать землю. Но он шевелится. Жив, что ли?

И в самом деле жив. Его вынимают из могилы. Веревки у них подходящей больше нет. Похоже, парень этим доволен.

Но его кладут на бревно. Лицом вниз. Зубило приставляют к шее и молотком по зубилу бьют. Однако никак им не удается шейный столб перерубить. Все соскальзывает зубило. Только кожу рвет. Я пытаюсь возмущаться. За руки хватают, держат. А там, рядом с бревном, пила лежит.

Неужели?! А выхода у них другого нет. Веревка порвалась, топора не припасли, зубилом несподручно. Выходят двое из толпы и на ноги парню садятся. Двое других за плечи держат, чтобы не дергался. А первый мужик, палач, простоволосый, с диким лицом, начинает парню ручной пилой шею пилить. Потом в могилу останки складывают и засыпают землей. Теперь уже навсегда.

— Это такой обряд у нас еженедельный, — объясняют мне.

И я вдруг понимаю, что обрыв веревки, зубило и пила не случайны, все именно так и задумано. Ритуал. Вот ужас-то! Этак они всех своих людей переведут. А они меня все держат за руки, не отпускают.

— Своих нам жалко, — говорят.

1990

## Шпион

Обидный сон. Сижу в гостях. Чувствую на себе косовато-удивленные взгляды. Не часто меня теперь сюда зовут. Сам виноват. Всегда нелюдимым был и слыл, а последнее время особенно. Все время сплю и вижу сны. Но сейчас мне во сне горько, что я какой-то не такой, что все выросли и наладились жить друг с другом, а я им чужой. А в детстве был «хороший мальчик», послушный, коллективист. Нынче — сам по себе. У всех же кружки свои, группки, переживания общие. Сюда позвали, потому что помог я наследие покойного друга-приятеля напечатать.

Сидим за бедным столом. Капустный пирог, грибы-самосол, вареная картошка. Все же стоят три бутылки водки и портвейн «для дам». Народу немного. Зато все, кроме меня, *близкие*. Я напротив вдовы оказался, уже пьяной, седой, хотя не старой женщины. Она рассказывает о покойном муже и о себе:

— Он и замуж меня взял, потому что я родом из хорошей семьи. Для него это очень важно было. На другой бы не женился. Только на хорошо воспитанной, понимавшей добро и зло. А родители мои художники, из Франции приехали. И совсем не соображали, где нам жить придется, в какой стране. И заставляли одеваться и вести себя «по правилам *бонтона*», как принято у *порядочных людей*. Особенно они меня *беретками* доставали. Берет!.. Это же после войны, как из иностранной жизни казалось. Мне и кузену одевали береты на голову и отправляли на улицу. Кузен сопротивлялся, орал, но, уже надев, носил. Он был обязательный. А во дворе его били в кровь. Я девчонка, потому хитрее. Родите-

лям не противилась, но, из дому выйдя, снимала берет и в карман прятала. И все равно в драку влезала: приходилось за кузена заступаться. Нам кричали: «Вши! Гадины! Обезьяны! Тли! Шпионы! Иноземцы! Убирайтесь к себе! Прочь отсюда!» Дети кричали. Кричали то, что их родители говорили. Тогда шпиономания была. «Шпионами» нас чаще всего обзывали. Я очень долго так тайком и думала, что я из шпионской семьи, что мне такое несчастье на долю выпало. Но несла свой крест: все равно мне деваться некуда, судьба у меня такая. Значит, надо молчать и терпеть.

Я слушаю хозяйку дома, пью водку и вспоминаю. Или грезы меня в полупьяном бреду посетили?.. Слишком отчетливы образы, до осязательности вижу каждый свой жест, выражение лиц, слышу слова, много лет назад произнесенные. Впрочем, воспоминание, как и бред, — это тоже нечто вроде сна. Что же мне в моем сне снится?

*Во-первых*, я твердо уверен, что мне четыре года, но одновременно с взрослой отчетливостью я понимаю, что на дворе стоит (или идет?) тысяча девятьсот сорок девятый год. *Во-вторых*, я недавно посмотрел фильм «Смелые люди» о храбром коневоде Васе, воевавшим с немецкими фашистами, и его верном коне Буране. А еще был в этом фильме человек — полный, в белом костюме, с не очень-то простой и не очень-то русской фамилией, — кажется, Борецкий. Очень вежливый, всегда приветливый и улыбающийся — не то, что грубоватые и честные сельчане! Он был такой интеллигентный и обходительный, всем готовый помочь, что любому честному мальчику становилось это противно и подозрительно. И, конечно же, он оказался немецким агентом, шпионом. *В-третьих*, надо учесть, что я весьма развитой и искренний ребенок (и так я себя в своем сне и оцениваю). В свои четыре года, скорее всего с подачи родителей, но при моем полном согласии, я послал на день рождения «любимому товарищу Сталину» первую самостоятельно мной прочитанную книжечку (а потому самую для меня дорогую) — о «стойком оловянном солдатике», который *выстоял*, несмотря на все бессмысленные опасности, подстерегавшие его, и еще более бессмысленную смерть. Мне очень хотелось на него походить. И всегда быть на страже против всяких врагов и шпионов. Во сне всплывают передо мной слова из посвящения вождю, записанные родительской рукой: «Я обещаю Вам хорошо ходить в садик, всегда слушаться и вырасти достойным коммунистом». И тут я понимаю, почему вспомнил это. Я — такой же был, как те злые дети со двора, о которых рассказывает хозяйка дома.

Но бред длится, не отпускает меня, подсовывая еще более унижительные воспоминания. Теперь всплывает детский садик. Шкафчики для одежды вдоль стен коридора, на них наклеены картинки, изображающие разные фрукты и овощи. У каждого свой знак. У меня – морковка. Низенькие скамеечки, обитые дерматином: на них мы сидим, когда переобуваемся. Рядом дверь в комнату, именуемую «группой». Говорят: «Иди в группу!» Или: «Ты почему из группы в коридор выскакиваешь?» В этой комнате мы играем и спим во время «мертвого часа». Но еще группа – это и сами дети.

Мне очень нравится одна девочка из нашей группы, простоватая, с пегими волосами, серыми и глупыми глазами. Одета она бедно, ходит обтрепой. Да и я ношу штаны и рубахи с заплатами. Родители живут на стипендию, и жизнь нас не балует. Я рад, что бедностью своей близок к Наташе. Слова она выговаривает косноязычно, многих слов не знает, книги не любит, но этим она мне и мила – своей «простотой». Зато другая, с «непростым» именем Римма, с вьющимися белыми волосиками и кудряшками до плеч, с остренькой мордочкой, всегда в хорошеньких платьицах, кажется мне *воображалой*, злой, из другого мира, «не нашей». Она меня тоже не любит. Когда мы играем, я стараюсь эту Римму избегать, никогда не становлюсь с ней в пару. Она к тому же новенькая. Ее еще не приняли в «коллектив». И я тоже ее не принимаю – «как все». Сейчас, смотря свой сон, не могу понять, как же из такого меня вырос потом мизантроп и одиночка. Или это расплата за детский конформизм? Всем – чужой. Как когда-то Римма. Она даже на горке катается одна: когда никого нет вокруг. Побаивается других детей. Смотрит на нас исподлобья.

Вечер. Темно-синий, зимний. Мы толпимся в коридоре у шкафчиков. Воспитательница не в силах загнать нас назад, в «группу». Мы ждем родителей, чтоб они разобрали нас по домам. Римма тоже здесь. Кучерявые ее волосики перевязаны розовой ленточкой. Острое личико встревожено. За многими уже пришли, за ней еще нет. Я смотрю на нее и жду, что она как-то «не так» себя проявит. И вдруг слышу: «Риммочка! Ты оделась, радость моя?» Это ее отец. Он скидывает на скамеечку свою тяжелую шубу. Помогает дочке одеваться. А я свое вижу. Ведь он в белом костюме, полный, доброжелательный, улыбающийся, *вылитый шпион* из «Смелых людей», который поджег конюшню с лошадьми и наводил немецкие самолеты на наших партизан. Римма, пока он одевает ее, обнимает его за шею, целует.

Я в ужасе. Неужели никто не замечает, что к нам в садик пришел *шпион*? Наверняка нянечка ушла звонить по телефону в милицию. Я абсолютно доверяю разуму и наблюдательности взрослых. Настолько доверяю, что мне и в голову не приходит кричать вслух о своем открытии. Это же взрослые дела, взрослая тайна.

Но с кем-то своим открытием поделиться надо! Я беру за руку серотупоглазую Наташу с висящими космами пегих волос. И веду в комнату, в «группу», где мы играем днем. Она послушно идет за мной. И вот мы сидим на полу за кукольными ширмочками среди разбросанных кубиков и перевернутых зеленых грузовиков военного образца. Бледнея от важности сообщения, я шепчу: «Это шпион. Он под видом отца Риммы, но он шпион. Я узнал. В фильме “Смелые люди” был такой же. Я узнал». Перевернутая логика моего предположения звучит для меня самого вполне достоверно. Правда, я чувствую, что мне не хватает убедительности. Потому что говорю я самыми простыми словами, стараясь приноровиться к Наташкиному разумению. Она согласно кивает. И тут, прямо во сне, меня впервые посещает догадка, что я ошибаюсь, что в фильме был *актер, игравший шпиона*, и к отцу Риммы его шпионская роль не имеет никакого отношения. Просто похожи они. Хотя, конечно, улыбчивый, ласковый и вежливый, как настоящий шпион, – противно! А моя подруга мычит какие-то слоги: «Н-н-у! М-м-ы! М-м-у!» И смотрит на меня с обожанием, как на героя. Говорит она плохо, никак, не научилась, но все понимает. И со мной согласна. Мне почему-то становится неловко. Я выскакиваю из-за ширмочек, оставив ее сидеть на полу. За мной пришла мама.

...Чувствую, во сне чувствую, что пытаюсь сделать усилие, вырваться из этого постыдного бреда. Бормочу вслух невнятицу, но сам своих слов не слышу. Дурацкое мое детство! Куда ты ушло?! Опять хочу быть, «как все». Но никогда уже этого не получится. Разлепляю глаза с трудом. Все тот же стол. Все глядят на меня с изумлением и некоторой брезгливостью. Неужели удивлены, что я заснул посреди пьянки? Кажется, нормальное дело. Или сон свой вслух рассказывал? Что сделал – не понимаю. Понимаю одно: гости и хозяйка уставились на меня, *как на шпиона*, затесавшегося в их круг, шпиона, притворявшегося другом.

Что я сказал-то?

...Просыпаюсь, так и не узнав этого.

9 февраля 1991



## Пробуждение

Это был сон. Не более, чем сон. Конечно же, сон.

...Я иду с приятелем, провожая зачем-то его на вокзал, и никак не пойму: то ли очень поздно мы вышли, то ли чересчур рано – до утренней звезды, слишком темно. Только какие-то красные сполохи в небе. Внизу же, между домами, сплошная темнота. Но мы почему-то идем очень уверенно, хотя ничего не видим: ни вокруг себя, ни под ногами. Возможно, у нас опытный вожатый. Хотя и незримый. Неясно только, как он нас ведет, раз мы его не видим.

Российская традиция с неведомым до поры до времени вожатым, выводящим из бурана (или из темноты), казалось, оправдывала себя. Но ведущего нас мы совсем не видели, совсем.

Вот мы уже и в вагоне. Я сразу об этом догадался. Только странно – не входя, очутиться внутри. Правда, и стены вагона изнутри какие-то непривычные, из досок, что ли, необструганных?.. Не то чтобы меня это удивило очень, но я особинку эту заметил. Показываю приятелю (которого зачем-то пошел провожать на вокзал: никогда этого раньше не делал – вот ведь что, да и приятеля не упомяну, что за человек, откуда его знаю – вижу только, что высокий и горбится, сутулится поэтому, а как на доски ему показал, то выяснил еще, что бас у него окающий). Показываю, значит, я ему на доски, а он так говорит удивленно: «А ты что, иного чего ожидал?» Окает. А я вообще ничего не ожидал, и думаю, как бы мне сойти с этого поезда и вообще подальше отсюда оказаться.

И вдруг чувствую – а поезд-то уже идет. А куда – я даже и не знаю. И вожатый куда-то сгинул, и приятеля даже не помню, как зовут. И домашних не предупредил, и на работе завтра хватятся, а главное – билета нет, если контроль пойдет. А сойти купить – так уж и не сойдешь.

«Слушай, а какая ближайшая станция?» – приятеля спрашиваю. И тут вижу, что вагон не то что не купейный, а даже не плацкартный, без перегородок и без сидений, общий пол и общий воздух, в четырех углах коптилки горят тусклым красным огоньком, и на полу прямо темные группки людей сидят и, судя по жестам, в карты режутся.

И приятель мой чего-то присмирел. «Не знаю, – говорит, – какая ближайшая. Надо у проводницы спросить». Помолчал и снова окает: «Эк оно, как с тобой они нехорошо поступили, безо всякого предупреждения поезд отправили». И правда, чего уж тут хорошего!..

Идем к проводнице в купе (уверены почему-то, что у нее купе наверняка есть), а она к нам из тамбура навстречу. Из тамбура грохот, лязг доносится, да мочой и псиной пахнет. А она нами возмущается, в меня пальцем тычет: «Почему в вагоне посторонний?» Я смотрю, она у себя на боку рукой шарит — а сбоку у нее, на черной форменке, на ремне, кобура висит. «Ничего себе, — думаю, — история. Нормально, однако, влип. Похоже, что ВОХРа. А чего охраняют, непонятно. Зэка везут, что ли? Но приятель-то мой тут при чем?»

Однако, не рассусоливая, всю историю мою жалобно ей так выкладываем и разъясняем. Приятель окает, а я на обаяние работаю. Улыбается она, уже не сердится: «Только вот что, ребятки, я вам скажу — поезд до конечного пункта без остановок пойдет. А идти ему туда два месяца». Повернулась и исчезла, будто нарочно приходила, чтобы сообщить страшное.

В вагон возвращаемся. «Слушай, а куда ты, вообще говоря, едешь?» — приятеля спрашиваю. Призадумался он чего-то, голову опустил (я все вижу, к темноте привык, да и копилки в четырех углах копят, тоже какой-никакой, а свет), мотает головой. «На Колыму, — говорит, — еду».

«Зэка?!» — аж не словами, а дыханием только, еле слышно чтоб было, его спрашиваю. И холодок, холодок по спине.

«Что ты! — обижается он. — Как можно? Ни в коем случае! Просто так получилось». А что получилось и как получилось, объяснить не желает. Но мне всячески сочувствует, в шелку меж досок со мной смотрит. И любопытным рассказывает, что вот, дескать, как человек влип, вот, мол, как оно у нас бывает.

Тут замечаем мы, что у станций и на поворотах поезд наш как будто помедленнее спешит. И, наверно, недалеко еще от Москвы отъехали. Конечно, можно было бы вообразить, что путешествие это символическое, благо все шло один к одному, по анекдоту прямо (жизнь при советской власти — все равно, что поезд без остановок, везет, не давая оглядеться, что по сторонам, что позади оставили). Можно было бы, конечно, повторять, символиккой заняться, расшифровывать намеки и полунамеки ситуации, но меня это не устраивало — я по натуре реалист. А тут еще был я в джинсах, в кедах, в ковбойке — и чувствовал себя очень спортивно. Тем более, что и вправду, хоть я интеллигент потомственный, а значок ГТО имею, да и вообще вполне крепкий мужичок.

«Ты, знаешь ли, по делу едешь... — говорю приятелю. — А я-то тут при чем? Я тебя вообще провожать не собирался. Как-то так само получилось (а о том, что я его не узнаю — молчу: как будто все

так и должно быть). — Никто ж мне не поверит, — объясняю доходчиво, — что два месяца в поезде провел: ни на работе, ни тем более жена. А тут еще к тому и от Москвы недалеко отъехали: глядишь, завтра и до дому доберусь. Короче, доску надо выламывать, — говорю, — как в кино это делается и в романах, а как ход замедлится — я и выскочу. А?»

«Что ж, — отвечает, окая, приятель, — твое право. Ты тут действительно ни к селу, ни к городу. Давай помогу тебе». И любопытствующим поясняет: так-то мол и так-то. Те стоят, самокрутки из газетной бумаги садят и одобряют. Дым вонючий столбом стоит — не продохнуть, а из щели свежим воздухом тянет. Пальцы мы в щель протиснули, пытаемся доску оторвать — не поддается. Тут вдруг из дальнего угла, из темноты прямо (коптилка в том углу минуту назад запыхтела, дым густой пустила и погасла — темно там стало), — так вот, из темноты-то две фигуры возникают, с карабинами на ремнях через плечо, подходят поближе и улыбаются мне так дружески и ожидающе. Но дружелюбие это мне чего-то не по сердцу, не хочу я с ними дружить, боюсь я их, не друзья они мне вовсе. А приятель им улыбается, помощи просит, «пособите», говорит, словно не понимает, что они затем здесь и поставлены, чтобы за порядком следить. А доску выламывать — какой уж тут порядок! Но один из них ствол стальной карабина вдруг в щель просовывает, приналег и отлетела доска: как раз мне протиснуться. А он мне так пальцем погрозил и говорит: «Не надо бояться человека с ружьем». И картавит при этом. Ничего я ему не ответил — поезд ход замедлил, станция впереди.

Лезу я в щель, приятель (так его имени-отчества и не помню) меня подпихивает, выпрыгиваю, наконец. Скорее даже, вываливаюсь. Ничего, не расшибся, на какую-то крышу покатую попал. Только озираться мне некогда — слышу (да и всем телом ощущаю), как — тра-та-та — из пулеметов по мне палят, да и — пах-пах — из карабинов тоже: с этого моего поезда, не иначе. Пригнулся, голову в плечи вжал и бегу, бегу изо всех сил. Подо мной двух и трехэтажные дома. С крыши на крышу перепрыгиваю. А пули по кровле ударяют и мне под ноги отскакивают. Бегу и одного лишь в толк взять не могу: неужто у поезда насыпь выше второго-третьего этажа проложена? Исхитрился, примерился и соскочил наземь. Все. Кончилась пальба. А я живой.

Соскочил я и очутился в поле. Станционные дома и крыши (думаю, что станционные были — откуда бы еще им рядом с железной дорогой взяться) пропали. Только за горизонтом где-то невидимый поезд погромыхивает. Утро уже, жаркое, небо чистое-чистое.

Иду я по дороге меж полей не то ржи, не то пшеницы. А кругом, куда глаз ни положишь, поля, поля, поля. И ни души кругом, лишь птички какие-то поют. Сроду я сельским жителем не был. И хотя Достоевского изучаю (проблему «почвенничества», в частности), с «почвой» мне сталкиваться до той поры не приходилось. Мигом я растерялся. «Вот влип, — думаю. — И где станция, может, кто и знает, а я так нет. Куда идти-то, в какую сторону? Хоть кого бы найти, чтобы на правильный путь вывел...» Но что делать — иду пока себе сам. Иду, а на душе беспокойно. Вдруг те, что в поезд меня засадили, уже в бегах меня объявили и ищут.

Васильки по обочине и меж колосьев синеют. Колосья я срываю, обдираю колючую ость и зерна «молочно-восковой спелости» жую. И непонятно мне, что дальше-то делать. Хоть бы дойти куда, откуда можно домой и на работу позвонить. Авось, что прояснится тогда.

Вдруг впереди дороги пересекаются и расходятся, «богатырское распустье», думаю, а тут мне наперекрест, справа налево компания мужиков с вилами и косами валит. «На работу идут?» Наддаю ходу и догоняю их. «Мужики!» — кричу. Только голос у меня какой-то противный, с французским прононсом, а на голове — с удивлением замечаю в карманное зеркальце откуда-то взявшееся в руке — белая панاما с широкими полями, на носу пенсне, вместо джинсов шорты надеты, на ногах носочки, сандалии, а в руках сачок для бабочек. Ничего себе видик! Даже стыдно как-то перед мужиками и отчасти жутковато, *чужой* потому что я по одежде.

Но и секунды не прошло, а я как-то среди мужиков очутился, в самой что ни на есть середине, иду и чувствую себя идиотом, совершенно беззащитным идиотом. И удивляет меня немного, что никаких тебе тракторов, а также других примет «сельскохозяйственной механизации». Косы да вилы, как при царе Горохе.

«Мужики, — говорю наугад (а голосок у меня какой-то заискивающий). — Далеко ли до станции... э... Барыбино?» — «Эвона! — удивляется один, — так она в другой стороне лежит, мил человек. А сам-то как сюда попал? — спрашивает. — Ребята даже интересуются, кто ты такой есть». Молчу. Что сказать? Как объяснить? Не про побег же рассказывать. «Народу, — наставляет меня снова все тот же мужичок, — всегда отвечать обязан. Не серди, барин, народ, ответь ему. Может, тебя в участок представить надоть...»

Ничего не понимаю. «Барин», «участок» — слова как-то без шуток, всерьез произносятся. Куда это я попал? А лица у мужиков настороженные, недоверчивые, напряженные и даже, кажется мне, угрожающие. Угрюмые лица. Улыбаюсь мужику «приятель-

ски». А сам из толпы, молча, не отвечая, выбираюсь потихонечку. До слуха уже голоса самых молчаливых и самых робких долетают: «Надоть бы личность ихнюю вызнать. Становому их представить али пристава». Тут только догадываюсь: «Эге! Да я, кажется, ненароком лет эдак на сто в прошлое угодил. К кому бы за помощью обратиться? Пускай мне только *эти* дорогу правильную в город покажут».

“Мужики! – кричу. – Давай сюда станового. Объясните, к приставу как пройти!» – «Ча-аво?!» – голоса раздаются. «Да, небось, ребята, он ему сродственник какой. Баре, оне завсегда договарятся, а нам, мужичкам, одне слезы». И мне говорят: «Ты, мил человек, не волнуйся. Мы и сами порешим, что с тобой делать». «То есть как? – возмущаюсь. Я же ничего вам не сделал. Я же свободный человек!» – «Ча-аво?! Сва-бод-ный!.. Да ето скубент, ребята. Из тех, что народ волнуют. Нигилист, прости Господи! Сука! Да мы жа и без пристава усе решить можем. Дави его, ребята!»

Тут я побежал, благо, что из толпы уже выбрался. Не побежал, помчался, полетел. Бегу, а за мной толпа с криками, с воплями. У-у-у!!! У-у-у!!! Сердце сейчас остановится – понимаю, что не уйти, догонит толпа с вилами, с косами, замучает, на куски изрубит. Солнце палит, жарко, пыль в воздухе стоит. Да и раскаленный воздух-то – дышать невозможно. «Вот тебе и мужик Марей, – на бегу последние мысли мелькают (понимаю, что последние). – Вот тебе и вожатый-провожатый! Вот тебе и народ-богоносец! Бежать надо, бежать, а то догонят!» И бегу. Но куда? Нет уже сил. Ноги слабеют. Сачок я давно уронил. Оглядываюсь – толпа уже близко. У-у-у! У-у-у!! У-у-у!!! Сейчас настигнут.

И, разумеется, как назло, прямо передо мною вырастают (я, правда, на горизонте давно видел что-то темное) копны сена. Полукругом широким стоят, не обежать, и высокие – жуть! Нет другого выхода, вверх лезу. Ноги, руки от усталости скользят, в сене путаются. А мужики уже внизу, тяжело и жарко дышат. Я прямо на сене перед ними раскорякою, такая мишень для вил удобная. И точно. Сзади добегающие еще издали кричат: «Вилами его коли! Ви-илами!» И вот уже мой мужик Марей рукой взмахивает, а в ней трезубые вилы зажаты. Потеряв всякое достоинство и стыда уже больше за трусость не чувствуя, кричу в ужасе: «А-а-а!!!»

Просыпаюсь от сердечного приступа. В висках стучит, сердце колотится. Хорошо, что проснулся, а то так бы и закололи.

## Стоп-кран

Отец сказал: «Запиши, тогда и сам поймешь причину, почему так сделал, и успокоишься». Мол, когда на бумагу переносишь то, что с тобой было, это вроде как лекарство. Гете мне подсунил, чтобы я почитал. Про страдания юного Вертера. Сказал, что Гете страдал от неразделенной любви, покончить с собой хотел, а как изобразил, что герой застрелился, то сам и перестал психовать. Но ко мне это мало относится. Стреляться не собираюсь. Тут и без того, пока по Москве бродишь, запросто можно по случайности пулю получить, если окажешься вдруг, где мафиозная разборка происходит. Автомат не соображает, в кого пули летят. А стрельбы в последнее время много стало: то по ящику передадут, то в газете прочитаешь. В прошлом году мой одноклассник так вот напоролся. В кафе с подружкой был, а тут палить начали, он и схлопотал пулю в плечо. Правда, выжил. Так что лечиться и упокаиваться мне не надо. А стоп-кран я уже сорвал. И поезд остановил. Уж ясное дело, что больше не буду. Кому охота лишний раз звездюлей получать! Меня мусора тогда здорово поколотили. Чуть до смерти не пришибли. Хотя кто может предугадывать, что дальше будет? Если обозлюсь, то, может, и снова сорву.

Зачем я это сделал? Вот вопросик! Чего этим добиться хотел? Сам не знаю. У всякого действия должна быть причина. Так отец говорит. Он у меня идеалист. Весь по уши в книгах да в своих лекциях. Германистику в Институте культуры преподает. А жизни не видит. Студентки ему глазки строят, когда зачеты приходят сдавать. Но на него никакие приколы не действуют. Всю-то жизнь с одной женой, с моей матерью, живет. И карьеры не делает. Хотя за бугор давно ездит. И связей научных у него навалом. Это он решил, что мне надо бы пару классов поучиться в Германии, чтобы немецкий язык был на уровне, да и вообще... Мы, дескать, возвращаемся в Европу, снова входим в историческое и цивилизованное пространство, это наше будущее, и рухнула не только берлинская стена, но и все остальные барьеры, мешавшие русским людям приобщаться к цивилизации Запада. Я-то, правда, думаю, что там, в этой Европе и в этой Германии, своего говна навалом, да и ду-

раков не меньше, чем у нас. Видел я его коллег, которые в Россию приезжали и у нас останавливались. Приезжают, будто на сафари в Африку, всего боятся, а едут, нервы щекочат. Хотя, конечно, шмотки у них и техника — не чета нашим. Вот за эти шмотки они получают у нас свои эмоции. Чтобы вернуться в фатерлянд и всем рассказывать о своем героизме: де, в самой Москве побывал и цел вернулся. А мы тут каждый день живем.

Мне вот сейчас моего прадеда не хватает, чтобы поговорить с ним, побазлать. Он старый большевик был, пятнадцать лет лагерей, но выжил, вернулся — и крепкий был старик! Дед-то у меня на войне погиб, поэтому прадед стал мне как бы дедом. Тут коммунизм вовсю разоблачают, а он, упрямый, поет: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка...» Смешно, но твердость нельзя не уважать. У него ведь тоже свое представление о будущем было. А потом совсем загрустил, когда и я ему принялся доказывать, что коммунизм и цивилизованное общество несовместимы. Я иногда жестоким бываю. Хотел посмотреть, как дед среагирует, хотя я и в самом деле против коммунок, особенно тех, что в застойное время парткарьеру делали: они при всех перестройках себе выгоду найдут — не то, что мой пращур! Его-то в конце концов от переживаний инсульт хватил, и он помер.

Все, конечно, в человеческой жизни перепутано, ясности и простоты нет. Дед на войне с немцами погиб, а отец германистом стал, восхищается немецкой культурой и меня в Бохум послал учиться. Там у него приятели в университете среди профессуры. Прадед — непримиримый, а отец — толерантный: даже разрешил о нем как о постороннем писать. Ну, конечно, я при этом понимаю, что он меня для моей же пользы в Германию направил. Телка моя, то есть подруга, ну, девушка моя, одним словом, чуть кипятком не писала от счастья, что я за бугор еду. Мы с ней год в обжимочку ходили. Она ведь знала, что я ее не забуду, что я привязчивый: вернусь и подарки ей привезу. Вернуться-то я все равно должен был — через два с чем-то года восемнадцать, призыв в армию: даже, чтоб отмотаться, надо дома быть.

Отец меня в гимназию там определил: во-первых, язык буду лучше знать, во-вторых, сам гуманитарий, и, стало быть, соответственные связи, в-третьих же, у меня всегда сочинения хорошо получались и рассказы я писал. Отец считал, что удачные. Я думаю, что вся эта моя тяга к словесности оттого, что болтать люблю, все в слова перевожу, один раз поступок совершил — стоп-кран дернул. Но и остальные у нас тоже все имитируют, только кричат, а не делают. Кричат одно: нон-стоп! Сначала — нон-стоп, пока в ком-

мунизм не въедем. Теперь — нон-стоп, пока в цивилизованное пространство не вопремся, а там уже вместе с Европой будем двигаться. А я стоп-кран дернул. Потому что все — липа, все — вранье. Про нон-стоп я имею в виду. Все равно на месте стоим.

Перечитал, что накалякал. Сумбурно получается. Не по делу: про отца да про прадеда. Словно я ненормальный. Попробую по порядку. Как отец просит. Чтобы все объяснить толком, как и что произошло. Ну, про проводы, я думаю, не надо. Про наставления, как себя вести и тому подобное, что мне родители напоследок дома внушали. Про поцелуи на вокзале тоже. И про то, как отец просил рыжекудрого проводника с этакой хамской и всепонимающей улыбочкой («дескать, куда денетесь! пока едете — от меня зависите») присмотреть за мной в пути и сунул ему не то пятнадцать, не то двадцать тысяч. Для отца — сумма немалая, все же мы не из «новых русских», не богатенькие, а тот эти деньги снисходительно и как бы между прочим, одолжение делая, в карман засунул. На носу у него висели капельки пота, а из вонючей пасти пахло водкой.

Еще мне всучили две сумки — с продуктами и вещами. Продукты, чтоб в вагон-ресторан не ходил, до Кельна все-таки почти двое суток, а вещей — теплая куртка, свитера, кое-что из нижнего белья. Полное самообеспечение. В Кельне, на хауптбанхофе, меня должен был отцовский приятель встретить, а там сразу, не переходя на другой вокзал, мы бы двинули в Бохум. Уже на немецком поезде. Так мне отец объяснил. Впрочем, все это осталось в области трепа, пожеланий и преданий. Потому что, как всем понятно, до Кельна я не добрался. А вот почему — об том и спич.

Купе было трехместным, тесным и узким, как собачья конура, я такого раньше не видел: вдоль стены три полки. Мою, среднюю, уже установили, но на ней кучились чьи-то тюки и узлы. Узлы покрывали и часть купейного пола. Сверху, по периметру нашей конуры, шла еще одна полка поуже — для матрасов, но матрасы тоже кто-то успел разложить по жилым полкам, распределил, а вместо них по всему этому периметру опять же тюки и чемоданы.

Увидев вошедшего меня, вздохнула и поднялась с нижнего сиденья краснощекая и толстомордая деваха, вздернутый нос ее был покрыт громадными веснушками, глазенки у нее, конечно же, оказались крохотули, зато синяя вязаная шапочка натянута прямо до бровей, и вся она какая-то обрубистая, будто пенек, да еще с красными прыщиками на шее. Недовольно сопя, она принялась перетаскивать свои узлы с моей полки на свою, верхнюю. Я ей из принципа не помогал, спекулянтке и мешочнице!.. Груды у нее, у этой глупомордой телки, были при том вполне ничего!



— Я счас, — пояснила она. — Я на свою полку переложу наверх. Как-нибудь размещусь потом.

Думала небось, что я ее пожалею и предложу пару тюков у меня на полке оставить!.. Как же, жди! Мне и свои-то пару сумок некуда было пристроить. Я стоял и наблюдал за ней, держа их в руках, пока сидевший в углу у окна мужчина не сказал мне, довольно любезно сказал:

— Да поставьте вы их! Что руки утруждать. Одну я к себе могу, в ящик, а там и с другой разберемся.

Он поднялся, откинул нижнюю полку: и точно — там было место в аккурат для моей сумки с вещами. Я ее сунул туда, а сумку с продуктами возле столика примостил.

— Тут еда. Это мы съедим. — Это я сказал вроде бы вскользь, показывая, что я самостоятельный и совсем не жадный.

— Учтем, учтем, — говорил он очень, даже чрезвычайно дружелюбно и без назойливости пошляка, прямо как нормальный мен. И не подумаешь, что подонок. На вид лет сорока, помоложе, чем отец. Он еще оставался в кожаной куртке, причем хорошей кожи (я-то вижу!), в защитного цвета рубашке, в галстук, темные брюки, черные полуботинки и белые носки. В общем, ничего прикид! Хотя белые носки с черными полуботинками выглядели несколько плебейски. И, честно сказать, мне понравилось, что, несмотря на галстук, он выглядел сильным и спортивным. Потом, только поезд покатил, он куртку скинул. А деваха ни шапочку вязаной, которая синевой ей на морду лица отсвечивала, ни свитера, который ее титьки выпячивал, не сняла, даже когда мы уже минут двадцать ехали. Сидела, насупившись, и губами шевелила, будто что подсчитывала. Физиономия непроходимая, так и написано, что мозгов в ее бестолковке не очень-то много, и все глазками своими по сторонам зыркала, за барахлом своим приглядывала, а нам оно на хрена!.. Мужика звали Игорь Николаевич. А девку — Нина Викентьевна, так она по-взрослому представилась, чтоб важности себе нагнать, хотя не больше, чем года на три-четыре меня старше, а мне, если по правде, пятнадцать с половиной всего. Впрочем, я тоже, представляясь, выпендрился, вроде как сострил, сказал, что меня зовут Павел, но что я не апостол.

Несмотря на примитивность моей шутки, она развеселила Игоря Николаевича, он даже хрюкнул, падла этакая. А я таким манером выразился, поскольку заметил у него на груди серебряный крестик, когда он галстук снял и рубашку расстегнул: на груди болтался. Хотя потом я и у девахи нашей крестик — типичную, конечно, штамповку — тоже увидел. Но это когда уже она разделась. Вот и напрас-

но говорят про плохого человека, что креста на нем нет, а тут есть, да от этого еще хуже они, потому что если Бог есть, то они его позорят! Ну, это я так, отчасти даже вперед забегаю, а в тот момент порадовался, что Игорь Николаевич мою шутку благосклонно принял.

— Зато я бывший Савл! — рассмеялся он. — Хотя ни Павлом, ни апостолом не стал, но верующих больше не гоню, сам, как видишь, окрестился, к дедовской православной вере вернулся: хоть и не партийность, а вроде того. Только у нашей церкви нынче денег — кот наплакал, едва на внутренние нужды хватает. Поэтому воспитывать она, как раньше партия или комсомол, не может: молодежь ведь организовывать нужно. Я-то раньше комсомольским функционером был, в КМО работал, журналистов разных за рубеж сопровождал, мир им показывал. А немецкий я перфектно знаю. Теперь вот в коммерческую структуру перешел, но тоже по линии зарубежного туризма. Но вы, наверно, не в турпоездку, — проницательно он на меня глянул.

— Конечно, нет. Учиться еду. Отец пристроил. — Я это так, как бы между прочим бросил, чтобы понял, что для меня заграница — нормальное, плевое дело.

Смотрю, и впрямь он на меня уважительнее стал поглядывать: вдруг я сын какого-нибудь босса?.. Кто знает!.. А Нина Викентьевна, деваха наша, на меня все равно ноль внимания, зато на Игоря Николаевича гляделки свои глупые уставила и видно, что что-то корыстное в ее вывихнутых мозгах закрутилось, спикировала на него, короче. Мне не то что обидно стало, но так, неприятно, когда на тебя внимания не обращают из-за того, что кто-то рядом по положению своему выше. Из реплик ее и полувопросов к И.Н. — так я для краткости теперь буду Игоря Николаевича именовать, а девушку — Н.В., тоже, чтоб не расписывать длинно, — я понял, что ехала она в Польшу, в Варшаву, челночница, одним словом. Но я делал вид, что меня это не интересует, да и в самом деле не интересовало, только презрение вызывало. Там в одно купе вообще столько вещей натолкали, что вплоть до верхней полки уставили, так на вещах и располагались под потолком: и ели, и спали.

Рыжая бестия проверил наши билеты, содрал деньги за белье и ушел, — сказав, что чай только в вагоне-ресторане. Поезд тыкался и тукался по рельсовым стыкам, шумел ритмично, увозил нас все дальше от столицы нашей Родины. Как всегда в поезде бывает, скоро захотелось есть, особенно после слов проводника. И.Н. предложил закусить, чем Бог послал. Я достал для начала, конечно же, жареную курицу, хлеб, помидоры и бутылку «Пепси», большую. Н.В. хлеб с салом вытащила и такую колбасу копченую, что я ее даже с голодухи

бы есть не стал, уж очень противно пахла — каким-то прогорклым жиром. Еще огурцы, и соль, и вареные яйца, конечно. Зато И.Н., как я и ожидал, достал шикарные бутерброды — с бужениной, сервелатом, карбонатом и тому подобными вкусоностями, еще соленую красную рыбку и бутылку шведского «Абсолюта», литровую.

— Совместная пьянка — показатель лояльности во всех делах и во все времена. И с партийцами, и с коммерсантами — все одно. — Он поднялся. — Сейчас схожу за стаканами. — Вернувшись, продолжил, протирая поездным полотенцем стаканное стекло: — Точно вам говорю. Хоть формально с пьянкой в свое время боролись, но доверяли лишь тем, кто всегда был не прочь выпить с начальством. И теперь то же самое. Коммерсанты, конечно, пьют больше и с женским делом пооткровеннее. Но мои связи всем нужны. Людишки-то все прежние остались, только из партийных кабинетов в другие перелились. И каждый привычным своим делом занимается. Я, например, как ездил, так и буду на Запад ездить. Потому как я там всех знаю и меня знают. А со знакомым человеком легче дело иметь. Ну, выпили!..

Симпатичного мало было в его рассуждениях, но, чтобы не показывать своей неприязни, я выпил с ним, хватанул сразу полстакана водки. Хорошо стало, жарко, в голове шумно и бесшабашно. Хотелось кого-то подразнить, позлить, хотя бы эту Н.В., провинциальную кикимору, которая тоже полстакана хлопнула. Это, конечно, не первый был мой опыт по части спиртного, с ребятами выпивали, и я знал, что ничего такого не наделаю. Только над соседкой-спекулянткой решил поострить.

— А вы откуда родом будете? — вежливо спрашиваю.

— Из Челябинска, — буркает в ответ, не хочет со мной разговаривать, но и компанию разрушать не хочет, очень ей, видимо, И.Н. интересен, а у меня кураж разыгрался, мы еще по чуть-чуть приняли, и я продолжаю:

— А что это столько много вещей с вами? Все нужны?..

— Будто не понимаете. — Голову она опустила и на меня исподлобья смотрит, и тоже с иронией.

— Вещи, что ли, на продажу? — не отстаю.

— Будто не понимаете, — с полупрезрением в голосе односложно отвечает грудастый пенек в синей шапочке (или лучше — грибок).

— Эти вещи продадите, а себе другие купите? — достаю ее вопросиками, будто бес в меня вселился.

— Будто не понимаете! — уже с ноткой недовольства, раздражения отвечает сисястая Н.В. Ей неприятно, что я ее перед И.Н. прикладываю. А это меня еще больше заводит.

— Просто для денег? — изумляюсь я простодушно. — А зачем вам злотые? На них в России ничего не купишь.

— Будто не понимаете! — Она уже почти злобно грудями как пирами ринулась на меня. — На долры менять. Долры мне нужны. Как и всем.

— А долры-то вам зачем? — спросил я, ставя ударение, как и она. — В чулок складывать?

Она аж рот раскрыла от моей дикости и наивности, даже перестала иронию подозревать.

— Будто не понимаете... В банк положить или дальше ехать. Вы-то вот дальше Польши едете.

Я заткнулся. А И.Н. снова разливал, курицу мою грыз и свои бутерброды предлагал.

— Ну что, Павел, прояснили диспозицию? — он аккуратно выпил свою порцию водки, подождал, пока мы выпили, закусил и сказал: — Молодая девушка хочет приобщиться к европейской цивилизации. И ради этого готова на всевозможные тяготы. Давайте еще выпьем за ее готовность и чтобы ей помог бог торговли. На торговле мир держится. Все продают: кто вещи, кто талант, кто свои произведения, кто свой труд, кто себя, кто идеи, кто Родину.

Н.В. совсем покраснелась и радовалась, что с ней говорит этот И.Н., и прямо впитывала его слова, еще дальше, насколько это было возможно, выпитив свои груди с толстыми сосками и раздвинув пошире колени, словно придавая себе больше устойчивости. И.Н. позвал рыжекудрого хама, дал ему денег и велел принести сладостей, тысяч на пять, а пять оставить себе. Рыжая гадина все это принес. Потом И.Н. его еще раз посылал за бутылкой «Смирновской» и минералкой. И все мы пили и ехали, ехали и пили и болтали ни о чем. Вернее, болтал И.Н. О том, как комсомол раньше заботился о подрастающем поколении, как игры всякие устраивал, потому и злодейств меньше было, меньше было преступлений, молодежь расходовала энергию со смыслом, играя в патриотические игры, а теперь, конечно, насилия больше, потому что комсомол из-за отсутствия партийных денег распался и не смог вести дальше своей работы, а все его деятели вынуждены деньги зашибать на себя. Когда еще кто разбогатеет, чтоб меценатом стать! Были бы деньги, можно было бы всю преступную молодежь направить в правильное русло.

— А вы, Павел, стало быть, учиться. Не продавать, а приобретать, — болтал он, но при этом совсем не казался пьяным, да и я пьяным не был. — Но жизнь сурова, надо стараться опыт приобретать. Мой сын — ваш ровесник, а уже организовал что-то вроде комсомольской коммерческой организации. Осуществляет некото-

рым образом связь прогрессивной молодежи всех стран. За доллары, конечно.

— За долры все можно, — задумчиво протянула спекулянтская и фигуристая челночница, хамски и откровенно улыбаясь навстречу И.Н., ловя его взгляд, прыщики на ее шее побагровели, а затем посинели, как ее шапочка. — Вот бы мне туда войти... Я там все согласна делать...

Сквозь щель между занавесками летела мимо наша нищая Россия, с облупленными пристанционными домами барачного типа, с тоской этих сраных деревень, грязных и неухоженных, с вылизанными дачными шестисотками, этими летними коммуналками.

— На все, говоришь, согласна? — И.Н. смотрел на нее цепким и слегка хулиганистым взглядом, на лбу, как пишут в литературе, «бисеринки пота» появились. Он достал из висевшей в изголовье кожаной своей куртки не менее шикарное кожаное портмоне и вытащил из него зелененькую бумажку, подержал ее развернутую, чтоб мы полюбовались. — Это сто баксов. Мне их не жалко. Хочешь их получить?

— А что я должна?

— До самой Варшавы нас обслуживать. Все, что я скажу, делать. Понравишься — я тебя, может, в следующий раз к немцам с собой возьму. Там еще подзаработаешь. Они русских баб ценят. Туда отведу и назад заберу.

— А если я понавлюсь тебе, ну там, приоденусь, — вдруг хрипнул этот пенек, — в постоянные любовницы возьмешь?..

— Я вообще с тобой спать не собираюсь, — брезгливо отмахнулся И.Н. — Просто ты будешь пока делать, что я скажу. Не бойся, закон переступить не потребую. Просто душу потешить хочу. — Он помолчал. — Пока груди раздень. Люблю, когда девки сиськами трясут во время разговора. Как на Западе. Свитерними, а шапочку можешь не снимать. Так даже веселее.

Н.В. послушно и поспешно стянула с себя свитер, бросила его рядом вывернутым наизнанку, завела руки за спину и расстегнула пуговицы простого полотняного бюстгалтера (больше под свитером ничего не было). Груды у нее оказались продолговатыми, хотя и толстыми, с большими тупыми сосками. Я аж замер! Я в книгах читал, что так вот дешево и пошло покупаются женщины, что многие готовы предоставить свое тело даже не для любви, а так, на шутку, на издевку. И.Н. потрепал ее соски. Вот тебе и цивилизованное пространство! Все те же российские бары и их холопы, коммунаки и их обслуга... Слыхал же, что они там на своих комсомольских выездных мероприятиях устраивали! Нерону не сни-

лось!.. Меня больше всего злило, что он ее не трахнуть хотел, а унижить, поиздеваться, господином себя почувствовать. Они же привыкли себя господами чувствовать.

Он, конечно, был пьян уже, как я сейчас считаю. Да и меня вело, голова кружилась, так что сидеть было трудно, хотелось встать, пройтись, покурить. Н.В. держалась, надо признаться, крепче всех. Совсем спокойно сидела. А меня, чуть привстал, как в качку на корабле, аж к другой стенке купе бросило. На ее сиськи рукой наткнулся, а она хоть бы хны: терпит, не защищается, не прикрывает свои достоинства. И говорит так спокойно:

— А может, в этот раз до Кельна доедем? Вы рыжему нашему скажите, он за десять баков что хочешь сделает. А уж я постараюсь, довольны останетесь.

— Может, и доедем, — ей в ответ И.Н. — Слушайся, тогда и доедем. Прямо, блин, в светлое будущее доедем. Да здравствует капитализм — светлое будущее всего прогрессивного человечества! Х-ха! Наш паровоз вперед летит!.. И пускай летит, раз мы в нем едем. А другие страны пусть постораниваются! А ведь, Паша, хорошо в быстролетящем экспрессе, в тепле, уюте, с водочкой такие сиськи перед собой видеть. И трогать, если захочешь. А поезд, заметь себе, летит, везет нас. А мы в нем. И какой же русский не любит быстрой езды и послушной бабы. А я у нашей все время купил. Пока едем — она наша. Как доедем — тоже наша. Если немчура не перекупит, — хмыкнул, а скорее хрюкнул он.

А я прямо задыхался. Не мог на одном месте сидеть, все в голове плыло, так что я с трудом перпендикуляр удерживал. Чтобы не рухнуть на сиденье и не опозориться, я встал.

— Пойду покурю, — сказал я и, чуть не выбив из косяка дверь, так меня мотало, вышел в тамбур. И закурил. От курежки мне стало совсем худо. Я сигарету загасил, сам лбом к этому пыльному, грязному, но холодному окну прижался. А в ушах все его слова, что, мол, доедем, доедем, доедем. Прямо под ритм колес. И от этого меня прямо на рвоту тянуло. Гад какой! Доедет он! Не хотел я, чтобы эти двое куда-нибудь доехали. Потому и стоп-кран дернул, а вовсе не потому, что якобы ухватился за него, чтоб на ногах устоять. Он довольно тугой был. Пришлось силу прикладывать, чтоб дернуть. Отец меня потом ругал, что я о других людях не подумал, когда поезд останавливал. Это верно. Не подумал. Но уж очень не хотелось, чтобы эти куда-то доехали. Уж очень противно стало!

*Апрель 1994 г.*

## Фазанова

Э то был какой-то дурной вечер. Даша к шести должна была пойти в гости к Фазановой. Та предложила поговорить по поводу Дашиной статьи. И Даша очень радовалась и даже гордилась, что сама Фазанова уделяет ей целый вечер. «Она по-настоящему живет наукой», — восхищенно говорила Даша. А Галахов весь день мотался. Днем делал доклад на какой-то российско-британской конференции в Академии наук на Ленинском проспекте. Затем читал лекцию студентам. А уже к семи отправился на презентацию книги приятеля. Конечно, к девяти уже хотел домой, но надо было еще выпить за здоровье героя дня. Во время фуршета разговорился с бывшим однокурсником, которого не видел уже лет восемь-девять. Однокурсник работал, как выяснилось, в ГИЛИСТе — Главном институте литературы и истории. «Где твоя молодая жена? — спросил однокурсник. — Наслышан. Скрываешь от общества?» — «Нет, ни в коем случае. Просто она задружилась с Фазановой и сегодня к ней поехала — свою статью обсудить. Знаешь такую?» — «Да еще бы! Я с ней работаю. Так это про твою жену Фазанова говорила?» — «Что говорила?» — «Да нет, ничего особенного, в обычном фазановском духе. Только учти и жену предупреди, что с этой бабой дружить нельзя. Помимо всего прочего, она считает, что она есть реинкарнация Лихачева, Лотмана и Леви-Стросса». — «Да что случилось? Что говорила?» — «Старик, не мастер я сплетни передавать».

Павел вернулся домой уже сильно после десяти, и настроение его было весьма смутное. С Фазановой он познакомился раньше, чем Даша. Дважды или трижды пересекались на международных конференциях. Фазанова везде ездила со своим князем Вертухаевым, благо архив его был огромен, а сам князь, счастливо избежав гибели в опричнину, выучил латынь и польский и переписывался с разнообразными западными персонажами. В Баден-Бадене она делала доклад: «Князь Вертухаев и русский путь к цивилизации». Ее все слушали, поскольку материалы были неизвестные, а она умела их хорошо преподнести. И черт его дернул тогда переспать

с Фазановой. Был заключительный вечер после конференции в Баден-Бадене. Несколько человек шли вместе вечерним летним теплым городом, поднимались маленькой горбатой улочкой, и вдруг Ада Никифоровна оперлась о его руку и сжала ему пальцы, сама на него при этом не глядела. Маленький лифт поднял их на четвертый этаж, семейная пара из Германии (тоже с их конференции) поехала дальше, впрочем немецкая женщина что-то заподозрила, открыла было рот, но муж сурово ей что-то сказал, и она смолкла. Прямо у лифта он принялся целовать ее шею и мять грудь. Она слегка пьяно млела, руки его не отталкивала, но и в номер к нему идти не соглашалась. Нацеловавшись вдоволь, она сказала: «Не пойду. I am sorry». И оторвавшись от него, стала подниматься по лестнице, где полуэтажом, пролетом выше был ее номер. Павел шагнул было следом. Но она обернувшись, выставила ладонь, останавливая его, сладко и маняще улыбнулась, но не позволила идти за ней: «Не надо». Он пошел в свой номер. Скинул куртку и тут понял, что надо идти к ней, что ее отказ и не отказ вовсе, а скорее, игра, что если сейчас не поднимется, то завтра будет поздно. Все же выкурил сигарету в колебании, но надо, надо... И он выскочил из номера и рванулся в ее комнату, постучал. Она открыла, не очень удивленная. Она была уже после душа, одета в короткий махровый халатик, под которым — теплое и распаренное тело. Он притянул ее к себе. Она припала к его груди. И вдруг сама принялась расстегивать его брюки. Он опрокинул ее в расстеленную уже постель. Но через час ушел, она не возражала. Фазанова была уже не юная женщина, очень давно замужем, поэтому понимала, что надо вовремя остановиться. Да и муж ее приходился сыном знаменитому археологу Бобинсону, как раз и открывшему бумаги князя Вертухаева, целый подвал семнадцатого века, набитый рукописями, на удивление сохранившимися.

Галахов любил Дашу, но, как многие мужчины, во время поездок он чувствовал себя отчасти Одиссеем, и все встреченные женщины казались нимфами с вновь открытых островов. Даша к тому же была не первой его женой, хотя и любимой, и, как он думал, последней, но он привык к вольным отношениям с женщинами и не считал изменой случайные связи. Но тут он вдруг подумал, как бы его кобеляж не вышел боком Даше. Хотя почему?... Что Ада, дура, что ли, о таком рассказывать! Но кто ее знает! И тут ему вспомнилась сегодняшняя случайная встреча с фазановским мужем, Тишей Бобинсоном, на громоздких ступеньках перед входом в Академию Наук. Галахов, сделавши доклад, вышел, а Тиша, напротив, бежал на работу. Они столкнулись лицом к лицу. И хотя Тиша почему-то



явно хотел пробежать мимо, но вынужден был остановиться и, смотря поверх плеча Галахова, пожать ему руку. «Даша к вам сегодня вечером собиралась», — автоматически сказал Галахов. «К нам, к нам! — воскликнул Тиша, приплясывая на одном месте, словно рвался в туалет “по малой нужде”, — поговорить надо, поговорить!» И рвался вверх по ступеням, не решаясь сам оторваться от Павла. Тот сказал: «Только допоздна не задерживайте Дашу, ладно? А то с Адой она готова хоть до полночи сидеть». «Конечно, конечно. Не задержим, поговорим только, поговорим. Там есть кое-какие соображения по ее статье», — все приплясывал Бобинсон, напоминая чертика, который выскакивает из коробочки при нажатии пружинки и скачет и кривляется на этой пружинке. Но чертик не самостоятельный, игрушечный. Они расстались. Бобинсон побежал вверх по ступенькам, а Галахов, двигаясь на лекцию, подумал, что Тиша вел себя как-то странно. Но, не додумав, тут же из головы эту мысль выбросил.

Теперь же он ходил из угла в угол по кухне, закуривая одну сигарету за другой, чего Даша не любила, но он все равно курил, когда нервничал. Окурки он тушил об единственную в доме пепельницу, тут же выбрасывал их в туалет, мыл пепельницу, как будто не будет больше курить, и все же снова закуривал. Ругал себя, что не поехал с Дашей. Но уж очень она хотела независимой поездки. Это было ее научное открытие, и она хотела, как настоящий ученый, разговора со специалистом без поддержки мужа. Несколько раз он пыривался снять трубку и позвонить, но удерживал себя. Фазанова жила в том самом Чертанове, в котором их когда-то чуть не убила шпана, но которое Даша любила, потому что именно там Павел сделал ей предложение. Галахов же терпеть не мог этот район. Его темноту, его еще более темных обитателей. Людей поприличнее сюда заносила жилищная московская неурядица. Как занесло в свое время его приятеля Леню Гаврилова, как занесло и Фазанову, которая купила здесь кооператив много лет назад — с первых своих относительно больших гонораров. Знать бы хотя бы, вышла она или нет. Если не вышла, то просить подождать и нестись ее встречать. Сколько может длиться ученый разговор!..

Наконец, не выдержал, позвонил.

— Не волнуйтесь, Павел, — сказал в трубку жестковатый голос Ады, — Даша только что вышла. Наверно, едва до метро добралась. Посчитайте, сколько ей на метро ехать, и выходите встречать ваше сокровище.

Он вообразил себе ее, как уже видел, при муже надменное лицо, от которого Тиша терялся, и повесил трубку.

И тут же телефон зазвонил. Звучал Дашин голос, но как бы и не Дашин, такого он никогда не слышал. Она не всхлипывала, нет, она словно захлебывалась не то словами, не то шумно заглатываемым воздухом, не то какой-то горловой дрожью. Прерывающимся голосом она бормотала, что ей уже почти тридцать и жизнь прошла попусту, что все, что она делала, на что надеялась, пустяк, подражание, ничего самостоятельного, и что она переквалифицируется отныне в поломойки.

– Ты что?! Откуда ты звонишь? – обомлел Галахов.

– Я уже у метро... Из автомата... Фазанова права... Она настоящая исследователь. Я ей сказала: «Вы как исследовательница...» А она меня так жестко оборвала: «Я не исследовательница, милочка, а исследователь. Я вам уже это говорила. Как Ахматова была не поэтессой, а поэтом!»... Она исследователь, а я... я даже не никто, а ничто!.. Она была груба, но я это заслужила... Она камня на камне от моей статьи не оставила... И этот Тиша ей все время поддакивал... Я даже думаю, он ее и подзуживал... Она мне говорит: «Вы, наверно, хорошая жена, вот и будьте женой, а в науку не лезьте, раз Бог способностей не дал...» Я, кажется, даже начала там плакать. Она все возмущалась, что я писала свою статью по ею изданному сборнику, а на нее сослалась только три раза... Но не в этом дело... Не думай... Не тщеславие ее... Это я полная дура. Она мне доказала, что моя идея насчет Софии Премудрости в этой рукописи Вертухаева – чистая натяжка... А Тиша все тяжеленные альбомы таскал с иллюстрациями и мне в нос тыкал... И за Адой каждое ее последнее слово дважды повторял... Знаешь, под конец вдруг смешно получилось... Уже у двери она мне на прощанье говорит: «Я вам, наверно, кажусь монстром». А Тиша подхватил: «Да, да, монстром, монстром!» Это был какой-то ад! Ты знаешь, Галахов, я не хочу домой ехать. Я еще где-нибудь погуляю. Мне надо в себя прийти.

– Что за бред! – почти закричал Галахов, ломая в пальцах сигарету.

Но Даша каким-то чужим отчаянным голосом снова твердила, что она поняла, что ничего из себя не представляет, что Фазанова правду сказала, что ей не место в науке, поскольку ничего своего у нее за душой нет, что она повторяет чужое, то, что наработала, к примеру, сама Фазанова, что она верит ей, поскольку она большой настоящий ученый, автор пяти книг, а у нее, Даши, едва двадцать статей наберется. Что ей надо понять, как жить дальше, что домой ей возвращаться не хочется. «Мне надо идти преподавать, учить детей, ни на что больше я не гожусь. И то, если возьмут».

— Не сходи с ума! — нервно сказал Галахов. — Уже очень поздно. Я выхожу к метро тебя встречать. И буду стоять, пока ты не приедешь. Ты меня знаешь. Как сказал, так и сделаю.

— Хорошо, я еду. Но это ничего не меняет, — всхлипнула вдруг она, и разговор оборвался. В трубке звучали гудки. Павел вылетел на улицу. Мобильного у Даши не было. Звонить некуда. Ехать в Чертаново бессмысленно. Они разминутся. Оставалось нервно вышагивать в фонарной полутьме туда-сюда по дороге, ведущей к метро, и снова курить.

«Что случилось? Из-за меня? Месть ревнивой женщины? Но вот в ревности Аду не заподозришь. Тем более, что вообще она почти феминистка, считает себя выше любого мужчины. Да и во время нашего тогдашнего визита даже черточки не проскользнуло. А потом ей явно Даша понравилась». Фазанова приглашала ее в имение князя Вертухаева, куда возила западных славистов, они ездили по монастырям, Ада приобщала Дашу к кругу мировых специалистов, куда сама была давно вхожа. Более того, несколько раз приглашала в финскую баню, где обещала ей научный симпозион, но как-то не получалось. Приходила только Даша, и Фазанова, как рассказывала простодушно Даша, восхищалась ее телом, говорила, что завидует Галахову, который может это тело ласкать и обнимать. «Да, может, она просто тайная лесбиянка?! — вдруг ударил себя в лоб Павел. — И мстит Даше за то, что у нее сорвалось, что Даша не поняла, что не дала ей. Нет, невероятно. Или, наоборот, очень вероятно.»

Под фонарем он остановился и посмотрел на часы. Ходил он всего двадцать минут. Еще минут сорок оставалось. Неслись, блестя фарами, по шоссе машины. По тротуару, навстречу и обгоняя его, проходили запоздавшие парочки. Брели какие-то нешумные, хотя и явно подвыпившие компании. Павел сжимал зубы и уговаривал себя, что с Дашей ничего не случилось, что она просто промахнулась трубкой мимо рычага, а поднимать ее на место не стала, поспешила в метро. Так трубка и висела себе, издавая нервные гудки. А что если?.. Перепуганное воображение рисовало одну за другой жутковатые картины, как Дашу вытаскивают из телефонной будки и куда-то волокут местные дикари.

Тогда они шли к Фазановой в Чертаново, и Павел вспоминал ту роковую семилетней давности их поездку к другу его детства сюда же, когда поздним вечером их чуть не убила шпана, но обошлось. Странно, тогда он сказал себе, что если выберутся, то непременно поженятся. Они выбрались, поженились, жили уже семь лет, и Галахов ни дня не жалел об этом. Даша тогда твердо сказала на его бор-

мотание, не пожениться ли им: «Мы с тобой хорошо будем жить, Галахов». И не обманула. Сменив уже трех жен, он мог сказать, что более нежной, мягкой, умной и совсем нескандалной женщины он в жизни своей не знал. И как тогда от шпаны, ему хотелось защищать ее от всего мира. А тут чувствовал собственную вину. И черт его дернул тогда переспать с Фазановой! Что она Даше наговорила! Конечно, не был он специалистом по князю Вертухаеву, но все-таки достаточно профессиональным филологом и мог оценить новый поворот темы. Фазановой после работы в архивах издала три тома сочинений князя Вертухаева, писателя и одного из ранних русских философов эпохи барокко. И Даша все время говорила, что она идет по следам Ады Никифоровны, и единственная возможность для нее — найти в этих текстах то, что не заметила *сама* А.Н. Ведь любой текст неисчерпаем, и Галахов с ней соглашался. Действительно, любой текст зависит от читателя. И, наконец, Даше показалось, что в одной из работ князя она углядела своеобразную антропологию, которую предлагал князь, изображая разделенные части человеческого тела. Но, если их сложить, то получалось единое тело во главе с умом, что имел князь в виду облик Софии Премудрости, нахально отождествляя себя с ней, поэтому и человеческое лицо на его рисунке как бы двоилось, являя и мужские, и женские черты. А тем самым князь как бы оказывался одним из первых софиологов в России. Можно было даже предположить, что это автопортрет в облике Софии, чего Фазанова не заметила, о чем не подумала. Это явно не было повтором. Журнал принял статью, Даша, однако, решила до публикации показать текст мэтру Фазановой, со шенячьей доверчивостью надеясь на ее советы.

Дорога к Фазановой была, вдруг подумал Галахов, как дорога к бабе-яге. Петух вдруг закукарекал не вовремя, ворона орала что-то неприятное, ведро упало с сарая и покатило им под ноги, пронзительно мяукал перед подъездом кот, смотрел на них желтыми глазами, но в подъезд не шел. А путь шел среди и мимо гаражей, которые всегда создавали своего рода барьер перед окраинными новостройками. Но там же стояло и несколько допотопных сараев, даже высокая голубятня. У подъезда их очень мило так поджидали Тиша и Ада в шляпке. На шляпке своей она носила фазанье перо, дома был веер из фазаньих перьев, и улыбаясь своей жесткой улыбкой, она кокетничала: «Фамилия обязывает».

Квартира — прямо пряничный домик, везде леденцы, горки шоколада, орехов, коробки конфет. А Павел с Дашей — как Ганс и Гретель. У хозяев, конечно, два компьютера, ведь каждый — самостоятельный ученый. Они жили одни, детей не было, да Фазанова

нова, похоже, в детях не нуждалось, Забота о них мешала бы заботе о собственном величии. Черноволосая, с естественно завивавшимися жесткими волосами, отдаленно напоминая еврейку, но всегда при знакомстве, начиная с того, что она ни в коем случае не еврейка, она смутно намекала, что занялась этой эпохой, потому что именно туда уходит ее родословная. Но подробнее поинтересоваться об этом не решалась. Зато Тиша, не стесняясь, спустился по своему родословному древу до шотландских корней шестнадцатого века, тоже начав рассказ с того, что, несмотря на фамилию, он отнюдь не еврей. Судя по всему, оба говорили правду и к великому народу отношения не имели. Правда, Ада тут же добавила, что у них много коллег-евреев, особенно на Западе, и они с ними дружат. Про происхождение Бобинсона Павел не знал, но Фазанова в ту баденскую ночь сама ему рассказала, как волжская девчонка, наполовину чувашка, она рвалась в московский университет, выучила польский, латынь, французский, могла читать по-немецки, потом случился Тиша Бобинсон и архивы князя Вертухаева. Поперла везуха, кандидатская, докторская. Тесть тоже был к ней равнодушен, но, как она уверяла, рукам воли не давал, воспитание не позволяло.

Они заодно отмечали «трехлетнюю годовщину кухни». Тиша бормотал, что время от времени он кое-что еще доделывает. Видно было, как усердно работал он столярным делом на кухне, все отделал, отшкурил, лаком покрыл, чтоб заслужить благосклонность, видимо, неудовлетворенной им повелительницы. Павел, глядя на всю эту кухню, деревянную, стильную, лакированную, сделанную собственными руками Тиши Бобинсона «в свободное от работы время», думал, что у него не хватило бы усердия таким образом выказывать любовь жене, что Даше свою любовь он выказывал совсем другим способом. И он жадными глазами посмотрел на так привлекавшую его фигурку все еще молодой жены. И какой черт толкнул его, походя, влезть в постель к Фазановой? — снова подумал он тогда. И желания-то особого не было, так, подвыпил, и удаль молодецкая. А она почему так легко согласилась? Ведь видела его всего на второй конференции с промежутком в два года... Конечно, лестно думать о себе как о покорителе женских туш и душ. Но души он ее не задел, это очевидно. Имя научное было, да и блистал он на обеих конференциях, женское внимание тем самым и в самом деле привлек. Но почему так легко? Или ласки мужской давно не было? Может, Тиша давно уже ласку реальную заменяет древообделочной работой? Не умея отстоять свое достоинство ни в постели, ни в науке, он занимался поделками по дому, выпиливал лобзиком, сам отремонтировал кухню, обшив ее деревом.

Впрочем, Галахов с Адой даже и не думали *эти свои* отношения продолжать. Все же уважающие себя и друг друга ученые. И если бы не интеллектуальная влюбленность Даши в работы Фазановой, он бы и не подумал ей даже звонить, тем более напрашиваться на встречу, причем семейную. После защиты кандидатской Даша продолжала искать тексты на свою тему: взаимоотношения души и тела в русской культуре. Пока не наткнулась на груды рукописей из архива князя Вертухаева. Но везде она видела, что кто-то шел в работе с этими текстами впереди нее. Этот кто-то и была Ада Никифоровна Фазанова. Она взялась за ее книжки, и с того момента дома только и было разговору, что Фазанова считает, что Фазанова об этом пишет, что по Фазановой получается так-то. Она даже стала ходить на ее лекции, которые Ада с неохотой, по обязательке, читала в Педагогическом университете. И теперь была счастлива сидеть у нее дома и слушать ее умные речи. Но молчала, не решаясь открыть рот.

Их принимали по первому классу. Всяческие салаты, многие сама Ада делала, хотя бы салат «Нежность» из мелко нарубленной капусты и крабовых палочек, греческий — с разнообразной зеленью, сухими кусочками черного хлеба, оливками, оливковым маслом залитый. Белая и красная рыба, уложенная красивыми ломтиками на тарелках, сухая колбаса, буженина. Что-то явно грелось в духовке: сидели они на кухне, тщательно сотворенной собственными руками Тиши. Поэтому первый тост Ада предложила за кухню, за ее трехлетний юбилей. Они выпили. Фазанова чуть пригубила.

«Три года, значит, по крайней мере, мужской ласки она не видела, — цинично решил тогда Галахов, вспомнив ее страсть в баденбаденскую ночь. — Отсюда, наверно, и мужские ухватки появились». Сейчас он, правда, думал, что мужские ухватки ни с того, ни с сего не появляются. Сколько неженской энергии должно было быть у девочки из Ижевска, чтобы выбиться в первый ряд московских филологов.

Но она и в самом деле считала, что мужчины ничего не умеют. Тиша — показатель. С Галаховым ей показалось неплохо. Но одна ночь — не в счет. Она сама себя начинала чувствовать женщиной. Какие-то другие, неженские гормоны стали в ней вырабатываться. Тиша готовил обед и подавал на стол, а она сидела, как хозяйин дома, и ждала. И чего-то стало ее тянуть к нежным девичьим телам. Она понимала мужиков. Так приятно гладить и ласкать молодые тела, когда они стонут в твоих объятьях. Не все ли равно как получить удовлетворение, лишь бы получать!

— Откуда у вас имя такое? Давно хотел спросить. Такого имени в святцах нет, — так в тот вечер начал Павел светский разговор после первого бокала очень расхваленного Фазановой сухого вина, которое она «открыла на Кипре». Та на вопрос отреагировала довольно спокойно, хотя иронически на него посмотрела, мол, никакого другого получше вопроса придумать не смог.

— Что делать — родители назвали: авиация дальнего действия, сокращенно АДД или АД. Отец летчиком был, но так девочку не назовешь, вот и стала я Адой, — рассмеялась она. — Вначале они в Челябинске базировались, потом их в Ижевск перевели. Там он мою мать и подцепил. Когда-то москвичам завидовала, да, было такое. Казалось, что самые счастливые люди в Москве живут.

— Да, самые, самые, именно, что живут, — подхватил Тиша.

— А теперь?

— Теперь? Теперь мне все завидуют. Знаете, столько, сколько я по миру езжу, вряд ли у нас кому-то удастся. Недели три, как вернулась из Женевы. Полугодовой грант был. На мою удачу, там князь Вертухаев две недели с русским посольством провел. Его следы искала. Все дуются. Зав сектором грозится не зачесть мои публикации за этот год, поскольку-де это все западные публикации. Хочу быстренько конференцию провести, а то придется в другой сектор переходить. Я просто не умею не быть первой. Вы знаете такое понятие — перфекционизм? Так вот, я перфекционистка.

— Именно, что перфекционистка. Ада у меня везде первая, — добавил Тиша.

Надо сказать, через месяц она и перешла в другой сектор, где не было заведующего. Она завоём как раз и стала.

— Там, где я прошла, другому делать нечего. Я, как правило, в своей области ничего после себя не оставляю. Все подбираю дочиста. Вы, Дашенька, уже взрослая женщина, хотя и очень красивая и сохранившаяся. Видно, что муж вас любит. Попробуйте, конечно. Чем могу, — помогу. Вы мне нравитесь независимо от Вашего мужа.

— Даша вас обожает, — улыбаясь ей достаточно скромной улыбкой, стараясь сгладить неловкость ее последней фразы, произнес Галахов, но невольно тоном, словно часть себя снова отдавал.

Это были своего рода смотрины Даши. Но в еще большей степени показ высокого интеллектуализма семейства Фазановой-Бобинсона. Показывались перед ужином книги свои и чужие с дарственными надписями, статьи в зарубежных книгах и даже одна книга Ады на английском языке. Галахов сунул глаз и в библиотеку. Он помнил еще из школы знаменитый ответ Маркса на вопрос анкеты, какое его любимое занятие, — «рыться в книгах».

В этом смысле Галахов был марксистом. Он тоже любил рыться в книгах, особенно в книгах чужой библиотеки. Библиотека в этом доме была хорошо, подобрана со вкусом и очень профессиональная. Кроме избранных общеобязательных романов русской классики – Толстого, Достоевского, Булгакова, стояли тома архивных изданий древнерусских текстов, тома архивных документов, альбомы художников Возрождения и древнерусской иконописи. Да, все было по высшему классу.

Потом Ада достала из духовки мясо с грибами. Тиша предложил Павлу выпить по рюмке водки.

– Только для мужчин, да, для мужчин. Хотя какие мы мужчины! Мы же интеллектуалы.

– То есть как?! – воскликнула неожиданно с недоумением Даша, смутилась, покраснела. И, чтобы скрыть смущение, спросила хозяйку: – Как вы так вкусно мясо запекаете? Что за мясо? Это вроде бы не говядина и не свинина...

Смушение ее Фазанова заметила и оценила. И ответила, влет сбивая:

– Не бойтесь ко мне в ученицы идти? Говорят, я – баба-яга и людоедка. Сегодня – на ужин мясо моих оппонентов, а вместо вина – соки, которые я выжимаю из моих врагов. Не бойтесь меня, Даша?

Но Даша смотрела на нее замороженными глазами.

– Что вы, Ада Никифоровна! Если признаться, я вами просто восхищаюсь. Я еще никогда не видела человека, так поглощенного наукой! Вы такая классная исследовательница!.. – допустила Даша прокол, который повторила и сегодня, хотя уже и в тот вечер Фазанова резко ответила и почти теми же словами:

– Не надо меня так называть. Я не исследовательница, а исследователь. Наука не знает пола.

– Вот так, Дашенька, – выступил со своим рефреном Бобинсон. – Пола наука не знает. Никакого пола.

– А потолок? – не удержался Галахов.

– Что потолок? – не понял Тиша.

– Знает наука потолок? – разъяснил свою шутку Павел, чувствуя, как она на ходу теряет свой смысл. И точно: ему никто не ответил.

А Даша даже и не слышала его, она во всем соглашалась с Бобинсоном и Фазановой.

«Она ее заморозила», – вдруг испугался тогда Галахов.

Такой замороженной Даша и проходила следующие месяцы своего общения с Фазановой. Павел только и слышал: «Ее нельзя не



уважать». «Она настоящий ученый». «Я очень много от нее узнала». «Она в совершенстве владеет своим предметом». «Конечно, рядом некого поставить». «Я теперь поняла, что такое настоящая наука». И все в таком духе.

Вечером хозяева проводили их до метро. Тихая, теплая осенняя погода навевала благостность. Они шли мимо гаражей, куда ставили свои машины возвращавшиеся из поздних гостей люди. А им еще предстояло больше часа добираться. Тиша вскидывал руками и восхищался тем, как много Ада сделала для понимания князя Вертухаева. Фазанова скромно молчала. При прощании на освещенной площадке перед входом в метро они расцеловались. Поцелуй Ады был вполне дружеский, даже холодноватый, будто ничего и не было. Павел почувствовал, что его отпустило напряжение, которое он все же, как выяснилось, испытывал всю их встречу. А Даша, поцеловав Аду, отведя руку Галахова, чтобы он не мешал, что-то шептала ей радостно-обожаящее. Даже слезы на глазах у нее выступили. Иронизировать на обратном пути над ее чувствами Павел не стал, уж очень ей Фазанова понравилась.

Он посмотрел на часы. Пора было кончать гулянье и спешить к метро. Но пришел он раньше, Даша еще не приехала. Он стоял, прислонившись плечом к закрытому уже киоску, и курил. Улица, по которой он гулял, была почти пустынна, зато перед метро толпился кое-какой народ. Работал магазин «24 часа», такая же аптека, много встречающих, маленькие компании, лохотронщики, правда, уже удалились. Не их время. Обычно с десятков крупногабаритных парней и девиц с грубыми лицами прогуливались перед метро с большими полиэтиленовыми сумками, в которых лежали какие-то фирменные, перевязанные ленточкой коробки. Вроде бы магнитофоны, видеаки, кофеварки и прочее. Они представлялись как агенты фирменного отдела РТР, и провинциалы доверчиво их слушали. Павел никогда не видел результатов этих переговоров, но раз лохотронщики продолжали здесь собираться, прок для них был. Милиция же просто их не замечала. Галахов курил, наблюдая, как поток за потоком изливался из хлопающих дверей стеклянного павильона метро. Новый поезд – новый поток людей с промежутком примерно в три минуты. Вздрагивал, когда мелькала женская куртка знакомого цвета, но лица над этими куртками были чужие.

Наконец, появилась рыжая вязаная шапочка и темно-красная куртка, волосы из-под шапочки выбились и повисли какими-то собачьими клоками, глаза потухшие и совершенно несчастные, взгляд оцепенелый. У Павла вдруг возникло ощущение съеден-

ного человека. Даша была съедена, а, судя по тому, как шла, даже косточки были надломлены или надкусаны.

– Ты зачем куришь? – автоматически спросила, автоматически заботясь о нем.

Он не ответил, бросил недокуренную сигарету и, взяв ее под руку, повел домой. Она шла, опустив голову, глядя себе под ноги. Павел хотел что-то спросить, но Даша прервала его:

– Только не говори мне ничего. Ладно? Пойдем молча.

Дома, бросив куртку на сундучок под вешалкой, прошла в комнату и села на диван. И тут ее прорвало. Рыдала, всхлипывала, хлюпала, замолкала и смотрела несчастными глазами в угол комнаты. Отмахивалась от него, не желала слушать его растерянных и успокаивающих слов:

– Ты же муж. Что ты еще можешь сказать? Конечно, меня поддерживать. А она специалистка. И Тиша Бобинсон еще резче говорил. Я просто бездарность. И зачем я полезла в эту науку?

– Давай подойдем к вашему разговору рационально. Какие конкретно ее претензии. Вычлени рациональное ядро.

– Я не умею мыслить рационально. Это прерогатива Фазановой, потому что она ученый, а я обыкновенная тетка. У нее вместо душевных качеств и состояний – правила и принципы, нахождение ошибок и их исправление, уличение в ошибках и наказание... Вспомни, как они нас принимали в своем доме. Это была функциональная экскурсия. Здесь мы едим, это наш холодильник, это – плита, это – туалет, это – ванная, здесь – мой рабочий стол, здесь – Тишин кабинет, здесь – мы спим и так далее. Я теперь готовлю то-то, потому что это полезно и экономит время. По отношению и к самим себе сплошной функционализм. Впрочем, может быть, я и не права. Но, как я думаю, ничего не может быть противоположнее меня. Я сомневаюсь всегда и во всем, опираюсь на интуицию. Но, возможно, – да это так и есть! – в науке, как и в спорте, побеждают именно такие «хорошо организованные материи». Теперь она еще и сплетню обо мне пустит. С милой улыбкой и видом научной объективности она всякие гадости о других говорила, да обо всех почти, а я ей верила. А теперь мне она сказала: «Вы же у меня почти все списали». Она теперь себе руки развязала, у-у, как теперь сплетня загуляет!..

Павел вспомнил смутные слова университетского приятеля и подумал, что уже загуляла, уже пробный шар заброшен. Попытался, тем не менее, говорить и предполагать нечто рациональное:

– Может, потому, что ты на ее делянку залезла? И теперь ей с тобой делиться придется.

— Что ты! Она была поначалу очень рада. Потом я же по ее работам иду, то есть ее пропагандирую. Я не понимаю, ничего не понимаю.

Она дрожала, зубы стучали. Он попытался дать ей воды, но глоток воды исчез в ней, как капли на раскаленной сковородке.

— Выпей коньяку, — просил он. — Тоже просто глоток. Знаешь, тот, кто списывает, свой плагиат первопроходчику не показывает.

Он сам произнес это страшное слово — плагиат. И испугался реакции. Она посмотрела на него совершенно бешеными глазами. Но тон был спокоен, даже слишком спокоен:

— Ты тоже так считаешь? Тогда мне остается...

— Что остается?

— Не знаю. Умереть, наверно.

Галахов, видя, как она погибает, решил свалить на лесбиянство.

— Она же в тебя влюблена была, как в женщину. Ну, как женщина в женщину. Тиша-то уже неспособен, видимо. А — прокололась. Ты не поняла ее дамских деликатных лесбийских ухаживаний. Потому и в сауну тебя водила.

— Нет, — помотала Даша головой. — Не похоже. Она ни разу не решила по моему телу даже рукой провести, ни разу не поцеловала. Может, запрещала себе. Но дело в другом. Я уже тебе говорила. Просто она *хорошо* организованная для науки материя, а я *плохо*.

Она рыдала и стучала кулачками в стенку.

Тогда Павел, боясь за ее рассудок, рассказал о том эпизоде в Баден-Бадене. За что получил по физиономии. Даше поманила его пальцем и, когда он к ней склонился, с размаху ударила его по щеке.

— Она меня с дерьмом смешала, а ты к ней в постель залез. Ты — предатель.

Удивительно, что не вообще обиделась, а что в *такой* момент. Сообразив это, Павел с трудом, но убедил ее, что момент был совсем другой, несколько лет назад, что и знакомы они семейно не были, что он себя клянет, что пьян был и прочие слова, которые говорят в таких случаях.

Но Даше уже было все равно. Она отвернулась к стене и не отвечала больше ему весь вечер и всю ночь. Раздеться и лечь в постель она тоже не пожелала. Галахов почти всю ночь промаялся на кухне, курил и сам пил коньяк.

Дальше все развивалось ужасно, по неостановимо ухудшающейся схеме. Утром Даша не встала, хотя согласилась перелечь в разобранную постель. От еды отказывалась. И с мужем говорить не хо-

тела. О том, чтоб на работу пойти, и речи быть не могло. Отзвонил свою лекцию и Галахов, остался с ней. Врач ничего толком сказать не мог, предложил сходить к невропатологу, поскольку тот на дом не выезжает. Павел нашел врача-частника из платной больницы. Невропатолог постучал Даше по локтям и по коленкам молоточком, надел на голову зеркальце на ленте, велел водить из стороны в сторону глазами, затем закрыть глаза и дотронуться указательным пальцем до кончика носа, потом прописал успокаивающие лекарства, взял много денег и ушел.

Но ничего не помогало. На работу Даша ходить перестала. Боялась слухов и сплетен, ее трясло при упоминании ее филологического факультета. Павлу она разрешила спать с ней в одной постели, иногда разрешала и большее, и тогда ему казалось, что она хочет в любви спрятаться от мучающей ее дурной идеи. Слишком она духовно отдалась Фазановой. Да, думал Павел, это и было своего рода духовное лесбиянство. Он даже боялся ее любить, обнимать ее худеющее изо дня в день тело.

Фазанова больше ни разу не позвонила. Только раз позвонила какая-то коммивояжерша, предлагая современный суперпылесос, сказав, что номер телефона ей дала Ада Никифировна.

Продолжались врачи-неврологи, больничные листы, статью свою из журнала Даша сразу сняла. Кто-то из доброжелателей написал ей письмо, мол, Фазанова всем говорит, что «жена Галахова у нее все списала». С Адой Галахов не перекинулся больше даже словом, чувствуя бессмысленность их разговора и свою беспомощность. Конечно, муж и не может жену не защищать. Он отправил Дашу в санаторий, куда ездил через день. Он-то не мог оставить работу, и на конференции по привычке и обязанности ходил. Месяца через четыре после начала Дашиной болезни он был на конференции в ГИЛИСТе, и бывший однокурсник опять просветил его:

— Слышал, как Фазанова развернула своего Вертухаева? Он у нее теперь стал первый русский софиолог, что он якобы себя в образе Софии Премудрости изобразил. Да ты выйди в фойе, там сборник ее сектора продается.

С этим сборником Павел и поехал в санаторий, всю дорогу пребывая в растерянности, то ли показывать жене статью Ады, то ли умолчать. Но все же показал. И вдруг Даша засмеялась, не нервно, а очень спокойно:

— Так просто? — выговорила она. — И для этого надо было меня почти уничтожить? Поехали домой. Я ребенка от тебя хочу. Хватит с меня науки.

*New York, январь 2005*

## Не пускайте зло в свой дом

**Х**одя по улицам, он выискивал, что валяется под ногами. Дед Антон был скуповат и невероятно экономен. «Хозяйственный у нас дед», — говорила бабушка Настя. Вынужденный после коллективизации перебраться в московский двор около Окружной железной дороги, в коммуналку, из своего большого двухэтажного дома, стоявшего в огромном саду, который он сам и насадил, он не сдавался. Повторял: «В хорошем хозяйстве и веревочка пригодится».

Эту скупость и надежду только на себя мама несла в себе как свою силу. Она понимала, почему ее отец подбирает булавки и пуговицы в уличной пыли. Пусть пуговичка найдена на улице, но ни у кого не прошена. У нее было присловье: «Надо в жизни опираться на свой собственный хвост». Слишком много было пережито в одиночку, безо всякой помощи. Думаю, такое самостоянье и от внутренней силы, но и от памяти прошлого — своего дома, своего сада, даже своей вредной коровы Зорьки. За год до начала войны, сразу после школы она поступила в МГУ на биологический факультет. Очень хотела сравняться с профессорским сыном, моим будущим отцом. Старшая сестра Лена язвила: «Танька, вверх лезешь? В профессорскую семью? Смотри, не сорвись. Вот у меня моряк. Он только меня хочет и ничего больше». Сестра Лена к семнадцати годам уже потеряла невинность. В начале войны мама ушла из университета и, как и ее сестра, и окопы рыла, и белье солдатское шила, и на электростанции работала. А было ей всего-то восемнадцать. Конечно, все работали, все были в ужасе. Но тут и рождался странный характер опоры только на себя и одновременно полной покорности перед безличной силой государства. Мама жила за городом, на работу ездила на электричке. И вот ее рассказ: как в начале войны по шпалам шла толпа плачущих баб и девчонок (и мама среди них), потому что электричка встала, не доехав до Москвы, а все спешили на работу, ибо закон за опоздание на три минуты давали три года лагерей. Шли вроде на работу, а на самом деле в тюрьму. Потому и рыдали. Но в этот день *всех простили*. По всей Москве не было электричества.

Вера в свою внутреннюю силу была у нее необыкновенная. Как-то на излете Советской власти я попал в Самару (тогда это было другое имя – Куйбышев), где нас повели в бункер Сталина. Было глубоко и крутая лестница, полумрак, старались не упасть. Тогда я и узнал, что Куйбышев планировался как запасная столица страны на случай падения Москвы. То-то были вынуждены насмерть стоять под Сталинградом. Чтобы не открыть врагу путь к Самаре по широкой воде. Бункер этот был глубиной в тридцать семь метров. Экскурсовод пошутил: «Случайно такую глубину выбрали, не в честь тридцать седьмого года. Но люди, жившие вокруг бункера, исчезли в одну ночь неизвестно куда. Зато глубже бункера ни у кого не было – ни у Гитлера, ни у Черчилля». И там я увидел в зале, приготовленной для заседаний Политбюро, на стенке в рамочках под стеклом два документа начала войны, которые, как сказал хромой экскурсовод, нигде не опубликованы. Здесь висят, мол, подлинники. Сверхсекретные приказы Сталина. Один был о производстве самолетов. Город выпускал в неделю два самолета. В приказе чувствовалось бешенство вождя: «Это издевательство над Красной армией и лично товарищем Сталиным. Приказываю перейти на выпуск двухсот самолетов в месяц. За неисполнение по законам военного времени – расстрел всем, кто отвечает за работу». И подпись: «Иосиф Сталин». И ведь перешли. Начали работать в три смены. Старики, которые еще держались на ногах, женщины, дети с тринадцати лет, их ставили на ящики, чтобы могли справиться со станком. Другой приказ – о затоплении Москвы, смысл которого был в том, что вначале из Москвы выезжает правительство, за ним Политбюро, последним товарищ Сталин. После отъезда Сталина из Москвы город должен был быть взорван и превращен в озеро.

Приехав в Москву, я рассказал об этих приказах как об открытии родителям. Отец не поверил, мама же спокойно сказала: «Да, мы все про это знали». Она работала тогда на электростанции. Перекусывали хлебом с водой в обед, сидя на ящиках с толом. Ее напарница боялась и все время плакала. А мама ее утешала: «Садись со мной рядом. Я везучая». И девушка пересаживалась к маме на другой ящик тола и успокаивалась. В маме все чувствовали витальность, не бьющую через край, не давящую других, а устойчивость, как у крепко вросшего корнями в землю дерева. Она и моего будущего отца как бы своим поведением, строгостью, сквозь которую светилась настоящая женственность, привязала себе на много лет. Сестра Лена спрашивала: «А ты своему Карлу дала перед армией? Мужики это помнят и ценят». Мама ответила: «Ты что! Война ведь!

Когда мы Молотова услышали в парке, он меня проводил, целовал перед дверью, а потом на следующий день уже ушел в военкомат. И просил ждать. Сказал, что во время войны солдатам разрешают вступать в брак без длительного срока очереди». Как понимаю, до брака у родителей был один эротический момент, который отец запомнил на всю жизнь. И записал. Эпизод совсем невинный: «Я шел с Таней на станцию “Петровско-Разумовская” Октябрьской железной дороги и провожал мою зазнобушку до Университета. Однажды, сидя рядом с ней на одной скамейке, я положил ей руку на колено. Я не знаю, что испытала Таня, но меня словно пронзило током. Таня не отняла моей руки, как будто так это было и надо. Не взглянула на меня, только, разве, что мельком, когда сходили с поезда. Это осталось во мне не как воспоминание, а как сегодняшнее самое сильное *переживание* физической и духовной близости между нами».

В один осенний день соседки по Лихоборам принесли в нервном страхе сплетню (или правдивую весть?), что в Сокольниках видели немецких мотоциклистов, которые промчались вихрем, оглядывая окрестности. Уже много после узнали, что в этот день, шестнадцатого октября, немцы прорвали оборону и готовились вступить в Москву. В нашей военной литературе это называется черной неделей октября. Партийные бонзы наутек бежали из Москвы. Сталин, как и обещал в своем приказе, не покидал столицу, оставив при себе Молотова и Берия. Но начальники стремительно покидали город, начались жуткие разбои и грабежи. Остановил свою армию сам Гитлер, приказав войти в советскую столицу, подготовившись, маршевым шагом с развернутыми знаменами. И ошибся. Ночью в Москву по приказу Жукова вошла армия (что от нее оставалось), за грабежи по закону военного времени Щербаков ввел расстрелы, разгул бандитизма утих. А еще через время в Москву вступили сибирские дивизии — рослые мужики в тулупах, с автоматами. Наступление немцев было отброшено. Но никто из жителей этого пока не знал. Мама с сестрой спрятали в подпол младшего брата, мама все время выскакивала на улицу, бабушка Настя молилась перед лампадкой, дед разыскал свою далеко припрятанную винтовку 1913 года, сидел и чистил ее. На что рассчитывал — Бог знает. Тетя Лена шептала маме: «А если немцы будут нас насиловать?» Воображаю сухие глаза мамы, сжатые в ниточку губы, когда она ответила: «Меня не тронут. Не дамся!» — «Дура! — воскликнула сестра. — Злу лучше уступить, а потом подмыться как следует». Вместо ответа мама выскочила на улицу, услышав маршевый шаг неизвестно каких солдат. И влетела назад: «Наши идут!»

Немцам Москву не дадут!» Она увидела сибиряков. Сестры обнялись и заплакали.

Утром слышали шум боя, который вначале, казалось, приближался, но вскоре пошел на убыль. Похоже, немцы стремительно отступали. За ужином сестры принялись планировать, что будут делать дальше. «К Виктору во Владивосток буду добираться, — сказала тетя Лена. — Нельзя мужика надолго без женщины оставлять. А ты к Карлу?» — спросила она маму. «Нет, буду восстанавливаться в университете. Учиться надо. Хочу, чтобы Карл мной гордился». Тетя Лена усмехнулась: «Ты же красивая девка. Что еще мужу нужно кроме твоих сисек и попы? Твой диплом? На хрена он ему?» Мама сердито посмотрела на сестру: «Мне нужно. Я могу, я знаю, что могу. Хочу быть равной ему». «Дело твое», — ответила сестра.

\* \* \*

Прошло время, немалое время. Тетя Лена вовремя съездила во Владивосток, вытащив своего жениха, мичмана Виктора Петрова, из загса, где он собирался расписываться с другой женщиной. И женила на себе. Они через пару лет перебрались в Москву. Дядя Витя оказался при штабе. Мне уже исполнилось лет тринадцать, у меня был новорожденный брат, годовалый. Папа окончил университет, вел семинары по истории партии в Рыбном институте, читал лекции по эстетике в Институте кинематографии. И вдруг его пригласили на работу в журнал по искусству на должность «умного еврея», то есть заместителя главного редактора, появились деньги, небольшие, но все же. Теперь они оба подолгу не бывали дома, я стоял на балконе, смотрел на кружащееся воронье, которые кричали «Карр-р! Карр-р!», а мне слышалось: «Кар-рл! Кар-рл!». И я говорил им: «Папы нет дома!» Мама как-то услышала это и поняла, что мне нужен братик или сестренка! И мама, отбросив требование свекрови не заводить новых детей, забеременела, и теперь у меня был годовалый братик.

Об этом несколько слов. Было уже двадцать первое декабря. Так получилось, что Клавдий (это странное имя дал потом младшему сыну отец, увлекавшийся тогда историей римских императоров) был подарком отцу от матери (хотя она и спрашивала, в честь какой Клавки Карл дает сыну это имя, но все же поверила в императорскую версию) и отчасти и от меня. Потому что отца дома не было, когда начались схватки. У маминой мамы не было телефона, а со свекровью она говорить не хотела. Пару недель назад случился дома большой скандал, собственно это и была основная причина, почему отец вдруг сорвался в дом художника «Сетунь».



В тот день маме было плохо. Она несколько раз сползала с дивана, ходила в туалет, потом сказала мне: «Надо неотложку вызывать, уже воды отошли. Сумеешь?» К тому моменту и бабушки Мины дома не было. А я был мальчик, домашний, книжный, совершенно не понимал, что значит «воды отошли». И в свои тринадцать взрослым себя не чувствовал. Но надо было что-то делать, решать проблему. Я понимал одно: медлить нельзя. Снял трубку, нашел номер роддома, выдохнул и стал крутить телефонный циферблат. Звонок куда-то пробился, мне ответил милый голос, что все машины на вызовах, придется часа два подождать. Похоже, что девушка на том конце провода хотела трубку положить. Тут я нервно начал кричать, что я сын, что никого из взрослых нет, что у женщины, у мамы то есть, воды отошли и неужели они не понимают, как это опасно. Очевидно умилившись мальчишескому голосу, который испуганно произносил слова, которых сам не понимал, девушка, заведовавшая машинами, распорядилась, и через двадцать минут неотложка уже стояла у подъезда. Еще была проблема свести роженицу с третьего этажа. Это больше всего беспокоило молодую врачиху. Санитар с одной стороны, я — с другой, изо всех сил поддерживали маму почти на весу, довели до машины, там с помощью шофера санитар уложил маму на лежанку внутри перевозки. Докторша села рядом и принялась щупать мамино запястье, искать пульс.

Я остался один, что с мамой — непонятно, было жутковато с непривычки, но с маминым заданием, которое придавало решимости. Воспитан я был просто: раз надо, значит надо. Надо было дойти до бабушки Насти и рассказать ей, в какой роддом повезли маму. Карманных денег у меня не было, не было вообще ни копейки. И, чувствуя, как взрослею, я пешком дошел до Тимирязевской академии, оттуда по Лиственничной аллее до Окружной дороги, перейдя железнодорожные пути, до Лихобор, до бревенчатого домика, где в одной из коммунальных комнат, жили бабушка Настя и дед Антон — у железнодорожной насыпи. «Спасибо, сынок», — сказала бабушка, напоила чаем, и мы вышли, поехали в роддом, чтобы «ты отцу мог сказать, где мама-то лежит». Походили под окнами, новостей у дежурной не было, отправили записку, яблочк у нас не взяли, бабушка дала мне мелочь на автобус и трамвай, и я вернулся домой. Папы, разумеется, дома не было, а бабушка Мина даже не поинтересовалась, где мама.

Мама родила младшего брата в день рождения отца. Тут уж ему позвонили, и он примчался, взволнованный и немного виноватый, поскольку свое тридцатипятилетие справлял вне дома и с кем-то.

Но мамин подарок перебил все остальные. Это как бы родилось его второе Я, это что-то символизировало, он пока только не знал что.

В большом сером конверте, где были мамины письма и записи, я нашел и свое письмо ей по поводу рождения брата, письмо ничего не понимающего подростка, школьника, лопоухого щенка, весело и дружелюбно виляющего хвостом:

*«Здравствуй, любимейшая мамуся! Как ты ТАМ живешь? Как себя чувствуешь? Как живет мой братенец? Какой он? Стал ли покрепче? Когда ты выходишь? Я по тебе очень соскучился. Но не вылазь раньше времени. Я чувствую себя хорошо. Окончил четверть без троек. Елки еще нет. Домработница Вера еще не сбежала, хотя бабушка Мина ее все так же пилит. Живем хорошо. Напиши мне побольше, а то папке и бабушке Насте пишешь много, а мне мало. Еще раз чуть не влопался по географии, но вылез. 5! Крепко, крепко тебя целую, а также нашего малыша.*

*До скорого свидания. Вова.*

*Очень крепко, крепко тебя люблю.*

*Поправляйся».*

Папа баловал младшего, воспитывая супермена. Это была не лучшая его идея. Папин друг, писатель, бывший фронтовик, так же воспитывал своего младшего, вырастив вообще бандюгана. Детей нужно баловать. Только тогда из них вырастают настоящие разбойники.

\*\*\*

Бабушка Настя рассказала старшей дочери, как я вез маму в роддом, и ее муж, дядя Витя, вдруг уважительно сказал: «Мужик!» Он понимал толк в настоящих мужиках. Правда, у него младший тоже вырос абсолютным баловнем. Ничем хорошим это не закончилось. Сам он, моряк-подводник, в сущности был героем. Их подводная лодка затонула, наткнувшись на мину. Произошло это в Северном море. Лодка легла на грунт на глубине около пятидесяти метров. Все попытки поднять ее оказались абсолютно безрезультатными. Тогда командир сказал: «Выход один – торпедный аппарат! Попробуйте, кто пролезет». Пролезли трое, среди них помощник капитана мичман Виктор Петров. Ими выстрелили как торпедами. Уже это был подвиг: с аквалангами пловцы опускались не более, чем на пятнадцать метров. А тут без акваланга, без кислородного запаса они прошли пятьдесят метров до поверхности. Как рассказывал дядя, вскорости течение их разбросало на большое расстояние. Теперь каждый выживал по одиночке. И трое суток он плавал один, вернее, держался на воде, а море, повторяю, Се-

верное, то есть холод дикий. Но он выдержал, выжил и сумел доложить руководству, что произошло. После этого он получил чин контр-адмирала. Лодку подняли, но было поздно, все уже были мертвы.

У тети Лены было тоже два сына, Сашка младше меня на год и Антошка пяти лет. Тетя Лена сняла дачу по Рижской дороге в соседней деревне, рядом с тетей Полей. Мама поехать не могла, годовалый ребенок связывал ей руки, и тетя Лена предложила, чтобы я поехал с ними. С деньгами было плохо, о санатории и доме отдыха думать не приходилось. Мама согласилась, так я очутился в семье военного, еще продолжавшего службу. Худошавый дядя Витя установил военное расписание: с утра зарядка, пробежка, затем подтягивание на турнике, отжимание от земли по десять раз. Меня он все время хвалил, я же был не родной сын, а племянник его жены. Слова его я запомнил, очевидно, это был морская похвала: «Сила, мощь и красота!» Я и вправду старался. На завтрак очень располневшая тетя Лена кормила нас пшенной кашей, в каждую тарелку добавляя по куску вареной колбасы, еще горячей с крупинками жира. Днем дядя Витя водил в нас лес, учил ориентироваться. Но тут я показал полную тупость. «У тебя же отец летчик», — не ругался, а журил меня дядя Витя, но подзатыльников как Сашке мне не перепадало. Антошке перепадали только поцелуи и одобрительные хлопывания. После обеда мы играли в городки, я первый раз играл в эту игру, мне нравилось. Книг у них не было, я тоже не взял. Дядя Витя любил вечерами зачитывать нам поучительные истории о великих людях и делах из отрывного календаря. А еще перед сном мы играли в лото. Игра на внимание, но казавшаяся мне абсолютно бессмысленной. Вечером нас укладывали на железные пружинные кровати с тонкими матрасами. Тетя Лена, выключив свет, вводила дядю Витю в соседнюю комнату. Сашка, обождав некоторое время на цыпочках, подкрадывался к родительской двери и прислонял свое ухо к двери. Я знал, что это неприлично, хотя не понимал, почему. Иногда, тихо хихикая, к нему подкрадывался Антошка и тоже что-то слушал, пока не получал подзатыльник от старшего брата. Я старался не шевелиться, притворяясь, что сплю. Как-то дядя Витя услышал Антошкино хихиканье, выскочил, Сашка уже успел лечь, но именно его дядя Витя и выдрал ремнем, приговаривая, что он учит младшего всему дурному. Антошка был бабовень, а Сашке попадало всегда, чаще всего не по делу. На отца он постоянно смотрел испуганными глазами.

Мы в детстве носили матроски, хотели подражать героям-морякам. Наверно, лет до восьми-деяти. Потом — на что у роди-

телей денег хватало. Обе семьи были небогатые. К «малообеспеченным», как тогда называлась полная нищета, нас отнести было нельзя, но денег едва хватало на жизнь. Матросские костюмчики покупала нам бабушка Настя. У нее было время ходить по магазинам и искать.

Так прошло лето. И еще много лет. Ну, может, немного. Примерно лет семь. Дядя Витя все же был в чинах, был контр-адмиралом, но с жильем было скверно. Он получил двухкомнатную квартиру с соседом сослуживцем, грузином, тоже контр-адмиралом. Но с молодой нерожалой женой Маргаритой. В воздухе у них, как рассказывала бабушка Настя, навешавшая старшую дочь, что-то не очень хорошее повисло. Она сама видела, как Маргарита, проходя мимо дяди Вити их узким коридорчиком, прижималась как бы случайно к нему грудью, как дядя Витя вздрагивал. Рассказывая это маме, бабушка Настя неодобрительно качала головой.



*Братик Сашка и маленький Вова*

Сашку дядя Витя отдал в школу милиции, чтобы его там держали в строгости. Он оказался успешным курсантом. Я же поступил в университет и на втором курсе женился. На свою свадьбу Сашку я, конечно, позвал. Я был вполне зеленый, 20 лет. Ему 19. Свадьбу после загса мы справляли в маленькой квартире моей молодой уже супруги. Все было даже чересчур уютно, тюль везде, венгерская мебель, считавшаяся очень модной. Словно бытом, мешанским уютом они хотели заговорить неуютность бытия. Чем-то их квартира напомнила мне квартиру Петровых. Но Петровым приходилось жить с соседями. Это усложняло жизнь, но мы казались себе очень взрослыми, все понимающими, хотя Сашка выглядел опычнее. Такого Сашку я не знал и как бы заново с ним знакомился. Он с профессиональным подозрением смотрел на мою молодую суженую. «У нее, кроме тебя, кто-то был?» Он пальцем почти ткнул, указав на элегантно одетого еврея лет тридцати. Я кивнул неуверенно. Это был еще молодой мужик, старше, правда нас, но про которого мне много, слишком много, как теперь понимаю, в период моего ухаживания рассказывала Белка, невесту мою звали Белла. Она говорила, что Ян Брук был уже кандидат искусствоведения, гулял с ней долгими вечерами и рассказывал про искусство, водил в музеи и театры, даже пару раз загулявшись допоздна, оставлял ее ночевать у себя. Но, мол, тронуть ее не решался, говорила Белка. Я и вправду был лопухий щенок, слушал ее рассказы и сочувствовал ей. Для еврейских родителей Белки эта партия казалась удачной. Но увы! Ее прогулки-хождения длились с ним года полтора, но ничего не сладилось. Потом он уехал с некоей девушкой на Север, как он говорил, «выводить породу морозоустойчивых евреев». Но через несколько месяцев вернулся, оставив свою девушку на Севере. Моя теща не хотела, чтобы дочка звала его на свою свадьбу, но своенравная Белка позвала, и все время поглядывала на него горделиво: мол, какого парня я ухватила, а ты — меня прозевал. Но Ян подарил арбуз (была осень), на котором вырезал фразу: «**ВОВА + БЕЛЛА = ЛЮБОВЬ!**» И еще был сомнительный приятель с волнистыми волосами из МАДИ, Пашка, который пришел с молодой женой Аней, Белкиной однокурсницей, но все время намекал, что оставляет за собой право к Белке вернуться. Его молодая жена смущенно улыбалась, а я по-прежнему по-щенячьи вилял хвостом. И все же Белка нервничала и, чтобы скрыть свой мандраж, пила водку, рюмка за рюмкой. Упала на диван, закрыв глаза. Теща шептала громко: «Белла, возьми себя в руки». Но юная жена не в состоянии была пошевелить ни одной конечностью.

Сашка смотрел на нее милицейским глазом, потом шепнул мне: «А у тебя-то с ней хоть что-то было?». «Было», — ответил я кратко. Услышав мой ответ, теща закатила глаза от стыда за происходящее и, потеряв сознание, рухнула в кресло. Тесть принялся обмахивать ее полотенцем, потом подхватил и почти на руках отнес в соседнюю маленькую комнату. Квартира была небольшая, всего две комнаты. Меж тем Белка уже завалилась на диван, даже с ногами, одна из подруг пыталась привести ее в чувство, хлопая по щекам. Моя мама ее тоже откачивала, нашла где-то у свояков нашатырный спирт, терла молодой жене виски и давала нюхать нашатырь. Постепенно общими усилиями юная женщина, недавно приехавшая из загса, пришла в себя, села за стол, выпила еще рюмку и попросила гитару. Из двери соседней маленькой комнаты показалась голова тещи с тем же припевом: «Белла, возьми себя в руки». Мой отец, одетый в рабочие брюки и подержанный пиджак, который сидел на нем как офицерский китель, сидел ни на кого не глядя, иногда принужденно улыбаясь, и пил из большой рюмки минеральную воду.

Между тем Сашка решил разобраться в этих отношения, вышел из-за стола и поманил к себе пальцем Яна. Тот вдруг послушно поднялся, и Сашка вывел его из квартиры. Белка вздрогнула, посмотрела им вслед, немного трезвее, но не сказала ни слова. Прошло минут десять. Кто-то позвонил в дверь, открывать пошла теща. В дверях был Сашка, сквозь очки посмотревший почему-то внимательно на тещу. Она вздрогнула, в свою очередь уставилась на Сашку: «А где Ян?» Сашка сощурил свои близорукие глаза: «А кто его знает? Сбежал куда-то. Но мне показалось, что местность он неплохо знает». Теща поколебалась, но все же спросила: «На что ты намекаешь?» Сашка улыбнулся немного нагло. «Да я его совсем не знаю, вы лучше у дочери спросите». И добавил: «Я тут местных поспрашивал, ну шантрапу местную, чтобы они его поискали». Белка попыталась подняться из-за стола. Но мамин нашатырь все же оказался недостаточно действенным, требовалось время для протрезвления, Она снова села на диван. Встал я, и мы с Сашкой вышли на лестничную площадку.

На улице перед подъездом мы остановились, Сашка огляделся и повел на площадку детского садика, находившегося как раз перед домом, дети уже все разошлись, стояла карусель, деревянный корабль, имитация шхуны, качели, песочница. Сашка заглянул в трюм деревянной шхуны, бросив: «Если его отпиздили, вполне могли в трюм запихнуть». Я аж вздрогнул: «А за что его бить-то?» Сашка уставился на меня, уставился с удивлением: «За дело. За-

чем он на твою свадьбу приперся? Ты ведь его не звал. Он что, *твой* кореш или дружок *твоей*? То-то. Я и сказал братве, что говно мужик! Просил поучить маленько». Это, конечно, по тогдашним моим понятиям было чересчур. «Слушай, — сказал я. — Надо бы его найти. Нехорошо как-то получилось», — я положил руку ему на плечо. «Ты растяпа, — сказал мой кузен. — Ну раз ты прошишь, — найду. Но скажу тебе, следи за ней, она не лучше любой лимитчицы, ищет жилье, у тебя же трехкомнатная квартира. Все бабы шалавы, выгоду ищут. Вот и будь осторожнее. Я-то все это знаю, поэтому принцессу искать не буду». И тут из недр деревянного корабля послышались звуки, человеческие, будто кто-то лез, срывался и снова лез. Потом послышался стон. Мы с Сашкой взлетели на палубу и увидели, как из трюма выбирается помятый, но целый Ян Брук.

«Цел? — спросил Сашка — Ты чего там делал?» Сашка явно насмеялся. Но Ян доверчиво ответил: «Они меня туда скинули. Ну я в угол забился и ждал, пока они уйдут. Услышал ваши голоса и вылез. Спасибо, что нашли меня». Я с укоризной посмотрел на Сашку: «Ладно, пойдем к гостям». Обняв Яна за плечи, я повел его вверх по лестнице. «Только Белке не рассказывай, — вдруг проснулось его мужское начало. — Мне неловко будет, что меня в трюм детского корабля малолетки бросили». «Не буду», — сказал я. Нас никто не ждал, Белка пела под гитару Высоцкого, которого не любила, но песни его пела, когда не знала, кто автор. Она пела прямо к случаю:

...А тот, кто раньше с нею был,  
Сказал мне, чтоб я уходил,  
Сказал мне, чтоб я уходил,  
Что мне не светит.

«А машину молодым заказали? — вдруг офицерским голосом бывшего летчика спросил отец. Такой военной интонации я от своего интеллигентного отца, преподавателя философии, редактора журнала по искусству, не ожидал: — Кто этим занимается? — не меня интонации, продолжил отец. — У молодых же снята квартира. Я ее видел. Нормальная однокомнатная квартира, даже решетка на окнах — для безопасности. Молодые должны встречать медовый месяц отдельно». Краем глаза я увидел, что только Сашка среагировал на офицерский тон. Было очевидно, что отца эти решетки и тюлевые занавески в доме новых родственников безмерно раздражают. Мама погладила его по плечу: «Карл, все хорошо. Глав-

ное, чтобы сыну было это по сердцу. Я не позволю разрушать его семью, как твоя мать разрушала мою».

Пока все хлопотали и препирались, в дверь позвонил Сашка и сказал: «Ребята, я поймал для вас машину. Отвезет, куда скажете». Гости с подарками поползли с пятого этажа вниз. Лифта не было. Внизу все немного и даже премного ошалели. Нас ждала машина «Скорой помощи». «Ты что! — воскликнула Белка. — Я на этом не поеду!» Сашка посмотрел на нее зло, не верил он девичьим капризам. «Твое дело, — ответил он. — Иди пешком. А мы с тетей Таней и братом поедem вперед и квартиру к твоему приходу приберем». Но, конечно, поехали мы вместе, Сашка помог разгрузить «Скорую» от подарков, поцеловал мою маму и жену в щеку и уехал. Потом уехала мама, сказав, что доберется на трамвае. От Войковской до Красностуденческого проезда, где за трамвайной остановкой стоял профессорский дом с родительской квартирой, ходил трамвай № 27.



*Трамвайная остановка на Красностуденческом проезде.*



Сколько я на нем катался, любимое путешествие для медитации! Смотрел в окно на проплывающие дома, улочки и переулочки и как бы о чем-то думал, на самом деле не думая ни о чем. Переживая, так сказать, *мыслительное настроение*. Было два пункта, между которыми я курсировал — это два книжных магазина. Точнее, два киоска, один находился в красном доме райсовета, на первом этаже, там часто бывали неожиданные новинки, их первым делом направляли по начальственным местам, где «работали с народом». Там я купил неожиданно «Путешествие Гулливера» Свифта, издание для детей. Другой киоск был в другой стороне, в здании Водного института, но там интересные книги редко встречались.

Но вернусь к первой законной ночи. И вот тут самое странное с моей памятью. Я абсолютно ничего не помню из этой ночи. Хотя у нас была широкая двуспальная кровать, не могу вспомнить ни наших ласк, ни любовного шепота. Только запомнилась решетка на окне, решетку поставила хозяйка, сдавшая нам комнату: все же первый этаж! Она рассказала нам, что и это не спасение, что у нее сквозь решетку что-то удочкой украли. Знакомая Белкиных родителей, элегантная пожилая еврейка, явилась к нам неожиданно около девяти утра — поздравить «молодую даму» с приобщением к женскому миру. Мы вместе выпили чаю, и она ушла. Больше не приходила.

\* \* \*

И еще прошло время. Жизнь разводила все дальше, очень разные были сферы жизни. Первым из братьев женился Сашка, тетя Лена его жену не одобрила, была она из приезжих, по-простонародному «лимитчица», казалось, что потянула Сашку в слой пониже. Он и вправду начал выпивать. Она не претендовала на жилплощадь, от работы она получила комнату для семейных. Родила сына, которого Сашка назвал по имени отца — Виктор. Хотел, чтобы отец относился к нему лучше. Антошка женился на однокласснице. Этот вариант тете Лене понравился много больше, а моей маме напомнил ее юность, когда мой отец ухаживал за ней, начиная с седьмого класса. Приехав на свадьбу, пробыл я там недолго, надо было ехать в редакцию, где в этот день я был «свежей головой», вычитывал весь текст. Поэтому и водку пить не мог, только минералку и сок. Поэтому и молодую жену Антошки разглядел как-то вскользь. Но она мне понравилась: очень милая синеглазая блондинка, робкая и скромная, которая будто никак не могла поверить, что вчера еще была школьницей, а сегодня уже жена, то есть взрослая, не ребенок, большая. Действительно, месяцев через шесть она родила дочку. То есть замуж она выходила уже беременной. Моя мама

сказала: «Ну девчонки пошли! Из-за парты еще не вылезла, а уже беременна. Хотя Лена говорила, что Антошка давно в свою Юльку влюблен, давно женихались. Но Карл за мной с седьмого класса хвостом ходил, а женились мы, когда нам больше двадцати было, я в университете училась, а он уже офицер, летчик с боевыми вылетами. И ведь ждал меня!»

Тут случился откровенный роман у дяди Вити с соседкой, женой сослуживца. Дядю Витю вызвали к начальству и велели в течение месяца разбегаться с соседом. Он обязался словом офицера выполнить поручение высшего командования. Но Маргарита офицером не была и офицерского слова не давала. Поэтому она караулила дядю Витю по всей квартире, так что Антошка вынужден был провожать отца даже в сортир. Его молодая жена Юля, из интеллигентной семьи учителей, мама филолог, отец преподавал историю, уже сама работавшая учительницей в начальной школе, смотрела на эти сексуальные игры немного оторопело. Как-то по наивности и молодой глупости она сказала Антошке, что отец его ведет себя неприлично, и в ответ получила по полной программе, что неплохо бы про себя подумать, что она с ним трахалась едва ли не на школьной парте. Юля ударилась в слезы, но скверный поворот их жизни, похоже, начался с ее необдуманных упреков.

В результате бабушка Настя и дед Антон съехались с семьей старшей дочери, спасая ее мужа от юной захватчицы. Но все эти тревожения и переезды привели деда к сердечному приступу. Скорая к старику в шестьдесят семь лет медлила, и в итоге дед умер. А после его похорон, будто кто заслонку открыл, полились несчастья. Поначалу не очень страшные. Правда, для кого как. Антошка завел себе другую женщину, очень худенькую, но с большой грудью, брюнетку в отличие от пухлой блондинки Юли, приехавшую в Москву из Смоленска, устроившуюся разнорабочей на завод. Родители вздохнули, но промолчали, и второй сын в жены взял лимитицу. И Юлька вернулась к родителям, а новая по имени Любава, уговорила Антона устроить свадьбу и собрать родственников, меня тоже вытянули. Любава с женским интересом оглядывала родственников, я ей приглянулся, она вслух даже сказала: «Красивый мужчина». Антошка сделал вид, что ничего не слышал. Напомнила она мне своей гибкостью, худобой и узким тазом черную змейку-гадюку. А змей я боялся с самого детства. И быстро свадьбу покинул. Вскоре она родила двух девчонок, потом умудрилась найти маленькую двухкомнатную квартиру со смутной историей ее получения. Будто Любаве, точнее ее родителям, был должен деньги какой-то уголовный парень из Смоленска. Квартирой для Любавы

он как бы возвращал свой долг. История была темная, да и компания вокруг Любавы образовалась не очень приличная, Антошка начал с ними пить и играть в карты на деньги. В один ужасный день ранней осенью он шел к Любаве с большой рыбой, купленной на обед, прошел через тетю Лену, ей тоже оставил рыбу. А поздно вечером вдруг телефонный звонок, что Антошка повесился. Звонила жена. Страшная история, с жуткими непонятными деталями. Он принес рыбу, а Любава вдруг срочно уехала с младшей дочкой к врачу, оставив Антошку со старшей, спавшей в кровати. Когда она вернулась, дочка все еще спала, а муж в петле висел в своей комнате, под ногами валялась опрокинутая табуретка. Она вначале почему-то не врачам позвонила, не в милицию, а друзьям из своей компании. Они-то и вынули Антошку из петли. Дядя Витя и тетя Лена на такси помчались туда. Стало шумно, но старшая дочка почему-то не проснулась. Тетя Лена сразу закричала, что девочке дали снотворное, чтобы она ничего не видела. Потом перевезли тело сына в свою квартиру, позвонили Сашке, старшему брату, который одно время работал в милиции, но после женитьбы запил, потом его за пьянку оттуда выгнали. Конечно, приехала моя мама и отец, с ними увязался папин однокурсник, писавший иногда в его журнал, некто дядя Лева Помадов. В квартире был полный хаос. Бабушка Настя лежала на полу, почему-то от ужаса забившись под кровать, на которой спала, и вцепившись снизу в прутья, не позволяя себя оттуда достать. Рассказывая этот кошмар моей маме, тетя Лена, сразу ослабевшая, шептала: «Он им в карты проиграл, не мог деньги отдать, они его и убили. А она из их компании, лимитчица проклятая».

Моя мама стала распоряжаться: «Сашка, звони своим приятелям в милицию. Кто-то ведь у тебя остался. Пусть начинают следствие. А ты, Виктор, подними на ноги военных». Дядя Витя, впрочем, уже звонил в военную прокуратуру. Но там отказали, сказав, что это дело граждански-уголовное и они не имеют права в него вмешиваться. Сашке тоже отказались помогать. Должно, мол, местное отделение этим заниматься. Туда мама и позвонила, жестким тоном потребовав к аппарату начальника отделения. В этот момент в квартиру вошли Любава и дядя Володя, брат тети Лены и моей мамы. Он уже успел за это время отсидеть четыре года, приняв на себя финансовую вину своего начальника. Вроде как нынешние полковники ФСБ оказываются с миллионами под кроватью, которых до обыска и в глаза не видели. Но – субординация! Тогдашняя жена его оставила, но, когда он вернулся, мужик еще был в форме, мигом нашлась сначала одна женщина, причем

доктор философских наук, но она ему не понравилась как женщина, и он женился на тридцатилетней официантке из кафе. Стал посещать церковь, а с год назад стал церковным старостой в приходе Коломенской церкви. Дядя Володя, человек с грубым сердцем, неся впереди живот, немного задыхаясь от толщины, громко сказал: «Ну Татьяна как всегда раскомандовалась! Не шуми, сестричка, сейчас разберемся. Ты лучше маму в порядок приведи, из-под кровати достань. Давай, Танька, работай!» Но мама так посмотрела на него, что он мигом язык прикусил: «Ну извини. Это я привык у себя в церкви руководить». «Вот рукой и води, — отрезала мама. — А меня не трожь». Однако в комнату бабушки Насти вошла, закрыв за собой дверь. Любава тем временем бормотала: «Да не в милиции дело, все ясно. Надо уже о похоронах думать». Дядя Витя посмотрел на нее как на врага: «Тебя не спросили!» Она словно не заметила его резкости и ненависти, подошла к тете Лене, встала на колени, попыталась положить ей голову на колени: «Какое горе, мама! Потеряли мы Антошеньку... А ведь за ним еще долг большой, он много в карты проиграл!» Тетя Лена вдруг поднялась и голосом, который, наверно, у нее был в молодости, крикнула маме: «Таня, поди сюда. Помоги мне эту блядь из квартиры выкинуть!» Любава как пружина вскочила: «А внучек своих тоже выкинете? Еще опомнитесь. А я пока пойду, там внизу меня друзья с дочками ждут». И она выскочила за дверь.

\* \* \*

Похороны были через три дня. Я тоже приехал. Моя жена Белка не захотела ехать в мещанский дом. А меня мамин рассказ впечатлил. Но все выглядело спокойнее и как бы мирно. Собрались все: и тетя Лена, и дядя Витя с красными от слез глазами, но с плотно сжатыми челюстями, дядя Володя с выпяченным пузом церковного старосты, бабушка Настя уже ходила в своих тапках с разрезанными задниками, чтобы ногам было легче. Разумеется, Сашка, который поддерживал под руку зареванную первую жену Юльку, одноклассники Антошки, тоже помогавшие Юльке держаться на ногах. Маму держал за руку папа. С новой женой Любавой, точнее, уже вдовой, он не захотел здороваться, отвернулся. Гроб стоял посередине комнаты, посиневшее лицо Антошки было прикрыто цветами. «Сыночка мой, не убергла я тебя, — навзрыд сказала тетя Лена. — Теперь спи спокойно!» Дядя Витя в черном адмиральском кителе с погонами, кортиком на боку, старался держать себя в руках: «Ладно, мать, — сказал он. — Смерть никого не минует». Одноклассники подняли гроб на плечи, Любава попыталась пойти

рядом с подушкой, на которой лежала голова ее мертвого мужа. Но самый крупный из школьных друзей оттеснил ее, почти оттолкнул и сказал грубо: «Повесили мужа с друзьями, с ними и гуляй, а уби- того не замай». Она отошла, точнее сказать, почувствовалось, что черная змейка скользнула мимо гостей, гибкая, худая, и поползла к дверям, прихватив своих детей-девочек. Они еще были похожи на Антошку, на человеческих детенышей. Но кого она из них вос- питает!.. Мы с Сашкой побежали к выходу из подъезда, на улицу, где стояла ритуальная машина — на случай, если дружки Любавы начнут выступать.

Те и вправду скучились около машины ритуальных услуг, сто- яли, курили, переминались с ноги на ногу. Мы подошли ближе, прислушиваясь к разговору. Доносились слова: «Какого хера вы это сделали? Кому он мешал?... Кто вас просил!» — сплюнул длин- ный и, видимо, главный. Мы подошли ближе, и тут вдруг я по- чувствовал какой-то странный холод, как будто перед нами были доисторические ящеры, от которых шел холод, вымораживающий душу. Тут к ним скользнула змейка Любава, каким-то образом дер- жавшая младшую девочку на руках, старшая шла следом, стараясь подражать движения матери. Антошкина жена, их мать, растянув губы, улыбалась змеиной улыбкой, как ее рисуют художники.

Мы в растерянности даже шарахнулись в сторону. Открылась дверь подъезда, из нее одноклассники Антона вынесли гроб, Саш- ка открыл задние двери ритуальной машины и помог вдвинуть гроб на предназначенное для него место на полу. Вокруг стояли си- денья для провожающих близкого человека в последний путь. Мы расселись вокруг гроба. Поехали, конечно, тетя Лена и дядя Витя с лицом черным, как его китель. Пузатый дядя Володя. Мои мама и папа сели рядом с Сашкой, как бы защищая племянника. Бабуш- ку Настю тетя Лена оставила дома. Молодые ящеры с черной змей- кой Любавой, тоже примостились в ногах у гроба. Шофер обер- нулся: «Ну все собрались? Едем?» Дядя Витя и тетя Лена молчали. Руководство перешло к маме. «Едем, — твердо сказала она. — Боль- ше никого не ждем». Пикап тронулся, долго выезжали на шоссе, потом покатали уже быстро. Вскоре выехали за город. Ехали в де- ревню к тете Поле, где похоронили деда Антона. А теперь туда вез- ли Антона младшего.

Сашка по дороге говорил мне: «Что-то с женским полом слу- чилось. Нельзя им никому верить. Все шалавы. И моя тоже. Сына мне только по воскресеньям отпускает. У тебя-то на этом фронте все в порядке?»

Я положил руку ему на плечо. Сказать было нечего.



\* \* \*

А через два месяца умерла бабушка Настя, не пережила убийства внука, ее похоронили в могильной ограде с мужем, с дедом Антоном. А еще через месяц позвонила тетя Лена. Умер дядя Витя, сердце не выдержало. Он с трудом отбил квартиру от вдовы младшего сына, но на этом и сгорел. Мама и я приехали на военное кладбище. Папа лежал в больнице с приступом печени. Дядя Володя, церковный староста, в тот день был чем-то очень занят. Подсчитывал церковные доходы и расходы. Так и воображал его, как в расстегнутом пиджаке, выкатив пузо и надев очки, он щелкает счетами и что заносит в разложенные перед ним бумаги. Понятно, что больше его не поймают на недостачах. Хоронили дядю Витю по-военному торжественно. Играли траурный марш. Взвод морских пехотинцев дал тридцать выстрелов в воздух. Мама не велела мне выходить из-за домов, окружавших кладбище. Тетя Лена стояла около могилы, потом упала на нее. Матросы подняли ее, откуда-то достали маленькое кресло и усадили в него тетю Лену. Сашка остался стоять, вытирая рукавом глаза. Когда матросы грузились в автобус уезжать, то взяли тетю Лену с собой. Сашка не поехал, остался у могилы, плечи согнулись. Он теперь был старший мужчина в семье, а сил вести дом он не чувствовал. Так я его понимал. Неожиданно он повернулся, словно поймал мои мысли, быстро подошел к нам и сказал мне: «Я один остался. Понимаешь?» Махнул рукой и вернулся к могиле отца.

Мы вернулись домой, мама плакала. Она глядела сквозь слезы в потолок и не вытирала их. Это уходила ее молодость, ее прошлое. Понимал ли я это? Наверно, понимал. И мне было жалко дядю Витю, он и вправду был родной человек, вдруг понял я. Немного не свой, но родной. Трудно это объяснить, но так я чувствовал. Мы с ним не очень беседовали, он был человек военный и мои гуманитарные интересы он уважал, но мои штудии были далеки от него. Сыновьям он ставил меня почему-то в пример. Но помочь я им не мог. Я был другой. А сам он, как я понимал, как мне говорил папа, был настоящий герой. Как все герои у нас с неустроенной бытовой жизнью. Как ни дико это прозвучит, эта жизнь и довела его до смерти. Впрочем, всех она туда доводит. Жизнь и вправду это путь к смерти.

\* \* \*

Иногда этот пролог к смерти бывает очень небольшим. Хотя даже столетний пролог тоже не велик. Это чувствуешь, подходя к этому рубежу. А тогда, в мои тридцать лет, столетняя жизнь была для меня сродни вечности. Но почему-то, думал я, одни семьи быстро сгорают, другие длятся очень долго. Где причина разрушения? Мама словно читая мои мысли и переживая мои переживания, как-то мне сказала: «Сашку жалко. Когда тетя Лена умрет, он не вытянет. Сына в Суворовское отдаст, но удержится ли он там? При такой-то матери!» Сашкин сын Витя в школе еле дотянул до восьмого класса, жил и не с матерью и не с отцом. Ездил от отца к матери и от матери к отцу. Мать гуляла, уже не скрываясь, как и принято у лимитчиц, меня мужиков на раз, законный брак не превратил ее в хранительницу очага. А Сашка пил от сердечной тоски. Пил жестоко. Но про сына помнил, он был наследник фамилии и носил имя деда. Когда умерла тетя Лена, Сашка обошел знакомых отца и пробил, как и предвидела мама, сына в Суворовское училище. Но и там с Витькой не справились, учился плохо, грубил старшим, потом его поймали на мелком воровстве. Сашке позволили, что сына отчисляют. Сашка тут же перезвонил, но не мне, а маме (он не знал, что я у родителей): «Тетя Таня, что делать?» Мама что-то ему говорила, уйдя в соседнюю комнату (шнур у телефона был длинный). Повесив трубку, сказала мне: «Собирайся, надо к Сашке ехать, ты все же брат, он тебе в рот смотрел. Как бы чего ни сотворил с собой!» Я спросил: «А ты папе звонила? Что он говорит?» Мама надевала дождевик, стояла мокрая осень, указала мне на мой плащ, потом ответила: «Папа сказал, что постарается через час туда подъехать». Доехав до метро «Октябрьское поле», мы

пошли дворами среди хрущевских пятиэтажек. Дождь накрапывал, будто небо плакало мелкими слезами. Подъезд не запирался, мы поднялись на третий этаж. Мама порылась в сумочке и достала ключ от входной двери, который ей дала перед смертью тетя Лена. Дверь открылась, из квартиры пахло какой-то мертвой тишиной. Такого ужаса до этого я не испытывал. Мама тоже замерла. Потом аккуратно повесила плащ на одежный крючок и решительно шагнула в Сашкину комнату. Я следом. Он стоял на коленях, положив голову на скрещенные руки. «Ты живой?» – тихо спросила мама. Ответа не было. Мама прикоснулась к его щеке и шепнула: «Холодный».

В этот момент вошел приехавший папа. Он поднял Сашку на руки и положил на диван, мама подсунула ему под голову подушку. Лицо было бледным и осунувшимся, губы искривлены. Сына Витьки не было, и, где его искать, никто не знал – ни мама, ни папа, который произнес глядя в мертвое лицо племянника: «Какой страшный конец семьи! Страшнее, чем у Будденброков! Будто и не было семьи». Я удивился: «Почему конец? А Витьку не считаешь?» Мама вздохнула, а папа махнул рукой. И мама объяснила: «У Витьки мать есть. Она решает его судьбу, мы не имеем права вмешиваться в его жизнь». Потом вызывали судебного медэксперта и прочую похоронную команду. Заказали автобус. Через день забрали Сашку из морга и повезли на кладбище, где уже лежали дед Антон, бабушка Настя, Антошка и тетя Лена. Ехали через тетю Полю, я все допытывался у родителей, как так получается, что семья сходит на нет. Папа не отвечал, а мама, посмотрев искоса на отца, произнесла почти монолог (им я и закончу эту историю): «Ты женатый мужчина, считаешь себя главой семьи, но, в конечном счете, за целостность семьи отвечает жена. Даже если ее хочет изжить свекровь, она хранит мужа и детей. Твоя бабка, мать твоего отца, хотела бы, чтобы мы с Карлом разошлись. Она женщина энергичная. Она хранила отца Карла, но как он умер, она всю свою чудовищную энергию обратила на заботу о сыне, а я ей мешала. Но Карл меня любил, и я его не оставлю. Это наша жизнь, это мой очаг, и я его буду хранить, пока жива. Мне кажется, что и он меня еще любит. Антошке и Сашке не повезло, их жены оказались не хранительницами, а разрушительницами. Тетя Лена не сумела их пересоздать в настоящих жен. Больше ничего не скажу, думай сам, как ты строишь свою жизнь».

*19 мая. Деревня Афанасьевое Владимирской области*



# Плетка из чертополоха

## 1

Э то была не нищета, была профессорская квартира, оставшаяся от деда, на которую пока никто не покушался. Была жуткая бедность, поскольку денег практически не было. Впрочем, пока дед работал, их тоже было немного. Существовал так называемый партмаксимум, когда профессор не мог получать зарплату больше младшего научного сотрудника. Трехкомнатную квартиру дед получил, сдав в жилфонд Тимирязевской Академии, где он тогда работал, купленную им по приезде из Аргентины в 1926 году двухкомнатную. Тогда еще существовали кооперативные квартиры, чуть позже запрещенные. Когда деда посадили, бабушка боялась, что и квартиру отберут, но не успели: в органах шло реформирование. Пришел Берия, Ежов уходил.. В начале 1938 у деда вышла книга «Генезис Керченских руд», результат нескольких лет работы в Керчи. И за разработку Керченского месторождения, имевшее, как тогда писали, «важное народнохозяйственное значение», великие отечественные геологи Вернадский, Ферсман и Вольфкович выдвинули его на Сталинскую премию и в члены-корреспонденты Академии наук. В газете «Тимирязевец» были опубликованы рекомендации академиков А.Е Ферсмана, В.И. Вернадского и «управления строительства Камышбурунского комбината». Ферсман писал: «За 10 лет исключительно целеустремленной работы профессор Кантор сумел во всей глубине проникнуть в понимание сырьевой базы Камыш-Буруна». А управление комбината спело даже дифирамб: «Профессора Кантора можно назвать отцом Керченской металлургии».

На деда написала донос Елена Валерьевна, его заместительница по кафедре, которой он симпатизировал и всячески продвигал. Но тут стало понятно, что если он получит Сталинскую премию и члена-корреспондента Академии наук, то он становится почти неприкасаемым. Заместительница, мечтавшая когда-нибудь занять место деда, работавшая в стилистике Вождя народов, не имела ни малейшего чувства благодарности к деду, впрочем, как и Вождь,

убивший своего отца и учителя Ленина. Одно время она пыталась влюбиться его в себя, повторяя при каждой встрече, слегка прижимаясь грудью: «Я вас люблю очень». Это действовало, молодое тело влекло. Но потом она поняла, что с женой профессора ей не справиться. И Елена пошла другим путем. Донос был прост, заместительница деда написала, что он вернулся из Латинской Америки с тайным заданием от Троцкого. Будучи человеком, близким к деду, она как бы хорошо знала его тайные дела. И, наконец, решила о них сообщить, куда следует. В доносе она писала еще, что профессор Кантор, как и положено вражескому наймиту, высокомерен с молодыми сотрудниками, будущей гордостью советской науки. Это было самое нелепое. Друзья всегда упрекали деда в излишней мягкости. Бабушка потом говорила: «Пригрел змею на груди». Мама как бы оправдывала свекра, говоря, что великий генетик Николай Иванович Вавилов тоже поддержал Трофима Лысенко, будущего своего губителя, даже рекомендовал в академики.

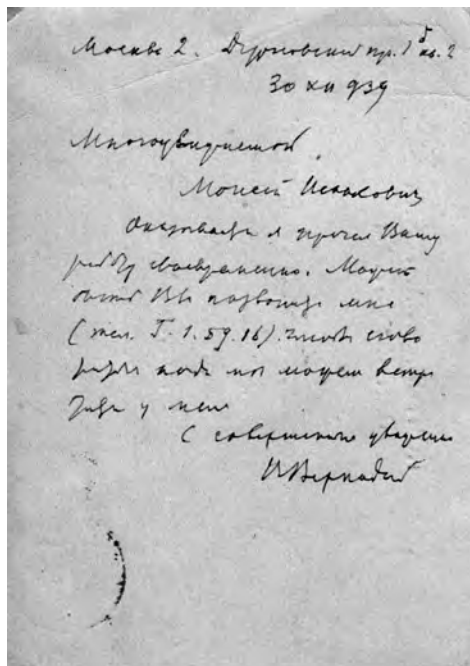
И хотя дед приехал из Аргентины в двадцать шестом году, а Троцкий попал в Латинскую Америку в двадцать восьмом, и они даже встретиться не могли, но товарищей из НКВД эта разница в датах нисколько не смущала, тем более, что у них лежал донос от любимой ученицы профессора. Деда били не долго, после дня избиений он потерял сознание и немного сдвинулся в рассудке. Как потом он рассказывал, сознания он лишился, узнав, по чьему доносу попал он в застенки. Тут он вдруг припомнил ее слова: «Пусть занимается своей наукой, а управлять кафедрой я смогу и без него. Мне даже легче будет». Тогда он думал, что она заботится о его времени для занятия наукой. Но теперь все выстраивалось по-другому. Ее не интересовала наука, она хотела управлять. Ее поддержал громоздкий татарин по фамилии Черномазов, все время звавший деда выпить, пивший сам каждый день (с красной физиономией, горбатый нос делал лицо продленным, классический монстр) и уверявший, что «Братья Карамазовы» Достоевского были списаны с его предков, поскольку слово *кара* означает *черный*, а в родстве с ними был великий историк Карамзин. Черномазов выступал на партийно-профсоюзном собрании и требовал «угомонить» псевдоученого Кантора. «Но я уверен, — добавил он, — что наши доблестные чекисты угомонят иуду-профессора!» Его любовница по прозвищу «Щучка» на этом собрании кричала, что профессор должен извиниться перед коллективом за то, что так долго вводил его в заблуждение. Короче, деда посадили, требовали, чтобы он назвал сообщников, дед молчал. Сознание от ощущения запредельности

зла помутилось. На него махнули рукой и поместили в тюремную психушку, где он провел почти год.

Как у Шварца: тень хотела занять место ученого. И вроде бы заняла. Но требовалось утверждение Ученого совета по геологии, куда входили академики Вернадский и Ферсман, они ее не утвердили. Более того, Вернадский постоянно писал письма в инстанции в защиту деда. Бабушка тоже старалась, а она имела орден Боевого Красного Знамени за испанскую войну. Вернувшись в СССР до поражения республиканцев, она не попала в постиспанскую мясорубку. А потому орден действовал. Прямоспинная бабушка вызывала невольное уважение у ее собеседников, хотелось им тоже распрямить спину. Ее приучили к прямой спине в гимназии. Классная наставница внимательно следила за осанкой воспитанниц, если кто горбился, била линейкой по спине, говоря по-французски: «Mademoiselle, le dos doit être droit».

А в начале тридцать девятого деда выпустили, вернув кафедру и профессорство. В стране прошел пересменок, страшную ежовщину отменили, власть над репрессивными органами была передана Берию, началась бериевская амнистия. Так дед оказался на свободе.

И уже в конце этого года Вернадский писал деду:



Москва 2. Фрунзенский пр. 1 кв. 2  
30 кн 939

Многоуважаемый,  
Моему Николаю  
двенадцать и трое Вам  
уже исполнилось. Могу  
вам это сообщить  
(мен. 1. 57. 16). Если вы  
будете рады, то напишите  
доброе слово  
с любовью  
В. Вернадский

Вот перепечатанный текст: 30 XII 1939

Многоуважаемый Моисей Исаакович

Оказывается, я прочел Вашу работу своевременно. Может быть, Вы позвоните мне (тел. Г. 1—59—16), чтобы сговориться, когда мы можем встретиться у меня.

С совершенным уважением

В. Вернадский

Доносчица писала деду покаянные письма, оправдываясь нервным срывом, писала, что она молодая незамужняя женщина, что у нее бывают депрессии и стрессы, вот она и «перегнула палку». Незлобивый дед готов был ее простить. Но бабушка пощады не знала. Все же старый большевик! И дед заместительницу уволил.

## 2

Когда подростком я слушал эту семейную историю, то никак не мог взять в толк, почему власти поверили полуобразованной тетке и проигнорировали мнение реальных ученых. Шло время позднего реабилитанса. Хрущев разоблачал Сталина. И интеллигенция позволила себе открыть рот. «А почему, — отвечал отец, — дали академика малограмотному агроному Лысенко, а больших биологов, настоящих исследователей, если не расстреляли, не в лагеря, не на Лубянку, как твоего деда, то уж точно с работы выгнали? Почему твоя мама лишилась работы, почему ее вначале в лаборантки взяли, а потом и оттуда уволили, и она три года землю копала? Почему только сейчас она, наконец, пишет свою диссертацию? И то не по генетике, а по эмбриологии?»

Вопросы были вполне риторические. Но с деньгами было плохо. Дед умер в сорок шестом, через год после моего рождения. Партмаксимум был отменен аккурат после смерти деда. И нормальных профессорских денег семья не увидела. Но разговоры об отмене партмаксимума и повышении профессорской зарплаты уже ходили. Даже бывшая заместительница деда, написавшая на него донос, зная его доброту, пришла занять денег на покупку дачи в счет его будущей большой зарплаты. Бабушка не разрешила, так посмотрев на доносчицу, что та стремглав побежала вниз по лестнице. Дед теперь ничего не делал без совета бабки. Правда, он успел молодой жене сына, только окончившей биофак, посоветовать аспирантуру по генетике. В нашем профессорском доме проживало несколько генетиков. В соседнем подъезде жил знаме-

нитый Антон Романович Жебрак, к которому дед и отвел маму. Он и другие соседи приветили маму, как молодую и талантливую.

Мама попала в аспирантуру к Иосифу Абрамовичу Рапопорту, герою войны, трижды не получившего Героя Советского Союза, но тем не менее кавалеру нескольких советских орденов — Красного Знамени, Отечественной войны и американского «Легион Почета» за прорыв немецкой блокады и соединение с американскими передовыми частями. Но уже в 1948 году прошла сессия ВАСХНИЛ, менделисты-морганисты были названы агентами Запада, генетика запрещена. Против лысенковского погрома генетики выступили Антон Жебрак и Иосиф Рапопорт. На одном из заседаний заместитель Лысенко Исай Презент выступил с обличительной речью. Как вспоминал очевидец, *«он сказал: “когда мы, когда вся страна проливалa кровь на фронтах Великой Отечественной войны, эти мухаводы...”*. Договорить он не сумел. Как тигр, из первого ряда бросился к трибуне Рапопорт — он знал, что такое “брать языка”. Презент на войне не был — он был слишком ценным, чтобы воевать — там же могут и убить... Гвардии майор Рапопорт был всю войну на фронте, орденосец. С черной повязкой на выбитом пулей глазу он был страшен. Рапопорт схватил Презента за горло и, сжимая это горло, спросил свирепо: “Это ты, сволочь, проливал кровь?” Ответить почти задушенному Презенту было невозможно». Мама и без примера своего научного руководителя была неуступчивой и, отказавшись осудить попавших под удар профессоров, она на несколько лет стала чернорабочей. Уже стало не до генетики. Правда, еще через год, в 1949 году, мне уже четыре, я помню на подоконнике жила в стеклянной банке компания мух-дрозофил.

Зарплата чернорабочей была мизерной. После страшной и громкой сессии ВАСХНИЛ, зарубившей генетику, год спустя случился удар по космополитам, еврей отец получил волчий билет по окончании университета, на работу его никуда не брали. С трудом взяли в почти заштатный Рыбный институт вести семинары по истории партии за доцентом Куликовым, читавшим этот курс. Куликов ненавидел свой курс и пил горькую, обижаясь на отца, что тот с ним не выпивает. Мама работала чернорабочей в Главном Ботаническом саду, потом ее повысили до лаборантки. Потом дали младшего научного сотрудника и разрешили заняться эмбриологией.

Но денег не хватало даже на нормальную еду для семьи. Помню, как каждое утро отец делил пятьдесят граммов сливочного масла на четыре части — это полагалось нам на весь день. Одежда тоже была старая и истрепанная. Но была! Отец донашивал костюмы

деда, они долго еще висели в нашем шкафу в прихожей. А в школе класса с пятого ввели обязательную школьную форму. Полувоенную. Брюки и гимнастерку на широком ремне. Конечно, существовала форма из дорогой материи, это было родителям не по карману, но на самую простую у них денег хватило. К тому же почти все деньги мама тратила на хорошие листы ватмана. Для защиты ее кандидатской диссертации по развитию льна-долгунца необходим был визуальный ряд. И, разложив эти огромные листы на полу, тщательно тушью вырисовывала зародыши льна, его листы, стебли и еще разные детали, которые я сейчас не помню. Мама ужасно нервничала, это была не просто защита, а возвращение вчерашнего и несломленного изгоя в науку. В Ученом совете сидели люди, которые наверняка не забыли ее резкость, когда она отказалась покаяться и осудить своих вчерашних учителей. При этом мама крутилась вокруг младшего сына, моего маленького брата. Правда, ей помогала домработница Вера, деревенская девушка с изуродованным лицом. Она была в поле со своим парнем. Потом она, усталая, заснула в борозде. Как теперь понимаю, заснула, устав от любви со своим парнем. А он был трактористом и тоже после любви выпал из реальности, продолжил боронить поле и не заметил спавшую в борозде возлюбленную. Острием бороны он и вспахал ей лицо. Ее еле спасли, но лицо осталось на всю жизнь изуродованным. Жених ее оставил, взял в жены другую, а она уехала в Москву, где ее никто не знал.

Весь день перед защитой мама готовила стол, что-то пекла, резала салаты, очень скромно, но чтобы стол был заставлен. «Даже колбасы нет», — бормотала она. Потом впопыхах собрала бумаги, сложила в портфель и, отправив меня в школу, помчалась на защиту, боясь опоздать.

А я отправился на трамвае. Путь был простой, я с первого класса ездил один. У меня был школьный проездной. Я уехал к восьми тридцати. Мама должна была ехать в университет к часу, в два на биофаке МГУ начиналась ее защита. Вера заботилась о моем младшем брате. Он еще лежал в коляске, но мама уже перестала кормить его грудью. И поэтому Вера могла кормить его из бутылочки. На обратном пути около дома увидел я черную легковую, у которой под номером висела табличка «Совет по борьбе с внеземными цивилизациями». Я вспомнил «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, фантастический роман, который печатался тогда из номера в номер в «Пионерской правде». Читали его все и я в том числе с упоением. Когда роман нравится, то и окружающая реальность вдруг пронизывается его токами. Я решил подойти побли-

же к машине, чтобы рассмотреть табличку поотчетливее. Но чем ближе я подходил, тем страннее становилась машина, она словно расплывалась в розовеющем мареве. А когда я встал, как мне думалось, рядом с машиной, ее не стало. Что-то это предвещало не самое хорошее.

Я поднялся на свой третий этаж. Дверь мне открыла Вера. Ее изуродованное лицо опухло от слез. Она молча сунула мне листок бумаги, на котором были написаны какие-то слова. А сама скрылась в комнату к маленькому Клавдию. Я прошел в свою комнату и прочитал на листке: «Вова, я больше не могу, я ухожу. Мина Израилевна сказала, что я не человек. А я человек! Хотя и уродина». Что-то надо было делать. Но что? Надо разобраться. Я зашел в комнату, где она сидела перед кроваткой Клавдия, и спросил: «Вера, что случилось? Почему бабушка тебе такое сказала? Но не обижайся, она же старая. Маму она тоже обижала, но мама терпит...» Вера всхлипнула: «Татьяна Сергеевна замужем за ее сыном. А замужняя женщина должна терпеть. Я бы тоже терпела. А я простая деревенская девка. Я ничего плохого не хотела, просто подобрала с пола пустышку, ее Клавдий выплюнул, облизала ее, чтобы грязи с пола на ней не осталось. И сунула ему назад в рот. Я так и младшему братику своему делала, да все так в деревне делают. А она закричала на меня, что люди так не делают, что, наверно, я не человек. А я человек!» Я теперь понимаю, что в такой ситуации надо отвлечь собеседника каким-нибудь простым, но обязательным делом. На выручку как всегда пришла мама. Звонок телефона услышал я, телефон стоял в коридоре. Я выскочил в коридор. Звонила мама. Голос был тревожный и даже испуганный: «Я забыла дома свои ватманы с рисунками. Без них защиты не будет. Бери такси, знаешь, около бензоколонки на Тимирязевском шоссе всегда они стоят». После рождения младшего я уже был для мамы взрослым. И она так нервничала, что забыла про деньги, что в день я имел пятьдесят копеек на завтрак. И никаких записок. Я и сказал маме взрослым голосом, стараясь пошутить по-взрослому: «Мамочка, но ведь я *барон без гроша*». Где-то я эту фразу вычитал. Понятно было, что мама замерла, потом сказала: «Займи у Веры, я ей недавно зарплату дала. Займи рублей пять. Я ей завтра отдам. И на бензоколонку ватманы не тащи, хоть они и в рулоне. Доедешь на такси до подъезда, возьмешь рулон, он в газете и веревочкой перевязан. И сразу ко мне. Только успевай, ради Бога».

Я вернулся в комнату к Вере. Она тем временем складывала свои вещи в узелок. И встретила меня словами (голос дрожал от слез): «Как я сказала, я ухожу. А ты уж посиди до маминого прихо-

да, последи за братиком». Я остановил ее начинавшееся рыдание. Остановил просьбой: «Вера, мама сказала, чтобы я одолжил у тебя пять рублей до завтра. Она очень просит. Мне надо быстро взять такси и отвезти ее рисунки на защиту». Вера склонила голову, раздумывая. Потом встала, подошла к своему узелку, порылась в нем и вытащила красный большой кошелек, расстегнула его и отсчитала мне пять рублей рублями.

Мне повезло. Попался хороший шофер, человек хороший, который, узнав, куда несется тринадцатилетний мальчишка, сказал: «Успеем. Не волнуйся». И мы успели. Я вошел в незнакомое здание, чтобы пройти к лифту, надо было миновать охранника, который уставился на рулон, в который были запакованы мамины ватманы. «Что это у тебя?» — спросил он не очень дружелюбно. Я готов был идти напролом.

Но уже к охраннику подошла сотрудница из маминой лаборатории. Она наклонилась к нему и сказала: «Он к нам, у нас защита, его мать защищает. Пропустите его». Охранник вдруг улыбнулся: «Ну проходи, успеха твоей маме!» Женщину эту я знал, она иногда приезжала в гости к маме: высокая, широкоплечая, черноволосая, с красной родинкой у кончика носа, детей у нее не было, со мной она была строга, не позволяя баловаться. Я звал ее тетя Римма. Иногда она даже ночевала в моей комнате, чтобы вечером не добираться по темной Москве. И бесконечно делала мне замечания, что я не ценю своей мамы и не помогаю ей. Особенно перед сном, когда мама заходила поцеловать меня на ночь. «Что же ты мать все гоняешь? — говорила она. — Большой уже. Сам засыпать должен». Я отворачивался к стенке и накрывал голову подушкой. Но сейчас я понимал, что она собирается мне помочь. Мы пошли через вестибюль к лифту.

Лифт заполнился студентами, которые не понимали, что сейчас происходит важное событие защиты. Они толкались и смеялись. Я оберегал свой рулон, поставив его в угол лифта и загородив спиной. Лифт, наконец, остановился. Мы вышли, пошли долго по длинному коридору вдоль дверей. Всегда в новом месте путь кажется длинней, чем он есть на самом деле. Наконец. Пошли к искомой двери. Тетя Римма, оттеснив меня, вошла первая. Мама стояла на небольшой сцене перед большой черной доской, что-то говорила, но явно чего-то ждала. Меня ждала. Я это понял и сразу взбежал по ступенькам и протянул маме рулон. Какой-то тощий мужчина в пиджаке, словно снятого с подростка, явно не по росту, бросился помогать маме разворачивать рулон и крепить листы ватмана с рисунками на доску.



Ко мне повернулась всем корпусом очень полная блондинка, сидевшая в центре стола. Это была Вера Алексеевна, завкафедрой. Увы, это была не генетика, мама защищалась по эмбриологии, но Вера Алексеевна, зная ее неправовое прошлое, все же взяла маму к себе и выпустила на защиту. Начальница поманила меня пальцем, погладила по волосам и сказала громко, будто говорила о своей заслуге: «Хороший сын у Тани». И тут мужчина с небольшими глазками, широкими ноздрями, пробормотал еле слышно, но я услышал: «Должно быть и у генетиков что-то хорошее». Я хотел сказать что-то резкое. Вера Алексеевна взяла меня за руку и шепнула: «Помолчи, это сын Трофимыча, ну, Лысенко, Трофим Денисыча. Он у нас работает».

Мама защитилась блестяще. Все проголосовали **за**, все белые шары, кроме одного, как сказала мне на ухо Вера Алексеевна, черный шар от Трофимыча. Тетя Римма добавила: «Но один черный шар не считается». Вечером мама повезла оппонентов и участников защиты к нам домой. Ехали на автобусе, который дал университет. У коллег были с собой букеты цветов и какие-то пакеты, а Вера Алексеевна поставила с осторожностью около своих ног громоздкий баул. В квартире мама принялась с помощью сотрудниц хлопотать у стола. Еще образовалась нарезанная колбаса, а научная руководительница Вера Алексеевна резко распахнула баул и извлекла что-то в какой-то нежной бумаге, перевязанное не веревками, а нитками, развязала нитки и аккуратно поставила на стол большой поднос и принялась доставать из баула завернутое в такую же бумагу чайные чашки, блюдца, сахарницу и чайник. Все это было китайское, из тонкого покрытого лаком дерева и пахло чем-то удивительно нежным и китайским. И Вера Алексеевна, полная, грузная, с одышкой, сказала вдруг нежным голосом: «Чашки такие же красивые, как наша Таня, и такие же прочные, несмотря на внешнюю хрупкость». Все захлопали, а мама покраснела от смущения.

Так прервался уж совсем черный период для нашей семьи. Не очень надолго.

### 3

Маму в Главном Ботаническом саду повысили, она как кандидат наук получила должность старшего научного сотрудника. Но характер был у нее по-прежнему неуступчивый и резкий. То ли от природы, от отца, то ли характер научного руководителя Иосифа Рапорта тоже сказался. Года три она работала спокойно, а потом

отказалась поставить на своей статье рядом со своей фамилией фамилию директора. Разумеется, ее уволили. Опять пошли полугодные дни. А мама обивала разные пороги. Через месяц ее взяли старшим научным сотрудником в Институт садоводства, находившийся в Бирюлево. Туда с Павелецкого вокзала ходила электричка до станции Бирюлево-Пассажирская. Она шла и дальше, но на этой надо было выходить. Потом минут двадцать пешком по проселочной дороге.

Отец по несколько месяцев проводил вне Москвы в Сенежской студии, где читал лекции дизайнерам. На маме были дети, и дом, и работа. У нее была любимая поговорка, что в жизни «надо опираться на свой хвост». Она и опиралась на себя, и всегда была готова к отпору. Постоянная позиция защиты, которая необходимо кончалась контратакой. В поселке Бирюлево мама на лето сняла дачу. Надо было где-то выпастать младшего сына, моего брата Клавдия. И работа рядом. Это был двухэтажный дом, с крыльцом с двух сторон, с большим двором. Рядом с хозяйским крыльцом располагалась песочница, в которой постоянно торчали двое мальчишек — шести и семи лет, погодки. У сарая стояли козлы, на которых отец с сыном пилили бревна, чтобы потом колоть их на дрова. Хозяина звали Борис Евгеньевич Фролов, он и построил песочницу для внуков. Это был вдовый немолодой, но и не очень старый, шестидесятилетний, невысокий, но очень сильный человек, носил драный, шерстяной свитер. Сын его тридцати двух лет, Федор Борисович, тоже крепкий и здоровый, но время от времени жаловавшийся, что в сердце какая-то теснота, а иногда и резь. Жена его оставила, уехала в Москву учиться и не вернулась, говорят, убили грабители, он сам возился с малышами, но над отцом все посмеивался, что тот, прежде чем бревно поднять или еще что в таком же духе, двадцать раз примеряться будет, приспособления всякие искать. «А я рывком, сил не занимать!» Кончилось его бахвальство инфарктом. Федора отвезли в местную больницу, где дней через шесть он скончался.

В Институте Садоводства мама проработала до пенсии, было там всякое, но все же это была работа, а стало быть, и зарплата. И самое главное, мама вернулась к генетике, занялась проблемой клубники. Никто из начальства не возражал. Генетику уже *простили*. Да к тому же это был Институт садоводства и питомниководства. Занятие клубникой только приветствовалось. В результате мама вывела новый тип ягоды, которую она окрестила *земклуника*. И лучший сортов она назвала именем своего учителя — **Рапопорт**. Из-за этого имени у нее возник конфликт с младшим сыном.

Это был тот мальчиковый период, перед взрывом независимости, когда подросток начинает активно подстраиваться под общую линию. Брату очень хотелось быть чисто русским мальчиком, как его одноклассники. «Зачем ты даешь своему открытию имя еврея? Ведь евреи, — повторял он своих одноклассников, — все трусы!» Мама сжала губы в ниточку: «Подумай, что говоришь! Проси прощения у меня и у памяти Иосифа Абрамовича! И не забывай, что отец твой тоже еврей». Клавдий огрызнулся, хотя и растерянно: «Еще чего!». Забегая вперед, скажу, что название начальство не утвердило. Оно тоже не дало трижды несостоявшемуся Герою Советского Союза, непобедимому комбату, несостоявшемуся лауреату Нобелевской премии за открытие химического мутагенеза (советское правительство заявило, что второй истории с Пастернаком они не допустят, и у Нобелевского комитета заиграло очко) быть увековеченным в работе его бывшей аспирантки. Сорт **Рапопорт** переделали в **Рапорт**, убрав две буквы. Но это позже. Пока же мама еще думала, что ее название оставлено, а младшему сыну надо было объяснить, кто такой Рапопорт.

«Клавдий, ты где?!» — крикнула она, в отведенной им половине дома его не было. Мама выскочила во двор. Сын уже стоял у калитки. «Куда собрался?!». Клавдий усмехнулся, хотел было промолчать, но ответил: «Это мое дело!» Мама еще была спокойна: «Ты мой сын и, пока ты не взрослый, я за тебя отвечаю. Ответь маме». Клавдий ответил, и вдруг без резкостей: «Я иду на запруду, там меня парни ждут». «Парни» было взрослое слово. В этот момент и мама, и Клавдий вздрогнули. Со стороны улицы подкатил на велосипеде к калитке Борис Евгеньевич Фролов. Молча прошел сквозь калитку к сараю, завез туда велосипед, вышел и сказал маме очень тихо: «Федор помирает». Мама взяла его за руку и также тихо проговорила: «Берегите себя и внуков. Беды ведь ходят стаями».

Она оглядела двор, посмотрела на заросли чертополоха вдоль забора, на две старые яблони, кусты смородины, два куста крыжовника и совершенно запущенные три грядки клубники, покрытые сорняками. Внукам полакомиться было нечем.

Она повела его на наше крыльцо: «Пойдемте, я вас чаем напою». А Клавдию: «Постарайся не поздно вернуться». Тот буркнул «ладно» и побежал по тропинке вдоль забора, выскочил на проселочную дорогу и понесся к запруде. Запруда находилась километрах в двух от поселка. Там постоянно толклись подростки обоего пола. Под вечер собирались приклатненные местные хулиганы. Драки тоже бывали, иногда до крови. Конечно, мама опасалась, когда младший бегал на запруду. Но пока она пила чай с хозяином

и расспрашивала, кто из родственников может ему помочь с внуками. Не поможет ли соседка Клава? Это была вдовья бездетная сорокалетняя женщина, еще крепкая, иногда помогавшая Борису Евгеньевичу по дому, стирая белье. Мама ведь сама выросла на селе, понимала важность деревенского родства и соседства. Потом сказала, что хочет подарить ему усы от своей опытной земклуники, сама прополет грядки и посадит, чтобы внукам было лакомство. После разговора старый Фролов встал и пошел на свою половину к внукам.

А мама села у окна глядеть на калитку. Время шло, а Клавдия не было. Время подходило к шести. Мама встала и отправилась к запруде. Запруда начиналась прямо у проезжей дороги; собственно насыпь, создавшая дорогу для проезда машин и телег, и создала запруду. Мальчишки ныряли в глубокую воду прямо с дороги. Они кричали, матерились от неудачного нырка, девчонки визжали; вылезая из воды, грелись на вечернем солнце. Но Клавдия нигде не было. Она позвала его. Одна из девочек сказала ей, что видела, как Клавдий и трое мальчишек отправились в лес, который зеленел за запрудой. И мама пошла к институту, там даже в выходные дни оставались двое сторожей. И они могли открыть кабинет директора, где был телефон. Она дозвонилась до Москвы, до меня, и просила срочно приехать — искать Клавдия. Вернувшись во двор дома Фролова, подобрала рассыпавшиеся из поленицы дрова, подвезла пустую тачку к сараю, подмела двор и вернулась на нашу половину.

Я быстро собрался и поехал. Электричка до Бирюлево шла всего полчаса. Но до Павелецкого вокзала ехал я больше часа, потом ждал электричку, затем минут двадцать от станции до дачи. Когда я прибыл, уже все произошло.

А произошло вот что. Клавдий вернулся уже около девяти. Ежился, понимая, что будет серьезная разборка, мама умела бранить. А мама, перенервничав, вдруг сообразила, что все спокойно, никаких криков и паники, как было бы в случае несчастья. И тогда в ней вспыхнул огонь предков ямщиков, дравшихся до кровянки почем зря. Так и отец ее чуть что хватал палку и выскакивал за забор бить местную шпану. И в Лихоборах, где прошло детство мамы, его боялись окрестные молодые и взрослые хулиганы. Она пошла к кустам чертополоха, наломала, обдирая руки, веток поколочей, а дома связала их, превратив в жесткую и гибкую плетку. Она села на стул, спрятав плетку за спину. И тут вошел Клавдий. Уже было около десяти.

«Ну слава Богу, — сказала мама, — где же тебя носило? Мать уже изнервничалась вся, — голос был спокойный. — Ты не поранился

в лесу? Ну-ка подойди! Я посмотрю». Клавдий подошел. И сказал: «Ты чего, *мамахен?* — где-то он подцепил это слово не из словаря нашей семьи. — Зря нервы тратишь!» И мама вспыхнула. Может, она еще и отбросила бы плетку, но после таких слов и нагловатого тона она спустить этого не могла. Клавдий при этом подошел, ничего не ожидая. Когда он приблизился, мама вдруг схватила его за руку, подтянула к себе и, взмахнув правой рукой с зажатой в ней чертополоховой плеткой, вытянула его по заднице и тут же по спине. И успела еще раз. Клавдий отпрянул, почему-то упал на колени и на четвереньках выполз-вылетел из комнаты. И прямо на меня наскочил. Я поднял его. Губы его были искривлены в гримасу, напоминавшую злую мордочку лисенка Мюзю из французского комикса, про медвежонка Пляси и лисенка Мюзю. «Она сумасшедшая!» — выкрикнул он. Пришлось его встряхнуть. «Послушай, братец! Ты все-таки еще малолетка, — слова плохо слушались меня. — Ты не очень понимаешь, кто такая твоя мама и что у нее была за жизнь. Как она не побоялась отказаться дать показания против своих учителей и отречься от них. Как она отказалась развестись с нашим отцом... От нее, как от русской женщины, требовали, чтобы она бросила еврея, что стыдно русской женщине жить с евреем и выблядков от него рожать. А выблядки это мы с тобой». Клавдий аж задохнулся... «А мама? Она не сумасшедшая? Нет, храбрая? Как и ее руководитель Рапопорт, один из самых храбрых солдат в отечественной войне. Знаешь ли ты, как он прорвался к берегу Дуная на соединение с американцами. Берег закрывали несколько немецких полков. Командование решило начать плановое наступление. Рапопорт, как командир батальона артиллерийских самоходок, пошел ва-банк. Приказал развернуть знамена и под музыку полным ходом помчались к берегу. Фашисты обалдели, растерялись и пропустили. Обалдели и американцы от такой невероятной дерзости и наградили Рапопорта орденом «Легион Почета». Это фашисты распустили миф о евреях-трусах, а Сталину и его палачам это было на руку. Ты хоть понимаешь, как ты маму обидел?»

Клавдий стоял бледный. Но все же неожиданно пошел к маме извиняться. Мама поцеловала его.

И, чтобы закончить с темой Бирюлево, добавлю, что, когда умер сын хозяина дома, мама после поминок пошла проводить соседку Клаву до дому и о чем-то часа два с ней проговорила. А уже когда лето кончилось и мы вернулись в Москву, мама как-то поздней осенью сказала отцу, что после работы зашла к Фролову и узнала, что он и Клава расписались, свадьбы устраивать не стали, но

она переехала к Борису Евгеньевичу. Не зря мама с ней весь вечер проговорила.

## 4

Это было поразительно. Но с этого дня Клавдий изменился. Сошелся с молодыми инакомыслами, они не выпивали, но собирались почти ежедневно то в актовом зале, то просто в кустах. Читали стихи Бродского, пели Галича, Высоцкого. По большей части это были мальчишки и девчонки из приличных еврейских семей. Но поиграть в протест всем хотелось. Ребята были культурные, читали даже стихи Бунина. Тогда Клавдий узнал, что великий русский писатель был юдофилом.

### ТОРА

Был с богом Моисей на дикой горной круче,  
У врат небес стоял как в жертвенном дыму:  
Сползали по горе грохочущие тучи —  
И в голосе громов бог говорил ему.

Мешалось солнце с тьмой, основы скал дрожали,  
И видел Моисей, как зиждилась Она:  
Из белого огня — раскрытые скрижали,  
Из черного огня — святые письма.

И стиль — незримый стиль, чертивший их узоры,-  
Бог о главу вождя склоненного отер,  
И в пламенном венце шел восприемник Торы  
К народу своему, в свой стан и свой шатер.

Вспойте песнь ему! Он радостней и краше  
Светильника Седьми пред божьим алтарем:  
Не от него ль зажгли мы пламенники наши,  
Ни света, ни огня не уменьшая в нем?

Чаще других пели хулигански разбитную песню Александра Галича, который в конце 70-х был по популярности безусловным лидером среди бардов. Как говорил один из московских полу-диссидентов: «Есть ли новый политический анекдот? Нет? Тогда давайте Галича попоем». Сравнение барда с анекдотом говорит о популярности певца. Пели «Рассказ, который я услышал в привокзальном шалмане»:

Что ни вечер — «Кукарача»!  
Что ни утро, то аврал!  
Но случилась незадача —  
Я документ потерял!

И пошел я к Львовой Клавке:  
— Будем, Клавка, выручать,  
Оформляй мне, Клавка, справки,  
Шлепай круглую печать!

Значит, имя, год рожденья,  
Званье, член КПСС,  
Ну, а дальше — наважденье,  
Вроде вдруг попутал бес.

В состоянии помятом  
Говорю для шутки ей:  
— Ты, давай, мол, в пункте пятом  
Напиши, что я — еврей!

...  
Вот прошел законный отпуск,  
Начинается мотня.  
Первым делом, сразу допуск  
Отбирают у меня.

...  
Значит все мы, кровь на рыле,  
Топай к светлому концу!  
Ты же будешь в Израиле  
Жрать, подлец, свою мацу!

...  
И пошло тут, братцы-друзи,  
Хоть ложись и в голос вой!..  
Я теперь живу в Калуге,  
Беспартийный, рядовой!

Мне теперь одна дорога,  
Мне другого нет пути:  
— Где тут, братцы, синагога?!  
Подскажите, как пройти!

Как-то я попал на их распевку. Просто случайно шел мимо. Была уже зима, лежали сугробы, мальчишки ежились, курили, хотя и не выпивали, но кусты их не закрывали, видны были отовсюду, да и в зимнем воздухе слова звучали отчетливо. Я сказал Клавдию: «Вы бы потише это орали. А то как раз в ментовку загремите!» Клавдий, выпендриваясь перед приятелями, осадил старшего брата: «Вот уж не думал, что ты такой трусишка». Я пожал плечами и пошел по своим делам. Но в тот же вечер их загребли.

## 5

Клавдий шел и продолжал громко петь: «Где тут, братцы, синагога, подскажите, как пройти!» Мент, который тащил его, держа за воротник теплой куртки, сказал: «Подскажем, подскажем, не волнуйся». Брат был с паспортом. Менты вычислили его адрес, домашний телефон и почему-то позвонили нам домой и сообщили, что он пока в «обезьяннике» х-го отделения милиции, так и сказали. Отец, как часто было последнее время, был в отъезде. А мама в Бирюлево. Как понимаю, там тоже все было заснежено. И путь до станции шел среди сугробов по скользкой тропинке. Маме я дозваниваться не стал, понимая, что из помещения она уже ушла. Но что-то, видимо, она почувствовала и позвонила домой из автомата с Павелецкого вокзала. Руки ее были в варежках, сняв их, она замерзшим указательным пальцем, принялась крутить колесико телефона-автомата. Дозвонилась. И услышав новость, выдохнула: «Какое отделение?» Понятно стало, что маме наплевать, виноват ее сын или нет. Надо было его спасать. Денег на такси у нее не было, путь простой – метро и трамвай.

Но силы женщины-матери невероятны. На такси ехать было час, на транспорте минут на двадцать больше. Мама доехала за сорок пять минут. И еще среди домов найти отделение милиции. Нашла. А дальше все произошло на невероятной скорости. В обезьянник ее не пустили, сказав, что все решает майор, а майор у себя. Одетая в ватник (для удобства работы в поле) мама, отпихнув секретаршу, вошла в кабинет, где за столом сидел мужчина лет сорока в форме, на носу были очки, что как-то не вязалось с милицейской формой. «А ну выпустить моего сына!» Мама назвала фамилию. Майор усмехнулся: «Нет, гражданочка, не выпустим! Его задержали за хулиганство и пение непотребных песен. Сионистские». – «Что?! Этого быть не может! Не надо лгать матери!» Майор помахал перед глазами мамы ладошкой: «Сказано вам, уходите отсюда». Она не двинулась. Милицейский чиновник привстал, оперся обе-



ими руками о стол и рывкнул: «Вон отсюда!» И тут в маме проснулось отцовское ямщицкое! Она взяла в одну руку две смерзшиеся, оледенелые рукавицы и со всего размаха отхлестала майора по щекам: «Ах ты крыса поганая!» Он охнул и сел. Он ждал, что его будут умолять, может, деньги предлагать, но такого нападения он не мог даже предположить. «Даю две минуты! — продолжала мама. — Зови своих шестерок. Пусть мне сына приведут. Ты понял?»

Русская женщина в гневе и своей правоте — это серьезно. Остановить ее можно только силой. Но это было советское время и милицейский беспредел хоть и был, но в случаях более серьезных, чем рассерженная мать. И через час или полтора они оба были дома.

Мама сняла ватник, бросила его на сундучок в прихожей, сверху мокрые рукавицы, стянул валенки и прошла в свою комнату, то есть родительскую, но папы не было дома. Легла лицом вниз на диван и вдруг заплакала. Очевидно, очень перенервничала. Честно сказать, я никогда не видел маму плачущей. Клавдий тоже. Чувствуя свою вину, он вдруг встал на колени перед лежавшей мамой, стал целовать ее в плечо и бормотать: «Мамочка! Ну прости меня! Я исправлюсь, обещаю тебе!» Я стоял рядом, не зная, что сказать. Мама вдруг села, вытерла слезы и сказала: «Ладно, мальчики, все в порядке, идите к себе».

Мы вышли в коридор. Клавдий был весь потухший. Неделю он приходил в себя. Пришел. С еврейскими друзьями он завязал.

И жизнь потянулась дальше.

## Жизнь как необходимость бреда

**В** подростковом возрасте мне часто снился, а иногда и наяву виделся какой-то мужик — черный, большой, огромный, громоздкий, дышащий какой-то мертвечиной, дыхание вырывалось сквозь гнилые зубы. Он надвигался на меня, почти наваливался, а я как-то уменьшался в размерах и очень боялся, что это огромное чудище схватит меня и что-то со мной сделает.

Профессорский дом, в котором я жил, построили в 1936 году. Строили, видимо, зеки. На одном кирпиче читались слова: «кирпич делаю заключенный в лагерь». Но никто этих слов не замечал. Строго говоря, было два пятиэтажных дома друг против друга, их разделял газон, обсаженный кустами. В каждом доме по тридцать квартир. Во время войны (и далее — примерно до 1953 г.) каждой квартире было выделено по грядке. Сажали картошку — точнее, кожуру с глазками. Но вырастала настоящая картошка, попавшая, как теперь мы знаем, в Россию из Германии при немке Екатерине Великой. Поначалу, не понимая, что надо есть клубни из земли, мужики травились, поедая то, что было сверху, и пошла поговорка: «Что немцу здóрово, то русскому смерть». Потом, конечно, поговорку поменяла национальная гордость, мол, немец столько водки не выпьет, как русский.

Профессорских детей мальчишки из бараков били с криком «Дави жидов!» Хотя еврейских семей было немного, две-три, не больше. Кто жил в нашем доме? Ученые и их гонители, доносчики. А рядом бараки — внешняя угроза. Как мы знали, вдоль Дмитровского шоссе строился многоэтажный и многоквартирный дом, чтобы переселить туда обитателей бараков. Бараков было много: как правило, двухэтажные с коридорной системой. Школа втягивала всех (ибо образование было всеобщим и обязательным): дети из бараков и профессорские дети и внуки учились вместе. Учились даже дети из немного таинственного дома без номера, стоявшего на пустыре. Там жили просто уголовники. Милиция обходила этот дом стороной, только иногда приезжали на мотоциклах с автомата-

ми, устраивали какие-то проверки. В нашем классе учился мальчик из этого дома Валек, по прозвищу Сосед.

Он был моим соседом по парте. И с легкой руки Светки Гончаровой, все время спрашивавшей меня: «Как твой сосед поживает?», его все стали звать Сосед. Она была вполне буржуазная девочка. Но буржуазкам как раз нравятся маргиналы, даже разбойники, как я понял позже. Зато Валек сказал как-то грубо про нее: «Она, поди, из твоего дома. Папаша профессор... И почему это у профессорских девчонок сиськи такие маленькие... Потискать нечего. И пососать».

Про тисканье я еще понял, а что он собирался сосать, не мог и вообразить. А мне вдруг представилась Лида, у которой груди были явно заметны, она и старше меня была на год, хотя училась в моем классе. Но я и подумать не мог взять ее за грудь, тем более залезть под юбку, как делали шпанистые мальчишки. Да и не знал я, что могу найти под юбкой. Вообще-то я много слышал о специальных отношениях мальчиков и девочек, о разном устройстве их тел. Хотя это было природой так странно устроено, все это выглядело какой-то дикой выдумкой. И жалко было девочек. Другое дело, и это я с тревогой замечал, что девочек эта тема очень будоражила.

Я промолчал, не зная, что ответить. Мне пришлось как-то отнести ему задание по просьбе классной руководительницы. Внутренность этого двухэтажного дома угнетала. Грязь — не самое неприятное, самое ужасное был запах — кислый, вонючий, словно рвотой пахло. Там жили и девочки-школьницы из старших классов. Вчерашние и нынешние дуры и двоечницы, они по-женски оформились и приобрели статус тех, с кем хотелось проводить время. Жильцы этого дома, мужики, проходя и походя, хлопали их по попам, щипали за щеки. «А евреев зато у нас нет, не найдешь!» — сказал мне вдруг толстый дядька, стоявший прямо в носках на площадке второго этажа. «Да не обращай значения, — кивнул мне Валек, — это он не тебе, это он просто так». Знал ли он про мою некондиционную половину крови? Или, поскольку я вошел в его пространство как Сосед, стал вроде бы *своим*, где национальность роли не играла?

Девочка в четвертом классе, синеглазая, светлая, с русыми косами, уложенными короной, которой я нравился, а она мне. Она делилась со мной разными фразами, услышанными дома, как-то сказала, улыбаясь: «Сколько время? Два еврея, третий жид, по веревочке бежит. А веревочка лопнула и жида прихлопнула!» Она засмеялась шутке, я тоже захотел, но смог только криво улыбнуться. Конечно, она была из не очень-то образованной семьи, это я растерянно понял, когда на мое пижонское «Пардон» она восклик-

нула: «Сам ты пердун!» Растерянно я отошел, не ответив. Девочка окончательно потеряла для меня интерес. Хотя еще с дошкольного возраста слушал радио, где воспевались русские красавицы с синими, как небо, глазами. У моей русской мамы тоже были очень синие глаза. И я приносил синий карандаш к маме и просил, чтобы она покрасила мне глаза в синий цвет. Мама не то смеялась, не то плакала, не то сморкалась, пряча лицо в носовой платок. Как-то я рассказал, что одноклассник назвал меня евреем. Многие захихикали. Почему-то это было обидным. Я видел, что мама растерялась и сказала: «А ты назови его китайцем!» Будто не понимала, что китаец — это не обидно, а еврей — обидно, оскорбительно даже. Спасаясь от собственной раздвоенности, я сочинял патриотические стихи:

Вот перед нами дуб,  
Простое дерево русское,  
Но в нем таится и сруб,  
И спирт, и бумага, и блузка.

Бредовое, извращенное сознание.

Чувство ущемленной души, бесконечная обидчивость. И никто ни разу меня не защитил. И первая жена, смотревшая на меня, как на мальчика, шутя называвшая «Вовка писатель из пятой квартиры». Моя квартира имела номер пять. Было постоянное чувство неполноценности. Чего не хватало? Наверное, если честно, то внешнего признания. И это ощущение собственной слабости и одиночества, несмотря на какие-то успехи, опубликованные книги, вторую любящую жену, сидело во мне глубоко и долго. Уже ушли в прошлое понижения оценок на вступительных экзаменах (не из крестьян, не из рабочих и фамилия сомнительная), проблемы с публикациями, когда требовали *хорошую* фамилию.

Уже и в 60 лет я иногда удивлялся, думая о себе в третьем лице, что он как *большой*, что его слушают, что он ездит по миру, что к его словам всерьез относятся, уважают его знания, справляются с его мнением. Будто он взаправду понимает, что к чему. А самоощущение, что он совсем не взрослый, а как-то придуривается, прикидывается, и все верят.

Я блуждал в игрушечной чаше  
И открыл лазоревый грот..  
Неужели я настоящий  
И действительно смерть придет?

В пятом классе, уже после разоблачения культа личности, косые взгляды на меня ушли, но не у всех. Видимо, еврейская составляющая была зоркому глазу заметна. Сам я считал себя русским мальчиком, тем обиднее было выталкивание меня за пределы этого круга. И подлый страх сидел в душе, что когда-нибудь, объединившись, одноклассники накинутся на меня, как в большую перемену набрасывались они на подслеповатого, с гнойничками в углах обоих глазах, бедно одетого мальчишку по прозвищу Ха-Ю, хватали и с криками «кастрировать Ха-Ю!» раскладывали на учительском столе и ковырялись в его штанах, стаскивая их, предлагая девочкам посмотреть на мужское достоинство несчастного. Девочки смущались, взглядывали как бы случайно и выходили, ухмыляясь, из класса. Это было по-настоящему страшно. Нет, меня не трогали, я не был «мальчиком для битья», но в душе этой грани не было.

Это случилось, как помню, в восьмом классе. И как всегда бывает, не очень-то ожидаемо. Мне было пятнадцать, учился я скорее хорошо, хотя и не отличником. Путь в школу пугал меня, боялся, что навстречу выйдет малый, тощий, косой, с болтающимися руками и, проходя мимо, ударит меня по лицу. Так уже пару раз было. Я шел с одноклассницей Лидой, она жила в соседнем подъезде, мы немного опаздывали, быстро перебежали трамвайную линию и двинулись вдоль шоссе к школе. Навстречу шел длинный, тощий, косой. Проходя мимо нас, он даже не остановился, просто на ходу ударил меня кулаком в челюсть, пробормотав: «У, жиденок!» Просто ткнул кулаком в подбородок. Болезненно, хотя не очень сильно, просто унижительно. И пошел дальше, не оборачиваясь. Лида прижалась к моему плечу, словно меня не унизили сейчас на ее глазах, взяла за руку и мы пошли дальше в школу.

Конопатая одноклассница Лида Селезнева жила в нашем пятиэтажном профессорском доме в среднем подъезде на втором этаже. Въехала Лида и ее семья туда пару лет назад, она поступила в нашу школу и попала в мой класс. Ее отец, Василий Петрович Селезнев, мужчина с округлыми плечами и толстой грудью перевелся из киевского какого-то института профессором на кафедру животноводства в Тимирязевскую академию, где когда-то, до своей смерти, мой дед заведовал кафедрой геологии. Дом предназначался для профессорско-преподавательского состава, внизу, в подвале, как когда-то в барских домах, жили нянечки, уборщицы, сторожихи. Селезнев не раз говорил соседям, что ему неприятно видеть свою дочь в одном классе с сыном еврея. Моя русская мама, уже не раз нарывавшаяся на эту проблему, потерявшая работу, когда в 1949 году отказалась разводиться с мужем-евреем, резко сказала

его жене, что Селезнев («ваш Вася») дождется, что она напишет в партбюро академии о его словах. Тогда он немного притих. Но Лида не обращала внимания на слова отца и все время держалась рядом со мной. Даже будучи в душе совсем не взрослым, я догадывался, что она ко мне неравнодушна.

А отец ее разворачивал где-то вычитанные им тезисы о зловредности евреев для любого человеческого общества: «Разве евреи тоже люди? Тогда то же самое можно сказать и о грабителях-убийцах, о растлителях детей, сутенерах. Евреи — паразитическая раса, произрастающая, как гнилостная плесень, на культуре здоровых народов. Против нее существует только одно средство — отсечь ее и выбросить. Уместна только не знающая жалости холодная жестокость! То, что еврей еще живет среди нас, не служит доказательством, что он тоже относится к нам. Точно так же блоха не становится домашним животным только оттого, что живет в доме». Перед домом росли липы, под липами несколько скамеек и пара столиков, за ними сидели в хорошие дни профессора из Тимирязевки. Там он и выступал как с трибуны. Коллеги морщились, но слушали. Он понимал, что текст должен быть в меру интеллигентным, и начинал с Кафки. «Как этот чешский еврей сумел раскрыть сущность евреев как паразитических насекомых. В кого превращается его еврейский герой? Все говорят, что в насекомое. Но не просто насекомое. У немцев есть слово *Ungeziefer*, его-то и употребляет Кафка. Это не просто насекомое, а паразит, вредитель».

Но однажды один приехавший к кому-то в гости биолог из МГУ, длиннорукий, рыжий, с волосами не совсем причесанными, светлыми глазами, с конопутками по всему лицу, как у Лиды Селезневой, сказал презрительно: «Что-то Геббельсом пахнет. Как помню, это ведь вы громили менделистов, морганистов и прочих генетиков!» Селезнев пожал округлыми плечами и скривил рот: «Чего поминать? Это дело прошлое. Но я вот что скажу: генетик может исправиться, еврей — никогда. Он евреем родился, евреем и помрет». Тут, пожалуй, первый раз в истории нашего двора видел, как один профессор ударил другого по зубам. Это рыжий биолог двинул толстого Селезнева. Тот слетел со скамейки. Потом, опираясь о сиденье скамейки, встал, втянул голову в плечи и пошел к своему подъезду. Обвинить рыжего в сионизме он, видимо, не решился. Это было время послевоенных испарений, сказать кому-то, что от него Геббельсом пахнет, — это был сильный удар, на который и ответить было нечем. Тема эта звучала в детских песенках, которые мы пели в детском саду.

Сегодня ночью под мостом  
Поймали Гитлера с хвостом!

А отец время от времени говорил, что во время войны их лозунгом были стихи Симонова «Жди меня» и, усмехаясь, добавлял и «Убей его». Стихи Симонова – и одновременно культ Бетховена и Маркса.

Пусть фашиста убил твой брат,  
Пусть фашиста убил сосед, —  
Это брат и сосед твой мстят,  
А тебе оправданья нет!

А как же Гегель, Шиллер, Брехт? Они ведь тоже немцы! Отец обожал и без конца слушал Бетховена.

Это, конечно, было бредовое раздвоение. Говорят, такое было и в начале войны. Не верили, что немецкий пролетариат может так зверствовать. Мы-то уже про немецкие зверства много слышали. А тогда наши отцы с ужасом это увидели. Не верили, но потом пришлось поверить, когда увидели.

\* \* \*

В тот день у нас не было четвертого урока, химии. «Химия, химия – вся наука синяя!» – приплясывая, завелся мой школьный приятель Женька Трофимов, едва ли не единственный, с кем я тогда дружил. Мы вышли с ним в коридор и, прислонившись к подоконнику, принялись за нешумную игру в «коробочку». Спичечный коробок мы клали на край подоконника, чтобы он немного выходил за него, и снизу шелкали по коробку. Предусмотрено было три варианта: коробок просто переворачивался и падал другой стороной – это было два очка, вставал на ребро – пять очков. Около нас сразу встало несколько человек, рядом со мной примостилась Лида. Так можно было проиграть и десять минут перемены, и сорок пять неслучившегося урока. Поразительно, как вспоминаю, сколько времени мы тратили на эту вполне бессмысленную игру. Но зачем-то она была нам нужна. Мы и в пристенок весной играли как бы на деньги. Но все же не на деньги. Денег ни кого не было. В те времена только спекулянты, большие начальники, партийные боссы и их детки имели денежные запасы. Может, и прав Шиллер, писавший, что человек бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет. Вот мы и играли безо всякого расчета. Коридор шумел, выглядывавшие из классных дверей учителя просили быть потише.

И тут к нашему подоконнику подошел Гришка Кружалин со своими пацанами. Гришка был классом старше, жил в соседнем дворе в четырехэтажном доме на третьем этаже и при нем состояло шесть или семь мелких хулиганчиков на подхвате. Выглядел он как герой советских фильмов про войну, а эти герои ориентировались на образ Джека Лондона. В школе все мальчишки, особенно немного интеллигентные, его опасались. Со мной он находился в хороших, даже можно сказать, полуприятельских отношениях. В отличие от многих я запросто заходявил в дом без номера, а Валек, Сосед, считался моим корешем. Гришка хлопнул меня по плечу: «Здорово! Держи краба!» И протянул руку. Я ее пожал. «Играем? Может, в картишки?» Я отрицательно покачал головой: «Не умею». Он хмыкнул: «Да я бы научил! Или ты уже до телочек дорос? У тебя здесь девчонки ничего».

Гришка вдруг схватил стоявшую рядом со мной Лиду за грудь, нащупал сосок (девочки бюстгальтер не носили) и начал крутить его, притянул к себе. Пацаны из его шайки засмеялись. Он поцеловал Лиду в щеку, поцелуй переполз на ее губы с засосом. Она казалась совсем растерянной. Но не сопротивлялась. А Кружалин хлопнул ее по попе: «Ладно, не плачь. Все девчонки через это проходят. Даже профессорские». И напел:

Наша Лида громко плачет,  
Потеряла Лида честь.  
Честь, ядрена мать, не мячик  
И нельзя ее обрести!

В глазах у меня стояли слезы. Я не знал, что делать. Потом сказал: «Не надо, оставь ее». Он посмотрел на меня как на маленького: «А тебе что? Она хоть из твоего класса, но ты же ее не оприходовал». Я как-то глупо ответил: «Она еще моя соседка». Он вдруг съерничал, но грубо: «А, из профессорского дома? Где одни евреи живут... А сам-то ты тоже еврейчик? Как фамилия?» Из класса вышел стриженный налысо, как тогда говорили, Валек. Месяца два назад у него обнаружили стригущий лишай, забрали из школы, потом вернули обстриженного. На голове у него было среди коротких волос безволосое пятно. Выглядел он жутковато.

Кто-то из моих одноклассников, подлизываясь к Гришке, которого боялись, выговорил мою немецко-еврейскую фамилию. Кружалин схватил меня за воротник школьной гимнастерки. Его пацаны окружили меня, пытаясь ухватить за руки. «Пошли отметелим его, — крикнул самый маленький из пацанов, — чтобы не возникал.



А ты ему по хавальнику добавишь, зарубку сделаешь!» Но ладонью по физиономии и по губам ударил его Валек: «Помолчи, сучонок. Будут один на один. Я послежу, чтоб без подлянки!» В желудке у меня стало нехорошо. Гришка был выше меня, занимался боксом, как я слышал. «Как бы не обделаться!» — отчетливо подумал я. «Давайте, шагаем», — сказал мой сосед по парте. И мы спустились во двор. Напротив здания школы стояла одноэтажная каменная котельная (зимой школа имела свое независимое отопление, топили углем), земля была покрыта угольными крошками и щебнем, справа забор, отделявший территорию школы от поля, где стояли разные деревянные домики, среди которых дом без номера. Слева тротуар вдоль шоссе. Тротуар, по которому я ходил в школу.

«А ну отвалите! — сказал Валек, отгоняя кружалинских дружков. — Сказано: один на один!» Беда была в том, что бить по лицу я не умел. Просто представить не мог, как это ударить в зубы. До этой стычки я давно-давно ударил по зубам мальчика в детском саду, ударил от обиды и неожиданности его удара растопыренной ладонью мне по лицу. Тот упал в песочницу, а девочки побежали в группу с криком, что Кантор убил другого мальчика. А теперь Кантор стоял перед необходимостью вполне осознанно бить по лицу другого человека. Гришка пошел ко мне, сплюнув на землю. Я, неожиданно для себя, шагнул к нему навстречу и, когда он размахнулся для удара, вдруг перехватил его руку, резко развернул его и заломил руку за спину, так что он согнулся с криком: «Пусти, гад!» Его дружки хотели было двинуться на меня, но Валек сказал еле слышно: «Сказано: один на один! Сунетесь, убью на хер!» В дверях школы стояла Лидка, прижав руки к губам. Я продолжал выкручивать Гришке руку, понимая, что отпустить его не могу, что он тут же распрямится и нокаутирует меня. И повторял тупо: «Хватит с тебя?» А он так же тупо отвечал: «Пусти, сука! Мало вас, евреев, Гитлер поубивал!» В ответ я еще сильнее завернул ему руку. Он закричал от боли, а я толкнул его вперед, да еще пнул ногой в задницу, так что он проехался лицом по угольному щебню. Охнула Лида. Гришкины дружки переглянулись, но бросились его поднимать. Физиономия у него была расцарапана углем и в крови. Он встал вначале на колени, потом откинул голову, повертел ей, словно проверяя крепость шеи, взялся за свой крутой подбородок, в который я не ударил. И вскочил легко и спортивно на ноги.

Лида охнула довольно громко, но никто в ее сторону даже не посмотрел. Валек быстро подошел ко мне и стал рядом плечом к плечу, сглотнул слюну и сказал: «Не бзди, сосед! Ща они будут нас рвать. Но х.. им! Не дадимся!» Но неожиданно подошедший

Гришка протянул мне руку и сказал: «Мир!» — и, повернувшись к немного прибалдевшим друзьям, произнес: «Хорошо дерется, наверное, немец».

После уроков мы с Лидкой шли домой, и она говорила, что непременно расскажет своему папе, как я за нее заступился и подрался за нее. «Хорошо дерется. Наверное, немец!» — крутилась у меня в голове фраза Кружалина. То есть, думал я, получается, что немцы, разорившие нашу страну и уничтожившие миллионы людей, лучше горстки униженных, уничтоженных и уничтожаемых евреев.

Это был настоящий бред. И этот бред был реальностью жизни. Или и вправду жизнь есть необходимость бреда. Из года в год, из века в век, из страны в страну.

*2022*

## Идиотизм дачной жизни

**П**очему русская интеллигенция замечает прежде всего недочеты и недостатки, а достоинства только по приказу либо под большим страхом, как при Сталине? Мне рассказали, что чиновник из нынешнего руководства, которому поручили было работу с интеллигенцией, отказался со словами: «Работать с интеллигенцией — все равно, что кошек пасти».

Вот в роли наблюдательной кошки, точнее, кота, рассказываю про недавнюю поездку с женой на дачу.

Автобус от железнодорожной станции г. Александрова в сторону деревни Афанасьево. До остановки «Сады». Над длинным и большим домом, где внизу магазин, вечная надпись аршинными буквами: «Слава народу-победителю». Привокзальная площадь, вход на вокзал размером в дачную калитку (а широкая дорога загорожена железной решеткой, опаздывающие на поезд или с поезда на автобус, продираются сквозь калитку). Толпятся мутные личности, покупают пиво в привокзальных ларьках, на ту сторону шоссе, где автобус, нет перехода, у остановки мужики и тетки с рюкзаками и сумками, посадочным материалом. Автобус с вытянутым капотом рассчитан на двадцать сидячих мест, набивается человек пятьдесят. Одно время мы хотели кого-нибудь из западных друзей прокатить на этом автобусе. А город-то с историей, и еще какой! Отсюда опричнина пошла, русские люди ползли к спрятавшемуся в Александровой слободе Ивану Грозному просить оказать милость и вернуться на царство. Вернулся при условии, что опричнину введет. Здесь и сына своего Ивана убил. Но это к слову. Если к слову, то здесь в 1918 г. сестры Цветаевы жили, спасались от столичной голодухи. Но вот подъехал автобус. Кажется, не втиснуться, но влезают все, располагаясь причудливыми сочетаниями фигур. Кто-то садится на ступеньку рядом с кондукторшей, кто-то пристраивает рюкзак на полу, на него уставляет сумки, некоторые из сидящих принимают на колени сумки стоящих. И автобус трогается. Едем в сторону садового товарищества «Железнодорожник».

Мужик, по виду слесарь, сидит на заднем сиденье (повезло!) и рассказывает соседу: «Идет сильное вытекание воды вдоль объекта, который производили строители. Теперь еду нарушить их работу». Второй отвечает: «Ты им всыпь там. Земляк земляка убьет наверняка!»

Великий и могучий...

Стою, в бок уперлась какая-то железяка, которую некто везет на дачу, признается вслух: «На стройке спер, там она все равно никому не нужна, а мне на участке пригодится». Повторяю про себя формулу дачного деда-соседа, в молодости рабочего сцены: «Русский человек только разорять может. Прикажи ему разрушить — разрушит — только держись! И бригадиром русскому человеку нельзя быть. Ничего не может. Работать может, но под чужим началом. А сами с собой справиться не можем. Бьем друг друга. Не жалеем друг друга». На душе тоска, особенно когда видишь, насколько канавы вдоль дороги завалены разнообразным мусором. А почему ему там не валяться. В их садовом товариществе председатель коммунист, потом по выгоде коммунист, не желая нанимать машину для вывоза мусора, придумал коммунистические субботники. Раз в месяц закапывали в землю, в лесу, мусор: старые газовые плиты, сломанные холодильники, пылесосы, железные проржавевшие кровати. Помню, как промучился с закапыванием холодильника. И все время вспоминал Стругацких «Пикник на обочине», только там веселилась суперцивилизация, оставляя нечто невиданное, а здесь веселились варвары, скрывали следы разрушения. Так наводили экологическую чистоту, эту повинность называли субботником, кто не выходил, тот платил председателю за пропуск 200 руб.

Последний год все же два раза в месяц приходит машина и вывозит мусор.

\* \* \*

А этот приезд начался с мелкого приключения — появления почти нечистой силы.

Оторвался от компьютера, вышел на крыльцо. Уж не помню, зачем. Вдруг с соседнего участка слышу громкий голос соседки, держащей в руках тяжелую чугунную подставку с газовой плиты: «А ну проваливай отсюда! Ты что, пришел сюда в кусты посрать или еще что! Ты ведь обкуренный весь». Из калитки выскочил сосед с вилами в руках, видимо, за ними и бегал. Надо добавить, что оба они пенсионеры, хотя достаточно еще крепкие. Все же без конца работают в саду, копают, пилят, что-то достраивают. Из ку-

стов чужой голос: «Миша, ну хватит уже. Выходи. Пора ехать. Заводи машину и поехали». Я выскочил на тропинку, которая вела к участку соседей, за мной жена. Быстро пройдя несколько метров, я пожалел, что не взял монтировку, хотя мысль о ней мелькнула. Но монтировка лежала в сарае, а калитка в другой стороне. Понадеялся на кулаки, жена успела подхватить с земли камень. Перед двумя нашими соседями стоял, покачиваясь, достаточно высокий, полуголый, в одних джинсах молодой парень. Стало понятно при виде его сильных рук, что потасовка может быть серьезной. Сосед, увидев, что подходит помощь, сказал, взяв поудобнее вилы: «Шел бы ты отсюда, пока цел». Парень отступил к кустам, одним глазом смотря на кусты, другим на нас, и снова немного гнусавым голосом выкрикнул: «Ну, Миша, поехали, пора уже. Заводи мотор». Потом отступил к кустам. Вмешался и я: «Ты что здесь ищешь? Если ничего, то уходи лучше». А соседка обошла парня и заглянула за кусты и вышла с тыла со словами: «Нет там никакой машины и вообще никого нет». Парень шарахнулся и двинулся вдоль нас, двинулся не то слово, как бы начал пробираться. И тут я разглядел его лицо с провалившимся носом, абсолютно остановившимися глазами, обведенными красной каймой. «Как сифилитик из преисподней, — сказала моя жена. — Хоть крест на него наложи». Сосед понял ее слова по-своему и взмахнул вилами. И парень вдруг испуганно обогнул соседа с вилами и, как черт мог шатнуться от креста, быстро-быстро пошел к выходу с нашей линии. Мы тоже заглянули за кусты: никакого Миши, никакой машины. «Психический, — сказала соседка. — Кого он там искал? Дом-то уже год пустой, хозяин совсем спился, сюда почти не приезжает». Парень исчез, будто в воздухе растворился. Никто его больше не видел. А может, подумал я, вся эта бандитская и прочая нечисть и есть то, что по сути дела служит своему черному господину.

На следующий день пошел в церковь в соседнем селе Афанасево. Был вторник, я знал, что службы нет, только по воскресным и праздничным дням приезжает отец Игорь из Александрова. Но хотелось посмотреть что-то все же духовное среди деревенской грязи. Первый раз я увидел эту церковь, вернее, ее руины, в начале девяностых, когда мы купили маленький садовый домик в садовом товариществе в трех километрах от деревни. Церковь стояла полуразрушенной, а на том месте, где должен быть купол, росла довольно крепкая береза. Такой явственный символ победившего язычества. Старухи рассказывали, что разрушили церковь в 30-е годы, разрушали местные комсомольцы. «Сначала их заводила на купол забрался, с балалайкой, и сверху орал срамные

слова и частушки». А потом и порушили, к куполу тросы привязали, а с другой стороны к трактору, так и свалили. В конце 90-х на общем православном подъеме выкорчевали березу и поставили купол. Начались службы. Народу приходило немного, крестились пожилые женщины, как их в детстве учили. Молодые ходили редко. Пространство вокруг здания так и не привели в порядок: колдобины, выемки, колеи от ездивших мимо машин. В этот раз церковь была закрыта, но вокруг нее сновали восточные люди, штукатурили, белили, укладывали вокруг храма асфальт, говор был гортанный. «Фантастика, – просквозило соображение, – мусульмане приводят в порядок православный храм. Так что ли?» Я повернулся, завернул в ближайший дом, к знакомой, раньше у нее молоко покупали. Постучал в окно. Подошла к окну в ночной рубашке, полусогнувшись, чтобы прикрыть рубашкой колени. «Извини, не оделась еще. Молока не будет. У соседей тоже. Жара, слепни, не дают молока коровы. Может, к деду на краю села зайдешь. У него отелилась одна только что. Пока, правда, молозиво, наверно. Но через неделю наладится». Спрашиваю: «А кто у церкви возится? Вроде не наши». Она отмахнулась от меня, чуть не потеряв подол ночнушки: «Какие наши? Гастарбайтеры. Узбеки, вроде. А нашим что надо? Пива, вина и блядей! Ладно, пойду оденусь».

Через неделю возвращаемся в Москву. Едем в таком же набитом автобусе до Александрова. К поезду. Толстые неопределенного возраста женщины с тяжеленными сумками, функции от этих сумок, набиваются в автобус. Лица как из текстов Гоголя и Щедрина. Где природа поскупилась на тонкий инструмент – тят-ляп, черты человеческие лишь намечены. Разговоры о том, что мужики не работают, не желают, спиваются. Страна пьяных нищих, не желающих работать и горюющих лишь о том, что не умеют как следует воровать. Да и интеллигенция о том же жалеет. Рассказ уже на станции одной интеллигентной сравнительно женщины. Купила избу в деревне, участок большой, 20 соток. Скосила траву, предлагает эту траву соседке, у которой корова. Та отказывается – неохота собирать, возиться, как-нибудь так. Избу обставила на городской лад. Занавески, ковры, городская посуда – все то, кстати, что и сами деревенские иметь могут. Три месяца прожила, лето. Собрались уезжать, сели в машину, полчаса отъехали, но вспомнили, что забыли что-то. Вернулись, а эти пьяные мужики уже дверь в их дом взломали и выносят все оттуда. Так что все эти рассказы из Гражданской войны, как еще с живых товарищей сапоги сдирали себе – верны. Дело только не в Гражданской войне, а в ментальности народа, паразитарной, варварской и очень примитивно

материальной. Вещь хочется иметь, но заработать не хочется, лучше украсть.

Наконец, в электричке. Александров — конечная станция, поэтому всегда есть места. Усталые, сели, 10 часов вечера. Полусонно едем. В Мытищах заходит молодой мужик в рясе, с аккуратной бороденкой и завязанными в узел волосами. В руках продолговатый ящик с прорезью. «На построение храма просить будет — все равно какого», — сразу все понимают. На ящике, однако, наклеена бумажка, на которой: «На восстановление православия на Чукотке». «Однако, — говорю жене, — уже совсем явная липа — собирать по Ярославской железной дороге на православие в Чукотке». Она улыбается: «Все же северная дорога». Сидевший рядом со мной мужик в белой рубашке, с очень короткой стрижкой, лицом не загорелым, а обветренным, вдруг сказал: «Конечно, врет. Я сам с Чукотки. В Анадыре огромный православный храм. А жителей всего восемь тысяч. Вполне хватает. А! — голосом, как рукой, махнул, — таких много. Я как-то в Сергиевом Посаде у матушки Ирины ночевал. А к ней пришел такой же сборщик. От задней стенки бумажку отклеил, деньги высыпал, водки купил и напился». — «А вы на Чукотке живете?» — «Ну да, в 70 километрах от острова Врангеля. Анадырь для нас как Москва, там летом иногда даже тепло бывает. При советской власти города строили, бассейны, спортзалы. А теперь выселяют, насильственно выселяют. Скажем, электричество всю зиму не дают, с буржуйками выше плюс пять не поднимешь, и темно еще. Был до Абрамовича губернатор, так он план имел продать часть Чукотки Аляске. Уже не знал, что еще и украсть. А этот, хоть и еврей, и с “земли обетованной”, получше, все же подкормил нас. Многие могли уже с голоду умереть, два с половиной года зарплаты не получали. Этот расплатился. Тоже Сибнефть у него. Конечно, он получше Черномырдина. Но все равно несправедливо. Я так считаю, что доходы с земных богатств нужно поровну между всеми русскими любой национальности поделить. Потому что мы все здесь русские. На западе вон хозяин получает в четыре раза больше, чем инженер, а у нас в миллион раз. Вот и не идут нам впрок наши богатства. А жулики, которые под христиан подделываются, расплодилось сильно. Впрочем, — он махнул рукой, — может и всегда были. Бесов все же много у нас».

Почему так сильна нечисть?

Но, может, человек просто неудачный проект Бога?

# Сведения об авторе

**Владимир Карлович Кантор** — доктор философских наук, заведующий Международной лабораторией исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» (НИУ-ВШЭ) и ординарный профессор Школы философии того же университета, член редколлегии журнала «Вопросы философии», главный редактор журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог», литературный стипендиат фонда Генриха Белля (Германия, 1992), лауреат нескольких отечественных литературных премий, трижды номинировавшийся на премию Букера, дважды входил в шорт-лист премии Бунина, историк русской культуры, автор более семисот (700) опубликованных работ. Дважды лауреат премии «Золотая вышка» за достижения в науке (2009 и 2013 гг., Москва). Лауреат первой премии в номинации «За лучшее философское эссе» в Первом Международном литературном Тютчевском конкурсе (2013). Последний роман «Помрачение» — лонг-лист премии «Ясная Поляна» (2014), лонг-лист премии «Русский Букер» (2014). Область научных интересов — философия русской истории и культуры. По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет (январь 2005) парижским журналом *Le nouvel observateur (hors serie)*, вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности как «законный продолжатель творчества Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева». Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, чешский, польский, сербский, эстонский языки.

## Основные опубликованные сочинения Владимира Кантора

### ПРОЗА

ДВА ДОМА. Повести. М.: Советский писатель, 1985.

КРОКОДИЛ. Роман // Нева. 1990. № 4.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1990.

ПОБЕДИТЕЛЬ КРЫС. Роман-сказка. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1991.



- ПОЕЗД «КЕЛЬН-МОСКВА». Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7.
- МУТНОЕ ВРЕМЯ. Из цикла «Сны» // Золотой век. 1995. № 7.
- КРЕПОСТЬ. Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996. № 6, 7.
- ЧУР. Роман-сказка. М.: Московский философский фонд, 1998.
- СОСЕДИ. Повесть // Октябрь. 1998. № 10.
- ДВА ДОМА И ОКРЕСТНОСТИ. Повесть и рассказы. М.: Московский философский фонд, 2000.
- РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ ЗАПИСКИ ИЗ ПОЛУМЕРТВОГО ДОМА. Повесть // Октябрь. 2002. № 9.
- КРОКОДИЛ. Роман. М.: Московский философский фонд, 2002.
- ЗАПИСКИ ИЗ ПОЛУМЕРТВОГО ДОМА. Повести, рассказы, радиопьеса. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
- КРЕПОСТЬ. Роман. М.: РОССПЭН, 2004. (Серия «Письмена времени»).
- KROKODYL. Roman. Przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska. – Warszawa: Dialog, 2007.
- ГИД. Повесть // Звезда. 2007. № 6.
- СОСЕДИ. Арабески. М.: Время, 2007.
- KROKODILL: Romaan. Vene keelest tõlkinud Jüri Ojamaa. Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 2009 / 3–5.
- СМЕРТЬ ПЕНСИОНЕРА: Повесть, роман, рассказ. М.: Летний сад, 2010.
- СТО ДОЛЛАРОВ. Маленькая повесть // Звезда. 2011. № 4.
- ZWEI ERZÄLUNGEN. Tod eines Pensionärs. Njanja. Dresden: DRKI, 2012.
- НАЛИВНОЕ ЯБЛОКО. Повествования. М.: Летний сад, 2012.
- MORTE DI UN PENSIONATO. Venezia Mestre: Amos Ediziooni. 2013 per la tradizione Emilia Magnanini.
- ПОМРАЧЕНИЕ. Роман. М.: Летний сад, 2013.
- ПОМРАЧЕНИЕ. Роман // Волга. 2014. № 1–4.
- КРЕПОСТЬ. Роман. Второе издание (восстановленное). М.: Летний сад, 2015.
- ЗАПАХ МЫСЛИ. Повесть. Журнал «Слово-Word». New-York, № 84. 2014 год. [http://promegalit.ru/public/10815\\_vladimir\\_kantor\\_zapakh\\_mysli\\_povest.html](http://promegalit.ru/public/10815_vladimir_kantor_zapakh_mysli_povest.html)
- EXISTUJE BYTOST ODPORNĚŠI NEŽ ČLOVĚK? (Tři novely). Přeložila i posleslovije Alena Moravkova. Izdatel: Rybka Publisher, Praga, 2014, 157 stranic. Obložka: Vincent van Gogh, Starik.
- ВЛАДИМИР КАНТОР, ВЛАДИМИР КОРМЕР. ПОСЛАННЫЙ В МИР (Н.Г. Чернышевский). Киносценарий // Волга – XXI век. Саратов. 2015. № 3–4. С. 135–164.

- НЕЖИТЬ. Повесть // Нева. 2017. № 8.
- IL COCCODRILLO. Romanzo. Per la tradizione Emilia Magnanini. Venezia- Mestre: Amos Edizioni. 2018.
- ЧУР. Роман-сказка // Волга – XXI век. Саратов. 2017. № 11–12. 2018. № 1–2.
- ПОХОРОНЫ ДЕДА АНТОНА. Новелла // Нева. 2018. № 11.
- ШУМ ВРЕМЕНИ, ИЛИ БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ. Книга прозы. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.
- ЖИЗНЬ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ БРЕДА. Рассказ. Звезда. 2022. № 5.

## МОНОГРАФИИ

- РУССКАЯ ЭСТЕТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БОРЬБА. М.: Искусство, 1978.
- «БРАТЯЯ КАРАМАЗОВЫ» Ф. ДОСТОЕВСКОГО. М.: Художественная литература, 1983.
- «СРЕДЬ БУРЬ ГРАЖДАНСКИХ И ТРЕВОГИ...» Борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. М.: Художественная литература, 1988.
- В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: ОПЫТ РУССКОЙ КЛАССИКИ. М.: Московский философский фонд, 1994.
- «...ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕРЖАВА». РОССИЯ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЦИВИЛИЗАЦИИ. Исторические очерки. М.: РОССПЭН, 1997.
- ФЕНОМЕН РУССКОГО ЕВРОПЕЙЦА. Культурфилософские очерки. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.
- RUSIJA JE EVROPSKA ZEMIJA. Mukotrpan put ka civilizaciji. Prevela s ruskog Mirjana Grbić. (Biblioteka XX vek). Beograd. 2001.
- РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ). М.: РОССПЭН, 2001.
- РУССКАЯ КЛАССИКА, ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ. М.: РОССПЭН, 2005. (Серия «Российские Пропилеи»).
- WILLKÜR ODER FREIHEIT? Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie. Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks. Stuttgart: ibidem Verlag, 2006.
- МЕЖДУ ПРОИЗВОЛОМ И СВОБОДОЙ. К вопросу о русской ментальности. М.: РОССПЭН, 2007 (Серия «Россия. В поисках себя...»).
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ХАОСА. М.: РОССПЭН, 2008. (Серия «Российские Пропилеи»).

- DAS WESTLERTUM UND DER WEG RUSSLANFS. Zur Entwicklung der russischen Literatur und Philosophie. Ediert von Dagmar Herrmann. Stuttgart: ibidem Verlag, 2010.
- «СУДИТЬ БОЖЬЮ ТВАРЬ». ПРОРОЧЕСКИЙ ПАФОС ДОСТОВЕСКОГО. Очерки. М.: РОССПЭН, 2010. (Серия «Российские Пропилеи»).
- «КРУШЕНИЕ КУМИРОВ», ИЛИ ОДОЛЕНИЕ СОБЛАЗНОВ (становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. (Серия «Российские Пропилеи»).
- ЛЮБОВЬ К ДВОЙНИКУ, МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. Очерки. М.: Научно-политическая книга, 2013. (Серия «Актуальная культурология»).
- РУССКАЯ КЛАССИКА, ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014 (Серия «Российские Пропилеи»).
- DOSTOEVSKIJ, NIETZSCHE E LA CRISI DEL CRISTIANISMO IN EUROPA / per la tradizione Emilia Magnanini. Venezia- Mestre: Amos Edizioni. 2015.
- ПОСРЕДИ ВРЕМЕН, ИЛИ КАРТА МОЕЙ ПАМЯТИ. Литературно-философские опыты (жизнь в разных срезах). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2015.
- КАРТА МОЕЙ ПАМЯТИ. Путешествия во времени и пространстве. Книга эссе. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. («Письмена времени»).
- «СРУБЛЕННОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ». Судьба Николая Чернышевского. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. (Серия «Российские Пропилеи»).
- ИЗОБРАЖАЯ, ПОНИМАТЬ, ИЛИ SENTENTIA SENSU: ФИЛОСОФИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТЕКСТЕ. М.; СПб.: ЦГИ Принт, 2017. (Серия «Российские Пропилеи»).
- НА КРАЮ НЕБЫТИЯ. ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ И ЭССЕ. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018.
- РУССКАЯ МЫСЛЬ, ИЛИ «САМОСТОЯНЬЕ ЧЕЛОВЕКА». Философические эссе. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. (Серия «Российские Пропилеи»).
- РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ИЛИ СЛОВО ПРОТИВ ХАОСА – КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. (Серия «Российские Пропилеи»).
- ДВЕ РОДИНЫ ДОСТОВЕСКОГО: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2021 (Серия «Российские пропилеи»)

СБОРНИКИ

- РУССКАЯ ЭСТЕТИКА И КРИТИКА 40–50-х ГОДОВ XIX ВЕКА / Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. М.: Искусство, 1982. (История эстетики в памятниках и документах).
- А.И. ГЕРЦЕН. ЭСТЕТИКА. КРИТИКА. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ / Составление, вступительная статья и комментарии В.К. Кантора. М.: Искусство, 1987. (История эстетики в памятниках и документах).
- К.Д. КАВЕЛИН. НАШ УМСТВЕННЫЙ СТРОЙ. Статьи по философии русской истории и культуры / Составление, вступительная статья В.К. Кантора. Подготовка текста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой. (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). М.: Правда, 1989.
- МЕТАМОРФОЗЫ АРТИСТИЗМА. Составление, первая статья В.К. Кантора. М.: РИК, 1997.
- Ф.А. СТЕПУН. СОЧИНЕНИЯ / Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). М.: РОССПЭН, 2000.
- ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОТМАН. Сборник / Составление, вступительная статья В.К. Кантора (Серия «Философия России второй половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2009.
- ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО. Избранные сочинения / Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора. (Серия «Социальная мысль России»). М.: Астрель, 2009.
- АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН. Избранные труды / Составление, предисловие, комментарии В.К. Кантора. (Серия «Библиотека общественной мысли»). М.: РОССПЭН, 2010.
- ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН. Сборник / Составление, вступительная статья В.К. Кантора. (Серия «Философия России первой половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2012.
- ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ СТРУВЕ. Сборник / Составление, вступительная статья О.А. Жуковой и В.К. Кантора. (Серия «Философия России первой половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2012.
- ФЕДОР СТЕПУН. ПИСЬМА / Составление, археографическая работа, комментарии, вступительные статьи к тому и всем

разделам В.К. Кантора. (Серия «Российские Пропилеи»). М.: РОССПЭН, 2013.

ФЕДОР СТЕПУН. БОЛЬШЕВИЗМ И ХРИСТИАНСКАЯ ЭКЗИСТЕНЦИЯ. Избранные сочинения / Составление, комментарии и послесловие В.К. Кантора. (Серия «Письмена времени»). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017.





# Содержание

## Чтоб мыслить и страдать

Выживание .....	7
Похороны деда Антона .....	36
Заимообразно .....	57
Немецкий язык .....	61
Историческая справка .....	94
Наливное яблоко .....	126

## Все это было, было, было...

Знакомая девочка, или Как сверкают пятки .....	137
Библиофил .....	140
Язычница .....	150
Черточка .....	160
Ольга Александровна .....	169
Няня .....	191
Милицейская фуражка .....	201
Прятки .....	210
Пистолет .....	227

## Темный язык жизни

Разве это жизнь? .....	247
Смысл жизни .....	254
Собеседник .....	268
Случайные заботы и смерть .....	288
Ногти .....	311
Святочный рассказ .....	329
Смерть пенсионера .....	342

## Зло на пороге

Мутное время .....	369
Сновидец .....	369
Маленькие девочки .....	372

Тигр.....	374
Незванные гости.....	376
Девушка.....	378
Побег из тюрьмы.....	380
Кукла.....	382
Удар копытом.....	383
Жертвоприношение.....	386
Шпион.....	388
Пробуждение.....	392
Стоп-кран.....	397
Фазанова.....	406
Не пускайте зло в свой дом.....	420
Плетка из чертополоха.....	440
Жизнь как необходимость бреда.....	457
Идиотизм дачной жизни.....	466
Сведения об авторе.....	471



# На сгибе бытия

С точки зрения повествовательного формата творения Кантора – дневник, письменное обращение к себе самому.

Без заботы о том, что эллипс будет не так понят.

Коммуникативное короткое замыкание, не сжигающее пробки, потому что адресат и адресант разделены пространственно-временной преградой:

повествование идет из вечности, а воспринимается во времени.

Текст Кантора – это исповедь, в одном ряду

с такими же нелюбимыми отчетами о достижениях и ошибках, какие нам оставили Блаженный Августин, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой...

У Кантора исповедание протагониста происходит перед Богом и перед общественностью, как у Гоголя и Толстого.

Это исповедь философа и филолога.

*Константин Баршт*